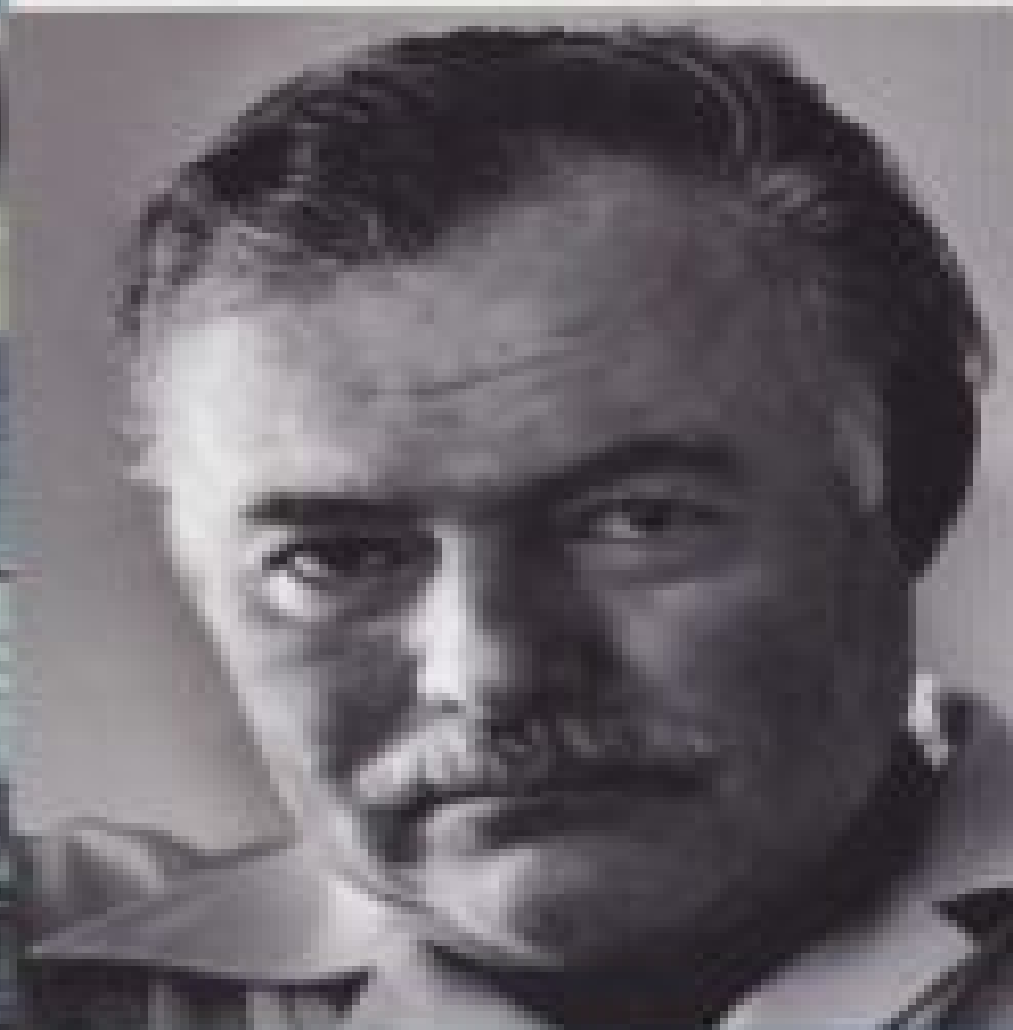


ХЕМИНГУЭЙ



Максим
Чертогов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Эрнест Хемингуэй был и остается одним из самых популярных в России американских писателей. В 1960-е годы фотография бородатого «папы Хема» украшала стены многих советских квартир; вольномыслящая молодежь подражала его героям — мужественным, решительным, немногословным. Уже тогда личность Хемингуэя как у нас, так и на Западе окружал ореол загадочности. Что заставляло его без устали скитаться по миру, менять страны, дома и жен, охотиться, воевать, заводить друзей и тут же делать их врагами? Был ли он великим мастером слова, или его всемирная слава — следствие саморекламы и публичного образа жизни? Что вынудило его, как и многих его родственников, совершить самоубийство — наследственная болезнь, житейские неудачи или творческий кризис, обернувшийся разрушением личности? На все эти вопросы отвечает писатель Максим Чертанов в самой полной на сегодняшний день биографии Хемингуэя. Эта неожиданная, местами шокирующая книга откроет поклонникам писателя множество неизвестных подробностей из жизни их кумира.

- [Максим Чертанов. Хемингуэй](#)
 - [Глава первая АНАЛИЗИРУЙ ЭТО](#)
 - [Глава вторая СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА](#)
 - [Глава третья КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ](#)
 - [Глава четвертая ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА](#)
 - [Глава пятая КРЕПКИЙ ОРЕШЕК](#)
 - [Глава шестая ДЬЯВОЛ НОСИТ «ПРАДА»](#)
 - [Глава седьмая АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ](#)
 - [Глава восьмая ЖЕСТОКИЙ РОМАНС](#)
 - [Глава девятая ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ](#)
 - [Глава десятая ЛЕОПАРД](#)
 - [Глава одиннадцатая БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ](#)
 - [Глава двенадцатая ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ](#)
 - [Глава тринадцатая БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА](#)
 - [Глава четырнадцатая КРАСНАЯ ЖАРА](#)
 - [Глава пятнадцатая МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА](#)
 - [Глава шестнадцатая СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА](#)

- [Глава семнадцатая СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ](#)
- [Глава восемнадцатая ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН](#)
- [Глава девятнадцатая В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ](#)
- [Глава двадцатая СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ](#)
- [Глава двадцать первая ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ](#)
- [Глава двадцать вторая ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ](#)
- [Глава двадцать третья ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ](#)
- [Глава двадцать четвертая ВСПОМНИТЬ ВСЕ](#)
- [Глава двадцать пятая ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)

- [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
-

Максим Чертанов. Хемингуэй

Глава первая АНАЛИЗИРУЙ ЭТО



Ernest Hemingway

Когда у нас был один Хемингуэй — нет, конечно, не тот, официальный, друг трудящихся и великий гуманист, а тот, в свитере, что глядел на нас с портрета: Папа (хотя вернее было бы «Батя»^[1]) Хэм — «свой мужик», похожий на советского геолога или антисоветского барда, ироничный, сдержанный, мудрый, — в остальном мире давно существовал другой: неврастеник, позер, патологический лжец, под фальшивой брутальностью скрывающий массу комплексов, талантливый, но рано исписавшийся

алкоголик. Примирить этих двоих, слепить из них подобие живого человека — немыслимо.

А, знаете ли, придется. Потому что в обеих трактовках много правды.

...Средний Запад — «сердце Америки»: там живут «настоящие американцы» — работающие, основательные, ни в коем случае не «темные», но ограниченные, чуждые экстравагантности. Один из крупнейших промышленных центров — Чикаго, штат Иллинойс; один из его «спальных» пригородов, охарактеризованный Эрнестом Хемингуэем как место «с обширными газонами и мелкими мыслями», называется Оук-Парк («дубовый парк»), а одна из его фешенебельных улиц — Норз-Оук-Парк-авеню, на четной стороне которой, в доме 444, в XIX веке жила семья Хемингуэй, а через дорогу, в доме 439 — семья Холл.

Дед Эрнеста Хемингуэя со стороны отца, Ансон Тейлор Хемингуэй, родился в 1844 году (дожил до 1924-го) в Коннектикуте; в 1854-м его семья переехала в Чикаго. Он участвовал в гражданской войне на стороне северян; на той же стороне воевал другой дед, Эрнест Холл, но их пути не пересекались. После войны Хемингуэй учился в Уитон-колледже, десять лет был генеральным секретарем чикагского отделения Ассоциации молодых христиан, потом начал торговать недвижимостью. Он женился на учительнице Аделаиде Эдмундс, тремя годами старше него (1841–1923), у них родились четверо сыновей и две дочери. Первенец, Кларенс Эдмундс, родился в 1871 году, учился, как и его будущая жена, дочь Эрнеста Холла, в школе Оук-Парк, затем окончил Оберлин-колледж, институт изящных искусств в городе Оберлин, и медицинский факультет университета Раш в Чикаго; ординатуру он проходил в Шотландии, в Эдинбургском университете; год практиковал в Южной Дакоте, где лечил индейцев. Получив докторскую степень, вернулся домой, работал ассистентом у врача Льюиса, потом открыл собственную практику. Специализировался в акушерстве и гинекологии, немного занимался хирургией (удалял железы и аденоиды, вправлял вывихи, лечил переломы), терапией и ветеринарией. У него не было ассистентов: бухгалтерию вел сам и брал за услуги недорого. В 1895 году он стал бывать в доме 439 — жена соседа умирала от рака.

Эрнест Холл (1840–1905), выходец из Британии, женился на своей соотечественнице Кэролайн Хэнкок (1843–1895), после гражданской войны поселился в Чикаго и стал партнером фирмы «Рэндалл энд Холл» по производству ножей. В 1872-м у Холлов родилась дочь Грейс, полтора годами позднее — сын Лестер. В результате пожара Холлы потеряли все имущество, но дела фирмы шли так успешно, что благосостояние семьи быстро восстановилось. Они переехали в Оук-Парк, где их дом считался

одним из самых богатых и благоустроенных: Холл первым из жителей городка провел электричество и телефон. Грейс унаследовала от матери музыкальные способности и великолепный голос; родители поощряли ее в намерении стать оперной певицей. После школы она пять лет обучалась музыке и сама давала уроки детям в Оук-Парке; вместе с матерью она пела в хоре собора Святого Павла в Чикаго, и родители даже возили ее в Венскую оперу.

Кларенс и Грейс, едва знакомые до болезни Каролины Холл, обручились, но после смерти матери Грейс узнала, что ее согласны принять в нью-йоркскую Школу искусств и ее будет учить музыке знаменитый педагог Луиза Каппианни. Отец ей не препятствовал, и она уехала в Нью-Йорк. Весной 1896-го ее зачислили в труппу Метрополитен-оперы. Она дебютировала на концерте в Медисон-сквер-гарден, но первый ее профессиональный концерт стал последним. Огни рампы оказались губительными в буквальном смысле: у Грейс после скарлатины развилось заболевание сетчатки глаз, при котором она не могла выносить яркий свет. Отец повез ее в Европу — развеяться. Вернувшись, она 1 октября вышла за Кларенса, и молодожены поселились в доме вдового Эрнеста Холла.

Русскоязычный читатель, как правило, знает о семье и детстве Хемингуэя из книги Бориса Грибанова «Эрнест Хемингуэй» (1971), представляющей собою сокращенный перевод работ Чарльза Фентона и Карлоса Бейкера^[2], очерка Ивана Кашкина «Эрнест Хемингуэй» (1966) и художественных текстов самого Хемингуэя, которые обычно воспринимаются как автобиографические. В результате он усвоил следующее: Грейс была чопорной, претенциозной ханжой, вымещавшей на всех обиду за неудавшуюся карьеру, тиранившей мужа и детей, а Кларенс — слабохарактерным добряком, несчастным в браке и находившим отдушину в охоте, рыбалке и прогулках с детьми; они терпеть не могли друг друга, Эрнест обожал отца и ненавидел мать. Однако воспоминания членов семьи доказывают, что эта картина далека от истины. Во-первых, Кларенс и Грейс друг друга уважали и любили, и в первые 10 лет брака между ними не было серьезных разногласий. Во-вторых, оба они были люди непростые, со своими достоинствами, недостатками и странностями, и невозможно измерить, чей «положительный» или «отрицательный» вклад в воспитание детей был больше. Эрнест в раннем детстве был привязан к обоим родителям, позднее с обоими конфликтовал. В рассказах он преимущественно светлыми красками изобразил мужчину, похожего на отца, и черной — женщину, похожую на мать. Но на то у него были причины, возникшие, когда он стал уже взрослым.

На первый взгляд семьи Кларенса и Грейс похожи: респектабельные, консервативные, религиозные. В действительности они сильно различались. Эрнест Холл принадлежал к епископальной церкви, представляющей собой гибрид католичества и протестантизма, вобравший наиболее мягкие черты обеих конфессий; Ансон Хемингуэй — к конгрегационалистской: эта ветвь протестантизма восходит к первым пуританам с их суровостью и осуждением всякого веселья. Вера Эрнеста Холла, как вспоминали его внуки, была солнечной, Бога он воспринимал как защитника и друга. Вера Хемингуэев была истовой и мрачной, а центральным понятием в ней был «грех»; их Бог грозил и карал. Одна из любимых фраз Холла: «Господь на небесах — значит, все прекрасно». Для Хемингуэев присутствия Бога на небесах было недостаточно, чтобы обеспечить прекрасную жизнь: человек должен жить в строгости, неустанно бичуя за провинности себя и окружающих. Ансон Хемингуэй был серьезен, часто мрачен, настроен патриотично, любил предаваться воспоминаниям о войне, боролся против «чуждых влияний», религиозных или светских, детей держал в строгости (но неверно считать его обскурантом — жизни без образования он не признавал и гордился тем, что его предок был, как считалось, первым студентом Йельского университета). Эрнест Холл также превозносил образование, но вспоминать войну не любил, патриотизм называл «последним прибежищем негодяев», часто бывал за границей, обожал музыку, литературу и технические новшества и непозволительно по тем временам баловал детей.

Холлы были «европейцами», менее патриархальными, чем Хемингуэй; кроме того, они были гораздо богаче и жили «шикарней». В юности Грейс называли «сорванцом» — она ездила на мужском велосипеде, водилась с мальчишками, курила; ее возили в Европу и на морские курорты. Ее готовили к роли эмансипированной женщины; мать не учила ее ничему, что полагалось знать домохозяйке. В Кларенсе воспитывали трудолюбие, покорность, бережливость; мать обучила его стряпать и стирать. Грейс родители избаловали — и она стала эксцентричной, капризной, упрямой, вспыльчивой; при этом на нее никогда не давили, и у нее оказался более сильный характер, чем у Кларенса.

Грейс с юности привыкла работать и, выйдя замуж, продолжила давать уроки музыки: то был не каприз, а профессиональная деятельность, и в первое время она зарабатывала в 20 (!) раз больше мужа. Она руководила церковным хором, выступала с лекциями, давала частные концерты, писала музыку; уже в зрелом возрасте она обнаружит способности к живописи. Она участвовала в деятельности общественных организаций, боровшихся

за избирательные права женщин. Нет данных о том, что Кларенсу не нравилась эмансипированность жены; по воспоминаниям дочерей, он гордился ее положением в обществе. Он не требовал, чтоб она занималась хозяйством: в доме были кухарки, няни для детей, другая прислуга. Кларенс закупал продукты, иногда стряпал сам, возил белье в прачечную, занимался ремонтом: руки у него были золотые. Первые десять лет брака он жил в доме тестя и в глазах окружающих не являлся главой семьи — на этом основании обычно считают, что он был у жены под каблуком. Это неверно. Грейс, выйдя замуж, в некоторых вопросах под влиянием мужа сделалась более строгой, чем ее отец. Бог Холлов прощал им мелкие радости — сигары, коньяк; Бог Хемингуэв воспрещал их (Кларенс был абсолютным трезвенником), и Грейс приняла позицию мужа. Бог Хемингуэв не одобрял музыки и светского чтения — но тут Кларенс уступил жене. Они старались приспособиться друг к другу. Оук-Парк был благопристойным местом — сплошные церкви и ни одного салуна, — и очень зеленым, но Кларенс полагал, что для будущих детей обстановка там все же недостаточно здоровая. Он мечтал о ферме, и Грейс, обожавшая городскую жизнь и комфорт (вдобавок у нее была аллергия на укусы насекомых), покорилась.

Раньше американцы ездили отдыхать в Европу, но в конце XIX века бизнесмены стали развивать внутренний туризм. Северный Мичиган, отделенный от Иллинойса Великими озерами, — это девственные леса, вода, свежий воздух: как только там построили железные дороги и отели и начали писать в газетах, что отдых в Мичигане способствует укреплению здоровья, американцы хлынули туда. В 1898 году Кларенс с женой купили у фермера Бэкона участок на берегу озера Валлонского (тогда оно называлось Медвежьим), близ поселка Хортон-Бей. Построили домик: две комнаты и кухня, водяной насос, дровяная печь, камин, «удобства» во дворе, назвали все это Уиндмир. (Позднее дом многожды перестраивался.) Дорога туда занимала двое суток: пароход — поезд — пароход; в 1917-м Хемингуэи впервые приедут в Мичиган на машине (четыре дня с остановками на ночь). Купили лодку, затем другую, позже прибавилась моторка. Продукты закупали у Бэкона на ферме, кормились также пойманной Кларенсом рыбой и убитой дичью. Все было готово для появления детей. Когда Грейс забеременела, муж спросил, хочет ли она рожать в больнице. Она предпочла, чтобы роды принимал он сам. Так будет с каждым ребенком, ни один из которых — редкий по тем временам случай — не умрет в детстве.

Первенец, дочь Марселина, родился 15 января 1898 года. Второй

ребенок, сын Эрнест, — 21 июля 1899-го. Грейс решила считать их близнецами. Одинаково стригла под «боб», одевала в платья, шляпки с кружевами, звала «мои куколки», «доченьки» — об этой странности написано много работ, наиболее значительна из которых книга Кеннета Линна, представившая детство Хемингуэя как фрейдистскую психодраму; отголоски этого подхода в журнальных очерках докатились и до нас. Линн утверждает, что мать навязывала Эрнесту женскую роль и его «сексуальная самоидентификация была затруднена» — отсюда психические проблемы, в частности «комплекс кастрации»: Хемингуэй, сомневающийся в своей мужественности, был вынужден ее навязчиво доказывать. Тирания матери «объясняет его охоту к перемене мест, его двойственное отношение к женщинам, его физическое саморазрушение и фактически каждый аспект его болезненной одержимости смертью». Ненависть к матери, изломавшей половое взросление Хемингуэя, проходит через все его творчество, и когда он пишет о войне, то подразумевает войну с Грейс.

Григорий Чхартишвили в «Писателе и самоубийстве» высмеял такой подход и назвал Линна и его последователей «трупоедами». Автор данной книги дает честное слово, что, приступая к изучению жизни Хемингуэя, тоже ненавидел фрейдистов и желал защитить от них героя, но постепенно, придавленный горами фактов, которые исследователи, отстаивающие «простого и мужественного» Хемингуэя, попросту отбрасывают, был вынужден частично переменить свою позицию. Ведь слабость и сила, твердость и хрупкость, мужское и женское, безумие и здравомыслие противостоят друг другу лишь в словарях — в человеческом сердце они часто уживаются бок о бок.

Можно отмахнуться от теорий Линна — но нечестно отмахиваться от фактов, на которых они основаны. Нет доказательств того, что у Эрнеста в детстве была «затруднена сексуальная самоидентификация», но то, что его мать была, мягко говоря, «со странностями», — это факт. Другой факт: Кларенс был с юности подвержен приступам депрессии (ему никогда и в голову бы не пришло искать помощи психиатра, так что диагноз ему не ставился), которые примерно с 1903 года участились и усилились: временами он не мог видеть людей и уезжал из дому, объясняя это необходимостью «привести голову в порядок»; в конце концов депрессия привела его к самоубийству. Так что оба родителя были людьми странными. Особенности психики не обязательно передаются по наследству, но Кларенс и Грейс не просто дали детям свои гены — они их воспитывали.

Исследователи, защищающие Хемингуэя от Линна, доказывают, что до

середины XX века всех маленьких мальчиков одевали как девочек — «мальчиковой» одежды не существовало. В принципе это верно: посмотрите на детские снимки Льва Толстого или даже Владимира Высоцкого. Но если копнуть глубже, выяснится, что уже на рубеже веков мальчиков так одевали лишь до двух-трех лет, и только в платья, но не в женские головные уборы. Эрнест носил девичьи шляпки и терпел переодевания до пяти лет. Мать пыталась сломать в ребенке «мужское»? Да, так все и видится, если забыть о маленькой Марселине. Грейс переодевала не только мальчика девочкой, но и девочку мальчиком (что для того времени гораздо более странно); не только сына звала «доченькой», но и дочь — «сыночком». Из фотоальбомов видно, что «близнецы» обычно были девочками в доме, но мальчишками во время уличных игр и летом в Мичигане, где мальчишеская одежда была уместней. (Нет данных о том, как относились к этим переодеваниям Кларенс и старый Холл: возможно, не придавали значения.) А это значит, что мать стремилась не лишить сына мужественности, а сделать детей одинаковыми. Зачем?

Когда родился младший брат Грейс, все внимание родители отдали ему, а она оказалась «на обочине» — по ее мнению, этого бы не случилось, будь она и Лестер близнецами. И вот история повторилась: родилась дочь, через полтора года — сын. Грейс решила на свой лад восстановить справедливость. Она даже не отдала Марселину учиться, когда подошел ее возраст, а оставила на год дома, чтобы дети сидели в одном классе и продолжали считаться двойняшками, хотя к тому времени уже разнополыми. После этого Грейс, видимо, сочла, что все в порядке. Она родит еще трех дочерей: Урсулу (1902), Мадлен (1904), Кэрол (1911) — и сына Лестера (1915) и никого из них вообразить близнецами не будет, что, кстати, повлечет обиды: Кэрол много лет спустя напишет, что ее рождением мать и отец были разочарованы, потому что она не мальчик, а Лестер — что его не любили, потому что он не девочка. Кстати, у Эрнеста Хемингуэя тоже будут рождаться дети не того пола, какого нужно родителям...

Не стоит преувеличивать ненормальность Грейс: конечно, она не считала, что ее дети на самом деле однополые. Она вела дневник, где об Эрнесте говорится как о мальчике; о чертах его характера, которые принято считать мужскими, она писала с восхищением, в Марселине же похвальными считались девичьи добродетели. Возможно, для Грейс не так важно было уравнивать «близнецов», как привязать их друг к другу. И они долго были связаны, говорили и переписывались между собой на жаргоне, которого никто не понимал. Когда они повзрослеют и разлучатся, любовь

постепенно перерастет в неприязнь со стороны Эрнеста: Марселина, на чьей «самоидентификации» переодевания не сказались, делается самой «нормальной» из детей Кларенса и Грейс, и брат станет воспринимать ее как скучную даму. Но в первые годы жизни ближе нее у него никого не будет.

Итак, Эрнест родился: мать записала, что у него густые черные волосы, синие глаза, вес 9,5 фунта, рост 23 дюйма, громкий голос, красное лицо и он весь в дедушку, Эрнеста Холла. В октябре его окрестили Эрнестом Миллером: первое имя в честь отца Грейс, второе — ее дяди Миллера Холла, бизнесмена. Питер Гриффин, автор одной из наиболее враждебных к Грейс биографий Хемингуэя, утверждал, что в этом проявились доминантность «потрясающе глупой и бесчувственной» Грейс, ее ненависть к семье мужа и «навязывание» Эрнесту в качестве примера не отца, а дедушки. Грейс и правда обожала своего отца и навязчиво ставила его в пример, но нет никаких данных о ее конфликтах с семьей мужа, а назвали второго ребенка в честь материной родни лишь потому, что первенцу одно из имен дали в честь родни отцовой.

С малышом много нянчились, мать фиксировала все, что он сказал или сделал. Она писала, что мальчик старается ни в чем не отставать от Марселины; его руки сильнее, чем у сестры, он крепче, его единственный недостаток — много орет. Он рано начал говорить (первая осмысленная фраза была, если верить Грейс, «Я не знаю Буффало Билла») и петь, рос не по дням, а по часам, как сказочный богатырь: в два года, судя по фотоснимкам, выглядел пятилетним, в три, когда его спросили, чего он боится, завопил: «Ничего!» Ему и Марселине покупали одинаковые игрушки — кукол, чайные сервизы, — но, похоже, на «сексуальной самоидентификации» это не сказалось, ибо куклами он играл исключительно в войну. Он производил чрезвычайно много шума: сочинял и декламировал песенки в духе «Гайаваты», с грохотом носился по дому, убивая воображаемых львов и бизонов. Обожал придумывать прозвища (это у него останется на всю жизнь). Был ласковым, как теленок, постоянно лез к матери на колени, звал ее «конфеткой». К пяти с половиной годам Грейс перестала одевать его в девичьи платья и с гордостью записывала, что он — «настоящий маленький мужчина и помощник отцу». «Он носит подтяжки, совсем как папа... Считает до ста... Его музыкальный слух улучшается... Он обожает строить форты, собирает иллюстрации о русско-японской войне, любит истории о великих американцах, хорошо знает историю».

С трех лет Эрнест посещал занятия в обществе юных натуралистов

«Клуб Агассиса», названном в честь известного ученого. Кларенс в студенчестве тоже был членом этого общества, а потом возглавил его оук-паркское отделение и обучал детей наблюдениям за природой. Сохранились письма, которые он присылал им из поездки в Европу в 1895 году: «Мои дорогие мальчики, если бы вы были здесь со мной, вооруженные блокнотом и карандашом, вам пришлось бы изрядно потрудиться. Вы должны были бы описать город Дуглас, расположенный на юго-востоке острова (Мэн. — М. Ч.), приблизительно в 75 милях от Ливерпуля, 94 от Дублина и почти 200 от Глазго. <...> Здесь в большом количестве растет гигантская фуксия — ее кусты, размером с сирень в Штатах, покрыты сотнями красных и фиолетовых цветков. Деревья — преимущественно береза, очень чахлая, бук, большой и ветвистый, и фруктовые деревья, похожие на наши. Дуб и вяз попадаются, но реже, чем у нас. Мне не удалось обнаружить ни бабочек, ни комаров. Зато здесь много черно-белых сорок, больших ворон, галок, ласточек, скворцов и кукушек. Вам будет интересно узнать, что коты острова Мэн почти бесхвостые». Под руководством отца Эрнест к четырем годам различал 70 видов птиц в определителе «Птицы Америки»; в пять лет Холл подарил ему микроскоп. Грейс записывала, что он «настоящий натуралист», «любит и знает все камни, деревья, ракушки, птиц и насекомых».

В Мичиган его впервые привезли в шестинедельном возрасте; если верить записям Кларенса и Грейс, в пятнадцать месяцев ребенок поймал первую рыбу, в два с половиной года научился стрелять из ружья, в четыре — из пистолета и тогда же совершал многокилометровые переходы с ружьем на плече. Мать записала, что в первый пеший поход на Валлонское озеро дети «прошли немного»; строка зачеркнута и над ней написано рукой Эрнеста (неизвестно, в каком возрасте): «Чепуха! Прошли 130 миль». Марселина от него не отставала. Позже Хемингуэй от своих жен будет требовать умения стрелять, ловить рыбу, водить машину и делать все, что положено мужчине — возможно, тут на нем сказалось «близнецовое» воспитание.

Жили в Мичигане обычно с мая — июня по октябрь, потом, когда дети пошли в школу, пребывание там сократили до летних каникул. Из рассказов Хемингуэя о Нике Адамсе, с которым его обычно отождествляют, складывается впечатление, что в Мичигане только и делали, что охотились, купались и ловили рыбу; на самом деле лесные прогулки были не так уж часты, зато родители приучали детей работать по дому — носить воду с озера и молоко с соседней фермы (во время одного из походов за молоком Эрнест упал, проткнув горло заостренной палкой — отец едва спас его),

мыть полы — бездельничать не разрешалось. Кэрл Хемингуэй считает, что такое же искажение действительности ее брат допустил в отношении Кларенса: отец Ника Адамса только охотится и рыбачит, упоминания о его врачебной и сельскохозяйственной деятельности редки, тогда как реальный отец постоянно готовил еду, косил сено, квасил капусту, копал, полон, чинил дом, конопатил лодки. Это не совсем так: Хемингуэй упоминает, что отец Ника «колол дрова, носил воду», а один из рассказов посвящен его медицинской практике, но в целом, конечно, книжный отец преимущественно состоит из ружья и удочки. Но этот отец — не Кларенс, а рассказы о Нике — не документ: Хемингуэй взял для них из жизни своей семьи лишь то, что ему было необходимо, чтобы создать образ мальчика, который, как Маугли, вольно шатается по лесам. Рассказы о Нике — большая иллюзия, в которой виноват не автор, имеющий право выдумывать, что ему хочется, а мы сами, когда путаем художественные тексты и реальность. Вот рассказ «Доктор и его жена»^[3], в персонажах которого видят Кларенса и Грейс:

«— А ты не пойдешь больше работать, милый? — спросила его жена, лежавшая в соседней комнате, где шторы были опущены.

— Нет.

— Что-нибудь случилось?

— Я поссорился с Диком Боултоном.

— О-о! — сказала его жена. — Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

— Нет, — сказал доктор.

— Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города, — сказала его жена.

Она была членом Общества христианской науки. В полутемной комнате, на столике около кровати, у нее лежали Библия, книга „Наука и здоровье“ и журнал „Христианская наука“.

Муж промолчал. Он сидел на кровати и чистил ружье. Он набил магазин тяжелыми желтыми патронами и вытряхнул их обратно. Они рассыпались по кровати». Герой и героиня противопоставлены друг другу: он — молчаливый, работающий охотник, она — бездельница, болтливая святоша. Реальный Кларенс Хемингуэй был, как и его жена, членом Общества христианской науки, и не жена, а именно он, по свидетельству других детей, постоянно читал религиозные журналы; в 1906 году он возглавит воскресную школу при Третьей конгрегационалистской церкви и получит у прихожан прозвище «дьякон». Если бы Хемингуэй писал «все как есть» — а многие читатели убеждены, что он так и делал, ведь он же говорил, что писать надо правдиво! — рассказ не смог бы родиться. На

самом деле он всю жизнь декларировал обратное: писатель должен выдумывать, но так, чтобы выдумка выглядела убедительнее правды.

Религиозны в семье были все. Маленькие Эрнест и Марселина были чрезвычайно набожны, любили слушать псалмы, которые пела мать, и рассказы Эрнеста Холла о миссионерах и мучениках. Формально принадлежа к вере Хемингуэев, они унаследовали «домашнюю» веру Холлов; во время прогулки четырехлетний Эрнест сказал матери: «Я знаю, почему людям нужно общаться с Богом — ему одному скучно». Став взрослым, он, в отличие от большинства литераторов, рассуждать о Боге будет редко. Несколько раз в жизни он испытает прилив сильного религиозного чувства, однажды — то ли из житейских соображений, то ли из эстетических — переменит конфессию, иногда будет объявлять себя атеистом, но в целом его религиозность останется простодушно-машинальной, как у детей или людей не слишком интеллектуальных: страстные порывы и молитвы, когда «прижмет», и равнодушие в остальное время («Ужасно легко быть бесчувственным днем, а вот ночью — это совсем другое дело»), суеверные страхи (верил всевозможным приметам, носил амулеты) и привычка к ритуалам, ибо они успокаивают.

Религия Кларенса Хемингуэя требовала сурово наказывать детей: примерно с трех до четырнадцати лет их били. Многие даже в XXI веке считают, что бить детей нужно; тогда необходимость физических наказаний вообще не подвергалась сомнению. Иногда, вспыхив, детей била Грейс, но систематически — только Кларенс. Причину, по которой их наказывают, дети понимали не всегда, и им ее не объясняли. «Милое, улыбающееся выражение на лице моего отца в один миг уступало место сжатым губам и пронизывающему взгляду, — вспоминала Марселина. — Иногда переход от веселья к строгости был так резок, что мы испытывали шок, когда папа только что держал нас на коленях и обнимал, а через мгновение — из-за того, что мы что-то не так сказали или сделали, или не исполнили какую-нибудь домашнюю обязанность, о которой он внезапно вспомнил, — отсылал нас в свои комнаты, или оставлял без ужина, или бил ремнем, или ставил на колени и заставлял просить у Бога прощения». Во время битья ребенок должен был кричать — пока он молчал, наказание не прекращалось. По словам старшей сестры, только Мадлен отказывалась кричать — и ее били сильнее, чем других. До степени истязаний, впрочем, побои не доходили, так что крики ребенка означали не то, что он сломлен, а то, что он научился хитрить и угождать. Но родителей это не волновало.

Всего этого нет в рассказах о Нике Адамсе. Там есть лишь то, что нужно автору, дабы читатель увидел плохую мать и хорошего отца. От

Хемингуэя все знают, что Грейс запрещала ему употреблять «грязные» слова — «пойди и вымой рот мылом», — но из воспоминаний других детей явствует, что запрет исходил от Кларенса. Он не хотел, чтобы дети читали бесполезные книги, мечтали, бездельничали, их руки должны быть заняты физической работой, ибо праздные руки приводят к дьявольскому занятию — мастурбации; он также запрещал танцевать, играть в карты, вообще играть во что-либо по воскресеньям (жена с ним соглашалась). В рассказах о Нике есть места, где герой признается в желании убить отца и называет его жестоким. Психиатр сказал бы, что ненависть Хемингуэя к матери обусловлена тем, что она за него не заступалась (хотя из воспоминаний Марселины следует, что Грейс иногда — безрезультатно — пыталась это делать), то есть предала его. Но Кларенс не был садистом. Побои, повторим, не были чрезмерно жестоки и считались нормой. Угнетало другое: родители не интересовались причинами преступлений (к таковым относились танцы, пусть даже под присмотром учительницы, смешок во время молитвы, порванная одежда) и не спрашивали объяснений. Одного слова кухарки или соседки было достаточно, чтобы получить наказание. Лестер Хемингуэй: «Наши родители сами жили и направляли жизнь своих детей на основе викторианской морали, в которой были воспитаны; главным были правила, которые нельзя было нарушать, а личность — ее особые нужды и обстоятельства — была на втором месте». Это проявлялось во всей системе воспитания, где связь между родителями и детьми была односторонней: одни говорят, другие внимают. Ребенок мог болтать о прогулках, о здоровье собаки, но, когда родители говорили, что католики попадут в ад, а Джек Лондон непристойный писатель, у детей не могло быть своего мнения.

В первые годы Марселина и Эрнест нередко оставались на попечении дедушек — родители работали, а няньки брались для ухода, но не для воспитания. Дедушки тоже не занимались воспитанием в том смысле, какой в это понятие вкладывали Кларенс и Грейс, — они с детьми просто общались и потому, быть может, оказали на них благотворное влияние. Эрнест Холл, отошедший отдел, жил с дочерью не все время — ежегодно на несколько месяцев уезжал в Калифорнию к сыну, — но когда был дома, внуки значительную часть дня проводили с ним. Он повествовал о поездках в Европу, о молодости, проведенной на ферме — он был закоренелым урбанистом, так что нелюбовь Эрнеста к сельскому хозяйству, возможно, возникла под влиянием деда. В доме подолгу гостил Тайли Хэнкок, брат покойной матери Грейс, коммивояжер, он рассказывал о своих путешествиях. С дедушкой Хемингуэем дети тоже виделись регулярно и

слышали от него массу интересного — война, индейцы, переселенцы в фургонах; Ансон Хемингуэй подарит Эрнесту на двенадцатилетие его первое ружье.

В доме Холла жили несколько собак и кошка. Хозяин обожал животных, однажды, увидев, как извозчик бьет лошадь, тотчас выкупил ее; он сочинял для внуков «звериные» истории, они давали друг другу «звериные» имена. Чаще всего и Эрнест, и дедушка были «белками». «О braveйший друг из Уиндмира, белки горюют, что ты так надолго оставил их. Позвони им, пожалуйста, по телефону», — писал Холл, скучавший в Оук-Парке, шестилетнему Эрнесту в Мичиган. В творчестве Хемингуэя фауна занимает громадное место. Его отношение к животным — загадка посложнее, чем «сексуальная самоидентификация». Малышом он, как явствует из тетради Грейс, рыдал над издохшей мухой, пытаясь оживить ее с помощью подслащенной воды, а на другой день стрелял в птиц. Взрослым обихаживал полсотни кошек, подбирал раненых птенцов — и при этом держал бойцовых петухов и убивал животных без счета и пользы, описывая этот процесс с чувством, которое иначе как садистским назвать трудно, и поощрял своих детей делать то же. Муки лошади, раненной быком, вызывали у него мучительную жалость — но смотреть, как бык наносит смертельный удар лошади, а матадор — быку, он любил больше всего на свете. Вероятно, это противоречие он унаследовал от отца. В детстве Кларенс мечтал быть ветеринаром и, став человеческим доктором, пользовал своих и соседских зверей. В доме постоянно лечились детеныши животных; если кто-то из них умирал или дети находили погибшее животное, отец велел их хоронить. Одновременно с этим Кларенс обожал охоту, мотивируя свою любовь тем, что это занятие богоугодное (Бог, охота и рыбалка у него ходили рука об руку: поздравляя сына с 15-летием, он напишет: «Я рад и горд, что ты стал таким большим и мужественным парнем и продолжишь свое развитие в гармонии с нашими высшими христианскими идеалами. Надеюсь, что к моему приезду ты поймаешь большую рыбу»). Психиатр сказал бы, что он, работавший гинекологом и задавленный женой и четырьмя дочерьми, искал область, где мог утвердить свою мужественность.

Подходить к Кларенсу с экологическими мерками XXI века нелепо. Он в молодости провел много времени среди индейцев и воспринял их отношение к природе: он не нуждался в охоте ради пропитания, но все же кормился тем, что убивал, и ругал детей, если они убивали не ради еды. Но, пожалуй, он чересчур рано научил их убивать вообще. Вряд ли два с половиной года — самый подходящий возраст для знакомства ребенка с

настоящим оружием. Возраст велит ему ловить, хватать, пытаться открутить лягушке лапу; обычно родители велят не обижать животных, и детский садизм проходит. Но Эрнеста одновременно учили тому, что мучить животных нельзя, и тому, что убивать их нужно; зверька можно взять в дом и лечить, а потом выпустить и застрелить — как трехлетний ребенок может в этом разобраться? Он должен выдумать какую-нибудь теорию, примиряющую противоречия. Лестер вспоминал, что старший брат, убивая зверя, объявлял, что «дарует ему смерть». Эрнест видел, как отец-ветеринар умерщвляет больных животных; возможно, соединив это с охотой, он убедил себя, что, убивая, несет благо («белочке теперь не больно...»). Можно предложить и другое объяснение: с младенчества погруженный в мир природы, он ощущал себя ее частью, и в нем, как и в отце, возобладала «индейская психология»: человек и животное равны, сегодня я охотник, ты добыча, завтра наоборот, так устроен мир.

Правда, народы, живущие охотничьим промыслом, убивают не ради забавы; их дети, конечно, развлекаются, охотятся, но они также и учатся выживать, в чем у белого жителя Чикаго надобности нет. Но опять-таки как трехлетнему в этом разобраться?

В апреле 1905 года старый Холл вернулся из Калифорнии больным — у него был нефрит. Несколько недель он пролежал полупарализованным. Не хотел умирать развалиной, пытался застрелиться, домашние помешали. Умирая, сказал дочери, что Эрнест далеко пойдет, если использует свое воображение в добрых целях, и «кончит тюрьмой, если встанет на неверную дорожку». Грейс получила большое наследство. Тотчас, не слушая возражений, продала дом; осенью, по возвращении из Мичигана, семье пришлось снимать меблированный дом на соседней улице. Чердак дома Холлов был забит старыми вещами: «Свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал». Все эти восхитительные предметы (или мерзкое барахло) были сожжены; этот эпизод Хемингуэй описал в рассказе «На сон грядущий» вкупе с другим, случившимся позднее, — как мать Ника Адамса уже в новом доме побросала в костер вещи мужа: индейские топоры, ножи, наконечники для стрел. Некоторые биографы отмечают второй случай как принципиально важный: то, как Грейс уничтожила коллекцию Кларенса (и этим актом совершила символическое «убийство» мужа), вынудило мальчишку принять сторону отца. Хемингуэй писал о кострище не ребенком, а зрелым мастером, и заставил читателя видеть произошедшее так, словно коллекция была для Кларенса единственно

важной в жизни вещью: жена уничтожила ее — и у человека ничего не осталось. Для реального Кларенса, судя по воспоминаниям родных, содержанием жизни были работа, воспитание детей, сельское хозяйство, и от потери нескольких сувениров он не особенно пострадал. Писатель на то и писатель, чтобы уметь расставить акценты, как ему нужно; один хемингуэвед со знанием дела сказал, что использование беллетристики Хемингуэя в качестве источника информации о его жизни должно считаться таким же неприличием, как курение в ресторанах, чавканье за едой и порча воздуха в церкви.

Летом 1905-го Грейс проектировала новый дом. Она купила участок по адресу Норз-Кенилворт-авеню, 600, где под ее руководством был выстроен трехэтажный особняк: восемь спален, медицинский кабинет с отдельным входом для Кларенса, музыкальный салон высотой в два этажа, с огромным балконом. Детей было уже четверо — каждому отвели комнату (в доме Холла Эрнест и Марселина спали в одной). В 6 лет Эрнест вместе с семилетней Марселиной, уже одетый как подобает мальчику, пошел в начальную школу имени знаменитого медика Оливера Уэнделла Холмса. Школа была «продвинутой»: детей обучали чтению с помощью фонетических упражнений, основанных на рифме («близнецы» Хемингуэев, правда, уже умели читать и писать), учили рисовать, поощряли творчество. Насколько можно судить по воспоминаниям родных и педагогов, Эрнест был благополучным ребенком: легко усваивал предметы, с учителями не конфликтовал, охотно, в отличие от Тома Сойера, ходил в церковь. Сохранилось одно из первых его сочинений (1908 года): «Меня зовут Эрнест Миллер Хемингуэй, я родился 21 июля 1899 года. Мои любимые писатели — Киплинг, О. Генри и Стюарт Эдвард Уайт (американский автор книг о приключениях и путешествиях. — М. Ч.). Мои любимые цветы — Леди Слиппер (орхидея-туфелька, дикорастущий цветок Северной Америки. — М. Ч.) и тигровая лилия. Мои любимые виды спорта — рыбная ловля, ходьба пешком, стрельба, футбол и бокс. Мои любимые предметы — английский, зоология и химия. Я собираюсь путешествовать и писать книги».

Деньги Грейс позволили улучшить жилищные условия и в Мичигане: перестроили Уиндмир, а также купили по другую сторону Валлонского озера ферму площадью в сорок акров — Лонгфилд-фарм. Теперь Кларенс мог выращивать фруктовые деревья, овощи, картофель. Наняли работника, помогали также старшие дети. Собранный урожай частично продавался, хотя необходимости в этом не было: дети должны привыкать зарабатывать. Никто из детей не был в восторге — они предпочитали проводить время с

книгой, удочкой или ружьем, как это делает Ник Адамс. Доить корову или чистить птичник им не нравилось — и Ник в рассказах не занимался подобными вещами. Отец обучал их управлять лодкой, колоть дрова, разводить костры — вот это они любили. В 1907 году в семье поселилась тринадцатилетняя девочка Рут Арнольд, дочь ирландских иммигрантов: она была ученицей Грейс, но платить ее родители не имели возможности, и Рут стала работать нянькой младших детей. Она обштопывала и обшивала семью — Грейс ничего этого не умела. Дети, в том числе Эрнест, очень любили Рут; впоследствии она сыграет заметную роль в семейных скандалах, но поначалу все было безоблачно. Первая серьезная туча нависла над семьей в октябре 1909 года: Кларенс, переживая очередную депрессию, уехал скитаться и прислал жене письмо с инструкциями на случай его смерти — впрямую о самоубийстве не говорил, но велел обратиться к врачам, которые помогут избежать проблем с коронером, вызубрить историю, которую она будет рассказывать представителям страховых компаний (он застраховал свою жизнь в нескольких фирмах на 50 тысяч долларов), и «не говорить ничего лишнего». Однако вернулся живым.

Спустя год Эрнест совершил первое дальнее путешествие. Грейс хотела, чтобы дети видели не только лес, но и море, которое она обожала (один из ее дедов был капитаном корабля) и где ребенком проводила каждое лето. Кларенс был к морю равнодушен, и Грейс с 1909 года стала ездить без него, но с кем-нибудь из детей (по достижении ими одиннадцати лет) на остров Нантукет^[4] на берегу Атлантического океана, где начинается действие «Моби Дика». Очередь Эрнеста пришла в августе 1910 года. Поселились в доме подруги Грейс: та была феминисткой и в доме проходили оживленные собрания, на которых Эрнест спал. В 1951 году он скажет Карлосу Бейкеру о поездке, что Грейс хотела сделать его таким же снобом, как она, и для этого притащила в общество снобов, где он страдал. Отец подарил Эрнесту реку и лес, мать — океан. Он примет оба подарка, но за первый будет благодарен всю жизнь, а за второй — только в раннем детстве. Тогда, в 1910-м, ему, похоже, все нравилось. Грейс зафиксировала в тетради его вопли при виде моря: «Вау!!! Мама! Какой прибой!!!» — вряд ли она выдумала их.

Мать плавала как рыба, он тоже; купались часами. Для рыбалки Грейс арендовала парусную лодку — годом раньше, когда она посещала Нантукет с Марселиной, это развлечение было ею запрещено как опасное для жизни, но мальчик — другое дело. Ходили в море вдвоем, один раз попали в шторм, но смогли пришвартоваться около спасательной станции.

Культурная программа тоже была — Грейс пела, сын слушал (скучал), ходили в музеи, познакомились с писателем Остином Стронгом, внуком жены Стивенсона. Эрнест собирал для «Клуба Агассиса» водоросли, камни, ракушки; рыбак предложил купить лапу альбатроса за два доллара, мать сказала, что нужно посоветоваться с отцом, списались, Кларенс ответил, что два доллара не шутка, а лапа может быть подделкой, надо проверить. Грейс с Эрнестом долго совещались, проверить не сумели и лапу решили не покупать. Несмотря на некоторые странности в характерах родителей, в тот период это была нормальная дружная семья. Домой Эрнест вернулся, по воспоминаниям родных, ошалевшим от счастья и свой первый рассказ написал именно о Нантукете:

«Понедельник, 17 апреля 1911, Эрнест Х. Мое первое морское путешествие. Я родился в белом домике на острове в Массачусетсе. Моя мать умерла, когда мне было четыре года, и мой отец, капитан трехмачтовой шхуны „Элизабет“, взял меня и моего маленького брата в путешествие вокруг мыса Горн к Австралии. Стояла прекрасная погода, и мы могли наблюдать, как бурые дельфины резвятся вокруг корабля и как большие белые альбатросы летают над океаном в поисках добычи; матросы поймали одного на наживку из бисквита, но отпустили обратно, потому что они верят, что альбатрос приносит несчастье. Однажды матросы поймали дельфина (или морскую свинью, как они его называют), и мы ели его мясо на ужин: оно напоминает свинину, только нежнее. После чудесного путешествия мы прибыли в Австралию и так же благополучно вернулись домой». Удивительно, что Линн не привел этот рассказ в качестве доказательства ненависти Эрнеста к Грейс — ведь «моя мать умерла»! На самом деле ребенок просто изложил биографию своего двоюродного деда Тайли.

Дома отец и мать развивали детей каждый на свой лад. Грейс возила их в Чикаго на оперные спектакли, симфонические концерты, выставки картин, учила рисовать. Кларенс водил на футбольные матчи, в музей естествознания, зоопарк, цирк; по выходным они ходили (прихватив соседских детей) в ближайший лес или на реку — кататься на коньках. Отец всегда брал их туда, где случалось что-нибудь — пожар, ураган — не ради любопытства, а чтоб узнать, нужна ли помощь; пострадавшим приносили продукты и одежду. В итоге получалось то, что называют разносторонним воспитанием. Говорить, что Эрнест отвергал «городскую» культуру, которую несла мать, и принимал модель отца, где центром были природа и спорт, — значит упрощать ситуацию. В «Празднике, который всегда с тобой» герой ходил на скачки и бокс, но он также «почти каждый

день» посещал Люксембургский музей «из-за Сезанна».

Вечером родители читали старшим детям вслух: мать — Диккенса, Твена, Стивенсона, отец — рассказы из религиозных журналов «Святой Николай» или «Спутник юноши». «Аморальный» Джек Лондон запрещался, но тут выручала школьная библиотека. Любимым героем Эрнеста был уже не Буффало Билл, истребивший американскую природу, а другой знаменитый охотник — Теодор Рузвельт, в 1901 году ставший самым молодым президентом США и воплощавший образ героя, спортсмена, «настоящего мужчины», победителя жадных трестов и плохих народов; Рузвельт ездил в Африку охотиться на львов, дитя мечтало повторить его маршрут и подвиги. О политике после смерти старого Холла говорили редко и не при детях, Эрнест знал только, что «Хемингуэи за республиканцев», и был расстроен, когда Рузвельта в 1909-м сменил Уильям Тафт. В 1912-м Рузвельт вновь баллотировался — и проиграл демократу Вудро Вильсону. Это было горем для всей семьи.

Каникулы проводили в Мичигане. «Самые веселые дни в моей жизни были те, когда я мальчишкой просыпался утром, и мне не надо было идти в школу, и не надо было работать. По утрам я всегда просыпался очень голодным и чувствовал запах росы на траве и слышал, как ветер шумит в верхушках деревьев, если было ветрено, а если ветра не было, тогда я слышал лесную тишину и покой озера и ловил первые утренние звуки. Первым звуком иногда был полет зимородка над водой, такой спокойной, что его отражение скользило по ней, а он летел и стрекотал на лету. Иногда это цокала белка на дереве около дома, подергивая хвостом в такт своему цоканью. Часто это был голос ржанки, доносившийся с холмов. И всякий раз, когда я просыпался и слышал первые утренние звуки, хотел есть и вспоминал, что ни идти в школу, ни работать не надо, мне было так хорошо, как никогда больше не бывало». Так говорит персонаж одного из хемингуэевских романов; реальному Эрнесту бездельничать не позволяли.

Семья регулярно навещалась в Хортон-Бей, где была цивилизация — почта, магазин, церковь; подружился с местным кузнецом Дилуортом и его женой Бет, с другими курортниками, обедали в кафе, которое содержали Дилуорты. Кларенс легко сходился с людьми, социальное положение для него значения не имело — он прятельствовал с работниками, индейцами, неграми; когда ехали поездом, беседовал с кондукторами, водил детей позвать руку машинисту. Грейс была высокомерна и подобного общения избегала — но в Мичигане все было не так, как в Оук-Парке, и она дружила с Дилуортами, чье положение в обществе было несравнимо с ее собственным. Иногда ее светские манеры помогали в делах практических:

когда нужно было везти в Мичиган любимицу Эрнеста, кошку с котятками (что воспрещалось правилами проезда по железной дороге), ее вручали Грейс — кондукторы не смели заподозрить солидную даму, даже если в ее корзинке что-то пицало. Однажды кондуктор решился заметить, что пассажирка пытается провезти кошку — Грейс, восседающая на крышке мяукающей корзины, заявила, что он, должно быть, сошел с ума. Внешне она была похожа на фрекен Бок из нашего мультфильма — крупная, полная (а Кларенс длинен и худ как щепка), представительная дама с прической и в очках, — но иногда могла пошалить, как и та.

В 1913 году «близнецы» окончили начальную школу. Разница в возрасте теперь была очень заметна: Марселина выглядела девушкой, вытянулась до 5 футов 8 дюймов и была выше всех в классе, рост Эрнеста — 5 футов 4 дюйма. Обоих эта разница — в целую голову! — сильно угнетала. Их отдали учиться в среднюю (у американцев она называется высшей) школу Ривер-Форест. Обучение продолжалось четыре года, школа была первоклассная, вроде наших гимназий с гуманитарным уклоном. Основные предметы — английский язык и литература (сперва английские баллады, отрывки из Библии, Теннисон, Кольридж, Вальтер Скотт, позднее — Шекспир, Диккенс и современные писатели, например Уэллс), история, латынь, французский, математика, биология. Родители предполагали, что оба ребенка поступят в университет, сами они тоже так думали, поэтому выбрали (в большинстве учебных заведений США предметы можно выбирать) серьезные дисциплины: английский, алгебру, латынь. С последней у Эрнеста было так худо, что Грейс, сама ненавидевшая этот предмет, наняла репетитора. В английском языке Эрнест делал ошибки (некоторые из них сохранит на всю жизнь), но его сочинения с первого года зачитывались перед классом как образцовые. Сочинения были либо о природе («как я провел лето»), либо на литературные («образ родины у Теннисона») или этические («что такое Хороший Поступок») темы, и родители ими гордились — в 77 лет Грейс скажет интервьюеру, что, хотя некоторые считают книги ее сына великими, по ее мнению, он писал лучше, когда был школьником.

Английский сперва вел заведующим Фрэнк Платт, потом его сменили молодые учительницы Маргарет Диксон и Фанни Биггс. Диксон, по воспоминаниям учеников, выделялась своим либерализмом — поощряла учеников писать эссе и рассказы, старалась заинтересовать их театром и кинематографом; Эрнеста она назвала «самым блестящим» учеником, какой ей попадался. Она презирала Теодора Рузвельта и превозносила Вудро Вильсона: поколебать любовь Эрнеста к первому ей не удалось, но

второго он благодаря ее урокам оценил. Биггс руководила литературным кружком, членов которого отбирала по итогам первого курса: обычно в нем было около двадцати пяти человек, собирались раз в неделю, вслух читали и обсуждали написанное. Товарищи Эрнеста вспоминали, что разница между тем, что писали они, и тем, что писал он, была как между землей и небом. Фанни Биггс также отозвалась о нем как о своем лучшем ученике. Она познакомилась с его родителями, стала другом Грейс. Ее он любил больше, чем Диксон, и их отношения были доверительнее: ей он напишет письмо, чтобы похвалиться первыми профессиональными успехами. Из других предметов он блистал в биологии, неплохо знал историю. Отношения с педагогами были в пределах нормы; конфликтовал он только с директором школы Макдэниелсом, который превыше всего ставил дисциплину и, по мнению учеников, весь день бродил по школе, подслушивая через вентиляционные отверстия. Одноклассники вспоминали, что Эрнест мог часами обсуждать его злодеяния.

По настоянию матери дети пели в церковном хоре, играли на музыкальных инструментах. Для Эрнеста Грейс выбрала виолончель, которую он невзлюбил всей душой. Много лет спустя, в знаменитом интервью, данном Джорджу Плимптону, он, солидный человек и нобелевский лауреат, выдумает, что мать на целый год забрала его из школы и он занимался только виолончелью, на которой играл «хуже всех в мире». Все его сестры и братья были еще живы и, вероятно, удивились, но его такие вещи никогда не смущали. Взрослым человеком он не станет играть на музыкальных инструментах, но будет любить классическую музыку, вкус к которой привила Грейс; что же касается виолончели, то, по свидетельству одноклассников, он вполне сносно играл на ней в церковном и школьном оркестрах.

Отец выбрал для мальчишки основной вид спорта — американский футбол (не имеющий, как известно, ничего общего с нашим); сперва он был для этой игры мал и недостаточно быстр, потом вытянулся и стал чересчур велик (на старшем курсе вырос до 5 футов 11 дюймов и весил 150 фунтов, вдобавок у него были такие большие ноги, что на них не нашлось бутс) и опять же медлителен, мучился, но старался, чтобы доставить отцу удовольствие, — и в конце концов преуспел и пару раз бывал отмечен как лучший игрок. Он также занимался в секциях плавания, велосипеда, водного поло (тут преуспевал сразу и стал капитаном команды), ходил с сестрой на подготовительные курсы в университет, две зимы работал в школьном кафетерии, однажды получил роль в любительском спектакле и на некоторое время «заболел сценой». В конце 1914-го он впервые увлекся

девочкой, хотел учиться танцам, родители скрепя сердце позволили, но танцы ему не давались, а к девочке он охладел.

В 1911-м Марселина и Эрнест прошли конфирмацию в Третьей конгрегационалистской церкви, а в 1915 году семья перешла в Первую, которую посещали Ансон Хемингуэй с родней. «Близнецы» вступили в организацию христианской молодежи «Плимутская лига», где Эрнест занимал ведущие роли — спикера, председателя, казначея; собирались по воскресеньям, дискутировали о благочестии и делах повседневных: учеба, турпоходы. Язык у Эрнеста оказался великолепно подвешен, и он записался сразу в три дискуссионных клуба: «Клуб Ханна», где бизнесмены рассказывали о своих достижениях, «Клуб Берка», где обучались ораторскому мастерству, имитируя парламентские прения, и «Клуб старшеклассников», члены которого рассказывали друг другу нравоучительные истории. Эта часть его жизни для рассказов о Нике Адамсе не подходила.

Едва научившись читать, он пристрастился к спортивным страницам в газетах, особенно к отчетам о боксерских поединках, знал по именам всех «звезд», но лишь в начале 1916 года ему купили «грушу» и разрешили заниматься боксом: впоследствии он рассказывал, будто учился у профессиональных боксеров из Чикаго, но найти этих учителей не удалось и члены семьи факт не подтвердили, хотя, возможно, он и мог взять несколько уроков так, что дома об этом не знали (или забыли). По рассказам домашних, боксировал он с одноклассниками в музыкальной студии Грейс, которая этому не препятствовала, хотя и разгоняла мальчишек, когда, по ее мнению, «бокс переходил в драку». Он также говорил всем, что повредил левый глаз во время занятий боксом — на самом деле глаз плохо видел уже при рождении, за что он попрекал мать, передавшую ему свой недостаток, как если бы она сделала это сознательно.

В школе с 1912 года выпускалась газета «Трапеция»: сперва это было нерегулярное издание, в котором сотрудничали один-два ученика, но преподаватель Артур Боббит превратил его в подобие профессиональной газеты со штатом редакторов и репортеров. Зная от Диксон и Биггс о литературных успехах Эрнеста, Боббит предложил ему сотрудничать — тот неожиданно отказался, заявив, что не умеет выражать мысли на бумаге. Боббит настоял на своем, и Эрнест стал постоянным репортером, а на последнем курсе — одним из шести соредакторов «Трапеции». Писал он дома: из денег, заработанных на ферме, родители разрешили ему купить пишущую машинку, вещь тогда довольно дорогую. Его первый материал появился 20 января 1916 года — отчет о выступлении чикагского

симфонического оркестра. За два последних года в школе он опубликовал 37 статей. Как положено репортеру, привирал: описал секцию винтовочной стрельбы, хотя секции как таковой не было — просто группа мальчишек, увлеченных оружием. Писал бойко, в юмористическом, часто «хулиганском» тоне: «Хемингуэй завладел мячом. Мисс Биггс упала в обморок. Тренера Туистлуайта без чувств унесли с поля. Тайм закончился, когда Толстый Тод уже отправил материал цензору. <...> Последние отчеты сообщали, что Хемингуэй выздоравливает, однако врачи опасались, что потеряли его. Позднее восторженная толпа собралась на его похороны». Директор школы, прочтя это, пришел в ярость, но Боббит защитил своего репортера.

Первым литературным образцом, которому Эрнест подражал, был Ринг Ларднер, спортивный обозреватель «Чикаго трибюн», автор коротких рассказов. Американскому читателю не нужно объяснять, что такое проза Ларднера, но у нас его творчество почти неизвестно, так что приведем отрывок из рассказа («Искусство дорожного разговора»):

«— Мне нужно будет послать телеграмму из Гранд-Айленда.

— А если я пошлю телеграмму, то когда она дойдет до Элкхарта?

— Сегодня вечером или завтра утром.

— Я хочу написать своей сестре.

— Так напишите из Гранд-Айленда.

— Думаю, я подожду и напишу ей из Фриско.

— Но до Сан-Франциско еще больше двух дней.

— Мы по пути будем переводить часы, не так ли?

— Да, мы будем переводить часы в Норт-Платте.

— Тогда, пожалуй, я напишу ей из Гранд-Айленда.

— Вашей сестре, вы сказали?

— Да. Моей сестре Люси. Она замужем за Джеком Кингстоном.

Слышали про „шины Кингстона“?

— На месте зуба сразу ощущается пустота, — сказал Чэпмен».

Похоже на знаменитые «хемингуэевские диалоги»? Да вроде похоже... Но у Хемингуэя в диалогах часто (не всегда) есть глубокий подтекст. У Ларднера никаких особенных подтекстов не было. Он умел изображать то, что видел и слышал. Он писал первоклассные спортивные репортажи — специфический вид искусства. Скотт Фицджеральд сказал о нем: «Представьте себе человека, который смотрит на жизнь как на завершённую последовательность физических действий — подъем, тренировка, удачная игра, массаж, душ, ужин, любовь, сон, — представьте себе, что человек так и живет, а теперь вообразите, что с такой меркой он

попытается подойти к настоящей жизни, где все ужасающе сложно и переплетено и даже величайшие идеи и свершения тонут в сплошной путанице. Вообразите все это, и вы почувствуете, какое смятение должно было охватить Ринга, когда он покинул свой бейсбольный стадион и вышел в реальный мир. Он по-прежнему отмечал и записывал, но уже ничего не придумывал, и это механическое накопление, которым он занимался до смертного часа, отравило ему последние годы жизни». Некоторые критики предъявляют тот же упрек Хемингуэю.

В «Трапеции» Эрнест учился не только писать, но и редактировать чужие тексты — возможно, это впоследствии помогло ему резать собственные. В школе с 1896 года выходило еще одно периодическое издание — литературный журнал «Табула», которым руководил Платт. Эрнест вновь засмутился и не пожелал сотрудничать, но Фанни Биггс, как считается, без его ведома передала Пратту рассказ «Суд Маниту» (The Judgment of Manitou), который Эрнест написал для литературного кружка. Рассказ вышел в «Табуле» в феврале 1916 года — это первый опубликованный беллетристический текст Хемингуэя. Охотник подозревает своего товарища в краже бумажника и ставит на него капкан, тот попадает; первый обнаруживает, что бумажник стащила белка, и, мучимый раскаянием, сам попадает в капкан: таково правосудие Маниту, духа леса. Через два месяца в «Табуле» появился второй рассказ, «Все дело в цвете кожи» (A Matter of Colour): спортсмен вспоминает случай, когда он, будучи менеджером белого боксера, который должен был драться против черного, нанял человека, чтобы негра исподтишка ударили битой по голове, а этот человек ударил белого и потом объяснил, что «не различает цветов». Третий рассказ, «Сепи Жинган» (Sepi Jingan), был опубликован в ноябре: мальчик-индеец два года обдумывает месть другому индейцу, убийце его сестры, сам попадает к нему в руки, но его спасает любимая собака, чьим именем и назван рассказ.

Все три истории кровавые (один из преподавателей потом сказал, что не понимает, как столь благочестивый ребенок мог так хорошо писать о преступных материях) и наивные, с одним и тем же зачином: «Вы когда-нибудь слышали историю о первом бое Джо Гана? — спросил старый Боб Армстронг, стягивая перчатку» — так начинается рассказ о боксе. «Я когда-нибудь рассказывал тебе историю Сепи Жинган? — С удовольствием послушаю» — это рассказ о собаке. Но в «Сепи Жинган» уже просматривается будущий стиль: нет излишеств, диалогические повторы создают характерный для прозы зрелого Хемингуэя ритм:

«— Сядем, — сказал Билл. — Я когда-нибудь рассказывал тебе о Сепи

Жинган?

— С удовольствием послушаю, — ответил я.

— Ты помнишь Поля Черного Дрозда?

— Это тот парень, что напился на Четвертое июля и завалился спать прямо на дороге?

— Да. Он был плохой индеец. Имел привычку напиваться каждый день и чем угодно. Но никогда не пьянел. Он пил до умопомрачения, но не мог опьянеть. Он сошел с ума, потому что не мог напиться пьяным».

Остальные публикации Эрнеста в «Табуле» были поэтические: шесть стихотворений о спорте, одно лирическое (подражание поэту Джеймсу Уиткомбу Райли), поэма о машинисте паровоза. Написал он также юмористическую пьесу «Не хуже, чем простуда» (No Worse Than a Bad Cold), но поставлена она не была. В выпускном классе полагалось написать «Пророчество» — сочинение о будущем класса, — это тоже сделал он. В «Табуле» была размещена его фотография с подписью, сделанной одноклассницей Сюзан Кеслер: «Нет никого умнее Эрни».

В школе все было благополучно, в семье — не очень. Эрнест достиг переходного возраста, и отношения с родителями стали портиться. Он был груб (во всяком случае, так им казалось), старался увильнуть от домашней работы, научился «неприличным» словам и щеголял ими так, что даже одноклассники прозвали его «грязным Эрни». Впоследствии он расскажет И. Кашкину, переводившему его книги на русский, будто дома ему было так худо, что он убежал и месяцами скитался; наивный Кашкин ему поверит и напишет: «Во время своих побегов он перепробовал работу поденщика, батрака на ферме, судомоя, официанта, тренера-ассистента по боксу». Все это выдумки. «Побег» был только один и произошел в 15 лет при следующих обстоятельствах: в Мичигане у него гостил одноклассник Гарольд Симпсон, вышли к обеду, и Эрнест поинтересовался: «Нам, что, нечего поесть, кроме этого дерьма?» Мать выгнала его и велела не возвращаться, пока не извинится, он забрал Гарольда и уплыл с ним на лодке. Утром приехал отец и обнаружил детей в доме Дилуортов, где они провели ночь. Бет Дилуорт сообщила Кларенсу, что Эрнест сказал ей, будто его прогнали навсегда и он «никому не нужен», и попросила разрешения оставить мальчиков у себя. Кларенс разрешил при условии, что они будут работать по дому. Это продолжалось несколько дней, после чего Эрнест вернулся в семью и принес извинения. Марселина считала, что он затаил злобу на Бет Дилуорт, «предавшую» его, и потом вывел ее в рассказе «У нас в Мичигане». Это маловероятно: он долго сохранял с миссис Дилуорт хорошие отношения и переписывался с нею.

В рассказе «Отцы и дети» герой замечает, что у него не было ничего общего с отцом с пятнадцати лет (с матерью, если судить по рассказам, вообще никогда не было). Причину охлаждения к отцу он не объясняет. Он обмолвился, что отец ничего не смыслил в некоторых сторонах жизни, например, в сексуальной, и изыскатели цепляются за эту фразу; но такая обычная для начала прошлого века вещь вряд ли могла стать поводом к отчуждению. Сестрам Эрнеста показалось, что отец и сын начали отдаляться друг от друга раньше, лет в 12–13, и инициатором этого был не Эрнест, а Кларенс: он не сердился на сына, а просто стал равнодушен к детям. Пикников, совместной охоты и рыбалки уже не было. Дети ходили в лес сами по себе, отец — в одиночку; ранее живой и общительный, он замыкался, терял интерес к окружающим.

У Грейс с годами портился характер (невозможно разобраться, портился ли он из-за душевного расстройства мужа, или муж охладил к семье из-за характера жены — такие вещи в браке закольцованы, как курица и яйцо). Детям она запомнилась вечно «на нервах», о каждой мигрени громогласно оповещался весь дом, по пустякам закатывала чудовищные истерики.

«Жить с мамой было все равно что жить внутри театрального спектакля, — писала Кэрол. — Она входила и играла главную роль, но потом уходила за кулисы, где ее заботили какие-то свои дела, а не события из нашей жизни». Оба родителя все чаще «уходили в себя» и предоставляли детям свободу; младших уже не наказывали так, как старших, и следили за ними слабее. Эрнест, по воспоминаниям сестер, был самостоятельным и хозяйственным, руководил сборами в походы, прекрасно готовил на костре, все делал методично и тщательно, спутники могли не бояться, что какая-нибудь нужная вещь поломается или не хватит еды. Летом 1915 и 1916 годов ему с товарищем, Луисом Клэраханом, разрешили самим добираться в Мичиган и обратно. Пароходом они приплывали в поселок Уанкам, а дальше шли пешком, питаясь пойманной рыбой. Во время этих походов Эрнест делал в записных книжках заметки для рассказов, столь же кровавых, как и те, что публиковались в «Трапеции»: «Манселона. Дождливая ночь. Лесоруб. Индейская девушка. Убивает себя и девушку».

В Уиндмире он обозначил свою территорию: спал в гамаке на заднем дворе или «разбивал лагерь» в миле от дома, днем проводил время в Хортон-Бей. Там общался с Дилуортами, с местным лесорубом Ником Боултоном, с ровесником-индейцем Билли Табшоу, с дочкой Боултона Пруденс — она, как считается, «выведена» в рассказах о Нике под именем

Труди. Ник с нею потерял невинность, но Эрнест — вряд ли: это грозило бы невероятным скандалом. Он подружился с курортниками, братом и сестрой Смит, гостившими у тетки, миссис Чарльз: Кэтрин было 24 года, Биллу 21, но они приняли мальчишку, признав его первенство во всем, что касалось рыбалки, разведения костров и знания местности.

С Марселиной, у которой уже появились дамские интересы, они отдалились друг от друга; теперь его «близнецом» стала Мадлен по прозвищу Санни («солнышко»), бывшая пятью годами младше. Мадлен обычно считают любимой сестрой Хемингуэя — она была похожа на него внешне и «позиционировала» себя как самую преданную сестру: обожала брата, не позволяла критики в его адрес, перепечатывала его рукописи, ревновала к женам и Марселине, написала книгу, представлявшую жизнь в семье как абсолютную идиллию. Однако из переписки, ставшей доступной в более поздние годы, явствует, что близок с Мадлен Эрнест был лишь недолгий период: первая любовь, Марселина, и тихая, незаметная Урсула занимали в его сердце больше места. С Кэрл, вспыльчивой и неуравновешенной, у него были сложные отношения — бурные ссоры, ревность. Лестер был слишком мал, чтобы с ним общаться, но позднее именно он сформулирует суть (как она ему представлялась) отношений Эрнеста с младшими членами семьи: «Эрнест никогда не был удовлетворен, если рядом с ним не было „брата по духу“. Он нуждался в ком-то, перед кем мог хвалиться и кого мог поучать. Ему требовалось безоговорочное восхищение. Лучше всего было, если младший его немного побаивался». Лестер всю жизнь не мог скрыть зависти к знаменитому брату и писал о нем много несправедливого, но здесь он, вероятно, прав. От сестер Эрнест страха не ждал, напротив, защищал их, но в их «безоговорочном восхищении» нуждался — оттого, может быть, и сблизился с Мадлен, глядевшей ему в рот.

Летом 1915-го они с Мадлен охотились на озере и убили синюю цаплю, редкую птицу, охраняемую законом, но домой отнести не решились, бросили в лодке. На следующий день в Уиндмире появился охотинспектор. Кларенса не было дома, Грейс клялась, что ее дети законопослушны, но у инспектора имелись доказательства; пришлось заплатить штраф в 15 долларов. Виновник, по свидетельствам членов семьи, был перепуган до полусмерти: ему уже виделась тюрьма. В 1950-е годы он попытается писать роман «Последняя хорошая страна» (The Last Good Country; работа не завершена, фрагмент опубликован в 1987 году в сборнике «Полное собрание рассказов Хемингуэя») — о том, как Ник Адамс, нарушивший закон, решается бежать из дома, а с ним бежит его сестра Малышка, для

которой он — любимый человек и даже, по ее убеждению, единственно возможный муж (Мадлен Хемингуэй выйдет замуж за мужчину по имени Эрнест и сына назовет Эрнестом). Он был склонен преувеличивать грозящие неприятности. А неприятности продолжались: за полгода до окончания его едва не исключили из школы.

Кроме «Табулы» и «Трапеции», юный литератор, как оказалось, был сотрудником выпускаемого в одном экземпляре журнала «Джаз» (на английском это двусмысленное, по тем временам неприличное выражение), где публиковались картинки вроде тех, что рисуют на стенах туалетов. Журнал делали пять человек и передавали из рук в руки, но по чьей-то оплошности он в январе 1917 года попал к учителям. Преступников вызвали к директору, тот требовал исключения, но вступились Биггс и Платт, просили дать детям закончить школу. Макдэниелс в конце концов уступил, но угроза долго висела над головами, школа гудела, учителя переругались. Фанни в столовой облила Макдэниелса водой — класс аплодировал ей стоя. Все это время родители четырех мальчишек бегали к директору, умоляя о прощении. Отец и мать пятого, Эрнеста Хемингуэя, не появились. По их понятиям сын совершил такое преступление (страшнее нецензурщины и порнографии было разве что умышленное убийство), что они как христиане не имели права его защищать. Они не разговаривали с сыном, избегали соседей и в школу так и не пришли. По мнению Фанни Биггс, Эрнест им этого не простил.

Только утряслась эта история, как случилась другая: на весенних каникулах Эрнест (уже прощенный родителями) с друзьями разбил лагерь на берегу реки, недалеко от жилого района, мальчишки шумели, окрестные жители грозились «разобраться», ночью на лагерь кто-то напал. Эрнест в темноте швырнул во врага топор, был уверен, что совершил убийство, убежал, прятался, потом выяснилось, что он никого не задел, а нападавшие оказались его же одноклассниками: все посмеялись и забыли, он помнил долго, переживал. В июне 1917-го он заканчивал школу. Его судьба обсуждалась весной. О карьере музыканта Грейс уже не помышляла — годом раньше она позволила ему бросить игру на виолончели. Отец, ранее предполагавший, что сын станет врачом, тоже оставил эту идею и теперь хотел, чтобы он вместе с Марселиной поступил в Оберлин-колледж. Марселина так и сделала, но Эрнест не захотел. Он так и не получит высшего образования.

С одной стороны, диплом был ему не очень нужен. В школе Ривер-Форест он изучил курс литературы, близкий к университетскому, и основы журналистики — достаточно для писателя. Он всю жизнь будет делать

орфографические ошибки, и институт вряд ли бы это изменил. С другой стороны, высшее гуманитарное образование дает основательность и широту кругозора, которых даже в самой лучшей средней школе не получишь. Оно также — особенно если получено в престижном учебном заведении — повышает статус: к человеку, «не кончавшему университетов», но работающему в интеллектуальной сфере, образованные люди могут отнестись с пренебрежением, а если и не отнесутся, так он сам будет чувствовать себя среди них чужаком: Хемингуэй — будет и это создаст ему проблемы в общении с коллегами. В 17 лет о таких вещах не задумываются, и он не пожелал учиться. Хотя, возможно, не пожелал из гордости — ведь отец предлагал ему заштатный Оберлин-колледж, а не престижный университет.

Шестого апреля США объявили войну Германии, Эрнест решил завербоваться в армию, отец сказал, что он слишком молод. На семейном совете был найден разумный компромисс между армией и университетом: работа журналиста. Брат Кларенса Тайлер, преуспевающий бизнесмен, жил в Канзас-Сити, где выходила газета «Канзас-Сити стар», считавшаяся одним из лучших американских периодических изданий, и был знаком с выпускающим редактором газеты Генри Хаскеллом; он обещал, что осенью мальчика возьмут в «Стар».

Проводя последние каникулы в Мичигане, Эрнест нашел нового друга — отпускника Карла Эдгара, ухаживавшего за Кэтрин Смит. Карл был на несколько лет старше Эрнеста, жил в Канзас-Сити, служил клерком в нефтяной компании. Кларенс дружбу одобрял: ему казалось, что солидный Эдгар окажет на сына хорошее влияние. Но влияние оказал скорее младший на старшего. С этим мы столкнемся не раз: в юности Эрнест Хемингуэй каким-то образом умудрялся подчинять людей значительно старше себя. Он заражал их бешеной детской энергией и при этом казался разумным, положительным и деловитым. Самые несбыточные затеи в его изложении выглядели здоровыми; он знал расписания поездов и пароходов, умел составить маршрут и рассчитать бюджет — это производило на окружающих впечатление. Через Марселину он познакомился с другим взрослым, журналистом Грамбалом Уайтом, которого спросил, что нужно делать, чтобы стать писателем; Уайт отвечал, что для этого нужно писать и что работа в газете — отличная школа.

В октябре Эрнест уезжал в Канзас-Сити. Отец провожал его: «Он боялся ехать и не хотел, чтобы кто-нибудь догадался об этом, и на станции, за минуту перед тем, как проводник поднял его чемодан с платформы, он хотел уже стать на нижнюю ступеньку вагона, но в это время отец

поцеловал его на прощанье и сказал: „Да не оставит нас Господь, пока мы с тобой будем в разлуке“. Его отец был очень религиозный человек, и он сказал это искренне и просто. Но усы у него были мокрые, и в глазах стояли слезы, и Роберта Джордана так смутило все это — отсыревшие от слез проникновенные слова и прощальный отцовский поцелуй, — что он вдруг почувствовал себя гораздо старше отца, и ему стало так жалко его, что он еле совладал с собой». Эту цитату из романа «По ком звонит колокол» приводят все биографы — а что делать, если других источников, которые могли бы что-то сообщить о чувствах Эрнеста, не существует? Наверное, так все и было... а может, не совсем так или совсем не так.

Глава вторая СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА

В «Стар» предпочитали не приглашать профессионалов, которые получали большие деньги, а натаскивать молодежь: Эрнест словно оказался на старшем курсе факультета журналистики, где знания закрепляются на практике. Был и учебник: «110 пунктов», составленные основателем «Стар» Уильямом Нельсоном и дополненные ее редакторами. Кроме правил орфографии, пунктуации и синтаксиса, там были рекомендации литературного характера. «110 пунктов» требовали краткости, ясности, простого и энергичного языка. Писать нужно короткими предложениями. Они должны быть утвердительными, а не отрицательными. Жаргонные слова используйте только самые свежие. Избегайте прилагательных, особенно оценочных, как «потрясающий», «грандиозный». Каждое слово должно быть точным: нельзя писать, что кто-то получил «серьезную травму», любая травма серьезна, пишите либо «опасная», либо «незначительная». Хемингуэй говорил, что именно этот документ научил его писать и что всякий писатель должен соблюдать эти правила. Утверждение спорное, но сам он «110-ю пунктами» руководствовался, во всяком случае, поначалу.

Дядя отвел его в редакцию «Стар», Хаскелл представил его Джорджу Лэнгену, редактору городских новостей, и его взяли репортером с месячным испытательным сроком: оклад 15 долларов в неделю, рабочие часы с 8.00 до 17.00, один выходной. Его непосредственным начальником был Пит Уэллингтон, заместитель Лэнгена, которого Хемингуэй потом назовет «педантом» и прибавит, что очень рад, что ему пришлось работать под началом такого человека. Эрнесту поручили быть репортером в суде, но вскоре он попросил работы побольше — тогда ему выделили полицейский участок, вокзал Юнион-стейшн и Главную больницу. В Канзас-Сити жило более 300 тысяч человек, город растущий, высокая преступность. «В участке на 15-й улице вы сталкивались с преступлениями, обычно мелкими, но вы никогда не знали, не натолкнетесь ли на крупное преступление. Юнион-стейшн — это все, кто приезжал в город и уезжал из него... Здесь я познакомился с некоторыми темными личностями, брал интервью у знаменитостей. Главная больница находилась на высоком холме над Юнион-стейшн, и там вы сталкивались со многими происшествиями и выясняли подробности преступлений».

Стажер был энергичен, как бомба; Уэллингтон вспоминал, что он имел

привычку выезжать с бригадой «скорой помощи» на каждый вызов, не предупредив редакцию, а когда случалось что-то серьезное, его порой не оказывалось на месте: «Он всегда хотел находиться непосредственно на месте событий, и я думаю, это проявилось в его последующих работах». Как и его отец, он моментально сходил с санитарами, полицейскими, бродягами. В поисках происшествий был ненасытен — и словно притягивал их: «Повезло мне с большим пожаром. Даже пожарные держались осторожно. А я пробрался за линию оцепления и мог видеть все, что происходит. Это была отличная история...»

Его первая профессиональная работа была опубликована 16 декабря 1917 года и называлась «Керенский». Это не о нашем политике, а о еврейском мальчике Лео Кобрине, получившем прозвище из-за внешнего сходства с председателем Временного правительства. Лео служил курьером, был известен как боксер и зарабатывал боями перед аудиторией из взрослых мужчин. «Он так мал, что, кажется, его еще шлепают. Но никто не поступит так с Лео. Хотя его рост намного меньше пяти футов, он широк в плечах, и даже посыльные, эти казаки делового мира, уважают его. <...> Смешно было видеть, как два карапуза колотят друг друга и сцепляются в отчаянной схватке. Иногда они не успевали стащить перчатки, как болельщики с ревом окружали их, пытаясь втиснуть монеты в их затянутые руки». Возможно, автору (который был лишь двумя годами старше Лео) казалось, что он лишь следует «110 пунктам», но получился текст не просто профессиональный: в «Керенском» уже просматриваются тематика и стиль будущего творчества — жесткий мир мужчин, достоинство маленького человека, мрачная ирония, разве что сентиментальности больше, чем в зрелых рассказах. «После тяжелых дней в старой России жизнь для Лео полна радостей, и кто скажет, что он не реализовал свои возможности? Изредка он рассказывает о своем прошлом. Однажды под Рождество рабочие сахарной фабрики под Киевом сделали крест из льда и установили его на замерзшей реке. Крест упал, и они обвинили в этом евреев. Рабочие устроили погром, разоряя склады и разбивая окна. Лео и его семья прятались на чердаке трое суток, и его сестра заболела пневмонией».

Он легко собирал материал, но писание давалось трудно; он многократно переделывал даже заметки из одного абзаца. Всего в «Стар» было опубликовано 12 его работ. Две посвящены будням «скорой помощи»: одна представляет собой сухой отчет о случае, когда полицейские, обнаружив на вокзале человека, больного оспой, отказались везти его в больницу (биограф Мэттью Брукколи придумал легенду, будто Хемингуэй

на руках отнес больного в машину и доставил в больницу, хотя из заметки явствует, что его увезла прибывшая час спустя «скорая»), другая — рассказ о разных трагических происшествиях, местами достигающий такой выразительной силы, что отказываешься верить, что это писал 18-летний мальчик.

«Ночные санитары спускались по темным коридорам больницы с неподвижным грузом на носилках. Они зашли в приемный покой и потом перенесли на операционный стол человека, находящегося в бессознательном состоянии. Его руки были в мозолях, он был одет в грязные лохмотья — жертва драки на городском рынке. Никто не знал, кто он такой, но при нем обнаружилась квитанция об уплате десяти долларов — в счет платежа задом в маленьком городке штата Небраска. Хирург оттянул вспухшие веки. Глаза повернулись влево. „Перелом левой стороны черепа“, — сказал он ассистентам. „Что ж, Джордж, тебе не придется выплатить остальные деньги за твой дом“.

„Джордж“ приподнял руку, словно пытаюсь нащупать что-то. Ассистенты поспешно схватили его, чтобы он не скатился со стола. Но он только ощупал свое лицо усталым, рассеянным движением, в котором было что-то почти комичное, а потом снова уронил руку. Через четыре часа он умер. Это был лишь один из многих случаев, которые происходят в городской больнице из ночи в ночь — и изо дня в день; но ночами, пожалуй, шире диапазон смертельных трагедий, а порой и комедий из жизни города».

«Вошел пожилой печатник с рукой, распухшей от заражения крови. В его руке застрял кусок металла. Хирург сказал ему, что они должны будут ампутировать его левый большой палец. „Как же так, док? Вы ведь не взаправду хотите сделать это? Для меня это хуже, чем если у подводной лодки срезать перископ... Я не могу, не могу без этого пальца. Я привык работать по старинке... Я делал по шесть гранок в день, когда еще не было линотипов. Даже сейчас я им нужен, я делаю тонкую ручную работу... И тут появляетесь вы и отнимаете мой палец. Как, по-вашему, я смогу держать резец в руке? Как же это, док?“ С вытянутым лицом, с опущенной головой, он, прихрамывая, ушел. Французский художник, который решил покончить с собой, потеряв правую руку, возможно, понял бы, какую борьбу с собой пришлось пережить старику, когда он остался один в темноте. Позже той ночью печатник возвратился. Он был сильно пьян. „Теперь делайте ваше дело, док, делайте ваше чертово дело“, — говоря это, он плакал».

Если журналист так пишет в 18 лет — что ж будет, когда он вырастет?!

Но журналистике Хемингуэя не суждено развиваться прямо по восходящей. На будущий год он перестанет писать трагические истории из жизни, переключившись на фельетоны, иногда очень хорошие; потом, набив руку, съедет на средний уровень; уехав в Европу, сперва займется зарисовками, обнаружив великолепный дар пейзажиста, затем неожиданно проявит себя как тонкий международный обозреватель; позднее, реализовавшись как беллетрист, будет обращаться к журналистике от случая к случаю, порой блистая, а чаще оказываясь ниже уровня, с которого начал. У кого, кроме авторов «110 пунктов» и Уэллингтона, он учился? Обычно его наставником считают Лайонела Мойса, старого репортера, обладавшего феноменальной памятью и работоспособностью (но, увы, алкоголика). Не нужно переходных параграфов, вводных фраз, говорил Мойс, тексты следует сокращать, сушить. Впоследствии Мойс хвалил хемингуэевских «Убийц» — диалог, действие, минимум описаний, — но на вопрос, повлиял ли он на мальчишку-стажера, отвечал отрицательно. Его называют другом Хемингуэя, но это преувеличение — они общались всего несколько раз.

Образцом для подражания также мог быть Беррис Дженкинс, публицист, накануне приезда Эрнеста в Канзас вернувшийся из Европы: он побывал на фронтах, общался с американскими, итальянскими и французскими военными и написал об этом серию статей. Нет данных, что Хемингуэй знал Дженкинса (хотя с его сыном позднее был знаком), но он читал его работы в «Стар»; канзасский исследователь Стив Пол убежден, что тексты Дженкинса оказали влияние на художественную прозу Хемингуэя, особенно на роман «Прощай, оружие!», где автор подражал стилю старшего коллеги, а также использовал сведения, почерпнутые из его статей. Были и другие опытные журналисты — у каждого он чему-то учился. «Как все настоящие писатели, Хемингуэй имел свой собственный путь, свободный от чьих-либо влияний, — сказал Мойс, — но в том, как эффективно он умел использовать то, чему учился у других, проявлялась гениальность».

Взрослый Хемингуэй говорил, что не любит журналистику. Но тогда он был по уши увлечен ею: Карл Эдгар, у которого он поселился после того, как прожил месяц в семье дяди и стал тяготиться опекой, вспоминал, что Эрнест не давал ему спать беспрестанными рассказами о работе. Перед родными, правда, он свой щенячий энтузиазм пытался скрыть, писал, кокетничая, что работы навалом, он бы и рад передохнуть, но что делать, коли «Стар» ни минуты не может обойтись без него? (Писал он домой на бланках газеты или — еще круче — полицейского управления.) Восторг прорывался лишь в письмах Марселине: «Скажу тебе, детка, газетный

бизнес — вот это жизнь. Начнем с того, что здесь я встречался и говорил с генералом Вудом (Леонард Вуд, генерал-майор американской армии, друг Т. Рузвельта. — М. Ч.), лордом Нортклиффом (британский государственный деятель), Джессом Уиллардом (знаменитый боксер), вице-президентом Фэрбенксом (Чарльз Фэрбенкс был вице-президентом США как при Рузвельте, так и после него), капитаном Баумбером из британской армии, генералом Каппером из Канзаса и множеством других. Вот это жизнь! А еще я могу теперь с закрытыми глазами различить на вкус кьянти, мальвазию, кларет и массу других напитков. <...> Я могу посылать к черту мэра и хлопать по спине полицейских начальников. Да, вот это — настоящая жизнь!»

На самом деле он не видел ни Вуда, ни Нортклиффа, не посылал к черту мэра (которого также не видел) и вряд ли хлопал по спине начальников. Все это безобидные выдумки. Но они положили начало другим, уже не столь безобидным. Он сообщил Марселине, что его пригласили в штат газеты «Сент-Джозеф газетт», но он отказался, потому что предложили мало денег, тогда как в «Стар» он зарабатывает «по-королевски» — да и как не зарабатывать, если «вчера в номере было шесть моих текстов и один на первой странице»? В Оук-Парке канзасские газеты не получали, но ведь когда-то могли и проверить, было у него шесть текстов в номере или нет. В письмах родителям он был скромнее. Объяснял матери, почему не ходит в церковь по воскресеньям, времени нет: «Мамочка, не волнуйся, не плачь, не сердись, что я перестал быть хорошим христианином. Я такой же, как прежде, молюсь каждый вечер и верую так же крепко. То, что я — веселый христианин, не должно тебя беспокоить». Сообщал, что не водится с девушками — опять же недосуг. Да и какие могут быть девушки, если он познакомился с кинозвездой Мэй Марш и она любит его? (Марселина, которой он сообщил об этом, позволила себе усомниться.)

Он работал в «Стар» семь месяцев и получил всё, что ему недодала школа — набил руку, приобрел наметанный глаз репортера. Происшествия, трагические и комические, давали литературный материал: как считается (с его слов), он написал много историй о Канзас-Сити, но они были утеряны, остались лишь два рассказа, сделанных на материале репортерской работы в «Стар» — «Гонка преследования» (*A Pursuit Race*, 1927), и «Счастливого рождества, джентльмены» (*God Rest You Merry, Gentlemen*, 1933). Уэллингтон позднее сказал Чарльзу Фентону, одному из первых хемингуэеведов, что уже тогда, по его мнению, мальчик «мог написать великий американский роман».

Научился и плохому: он держался со взрослыми как равный, пил наравне с ними, и никто не пытался его остановить. Он казался очень здоровым физически и душевно, и никому не приходило в голову, что склонность к алкоголю у «мальша» может развиваться сверх меры; впрочем, в те времена о таких вещах вообще не беспокоились. По сей день идут споры о том, был ли Хемингуэй алкоголиком, а если был, то когда стал. Из письма И. Кашкину: «Я пью с пятнадцатилетнего возраста, и мало что доставляло мне большее удовольствие. Когда целый день напряженно работала голова и знаешь, что назавтра предстоит такая же напряженная работа, что может отвлечь лучше виски? Когда ты промок до костей и дрожишь от холода, что лучше виски подбодрит и согреет тебя? И назовет ли кто-нибудь средство, которое лучше рома дало бы перед атакой мгновение хорошего самочувствия?» Насчет возраста — обычная для Хемингуэя выдумка, но уже лет с двадцати и на протяжении всей жизни он, по свидетельствам окружающих, употреблял спиртное практически ежедневно (исключая редкие периоды воздержания по медицинским показаниям), но, опять же за редкими исключениями, держался прямо, рассуждал ясно и казался почти или совсем трезвым. Лучше бы не казался...

В свободное время он ходил на футбольные матчи и боксерские поединки, посещал спортзал — если когда-то и брал серьезные уроки бокса, то именно в этот период, — и бесконечно мог толковать о спорте с приятелями, которыми обзаводился с легкостью. Уэллингтон: «Это был крупный, добродушный парень, всегда готовый улыбаться, и он дружил со всеми в редакции, с кем ему приходилось сталкиваться». Преимущественно он «тусовался» с молодыми репортерами, из которых ближе всего сошелся с Чарльзом Хопкинсом — вернувшись в Оук-Парк, он говорил Фанни Бригс, что именно Хопкинс поддерживал его в намерении стать писателем: «Не позволяйте никому говорить, что вас учили писать. Это было в вас заложено от рождения».

Потом в газете появился новый репортер, 22-летний Тед Брамбак, недоучившийся в Корнеллском университете из-за травмы, приведшей к потере глаза; в 1917-м он четыре месяца водил санитарную машину во Франции. В 1936-м Брамбак написал для «Стар» краткую биографию Хемингуэя и многократно рассказывал о их знакомстве: Эрнест сидел за столом и печатал — «приблизительно каждая десятая буква не попадала на ленту. Он не обращал на это никакого внимания. Точно так же он не замечал, когда две буквы сталкивались. Закончив печатать, он отдал текст копиисту и повернулся ко мне: „Довольно дрянная копия получилась, —

сказал он с улыбкой. — Когда я в ударе, эта проклятая машинка доводит меня до бешенства. Иногда я даже не могу прочесть написанное. Через минуту меня позовут перевести, что я написал. Они поругивают меня, но все равно печатают все, что я написал“. — „Ваши пальцы не успевают за вашими мыслями“. — „Вроде того“».

Тед был на войне, все были, один Эрнест не был — так жить невозможно. Дженкинс описывал храбрость и бедственное положение итальянцев, говорил, как им необходима помощь Америки. Каждый номер «Стар» содержал материалы об американских добровольцах, отправляющихся в Европу. Хемингуэй написал девять заметок на эту тему, особое внимание уделив танкистам — танки впервые были использованы в ту войну и поражали воображение читателей: «Экипаж ведет огонь под непрерывный стук пуль по броне, звучащий словно дождь по металлической крыше. Снаряды разрываются вокруг танка, и вот прямое попадание сотрясает монстра. Но танк колеблется лишь мгновение и стреляет. Колючая проволока смята, траншеи преодолены и пулеметные гнезда втоптаны в грязь. Потом раздается свист, задний люк открывается и мужчины, покрытые копотью, с лицами, черными от порохового дыма, один за другим появляются из узкого отверстия, глядя, как местность затопляет коричневая волна пехоты. Можно возвратиться в лагерь и передохнуть. „Нам нужны бойцы для службы в танковых экипажах, — сказал лейтенант Кутер. — Настоящие мужчины, которые рвутся в бой“». Естественно, Эрнест не видел, как снаряды разрываются вокруг танка, он и танка не видел. Лейтенант рассказал ему, как это бывает, а он написал. Но вот кто сказал ему, что стук пуль по броне похож на звуки дождя? Сам догадался?

Настоящие мужчины рвутся в бой — он должен быть среди них. Эту идею он не оставлял с первых дней работы в «Стар». В ноябре писал Марселине, что вступит в канадскую армию, а также в Национальную гвардию Миссури. «Поверь, я пойду не потому, что хочу славы и орденов, а потому, что, если не пойду, после войны не смогу смотреть людям в глаза». Потом доложил, что завербовался в Национальную гвардию и проходит обучение. Это было вранье, но он знал, что Марселина его не проверит. Ему тогда не приходило в голову, что дотошные биографы будут проверять все.

Считается (пусть читатель наберется терпения — это слово будет встречаться все чаще), что Эрнест много раз пытался попасть в армию, но на вербовочных пунктах ему отказывали из-за проблем со зрением. Подтверждений этому не нашлось, но вряд ли можно сомневаться в его

намерении уехать на фронт. Он обещал Марселине, что так или иначе попадет туда: «Не могу допустить, чтобы такое шоу обошлось без меня». Наконец они с Тедом Брамбаком решили, что отправятся на фронт шоферами санитарных машин (Карл Эдгар записался в ВМС), и в феврале завербовались в американский Красный Крест. В начале марта Эрнест сообщил об этом родным, сказал, что отбудет в Европу в конце апреля. Отец не стал возражать. Сын все время теперь проводил с Брамбаком, от Эдгара съехал, снял отдельную квартиру — быть может, Кларенс подумал, что уж лучше военная дисциплина, чем такая вольница. Марселина получила отдельное письмо: «Скоро мы расстанемся, дорогая, но не говори ничего семье. Это большое облегчение — наконец участвовать в чем-то». И заявил, что напрасно сестра не верит его рассказу о Мэй Марш. «Детка, я вовсе не шутил... Если она когда-нибудь станет госпожой Хэм — о, какое это было бы счастье...» Его последняя статья в «Стар», «Война, искусство и танцы», была опубликована 21 апреля. Коллеги сказали, что это потрясающая вещь. И это была уже не журналистика:

«Снаружи по влажному тротуару, освещенному фонарем, под мокрым снегом, шла женщина. Внутри, в Институте искусств, на шестом этаже здания по адресу Макги-стрит, 1020, веселая толпа солдат из Кэмп-Фанстон и Форт-Ливенворт (военные лагеря. — М. Ч.) носилась в буйном фокстроте с девушками из Института искусств, молодой человек с серьезным лицом исступленно молотил по клавишам, наигрывая новейший джазовый мотив и наблюдая за движущимися фигурами. В углу доброволец-связист говорил об Уистлере с темноволосой девушкой, которая ему поддакивала. До войны он был членом артистической колонии Чикаго. <...> Толпа мужчин окружила девушку в красном платье, все хотели с ней танцевать. А под окнами по мокрому тротуару взад и вперед ходила женщина.

Пианист вновь занял свое место, и солдаты снова приглашали девушек. В перерывах между танцами пили за здоровье друг друга. Девушка в красном платье, окруженная толпой мужчин в оливковых мундирах, села за пианино, мужчины и девушки собрались вокруг нее и пели до полуночи. Лифт уже не работал, и они кубарем скатились с шестого этажа и умчались в автомобилях, которые ждали их. Когда последний автомобиль отъехал, женщина, шагавшая по мокрому тротуару, остановилась и стала глядеть на темные окна шестого этажа».

Это написано человеком с безошибочным чувством цвета и текстуры — словно смотришь на картину и одновременно трогаешь ее: бодрое оливковое и тревожное красное внутри, темное, озябшее и одинокое снаружи. Знаменитый «принцип айсберга», суть которого — не

растолковывать, что да почему, а давать лишь намек, чтобы стимулировать воображение читателя, — Хемингуэй сформулирует намного позднее, но он написал «Войну, искусство и танцы» в соответствии с этим принципом. Кто эта женщина? Молодая она или старая? Почему она печальна (автор ничего не сказал о ее душевном состоянии, но оно очевидно), какие отношения связывают ее с танцующими мужчинами? Или ее мужчина уже убит, и девушка в красном, что сейчас веселится, скоро тоже будет брести по мокрому тротуару и заглядывать в чьи-то темные окна? Над этим рассказом думаешь в двадцать раз дольше, чем читаешь его.

Тридцатого апреля Эрнест и Тед в последний раз получили жалованье, и «Стар» сообщила читателям, что они отбывают на итальянский фронт. Неделю они провели в Оук-Парке и на Валлонском озере с Эдгаром и Хопкинсом, также ожидавшими отправки на фронт, думали, что отпуск продлится месяц, но уже через неделю получили телеграмму — 8 мая нужно быть в Нью-Йорке. Кларенс взял слово с Теда, что тот будет правдиво писать ему о делах сына, — на правдивость самого Эрнеста, видимо, полагаться не стоило.

Они так торопились, что приехали в Нью-Йорк, не успев толком собрать вещи, но до отправления прошло еще три недели. Жили в отеле с другими семьдесятю волонтерами, проходили медосмотры — здоровье Эрнеста было превосходное, но ему рекомендовали носить очки, он совет проигнорировал. 12 мая Красный Крест произвел волонтеров в звание почетных лейтенантов и выдал униформу. Спустя неделю они участвовали в параде: на трибуне стоял сам Вудро Вильсон, и Эрнест, по воспоминаниям Брамбака, был «безумно взволнован». Ходили на фильм с Мэй Марш — Эрнест написал Марселине и репортеру Дэйлу Уилсону, что обедал с нею и она согласилась выйти за него замуж. Те, кто считает Хемингуэя позером, говорят, что, отправляясь на итальянский фронт, он уже сознательно лепил биографию героя. Но при этом не учитывается его возраст, а черты прославленного «Папы» проецируются на мальчишку. Один из самых младших волонтеров, восемнадцатилетний юноша, о котором никто из очевидцев не сказал «мужчина», а только «мальчик» или «мальш», сочиняющий басни о кинозвездах, проходящий перед государем, обезумев от волнения, — это не холодный честолюбец, а Петенька Ростов; сходство почувствовал Виктор Некрасов, в рассказе «Посвящается Хемингуэю» проведя параллель между этими двоими через третьего персонажа, связиста Лешку: «Пацан ведь, совсем пацан... А туда же со взрослыми».

Распространено также мнение, что, поскольку Эрнест говорил, что

воспринимал войну как футбольный матч или шоу, ему было все равно, на чьей стороне воевать; это вряд ли верно, сослуживцы вспоминали, что он, как подобает американцу, «чувствовал себя участником крестового похода за демократию». Война против кайзера европейцами воспринималась как конфликт демократических стран с милитаристской монархией, а Штаты вступали в нее, руководствуясь программой «14 пунктов», предложенной Вильсоном: обустройство послевоенного мира на основе принципов международного права. Да, Эрнест ощущал войну как игру — но играть мог только за «хороших парней».

Отплыли 23-го, дорога была скучной, никаких опасностей. Однажды показалось, что немецкая субмарина преследует пароход (к восторгу Эрнеста), один раз был шторм (Эрнест писал домой, что четыре). Офицерский бар, опять выпивка, от которой никто не предостерегал, покер, практиковались в итальянском и французском. Прибыли в Бордо, оттуда поездом в Париж, там повезло: артобстрел. Взяли с Тедом такси и потребовали от шофера гоняться по городу за падающими снарядами, дабы написать репортаж. Один раз догнали — у церкви Святой Магдалены. «Мы услышали свист снаряда над головами, — писал Брамбак. — Звук был такой, что, казалось, снаряд должен попасть прямо в такси, где мы сидели». Провели в Париже двое суток, затем отбыли в Милан. Своими появлениями они словно притягивали беду: в день прибытия, 7 июня (подругам источникам — 4-го), взорвался военный завод, на котором работали женщины, и прямо с поезда новобранцев отправили вытаскивать из-под завалов изуродованные трупы. В Хемингуэе — ведении популярна «теория раны» (ее развивали Филип Янг, Малкольм Каули, Эдмунд Уилсон и многие другие): физическое ранение, которое Эрнест получил 8 июля, так повлияло на него, что он всю жизнь не мог отделаться от темы смерти, войны и убийства. Но, пожалуй, душевные раны он начал получать намного раньше: «После того как мы добросовестно разыскали все целые трупы, мы стали собирать найденные части. Эти отдельные куски нам чаще всего пришлось извлекать из остатков колючей проволоки, которая плотным кольцом окружала территорию завода...» Представьте, что в пять лет вы уже убивали, в восемнадцать с утра до вечера бегали по моргам и операционным, а за два месяца до девятнадцатилетия голыми руками вытаскивали из колючей проволоки оторванные ноги, груди и головы женщин. Удастся вам потом найти тему, сравнимую с этой?

«Внешний вид мертвых до их погребения с каждым днем несколько меняется. Цвет кожи у мертвых кавказской расы постепенно превращается из белого в желтый, желто-зеленый и черный. Если оставить их на

продолжительный срок под солнцем, то мясо приобретает вид каменноугольной смолы, особенно в местах переломов и разрывов, и отчетливо обнаруживается присущая смоле радужность. Мертвые с каждым днем увеличиваются в объеме, так что иногда военная форма едва вмещает их, и кажется, что сукно вот-вот лопнет. Иногда отдельные члены принимают огромные размеры, а лица становятся тугими и круглыми, как воздушные шары». Эти слова, как и процитированные выше, писал зрелый, тридцатидвухлетний Хемингуэй. Тот мальчишка не написал ничего и, как и его приятели, делал вид, что не произошло ничего особенного: «Я помню, как, вернувшись в Милан, двое-трое из нас обсуждали это происшествие и единодушно высказали мнение, что благодаря необычному, почти неправдоподобному виду мертвых и отсутствию раненых, катастрофа показалась нам менее ужасной, чем это могло бы быть».

В Италии работало пять отделений американского Красного Креста, в каждом по 25 санитарных машин «форд» и 50 человек персонала. Эрнеста и Теда в числе двадцати пяти новобранцев повезли в город Виченца, а оттуда в 4-е отделение, дислоцировавшееся в городке Шио в 180 километрах к востоку от Милана (не потому, что там половина народу погибла, а просто у многих вышел срок службы). Хемингуэй продолжал притягивать происшествия: хотя под Шио итальянская и австрийская армии давным-давно не стреляли, в день приезда новичков вдруг случился артобстрел. Эрнест вновь пришел в восторг: «Гостевая команда начала грязную игру. Чем-то ответят наши?» Домашняя команда ответить не успела — обстрел закончился так же беспричинно и загадочно, как начался. Никто не пострадал. Похоже, это было сделано специально, чтобы доставить развлечение парню.

Он попал в превосходное общество. Сослуживцы были выпускниками или студентами лучших американских университетов: Принстон, Бостон, Корнелл; инспектор от правительства Великобритании назвал волонтеров «отборными цветами Америки». Студенты моментально передружились (они продолжают встречаться в течение сорока лет после возвращения с фронта); высокий интеллектуальный уровень, разговоры о литературе — словно кто-то задался целью компенсировать Эрнесту то, что он не окончил университета. В тот период он не проявлял неприязни к «дипломированным», напротив, тянулся к ним, кроме того, у него было чем их «уесть»: он работал журналистом, тогда как многие из них еще слушали лекции. В 4-м отделении выпускалась еженедельная газета «Чао»: номер, вышедший после прибытия новичков, содержал призыв пополнить ряды авторов — «нам известно, что среди них есть кое-кто очень талантливый».

Кое-кто не заставил себя упрашивать и в следующий номер дал рассказ в манере Ларднера «Эл снова получает письмо»: «Ну вот, Эл, мы уже здесь, в этой старенькой Италии, и раз уж я попал сюда, то и не собираюсь отсюда выматываться. Совсем не намерен. И это не шутка, Эл, а чистая правда. Я теперь офицер, и, если бы ты повстречал меня, ты должен был бы отдать мне честь. Я являюсь временно исполняющим обязанности младшего лейтенанта без офицерского чина, но беда в том, что все остальные ребята имеют такое же звание. В нашей армии, Эл, нет рядовых...»

Иногда о работе американских шоферов в Италии пишут как о синекуре: это неверно, большинство машин работали с полной нагрузкой, но в Шии действительно царило безделье. Военные действия не велись, раненых не было, шоферы загорали и играли в бейсбол. Эрнест бесился: война была рядом, но его обходила. Брамбаку он сказал, что уволится из Красного Креста, если в ближайшие дни в Шии не начнется война, и поедет туда, где она есть. В безделье прошло больше двух недель. Сослуживец Эрнеста Фредерик Шпигель вспоминал, что он «хандрил и ныл все сильнее». Маялся не он один: как только стало известно, что можно перейти на другую работу — обслуживание армейских лавок, — пять человек, включая Эрнеста и его нового друга, выпускника Принстонского университета Билла Хорна, записались туда. Они прибыли в Местр, где оказались под началом капитана Джеймса Гэмбла, занимавшегося распределением продуктов. Красный Крест обслуживал 17 армейских лавок (они располагались в одном помещении со столовыми). Работа небезопасная — столовые находились менее чем в двух километрах от передовой, и незадолго до прибытия Эрнеста американский волонтер был убит, — но очень скучная. Хорн не выдержал и вернулся в Шию, а Хемингуэй сказал Гэмблу, что может развозить продукты на велосипеде прямо в окопы. Это длилось шесть дней; итальянские солдаты успели привязаться к «малышу».

Он писал родителям^[5]: «Знаете, говорят, что в этой войне нет ничего веселого. Так оно и есть. Я не хочу сказать, что это ад, потому что эти слова порядком заездили с тех пор, как их произнес генерал Шерман. Но было по крайней мере восемь случаев, когда я не отказался бы от ада — потому что это вряд ли было бы хуже тех переделок, в которые я попадал. Например, в траншее во время атаки, когда в то место, где стоишь, попадает мина. Вообще, мина — это не так уж плохо, если это не прямое попадание. Но после прямого попадания ты весь оказываешься забрызган тем, что осталось от твоих приятелей. „Забрызган“ — это буквально». Тут, видимо, до него наконец дошло, что таких вещей родителям писать нельзя, но

письма он не порвал, а лишь сделал приписку: «За те шесть дней, что я провел на передовой, в пятидесяти метрах от австрийцев, я приобрел репутацию человека, заговоренного от пули. Эта репутация сама по себе немногого стоит, если ты на самом деле не заговорен. А я, кажется, заговорен».

Сглазил: ночью 8 июля, когда он отвозил продукты на передовую, близ деревни Фоссальта его тяжело ранило. Это — факт; что касается обстоятельств ранения, они до сих пор неясны, поскольку сам раненый, его знакомые и биографы окружили инцидент множеством выдумок. Наиболее доверчивые пишут, будто огонь вызвал сам Эрнест, взяв у солдата винтовку и выстрелив в сторону австрийцев, или что огонь велся по итальянскому снайперу, занимавшему позицию на ничейной земле, а он этого снайпера вытащил. На самом деле неизвестно, чем был вызван огонь (перестрелка велась постоянно); снаряд из австрийского траншейного миномета, начиненный шрапнелью и взрывчатыми веществами, разорвался рядом с Эрнестом. Его ранило в обе ноги и контузило, он пытался помочь другому раненому, но тут его подобрала санитары. Брамбаку он потом сказал, что ничего не помнит: «Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало горячо и мокро, и башмаки стали горячие и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился, и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и где-то там было колено, вывернутое на сторону. Я вытер руку об рубашку. И откуда-то стал разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. „Господи, — сказал я, — вызволи меня отсюда!“». Ощущения — единственное, чего нельзя выдумать.

Его доставили в полевой госпиталь, где он провел пять дней. Множественные ранения в обе ноги, особенно сильно было повреждено правое колено — оно уже никогда не будет нормально функционировать. Считается, что в этом полевом госпитале, когда он думал, что не выживет, его (протестанта) крестил католический священник Джузеппе Бианки, — история темная, хотя Бианки — реальное лицо, с которым он впоследствии еще встретится. Потом его перевели в госпиталь Красного Креста в Милане.

«Когда уходишь на войну мальчишкой, тобой владеет великая иллюзия бессмертия. Других убивают, но не тебя. Потом, когда тебя в первый раз тяжело ранят, эта иллюзия пропадает, и ты понимаешь, что это может случиться с тобой». Это писал много позже взрослый человек; тогдашний мальчишка отправил родителям совершенно детское письмо — не то чтобы

хвастался, просто не понимал, что матерям такие вещи писать не следует: «Видите ли, они думали, что у меня прострелена грудь — вся рубашка у меня была в крови. Но я заставил их стащить с меня рубашку (белья на мне не было), и оказалось, что мое старое доброе туловище цело и невредимо. Тогда они сказали, что я, возможно, останусь жив. Это меня ужасно обрадовало. Я им сказал по-итальянски, что хотел бы увидеть свои ноги, хотя и боялся на них смотреть. Они сняли мои штаны — и мои конечности оказались на месте, но на что они были похожи! Никто не мог понять, как я мог проползти 150 метров с таким грузом, с простреленными коленями, с пробитой в двух местах правой ступней, — а всего было больше двухсот ран». (Брамбак, чтобы успокоить родителей, написал им, что Эрнест дает честное слово больше на передовую не ходить.)

Впоследствии Хемингуэй неоднократно редактировал обстоятельства своего ранения с той же тщательностью, с какой писал. Окончательная редакция звучала так: был ранен осколками мины, вытащил на себе другого раненого, полз с ним 150 метров до перевязочного пункта, пока полз, еще раз был ранен пулеметной очередью. Приврать он, как мы уже знаем, любил, к тому же ему было 19 лет — в таком возрасте любая рана кажется недостаточно героической.

В госпитале было мало раненых и много медсестер; одна из них, Элис Макдональд (вероятно, прототип подруги героини в романе «Прощай, оружие!»), была полностью занята обслуживанием Эрнеста и прониклась к нему материнскими чувствами; она сопровождала его при переводе в другой госпиталь, Мизерикордия, где ему делали рентген, и осталась там с ним. Из его ног извлекли множество осколков; долго верили с его слов, что ему поставили алюминиевый протез коленной чашечки, но и это оказалось выдумкой. Правая нога оставалась неподвижной в течение шести недель; к концу этого срока он писал родителям, что так привык к боли, что ему было бы странно не чувствовать ее. Легенды сами к нему липли: его сочли (ошибочно) первым американцем, получившим на итальянском фронте серьезное ранение, он был трогателен, выглядел ребенком — неудивительно, что в Италии он оказался центром всеобщего внимания. Газеты писали о нем, король наградил его итальянским военным крестом и серебряной медалью за доблесть, врачи и сестры демонстрировали его посетителям, итальянские и американские офицеры приходили утешать «малыша», и он, по словам Бейкера, был «как король на троне, постоянно окруженный свитой». Узнала о нем и родина: его сняли для хроники, которую Марселина увидела в кинотеатре. Тут ему тоже ставят в вину то, что он формировал «героический имидж», — позже, да, он будет делать это

сознательно, но тогда лишь плыл по течению.

От боли он спасался спиртным, которым его снабжали посетители и сестры, и усвоил, что лечиться алкоголем можно и должно. Он наконец избавился от страсти к Мэй Марш, влюбившись в одну из сестер. Она была на восемь лет старше его; в романе «Прощай, оружие!» разница в возрасте между героем и его возлюбленной убрана. Агнес фон Куровски в 1917-м окончила курсы медсестер в Нью-Йорке, поступила на службу в американский экспедиционный корпус в конце июня 1918-го. Красивая девушка, за которой ухаживали американские и итальянские офицеры — один из них, капитан Энрико Серена, называвший Эрнеста «бэби», вероятно, послужил прототипом капитана Ринальди. При этом у нее был в Штатах жених — девушка непостоянная, как она сама о себе говорила. Эрнест был отчаянно влюблен, Агнес вроде бы увлеклась, хотя и утверждала впоследствии, что он ей «просто был симпатичен». Свидетелями их романа были другие сестры и пациент, Генри Уиллард — он в 1989 году с хемингуэведом Джеймсом Нэйджелом издаст книгу «Хемингуэй в любви и на войне» — но никто не сумел объяснить, какие чувства Агнес испытывала к Эрнесту. Возможно, она сама этого не понимала. Мальчишке 19 лет, красавец, великолепно сложен, нежная кожа, выразительные темные глаза, обезоруживающая детская улыбка; героический, несчастный, но неунывающий, ласковый, остроумный, с прекрасно подвешенным языком: в эту ловушку попадает много взрослых женщин. Агнес была ночной сестрой весь август и начало сентября и проводила с Эрнестом по несколько часов ежедневно; в конце лета Эрнест писал матери, что «снова влюблен», но женитьба в его планы не входит.

В дневнике Агнес записывала: «Теперь Эрнест Хемингуэй влюблен в меня по уши или думает, будто влюблен»; «Слишком влюблен в меня и всегда с таким отчаянием упрекает меня за мою холодность, что мне не хватает духу расхоложивать его, пока он здесь, в госпитале»; «Бедный малыш, мне его жалко». Она ежедневно писала Эрнесту, что счастлива с ним и скучает без него, но страсти в ее письмах не видно. Вот записка от 17 октября: «Я думаю, каждой девушке нравится, чтобы у нее был мужчина, который говорит, что не может без нее жить. Так или иначе, я всего лишь человек, и когда вы говорите такие вещи, мне это нравится и я не могу не верить вам, поэтому не бойтесь мне наскучить». Эрнест, однако, вообразил, что она его любит. Была ли между ними физическая близость? Линн, основываясь на мнении Уилларда, считает, что да. Остальные биографы убеждены в обратном. Сам Хемингуэй написал «Очень короткий рассказ»,

где медсестра — любовница раненого. Но это всего лишь литература.

24 сентября его отослали поправляться в отель «Стреза» на озере Лаго-Маджоре. Об этом периоде известно лишь, что Эрнест познакомился с итальянским графом Эмануэле Греппи и (предположительно) его отцом Джузеппе Греппи, почти столетним старцем, дипломатом на покое, когда-то бывшим послом в России; в романе «Прощай, оружие!» под именем Греффи фигурирует Греппи-старший. Хемингуэй говорил, что Греппи «подковал его политически»; если исходить из текста романа и писем Эрнеста друзьям, то Греппи — остроумец и бонвиван — пытался привить юнцу цинично-трезвый взгляд на политиков, а также поил его шампанским и учил разбираться в женщинах и «шикарной жизни». Забудьте бородатого дядю с портрета и представьте, что это ваше девятнадцатилетнее провинциальное дитя, которое и так спаивали все кому не лень, попало в руки старому аристократу, который учит его пить шампанское — как ему не стремиться потом к этой жизни?

В октябре Эрнест вернулся в Милан. Агнес вспоминала, что он был «шикарно» (по его мнению) одет, на голове носил кепи, опирался на трость и выглядел романтично. Были вместе меньше двух дней — Агнес временно перевели в госпиталь во Флоренции. Впоследствии она говорила, что их роман к тому времени уже завершился. Его любовь ее тяготила: по словам Уилларда и других очевидцев, он ревновал ее, устраивал сцены. Он писал ей ежедневно, иногда дважды в день, она отвечала умеренно-нежно, говорила, что тоскует. Он продолжал мучить душераздирающими письмами родителей: «Умирать очень легко... Я смотрел смерти в глаза и знаю... Гораздо лучше умереть юным, счастливым и полным иллюзий, чем немощным и разочарованным...» В конце октября, выписавшись из госпиталя, отправился в Шю, но 4-го отделения не застал — волонтеров перевели на помощь 1-му отделению в Бассано, где ожидалось наступление итальянских войск. Он поехал в Бассано, где обнаружил друзей, Билла Хорна и Эммета Шоу, был, по их свидетельствам, по-прежнему в восторге от войны, рвался работать. Но на следующий день его свалил приступ гепатита. Пришлось вернуться в миланский госпиталь. Вот и вся война.

«Хемингуэй, который немного побыл санитаром в нескольких поездках на липовом, что сам обыгрывал, итало-австрийском фронте, и был ранен совершенно случайным образом, стал, однако, образцом мужчины! Вот что такое имидж», — сказал Михаил Веллер, противопоставляя показную мужественность Хемингуэя скромной мужественности Зоценко. Вряд ли правомерно ставить человеку в вину то, что он родился в 1899 году и попал на фронт уже в последние месяцы войны, и тем более его

«случайную» рану; во всяком случае, Виктор Некрасов, сам воевавший, не счел опыт коллеги «липовым», да и Зоценко вряд ли бы счел. Чарльз Фентон убежден: художнику противопоказано быть на войне слишком долго, месяц (как и у Ремарка) — «самое то». Когда воюешь долго, как Зоценко, война так осточертевает, что писать о ней потом уже не хочется. Сам Хемингуэй в 1952 году говорил, что военный опыт неоченим для литератора: «Война — одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить», — но если этого опыта много, он может стать разрушительным. Многие исследователи считают, что Хемингуэя война именно «разрушила» — так что, может, и месяца чересчур много.

Третьего ноября, когда Эрнест еще долечивался, было заключено перемирие между Италией и Австрией. В этот день он познакомился с Эриком Дорман-Смитом, молодым ирландцем, — тот начал войну лейтенантом, был ранен, награжден Военным крестом, дослужился до майора; их дружба продлится много лет. Эрнеста посещал в госпитале Джеймс Гэмбл, его бывший командир, сделавший юноше довольно странное предложение — остаться в Европе как минимум на год и жить за его счет. Гэмбл был богатым человеком — не из «Проктер энд Гэмбл», как ошибочно утверждают биографы, а из семьи лесопромышленника, — окончил Йельский университет, был художником-любителем, владел виллой в Таормине, на Сицилии; он был на 17 лет старше Хемингуэя. Родителям Эрнест писал о Гэмбле как об «отличном товарище». Но Агнес эта дружба не нравилась. Она вернулась в Милан 11 ноября и, как рассказывала впоследствии, решила сделать все, чтоб оторвать Эрнеста от Гэмбла — даже согласиться на брак. Они провели вместе девять дней, потом Агнес снова уехала, но в письмах продолжала отговаривать от неподобающей, по ее мнению, дружбы. Почему?

Биографам Хемингуэя она говорила: «Я считала, что если Эрнест согласится жить с кем бы то ни было за его счет, он навсегда останется приживалом, из него ничего путного не выйдет». Но из писем явствует, что ее беспокоило не только это. «Когда я была вдвоем с Джесси (медсестрой из госпиталя. — М. Ч.), мне хотелось делать самые ужасные вещи — только бы не ехать домой, — и когда вы бываете с капитаном Гэмблом, вы чувствуете то же. Но я думаю, мы оба переменим свои намерения и вернемся в старые добрые Штаты, чтобы жить нормальной жизнью».

Почти никто из биографов не сомневается, что интерес Гэмбла к мальчишке был сексуальный, другой вопрос, понимал ли это Эрнест. (Их сохранившаяся переписка ничего подозрительного не обнаруживает.) Агнес рассказывала, что многие мужчины интересовались Хемингуэем: в госпитале к нему повадился ходить пожилой англичанин Энглфилд, носил подарки; матери Эрнест писал о нем как о «человеке с прекрасными манерами и громким именем», ту же формулировку повторил в «Празднике», прибавив: «А затем в один прекрасный день я был вынужден попросить сестру больше никогда не пускать этого человека в мою палату». В одном из писем 1953 года выразился еще более откровенно. О Гэмбле он никогда не писал ничего подобного, во всяком случае, по имени его не называл.

Двадцатого ноября Агнес была откомандирована в Тревизо из-за эпидемии гриппа — к этому времени она уже дала согласие на брак, и Эрнест писал Марселине о «чудесной американской девушке», что станет его женой. 9 декабря он приехал в Тревизо, но пробыл там недолго: у сестер было много работы. Агнес возилась с другими «мальшами», а он выглядел самоуверенным, благополучным, строил из себя бывалого фронтовика. Позднее она говорила, что он гораздо меньше нравился ей, когда его было не за что пожалеть. Сказал, что Гэмбл предлагает ехать с ним на Мадейру — она опять отговаривала; тогда он обещал, что вернется в Штаты, а она обещала вскоре последовать за ним. 13 декабря он писал Биллу Смитту: «Благодарю Бога за то, что встретил ее». Говорил, что не может понять, за что она его любит — «в силу какого-то обмана зрения она любит меня». «Каждое мгновение, которое я провожу вдали от нее, кажется потраченным впустую... Я собираюсь вернуться в Штаты и начать зарабатывать. Агнес говорит, мы и в бедности будем счастливы вместе». Предложил Биллу быть шафером на свадьбе. Однако, встретив Гэмбла, планы переменял и отправился к нему на виллу в Таормину, где пробыл две декабрьские недели и встречал Рождество; от Агнес этот факт скрыл, а Эрику Дорман-Смитту написал, будто так и не доехал до Таормины, потому что его по дороге похитила некая графиня, с которой он провел время в сказочных наслаждениях. (Откуда в таком случае известно, что он был в Таормине? Да из его же писем к Гэмблу.)

Еще раз встретившись с Агнес, он 4 января 1919 года отплыл в Америку в числе других демобилизованных американцев. В Нью-Йорк прибыл 21 января. Репортер газеты «Сан» взял у него интервью, из которого следовало, что «наш юный герой» «был изранен как никто и никогда прежде» и не только водил санитарную машину, но также

принимал участие в боях под Бассано в сентябре — октябре вместе с итальянскими ударными частями «ардитти» — «храбрецов». Это была уже не безобидная фантазия, а нехорошая и опасная ложь — из такой можно до смерти не выпутаться.

Его спросили о планах — он заявил, что «обладает достаточной квалификацией, чтобы получить работу в любой газете, которой нужен человек, не боящийся работы и ран». Вечер провел с Биллом Хорном, вернувшимся домой раньше из-за ранения: Хорн-то бывал под Бассано, от него Эрнест и узнал об «ардитти». Историк Уильям Адэр пишет, что в 1920-х Хемингуэй начал создавать свою собственную военную историю, «смешивая в кучу все, что он когда-либо слышал или читал». Все исследователи сходятся на том, что именно с фантазии об «ардитти» началось сознательное мифотворчество Хемингуэя, но причину лжи объясняют по-разному: и «теорией раны», разрушительно повлиявшей на психику, и тем, что для писателя естественно не делать различия между фантазией и действительностью. Но давайте еще раз вспомним о его возрасте. «Крутому пацану» стыдно, что он провел на войне, куда так долго стремился, всего месяц, и даже не стрелял, а только развозил продукты; стыдно, что, едва вернувшись на фронт, умудрился заболеть желтухой; стыдно, что никого не убил... Тут даже не надо быть писателем, чтобы начать лгать.

На следующий день — поездом в Чикаго, на вокзале встречали отец и Марселина, было поздно, но маленьким — Лестеру и Кэрол — позволили не спать. Опять были восторги. 1 февраля газета «Оук-Паркер» опубликовала второе интервью — «наш юный герой» не хотел, чтобы его называли героем: «Я молод и силен, моя страна во мне нуждалась, я просто выполнял свой долг. Я готов выполнить свою работу снова, если понадобится». Пригласили выступить в родной школе — там он с подробностями рассказывал о боях под Бассано, давая понять, что играл далеко не последнюю роль, и демонстрировал изорванные шрапнелью брюки. Он зашел еще дальше, когда ему прислали анкету из Оук-Паркского мемориального комитета, и уже прямо написал, что был лейтенантом в 69-м пехотном полку Анконской бригады и принял участие в трех сражениях: на реке Пьяве, при Граппе и при Витторио-Венето. Это было глупое вранье и очень рискованное, ведь его в любой момент могли разоблачить. Ложь завела в ловушку: чем дальше, тем труднее сознаться. Он продолжит лгать еще несколько лет, никогда не будет официально разоблачен и никогда прямо не признается. Но он напишет об этой лжи рассказ:

«Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И,

соврал дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось. Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. <...> Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал только одно — непрерывный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее».

Страшное, честное признание... а все-таки Кребс, герой рассказа «Дома», провел на войне не месяц и продуктов не возил. Он воевал два года и побывал «под Белло Суассоном, в Шампани, Сен-Мигеле и в Аргоннском лесу». Существуют разные объяснения тому, что Хемингуэй демонстративно доказывал свою мужественность — например, он делал это потому, что мать заставляла его носить девчачью шляпку, или потому, что был ранен; немало исследований посвящены также его фантазиям и лжи — но о причинно-следственной связи между этими двумя чертами обычно не говорится. А связь, вероятно, существует: стыд за ту, первую, выдумку (ненужную, ибо на войне он делал, как выражаются американцы, «свою работу» и отнюдь не был трусом) так терзал его, что он до конца дней был вынужден доказывать, прежде всего себе, что он мужчина, воин и смельчак. Не солги он тогда — может, и жизнь прошла бы спокойнее, и десятки антилоп и львов остались живы? Впрочем, теперь уж не знаешь что и думать: может, и не было никаких львов?

...Человек, вернувшийся с фронта, если у него нет ни работы, ни жены, обычно не знает куда себя девать. В армии было все понятно, здесь — ничего. «В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир». Он прогуливался по городу, демонстрируя офицерский плащ, хромоту и красивую трость. Валялся на кровати, ходил в библиотеку. Его комната была полна сувениров — патроны, осколки, каски, ракетница, которая сгодилась на фейерверк для малышей. Пить дома было строжайше запрещено; он тайком добывал

коньяк и ликеры, учил Марселину и Санни пить, курить и ругаться, убеждал их, что за пределами Оук-Парка есть «настоящая жизнь». Он никак не мог повзрослеть.

«Он (Кребс. — М. Ч.) смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило. Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины. Все это было вранье. <...> Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров».

Увы, не было никаких француженок и немок, это тоже вранье. Были только две одиннадцатилетние девочки из Оук-Парка, что таскались за ним по пятам и дежурили у дома. Неизвестно, понимали ли близкие, как он заврался, но чувствовали, что с ним «что-то не так». Марселина писала, что он походил на человека, «томящегося в ящике с забитой гвоздями крышкой». Карл Эдгар вынес впечатление, что Эрнест «вернулся фигурально и буквально растерзанным на куски». Он хотел писать, но не получалось. Ездил в Чикаго, встречался с товарищами по Красному Кресту, приглашал их в Оук-Парк, устраивал шумные ужины, родители были недовольны. Ждал Агнес, писал ей часто, она отвечала все реже и прохладнее. Он спрашивал, тоскует ли любимая — та отвечала, что «слишком занята, чтобы тосковать», и, как нарочно, рассказывала о настоящих бойцах «ардитти» — какие это потрясающие мужчины. Можно догадаться, каково ему было читать об этом. Вдобавок Агнес, кажется, уже не собиралась возвращаться в Америку. Из ее письма 3 февраля: «Мое будущее для меня загадка, и я не уверена, что знаю, как поступлю. Ехать ли домой, остаться ли на военной службе — я сейчас это решаю». 15 февраля: «Мне предлагают остаться на год в Риме, но я собираюсь на Балканы...»

Третьего марта Эрнест писал Гэмблу: «Невеста моя все еще в забытом богом местечке Торре-ди-Моста за Пьяве... Она пока не знает, когда вернется домой. А я откладываю деньги. Можешь себе представить? Я не

могу... Вот что значит не пить и быть за тридевять земель от друзей. Может быть, теперь, когда я исправился, я ей больше не понравлюсь, правда, исправился я не окончательно... <...> Каждый день, каждую минуту я корю себя за то, что меня нет с тобой в Таормине. У меня дьявольская ностальгия по Италии, особенно когда подумаю, что мог бы быть сейчас там и с тобой. Честно, командир, даже писать об этом больно. Только подумаю о нашей Таормине при лунном свете, и мы с тобой, иногда навеселе, но всегда чуть-чуть, для удовольствия, прогуливаемся по этому древнему городу, и на море лежит лунная дорожка, и Этна коптит вдалеке, и повсюду черные тени, и лунный свет перерезает лестничный марш позади виллы. О, Джим, меня так сильно тянет туда, что я подхожу к книжной полке у себя в комнате, где прячу выпивку, и наливаю стакан и добавляю воды, и ставлю его возле потрепанной пишущей машинки, и смотрю на него, и вспоминаю, как мы с тобой сидели у камина... и я пью за тебя, шеф. Я пью за тебя. <...> Знаешь, я так хотел бы быть с тобой». И опять не обошелся без выдумок: «Три великолепных дня на Гибралтаре. Я одолжил штатский костюм у какого-то английского офицера и съездил в Испанию. Потом, как всегда, несколько сумасшедших дней в Нью-Йорке...»

Надо ли пояснять, что ни на каком Гибралтаре он не был? Он сочинял байки, а правды о том, что его мучило, сказать никому не хотел. Он напишет о ней спустя годы в рассказе «На сон грядущий»: «Уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому».

Седьмого марта он получил от «невесты» последнее письмо. «Эрни, дорогой мальчик, я пишу поздно вечером, после долгого раздумья, я боюсь причинить вам боль, но уверена, что она скоро пройдет. До вашего отъезда я пыталась убедить себя, что это настоящая любовь, потому что вы всегда спорили со мной, и наконец вы стали угрожать, что сделаете что-то ужасное, и это заставило меня сдаться, но ничего не изменило. Теперь, через несколько месяцев разлуки, я знаю, что все еще очень люблю вас, но это больше любовь матери, чем возлюбленной. Вы считали меня ребенком, но я не ребенок и взрослею с каждым днем. А вот вы для меня — малыш (и всегда им будете). Можете ли вы простить мой невольный обман? Вы знаете, что я на самом деле не плохая и не хотела поступать плохо, и теперь

я понимаю, что с самого начала допустила ошибку, о которой сожалею всем сердцем. Но теперь я понимаю, что я старше вас, а вы — мальчик. Я знаю, что настанет день, когда я смогу гордиться вами, но, дорогой малыш, я не могу дожидаться этого дня... Я пыталась заставить вас понять хоть немного, о чем я думала в той поездке от Падуи до Милана, но вы вели себя как испорченный ребенок, а я не могла дальше причинять вам боль. Теперь, вдали от вас, я набралась смелости. Сейчас — поверьте, это случилось неожиданно для меня — я собираюсь замуж. Надеюсь, что вы, когда все обдумаете, сможете простить меня и сделаете великолепную карьеру... С восхищением и нежностью, навеки ваш друг, Эгги».

Агнес полюбила итальянского офицера Караччиоло, которому рассказала об отношениях с Эрнестом; Караччиоло вспоминал, что она говорила ему: жалко «малыша», «малыш» сейчас не сможет понять, но, став взрослым, простит. «Малыш» действительно ничего не понял: когда он прочел письмо, его начал бить озноб, поднялась температура, он несколько дней пролежал, ни с кем не разговаривая. Потом стал писать письма. Его ответ Агнес не сохранился, но есть письмо Биллу Хорну: «Она не любит меня, Билл. Она взяла свое обещание назад. „Ошибка“. Одна из этих маленьких ошибок. О, Билл, я не могу это взять в толк, и я даже не могу негодовать, потому что я просто уничтожен... Все, чего я желал — это Агнес. И счастье теперь умерло и мир рухнул, и я пишу об этом с пересохшей глоткой и комом в горле... Ах, Билл, я не могу об этом говорить, потом что я так чертовски ее люблю...» Гэмблу: «Ее письмо было дьявольским ударом, ведь ради нее я от столького отказался, и прежде всего от нашей Таормины...» В письме Элис Макдональд он выражал надежду, что когда Агнес вернется в Нью-Йорк, она «споткнется на сходнях и вышибет свои проклятые зубы». Тремя месяцами позднее Агнес сообщила ему, что брак с Караччиоло не состоялся (она выйдет замуж в 1928-м, вторично — в 1934-м) и она возвращается в Америку. Опять неизвестно, что он ответил, но сохранилось его письмо к приятелю Дженкинсу: «Бедная глупая девочка, теперь я не чувствую к ней ничего, кроме жалости... Когда-то я любил ее, а потом она меня обманула. И я не виню ее. Но я намерен прижечь память о ней и выжечь ее дотла с помощью пьянства и других женщин, чем сейчас и занимаюсь».

Позднее он «прижжет» память об Агнес в «Очень коротком рассказе»: «Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь, там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон „ардитти“. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала

в Штаты, что любовь их была только детским увлечением. Ей очень грустно... а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж... Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку».

Но на самом деле не было даже гонореи... «Другая женщина» появилась — подросток Кэтрин Лонгуэлл из Оук-Парка, но, по ее воспоминаниям, они только катались в каноэ, пили у нее дома чай, он читал ей рассказы (о том, как воевал в рядах «ардитти») и подарил ей офицерский плащ. Грейс, ничего не желавшая понимать в его душевном состоянии, потребовала вернуть подарок. «Теория раны»? Да, вся история с поездкой на фронт его страшно изранила, но не физически. Он был унижен глупейшим ранением, потом сам унижал себя враньем, потом его унизила Агнес, потом — мать. Представьте: «герой» делает подарок «женщине», а его мама приходит к маме «женщины» и говорит: тут мой ребенок по глупости вам ценную вещицу подарил, так уж, будьте добреньки, отдайте обратно... Не этот ли эпизод заставил его окончательно возненавидеть Грейс? Родители вообще ничего не понимали. Им не нравилось, что он не ищет работу, и вряд ли от них укрылось, что он пьет.

«— Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? — спросила мать, снимая очки.

— Нет еще, — сказал Кребс.

— Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

— Я еще не думал, — сказал Кребс.

— Бог всем велит работать, — сказала мать. — В царстве Божием не должно быть лентяев.

— Я не в царстве Божием, — ответил Кребс.

— Все мы в царстве Божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

— Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд, — продолжала мать. — Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя. <...>

— Это все? — спросил Кребс.

— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

— Да, не люблю, — сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

— Я никого не люблю, — сказал Кребс.

Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками».

К лету он немного пришел в себя. В начале июня приехал в Мичиган, поселился в Хортон-Бей у тетки Билла Смита, проживание отрабатывал, ухаживая за яблонями, ездил в соседний город Бойн-Сити на перевязки. Дома много пил и курил — от скуки и чтобы досадить родителям, — но тут почти бросил то и другое (курильщиком так и не стал). Лес и рыбалка его излечили: Лестер писал, что он «напоминал животное, которое увозили далеко и которое вернулось туда, где выросло, и убедилось, что здесь всё так же, как ему помнилось, и что это действительно его родные места». В июле он совершил дальний поход с Биллом Смитом, в августе — с одноклассниками. Познакомился с отдохавшим в Хортон-Бей бывшим репортером «Чикаго трибюн» Эдвином Балмером, читал ему свои рассказы, тот сдержанно хвалил. Сошелся с семнадцатилетними школьницами из городка Петоски, Марджори Бамп и Конни Кертис; по рассказам одних очевидцев, был влюблен в первую, по словам других, это она была в него влюблена. Марджори уехала, когда начался учебный год. Хемингуэй вернулись в Оук-Парк, Эрнест появился там в середине октября, побыл неделю, объявил, что писать дома не может, и отправился на зиму в Мичиган. Марселина сообщала своему жениху Стерлингу Санфорду: «Я боюсь, что он там замерзнет, но он хочет писать — создать огромное количество произведений...»

Он поселился в Петоски, снял комнату, встречал Марджори после школы; вскоре весь городок его знал. Завел двух товарищей, Пайлторпа и Рамсдела, и приятельницу еще моложе Марджори — четырнадцатилетнюю Грейс Куинлэйн, с которой будет переписываться много лет. Вечера проводил у друзей, продолжая рассказывать об «ардитти» и приключениях с графинями: истории обрастали уже совершенно мюнхгаузеновскими подробностями. Писал, отсылал рассказы в журналы, которые присоветовал Балмер — все без толку (сохранились лишь отрывки). Под Рождество его пригласили выступить с докладом о войне на собрании дамского благотворительного комитета — опять «ардитти», дамы были потрясены. Одна из них, канадка Гарриет Коннэйбл, сделала предложение: жить в ее доме в Торонто до лета в качестве компаньона ее сына (мальчик с замедленным умственным развитием, годом младше Эрнеста), в то время

как она с мужем и дочерью будет путешествовать. Коннэйблы были очень богаты (Ральф, муж Гарриет, — глава канадской сети магазинов Вулворта), в доме полно прислуги, делать ничего не надо, только развлекать больного, сопровождая его на хоккей, за это Эрнест будет получать 80 долларов в месяц, а старший Коннэйбл, человек влиятельный, поможет с устройством в какую-нибудь газету.

Эрнест согласился (как раз и его друг Пайлторп поступил на службу в магазин Коннэйбла), съездил на Новый год домой (родители не препятствовали его решению), а 8 января 1920 года отбыл в Торонто. Коннэйблы оказались очаровательными людьми, больной мальчик — милым, его старшая сестра Дороти — ветераном войны, хоккей — интересной игрой, и глава семейства не обманул: попросил Артура Дональдсона, который заведовал рекламным отделом в газете «Торонто стар» и еженедельнике «Торонто стар уикли», взять Эрнеста в штат. Дональдсону затея показалась сомнительной, но он познакомил Эрнеста с молодыми репортерами «Стар», Грегори Кларком и Джимом Фризом, а те (после нескольких походов на хоккей и пирушек) свели его с редактором литературного отдела «Торонто стар уикли» Джеймсом Крэнстоном.

«Стар уикли» представляла собой толстую газету «обо всем»; по словам Крэнстона, она «стремилась давать читателям то, что они хотели читать, а не то, что они должны были бы читать, будучи интеллектуалами». «Мы всегда старались, чтобы статья начиналась с ударного анекдота, который возбудил бы интерес читателя к дальнейшему». Печатались статьи на сексуальные темы, было мало редакционных материалов, зато масса развлекательных; одной из первых в Америке «Стар уикли» начала печатать комиксы. Еженедельник распространялся в крупных городах Канады и нескольких американских. Вакансий не было, но Эрнесту предложили работу внештатного корреспондента со свободным выбором тем, гонорары из расчета полцента за слово. Для него, не любившего работать «с девяти до пяти», это был идеальный вариант. И Крэнстон оказался идеальным начальником: он, по словам литератора Мерилла Денисона, «выбирал людей по их умению писать, а приняв их, позволял им идти своим собственным путем». В мемуарах Крэнстон писал, что особого таланта в юноше не заметил — «Хемингуэй мог писать на хорошем, ясном английском языке, и у него был юмористический дар», не более того, — и отказался считаться одним из его «учителей». Но он дал Хемингуэю то, в чем тот больше всего нуждался: свободу, подкрепленную мало-мальскими денежными гарантиями.

Глава третья КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

Хемингуэй, быть может, самый изученный писатель XX века, но ни одна деталь его биографии не обходится без неясностей. Неясно даже, какую первую работу он опубликовал в «Стар уикли»: то ли это была «Кочующая выставка», история от 14 февраля 1920 года о том, как художники сдают картины напрокат, то ли «Новый эфир для хирурга из Торонто», заметка о медицине от 27 января. Обе вышли без указания автора — отсюда и разногласия. Крэнстон впоследствии вспомнил только «Кочующую выставку»: «Такую статейку мог сочинить любой приличный репортер. Он получил за нее пять долларов». 6 марта вышел текст уже с подписью: «Попробуйте побриться бесплатно».

«— Извините, — сказал я, — я иду наверх.

Наверх — это значит туда, где бесплатно обслуживают новички.

В салоне наступила гробовая тишина. Молодые парикмахеры многозначительно переглянулись. Один из них сделал выразительный жест, проведя указательным пальцем по горлу.

— Он идет наверх, — сказал парикмахер приглушенным голосом.

— Он идет наверх, — эхом отозвались другие и переглянулись. <...>

Бриться было не так уж страшно. Ученые говорят, что смерть через повешение — даже очень приятная смерть»^[6].

13 марта появились два текста: один о боксе, другой можно рассматривать как набросок к рассказу о Кребсе: «Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха». «Купи или возьми почитать хорошую историю войны. Изучи ее тщательно, и тогда ты сможешь вести вразумительную беседу о событиях на любой части фронта. Более того, тебе придется не раз доказывать ветерану его ошибки, если даже не полное невежество. <...> Теперь, когда ты прочно утвердил свое общественное положение бывалого солдата, а возможно, даже и героя, все остальное легко. Будь скромн и неприязнителен, и у тебя не будет никаких недоразумений. Если кто-нибудь в конторе обратится к тебе „майор“, отмахнись рукой, улыбнись протестующе и скажи: „Нет, не совсем майор“. После этого все в конторе будут называть тебя капитаном. <...> Остается совсем немного. Войди один как-нибудь ночью в свою комнату. Вынь сберкнижку из ящика стола и просмотри ее. Положи ее обратно в ящик. Встань перед зеркалом, посмотри себе в глаза и запомни, что пятьдесят шесть тысяч канадцев погибло во Франции и Фландрии. Потом выключи свет и ложись спать».

Никому не пришло в голову, что автор пишет о себе, однако он к тому времени заврался до такой степени, что, возможно, начал преувеличивать собственную вину и ему казалось, что он вовсе не был на фронте. Высказавшись, он частично сбросил с души камень и написал прелестную юмореску о мэре, любителе спорта: «Если бы горожане, возраст которых позволяет принимать участие в выборах, ходили бы смотреть игру в шарики, чехарду и в классы, мэр непременно посещал бы их с не меньшим энтузиазмом». Грегори Кларку эта безделушка понравилась больше других: «Он выбирает слова очень точно, с пониманием. У него необыкновенный стиль». Всего он опубликовал в «Стар уикли» как минимум 14 очерков: о ловле рыбы, женской борьбе, магазинных кражах, бутлегерах: работы небольшие, гонорар до десяти долларов, и ни одна по уровню неотягивает до лучших канзасских текстов.

В мае закончилось его соглашение с Коннэйблами, и он по просьбе отца вернулся в Оук-Парк, договорившись провести лето в Мичигане с Брамбаком и Биллом Смитом. В письме к Гарриет Коннэйбл сообщал, что наймется на корабль и поплывет в Японию. Ему вот-вот исполнялся 21 год, он воевал «как большой», пил «как большой», работал, пережил любовную драму, но назвать его взрослым язык не поворачивается. В начале июня он прибыл с друзьями в Хортон-Бей. Грейс с детьми и няней жила в Уиндмире, Кларенс оставался в Оук-Парке — из-за пациентов. Отец и мать полагали, что их громадное, выздоровевшее, почти совершеннолетнее дитя возьмет на себя хозяйственные заботы на ферме: фрукты, корова, цыплята, навоз. Нашли дурака... Неясно, делал ли он по дому хоть что-нибудь. Судя по воспоминаниям Брамбака и Смита, образ жизни 21 — летнего Эрнеста был тот же, что и у пятилетнего. Ночевали то в Хортон-Бей, то в лесу, то в Уиндмире, знакомились с девицами, играли в мяч. Он все время что-то доказывал: бегают быстрее всех, знает лес лучше всех, рыбу ловит как никто, не боится боли (для чего демонстративно прошелся босиком по бутылочным осколкам). Родителям это не нравилось. Грейс жаловалась мужу, тот писал ей: «Мне кажется, что Эрнест хочет как-то рассердить нас, чтобы Брамбак оказался свидетелем того, как мы заявим, что будем рады, если он уедет и займется делом. Я написал ему, чтобы он нашел себе занятие, стал самостоятельным и уважаемым, уехал бы из Хортон-Бей и отправился работать...»

В конце июля Урсула и Санни с соседскими детьми ночью без спроса отправились на пикник, пригласив Эрнеста и Брамбака. Шестеро детей и два взрослых оболтуса жгли на отмели костер и пили пиво. Среди ночи одна из родительниц, миссис Лумис, обнаружила, что кровать ее чада

пуста, кинулась в Уиндмир и учинила скандал, Рут Арнольд, посвященная в затею, призналась во всем. Заподозрили «оргию». Участники пикника вернулись домой в три ночи; матери были в гневе и ответственность возложили на старших. Эрнест извиниться отказался. На следующий день Грейс изгнала его из дому с письмом: «С тех пор как тебе исполнилось восемнадцать и ты перестал нуждаться в советах родителей, я старалась молчать и позволить тебе самому заботиться о своем спасении. Я имею в виду твою жизненную философию, твой этический кодекс в отношениях с мужчинами, женщинами и детьми. Но теперь, когда тебе двадцать один, я возьму на себя смелость высказать тебе кое-что еще раз». Грейс уподобила родительскую любовь банковскому счету, который открывается ребенку при рождении, а тот его тратит: Эрнест истратил все. «Пока ты, мой сын, не приведешь себя в порядок, не оставишь образ жизни бездельника и поиски удовольствий, ты берешь займы без возврата. Перестань жить за чужой счет и тратить свой доход на прихоти. Перестань торговать своим смазливый лицом, дурачить маленьких девочек и пренебрегать своим долгом перед Богом и нашим Спасителем Иисусом Христом. Иначе говоря, стань взрослым — ибо ты на грани банкротства. Ты перерасходовал свой счет. Твоя все еще любящая и молящаяся за тебя мать, Грейс Холл Хемингуэй».

Сын опять не повинился, а взял напрокат трейлер и отправился рыбачить с компанией. Он написал Грейс Куинлэйн: мать выгнала его ни за что, она «обрадовалась случаю избавиться от меня», теперь его «манят дальняя дорога, и морские просторы, и старенький грузовой пароход, уходящий за горизонт». Он также сообщил, что мать злится за то, что он «не дал ей выбросить две или три тысячи на постройку коттеджа для нее, когда отцу предстояло отправить сестер в колледж». Своей первой жене он тоже расскажет эту историю, только заметит, что «две или три тысячи» мать должна была потратить на его обучение в Принстоне: так впервые проявится досада на отсутствие престижного диплома. На самом деле неизвестно, мечтал ли он о Принстоне, когда заканчивал школу (его сестры в мемуарах об этом не упоминают), просил ли у родителей денег на университет, вернувшись из Италии (семейная переписка об этом умалчивает), а раз это неизвестно, то и невозможно ответить, согласились бы Кларенс и Грейс отправить его в Принстон или нет. Деньги в семье имелись (Кларенс делал инвестиции в коммерческие предприятия в размере, изрядно превышающем «две или три тысячи»), Грейс была честолюбива — вроде бы должны были, если б сын захотел. Но он утверждал, что не получил образования исключительно из-за коттеджа

Грейс. Что за коттедж? Ведь именно в нем, как считает Линн, кроется причина ненависти сына к матери...

Грейс затеяла на участке, где располагалась ферма, строительство домика. Сказала, что ей «надоело быть ломовой лошады», хочется побыть в одиночестве и покое. Кларенс считал это блажью, написал архитектору, что не отвечает за действия жены, но деньги были ее собственные, и она сделала, что хотела. Это не означало разрыва с семьей: по свидетельству дочерей, они часто проводили время в доме матери, а Грейс бывала в Уиндмире: два коттеджа разделяло озеро, через которое дети перевозили ее на лодке. У себя она музицировала, занималась живописью и изготовлением плетеной мебели. В этих занятиях ей помогала Рут Арнольд. Дочери Хемингуэев воспринимали Рут как подругу: Кэрол писала, что та «внесла доброту и невинную доброжелательность в семью, состоящую из сильных и колючих людей» и «ее постоянное присутствие смягчало для детей все семейные драмы». Эрнест же решил, что Грейс и Рут состоят в любовной связи (и не придумал ничего лучше, чем убедить в этом малыша Лестера), возненавидел мать, «променявшую» мужа на Рут, и впоследствии публично называл ее «сукой» и, если верить его сыну Патрику, «гермафродитом».

Линн полагает, что связь между Грейс и Рут действительно была, потому что: а) об этом болтала соседка; б) Грейс и Рут переписывались, называя друг друга «милая» и т. п.; в) Кларенс выгнал Рут из дома в Оук-Парк. Соседка была та самая Лумис, которой всюду виделись оргии, а женщины викторианской поры всегда писали друг другу нежно и страстно, но третий довод кажется серьезным. Письма Кларенса к Грейс, где он объясняет решение отказать Рут от дома, не сохранились. Грейс в ответ писала: «Ни один человек в мире не может быть моим мужем, если он не прекратит играть в мелкую ревность с преданной подругой своей жены». Однако это доказывает лишь то, что Кларенс (которому, не исключено, миссис Лумис пыталась «открыть глаза») ревновал жену, а не факт ее измены. Без сомнения, Грейс была очень привязана к подруге, но маловероятно, чтобы столь набожная дама выбрала в качестве объекта преступной любви няньку своих детей, поселившуюся в их доме еще ребенком, и открыто сожительствовала с нею. Тем не менее Кларенс запретил Рут подходить к его дому.

Несмотря на разногласия из-за Рут, в случае с «изгнанием» сына Кларенс полностью принял сторону жены и писал ей: «Я очень хочу, чтобы Эрнест проявил пристойное послушание по отношению к тебе и не вел себя вместе с Тедом как приживальщик... Я также напишу Теду в Хортон-

Бей, объясню ему, что для тебя это уже слишком, чтобы он дольше находился в Уиндмире, и потребую, чтобы он и Эрнест не возвращались в Уиндмир, пока ты не пригласишь их... Я буду по-прежнему молиться за Эрнеста, чтобы в нем проявилось большее чувство ответственности». Через несколько дней: «...пришло очень резкое письмо от Эрнеста, который отрицает всё. Он очень странный юноша, он не понимает, что родители сделали для него гораздо больше, чем любой из его приятелей. Он уверяет, что страдает. Я не собираюсь обращать внимания на его утверждения, будто он не совершил ничего дурного в Уиндмире». И наконец: «Последнее письмо Эрнеста не требует ответа. Оно написано в гневе и полно выражений, недостойных джентльмена и сына, для которого было сделано все. Мы сделали слишком много. Он должен найти себе занятие и идти собственным путем; одно только страдание сможет смягчить его железное сердце эгоиста».

Лестер был поражен, прочтя через много лет эти письма: «Судя по сильным выражениям и взаимным обвинениям, можно было бы подумать, что совершены какие-то страшные грехи. На самом же деле мать раздула скандал из-за некоторого недостатка вежливости со стороны Эрнеста и веселых развлечений его друзей». Лестер полностью был на стороне Эрнеста и, как и он, обвинял мать во всех грехах, включая смерть отца. У сестер сложилось другое впечатление. Кэрол: «Он (Эрнест. — М. Ч.) и его приятели были чужеродным элементом в невинной жизни на Валлонском озере. Они всегда были грязные, ходили в нижнем белье, не делали ничего по хозяйству, невероятно много ели и высмеивали нас всех».

Разумеется, Грейс была способна раздуть скандал из ничего: по воспоминаниям той же Кэрол, она постоянно кидалась в крайности: «Она могла назвать „законченным негодяем“ почтальона, если он вдруг пропустил наш почтовый ящик, а хорошее выступление ее ученика — „колоссальным триумфом“. Она была „ранена до глубины души“, если мы что-то делали не так. Она восторгалась, если мы выигрывали какой-нибудь приз, были избраны председателем чего-нибудь или получили роль в пьесе: „Я знала, что ты это можешь! Я горжусь тобой!“ „Зверский“ и „мерзкий“ — эти прилагательные использовались для самых незначительных неприятностей. У нее все было в превосходной степени. Драма была в ее крови». «Она также была нетерпима к людям, которые не работают, не имеют серьезных планов и не знают чего хотят». Характер матери унаследовал ее старший сын — всю жизнь любил драматизировать, преувеличивать, то восторгался людьми, то шумно ссорился с ними. Вопреки легенде о том, что после описанного инцидента он порвал с Грейс,

он в августе того же лета, живя с друзьями в кемпинге, переписывался с матерью и по-детски жаловался на боли в раненой ноге, а она писала, что «не спала всю ночь, думая о нем».

Они будут переписываться почти всю жизнь, регулярно ссорясь «на смерть»; он обвинит ее в гибели Кларенса, но и после этого переписка продолжится.

Джон Дос Пассос говорил, что Хемингуэй — единственный человек, который по-настоящему ненавидел свою мать. Однако после смерти Хемингуэя в черновиках нашли безымянный рассказ, написанный предположительно через несколько месяцев после ссоры с матерью и, возможно, проливающий некоторый свет на их отношения. Солдат Орпен защищает мост от немцев, идет бой, звук пулеметных очередей напоминает фортепианное стаккато, и Орпен мысленно оказывается в музыкальной комнате, где играет матери Шопена. Он получает ранение в голову и на операционном столе начинает галлюцинировать. Ему чудится, будто он попал в Валгаллу, рай убитых воинов, и общается с великими полководцами прошлого; оттуда он вновь переносится в музыкальную комнату. Он говорит матери, что хочет играть на фортепиано, но лишь после того, как вернется в Валгаллу и примет участие в боях: «Я сражался всю дорогу к тебе, и радость битвы еще жива в моем сердце», но мать, «мудрая, как все матери», улыбается и гладит его по голове, и он чувствует себя ребенком. Она говорит, что он довольно повоевал в реальном мире, а в Валгалле, где битвы игрушечные, обойдутся без него; ему нужно остаться дома и заниматься любимой музыкой. Он счастлив — и тут его голову пронзает боль: вынули осколок. «Скажите им, что я не хочу возвращаться в Валгаллу», — шепчет он. «Ты и не должен», — отвечает нежный женский голос.

И Гриффин, считавший Грейс тупой и злобной мещанкой, и Линн, называвший ее «темной королевой» сына, считают, что в отрывке об Орпене Хемингуэй безуспешно пытается бороться с влиянием матери, желающей, чтоб ее мальчик изменил долгу и отказался от мужественности. Оба исходят из того, что мать в детстве причиняла Эрнесту зло и к моменту ссоры он ее уже ненавидел (по Линну — ненавидел и любил). Но если забыть про девчачьи шляпки и противную виолончель и считать, что никакого особенного зла Грейс сыну в детстве не делала, то рассказ можно понять иначе: он любил мать, а она, как ему казалось, его недостаточно любила; она прогнала его прочь, а он тоскует по ней. Нет ничего ненормального в том, что мужчина любит свою мать, и не так уж странно, что склонному все преувеличивать мальчишке казалось, что она к нему

холодна: не заступилась в истории с исключением из школы, выгоняла из-за стола, ругалась и ставила в угол. Почему он взъелся только на мать, а не на отца, который во всех конфликтах поддерживал жену? Может, потому, что больше любил ее — а может, повернись жизнь иначе и убей себя Грейс, а не Кларенс, он бы обратил свою досаду против него. В тексте еще фигурирует убитый Орпеном враг, «серая фигура», в котором Линн углядел Кларенса, а Питер Гриффин — Эрнеста Холла, но это уже домыслы, для которых текст, нетипичный для Хемингуэя, который редко описывал бредовые состояния, представляет благодатную почву: можно предположить, например, что автор хотел заниматься музыкой и выразил тоску по несостоявшейся карьере. А можно не искать тайных смыслов и считать историю Орпена эскизом к роману «Прощай, оружие!»: быть рядом с женщиной лучше, чем воевать. Ведь в тот период, когда предположительно был написан «Орпен», Эрнест любил молодую пианистку, а Грейс тут вовсе ни при чем...

Летом 1920 года он с матерью помирился, но на праздничный обед, который она устроила для него накануне отъезда семьи в Оук-Парк, не пришел. Вероятно, опять на что-то обиделся. В Японию уже не собирался., говорил друзьям, что вернется в Канзас-Сити, что в тамошней «Стар» (как и в торонтской) его ждут и согласны платить сколько он потребует. Выдумка перемешана с правдой: в штат его никто не звал, но «Торонто стар уикли» по-прежнему принимала его очерки — за лето он опубликовал пять штук, хотя плата была копеечная. Тут вновь возник Гэмбл: он вернулся в Филадельфию, занимался живописью, скучал и звал Эрнеста провести с ним лето, тот рвался ехать, но на сей раз не посмел послушаться родителей. До конца октября он собирал яблоки на ферме миссис Чарльз и заработал немного денег. Другой работы не было. Выручил Билл Смит, предложивший пожить в Чикаго у своего старшего брата Кенли, преуспевающего рекламиста. В квартире Кенли поселилась компания молодежи: кроме хозяина, его жены, Билла и Кэтрин, жили там подруга Кэтрин Эдит Фоли, сотрудники рекламных агентств Дональд Райт и Билл Хорн (знакомый нам по итальянскому фронту) и теперь еще Эрнест. Жизнь была развеселая, но работу найти не удавалось. Он подрабатывал писанием рекламных объявлений для Табби Уильямса, знакомого по Оук-Парку, пытался писать пьесу совместно со школьным товарищем Морри Муселманом. Кенли Смит пробовал устроить его в рекламное агентство — места не нашлось, и Эрнест испытал облегчение. «Ему была ненавистна мысль о работе с девяти до пяти, — вспоминал Кенли. — Он хотел иметь свободу Он не питал иллюзий в отношении журналистики, но решил, что

это лучше, чем что-либо другое из того, что он знает».

В конце октября Кэтрин пригласила в гости Элизабет Хедли Ричардсон, с которой училась в Институте Девы Марии, частной женской школе в Сент-Луисе. Хедли, как ее все звали, была старше Эрнеста на восемь лет, как и Агнес — она родилась 9 ноября 1891 года, младшей из шести детей. Ее отец Джеймс Ричардсон, фармацевт, человек слабохарактерный, пьющий, покончил с собой (как считается, из-за финансовых проблем), когда ей было 12 лет. Мать, Флоренс, походила на Грейс Хемингуэй: музыкальный талант, деспотизм, навязчивая религиозность. Хедли после школы год обучалась в колледже Брин-Мор в Пенсильвании, но мать попросила (или вынудила) ее оставить учебу: после того как она в детстве перенесла травму позвоночника, ее считали болезненной и неприспособленной к жизни. Она сидела дома, была безуспешно влюблена в преподавателя музыки, тяжело пережила смерть сестры, почти не имела знакомств, ухаживала за больной матерью, еще не чахла, но теряла уверенность. Осенью 1920 года Флоренс Ричардсон умерла. Хедли, привыкшая к опеке матери, испытывала растерянность и страх; приглашение Кэтрин ее спасло.

Ее первое впечатление от Эрнеста: «Пара румяных щек и карие глаза». А вот — его: «В тот момент, когда она вошла в комнату, я был потрясен. Я понял, что хочу жениться на этой девушке». Критик Малкольм Каули: «Он романтик по натуре и влюбляется подобно тому, как рушится огромная сосна, сокрушающая окружающий мелкий лес. Кроме того, в нем есть пуританская жилка, которая удерживает его от флирта за коктейлем. Когда он влюбляется, он сразу хочет жениться и жить в браке...» Хедли боялась увлечься, ее смущала разница в возрасте, она привыкла считать себя старой девой, но перед его жизнерадостным напором устоять не смогла. Она гостила у Смитов три недели; когда уехала, началась бурная переписка, но о браке пока не говорилось.

В ноябре Билл Хорн снял квартиру и предложил Эрнесту жить с ним на его средства, пока не найдется работа. Они ходили смотреть боксеров и сами боксировали в спортзале и дома, ужинали в дешевой греческой закусочной, которая описана в рассказе «Убийцы», по выходным ездили в Оук-Парк. Через месяц Эрнесту удалось устроиться на работу в новый журнал «Содружество кооператоров» на должность редактора: 40 долларов в неделю, график свободный. Издание было органом «Американского кооперативного общества», частного пенсионного фонда (оказавшегося, как выяснится позже, финансовой «пирамидой»), печаталась в нем преимущественно реклама, а также зарисовки о природе, фотографии детей

и животных и т. п. Первый номер, который выпустил Хемингуэй, состоял из 20 страниц рекламы и нескольких редакционных текстов, написанных им самим. Родители были довольны: дитя взялось за ум. Эрнест написал матери, что заработок потратил на одежду, поздравил домашних с Рождеством, но заявил, что с Новым годом поздравлять не будет, ибо «каждый следующий год приближает нас к могиле».

После Нового года Хорн, не прижившийся в Чикаго, вернулся домой (в Йонкерс), а Кенли Смит, чья жена на полгода уехала в Нью-Йорк, перебрался вместе с пансионерами в особняк «Бельвиль»; опять пригласил Эрнеста, тот согласился. Идиллия для начинающего литератора: деньги есть, забот по дому никаких, хозяин опекает ненавязчиво и умно (Дональд Райт вспоминал, что отношения Смита, которому был 31 год, и Хемингуэя напоминали отношения отца с сыном), работа в «Содружестве» отнимает мало времени, жильцы молоды и интересны. Райт в 1937 году написал о жизни в «Бельвиле»: атмосфера не была «богемной», работали много, пили мало, лишних денег ни у кого не водилось, Эрнест был душой компании, но часто уединялся, чтобы писать, любил говорить о литературе, много критиковал признанных писателей, но от высказываний об искусстве уклонялся, сводя разговор на бокс, войну или рыбалку. Противоречивое свидетельство, но понять его можно: вероятно, Хемингуэй хотел говорить о литературе, но его раздражало, что обсуждать важное приходилось с дилетантами, и, начав спор и почувствовав, что слишком «раскрылся», он тут же ускользал от разговоров. Те же противоречивые свидетельства будут сопровождать его всю жизнь: одним людям будет казаться, что он любил разговоры только о рыбалке, убийствах и драках, другие вспомнят, как он декламировал Китса и Шелли и со знанием дела разбирал рубаи Хайяма.

Райт пишет, что Эрнест требовал от литературы (как и от музыки и живописи) одного — достоверности в передаче ощущений — «писатель должен видеть, чувствовать, обонять», и утверждал, что если удастся эти ощущения передать точно, то разъяснить мысли и чувства не будет надобности. Сам Хемингуэй в 1958 году говорил: «В Чикаго в 1920 году я старался учиться и искал незаметные детали, которые вызывают ощущения. Например, как боксер, находящийся в дальнем углу от рефери, наносит удар перчаткой, не глядя, куда он попадет, или скрип канифоли на брезенте под спортивными башмаками боксера, или серый оттенок кожи у Джека Блэкберна, когда он только что вышел из схватки. Все эти детали я подмечал, как художник делает зарисовки. Вы видели странный оттенок кожи у Блэкберна, и старый шрам от бритвы, и как он наносит удар противнику, и вам становилась понятной вся его жизнь».

В гости к дилетантам захаживал профессионал — Шервуд Андерсон. У нас этот писатель известен мало: слышали, что он был кумиром Довлатова, а читать, как правило, не читали. Андерсон — этакий Гоген от литературы: был буржуа, отцом семейства, потом пережил нервный срыв (который сам характеризовал как озарение), начал писать, оставил семью (женился четырежды, как и Хемингуэй), а через некоторое время и бизнес; в 1919 году опубликовал сборник рассказов «Уайнсберг, Огайо» и стал знаменит. В учебниках по американской литературе Андерсона называют одним из литературных «отцов» Хемингуэя. Но прежде чем говорить о влиянии Андерсона на Хемингуэя, нужно разобраться в том, что же необыкновенного сделал сам Андерсон, а для этого надо учитывать, что американская литература долго отставала в развитии от европейской.

До XIX века качественной беллетристики в США почти не существовало (хотя была первоклассная публицистика) — сплошь «готические» романы, скопированные с европейских. Роман, новелла, поэзия — все рождалось с запозданием, так что в канун Первой мировой, когда европейцы уже переварили Флобера, Бальзака, Мопассана, Достоевского, Тургенева, Чехова, Толстого, Диккенса, Стивенсона и Киплинга и дегустировали прозу Пруста и Андрея Белого, в Штатах великими считались Теодор Драйзер и Стивен Крейн (еще один кумир Довлатова) — писатели прекрасные, если только не сравнивать их с названными выше. Самые яркие звезды в американском небе — Мелвилл, По, Готорн, Бирс, Джек Лондон — были романтиками, а романтиков в Европе давно за людей не держали. Генри Джеймс также был старомоден, да и американцем его соотечественники не считали. Особняком возвышался Марк Твен, из которого, по мнению Хемингуэя и Фолкнера, вышла американская литература, как наша из гоголевской «Шинели», — но Твен, увы, не успел создать значительных книг о взрослых для взрослых.

Лучше Крейна во времена молодости Андерсона и детства Хемингуэя никого не было, но Крейн еще вовсю употреблял выражения «мучительный страх вонзается в его душу острым ножом», «ее несправедливость обратила в камень его некогда нежное сердце» или «искаженное судорогой лицо ковбоя напоминало страшную маску, запечатлевшую предсмертную агонию», которые когда-то были свежи, но давно заштамповались и с которыми молодые писатели мириться не желали. «Старые» слова не только затерлись от повторений — они были слишком бесплотны, невещественны. Читать «обратила в камень его некогда нежное сердце» — все равно что слушать словесное описание картины вместо того, чтобы глядеть на нее. Читатель должен видеть, осязать, слышать, писатель — не

говорить, что чье-то сердце ожесточилось, а дать выражение глаз, жест, движение бровей так, чтобы читатель сам догадался, что произошло. «Тот, кто работает со словами, хочет ощущать на губах их вкус, вдыхать их запах, пересыпать их, словно горсть камушков, и слышать, как они гремят и стучат друг о друга; он хочет, чтобы слова на белой странице сразу останавливали взгляд, чтобы они выскакивали из-под пера и до них можно было дотронуться, как прикасаются к щеке возлюбленной» — так Андерсон сформулировал свое творческое кредо.

Писать хотелось суше, точнее, без метафор, очищая язык от необязательной (как казалось) шелухи: «Оклеивать обоями комнаты в марте и в апреле было тепло, и легко, и приятно. Когда на улице бывало холодно или шел дождь, в новых домах, где они работали, топились печи. В уже заселенных квартирах им освобождали комнаты, расстилали на полу газеты поверх ковров и накрывали простынями оставшуюся в комнате мебель. И какой бы ни шел дождь или снег — внутри было всегда тепло и уютно». Кто ж не узнает стиль Хемингуэя! Да только это рассказ Андерсона «Печальные музыканты». Человека, выросшего на Чехове, такими фразами не удивишь. Но Хемингуэй в 1920 году еще не читал Чехова. Он читал только Андерсона.

Оба отрицали родство: Андерсон говорил, что не указывал Хемингуэю пути, напротив, творчество Хемингуэя было противоположностью его собственному, Хемингуэй же, по свидетельствам очевидцев, в двадцатые годы только об Андерсоне и толковал, восторгался им, но позднее лишь снисходительно хвалил ранние рассказы Андерсона и не считал, что имеет с ним что-то общее. Действительно, что общего? «Плотник, ветеран Гражданской войны, пришел к писателю в комнату и сел поговорить о сооружении помоста, на который он поставит кровать. В комнате у писателя лежали сигары, и плотник закурил. Сперва они поговорили о том, как поднять кровать, потом стали говорить о другом. Плотник затронул тему войны. В сущности, его навел на это писатель. Плотник побывал в плену, сидел в военной тюрьме в Андерсонвилле, и у него погиб брат. Брат умер от голода, и, вспоминая об этом, плотник плакал. У него, как и у старого писателя, были седые усы, плача, он надувал губы, и усы ездили вверх и вниз». Сразу видно, что это никакой не Андерсон, а Хемингуэй.

Правда, это тоже Андерсон, о котором Фолкнер сказал: «Он ошупью искал пути к совершенству, искал точные слова и безукоризненные фразы, не выходя из рамок своего словаря, полностью подчиняя его простоте, которая была уже на грани фетиша, ради того чтобы выжать из этой простоты все, проникнуть в самую суть вещей. Он так преданно работал

над стилем, что в результате получал один лишь стиль, то есть средство превращалось в цель». Современные литературоведы говорят то же о Хемингуэе.

Хватит морочить нам голову, давайте настоящего Хемингуэя — сравним... Пожалуйста: «У Скриппса О’Нила было две жены. Стоя у окна — долговязый, худой, мрачный, — он думал о них обеих. Одна жила в Манселоне, другая — в Петоски. Жены, что жила в Манселоне, он не видел с прошлой весны. Он смотрел на заснеженный двор насосной фабрики и думал, что же сулит ему весна. С этой манселонской женой Скриппс часто напивался, и тогда они оба бывали очень счастливы. Шли до железнодорожной станции, потом дальше по линии, усаживались на землю, пили и смотрели, как мимо проходят поезда. Расположившись под сосной на пригорке, они сидели и пили. Бывало, всю ночь, а то и всю неделю. Это шло им на пользу. Придавало Скриппсу сил». Это — Хемингуэй? Пародия на Хемингуэя? Самопародия? Да как сказать: это «Вешние воды», пародия Хемингуэя на роман Андерсона «Темный смех»... Приводим эти примеры не затем, чтобы доказать, что Хемингуэй всецело находился под влиянием Андерсона. Просто хотелось бы понять, почему младший коллега совершенно затмил старшего. Только потому, что охотился на львов, был в осажденном Мадриде и ловил шпионов, а Андерсон ничего этого не делал? Или было что-то другое?

Андерсон был намного старше обитателей «Бельвиля» — 44 года. Он необычно одевался, любил прихвастнуть, поучал; молодежь над ним подсмеивалась. Хемингуэй, по свидетельствам других жильцов, вел себя с Андерсоном вежливо и кротко, но после его ухода делал критические замечания. Ни этих замечаний, ни реплик, которыми Андерсон и Хемингуэй обменивались, к сожалению, никто не фиксировал; известно только, что Эрнест о какой-то андерсоновской фразе сказал, что «так писать нельзя» и что, по мнению Кенли Смита, кротость его была враждебная — он молча сопротивлялся тому, что «учитель» навязывал. Чему сопротивлялся, если сам хотел писать так же? Считается, что литературные пути Хемингуэя и Андерсона разошлись, когда последний стал писать «потоками сознания», а Хемингуэй этой манеры не то чтобы не принимал, но по возможности старался избегать. В 1920-м до этого расхождения было еще далеко, хотя Андерсон уже тогда высказывал идеи о «бессознательном письме», которое фиксировало бы переживания человека. Но когда сходятся два писателя, задавшихся целью найти «единственно верное слово», им никогда не найти согласия, ведь каждый считает, что «единственно верное» слово — то, которое придумал он. Кроме того,

Андерсон любил рассказывать об «озарении», которое пережил, и противопоставлять нищую богемную жизнь успеху; Хемингуэя это раздражало. Он не верил ни в какие «озарения», полагая, как следует протестанту, что только сознательный труд приведет к успеху, в котором ничего дурного нет.

Он продолжал писать очерки для «Торонто стар уикли» и за период с октября 1920-го по декабрь 1921-го опубликовал их как минимум 13: о боксе, бейсболе, рыбалке, плохих продуктах (травят народ нитратами). Были статьи о национальном характере американцев, получалось смешно, канадцам нравилось читать, как вульгарны их северные соседи и как бы они вели себя, если б им удалось «купить» Шекспира: «Английский городок на Эйвоне украсился американскими флагами, на всех зданиях вывешены плакаты: „Мы хотели Билла, и мы его получили! Да, Билл!“».

Писал он также о чикагском преступном мире, с броскими заголовками: «Ирландские убийцы. Цена поднимается» (11 декабря 1920 года). «Согласно слухам из преступного мира Чикаго и Нью-Йорка, каждый пароход, отбывающий в Англию, везет на своем борту одну или парочку ласточек смерти, всегда готовых устремиться туда, где на них появляется спрос. В притонах говорят, что сначала пташки доставляются в Англию, где они рассеиваются в портовых районах таких городов, как Ливерпуль, а потом уже перебираются в Ирландию. <...> За убийство хорошо охраняемого судьи или какого-нибудь чиновника платят тысячу долларов. Экс-убийце, с которым я беседовал в Чикаго, эта цифра показалась фантастической». Действительно ли автор беседовал с наемным убийцей? Да кто ж его знает... 28 мая 1921 года — продолжение: «Война гангстеров в Чикаго»: «Антонио д'Андреа, бледный человек в очках, потерпевший поражение кандидат в олдермены от 19-го округа города Чикаго, вышел из закрытой машины перед своим домом и с автоматическим пистолетом в руке, осторожно пятясь, начал подниматься по лестнице. Когда он достиг двери и протянул назад левую руку, чтобы нажать кнопку звонка, из окна соседнего дома ослепительно сверкнули две красные вспышки, д'Андреа услышал оглушительный треск и почувствовал страшную боль во всем теле от ударов пуль из выстрелившего обреза. Так окончился путь, начавшийся в маленьком сицилийском городке, где бледнолицый юноша готовился принять сан священника».

Чарльз Фентон разругал статьи о гангстерах: ленивые, скучные клише, вырождение таланта в механическую компетентность. По сравнению с «Керенским» молодой журналист писал все хуже — видимо, ему надоело. Он пытался писать художественные тексты, но лишь два, созданных в

чикагский период, были изданы, и то не сразу, а в 1922 году в нью-орлеанском журнале «Двурушник»: «Жест пророка» (A Divine Gesture), причудливое, абсолютно нехарактерное для Хемингуэя эссе, в котором Бог «с бородой, как у Льва Толстого» и архангел Гавриил беседуют с одушевленными цветочными горшками и другими предметами (поколения критиков умерли, не поняв, что это было — пародия на дадаистов или поиск новых форм), и стихотворение «Наконец» (Ultimately). Он как будто на время разучился писать. Такое бывает, когда человек хочет внести в работу что-то новое, а что — еще не знает.

Всю зиму он слал Хедли детские письма, полные рассказов о сослуживцах, о бейсбольных матчах, о том, как он боксировал с Кенли Смитом (и, разумеется, побил его), то хвастался, то уничижался, сообщал, что Гэмбл, вернувшийся в Италию, снова зовет его и он вот-вот с ним уедет, сомневался, может ли он, такой старый (при знакомстве с Хедли он прибавил себе год — странно, что не десять), выдавший виды и разочарованный, еще любить, жаловался, что живет «на 2–3 пенни в день», что вынужден подрабатывать спарринг-партнером в боксерских поединках (это не подтверждено), что мог бы учиться в университете, если бы не злая мать. «Тебе не нужен университет», — говорила Хедли, а на его самобичевания отвечала: «Я не могу допустить и мысли, что в тебе есть что-то плохое. Я очень люблю тебя и хочу любить еще сильнее» (он в ответ писал, что любит ее «в лучшем случае чуть-чуть»).

Биографы, исходя из сходства семей Эрнеста и Хедли, считают, что оба были людьми, потерпевшими крушение и нашедшими утешение друг в друге. Но свидетели романа отмечали, что Эрнест был энергичен, как бомба, весел, никаких признаков страдания не обнаруживал; Хедли также всем запомнилась как жизнерадостная девица. Последователи Линна видят в том, что юный Хемингуэй влюблялся в женщин старше себя, «комплекс матери»; к Агнес это, может, и можно применить, но Хедли, несмотря на свои 30 лет, окружающим казалась скорее девочкой, чем дамой. Оба вели себя как дети: он пускал дым из ноздрей, шевелил ушами, ее это приводило в восторг. Хедли просила его не уезжать в Италию: она Гэмбла не знала, но идея жить за чужой счет казалась ей губительной, и она, как и Агнес, видела в этом приглашении что-то нехорошее. Впрочем, женщины ничего не смыслят в мужской дружбе.

Хедли приглашала Эрнеста в гости (она жила в Сент-Луисе с семьей сестры). Мы практически ничего не знаем о его внутреннем мире и — точь-в-точь как в его прозе — вынуждены по внешним проявлениям домысливать «семь восьмых айсберга»: судя по тому, что он согласился не

сразу, а уже когда поехал, то как жених — купил костюм от братьев Брукс, взял с собой армейское кепи и папку со своими статьями, — можно предположить, что он долго колебался. Его приятель Дженкинс звонил ему накануне отъезда, пытался отговорить от женитьбы — возможно, об этом разговоре он помнил, когда писал рассказ «Трехдневная непогода»:

«— Раз уж человек женился, пропащее дело, — продолжал Билл. — Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел женатых?»

Ник молчал.

— Женатого сразу узнаешь, — сказал Билл. — У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка».

Эрнест понимал, что его «песенка спета» и образ жизни придется изменить. Он писал Биллу Смиту, что мужчина любит в своей жизни «две или три реки», но когда он влюбляется в девушку, реки высыхают. Он был ребячлив, но не инфантилен: ответственность не пугала, а привлекала его. Уже в 14–15 лет он вел себя как «Папа»: когда собирались в поход, помнил, кому какие вещи нужно взять, аккуратно укладывал их, никогда не опаздывал, ничего не забывал и не путал; с ним все чувствовали себя спокойно. Его заботливость почувствует и Хедли — незадолго до свадьбы она напишет, что ей хотелось бы иметь «такого отца, как ты».

Он приехал в Сент-Луис 11 марта 1921 года, пробыл пару дней, через две недели Хедли вновь приехала к Смитам. Ее подруга Рут Брэдфилд описала Эрнеста: «Его преувеличенное внимание к человеку, с которым он говорил, явно было наигранным... Он создавал вокруг себя оживление, потому что был увлечен всем, литературой и боксом, едой и напитками. Всё, что мы делали, становилось как-то по-новому значительным, когда он был с нами». Обсуждали планы на будущее: жить в США Эрнест не хотел. «Я патриот и готов умереть за эту великую и славную страну. Но жить здесь — черта с два!» — писал он Гэмблу. В Америке все было (или казалось ему) маленьким, провинциальным, затхлым. Близость родителей раздражала. Ничто его не удерживало, должностью в «Содружестве» он не дорожил: «Я работал до тех пор, пока не убедился, что все это жульничество. Потом еще некоторое время оставался там, думая, что смогу написать и разоблачить эти махинации, а потом решил, что пусть это будет мне уроком, и послал их к черту». Кенли Смит подтверждает, что Эрнест собрал какие-то разоблачительные материалы и предлагал их для публикации, но из этого ничего не вышло.

До каких пор он продолжал работать в журнале, неясно — по его словам, до весны 1921 года, по другим источникам выходит, что до осени.

Не самую последнюю роль в решении уехать из США, возможно, сыграл принятый в 1919-м «сухой закон». Италия казалась раем, к тому же молодожены будут жить по соседству с Гэмблом. Хедли последнее обстоятельство не радовало, но до поры до времени она не перечила жениху: у нее после смерти дяди был доход — две-три тысячи долларов в год, и эти деньги могли позволить им жить в Европе, не одалживаясь у Гэмбла.

Бросив службу, Эрнест воспрянул духом: теперь он мог все время посвящать литературе. Он начал делать наброски к роману, который «станет его пропуском в мир», как он 21 апреля сообщал в письме к Хедли: «Роман о реальных людях, которые говорят и думают как в жизни». Эта вещь никогда не будет окончена и материалы к ней потеряются; известно только, что ее героем был Ник Адамс. Хедли также пробовала писать, они обменивались отрывками, она безоговорочно признавала его превосходство, но предостерегала: «Не заикливайся на правдивости в искусстве — иначе в конце жизни обнаружишь, что впал в голую психологию». В июне договорились о женитьбе. Хедли получила милое письмо от Грейс — та приглашала молодоженов провести медовый месяц в Уиндмире. Нет данных о том, были ли родители Эрнеста недовольны, что сын женится на женщине восемью годами старше и будет жить за границей на ее содержании; по воспоминаниям младших детей, они лишь выражали надежду на то, что Эрнест наконец «остепенится».

Хедли приехала в Оук-Парк на несколько дней, понравилась свекру и свекрови: и плавает, и бегаёт, и на фортепиано играет, и характер добрый. Уточнили: свадьба состоится 3 сентября, потом — Уиндмир, октябрь — Чикаго, в ноябре молодожены отбудут в Италию. Лето прошло бестолково, Эрнест болтался без дела в Чикаго, время от времени видясь с невестой: та приезжала на его 22-й день рождения (она думала, что 23-й) и подарила пишущую машинку. Кенли Смит и его постояльцы вернулись в прежнюю квартиру на Чикаго-авеню: в одной из комнат, как предполагалось, молодые поживут до отъезда.

Венчание состоялось в церкви в Хортон-Бей. До этого Эрнест и Хедли провели на Валлонском озере несколько дней: «мальчишники», «девичники», рыбалка. Среди шаферов жениха были Билл Хорн, Билл Смит и Карл Эдгар, в числе подружек невесты — Кэтрин Смит. Две недели молодожены прожили в Уиндмире, поссорились из-за того, что муж знакомил жену со своими «пассиями», оба простудились и уехали в Чикаго раньше, чем планировалось. Незадолго до этого Эрнест умудрился насмерть рассориться со своим «отцом» Кенли Смитом, пересказав

Дональду Райту, что жена Кенли нелюбезно высказывалась о его постояльцах, так что жить пришлось не у Смитов, а на съемной квартире по адресу Норз-Кларк-стрит, 1300, потом на другой — Норз-Дирборн, 1239. Квартиры были тесные, мрачные и произвели на Хедли, не привыкшую к бедности, угнетающее впечатление.

Была возможность забыть ссору: в конце сентября Грейс пригласила Кенли с женой на 25-летие своего брака с Кларенсом. Но Эрнест написал Кенли грубое письмо и потребовал не приезжать в Оук-Парк. Позднее он также обменялся враждебными письмами с Биллом Смитом, а когда тот встал на сторону брата и невестки, заявил, что их всех «науськала» тетка, миссис Чарльз; чтобы добить семейство Смитов, он сказал, что Кэтрин присвоила его деньги, которые по его же просьбе хранила в банковской ячейке. (Большинство литераторов под старость написали бы мемуары, из которых мы бы узнали, что они раскаивались в своих глупых поступках, но Хемингуэй чувствами не делился, своих действий не обсуждал и никогда не признавался, что сделал что-то неправильно.) Увы, он еще не раз будет поступать подобным образом. Как это объяснить? Все люди противоречивы? Но это поведение настолько не вяжется с образом умного, милого, дружелюбного юноши, что трудно объяснить его чем-то, кроме психической неуравновешенности, которая уже тогда давала о себе знать.

Тем временем Андерсон, в мае уехавший в Париж, вернулся в восторге, убеждая, что лучше места писателю не найти и что при текущем курсе доллара к франку в Париже можно жить даже на небольшие средства. Хедли ухватилась за эту идею — ей не хотелось в Италию. Эрнест согласился. Никто не знает, почему он решил навсегда отказаться от мыслей о Таормине, но с Гэмблом они больше не встречались и потеряли друг друга из виду (тот вскоре тоже женился). О своих планах он сообщил в редакцию «Стар уикли» — ответил ему редактор ежедневной «Стар» Джон Боун. Оказалось, что поездка на пользу всем: канадские газеты не имели собственных корреспондентов в Европе и могли только перепечатывать сообщения чужих информагентств. Боун заключил с Хемингуэем договор, более выгодный для «Стар», чем для корреспондента: жалованья ему не полагалось, но в случае, если редакция сочтет нужным командировать его на мероприятие за пределами Парижа, будут, кроме гонорара, оплачены дорожные расходы. Остальное время он мог писать о чем вздумается, а «Стар» — принимать то, что ей понравится. Боун сказал, что желательны путевые зарисовки, описания пейзажей, «ничего заумного».

Шервуд Андерсон посоветовал Эрнесту остановиться в отеле «Жакоб» и написал рекомендательные письма к обитавшим в Париже американцам:

прозаику и критику Гертруде Стайн, поэту Эзре Паунду, Льюису Галантье (сотруднику Международной торговой палаты, переводчику) и Сильвии Бич (издателю, опубликовавшему «Улисса»), Хемингуэя он представил как «чрезвычайно талантливого литератора», преуспевшего в журналистике, однако не упомянул о том, что его протеже 22 года и он еще не опубликовал ни одной серьезной работы. 17 декабря в «Стар» появился последний текст, написанный Эрнестом в Чикаго, — грустная юмореска «Свадебные подарки» (дарят бесполезные вещи, а есть нечего). Автор к этому времени уже плыл в Европу. Перед отъездом, 8 декабря, побывал у Андерсона. «Я помню, как он поднимался по лестнице, — вспоминал Андерсон, — великолепный, широкоплечий мужчина». Наконец-то его перестали называть «мальшом». Он и во время плавания вел себя как большой, покровительствуя несчастным: узнав, что у одной пассажирки плохо с деньгами, организовал боксерский поединок, сборы от которого пошли в ее пользу. Разумеется, его противник был отправлен в нокаут — во всяком случае, так он рассказывал.

Глава четвертая ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Плавание окончилось в порту Виго, затем — поездка по железной дороге через всю Испанию. В Париж прибыли 20 декабря — предпраздничная суета, толчея в магазинах.

«— Интересно, что сейчас делают дома? — спросила девушка.

— Не знаю, — ответил молодой человек. — Как ты думаешь, вернемся мы когда-нибудь домой?

— Не знаю, — сказала девушка. — Как ты думаешь, повезет ли нам когда-нибудь в искусстве?

Хозяин вошел с десертом и маленькой бутылкой красного вина.

— Я совсем забыл про вино, — сказал он по-французски.

Девушка начинает плакать.

— Не думала, что Париж такой, — говорит она. — Я думала, что он веселый, полон света и очень красивый.

Молодой человек обнимает ее. По крайней мере, это можно сделать в парижском ресторане.

— Ну, перестань, дорогая. Мы здесь всего три дня. Париж будет другим. Вот увидишь. <...>

Это было их первое Рождество на чужбине. Вы не узнаете по-настоящему, что такое Рождество, до тех пор, пока вы не проведете его в чужой стране». Очерк «Рождество в Париже» опубликован в «Стар уикли» в 1923 году, но писал его Хемингуэй, похоже, о Рождестве 1921-го.

Отель «Жакоб», как обещал Андерсон, был чистый и недорогой, во всяком случае, для американцев. Хемингуэй написал об этом один из первых очерков для «Торонто стар» — «Как на 1000 долларов прожить год в Париже»: «Париж зимой дождливый, холодный, красивый — и дешевый. Он также шумный, переполненный, тесный — и дешевый. Он какой угодно — и дешевый. Доллар — ключ от Парижа». Номер в отеле — 30 долларов в месяц, обед в ресторане на двоих — полтора доллара, проезд в автобусе — четыре цента. В «Празднике» Хемингуэй писал, что они с женой были в тот год очень бедны и постоянно голодны — поясним сразу, что голод они испытывали лишь в тех случаях, когда долго шли от одного ресторана к другому и успевали нагулять аппетит. Хотя доход Хедли на будущий год сократился из-за неумелого финансового управления, денег им вполне хватало.

Через несколько дней молодожены встретились с Льюисом Галантье, и

тот помог найти квартиру. 9 января 1922 года они поселились в доме 74 порю Кардинал Лемуан — узкой старинной улочке на окраине Латинского квартала, начинающейся от Сены и заканчивающейся крохотной площадью Контрэскарп. Квартира без водопровода и почти без мебели: две комнаты, кухонька, в ванной — бак для воды, уборная на лестничной площадке. В нижнем этаже находился дешевый дансинг «Бал Мюзетт», за углом — кафе «Для любителей». Родным Хемингуэй сообщил, что живет «в самой лучшей части Латинского квартала», в «Празднике» заметил, что проживание на Кардинал Лемуан свидетельствовало только о бедности, а в «Снегах Килиманджаро» писал о «стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами, о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках», и в то же время «не было для него Парижа милее этого — развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре» — так что нам, не заставшим улицу Кардинал Лемуан и площадь Контрэскарп в прежнем виде, трудно понять, красивы или уродливы они были.

Сейчас это тихий, благоустроенный район, кафе, которое Хемингуэй описал как клоаку, посещают туристы и студенты, коз по улицам не гоняют, углем не торгуют и в каждой квартире есть туалет. А вот — тогда: «Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в „Boucherie Chevaline“, ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской ivresse^[7], — хотя принято уверять, что ничего подобного не существует, — открывали окна, и до тебя доносились их голоса:

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спит с какой-нибудь консьержкой. Разуштите ажана.

Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают.

— Что это? Вода? Правильно! Лучше и не придумаешь».

В «Воздушных змеях» Ромена Гари хозяйка сдает герою эту самую квартиру со скидкой, потому что из-за дансинга там шумно. Когда светит солнце и можно целыми днями гулять по Парижу, стерпишь любую квартиру, но когда погода портится, в ней становится скучновато. Прожив

на новом месте всего неделю, молодожены затосковали и предпочли уехать «туда, где не дождь, а снег падает сквозь сосны и устилает дорогу и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой», «где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем и с нами будут книги, а по ночам нам будет тепло вдвоем в постели, и в открытые окна будут сиять звезды» — в Монтрё: теперь это курорт с дискотеками и казино, а тогда был тихий городишко. Две недели прожили в пансионе в Шамби близ Монтрё, катались на лыжах. В романе «Прощай, оружие!» влюбленной паре в Швейцарии никто не нужен, но в жизни компании не хватало: Эрнест скучал, звал Дорман-Смита, но тот не приехал.

Второго февраля они вернулись в Париж, а в Канаду полетела новая серия путевых заметок, первая из них — 4 февраля. Это бойкие, симпатичные зарисовки: «Швейцария, маленькая горная страна, взбирающаяся вверх и спускающаяся вниз, утыкана огромными бурями отелями, построенными в стиле архитектурной школы „часы-кукушка“. Там, где дорога делает поворот, обязательно расположился отель, и кажется, что все эти отели сделаны одним мастером и выпилены одной пилой». Очерк об Испании: «В заливе Виго много тунца, и он хорошо идет на наживку. Это изматывающий, тяжелый труд, от которого болит спина, ноют мускулы, хотя вы и работаете удочкой толщиной с ручку мотыги. Но если вы после шестичасовой борьбы вытащите из воды большого тунца, победите его в поединке „человек против рыбы“ и, почти обессилив от постоянного напряжения, в конце концов поведете его рядом с лодкой, зелено-голубоватого и серебристого в ленивом океане, вам будут отпущены все грехи, и вы сможете смело войти в общение с древними богами, и они будут приветствовать вас».

Потом пошли заметки о парижской жизни. Читателя, ожидающего красочного рассказа о том, чем одно знаменитое кафе отличалось от другого, переадресуем к тексту «Праздника»^[8] — глупо портить его пересказом. Важнее общее впечатление. «С юности (по книгам) я, конечно, знал, что в Париже (каким невероятным представлялся из Пензы Париж!) среди прочих „чудес“ есть Монмартр и Монпарнас. Там общаются знаменитые художники, писатели, „бьет“ какая-то особая, сверхъестественная жизнь всемирной богемы», — писал Роман Гуль. Нетрудно представить, как «обалдевает» пензенец в Париже: жизнь не заканчивается в десять вечера, как дома, а продолжается всю ночь, сверкая огнями, перетекая из одного кафе в другое, по сторонам глядишь разинув рот — тут и там какая-нибудь знаменитость. Так вот, Канзас-Сити и тем более Оук-Парк по отношению к Парижу были такой же сермяжной

провинцией, как Пенза...

Эрнест писал о моде, о «Бал Мюзетт», о «богеме»: «В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве. Конечно, это приятное занятие, но они претендуют, что они-то и есть настоящие художники. С того доброго старого времени, когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставлял закупоренную бутылку хлороформа на умывальник, а сам потел, обтачивая свои „Цветы зла“, один, лицом к лицу со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до и после него». Вопреки распространенному мнению, будто Хемингуэй любил работать в кафе, он предпочитал делать это в тишине и уединении. Он не мог писать даже в квартире, где отвлекал шум, и снял номер в отеле «Декарт», том, где умер Поль Верлен: там имелся камин и не надо было таскать уголь. Дома он почти не бывал: холодом, грязью и шумом наслаждалась одна Хедли. Почему они не сняли квартиру получше — не пришлось бы тратиться на отель? Может, казалось, что так сэкономят больше, а может, присутствие жены мешало мужу и он в любом случае искал бы одинокой берлоги.

Один из февральских очерков для «Стар» посвящен русским эмигрантам: «Они приезжают в Париж, полные детского оптимизма, уверенные, что жизнь наладится сама собой: это умиляет, когда вы сталкиваетесь с ними впервые, но через несколько месяцев начинает раздражать. Никто не знает, на что они живут, кроме продажи драгоценностей, золота и семейных реликвий, которые они, убегая от революции, привезли с собой. <...> Что будет делать русская колония в Париже, когда продаст или заложит все драгоценности — это вопрос. Конечно, положение дел в России может измениться, может произойти чудо, которое спасет русскую колонию. На бульваре Монпарнас есть кафе, где каждый день собирается множество русских помечтать об этом чуде, но потом, вероятно, русским, как и всему остальному миру, придется работать. Жаль — они очаровательны». Какое кафе Хемингуэй имеет в виду — вопрос спорный: наши эмигранты посещали и «Кпозери де Лила», и «Ротонду», и «Селект». Были, правда, в Париже русские, которые не жили продажей драгоценностей, а, к примеру, писали книги, но их Хемингуэй не встречал, да и тех, о ком написал, знал, вероятно, понаслышке: он утверждал, что их оптимизм начинает раздражать «через несколько месяцев» общения, а сам провел в Париже только месяц, ни слова,

естественно, не понимая по-русски, да и французский еще зная не бог весть как. Журналистика и документалистика — не одно и то же, особенно когда речь идет о Хемингуэе.

За февраль — март он написал девять статей для «Стар» и рецензию на плохой роман Рене Марана «Батуала» — не так много, но при его дотошности в выборе слов работа его измотала и он жаловался Андерсону, что она «разрушает» его. Он хотел заниматься не журналистикой, а литературой: «...надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь... И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал». Над чем же конкретно он работал? Обсудим это позднее, когда случится одно знаменитое происшествие.

Перед отъездом в Швейцарию он отослал рекомендательные письма Андерсона к Стайн, Паунду и Бич; теперь были получены ответы и состоялись встречи. Эзра Паунд в 1908 году переехал из США в Англию, где некоторое время был секретарем Йетса; начал публиковать стихи и переводы, а в середине 1910-х, издав антологию поэзии и теории имажинизма, уже считался крупным поэтом и теоретиком поэзии. Как Андерсон в прозе, он ратовал за новый художественный язык — точный, без «красивостей» и, разумеется, без такой старомодной условности, как рифма:

Через плоский склон Сен-Алуа
Широкая стена мешков песка.
Ночь,
В тишине дезорганизованные солдаты
Колдуют у костров, опорожня котелки:
Раз-два, с фронта
Люди возвращаются, будто это Пиккадилли,
Прокладывая в темноте тропинки
Через груды мертвых лошадей,
По мертвому пузу бельгийца^[9].

Хемингуэй тоже писал стихи, до 1925 года регулярно, хоть и нечасто,

потом от случая к случаю, например, когда бывал влюблен, — но его поэзия и на родине не получила признания, а у нас вообще неизвестна. Литературоведы знают чуть более двадцати его стихотворений, большинство из которых были опубликованы в начале 1920-х в журналах «Литтл ревью», «Поэтри», «Квершнит» и в сборнике «Три рассказа и десять стихотворений». Значительным поэтом его никто не считает и сам он себя не считал, так что ограничимся одним примером:

Солдатам не светит хорошая смерть.
Им светит крест возле поля боя.
Крест из дерева вгонят в земную твердь
У павшего воина над головою.
Солдат кашляет в дыму и корчится,
А вокруг грохот взрывов, огонь и вой.
Солдат, пока атака не кончится.
Задыхаясь, не верит, что он живой^[10].

(«Поля чести», Чикаго, 1920)

Паунд стихи Хемингуэя похвалил — они напоминали его собственные. Человеком Паунд был общительным и добродушным, любил покровительствовать. Хемингуэй вспоминал о нем: «Эзра был самый отзывчивый из писателей, каких я знал, и, пожалуй, самый бескорыстный. Он помогал поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь всякому, кто попал в беду, независимо от того, верил он в него или нет... Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым». Помогал Паунд и материально, и профессионально: Джойс говорил, что редакция Эзры превратила «Улисса» из «аморфной груды осколков» в роман.

Паунд тут же обещал пристроить стихи нового друга в журнал «Циферблат», а рассказы в «Литтл ревью», где сам печатался, а также был литературным редактором и искателем спонсоров, «взамен» потребовав обучать его боксу, что было начато немедленно, невзирая на двухкратное превосходство гостя в росте и весе. Уроки продолжались несколько недель. Во время одного из них Хемингуэй познакомился с Уиндемом Льюисом, ядовитым критиком, который впоследствии напишет на его работы злую

рецензию и которого он назовет «человеком, гнуснее которого еще никогда не видел». Льюис в автобиографии описал 23-летнего Эрнеста: «Великолепно сложенный юноша, обнаженный до пояса, с ослепительно белоснежным торсом, стоял недалеко от меня. Он был высок, красив и невозмутимо отражал боксерскими перчатками нервные выпады Эзры. После удара в солнечное сплетение Паунд повалился на диван. Юноша был Хемингуэй. Паунд выглядел как дом, объятый пожаром, рядом с этой необыкновенной статуей». По «Празднику», никакого удара не было, напротив: «Я хотел закончить, но Льюис настоял, чтобы мы продолжали, и мне было ясно, что, совершенно не разбираясь в происходящем, он хочет подождать в надежде увидеть избиение Эзры. Но ничего не произошло. Я не нападаю, а только заставляю Эзру двигаться за мной с вытянутой левой рукой и изредка наносить удары правой, а затем сказал, что мы кончили, облился водой из кувшина, растерся полотенцем и натянул свитер».

Так ударил Хемингуэй маленького Эзру или нет? Щадил самолюбие друга перед посторонним или хотел, унизив друга, покрасоваться перед новым знакомым? Никто этого не знает: художественные тексты и мемуары — не документы и вряд ли правомерно раскавычивать их и выдавать за факты, как делают некоторые биографы Хемингуэя. Льюис был известен как человек довольно подлый; Хемингуэй славился как отъявленный враль. Эл Хиршфельд, американский карикатурист, в 1924 году познакомившийся с Хемингуэем в одном из парижских спортзалов, посещаемом литераторами и художниками, утверждал, что тот выбирал в качестве спарринг-партнеров только тех мужчин, которые были «примерно вдвое меньше его»: «Он был своего рода садистом. Я никогда не видел, чтобы он боксировал с человеком своей весовой категории». Правда, Хиршфельд добавил, что это было его «первое впечатление», и они с Хемингуэем редко общались. Кому верить? Да никому — пока не найдем дополнительных доказательств.

Через Паунда Эрнест завел много знакомств — с Малькольмом Каули, американским критиком, который будет много писать о нем, с редакторами «Литтл ревью» Маргарет Андерсон (не родней Шервуду) и Джейн Хип. (Андерсон он показался похожим на... кролика — «бело-розовое лицо, карие немигающие глаза».) «Циферблат» отверг стихи, Андерсон и Хип отклонили рассказы, но предложили написать какую-нибудь зарисовку. Эрнест написал... злой сатирический очерк о Паунде, высмеивая его внешность и богемные замашки. К счастью, у него хватило ума показать текст Галантье, который объяснил, что так себя не ведут. Приятельские отношения с Паундом сохранятся надолго — пока тот не начнет восхвалять

Муссолини, что превратит его в изгоя среди либеральной элиты. Впоследствии Хемингуэй писал о Паунде с нежностью и признавал его влияние: «...это был человек, которого я любил и на чье мнение как критика полагался тогда почти безусловно, человек, веривший в *mot juste*^[11] — человек, научивший меня не доверять прилагательным». Подход к работе, правда, был у них разный: Паунд занимался историческими изысканиями, изучал восточные языки и т. д. — Хемингуэй писал ему: «Ты изучаешь все, что можно. Я же на это не способен... Но я намерен узнать все о сексе (конечно, он употребил непечатное слово. — М. Ч.), и драках, и еде, и выпивке, попрошайничестве и кражах, жизни и смерти». И тем не менее: «Любой поэт, родившийся в этом веке, или в последнее десятилетие прошлого, который может честно сказать, что он не испытал влияния Паунда или не научился на его работах массе вещей, достоин даже не упреков, а жалости...»

Дружба с Гертрудой Стайн вспыхнула намного горячее: в марте Хемингуэй писал Андерсону, что они видятся «чуть не каждый день». Стайн переехала из США в Париж к брату-искусствоведу в 1903 году, а первый роман, «Три жизни», опубликовала в 1909-м; к 1922-му она уже 12 лет жила в лесбийском «браке» с Элис Б. Токлас (не имевшей отношения к литературе) и славилась новаторским подходом к литературе, а также коллекцией картин и «салонном». Андерсон писал о знакомстве с ней: «Представьте же мою радость и изумление, когда вместо томной дивы я встретил женщину необычайной жизненной силы, с мощным и утонченным интеллектом, понимающую в искусстве больше, чем любой известный мне американец или американка, к тому же обаятельную и блестящую собеседницу». Блеск салону придают знаменитости, но ничто так не радует хозяйку, как возможность открыть новую звезду: взять под опеку, учить писать, одеваться, жить. В квартире Стайн на улице Флерюс Эрнест появился в первый раз 8 марта вместе с женой: «Жен гостей, как почувствовали мы с Хэдди, здесь только терпели. Но нам понравились мисс Стайн и ее подруга, хотя подруга была не из очень приятных. Картины, пирожные и наливки были по-настоящему хороши. Нам казалось, что мы тоже нравимся обеим женщинам, они обходились с нами, словно с хорошими, воспитанными и подающими надежды детьми, и я чувствовал, что они прощают нам даже то, что мы любим друг друга и женаты — время все уладит, — и когда моя жена пригласила их на чай, они приняли приглашение».

Стайн, в свою очередь, описала знакомство — от имени Элис^[12]: «Я

прекрасно помню то впечатление которое в первый же вечер произвел на меня Хемингуэй. Это был необычайно приятной наружности молодой человек двадцати трех лет от роду. <...> он смотрел иностранцем, и глаза у него были очень любопытные, в том смысле что не сами по себе, а что ему было все интересно. Он садился напротив Гертруды Стайн и все смотрел и слушал. <...> Он тогда как раз начал писать роман было совершенно ясно что он не мог не начать его писать и еще были маленькие стихотворения потом Макэлмон напечатал их в Контакт эдишн. Стихотворения Гертруде Стайн в общем понравились, там была прямая, киплинговская, интонация, а вот роман ей показался так себе. Здесь очень много описаний, сказала она, и описаний не самых лучших. Начните еще раз с самого начала и постарайтесь сосредоточиться, сказала она». В этой части «показания» сторон не противоречат друг другу, но далее будут: например, и Стайн, и Хемингуэй упоминают, что говорили об Андерсоне, но когда пишут, что именно они о нем говорили, их утверждения диаметрально расходятся. Мы не раз столкнемся с этим, особенно когда дело дойдет до причин разрыва.

Доложили о знакомстве Андерсону: Стайн писала, что «хорошо провели время», Хемингуэй — что они с Гертрудой «как братья». Последовал еще визит четы Хемингуэев к чете Стайн, потом они встречались и ездили на автомобиле Гертруды в Мез, но на улицу Флерюс Эрнест, как правило, приходил уже один — «ради тепла, картин и разговоров»: «Большей частью говорила мисс Стайн... <...> За три-четыре года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отозвалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведения или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключение составляли Рональд Фэрбенк и позже Скотт Фицджеральд». Это, как и приведенный выше отзыв Стайн о Хемингуэе, написано не в 1920-х, а позже, когда дружбы уже след простыл и когда Хемингуэй отрицал, что Гертруда оказала на него какое-либо влияние. А тогда влияние признавал: «Оказывается, писательство тяжелый труд? До встречи с вами все было легко. Конечно, я писал плохо, господи, я и сейчас пишу ужасно плохо, и все-таки это другое „плохо“».

Как Андерсон и Паунд, Стайн считала, что слова стерлись от повторений и изгажены украшательством, и тоже верила в «новый язык», лишенный, в частности, знаков препинания. Вот фрагмент из ее лекции «Что такое шедевры и почему их так мало»: «Стало быть шедевр в своей основе должен не быть необходимым, он должен быть то есть он должен существовать, но он не должен быть необходимым он не появляется в ответ на необходимость как появляется действие потому что как только он

становится необходимым он уже внутри себя не может продолжаться». Творческий метод Стайн советские Хемингуэе — веды называли «бессвязным, алогичным, автоматическим письмом» и выражали радость, что Хемингуэй сумел вырваться из-под ее влияния.

В действительности язык Стайн не так уж бессвязен, и на Хемингуэя ее творчество повлияло всерьез. Литература, по ее мнению, должна была стать чем-то большим, чем литература — реальностью: звучит заумно для «простого читателя», но понять, чего добивается писатель, проще на примере «Улисса»: «Ну легче стало где ты ни будь пукнуть не забудь эта свиная отбивная что я съела до чаю свежая была или нет при такой жаре неизвестно но запаха от нее я не слышала»: автору понадобилась такая форма, чтобы передать, как думает необразованная женщина — не может же она думать, как профессор филологии! Стайн применяла тот же прием, начиная с «Трех жизней», и достигла вершины в «Автобиографии Элис Б.Токлас», написанной якобы от имени ее подруги, женщины намного более образованной, чем Молли Блум, но все же «простушки», которая не может мыслить литературно, как сама Гертруда: «За этой гитарой тоже числилась своя история. Мадам Матисс очень любила ее рассказывать. Дел у нее было по горло а в перерывах она позировала а она человек здоровый и ей хотелось спать. В один прекрасный день она позировала, он писал, она начала клевать носом и всякий раз как она клевала носом гитара начинала дребезжать. Перестань, сказал Матисс, проснись. Она проснулась, он писал, она клюнула носом и гитара задрезжала. Перестань, сказал Матисс, проснись. Она проснулась а потом через некоторое время опять стала клевать носом и гитара задрезжала пуще прежнего. Матисс в ярости выхватил у нее гитару и разбил ее. А дела у нас, горестно продолжала мадам Матисс, были тогда совсем никакие и нам пришлось отдавать гитару в починку чтобы он смог закончить картину».

Здесь постоянно повторяются одни и те же слова: писатели подметили, что так обычно говорят «простые люди», и предположили, что так они и думают. Кроме того, на письме повторы создают ритм. Это был, как признавал Хемингуэй, один из важнейших уроков, которые он получил от Стайн. Нужны повторы. И он их делал. Делал эти чертовы повторы. «Я счастливая женщина. Таких мужчин больше нет. Кто не пробовал, тот не знает. У меня их было много. Я счастливая, что мне достался такой. Может ли быть, что черепахи чувствуют то же, что и мы? Может ли быть, что они все время это чувствуют? Или, может быть, самке это больно? Черт знает, о чем только я думаю. Как он спит, совсем как маленький. Лучше мне не спать, чтобы вовремя разбудить его. Господи, я бы это могла всю ночь, если

б мужчины были иначе устроены. Я бы хотела так: всю ночь, и совсем не спать. Совсем, совсем, совсем не спать. Совсем-совсем».

Потоком сознания без запятых Хемингуэй тоже не брезговал: «...и вот мы входим в главный подъезд и швейцар снимает фуражку и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ и она дожидается у лифта и потом мы входим в кабину лифта и он ползет вверх очень медленно позвякивая на каждом этаже а потом вот и наш этаж и мальчик-лифтер отворяет дверь и она выходит и я выхожу и мы идем по коридору и я ключом отпираю дверь и вхожу и потом снимаю телефонную трубку и прошу чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке полном льда и слышно как лед звенит в ведерке все ближе по коридору и мальчик стучится и я говорю поставьте пожалуйста у двери. Потому что мы все с себя сбросили потому что так жарко и окно раскрыто и ласточки летают над крышами домов и когда уже совсем стемнеет и подойдешь к окну крошечные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев и мы пьем капри и дверь на запоре и так жарко и только простыня и целая ночь и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане».

И повторы, и поток сознания — не изобретение американских модернистов. «Он думает, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как то бы кто ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. <...> Это — ад! А это-то и есть. Он уже давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть. Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома... И в домах все люди, люди...» Характер текста задают персонажи: Анна Каренина — не Молли и не Элис, выглядело бы неестественно, если б она думала без знаков препинания, а вот если бы Толстому взбрело в голову написать внутренний монолог портнихи, может, там бы запятых и не было? Вряд ли: Толстой и мысли лошади умел передать классическим языком. Но различие между Толстым и нашими американцами не только в языке. Толстой считает необходимым дать к монологу Анны пояснение: «И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, странно трепетавшего сердца». Стайн и Андерсон полагали, что это лишнее: если читателю показали мысли героини, он и так должен сообразить, что ее сердце изранено. Не нужно объяснений. К черту объяснения если надо объяснять то не надо объяснять пародировать модернистов куда проще чем классиков знай себе не ставь запятых и точка. Хемингуэй вслед за своими американскими учителями отказался от объяснений — но, быть может, в рамках классического синтаксиса его удержала именно любовь к Толстому, которого он смог прочесть благодаря

еще одной завязавшейся дружбе — с Сильвией Бич.

Бич перебралась в Париж из Америки в ранней юности, в 1902 году изучала литературу, в 1919-м открыла книжный магазин-библиотеку «Шекспир и компания»; Эрнест стал клиентом библиотеки (с 1921-го находившейся на улице Одеон). Сильвия охарактеризовала его как «хорошо образованного молодого человека»: «Несмотря на некоторую ребячливость, он был очень умен». Женщины продолжали видеть в нем «малыша» — Сильвия, как и Гертруда, взяла его под опеку, выслушивала жалобы, не отказывала в советах. «Я не знаю никого, кто был бы ко мне так добр», — писал Эрнест; она была «умна, весела, интересна, и любила пошутить и посплетничать». Взнос Сильвии в творческое развитие Хемингуэя неизмерим: она давала ему читать книги (бесплатно или в долг). И тут ему открылось безбрежное море европейской литературы.

«С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнетт и английские издания Чехова». Именно «этих русских», а не Стайн и Джойса, Хемингуэй безоговорочно признавал своими учителями: «...днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице „Таубе“ высоко в горах, а ночью — другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские». «Я читал повесть „Казачи“ — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары, и я снова жил в тогдашней России». «По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэди, как я в свое время в доме деда».

Хемингуэй имеет в виду книгу Крейна «Алый знак доблести», написанную, как признавал ее автор, под влиянием Толстого; в США этот роман до сих пор считается едва ли не лучшим произведением о гражданской войне и по-своему хорош, но в сравнении с Толстым написан в более романтически-абстрактной манере. Известны слова Хемингуэя о том, как он «побил» Тургенева, Стендаля и Мопассана, но никогда не осмелится «выйти на ринг против господина Толстого, разве что я сойду с ума или достигну несравненного совершенства». На самом деле фраза приписана ему журналисткой Лилиан Росс, но Толстого он действительно считал «номером один» в литературной табели о рангах, далеко не всё, впрочем, у него одобряя: «Я никогда не верил теориям великого графа.

Ведь он мог создать больше и с более глубоким проникновением в суть, чем любой, кто когда-либо жил на Земле. Но его замысловатые мессианские размышления напоминали мне лекции евангелистских историков. Я учился у Толстого не доверять собственным путаным размышлениям и пытаться написать как можно правдивее, прямо и объективно и настолько кратко, насколько возможно».

Еще один русский, повлиявший на Хемингуэя: «В Торонто, еще до нашей поездки в Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова — все равно что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность». Д. Затонский в книге «Художественные ориентиры XX века» говорит, что Хемингуэй писал свои тексты «как рассказы чеховского склада. То есть кратко, экономно, пластично, с подтекстом, пронизывая всю картину настроением героя». Он «пошел в этом направлении дальше Чехова», «полностью порвав с прежней спокойной описательностью, с безмятежной прочностью авторского всеведения, с закругленностью словесных периодов, отделяющих и отдаляющих от себя объект изображения», то есть впал в крайность, чего делать не стоило: «С точки зрения общей литературной эволюции хемингуэевский путь был необходимостью, но в художественном отношении вел к неизбежным потерям». Действительно, впадать в крайность позволительно гениям; таланты должны быть осторожнее.

Удивительно, но Хемингуэю нравился даже Достоевский, у которого «есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам — слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью». Вообще начитанность Хемингуэя была довольно средняя (для большого писателя, конечно), но вкусы широкие и практически безупречные. Из европейцев ему нравились Стендаль, Флобер, Мопассан, Киплинг; позднее он полюбит Пруста и Томаса Манна и пристрастится к книгам своего французского ровесника, человека, так на него похожего, что удивительно, как эти двое не встретились за рюмочкой в парижских кафе: «Если вам случится мокнуть под дождем в Африке, когда вы стоите лагерем, то знайте, что в этой ситуации нет ничего лучше Сименона».

В феврале Сильвия Бич тиражом в тысячу экземпляров издала преследуемого цензурой «Улисса»; как пишет Ричард Элман, «с девяти

утра до самого закрытия люди толпились в магазине и глазели на эту книгу». В очередь записались литераторы, желавшие поддержать коллегу — Паунд, Йетс, Андре Жид; Хемингуэй подписался на несколько экземпляров, хотя обычно книг не покупал, а брал у знакомых. «Улисс» привел его в восхищение: «Джойс написал чертовски замечательную книгу. Вместе с тем, говорят, что он и вся его семья умирают с голоду, но каждый вечер вы видите, как эта кельтская шайка сидит у Мишо, где Бинни (одно из прозвищ Хедли. — М. Ч.) и я можем позволить себе бывать лишь раз в неделю... Ох уже эти чертовы ирландцы — вечно они жалуются то на то, то на это, но вы когда-нибудь слышали об умирающем с голоду ирландце?» Хемингуэй не упускал случая съехидничать в адрес коллег, но толки о нищете Джойса и вправду были преувеличены: он получал денежную помощь от меценатов. Сам Хемингуэй был горд, голодал, но не одалживался — так принято считать. На самом деле одалживался не раз, только впоследствии утверждал, что этого не было.

Он читал, писал, посещал музеи, ходил на скачки, велогонки, бокс, продолжал знакомиться с людьми, приятными и не очень: при чтении «Праздника» кажется, что вторых было больше, но на самом деле отношения со многими из них в ту пору были прекрасные, неприязнь возникла позднее. В Англо-американском пресс-клубе он сошелся с корреспондентом агентства Интернэшнл Ньюс Сервис Фрэнком Мейсоном, корреспондентом «Бруклин дейли игл» Гаем Хикоком — с последним ездили в Компьен и Энгьен на скачки; через Стайн и Паунда познакомился с литераторами и художниками, в том числе с Пикассо. В конце марта «Стар» дала ему первое задание: освещать международную конференцию в Генуе, посвященную «экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы». Причина созыва конференции — стремление европейских стран уладить отношения с советской Россией. Был подготовлен проект резолюции, в которой от большевиков требовалось признать финансовые обязательства прежних российских правительств. Председателем советской делегации был Чичерин^[13]. Хемингуэй прибыл в Геную 27 марта: конференция еще не открылась, но проходили ежедневные брифинги. Он посылал в «Стар» телеграфные сообщения и статьи — всего около пятнадцати. Первая статья, опубликованная 13 апреля, была посвящена политической обстановке в Генуе, где проходили стычки между коммунистами и фашистами. (23 марта 1919 года в Милане Бенито Муссолини учредил фашистскую организацию «Союз борьбы».)

У нас, естественно, писали, что Хемингуэй осудил фашизм и любил коммунизм, что верно лишь отчасти: фашистов он раскусил на удивление

легко для «малыша», каким его считали, но и симпатии коммунистам не выказал: «Можно не сомневаться, что красные генуэзцы — а они составляют примерно треть населения — встретят красных русских слезами, приветствиями, объятиями, будут угощать их вином, ликером, плохими сигаретами, будут парадировать, кричать „ура“ и на все лады выражать друг перед другом и перед всем светом свои симпатии, как это свойственно итальянцам. Они будут обниматься и целоваться, устраивать сборища в кафе, пить за здоровье Ленина, кричать в честь Троцкого, каждые две-три минуты три-четыре красных вожака будут пытаться склотить демонстрацию, и будет поглощено невероятное количество кьянти под дружные крики „Смерть фашистам!“. <...> Фашисты — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской... <...> Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломили красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя вправе бесчинствовать, где и когда им вздумается. И теперь для мирной Италии они представляют почти такую же опасность, какой когда-то были красные...»

Редакция сочла, что в статье мало критики в адрес коммунистов, и опубликовала ее с сокращениями. Боун, однако, решил, что корреспондента следует отправить в Россию, и предложил ему двухмесячную командировку и солидный аванс. 9 апреля, еще не получив письма. Боуна, Хемингуэй присутствовал на пресс-конференции советской делегации в Рапалло, где Чичерин заявил о согласии уплатить царские долги, если правительства Англии, Франции и США возместят ущерб, нанесенный интервенцией, и дал об этом краткую и сухую корреспонденцию. Коллеги вспоминали, что вид у него был скучающий и к обязанности писать в газету он относился как к бременю. 10-го конференция открылась — и тут художник, отодвинув журналиста, дал себе волю:

«Архиепископ Генуэзский в рясе винного цвета и красной шапочке беседует со старым итальянским генералом, лицо у генерала как печеное яблочко и на груди пять нашивок за ранение. Старик — это генерал Гонзаго, командир кавалерийского корпуса. Со своими свисающими усами, сморщенным личиком он смахивает на добродушного Аттилу. <...> Впереди Литвинов, у него большое ветчинно-красное лицо. На груди красный значок. За ним идет Чичерин — неопределенное выражение лица,

непонятного вида бородка и нервные руки. Они моргают, ослепленные люстрой. За ним Красин. Ничем не примечательное лицо, тщательно подстриженная вандейковская бородка и вид преуспевающего дантиста». «Глава советской делегации Чичерин с его наружностью деревенского бакалейщика, встрепанной непонятной бородой и свистящим мурлыканьем в голосе, которое почти невозможно было понять с галереи для прессы».

Советская делегация выступила с предложением о всеобщем разоружении, которое не было принято. Обсуждение сопровождалось конфликтом между Чичериным и председателем французской делегации Барту — Хемингуэй живо описал инцидент.

Ему нравилось, когда происходили «заварушки». Конференция не решила поставленных вопросов — часть их перенесли на Гаагскую конференцию. Но советское правительство извлекло из нее пользу, заключив Рапалльский договор с Германией, да и вообще Европа стала склоняться к тому, что советскую власть придется признать. В Россию отправлялись корреспонденты; Хемингуэя среди них не было. Его ответ на письмо Боуна не сохранился, но много лет спустя он говорил своему знакомому Рою Гринуэю, что не поехал из-за того, что в России «плохие и грязные отели». Возможно, этот отказ был одной из поворотных точек в его жизни. Он был русофилом и склонялся к «левизне», так что после поездки в Россию мог стать коммунистом; он был наблюдателен и не терпел фальши, так что мог превратиться в яростного антикоммуниста. Не случилось ни того ни другого. Правда, в июле того же года он писал Харриет Монро, редактору журнала «Поэтри», что в Россию ездил и провел там два месяца в качестве корреспондента «Торонто стар». Как не боялся, что его разоблачат? Так лгут только дети...

В Генуе он завел множество знакомств: с Джорджем Слокомбом, корреспондентом лондонской «Дейли геральд», сжившим в Париже американским журналистом Уильямом Бердом, с Максом Истменом, редактором «левого» журнала «Мэссиз». С последним они потом станут врагами, но тогда пришлось друг другу по душе; Истмен описал Хемингуэя как «скромного и прекрасно воспитанного юношу». Эрнест всюду возил свои наброски, показал их Истмену — тому они не понравились, но он послал их редакторам журнала «Либерейтор» Клоду Маккею и Майклу Голду, еще одному будущему врагу Хемингуэя. (Опубликованы они не были.) Съездили с Истменом и Слокомбом в Рапалло к юмористу Максу Бирбому, потом, когда конференция закрылась, Эрнест заехал в городок Эгль на рыбалку — отчет о поездке появился в «Стар»: «Я шел в Эгль по прямой белой дороге в темноте наступившего вечера и думал о великой

армии, о римлянах и о гуннах, легких и быстрых, и о том, что и у них, должно быть, находилось время исследовать этот ручей до рассвета, и не заметил, как очутился в Эгле». Дома не сиделось: в середине мая с женой и Дорман-Смитом поехали в Монтрё ловить форель, 31 мая отправились в Италию, перешли пешком Сен-Бернарский перевал, ночевали в монастыре, видели знаменитых собак-спасателей. Поездом в Милан, там расстались с Дорман-Смитом, Эрнест показывал Хедли госпиталь, в котором лечился.

МуССолини набирал силу — пройдет чуть больше года, и он возьмет власть. Эрнесту удалось договориться об интервью, по итогам которого в «Стар» и «Стар уикли» 24 июня были опубликованы две статьи. Писал их наблюдательный художник, но рядом с ним неожиданно возник проницательный аналитик: «Платформа фашистов — крайний консерватизм. Вообразите, что 250 тысяч членов консервативной партии Канады вооружены, т. е. представьте „политическую партию, построенную по принципу военной организации“, глава которой не скрывает, что у нее достаточно сил, чтобы сбросить либеральное, а впрочем, и любое другое правительство, посмевшее выступить против нее. <...> Таким образом, фашизм переживает третью стадию своего развития. Первой была организация контратак против коммунистических демонстраций, второй — создание партии, и, наконец, теперь это — политическая и военная сила, которая вербует рабочих и прибирает к рукам деятельность профсоюзов». Сам дуче, впрочем, произвел на Эрнеста неплохое впечатление — «он не такое чудовище, каким его принято изображать».

Тринадцатого июня они поехали в Чио и посетили Фоссальту, где Эрнест был ранен, — там было тихо и спокойно. Биллу Хорну он написал: «Нельзя постоянно возвращаться к прошлому или щекотать себе нервы, пытаюсь увидеть вещи такими, какими они были когда-то. Прошлое осталось в нашей памяти, и только там, прекрасным и удивительным, и нужно жить дальше...» Тем не менее отправил в «Стар» очерк «Возвращение ветерана», где давал читателям понять, что ветеран прошел всю войну и участвовал во множестве боев. «Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали...»

Побывали в Вероне, в Местре, вернулись в Париж, прожили дома безвылазно два месяца. Утром он работал, потом гулял с Хедли. Ходили в «Бал Мюзетт» — приехавшая погостить кузина Хедли вспоминала, что дамы были шокированы грубостью обстановки, но Эрнеста она приводила в восторг. Он написал несколько очерков для «Стар». Познакомился с Дос Пассосом (тоже водившим санитарную машину в Италии) — тот уже опубликовал две книги. А у него все еще ничего. «Каждый день мы

получали назад непринятые рукописи, — рассказывал он много лет спустя Аарону Хотчнеру, биографу и другу. — В прихожей их подсовывали нам под дверь, а на них мы обнаруживали отпечатанный на машинке суровый приговор — рукопись не принята. Бывало, я сидел за своим деревянным столом и читал эти записочки, прикрепленные к рассказам, которые я любил и в которые вложил столько труда, что теперь готов был расплакаться». Хотчнер тогда сказал: «Я не могу представить, чтобы ты плакал», — а Хемингуэй якобы (без слов «якобы» и «предположительно» ни одну приписываемую ему реплику приводить нельзя — ранние биографы заразились от него склонностью приврать) ответил: «Когда рана глубокая, приходится плакать...» К сожалению, никто так и не знает, что это были за непринятые рукописи и существовали ли они вообще. Обо всех опубликованных текстах Хемингуэя известно — кто их отклонял и когда. Эти, подсунутые под дверь, почему-то следа не оставили.

В мае забрезжил свет: журнал «Даблдилер» по протекции Андерсона опубликовал рассказ «Жест пророка» и стихотворение, а Уильям Берд, основавший издательство «Три маунтин пресс» с Эзрой Паундом в качестве редактора, решил выпустить серию книг современных писателей — одним из них мог стать Хемингуэй. Издание продвигалось медленно. Первым вышел сборник Паунда, затем роман Форда Мэддокса Форда. Хемингуэй был в очереди последним, да и неизвестно, было ли ему что опубликовать. В Париже опять не сиделось: в середине августа отправились рыбачить в Германию. Собралась компания: Берд с женой, Галантье с невестой. Хемингуэй и их знакомые, чета Нэш, добирались до Страсбурга самолетом — это был первый полет Эрнеста. «Мы взяли курс почти прямо на восток от Парижа, уходя все выше и выше в небо, точно мы сидели в лодке, которую мед ленно поднимал великан, а земля под нами становилась плоской. Казалось, что она расчерчена на бурые квадраты, желтые квадраты, зеленые квадраты и на большие плоские зеленые пятна леса. Я начал понимать живопись кубистов.<...> Все было неожиданно и очень приятно. Раздражал только запах касторки из мотора. Но потому, что самолет был маленький и очень быстрый, и потому, что мы летели рано утром, нас не укачало.

— Когда у вас была последняя катастрофа? — спросил я официанта.

— В середине июля, — сказал он, — погибло трое.

В то же самое утро на юге Франции медленно ползущий поезд сорвался с вершины крутого подъема, врезался в другой поезд, поднимавшийся вверх, и разнес в щепки два вагона. Погибло свыше тридцати человек».

На трамвае перебрались за границу, в городок Кель, где к компании присоединились Берды и Галантье. «Как только вы перешли грязный Рейн, вы в Германии, и на немецком конце моста стоит парочка смиреннейшего вида немецких солдат, каких вам вряд ли удавалось видеть. Два француза с примкнутыми штыками прогуливаются по мосту, а два невооруженных немца, прислонившись к стене, стоят и смотрят. Французские солдаты в полном обмундировании и стальных шлемах, а немецкие в старых свободных гимнастерках и фуражках мирного времени с высоким козырьком. Я спросил француза о назначении и обязанностях немецкого патруля.

— Они там стоят, — ответил он».

Из-за инфляции для американцев все было дешево; о ценах Эрнест написал в «Стар». Двинулись во Фрайбург, оттуда в Шварцвальд и обратно в Кель, провели в Германии три недели. Эрнест написал три очерка — тон их становился все более неприязненным. Все раздражало: на рыбалку трудно получить лицензию, кругом бюрократия, немцы — «грубые, с бритыми головами», — относятся к иностранцам враждебно. На обратном пути, в Эльзасе, удалось взять интервью у престарелого Клемансо, бывшего премьер-министра Франции, который Хемингуэю нравился и понравился еще больше, когда высказал откровенные и мрачные предсказания о будущем Европы. Однако Боун интервью не опубликовал: Клемансо, когда-то написавшего, что Америка — «единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, минуя стадию цивилизации», по ту сторону Атлантики считали персоной нон фата. В середине сентября Эрнест вернулся в Париж, но, не пробыв дома и недели, получил задание ехать в Константинополь и освещать заключительный этап войны между Турцией и Грецией.

Оттоманская империя, выступавшая в Первую мировую на стороне Германии, была на грани развала; султан отдал державам Антанты Палестину, Ирак, Ливан, Сирию и Фракию, которая по Севрскому договору отходила к Греции. Но турецкие националисты во главе с Мустафой Кемалем объявили султана низложенным, образовали в Анкаре свое правительство и отдать Фракию отказались. Европейские державы пустили в бой греческого короля Константина, обещая ему территории и военную славу. В 1921-м греческие войска отбросили армию Кемала до Анкары, установив шаткое равновесие, во время которого обе стороны расправлялись с национальными меньшинствами. В августе 1922-го Кемаль перешел в контрнаступление, греческая армия была разгромлена и отступила к Смирне, важнейшему порту Анатолии, переполненному

ранеными солдатами и беженцами. 9 сентября турки начали входить в Смирну; греки передали город союзному командованию, но Кемаль отверг предложения о перемирии, настаивая на возвращении занятых греками областей, а также Константинополя, оккупированного войсками Антанты.

Боун оплачивал путевые расходы скупно; Хемингуэй сговорился с Мейсоном из Интернэшнл Ньюс Сервис, что будет отсылать корреспонденции двум хозяевам и заработает вдвое больше. Хедли просила не ехать, произошла ссора, она вспоминала, что муж «страдал, но уехал, не сказав мне ни слова». 25 сентября он прибыл в Софию, 29-го — в Константинополь. В городе еще стояли британские войска, но иностранцы старались уехать. Эрнест заболел малярией, мучился, цензоры нещадно кромсали корреспонденции, Боун, удивленный тем, что в других газетах появляются те же тексты, что в «Стар», начал подозревать измену, настроение было прескверное. Битва не состоялась: в Греции произошел переворот, Константин был свергнут и на престол возведен кронпринц Георг, заключивший перемирие с Кемалем в Муданье. Хемингуэй писал: «Греция считала Фракию своей Марной, где она должна была выстоять или погибнуть. Сюда были стянуты войска, все накалилось до предела. Но тут союзники отдали Восточную Фракию туркам, а греческой армии предоставили три дня на подготовку к отходу. Армия ждала, не веря, что правительство подпишет Муданийское соглашение, но оно было подписано, и армия — ведь она состоит из солдат — отступила по приказу. Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины. Никаких оркестров, питательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остатки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй осады Трои».

Журналистов не пустили на встречу Кемалья с Георгом. В день подписания перемирия состоялась пресс-конференция, Эрнест лежал больной и прийти не смог, но написал о перемирии с аналитической остротой: «Даже если... никто никогда не признает, что Запад пришел к Востоку просить о мире, эта встреча имеет именно такое значение, потому что она знаменует конец европейского господства в Азии». Через несколько дней, все еще хворый, он выехал из Константинополя в Мурадию, чтобы увидеть отход греческой армии, эвакуирующейся из Восточной Фракии, а 17 октября отправился в Адрианополь, где шла эвакуация греческого населения. Помогли встретившиеся кинооператоры — с ними на машине поехал по дороге, где шли беженцы.

Очерки, которые Хемингуэй об этом написал, считаются вершиной его журналистики: «Я прошел по дороге с беженцами около пяти миль, увертываясь от верблюдов, которые, пофыркивая и раскачиваясь, шагали напрямик мимо огромных цельных колес арб, верхом груженных постелями, зеркалами, мебелью, притороченными свиньями, матерями, укутанными одеялами вместе с грудными детьми, стариками и старухами, цепляющимися за задок телеги и еле перебирающими ногами, склонив голову и упершись глазами в дорогу; вместе вьючные мулы, мулы с двумя охалками винтовок, связанных словно два снопа, одинокий помятый фордик с греческими штабными офицерами, неряшливыми и красноглазыми от бессонницы...

<...> Как бы долго ни шло это письмо до Торонто, вы можете быть уверены, что это ужасное, ковыляющее шествие людей, согнанных с насиженных мест, все еще течет непрерывным потоком по топким дорогам к Македонии. Их четверть миллиона, и они не скоро дойдут». Этот эпизод обычно не относят к «критическим точкам» в жизни Хемингуэя и, может быть, напрасно, ибо сам он спустя 30 лет вспоминал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаюсь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».

Двадцать первого сентября он вернулся в Париж, измотанный и грязный, с обритой из-за вшей головой. Привез Хедли бутылку розового масла и антикварную статуэтку, ссора была забыта. Поездка принесла ему 400 долларов. Журналистику он решил бросить — если не можешь «сделать что-нибудь с этим», лучше и не притворяться. Сел писать — теперь-то мы наконец узнаем, над чем он работал? Увы, лишь частично: достоверно известно только, что осенью 1922-го он написал рассказ «Мой старик» (My Old Man), открытое подражание Андерсону — позднее он скажет, что так писать легче всего, и больше так писать не будет: «Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал — хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, а потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

— Чертова эта работа — сгонять жир, Джо, — скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов, — теперь не то, что в молодости. — Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к

конюшням».

Предположительно к тому времени был вчерне создан еще один рассказ, «У нас в Мичигане» (Up in Michigan), где впервые описан Хортон-Бей: «С заднего крыльца Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган». Рассказ ждала трудная судьба, потому что в нем, как в те времена считалось, грубо и натуралистично изображался половой акт: «Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало.

— Нельзя, Джим, нельзя.

— Нет, можно. Так надо. Ты сама знаешь.

— Нет, Джим, не надо. Нельзя. Ой, нехорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Джим! О!

Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные, и Джим был очень тяжелый и сделал ей больно». Гертруда Стайн рассказ читала и сочла его непристойным, что подтверждают обе стороны, только не установлено, в каком месяце это было.

Эрнест не успел как следует «расписаться» — Боун потребовал ехать в Лозанну, где собиралась международная конференция по урегулированию греко-турецких отношений (проходила с перерывом с 20 ноября 1922 года по 24 июля 1923-го). Хедли была беременна и простужена, рвалась сопровождать мужа, плакала. Он прибыл на место 22 ноября, крайне недовольный: «Стар» отказалась платить аванс, а жизнь в Швейцарии была дорога. Выручил его Чарльз Бертелли, шеф парижского отделения агентства Юниверсал Пресс: опять работа на двух хозяев. Бертелли платил хорошо, но требовал ежедневных коммюнике. Это оказалось тяжело, так как журналистов не пускали на заседания. Они бегали за информацией из посольства в посольство — «так как каждое государство старалось выдать свою версию происходящего раньше другого» — и не имели возможности составить собственное мнение. Ссора с Хедли, видимо, не прошла даром: 22 ноября Эрнест написал Агнес фон Куровски, рассказав о своем браке и жизни в Париже, — письмо не сохранилось, но он сам сказал журналисту Линкольну Стеффенсу, что готов оставить Хедли ради Агнес. (Та ответила только через месяц: радовалась «возобновлению дружбы» и дала понять, что надеяться не на что.)

Хорошее в Лозанне было одно — интересные люди. Упомянутый Стеффенс — патриарх американской журналистики, принадлежавший к

так называемым «разгребателям грязи», которые писали о коррупции и других общественных язвах. Стеффенс рассказывал, как Хемингуэй показал ему октябрьские статьи о беженцах: «Его статья сжато и ярко передавала все детали этого трагического исхода голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их увидел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. „Нет, — возразил он, — вы читаете код. Только код. Ну разве это не замечательный язык?“ Он не хвастал — так оно и было. Я припоминаю, что он сказал: „Я должен бросить заниматься журналистикой. Я слишком увлекаюсь жаргоном телеграфа“». Эрнест также дал прочесть Стеффенсу «Моего старика» — тот сдержанно похвалил и послал рукопись в журнал «Космополитен».

Другое знакомство — с Уильямом Райаллом, корреспондентом «Манчестер гардиан»: тот воевал, служил в британской разведке, знал все мировые тайны и щедро делился ими с Эрнестом: «Поскольку я тогда был мальчишкой, он объяснил мне множество вещей, ставших началом всего моего образования в области международной политики». Возможно, именно под влиянием этого человека Хемингуэй всю жизнь будут интересоваться разведка и шпионаж; в своих фантазиях на тему «рыцарей плаща и кинжала» он немало позаимствует из рассказов Райалла. Под его же влиянием Эрнест изменил мнение о политиках и полководцах — все они беспринципные жулики, блюдущие только свою выгоду, — в частности, о некогда обожаемом Клемансо и о Муссолини, которого в недавней статье назвал «не таким чудовищем» и «патриотом». В январе 1923-го он уже писал по-другому: «Муссолини — величайший шарлатан Европы. <...> Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова и к его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости».

Хедли выздоровела; договорились, что она приедет в Лозанну. Тут и произошел один из самых загадочных инцидентов в истории литературы. Считается, что 2 декабря Хедли по собственной инициативе, чтобы сделать мужу приятный сюрприз, упаковала в чемодан все написанные им рассказы (около 18), стихи (более 30) и начатый роман; как она впоследствии объяснила, это было сделано потому, что муж рассказывал ей о Стеффенсе, и она решила, что он захочет показать Стеффенсу все тексты, а также будет работать над ними (всеми сразу) во время каникул. Хемингуэй писал на машинке, и у большинства текстов имелись копии, которые Хедли зачем-то сложила в этот же чемодан. На Лионском вокзале чемодан у нее украли.

«Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или

какое-то невыносимое страдание; но когда Хэдди сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась ничего сказать. Я убеждал ее, что, как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом наконец она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел на поезд и уехал в Париж, — я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдди, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом». Хедли потом говорила, что ее муж «так и не оправился от удара». Он же писал: «Вы женитесь на женщине не за ее способности хранить рукописи, и мне на самом деле было больнее видеть, как она ужасно переживает это, чем потеря написанного мною».

Правдива ли эта история? Выглядит она сомнительно — зачем хрупкой беременной женщине тащить с собой все копии? Бумага тяжелая, прикиньте-ка вес, да еще личные вещи, одежда. Может, чемодан нес носильщик? Но куда он в таком случае делся? И почему столь важную пропажу не искали как следует? Хемингуэй говорил, что дал объявление, пообещав нашедшему 10 долларов (почему так мало, ведь вор, обнаружив в чемодане бесполезные бумажки, мог соблазниться большой наградой?), но даже этот факт не подтвержден, а некоторые исследователи утверждают, что и в Париж он, узнав о потере чемодана, не ездил, а остался в Лозанне. Зная его страсть к выдумкам, можно допустить, что никакого чемодана не было. (Мы еще дойдем до 1954 года, когда Хемингуэй нашел утерянный чемодан с рукописями, но то был другой чемодан и рукописи другие.)

Большинство биографов в существовании чемодана все же не сомневаются, поскольку показания Эрнеста и Хедли совпадают. Но многие не верят, что чемодан содержал нечто значительное — никто не видел потерянных рассказов и ничего вразумительного о них не слышал. Эрнест в 1922 году многим рассказывал, сколько он уже понаписал: надо было что-то предъявлять, что-то давать в издательство Берда, а в действительности, кроме стихов, едва начатого романа (существование которого подтверждает Гертруда Стайн) и двух рассказов, ничего не было. Ему уже случалось ложью загнать себя в угол, так что нетрудно представить ситуацию: слово за слово, Стеффенс спрашивает: «А что еще вы написали?», Эрнест отвечает: «Да, знаете ли, массу всякого», Стеффенс просит эту массу предъявить, Эрнест в отчаянии придумывает сказку о чемодане и умоляет Хедли подтвердить ее. Николас Дельбанко написал целую книгу

«Потерянный чемодан» с разными версиями этой истории — например, Эрнест и Хедли сговорились лгать, или Хедли потеряла чемодан нарочно, зная, что окажет мужу услугу, — и остановился на том, что чемодан все же был и потерялся сам собою, но это событие пришлось кстати: то, что в нем содержалось, было написано слабо, и, освободившись от груза, Хемингуэй смог начать работать по-настоящему. Эзра Паунд тоже расценил этот случай как «миг удачи»: плохие тексты забудутся, а лучшее из того, что было, послужит сырьем для новых произведений.

Но зачем подозревать человека в обмане? Разве нельзя поверить, что все было, как он сказал — множество прекрасных рассказов пропало и это было горем, поверить, что чемоданы с рукописями терялись у одного писателя дважды, мало ли что в жизни случается? Можно, конечно. Никто, наверно, и не сомневался бы, если б не репутация выдумщика, которую Хемингуэй сам создал, как мальчик, что девять раз кричал «Волки!», а на десятый ему никто не поверил. Но рукописи не горят — быть может, еще до того, как в этой книжке будет поставлена последняя точка, чемодан объявится во плоти, жестоко посрамив скептиков.

Что же у автора осталось? Несколько стихотворений, потому что их копии были в редакции «Поэтри», «Мой старик» и «У нас в Мичигане» — первый рассказ был слаб, второй, как сказала Стайн, негоден для печати. Существовал чемодан или нет, был он пуст или полон, огорчила потеря или обрадовала — в любом случае надо всё начинать сначала.

Глава пятая КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Второго января 1923 года Марселина, «близнец» Эрнеста, вышла замуж (она проживет благополучную жизнь, родит трех детей и в отличие от большинства Хемингуэев умрет так называемой естественной смертью) — брат сожалел, что не мог приехать на свадьбу, но его в качестве шафера заменил Билл Хорн. Сам он провел новогодние каникулы (10 дней) с женой и Дорман-Смитом в Альпах: катались на лыжах, попробовали бобслей. Отправил в «Стар» два очерка: «Рождество на крыше мира» и «Снежные обвалы в Альпах». Получил письмо от Агнес — она «знала, что всё кончится хорошо и что это был лучший выход — и я уверена, что и ты так думаешь теперь, когда у тебя есть Хедли...<...> Я всегда знала, что ты выбьешься в люди, и всегда приятно знать, что твое предположение оправдывается».

Когда конференция возобновилась, вернулись в Лозанну. Хемингуэй отправил в Торонто статью о конфликте между Чичериным («Чичерин — не тот, каким был в Генуе, когда он, казалось, щурился, как человек, шагнувший из темноты на яркий солнечный свет. Он выглядит более уверенным, на нем новое пальто...») и главой британской делегации лордом Керзоном: страны Антанты хотели свободного прохода своих судов, в том числе военных, через принадлежащие Турции проливы Босфор и Дарданеллы, Россия же стремилась не допустить их в Черное море, для чего приняла сторону Турции. Хемингуэй назвал Чичерина русским Талейраном (а Ленина — русским Наполеоном, превратившим революцию в диктатуру); его схватку с Керзоном он описал как конфликт между старой Британской и «будущей русской империей». Статья сопровождалась фотографией Чичерина в генеральской форме и ехидным комментарием: «Вы должны знать, что Чичерин никогда не был солдатом. Он робок. Он не боится убийств и казней, но побледнеет, если вы поднесете кулак к его носу. До двенадцати лет мать одевала его в девичьи платья». (Эта пикантная информация была, видимо, почерпнута у Слокомба и Райалла.) «Мальчик, которого одевали девочкой до двенадцати лет, всегда хотел быть солдатом. Солдаты создают империи, а империи затевают войны». Пожалуй, это самый критичный отзыв о советской власти, какой Хемингуэй сделает за всю жизнь. Неизвестно, подумал ли он о себе, когда писал, что мальчики, носившие девчачье платье, желают быть солдатами. Может, и не помнил, и старых фотографий не видел — но попал в точку.

В январе Харриет Монро опубликовала в «Поэтри» стихи Хемингуэя: «Поля чести», а также «Пулемет», «Дождливая погода», «Рузвельт», «Снова в атаку» (Riparto di Assalto) и «Название главы». Отметим стихотворение «Рузвельт», которого советские критики, не знавшие, что президент был детским кумиром Хемингуэя, истолковывали как «разоблачительное»:

Рабочие верили,
Что он борется с трестами,
И выставляли в окнах его портрет.
«Вот он бы показал бошам во Франции!» —
Говорили они.
Все может быть —
Он мог бы сложить там голову,
Может быть,
Хотя генералы чаще умирают в постели.
Как умер и он.
И все легенды, порожденные им в жизни,
Живут и процветают,
И он не мешает им своим существованием.

Это не разоблачение, а разочарование. Слокомб и Райалл лишили своего молодого друга иллюзий.

В феврале конференция прервалась. Хемингуэи поехали в Рапалло, куда их приглашали Эзра Паунд и иллюстрировавший его стихи художник Майк Стрэйтер. Когда приехали, Эзра отсутствовал, а Стрэйтер повредил ногу и не мог ни боксировать, ни играть в теннис, зато написал портреты Хедли и Эрнеста, впервые попробовавшего отрастить бороду. Познакомились с американским издателем Эдвардом О'Брайеном, выпускавшим сборники «Лучшие рассказы года». Эрнест показал ему «Моего старика»: «Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину: так можно в тупом оцепенении показывать компас с корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом, или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. <...> Возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали, и я утешал О'Брайена,

как утешают солдат после боя. Я скоро снова начну писать рассказы, сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его, но тут же понял, что говорю правду».

В Рапалло у него появился новый приятель, Роберт Макэлмон: молодой американец, литератор, женился на богатой девушке и переехал в Францию, где на средства тестя основал издательство. Человек свехобщительный, Макэлмон собирал вокруг себя богему; поскольку в дальнейшем он стал заклятым врагом Хемингуэя и тот отзывался о нем уничижительно, принято считать, что он был бездарью и негодяем, но это неверно. Он оказывал поддержку Джойсу, — помогал молодым писателям публиковаться; его издательство функционировало без прибыли, ради «раскрутки» талантов, к которым он отнес и Хемингуэя. Но талант должен был представить для издания что-то большее, чем один рассказ («У нас в Мичигане» Хемингуэй публиковать не собирался). Он начал писать рассказ «Кошка под дождем» (Cat in the Rain) — не закончил, оставил. Вернулся Паунд, предложил вместе путешествовать: они посетили Пьомбино, Орбетелло, Сирмионе, потом разъехались: чета Паундов вернулась в Рапалло, а Хемингуэйи отбыли в Доломитовые Альпы, в местечко Кортина д'Ампеццо, где были все условия для зимнего спорта. Но надо, надо писать, ведь все знают, что у Эрнеста было много произведений, все сожалеют о его потере, хотят помочь. Джейн Хип предложила дать что-нибудь в апрельский номер журнала. У него получались только куски, отрывки, миниатюры:

«Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: „Я пьян, mon vieux^[14], я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я“. Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: „Затуши огонь. Опасно. Нас заметят“. Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне».

«Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин, ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь».

«Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу на нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от

удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись».

«Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно неподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка — с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а им пришлось бы перелезать. Шикарная баррикада. Они было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов».

«Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо под дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени».

«Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца».

Связным повествованием эти миниатюры (процитированы в сокращении) так и не станут — это что-то вроде венка сонетов в прозе. Они войдут в два сборника — в один как самостоятельные тексты, в другой как интермедии между рассказами. Фрагмент о беженцах был написан на основе собственного опыта. Остальные — со слов знакомых; например, о расстреле греческих министров в Афинах 28 ноября 1922 года поведал кинооператор Шорти Уорнелл. А написано так, что не сомневаешься: человек все видел собственными глазами.

Работе помешал в конце марта злодей Боун — ему требовался материал о франко-германских отношениях. Когда Германия объявила, что не может выплачивать Франции денежные репарации, предусмотренные Версальским договором, их заменили натуральными выплатами (сталь, древесина, уголь). Немцы задерживали поставки — французы и бельгийцы в начале января 1923 года оккупировали Рурский угольный бассейн, забрав

мощности по производству угля и кокса в качестве «производственного залога». Но французский премьер Пуанкаре хотел большего — добиться присвоения Рейнской области и Руру статуса, аналогичного статусу Саарского региона, где при формальной подчиненности Германии вся власть была у французов. Немцы яростно сопротивлялись. Хемингуэй оставил жену в Италии с новой подругой, музыкантом Ренатой Боргатти, заехал в Париж, отдал Джейн Хип миниатюры, временно задвинул писателя в угол и в один присест написал три толковые аналитические статьи, где разъяснялось, что без конца ожесточать Германию — себе дороже: «Франция — большая и прекрасная страна. Самая прекрасная страна из всех, какие я знаю. Невозможно писать без пристрастия о стране, которую любишь. Однако можно писать беспристрастно о правительстве этой страны. Франция отказалась в 1917 году заключить мир без победы. Теперь она обнаружила, что имеет победу без мира».

Отослав статьи, 30 марта он отправился в Германию по маршруту Страсбург — Кель — Оффенбург — Карлсруэ — Франкфурт — Кёльн — Дюссельдорф (по международной железнодорожной линии, проходившей через оккупированную зону). Послал оттуда в «Стар» десяток очерков. Была инфляция, разруха, процветали только спекулянты. Немцы рассказывали журналисту о своих бедствиях, в которых винили Францию и собственных промышленников: «Ненависть в Руре вы ощущаете как некую действительную конкретную реальность. Она так же определена, как неподметенные, измазанные угольной пылью тротуары Дюссельдорфа или длинные ряды грязных кирпичных домиков, неотличимо похожих друг на друга, в которых живут рабочие Эссена. Немцы ненавидят не только французов. Они смотрят в сторону, когда проходят мимо французских постовых у почтовых контор, у городской ратуши около отеля Кайзергоф в Эссене, и глядят прямо впереди себя, встречая французских пуалю на улице. Но когда встречаются националисты и рабочие, они смотрят в лицо друг другу с ненавистью такой же холодной и основательной, как горы шлака позади литейных цехов фрау Берты Крупп». США и Великобритания принуждали Францию отказаться от оккупации, да и внутри страны усиливалась оппозиция правительству по этому вопросу. «Похоже, что авантюра с Руром близится к концу. <...> Она породила новую ненависть и заставила вспыхнуть старую злобу. Она принесла страдания множеству людей. Вопрос заключается в том: усилила ли она Францию?» (Оккупация Рурского региона завершилась в соответствии с принятым в 1924 году планом Дауэса в июле — августе 1925 года.)

Он вернулся в Кортину 12 апреля, пуце прежнего ненавидя

журналистику и желая писать *настоящее*, и наконец ему это удалось. Рассказ «Не в сезон» (Out of Season) — о старом рыбаке, который помогает туристам ловить форель и возлагает большие надежды на очередного клиента:

«— Благодарю вас, саго. Благодарю вас, — сказал Педуцци таким тоном, каким говорят члены „Карлтон-клуба“, принимая „Морнинг пост“ из рук соседа.

Вот это была жизнь! Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним.

— Так, значит, завтра в семь, саго, — сказал Педуцци, похлопывая американца по плечу. — Ровно в семь.

— Я скорее всего не пойду, — сказал американец и положил бумажник обратно в карман.

— Как? — спросил Педуцци. — Я принесу пескарей, синьор. Salami, все достану. Вы, я и синьора. Все трое.

— Я скорее всего не пойду, — повторил американец. — По всей вероятности — нет. Узнаете у радгоне в конторе отеля».

В «Празднике» Хемингуэй скажет: «...я опустил настоящий конец, заключающийся в том, что старик повесился. Я опустил его, согласно своей новой теории: можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, — тогда это лишь укрепляет сюжет и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое». Это и есть «принцип айсберга», который он сформулировал в одном из интервью: «Семь восьмых его скрыто под водой, и только восьмая часть — на виду. Все, что знаешь, можно опустить — от этого твой айсберг станет только крепче». (Чехов: «Когда я пишу... я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам».) О хемингуэевских «айсбергах» написаны тонны литературоведческих работ. Но мы обойдемся простым примером, который предоставил он сам, сочинив «айсберг» из шести слов. В русском переводе их всего четыре:

«ПРОДАЮТСЯ ДЕТСКИЕ БОТИНОЧКИ НЕНОШЕННЫЕ».

*

Боун сказал, что Лозаннскую конференцию можно оставить, и 2 мая Хемингуэй возвратились в Париж. Дела шли не так чтобы хорошо, но и не плохо: в апрельском номере «Литтл ревью» были опубликованы шесть миниатюр и стихотворение, в издательстве Берда дела не подвигались, но

была надежда на Макэлмона. Нужны новые впечатления: все увидеть, вкусить, пощупать, запомнить. Он уже объехал пол-Европы, но оставалась Испания. Гертруда Стайн там была, наблюдала бои быков и рассказала о них Эрнесту, тот страшно заинтересовался и рискнул написать миниатюру о том, чего еще не видел: «Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа редела и швыряла на арену все, что попадалось под руку».

Для поездки нашлись компаньоны: Берд и Макэлмон, который платил за всех. Отправились в конце мая, в Мадрид ехали поездом, с Хедли и Макэлмоном. На станции увидели полу-разложившийся труп собаки. Макэлмон отвернулся — Хемингуэй презрительно заявил, что мужчина должен уметь смотреть на такие вещи. Макэлмон в юности работал в Нью-Йоркском порту и там нагляделся на поножовщину и трупы; его это замечание взбесило. Отношения дали трещину и становились все хуже — возможно, потому, что человек, ненавидящий одалживаться, но согласившийся жить на содержании (а ведь речь шла не о «куске хлеба» для семьи, но о развлекательной поездке), невольно начинает ненавидеть «благодетеля». Макэлмон о Хемингуэе: «Временами он был умышленно жестким и бесчувственным. И вдруг он оказывался нарочито невинным, сентиментальным, уязвимым. Мягкий, но необычайно чувствительный мальчик, пытающийся скрыть уязвимость, желающий быть храбрецом... Его стремление к самозащите проявлялось в испытующих взглядах, бросаемых им на собеседника».

В Испании правил король Альфонс XII; скоро, в сентябре 1923-го, генерал Primo de Rivera совершит военный переворот, но Хемингуэй к тому времени уже вернется домой, а пока все было спокойно. В Мадриде они встретили Берда, отправились в Севилью, где увидели первый бой: «Потом из темного загона, наклонив голову, вступил на арену бык. Стремительный, огромный, черный с белыми пятнами, весом свыше

тонны, он двинулся вперед тихим галопом. Яркий солнечный свет словно ослепил его на мгновение. Бык застыл на месте. Крепко натянутые узлы мускулов на загривке вздулись, ноги словно вросли в землю, глаза бегали, озираясь, рога были уставлены вперед, черно-белые, острые, как иглы дикобраза. Потом он ринулся вперед, и тут я понял, что такое бой быков. Ибо бык превратился в нечто невероятное. Он стал похож на какое-то огромное доисторическое чудовище, абсолютно беспощадное и злобное. Не издавая ни звука, он ринулся в атаку каким-то неопишуемым мягким галопом. Поворачивался он в сторону или назад сразу всеми четырьмя ногами, словно кошка».

Никто из членов компании раньше корриды не видел. Эрнест, по воспоминаниям Берда, был увлечен до безумия и «вел себя как посвященный в тайное общество». Все жалели лошадей, Макэлмон опять отворачивался, Эрнест над ним издевался. Сам он лошадей тоже жалел, но — «настоящий мужчина должен смотреть». (По словам журналиста Морли Каллагана, Хемингуэй говорил ему: «Даже если ваш отец умирает и вы с разбитым сердцем стоите у его постели, то и тогда вы должны запоминать каждую мелочь, как бы это ни было больно».) В книге «Смерть после полудня» он напишет: «Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть. Она лишена тех привходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга, или человека, которого любил или ненавидел, — но все же это смерть, это нечто такое, о чем стоит писать. Я читал много книг, в которых у автора, вместо описания смерти, получалась просто клякса, и, по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наезжает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя».

«Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем, — писал Илья Эренбург (они познакомились в 1937 году). — Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман; бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а тореро вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика освищет, да и не слишком

поздно...» Страсть Хемингуэя к корриде — вещь для людей XXI века малопонятная, как и сама коррида — то ли варварский пережиток, то ли экстремальный спорт. За что он ее любил, что она такое? Коррида^[15], сперва конная, затем демократичная пешая, зародилась в Испании много веков назад, когда во всем мире жизнь человека, не говоря уже о животном, не ценилась ни в грош: занятие не хуже и не лучше других. Это был спектакль, в котором бык, упрощенно говоря, символизировал зло, а человек — победу над злом. В XIX веке это развлечение уже было экзотическим, а в XX начало считаться варварским. На исходе тысячелетия Европейское сообщество его осудило, запретив придавать статус культурного мероприятия. Но оно разрешено законодательством Испании, и там быков до сих пор убивают (в Португалии коррида бескровная). Матадора^[16] могут убить тоже, но чем дальше, тем безопаснее коррида становится для человека.

На вопрос, почему коррида процветала именно в Испании, Хемингуэй отвечал так: «Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни...» Испанцы живут для смерти — вероятно, современные испанцы с этим бы не согласились: сейчас корриду посещают преимущественно туристы, гордящиеся тем, что в их странах ее нет, и приезжающие в «варварскую» Испанию на нее поглазеть. Сам Хемингуэй интересовался смертью — вот первая причина, по которой он полюбил корриду — «единственное место, где можно видеть насильственную смерть». Нужно ли ему было видеть смерть как художнику или это патологическая страсть — вопрос дискуссионный, к которому мы не раз будем возвращаться.

Причина вторая: коррида — опасное развлечение для настоящих мужчин, а посему заслуживает уважения. Третья: Хемингуэй был заядлым болельщиком, а коррида — спорт. (Все виды спорта жестоки: в боксе люди избивают друг друга, на хоккейных площадках и футбольных полях, случается, умирают, подростки принимают допинги и получают увечья ради чести государства или клуба. Если мы со всем этим миримся, то нечего гнушаться и корридой.) Четвертая причина, не всякому понятная: Хемингуэй считал корриду искусством. «Будь искусство боя быков непреходящим, оно могло бы стать одним из высоких видов искусства, но это не так, и потому оно исчезает вместе с создавшим его, тогда как в других отраслях искусства о творчестве того или иного мастера даже и

судить-то трудно, прежде чем его бранные останки не будут преданы земле. Предмет этого искусства — смерть, и смерть уничтожает его. <...> Вообразите, что картины художника исчезают вместе с ним, а книги писателя автоматически уничтожаются после его смерти и впредь существуют только в памяти тех, кто их читал. Именно это происходит в бое быков».

Человек, относящийся к корриде с осуждением, скажет, что этак и убийство маньяком жертвы можно назвать искусством. Но спортивный болельщик мысль Хемингуэя поймет, если заменить в процитированном пассаже корриду на хоккей или футбол. А тот, кто видел корриду хотя бы по телевизору, заметит, как она похожа на фигурное катание: команда тореро выполняет определенные фигуры, а зрители оценивают, насколько красиво они сделаны. Наконец, пятая причина, самая замысловатая. Хемингуэя приводило в восторг то, что этика корриды требует от матадора относиться к быку как к товарищу, проявляя уважение к его силе и храбрости. Красиво убить друга, предоставив ему возможность блеснуть — как убивали гладиаторы, обнимаясь перед боем, — значит оказать ему услугу, «даровать» смерть, которую стократ приятнее принять от руки друга, чем от старости или равнодушного ножа мясника.

Так омерзительна коррида или прекрасна? Джек Лондон: «Это зрелище вредное: оно развращает тех, кто его видит, — люди привыкают наслаждаться мучениями животного. Впятером нападать на одного глупого быка — ведь на это способны только жалкие трусы! И зрителей это учит трусости. Бык умирает, а люди остаются жить и усваивают урок». Маяковский: «Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять». Но писатели бывают разные. Можно осуждать корриду, но не видеть ничего дурного в охоте; можно осуждать корриду и охоту, но считать нормальным явлением расстрел без суда. Хемингуэй в 1923 году написал Биллу Хорну: «Это не просто жестокость, как нам рассказывали. Это великая трагедия, и самое прекрасное зрелище из тех, что мне доводилось видеть, и требует мужества и мастерства, и еще раз мужества — большего, чем что-либо». Очень красиво. И тут же проговорился: «Это все равно, что наблюдать войну, сидя в первом ряду, и в то же время самому находиться в полной безопасности».

Если «наблюдать войну, сидя в первом ряду» — не жестокость, то что тогда жестокость? Наверное, мы все-таки должны Хемингуэя осудить. Во

всяком случае, тот из нас, кто полагает, что человечество выращивает бычков, кур и норок не затем, чтоб освежевать или съесть, а для иных целей, и верит, что их забивают гуманно, и не злорадствует, когда лучший игрок вражеской команды ломает ногу, и не употребляет в пищу мяса, и любит ближнего больше, чем себя, имеет на это полное моральное право.

*

Из Севильи компания перебралась в Ронду, затем в Гранаду, где смотрели новильяду — корриду с молодыми бычками. Макэлмон и Хемингуэй продолжали ссориться, Берд счел, что Эрнест ведет себя «возмутительно», упрекнул — тот только посмеялся. Макэлмон тем не менее твердо решил издать Хемингуэя — три рассказа и несколько стихотворений. Берд предлагал в дополнение к шести миниатюрам написать еще несколько — тогда и в его издательстве выйдет тоненькая книжка. Но пока ничего нового не было: ни о чем нельзя писать, когда существует коррида. По возвращении в Париж Эрнест измучил знакомых рассказами о ней, изображал матадора, вонзая воображаемую шпагу в загривок быка. В начале июля в Памплоне проходила фиеста (празднество, сопровождающееся уличными представлениями, шествиями, маскарадом) в честь святого Фермина — Стайн рекомендовала посмотреть. Решили, что поездка пойдет на пользу Хедли и будущему ребенку, и, пробыв дома чуть больше двух недель, вновь выехали в Испанию, на сей раз вдвоем.

Фиеста произвела потрясающее впечатление — шум, гам, дым коромыслом, каждый день бои быков, которые Эрнест описывал в очерке «Памплоне в июле», опубликованном в «Стар уикли»: «Он взметнул плащом перед мордой быка и одним очень легким и изящным движением описал полный круг. Он попытался повторить этот прием, классическую „веронику“, но бык не дал ему закончить. Вместо того чтобы застыть на месте в завершении вероники, бык набросился на матадора. Он поднял Ольмоса на рога и высоко подкинул его», и так далее со всеми техническими подробностями; людям, не увлекавшимся корридой, эти подробности казались нудноватыми.

Когда пишешь не о том, что важно для всех — любовь, дружба, смерть, горе, предательство, деньги, — а о предметах специализированных, всегда рискуешь быть оцененным только любителями, как бы хорошо ни написал. Подставьте другие слова: «Он поставил ногу на мяч и одним очень легким и изящным движением описал полный круг. Он попытался

повторить этот прием, классический финт Зидана, но защитник не дал ему закончить». Кому-то интересно, кто-то умрет со скуки.

При прогоне быков по улицам желающие могли дразнить их, потом устраивалась коррида для любителей. «Около трехсот мужчин с плащами, со странными тряпками, или старыми рубашками, или еще с чем-нибудь, что может имитировать плащ матадора, поют и танцуют на арене. Раздается клич, и ворота корраля распахиваются. Оттуда с невероятной скоростью выскакивает молодой бык. Его рога обмотаны кожей, что делает их безопаснее. Он нападает на человека, подхватывает его, подбрасывает в воздух, и толпа ревет от восторга. <...> Каждый раз, когда бык подцепит кого-нибудь, толпа ревет от восторга. В основном она состоит из местных знатоков. Чем больше храбрости проявляет выступающий и чем элегантнее он действует своим плащом, тем неистовее ревет толпа, когда бык его повалит. Никто не выходит на быка с оружием, и никто не ранит и не раздражает его». Считается, что Хемингуэй участвовал в любительских корридах (хотите — верьте, хотите — нет), а также был среди тех, кто дразнит бегущих быков — второе очевидцы подтверждали.

Хедли обожала корриду не меньше мужа, была без ума от матадоров; он немного ревновал, писал полушутя: «Если вы хотите в глазах своей жены остаться храбрым и мужественным, никогда не берите ее на настоящий бой быков. Я ходил на любительские корриды по утрам и старался, как мог, вернуть хоть малость ее бывшего расположения ко мне. Но я все больше убеждался, что бой быков требует совсем иного рода мужества, каким я не обладаю, и в конце концов мне стало ясно, что если у нее и возникнет какое-нибудь чувство ко мне, то это будет лишь средство избавиться оттого истинного, которое вызывают в ней Маэра и Вильяльта. Нельзя соревноваться с матадорами на их поприще, если вообще в чем-нибудь стоит. И если многие мужья все же пользуются расположением своих жен, то объясняется это, во-первых, тем, что число матадоров ограничено, и, во-вторых, что совсем мало жен видело бой быков».

Оба восхищались «звездами», Мануэлем Гарсией и Никанором Вильяльтой, в честь которого решили назвать сына, если таковой родится. Эрнест писал Биллу Хорну: «Здесь собрались восемь лучших тореро Испании, и пятеро из них были пронзены рогами! Быки поднимали на рога по одному тореро в день. (Ничего подобного, конечно, не было, и Хорн, знавший своего друга, это понимал.)...Где-то в октябре у нас появится малыш. Надеемся, мальчик, и ты будешь его крестным отцом. Первые месяцы своей жизни он провел на лыжах, один раз видел на ринге Колотушку Сики, дважды Карпентьера и пять раз бой быков, так что, если

внутриутробное влияние не пустые слова, то все должно быть в порядке. Нам обоим ужасно хочется парня».

В Испании он продолжал писать миниатюры: несколько — о корриде, другие — на основе репортерского и военного опыта, своего и чужого. А в начале августа в издательстве Макэлмона «Контакт пубблишинг компани» вышел сборник «Три рассказа и десять стихотворений»; рассказы — «Мой старик», «Не в сезон» и «У нас в Мичигане», стихотворения — те, что вышли в «Поэтри» и четыре новых: «Оклахома», «Пленники», «Монпарнас» и «Встреча с юностью».. Микроскопический тираж — 300 экземпляров — был напечатан с пропусками, с путаницей в нумерации страниц; Хемингуэй, вернувшись в Париж, написал Макэлмону письмо, полное упреков.

Кажется, он только теперь осознал, что у него будет ребенок, и заволновался. Боялся отцовства, по свидетельству парижского знакомого Гая Хикока; это подтверждает и Стайн в «Автобиографии Алисы»: «Он пришел к нам часов в десять утра и остался, он остался к обеду, он остался до самого вечера, потом он остался к ужину а потом сидел часов наверное до десяти вечера и потом вдруг ни с того ни с сего заявил что его жена в положении и следом и так знаете горько, а я, я еще слишком молод чтобы стать отцом». Отцовства побаивается всякий молодой муж, к тому же у него были причины для беспокойства: всё время жить на деньги жены невысказанно, заработок дает только журналистика, но он ее ненавидит — как быть? Гертруда утверждала, что это она дала совет. «Если вы будете и дальше работать в газете, — говорила она, — вы перестанете видеть вещи, вы будете видеть одни лишь слова, а это не годится». Эрнест ее послушался: «Они вернутся в Америку и он будет работать как проклятый целый год а потом с тем что он заработает плюс те деньги которые у них уже есть они снимут постоянную квартиру и он пошлет к черту газетную работу и станет писателем».

Гертруда помогла или Хемингуэи обошлись без ее указки, но они решили уехать. Нанесли прощальные визиты; Паунд дал Хедли совет, для которого, видимо, были основания, — «не пытаться переделать мужа». Всем обещали, что вернутся, как только ребенок сможет перенести путешествие по морю, то есть года через два. 26 августа отплыли, прибыли в Квебек, оттуда в Торонто. 10 сентября Эрнест вернулся на работу в «Стар» и получил оклад 125 долларов в неделю. Там сменилось руководство — Боуна заменил Гарри Хайндмарш. Он был так плох, что Хемингуэй горько пожалел о Боуне и впоследствии писал редактору «Стар уикли» Крэнстону, что работать под началом Хайндмарша «всё равно что

служить в германской армии под начальством дурака-командира». Но неизвестно, было ли бы намного лучше, если б у руля остался Боун: работа в ежедневной газете требовала от Эрнеста делать то, чего он не любил, — писать о концертах, заседаниях муниципалитета, происшествиях (первая его заметка была о сбежавшем каторжнике). Все это он перерос. Он начал набрасывать сатирический роман о Хайндмарше «Зять» (Хайндмарш женился на дочери владельца газеты), но бросил, объяснив это тем, что романист не должен писать книг, в которых главный герой представляет собой реальное лицо, ненавистное автору — «эмоции искажают перспективу».

Другая горесть: Америка не заметила его книги, была только крошечная заметка критика Бартона Раско в «Букмен дейбук», приложении к нью-йоркской «Трибюн», где мимоходом упоминалось, что другой критик, Эдмунд Уилсон, видел миниатюры Хемингуэя в «Литтл ревью» и что у него, Раско, есть книга «Три рассказа и десять стихотворений», но недосуг ее читать. Уилсон был тонким, умным критиком и серьезным авторитетом; обнадеженный Эрнест написал ему умоляющее письмо:

«Дорогой мистер Уилсон!

В светских и литературных заметках Бартона Раско я прочитал, что Вы обратили его внимание на мои материалы в „Литтл ревью“. Посылаю вам „Три рассказа и десять стихотворений“. Насколько я знаю, в Штатах никто их не рецензировал. Гертруда Стайн пишет мне, что написала отзыв, но я не знаю, сумела ли она опубликовать его. В Канаде никогда ничего не узнаешь. Я хотел бы послать несколько экземпляров для отзыва, но не знаю, следует ли делать на них дарственные надписи, что является обязательным в Париже, или нет. Поскольку моя фамилия неизвестна и книга не выглядит импозантно, она, вероятно, будет встречена так же, как ее встретил мистер Раско, который не нашел за три месяца времени прочитать экземпляр, присланный ему Галантье (он мог прочитать ее за полтора часа)... Надеюсь, что книга Вам понравится. Если она Вас заинтересует, но можете ли Вы прислать мне фамилии четырех-пяти человек, чтобы я послал им книгу для отзыва». Уилсон книгу прочел (уже в ноябре), написал коротенький благосклонный отзыв, но заметил, что «Мой старик» — подражание Андерсону. Автор был не согласен, но благодарил: «Насколько я могу судить в настоящее время, единственное мнение в Штатах, к которому я отношусь с уважением, это Ваше». Он так никогда и не признает влияние Андерсона в рассказе, но Уилсон отныне станет его лучшим критиком и первым в мире «специалистом по Хемингуэю».

Но переписка с Уилсоном завязалась не сразу после приезда. Поначалу

было совсем тяжело. Выручали знакомства: Эрнест сошелся с молодыми репортерами Морли Каллаганом и Мэри Лоури, оба пробовали писать беллетристику, показывали Эрнесту, он хвалил, поддерживал. У Мэри был в редакции закуток, куда Эрнест ежедневно приходил обругать Хайндмарша и отвести душу: «Он врывался как ураган, бушевал и хохотал по всевозможным поводам». Часто ходили на задания вдвоем с Мэри — это делало терпимым самое скучное мероприятие. Да и не все задания были скучными: насильственные смерти случаются не только в Испании. Одну из первых совместных с Лоури работ пришлось писать о жертвах землетрясения в Японии — многие из них были американцами, репортерам удалось обнаружить одну спасшуюся семью в Торонто.

«— Что вы делали, когда толчки прекратились? — спросил репортер.

— Мы вышли на берег. Нам пришлось ползти. <...> Мы дошли до здания британского консульства, оно тоже обрушилось. Осело, как печка. <...>

— А люди? Как они себя вели? — спросил репортер.

— Паники не было. Даже странно. Я не видела никого в истерике. Впрочем, одна женщина из русского консульства... Здание русского консульства находилось рядом с английским. Оно еще не обвалилось, его сильно покачнуло. Женщина выбежала из ворот вся в слезах. У чугунной ограды сидели кули. Она умоляла помочь ей вытащить дочку из здания. „Она такая крошка“, — сказала она по-японски. Но они так и остались сидеть. Казалось, что они не могут пошевелинуться. Конечно, никто никому не помогал тогда. Все думали только о себе».

Женщины, мать и дочь, давать интервью не хотели, наша пара их уломала, потом им было стыдно, но и стыд пошел в дело: «Только сейчас репортер понял, почему она не хотела, чтобы у нее брали интервью, и что никто не имел права этого делать и заставлять ее переживать все снова. Ее руки чуть заметно дрожали».

Жили сперва в отеле, потом Грегори Кларк помог найти жилье — Батерст-стрит, 1599, пансионат «Кедровый дол», неподалеку от Коннэйблов, которые взяли молодых друзей под опеку. Приехал Кларенс Хемингуэй, помогал обустроиться, привез свадебные подарки. Невестка ему нравилась. Он сказал, что дети «достигли нового уровня зрелости», надеялся, что они осядут — не в Штатах, так хоть в Канаде. Молодые хотели осесть, даже кота завели, но американская жизнь им не нравилась. Атмосфера провинциальная, по воскресеньям, кроме церкви, ничего не работает, служба противна, начальник дурак. Спасал Крэнстон, публиковавший в «Стар уикли» юморески Хемингуэя на всевозможные

темы — о рыбалке в Германии, например: «Если у вас всего две недели на рыбную ловлю, возможно, что все это время пойдет на получение лицензии. Гораздо проще носить с собой удочку и ловить рыбу там, где вам попадется хороший ручей. Если кто-нибудь начнет выражать недовольство, попробуйте всучить ему марки. Если недовольство будет продолжаться, продолжайте предлагать деньги. Если этой политики придерживаться достаточно последовательно, недовольство прекратится и в конце концов вам будет разрешено удить рыбу. Если же, напротив, вы кончите предлагать марки, прежде чем недовольство прекратится, вы можете попасть в тюрьму или больницу».

Он написал для «Уикли» большую статью о европейских монархах, использовав рассказы Уорнелла и других журналистов: аналитика вперемешку с зубоскальством. «В настоящее время король Италии, наверное, самый популярный король в Европе. Он передал свое королевство, армию и флот Муссолини. Муссолини любезно вернул ему всё с торжественными заверениями в верности и преданности Савойской династии. Потом он все-таки решил оставить армию и флот себе. Когда он попросит все королевство, пока неизвестно. <...> На севере живут уважаемые короли: Хокон Норвежский, Густав Шведский, Кристиан Датский. Они так хорошо разместились, что о них никто ничего не знает. <...> Я всегда думал, что Лихтенштейн — это менеджер боксеров-профессионалов из Чикаго, но оказывается, существует маленькая процветающая страна с таким названием, которой управляет Иоганн II».

Отношения с Хайндмаршем достигли накала в начале октября, когда тот поручил встречать в Нью-Йорке бывшего британского премьера Ллойд Джорджа и сопровождать его в железнодорожной поездке по Канаде. Хедли должна была со дня на день родить, Эрнест просил не посылать его, Хайндмарш настоял, жену пришлось оставить на попечение миссис Коннэйбл. Пребывание в Нью-Йорке и поездка отняли четыре дня, Ллойд Джордж вызвал неприязнь — «вздорный, злой, вредный субъект». 10 октября 1923 года, когда Эрнест еще не доехал до Торонто, Хедли родила мальчика, Джона Хедли Никанора, весом в семь фунтов с лишком. Роженице давали наркоз — потом она рассказывала, что «трудности родов преувеличивают».

Муж на другой день примчался в больницу, по воспоминаниям Хедли, едва живой от усталости, но «крэйзи» от счастья. Окружил ее заботой, еще до выписки нашел няню. Докладывал Стайн: «Привет, ребята (он имел обыкновение так называть женщин, включая своих жен и сестер. — М. Ч.) ... вчера в два часа ночи родился юный Джон. Все в порядке. Мне

говорили, он славный, но лично я нахожу в нем поразительное сходство с испанским королем. <...> Здесь все как в кошмарном сне. Работаю от двенадцати до девятнадцати часов в сутки и к ночи так устаю, что не могу спать. Вернуться сюда было большой ошибкой. Правда, у нас просторная квартира с солнечной стороны на краю оврага, где кончается город, с чудесным видом и холмами, где вы можете, вернее, я могу, кататься на лыжах, если есть снег и свободное время. Хедли и малышу здесь хорошо, и мы можем скопить немного денег, чтобы вернуться в Париж. <...> Нас обоих ужасно тянет назад. Впервые в жизни я понял, как кончают самоубийством просто потому, что накапливается слишком много проблем и дел и им не видно конца».

Едва Хедли окрепла, решили ехать в Париж сразу после Нового года. С заработком помог Крэнстон, согласившийся опубликовать в каждом номере «Уикли» по две статьи (часть — под псевдонимом). Эрнест использовал европейские впечатления: Рождество там, Рождество сям, коррида, рыбалка, писал второпях и небрежно, но ниже допустимого уровня не опускался: заготовленные им тексты будут печататься и после отъезда. Незадолго до Рождества он разорвал отношения с ежедневной «Стар». Обстоятельства увольнения неясны: по его версии, поводом было интервью с венгерским дипломатом Аппони: он взял у Аппони на время некие документы и отдал их Хайндмаршу на хранение, а тот их выбросил. Много лет спустя, когда биографы захотели разобраться в этой истории, в «Стар» ее не подтвердили и не опровергли: бухгалтерские документы лишь свидетельствуют, что Хемингуэю в последний раз начислили зарплату в конце декабря.

Он съездил на Рождество к родным — без жены и ребенка, зато привез дорогие подарки. Визит прошел идеально. Грейс нашла, что он становится похож на дедушку Холла, и потом писала ему: «Когда ты сидел тем воскресным вечером и говорил, ты высказывал те же взгляды, что и он... Он говорил, что патриотизм — последнее прибежище негодяев, убежденный, что единственный допустимый патриотизм — патриотизм гражданина мира. <...> Ничто не могло тронуть меня сильнее, мой мальчик, чем твой чудесный подарок дяде Тайли. Он заплакал. И мы плакали оба, держась за руки. Ты не представляешь, какое счастье для матери видеть, что ее сын так благороден и прекрасно воспитан». Познакомился с мужем Марселины, приехавшей в гости, — и тут все прошло гладко. Единственный инцидент произошел между ними Марселиной: он дал ей «Три рассказа», но просил не показывать книгу родителям. Она прочла (уже после отъезда из Оук-Парка) и пришла в ужас,

потому что в рассказе «У нас в Мичигане» автор дал героям имена Дилуортов. «Их описание, особенно мужчины, было настолько точным, что, когда я прочитала рассказ и поняла, что Эрнест использовал этих добрых людей для вульгарной и грязной истории, придуманной им, во мне все перевернулось. Я уверена, что родители никогда не видели эту книгу». Теплота в отношениях между братом и сестрой с тех пор пошла на убыль.

Перед отъездом из Торонто Хемингуэй нанесли визит Коннэйблам. По условиям арендного договора должны были заплатить хозяйке неустойку, но предпочли улизнуть тихо. Кота везти в Европу было слишком сложно — пришлось отдать соседям, это было горе. На вокзал из сотрудников «Стар» их провожала одна Лоури. Вместо двух лет в Канаде они пробыли четыре месяца. Больше Хемингуэй в Торонто не вернется, хотя среди местных жителей бытуют легенды, что он туда наезжал. Он будет поддерживать переписку с Лоури, Каллаганом, Грегори Кларком, Коннэйблами, которых в 1925-м встретит в Париже, и Крэнстоном, которому в 1951-м напишет: «Я никогда не был так счастлив, как когда работал с Вами и Грегори Кларком. Это единственная причина, по которой мне было жаль бросать работу в газете».

Несколько дней провели в Нью-Йорке в обществе Джейн Хип и Маргарет Андерсон, ходили на бокс и бейсбол; Андерсон вспоминала, что отродясь не видела человека, который был так помешан на спорте. Там же Хемингуэй получил от Берда гранки своей новой книги толщиной 32 страницы. В книге было 18 миниатюр — безымянные, они шли под номерами. Из одной, о свергнутом греческом короле, наши переводчики вырежут кощунственную фразу (догадайтесь, которую). «Пластирас, по-видимому, порядочный человек, — сказал король, — но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Расстреляй Керенский несколько человек, и все могло бы сложиться совсем иначе. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Девятнадцатого января отплыли во Францию. На сей раз Эрнест никого на пароходе не бил, было не до этого: «Мы связали наши кофры и чемоданы и устроили из них заграждение у койки, чтобы Том (так в книге „Острова в океане“ зовут ребенка. — М. Ч.) не падал, а когда приходили проверить его, он каждый раз встречал нас смехом, если, конечно, не спал.

— Трехмесячный и уже смеялся?

— Он всегда смеялся. Я не помню, чтобы Том когда-нибудь плакал в младенчестве».

«— Почему ты разошелся с его очаровательной матерью?

— Вышло такое странное стечение обстоятельств».

Глава шестая ДЬЯВОЛ НОСИТ «ПРАДА»

«Первое что они собирались сделать как только приедут так это окрестить ребенка. Им хотелось чтобы мы с Гертрудой Стайн были крестные матери а один англичанин фронтовой товарищ Хемингуэя был крестный отец. Мы все от рождения принадлежали к разным вероисповеданиям и вообще по большей части были люди неверующие, так что было довольно трудно решить, в какую же веру окрестить младенца. Мы тогда убили уйму времени, все до единого, обсуждая что да как. В конце концов мы пришли к выводу: пусть это будет епископальная церковь и окрестили его в епископальную веру. Как там уладилась неразбериха со всем этим довольно диким ассортиментом крестных, я уж точно не знаю, но ребенка крестили в епископальной часовне. На крестных если они художники или писатели положиться нельзя». Так в книге Стайн говорит Элис Токлас, фронтовой товарищ — Дорман-Смит, а крестили Джона (прозвище — Бамби) 16 марта 1924 года.

На сей раз Хемингуэй, прибывшие во Францию 30 января, сняли квартиру лучше: столовая, спальня, нормальная кухня, мебель, водопровод, правда, вода только холодная, — на Нотр-Дам-де-Шан, красивой улице недалеко от Люксембургского сада, куда Хедли ходила гулять с малышом. Но без проблем опять не обошлось: в нижнем этаже лесопилка, пахнет приятно, но из-за шума нельзя работать. Эрнест иногда ходил писать в кафе «Клозери де Лила» — с той поры и пошла легенда, что он работает только в кафе. Для Бамби взяли оригинальную няньку: «Бамби лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Ф. Кис. Кто-то говорил, что оставлять кошку наедине с младенцем опасно. Самые суеверные и предубежденные говорили, что кошка может прыгнуть на ребенка и задушить. Другие утверждали, что кошка может лечь на ребенка и задавить его своей тяжестью. Ф. Кис лежал рядом с Бамби в его высокой кроватке с сеткой, пристально смотрел на дверь большими желтыми глазами и никого не подпускал к малышу, когда нас не было дома, а Мари, *femme de menage*^[17], куда-нибудь выходила. Нам не нужно было никого приглашать присматривать за Бамби. За ним присматривал Ф. Кис». Но не стоит верить литературе: за Бамби на самом деле присматривала немолодая бретонка Мария Рорбах, а также родители, причем отец не меньше, чем мать. Трудно сказать, был ли Джон Хемингуэй любимым сыном Эрнеста, но заботы от него получил больше, чем младшие

братья: отец купал малыша, пеленал, высаживал на горшок, носил с собой на прогулки — правда, в основном под мышкой и вниз головой, как утверждала Сильвия Бич. Ребенок был уравновешенный и спокойный. Он всегда будет таким.

«Я нашему крестному сыну вышила детский стульчик и связала одежонку веселеньких таких расцветок, — писала Элис-Гертруда. — Тем временем отец нашего крестного сына самым честным образом засел за работу чтобы сделать из себя писателя». Работа была как писательская (о ней позднее), так и журналистская: Форд Мэддокс Форд, пожилой поэт-прерафаэлит, человек знаменитый, энергичный, знающий всех и вся, основал журнал «Трансатлантик ревью», чтобы публиковать молодых писателей: «Ядро писателей должно собраться вместе, чтобы началось движение, чтобы неизвестные таланты могли расти». Форд уже основывал такой журнал — «Инглиш ревью» — и провалил мероприятие из-за неумения вести финансовые дела. Но ему опять поверили. Он умел находить спонсоров. Деньги на «Трансатлантик ревью» дал богатый американский юрист Джон Куинн; были и другие пожертвования. Первый номер журнала вышел в январе 1924-го. Эзра Паунд, друживший с Фордом, от его имени предложил Хемингуэю должность помощника редактора.

Форд вспоминал, что новый знакомый выглядел как «выпускник Итонского колледжа», «этакий рослый молодой капитан английской армии», «человек дисциплинированный и обдумывающий каждое слово» и напоминал «сверкающую статуэтку из увлечений Эзры китайского периода», и утверждал, что ему было достаточно прочесть шесть слов, написанных молодым гением, дабы понять, что любой его текст заслуживает публикации. Он приглашал Эрнеста на «литературные чаи», обещал скорую и громкую славу. Протеже о покровителе потом отозвался как о «пивной бочке с крашеными усами» и слова доброго не удостоил: Форда тогда уже не было в живых, но он бы и не удивился: он говорил Стайн, что начинающие таланты воспринимают его как «что-то вроде вертящейся двери, которую всякий норовит пнуть при входе и выходе». «Мы издавались и печатались в сводчатом винном подвале, необыкновенно старом и тесном, на острове Сен-Луи с видом на Сену, — вспоминал Форд. <...> Я числился главным редактором. Они все кричали на меня: я не знаю, как писать, или знаю слишком много, чтобы уметь писать, или не знаю, как издавать, как вести счета, или как петь „Фрэнки и Дженни“, или как заказывать обед... В этот шум врывался Хемингуэй, покачивающийся с носков на пятки, размахивающий перед моим носом большими руками и рассказывающий злые истории про парижских квартирных хозяев».

В обязанности Хемингуэя входили рецензирование и правка рукописей, а также поиск чего-нибудь гениального — этим занимались все сотрудники «Трансатлантик». В феврале он нашел первую драгоценность — громадную рукопись Стайн «Становление американцев». Первый отрывок требовался срочно — Эрнест сам его перепечатал, вычитал гранки и отдал во второй (апрельский) номер журнала. «Форду вещь нравится, он собирается к Вам навеститься, — писал он Гертруде. — Я сказал ему, что Вы писали эту вещь четыре с половиной года и что всего в ней шесть томов. Он спрашивает, согласитесь ли Вы на 30 франков за страницу (его журнальную страницу), и я сказал, что, может быть, сумею Вас уговорить. (Заносись, да не слишком.) Я дал ему понять, какая это удача для его журнала, и подчеркнул, что этой добычей он обязан исключительно моим способностям добытчика. У него сложилось впечатление, что обычно, когда Вы соглашаетесь что-либо опубликовать. Ваши гонорары значительно выше».

Гертруда была благодарна и позволила ему приводить в порядок все шесть томов («Становление американцев» печаталось в девяти выпусках с апреля по декабрь 1924 года) — таким образом он, по ее мнению, «многому научился, и он восхищался всем тем, чему учился». Сперва он действительно был в восторге. Пытался устроить издание книги целиком: «Мы — Элис Токлас, я, Хедли, Джон Хедли Никанор и другие хорошие люди — просто обязаны издать Вашу книгу. И это непременно произойдет рано или поздно, все будет так, как Вы хотите». Потом устал: «„Становление американцев“ начиналось великолепно, далее следовали десятки страниц, многие из которых были просто блестящи, а затем шли бесконечные повторы, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в корзину». Но тогда он Гертруде этого не сказал.

Если не считать работы в журнале, его образ жизни в Париже мало отличался от того, который он вел в прошлый приезд: он писал рассказы, ходил в гимнастический зал боксировать, увлекся велогонками, заводил и возобновлял знакомства: юморист Дональд Стюарт; поэт Эрнест Уолш; художники Этель Мурхед, Серж Паскин, Андре Массон; поэт Арчибальд Маклиш и его жена Ада; молодая журналистка Дженет Флэннер; Гарольд Леб, богатый молодой американец, выпускник Принстона, боксер, издатель журнала «Брум» — над ним Хемингуэй вдоволь поиздевается в «Фиесте». Хедли тоже нашла подругу — любовницу Леба, танцовщицу и модель Китти Кэннелл. Китти, по ее воспоминаниям, заметила, как бедно одета Хедли, водила ее по магазинам, дарила украшения — муж сердился, ревновал, заставил подарки вернуть (как когда-то делала его мать).

Бедность туалетов Хедли всем бросалась в глаза, так что под конец жизни ее муж счел нужным оправдываться: «Я вел себя глупо, когда ей понадобился серый цигейковый жакет, но, когда она купила его, он мне очень понравился. Я вел себя глупо и в других случаях. Но все это было следствием борьбы с бедностью, которую можно победить, только если не тратить денег. <...> Но дело в том, что мы вовсе не считали себя бедными. Мы просто не желали мириться с этой мыслью. Мы причисляли себя к избранным, а те, на кого мы смотрели сверху вниз и кому с полным основанием не доверяли, были богатыми. Мне казалось вполне естественным носить для тепла свитер вместо нижней рубашки. Станным это казалось только богатым. Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло вместе, и мы любили друг друга». (Денег, как автор пояснял, не было потому, что он проигрывался на скачках.)

Хедли писала, что ее молодой муж был необыкновенно обаятелен — «мужчины любили его, женщины любили его, дети любили его, даже собаки любили его». Действительно, обаяние Эрнеста отмечали все, но многие скоро разочаровывались. Дональд Стюарт: «В один миг он проникался к вам любовью, в другой — чувствовал себя обязанным проявлять к вам что-то вроде любви или дружбы, а потом ему хотелось вас убить, когда вы приближались к чему-то, что он оберегал. Он разрушал одну за другой все дружбы, которые у него были». Китти Кэннелл не нравился Эрнест, и не только потому, что «держит жену под каблуком» — он, по ее словам, «в хорошем настроении напоминал маленького мальчика», но «в нем чувствовалось что-то злое». Неприязнь была взаимна: в парижских набросках Хемингуэя, не вошедших в «Праздник», есть немало о «жирной и тупой» Китти. Она предупредила Леба, что Хемингуэй «способен обратить свою злобу и злой язык против друзей» — тот не поверил, а зря. Другая девушка, Дженет Флэннер, вспоминала, что у Эрнеста были «прекрасные темные глаза, в которых не было ничего латинского — а мужчинам его глаза казались латинскими» (то есть хитрыми, в отличие от честных американских). Джон Гласско, канадский литератор, описал эти же глаза как «маленькие и пронизательные, как у политика». Художник Аллен Тейт: «Хемингуэй был красив и его обаяние проявлялось даже в худших его поступках; я тогда еще не знал, что он был законченным сукиным сыном...»

Нравился женщинам, не нравился мужчинам? А как же Китти? Если проанализировать все дружбы и «недружбы» Хемингуэя парижского периода, получается следующее. «Хорошим» он казался: а) немолодым

женщинам; б) молодым одиноким женщинам; в) мужчинам, которые были значительно старше и относились к нему по-отцовски, или были больны, физически слабы. «Плохим» — а) здоровым мужчинам-ровесникам и б) их женам и подругам. Сам он соответственно был мил, мягок и доверчив в общении с первыми (хотя за глаза и над ними издевался) и ощетинивался перед вторыми. Схема простая: в здоровых «самцах» видел соперников и самоутверждался за их счет перед их «самками», а с теми, в ком соперника не чувствовал, позволял себе расслабиться.

Но из правила есть немало исключений — Дорман-Смит, например, или Эван Шипмен, американский поэт, юноша на пять лет моложе Хемингуэя, один из немногих, с кем тот никогда не ссорился; человек заботливый, дружелюбный, по-женски нежный (обожал и умел возиться с чужими детьми, в том числе с маленькими Хемингуэями), в то же время стопроцентно мужественный (в понимании Эрнеста): увлекался спортом, скачками, рыбалкой и запойно пил. Хемингуэй прощал ему даже ненависть к корриде (Шипмен не мог видеть страданий животных) и ни разу не высказал сомнений в его «мужчинстве». Почему? Прибавим к Шипмену Морли Каллагана, и получится новая закономерность: с мужчинами, которые были еще младше, чем он, и принимали покровительство — «сынки» или «братишки», — тоже можно было ладить. Но Дорман-Смит, бывший четырьмя годами старше Хемингуэя, не укладывается и в эту схему. Да, потому что он не имел отношения к искусству, то есть опять-таки не был соперником. Отношения Хемингуэя с людьми, не принадлежащими к интеллигенции, будут складываться совсем по-другому.

Иногда он был нежен даже с Китти Кэннелл — когда та заговаривала о котях. Сказать, что Хемингуэй любил кошек — значит не сказать ничего. Подобно Герберту Уэллсу, но в еще большей степени, он был котофилом и котоманом. «Фабрики мурлыканья», «губки, впитывающие заботу и отдающие любовь» сопровождали его всюду — в дальнейшем мы не раз будем об этом говорить. В 1974 году, после смерти Пикассо, Хедли найдет в своих вещах скульптуру кошки, которую тот 50 лет назад подарил ее мужу. «Кошек считают таинственными животными, но это не так, особенно если в вас есть хотя бы немного кошачьей крови. У меня ее было много, слишком много, чтобы пойти мне на пользу, но зато это здорово помогало в общении с кошачьей породой». Что, интересно, он называл кошачьей кровью в себе? Кошки скрытны, лицемерны, изворотливы, умеют разжалобить и обаять, в бархатных ножнах таят стальные когти и нападают со спины — так думают обыватели. Но фелинологи считают это клеветой.

Существуют разногласия относительно того, когда издательство «Три маунтин пресс» выпустило сборник миниатюр Хемингуэя: то ли в конце января, то ли в середине марта. Очень уж у Берда все было кустарно — отсюда и путаница. Из планировавшегося тиража в 300 экземпляров напечатали всего 170. Книжка называлась «в наше время» («in our time»), не путать с одноименным сборником рассказов, изданным позднее, нарочно со строчной буквы на модернистский лад. Форд: «Уильям Берд и я, да уверен, что и Хемингуэй, не знаю почему, верили, что спасение может быть найдено в отказе от прописных букв». Вероятнее все же, что книга вышла в марте, так как «Трансатлантик» отреагировал на нее лишь в апрельском номере. Рецензию сразу на обе книги Хемингуэя написала Марджори Рейд, секретарь Форда: молодой автор «запечатлел моменты, когда жизнь конденсированна, резко очерчена и наиболее выразительна, представив их в коротких зарисовках, где опущены все лишние слова».

В том же номере появился новый рассказ «Индийский поселок» («Indian Camp»), где уже не в первый раз описывается Валлонское озеро и появляется постоянный герой, Ник Адамс. Отец-врач берет его (еще ребенка) в поселок, где рождает индианка; муж не вынес ее страданий и зарезался. Нет подтверждений, что такой факт был в жизни Кларенса Хемингуэя, и уж тем более неверно утверждение Грибанова, что Хемингуэй якобы помогал некоей роженице, когда ехал с кинооператорами из Фракии; еще раз заметим, что рассказы о Нике нельзя проверять на соответствие действительности.

«— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?

— Нет, Ник. Не очень.

— А женщины?

— Еще реже. <...>

— Трудно умирать, папа?

— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств».

Об этом рассказе написаны сотни исследований, в нем найдены сотни символов (смерть, жизнь, отношения мужчины и женщины, белых и индейцев, человека и природы), но, поскольку автор символов не любил, обойдемся пока без них. Гораздо интереснее, как Михаил Черкасский в эссе

«Сила и слабость Хемингуэя» (это блистательная работа о творчестве Хемингуэя, к которой мы будем часто обращаться) сравнивает «Индийский поселок» с рассказом Горького «Рождение человека», где герой помогает принять роды, цитируя поочередно: «В эту минуту женщина опять закричала. „Ох, папа, — сказал Ник, — разве ты не можешь дать ей чего-нибудь, чтобы она не кричала?“ — „Со мной нет анестезирующих средств, — ответил отец. — Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения“» (Хемингуэй). «Мучительно жалко ее и, кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской. Хочется кричать и я кричу: „Ну, скорей!“ И вот — на руках у меня человек — красный... и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет...» (Горький). Персонажу Хемингуэя, как замечает Черкасский, жалко себя, персонажу Горького — женщину, поэтому, несмотря на громадное превосходство работы американца в художественном отношении, «„Рождение человека“ было и останется одним из самых гуманных рассказов, „Индийский поселок“ — так, зарисовкой».

Черкасский полемизирует с советскими критиками, которые называли Хемингуэя «великим гуманистом»; никаким особенным гуманистом он, конечно, не был, да и не делал вида, что был, и в «Индийском поселке» ему действительно не жаль индианку: она — не субъект, а объект, предлог для разговора. Но назвать этот рассказ «так, зарисовкой» несправедливо, как и ставить автору в вину то, что он сделал главным персонажем не роженицу, а мальчика с его переживаниями. Кого хотел, того и сделал — иначе мы скатимся к той же советской аргументации: почему Толстой писал о князьях, а не о водопроводчиках? Отец Ника, профессиональный акушер, ведет себя так, как для него естественно; мальчик, наблюдающий роды, испытывает брезгливость и страх — это тоже естественно.

Платили в «Трансатлантик» скупно: 30 франков за страницу. Две книжки с их смехотворными тиражами не принесли ничего. Бедный автор опять голодал: «Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи».

Хемингуэй и еда — особая тема: больше, чем у него, едят только у Ремарка, вкуснее — лишь у Гоголя и Чехова. «Ник съел большой блин,

потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сэндвичей». Человек устроил пикник, ему хорошо, пусть кушает. Но вот человек, которому только что в очередной раз изменила женщина, безнадежно любимая: «Мы ели жареного поросенка и пили „риоха альта“. Брет ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки „риоха альта“». А у этого человека жена трудно рождает, скоро умрет: «Я сел и спросил у кельнера, какое сегодня plat du jour^[18].

— Тушеная телятина, но она уже кончилась.

— Что можно получить на ужин?

— Яичницу с ветчиной, омлет с сыром или choucroute^[19].

— Я ел choucroute сегодня утром, — сказал я.

— Верно, — сказал он. — Верно. Сегодня утром вы ели choucroute.

Это был человек средних лет, с лысиной, на которую тщательно начесаны были волосы. У него было доброе лицо.

— Что вы желаете? Яичницу с ветчиной или омлет с сыром?

— Яичницу с ветчиной, — сказал я, — и пиво.

— Demi-blonde^[20]?

— Да, — сказал я.

— Видите, я помню, — сказал он. — Утром вы тоже заказывали demi-blonde.

Я съел яичницу с ветчиной и выпил пиво. Яичницу с ветчиной подали в круглом судочке — внизу была ветчина, а сверху яичница».

Читателя это может раздражать. Многие люди в нервном состоянии едят, ничего тут нет постыдного — но мог бы, кажется, не перебирать меню, ел choucroute утром, поел бы и вечером, ничего б не случилось. Сравните со «Старосветскими помещиками», где старик, никаких интересов, кроме еды, сроду не имевший, обедает спустя годы после смерти жены: «„Вот это то кушанье“, сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаню, „это то кушанье“, продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. „Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...“ и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий фонтан, лились, лились ливмя на

застилавшую его салфетку». Все-таки американцы — народ толстокожий... или один Хемингуэй такой?

Некоторые изыскатели считают, что у Хемингуэя была булимия, болезнь, когда человек испытывает постоянный голод, или что его повышенный аппетит был проявлением депрессии, но это не доказано. Аппетит, во всяком случае, был волчий, при этом поесть он любил разнообразно и со вкусом. Луковицы и корки хлеба, которыми он питался в Париже — чистейший вымысел. «В Париже в то время можно было неплохо жить на гроши, а периодически не обедая и совсем не покупая новой одежды, можно было иной раз и побаловать себя». «Не обедая» значило — не каждый день обедая в хорошем ресторане. Распространена легенда, будто молодой Хемингуэй в Париже подрабатывал, выступая в качестве спарринг-партнера для профессиональных боксеров, — этого не было, да не было и надобности: траст Хедли никуда не делся и далеко не все ее деньги проигрывались на ипподроме: у Эрнеста было достаточно практической сметки и ответственности, чтобы не ущемлять семью. Он просто помнил голод как ощущение. Час не поел — проголодался. Но поэт умеет превратить ощущение в состояние. «Праздник» — не автобиография, а беллетристика. Да, автор обедал. Но герой — голодал, и этого никто не оспорит. (То же, кстати, относится к чемодану с рукописями: у автора, может, его и не было, но у героя-то определенно был...)

«Ник съел большой блин» — это из рассказа, который Хемингуэй начал писать после «Индийского поселка», — «На Биг-Ривер» (Big Two-Hearted River). Это великая ода мичиганской природе и рыбалке: «День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась». Критики увидят в ней подтверждение «теории раны»: герой не просто так ловит форель и обедает на свежем воздухе, а лечится от душевных травм, причем не своих, Ника Адамса, а Эрнеста Хемингуэя. Автору эта трактовка не понравится. Ник — да, лечится: «Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади» — но не Эрнест, который хотел «стать великим писателем» и «написать о земле так, как если бы ее рисовал Сезанн»: писать о себе нельзя, только выдуманные персонажи получают хорошо. Джойс, Макэлмон писали о себе и

неудачно, критики обманулись, раны и травмы автора тут ни при чем. Но ведь писать о себе не хотел не Хемингуэй, а Ник Адамс, персонаж вымышленный...

В первоначальном варианте рассказ завершался размышлениями Ника: «Нелегко стать великим писателем, если вы влюблены в окружающий мир, и в жизнь, и в разных людей. И любите столько различных мест в этом мире. Вы здоровы, и вам хорошо, и вы любите повеселиться, в самом деле, какого черта! <...> Но проходило какое-то время — и он чувствовал снова: чуть раньше, чуть позже он напишет хороший рассказ. И это давало большую радость, чем все остальное. Вот почему он писал. Он не так представлял себе это раньше. Вовсе не чувство долга. Просто огромное наслаждение. Это пронзало сильнее, чем все остальное. И вдобавок, писать хорошо было дьявольски трудно. Ведь всегда есть так много штук. Писать со штуками было совсем легко. Все писали со штуками. Джойс выдумал сотни совсем новых штук. Но от того, что они были новыми, они не делались лучше. Все равно в свое время они становились захватанными. А он хотел сделать словом то, что Сезанн делал кистью. <...> Ник хотел написать пейзаж, чтобы он был весь тут, как на полотнах Сезанна. <...> Сейчас он знал точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки. Живого его бы сюда, Господи, с кистью в руке».

Хемингуэй называл Поля Сезанна своим учителем, но не пытался разъяснить, чему и как у него учился — это умеют делать только искусствоведы. Очень упрощенно: Сезанн использовал простые, скупые формы, чистые и скупые краски; его черты — правдивость, детализация, простота и ясность, но все это лишь кажущееся, Сезанн не был реалистом, как не был и Хемингуэй. «Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь». За вещами тот и другой пытались передать «душу вещей», настроение — и тем были близки импрессионизму, только более сухому и мужественному.

У Сезанна в пейзажах, как он сам говорил, «планы как будто налезают один на другой, а отвесные линии словно падают» — динамизм, движение, гармония зыбка, перспективы чуть-чуть искажены, и это создает ощущение тревоги. Наиболее понятный пример — «Дом повешенного в Овере»: уютная, залитая солнечным светом окраина маленького городка, но стоит приглядеться и замечаешь: дома как-то странно сдвинуты, искривлены стены, крыши, заборы, дорога, дом неловко прилеплен к откосу, его крыша вывернута вопреки законам перспективы, и ощущаются тоска и страх. Это тот же принцип айсберга: ведь на картине нет ни веревки, ни труппа... А.

Эфрос о Хемингуэе: «В его простую и как будто бы сверххолодную фразу входит тайна, это тревожное предчувствие того, чего, может быть, и не будет, но что, скорее всего, все-таки произойдет. <...> Или в разгар напряженного размышления, внезапно, Хемингуэй включает в рассказ, что герой вдруг видит цаплю, и что цапля потом улетела, и какой был песок, и т. д. и т. п. <...> Такая странная, завораживающая зрительная и слуховая скрупулезность, которая сама по себе уже почему-то тревожит... Ведь неспроста все это, а отчего-то или в преддверии чего-то».

*

Хемингуэй наконец-то «расписался», работа шла, дела «Трансатлантик» теперь мешали ему — а ими как назло пришлось заниматься больше обычного: Форд отправился в Америку искать спонсоров, а его оставил заместителем. «Я дал ему строгие инструкции, кого не печатать, а главное — кого не сокращать, — вспоминал Форд. — Последний смертельный враг, которого он мне нажил, умер вчера. Хемингуэй сократил его статью и все вообще статьи моих самых лелеемых и самых страшных для меня авторов. Зато он напечатал всех своих диких друзей». «Дикие друзья», чьи работы вошли в августовский номер, — это Дос Пассос, Гай Хикок, начинающий еврейский писатель Натан Аш (Хемингуэя считают антисемитом, но на Аша, во всяком случае, это не распространялось). 25 июня, подготовив к печати «диких друзей», он уехал на памплонскую фиесту с женой, оставив Бамби на попечение мадам Рорбах. Опять собралась компания: чета Бердов, Макэлмон, как обычно плативший за всех, Дос Пассос, Дональд Стюарт, Дорман-Смит, литератор Джордж О'Нил; они жалели лошадей, но смотрели, знакомились с матадорами, увлекся и Дорман-Смит, который сперва испытывал к корриде отвращение. В Испании был снят прекрасный фильм о том, как на корриду ходила Елена Образцова, которой это было нужно для понимания роли Кармен — смешанные чувства испытывала великая певица: и прекрасно, и гадко, все вперемешку.

После фиесты, 13 июля, отправились рыбачить в Бургете, городок в Пиренеях, 27-го вернулись в Париж, где произошла ссора с Фордом из-за «диких друзей». Дела «Трансатлантик» не улучшились, спонсоров Форд не нашел, пытался выпускать акции (ничем не обеспеченные), задерживал гонорары. Одной из пострадавших оказалась Гертруда Стайн, и Хемингуэй был этим обеспокоен: «Журнал выжил единственно благодаря Вашему

роману. И если они перестанут его печатать, я устрою такой скандал, такой шантаж, что от них просто ничего не останется. Так что держитесь твердо». История длилась всю осень, Хемингуэй защищал Гертруду и все больше ненавидел Форда: «Кстати, говоря о честности, получали ли Вы от Форда письмо с пометкой „конфиденциально“, которое, следовательно, не могли показать мне, где он уверяет, что я вначале преподнес ему „Становление“ как рассказ? Это не единственная ложь в его письме, которого, как он надеялся, я никогда не увижу; вся суть в том, чтобы заставить Вас снизить цену». Книгу Стайн успели напечатать полностью, но денег она так и не получила.

Конфликты между Хемингуэем и Фордом продолжались: в октябрьском номере Эрнест пренебрежительно отозвался о поэзии Элиота, Форд вознегодовал: «Мы пригласили этого писателя сотрудничать в журнале, мы не устанавливали рамок для его кровожадности...» «Трансатлантик» едва барахтался, Гарольд Кребс, один из спонсоров, предложил вообще не платить авторам, Эрнест предсказал, что журнал «полетит к чертовой матери еще до первого января». Примерно так и вышло. «Трансатлантик», однако, перед смертью успел опубликовать его новый рассказ, «Доктор и его жена» (*The Doctor and the Doctor's Wife*) в декабрьском выпуске. Другой рассказ, «Кросс по снегу» (*Cross-Country Snow*), взял немецкий журнал «Квершнитт»: первый, о котором мы уже говорили, обычно относят к шедеврам, второй — к «так, зарисовкам».

Еще один рассказ, «Мистер и миссис Эллиот» (*Mr. and Mrs. Elliot*), был осенью напечатан в «Литтл ревью»: эта история первоначально называлась «Мистер и миссис Смит» и у нее есть прототипы — состоятельный американец Чард Пауэрс Смит с женой. «Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться». После этого, то есть после прочтения рассказа (в декабре 1926 года), реальный Смит прислал автору письмо, где называл его «презренным червяком». Эрнест ответил, что готов сразиться с обидчиком на кулаках. Это была его обычная реакция на любую критику, умную или дурацкую.

Но для некоторых критиков делались исключения. В октябрьском

номере «Циферблата» появилась рецензия Эдмунда Уилсона: тот поругал стихи и «У нас в Мичигане» (за «грубость»), зато расхвалил миниатюры, отмечал влияние Андерсона и Стайн (они плюс Хемингуэй — «отдельная литературная школа», для которой характерны «наивность языка и речи персонажей, позволяющая выражать глубокие эмоции и сложные состояния души»), но признал и оригинальность: «в сухих, сжатых миниатюрах» Хемингуэй «изобрел свою собственную форму». О книге «в наше время» Уилсон написал: «За ее холодной объективной манерой воссоздается бедственная картина жестокостей того мира, в котором мы живем: вы видите не только политические казни, но и казни преступников, бой быков, убийства, совершаемые полицией, жестокости и ужасы войны. Мистер Хемингуэй невозмутим, рассказывая нам о всех этих вещах, он не пропагандирует даже гуманность. Его зарисовки боя быков обладают сухой остротой и изяществом литографий боя быков Гойи. И подобно Гойе, он заинтересован прежде всего в том, чтобы создать прекрасную картину. Будучи слишком гордым художником, чтобы упрощать ради традиционных требований, он показывает вам, что такое жизнь. И я склонен думать, что его маленькая книжка имеет больше художественных достоинств, чем что бы то ни было написанное в американской литературе со времени войны. Это, по-видимому, не только самая яркая, но и самая глубокая книга».

Эрнест благодарил и рассказывал о новой работе: «Я работаю, как дьявол, большую часть времени, и мне кажется, что пишу лучше. Заканчиваю книгу из 14 рассказов, а между рассказами главки из „в наше время“ — так задумано, — чтобы дать общую картину, перемежая ее изучением в деталях. Это подобно тому, как вы смотрите невооруженным глазом на что-то, скажем, проезжая мимо берега, а потом рассматриваете его в 15-кратный бинокль. Или, быть может, скорее так — смотреть на берег издали, а потом поехать и пожить там, а потом уехать и посмотреть опять издали». Свои рассказы он оценивал скромно: «Мне удалось четко описать и людей, и место действия», — но для него это была высшая самопохвала.

Название новой книге он выбрал такое же, как у старой, «В наше время», но с заглавной буквы, как посоветовал Уилсон. Из четырнадцати рассказов девять было уже опубликовано — «У нас в Мичигане», «Мой старик», «Не в сезон», «Индийский поселок», «Мистер и миссис Эллиот», «Кросс по снегу», «Доктор и его жена», а также две миниатюры, вошедшие в предыдущий сборник под номерами, а теперь получившие имена: «Самый короткий рассказ» (A Very Short Story) — о романе раненого с медсестрой и «Революционер» (The Revolutionist) — о молодом и наивном

венгерском коммунисте: «Я заговорил с ним о картинах Мантеньи в Милане. Нет, застенчиво сказал он, Мантенья ему не нравится. Я написал на клочке бумаги, где его покормят в Милане, и дал адреса товарищей. Он горячо благодарил меня, но чувствовалось, что мысли его уже далеко — на перевале. Ему хотелось совершить переход, пока погода не испортилась. Он любил горы осенью. В Сионе швейцарцы посадили его в тюрьму, и это было последнее, что я о нем слышал».

Эта «холодная объективная манера» может раздражать: нет бы залиться слезами, как Гоголь, или возопить на весь мир, как Горький... Если читать ранние рассказы и миниатюры Хемингуэя по отдельности, они действительно воспринимаются как холодные зарисовки. Но свои сборники он выстраивал как архитектор, каждому фрагменту находя место, где он должен был произвести наиболее сильное впечатление. За рассказом о ссоре Ника Адамса с девушкой — «Самое главное было то, что Марджори ушла, и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, в которых они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял» — следует страшный фрагмент «Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя», за смертью молодого венгра — другая смерть: «Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены...» Люди убивают любовь, друг друга, себя: обрывки историй копят, оттеняют и подчеркивают друг друга, складываясь в картину жестокого мира.

Другие рассказы — возможно, правильнее было бы назвать их главами будущей книги, — к осени 1924-го существовали только в рукописи или еще дописывались: «Что-то кончилось» (The End of Something), «Трехдневная непогода» (The Three-Day Blow), «Чемпион» (так называли переводчики, а правильнее «Боец» — The Battler), «Дома» (Soldier's Note), «Кошка под дождем» (Cat in the Rain). Где их публиковать? «Трансатлантик» в январе 1925-го обанкротился, Хемингуэй обвинил в этом Форда, отношения были разорваны, при встрече они не здоровались. Американский журналист Раско, приехавший в Париж, вспоминал сцену в дансинге: Форд с друзьями сидел за столиком, вошли Хемингуэй, друзья Форда приветствовали Хедли, та было пошла к ним, но муж потребовал, чтобы она остановилась, а если послушается и сядет за столик Форда, пусть платит сама за себя.

Все лето и осень 1924 года он отсылал рассказы в американские журналы «Меркюри» и «Харперс» — редакторы их отвергали. Возможность издания замаячила, когда в Париж приехал Леон Флейшман,

представитель солидного американского издательства «Бони и Ливерайт». Эрнеста ему представил Гарольд Леб, Шервуд Андерсон также оказал протекцию. Знакомство прошло гладко, Флейшман хвалил рассказы, Эрнест благодарил, но потом в разговоре с Лебом разругал Флейшмана — по мнению Леба, не из антисемитизма, а из «дьявольской гордости»: он не верил, что такие люди, как в «Бони и Ливерайт», публиковавшие Драйзера, Бертрана Рассела и Шервуда Андерсона, возьмут его книгу. Представителю журнала «Квершнитт» неожиданно понравились его стихи — приняли четыре штуки. Но проза им не подходила. За весь 1924 год он заработал 1100 франков, сумму унижительную. Будущего не было. Но когда писателю пишется, ему это все равно.

Зиму решили провести в горах Австрии — там было дешевле жить, чем в Швейцарии, и комфортабельнее, чем в Париже. «Когда нас стало трое, а не просто двое, холод и дожди в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Если ты один, то можно к ним привыкнуть, и они уже ничему не мешают. Я всегда мог пойти писать в кафе и работать все утро на одном *safe-creme*^[21], пока официанты убрали и подметали, а в кафе постепенно становилось теплее. Моя жена могла играть на рояле в холодном помещении, надев на себя несколько свитеров, чтобы согреться, и возвращалась домой, чтобы покормить Бамби... Но наш Париж был слишком холодным для него». За неделю до Рождества они уехали в курортный городок Шрунс, который многократно будет описан Хемингуэем как одно из лучших мест на земле: «Снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице „Таубе“ высоко в горах». Для Бамби нашли няню, приютили собаку, подолгу сидели в кабачке, Хедли вязала, муж много пил, играл с местными в покер, на грошовые выигрыши покупал игрушки ребенку. Он погрузнел, вновь отпустил бороду: был все еще очень красив, но перестал быть смазливый и изящным, выглядел теперь не моложе, а старше своих лет: больше его не назовут «мальшом» или «статуэткой». Ходили на лыжах: «Для тех крестьян, которые жили в дальнем верхнем конце Монтафока, где мы нанимали носильщиков, чтобы подняться к Мадленер-Хаус, мы все были чужеземными чертями, которые уходят в горы, когда людям не следует туда ходить».

Среди этой идиллии нашлось и то, без чего Эрнесту жизнь была не интересна — смерть (было много лавин): «Самое страшное мое воспоминание об этой зиме связано с человеком, которого откопали. Он, как нас учили, присел на корточки и согнул руки над головой, чтобы образовалось воздушное пространство, когда на тебя наваливается сверху

снег. Это была большая лавина, и потребовалось очень много времени, чтобы всех откопать, а этого человека нашли последним. Он умер совсем недавно, и шея его была стерта так, что виднелись сухожилия и кости. Он все время поворачивал голову, и шея его терлась о твердый снег. По-видимому, лавина вместе со свежим снегом увлекла старый, плотно слежавшийся. Мы так и не могли решить, делал ли он это нарочно или потому, что помешался».

Хемингуэй работал: доделывал «На Биг-Ривер», завершил начатый осенью рассказ о матадоре «Непобежденный» (Undeafated) — его отклонили два журнала. Рассказ считается «программным» и предвосхищает, в частности, «Старика и море»: герой болен, стар, неудачлив, но все ж одерживает победу над быком и собственной слабостью. Знаменитое выражение «достоинство под давлением» (grace under pressure), которое считают девизом творчества Хемингуэя, тогда еще не было сформулировано, но суть рассказа именно такова. А в феврале случилось чудо: Хорэс Ливерайт, глава «Бони и Ливерайта», сообщил, что будет издавать «В наше время». Проект договора содержал условие: автор продает права на сборник и две следующие книги; если издательство в течение шестидесяти дней со дня получения второй рукописи не издаст ее, оно теряет право на третью. 5 марта Хемингуэй ответил письменным согласием. Ливерайт забраковал многострадальный рассказ «У нас в Мичигане» и «Мистера и миссис Эллиот», Хемингуэй предложил взамен «Чемпиона», просил больше ничего в книге не менять, убеждал Ливерайта, что книга будет хорошо продаваться: она понравится «как высоколобым, так и низколобым». 31 марта, по возвращении в Париж, он подписал договор и получил аванс в 200 долларов.

Но он упустил еще более благоприятный шанс: в Америке Уилсон показал его рассказы Скотту Фицджеральду, тот пришел в восторг и рекомендовал их своему издательству «Скрибнер и сыновья». Эта фирма, основанная в 1846 году и возглавляемая в 1925-м Чарльзом Скрибнером-вторым, семидесятилетним старцем, основателем Ассоциации американских издателей, была еще «круче», чем «Бони и Ливерайт». Максвелл Перкинс, главный редактор издательства, человек с большим вкусом, рассказы моментально оценил, согласовал со Скрибнером и 21 февраля отправил Хемингуэю проект договора. Но он указал неверный адрес, и письмо попало в руки Эрнеста, когда тот уже заключил контракт с Ливерайтом. Пришлось поблагодарить и извиниться.

Он, кажется, был счастлив. Отправил Андерсону благодарное письмо, перестал задирать людей, стал мягким и уступчивым, хотел всех

осчастливить. Узнал, что у Билла Смита материальные затруднения, написал ему, просил о возобновлении дружбы, звал в Париж. Еще раньше он получил письмо от отца, в котором тот ругал «в наше время», в частности «Очень короткий рассказ» (тогда еще называвшийся «глава 10») — немисливо писать о таких предметах, как гонорей. Сын перестал отвечать на письма. Но теперь он был ко всем нежен и добр. «Дорогой папа, — писал он 20 марта, — я не посылал тебе свои работы только потому, что ты или мама вернули мне „в наше время“, и мне показалось, вас мои книги не очень-то интересуют. Поймите, во всех своих рассказах я пытаюсь передать ощущение настоящей жизни — не просто описывать или критиковать жизнь, а перенести ее на бумагу. Так, чтобы, прочитав мой рассказ, вы действительно пережили все сами. Это невозможно, если писать только о прекрасном, опуская плохое и уродливое. Когда всё прекрасно, то в это невозможно поверить. В жизни иначе. И только показав обе стороны — три измерения, а если удастся, то даже четыре, — можно писать так, как хотелось бы мне. Вот почему, если что-то из моих вещей вам не понравится, помните, что я хотел остаться правдивым до конца и пытался создать нечто стоящее. Если я написал о чем-то уродливом и тебе или маме это кажется ужасным, то следующий рассказ может понравиться вам чрезвычайно. С любовью и пожеланиями успеха, Эрни».

Тогда же, в марте, произошло «роковое» знакомство: на вечеринке, организованной Лебом, он встретил Полину Пфейфер: ей было 30 лет (опять старше, но только на четыре года), родилась она в Западной Вирджинии, потом ее семья переехала в Пиготт, штат Арканзас. Семья богатая: Пол Пфейфер, отец Полины, совместно с братьями владел компанией «Пфейфер фармасьютикалс», позднее был президентом и председателем правления «Пиготт кастом джин кампани», фирмы по производству хлопчатобумажных тканей. С женой, Мэри-Алисой, они родили двух сыновей и двух дочерей. Полина, старшая, в 1913-м окончила католическую школу в Сент-Луисе, в 1919-м при помощи дяди, Гаса Пфейфера, владельца компании «Хаднат перфьюмс», еще более богатого, чем его брат, перебралась в Нью-Йорк, недолго работала журналистом в «Дейли телеграф», попала в штат журнала о моде «Вэнити фэйр», потом получила должность помощника редактора французского отделения «Вог» и в феврале 1925-го прибыла в Париж с сестрой Вирджинией, на семь лет моложе ее. Обе миниатюрные, изящные, их называли «птичками». На вечеринку их привела Китти Кэннелл и она же впоследствии утверждала, что Эрнесту сперва понравилась младшая сестра, но та не интересовалась мужчинами. О Полине же Китти говорила, что она приехала в Париж с

целью найти мужа (не богатого, она сама могла покупать мужчин, а успешного), и сразу положила глаз на Эрнеста.

Сестры были приглашены на Нотр-Дам-де-Шан, где выразили сожаление, что молодая семья живет бедно и Хедли плохо одета. Эрнест лежал на кровати небритый и читал. Полина сказала Хедли, что такой муж ей не подходит, умолчав о том, что он подошел бы ей самой, и навязалась в подруги — простодушная Хедли долго принимала это за чистую монету. Может, конечно, и не так все было, может, Полина сперва не любила Эрнеста, потом полюбила, а с Хедли дружила искренне. Но ее образ таков — «хищная кошечка», — и мужу она сильно навредила, поэтому все ее поступки задним числом воспринимаются как лицемерные и коварные.

«Ангельское» настроение Эрнеста продолжалось всю весну 1925 года. Заниматься журналистикой он не хотел, но когда Эрнест Уолш и Этель Мурхед затеяли издавать художественный журнал «Квотер», согласился участвовать. Первый, майский, номер был посвящен Паунду — Хемингуэй написал восторженную статью о «безграничной доброте и безграничной энергии» Эзры, сам разыскивал иллюстрации. В том же номере Уолш опубликовал «На Биг-Ривер». Уолш и Мурхед ожидали, что Хемингуэй будет работать в редакции и дальше, но он прислал письмо с отказом: ему нужно писать, журналистика этому мешает, а вместо себя рекомендовал Билла Смита, который вот-вот приедет в Париж. Уолш сказал, что Смит он не знает и не может принимать людей на работу заглазно, Хемингуэй ответил оскорблениями; Уолш предупредил, что его поведение «может показаться людям непорядочным», Хемингуэй заявил: «Что ж, тем хуже для меня». Тем не менее «Квотер» продолжал печатать его: в осенне-зимнем номере 1925/26 года вышел «Непобежденный» (рассказ почти одновременно опубликовал «Квершнитг»).

Приехал Билл Смит, приняли его ласково, Эрнест показывал старому другу Париж, свел с Лебом и Китти, с сестрами Пфейфер — Смиту сразу показалось, что Полина охотится на Эрнеста, умело льстит: «Ах, я повсюду и со всеми говорю только о вас, вы такой прекрасный» и пр. Эрнест пока не сдавался — возможно, потому, что познакомился через того же Леба с другой женщиной, куда шикарнее маленькой Полины. «Брет — в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная под мальчишку, — была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба». Эта женщина Смиту понравилась. Она была «настоящая леди».

Прототипу леди Эшли, англичанке Мэри Дафф Стирлинг Байрон,

дочери Б.-У. Смерзуэйта из Прайор-хауз, Йоркшир, в 1917 году вышедшей за сэра Роджера Томаса Туиздена и родившей ему сына, в 1925-м было 32 года: с мужем она не жила, оставив ему ребенка, собиралась разводиться, жила на широкоую ногу, когда были деньги, и так же, но за чужой счет, когда их не было; ее постоянным спутником в середине 1920-х был Пэт Гатри, бездельничающий отпрыск богатой шотландской семьи, «очень милый и совершенно невозможный», как отзывается Брет о Майкле; Леб называл его «паразитом». Мужчин Дафф сводила с ума, не прилагая к этому, в отличие от Полины, никаких усилий. Влюбился Эрнест в нее или нет — неясно. Он на эту тему не говорил. Его жена много лет спустя сказала о Дафф: «Она была красива. Смела и красива. Настоящая леди и очень во вкусе мужчин. Она пользовалась большим успехом, но и к женщинам относилась хорошо. Словом, хороша была во всех отношениях». Журналисты изводили Хедли вопросом, была ли у ее мужа связь с Дафф — Хедли отвечала, что понятия не имеет, но скорее Туизден была равнодушна к Эрнесту, чем наоборот. Другие люди этого не подтверждают; большинство биографов склонны считать, что Хемингуэй сильно увлекся и, возможно, готов был оставить жену ради Дафф, как это сделал Гарольд Леб, бросивший ради нее Китти, — да та не захотела. Сама Дафф наличие любовной интриги с Хемингуэем отрицала. Достоверно никто ничего не знает. Весной 1925 года, во всяком случае, Эрнест казался более увлеченным Дафф, чем Полиной, и традиционную поездку на корриду мечтал провести в ее обществе. Собирали компанию, искали спонсора (Макэлмон ехать не хотел). Но еще до поездки состоялась историческая встреча.

Скотт Фицджеральд опубликовал первый роман, «По эту сторону рая», в 1920 году и стал знаменит. Женился на Зельде Сейр, публиковал рассказы в престижных изданиях, жил широко: Ринг Ларднер назвал его и Зельду «принцем и принцессой своего поколения». В 1924-м Фицджеральды приехали (уже во второй раз) в Европу, жили на Ривьере, в начале 1925-го переехали в Париж. К моменту знакомства с Хемингуэем Фицджеральд заканчивал «Великого Гэтсби». В октябре 1924-го, еще до знакомства, Фицджеральд писал Перкинсу, что Хемингуэй — «это настоящее»; теперь они увиделись (точная дата и обстоятельства встречи неизвестны, то, что написано по этому поводу в «Празднике», — не документ), и 22 мая Фицджеральд писал Перкинсу, что Хемингуэй «прекрасный, замечательный друг» и что у него «большое будущее», сообщая также, что новому другу 27 лет — Эрнест опять прибавил себе два года. Их дружба-вражда затянется на много лет. Литературными «близнецами» эти двое не

были, наоборот: литературовед Гаусс назвал Фицджеральда «ультрафиолетовым», а Хемингуэя — «инфракрасным». Он имел в виду литературные стили, но это определение подходит и для характеров: один — сверхлегкий, другой — сверхтяжелый.

В «Празднике» Хемингуэй писал о новом друге: «Он... был циничен, остроумен, добродушен, обаятелен и мил, так что даже привычка противиться новым привязанностям не помогла мне. Он с некоторым пренебрежением, но без горечи говорил обо всем, что написал, и я понял, что его новая книга, должно быть, очень хороша, раз он говорит без горечи о недостатках предыдущих книг. Он хотел, чтобы я прочел его новую книгу „Великий Гэтсби“, и обещал дать ее мне, как только ему вернут последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, нельзя было даже заподозрить, как хороша эта книга, — на это указывало лишь смущение, отличающее всех несамовлюбленных писателей, создавших что-то очень хорошее, и мне захотелось, чтобы ему поскорее вернули книгу и чтобы я мог поскорее ее прочесть».

Расхожее представление — нежный и ранимый Фицджеральд восхищался Хемингуэем и хотел с ним дружить, а грубый и самодовольный Хемингуэй дружбу отталкивал — создано биографами Фицджеральда. Скотт Дональдсон: «Хемингуэй чувствовал потребность помыкать другими, а Фицджеральд — чтобы им помыкали»; «Если Эрнест любил бить, то у Фицджеральда словно было на спине написано „ударь меня“»; «Хемингуэй обращался с Фицджеральдом с невероятной жестокостью, он пользовался помощью Скотта и потом отрицал это»; «Скотта в Эрнесте привлекал идеализированный образ мужчины — смельчака, стойка, военного, — каким он не мог быть. Эрнеста привлекали в Скотте его уязвимость и обаяние, за которые этот идеализированный супермужчина должен был его презирать».

Отношения складывались непросто с самого начала, хотя причин вроде бы не было. Фицджеральд не «задирался», себя принижал (пока что не впадая в юродство, от которого окружающие помимо воли делаются мучителями), Хемингуэя восхвалял. Эндрю Тернбулл: «Фицджеральда тянуло к Хемингуэю как к писателю, но в еще большей степени как к человеку, одновременно приветливому и язвительному, скромному и заносчивому. Хемингуэй был сложным человеком, носившим маску простака. <...> Любое обсуждение чувств или эмоций он называл „дешевой женской болтовней“ и, едва только беседа переходила в это русло, мог тут же встать и покинуть компанию. Как и любой другой человек, в котором постоянно происходит борьба чувств, он был подвержен

быстрой смене настроений. За его *bonhomie*^[22] скрывались врожденная застенчивость и уязвимость. И тем не менее в глубине души в нем таилось что-то от *condotierre*^[23], авантюриста, привыкшего полагаться на свой ум и хитрость и испытывавшего солдатское презрение к слабости любого рода. Это был соперник, который вырвался бы вперед в любом состязании».

Фицджеральд не пытался «состязаться», но «состязание» шло само собой: кто лучше пишет? — и он пока что выигрывал у Хемингуэя если не нокаутом, то за явным преимуществом. Кроме того, Фицджеральд окончил Принстон. Все кругом учились в Принстоне, один Эрнест не учился. Этот злосчастный Принстон не давал Хемингуэю покоя: годами позднее он не удержится и, знакомясь, будет рассказывать, что все-таки учился в нем... Если соперник и в одном, и в другом выше тебя — надо найти то, в чем он ниже. Фицджеральд не был на фронте: во время учебы в университете сдал экзамен на звание лейтенанта пехоты, был назначен командиром штабной роты, получил старлея, но его дивизия всю войну простояла в Канзасе. Хемингуэй всегда будет его этим попрекать — как будто Фицджеральд был виноват, что не попал в Европу, и как будто он, Хемингуэй, действительно служил в частях «ардитти», а не при столовой.

Сам Хемингуэй объяснял напряженность в отношениях пьянством Фицджеральда. В новом знакомом он разглядел человека, не умеющего пить, в отличие от него самого и, к примеру, Дафф Туизден: «В Европе в те дни мы считали вино столь же полезным и естественным, как еду, а кроме того, оно давало ощущение счастья, благополучия и радости. <...> Мне нравились все вина, кроме сладких, сладковатых или слишком терпких, и мне даже в голову не пришло, что те несколько бутылок очень легкого, сухого белого макона, которые мы распили, могли вызвать в Скотте химические изменения, превратившие его в дурака». О пьянстве Фицджеральда Хемингуэй писал много и с презрением; существует фрагмент из материалов к «Празднику», не входящий в первую редакцию, где в кафе сидят Хемингуэй, Фицджеральд и пятилетний Бамби, и ребенок, выпив пива, демонстрирует «дяде Скотту», как должен пить настоящий мужчина.

С алкоголиками тяжело общаться, они не помнят своих слов, пропускают назначенные встречи, приходят к вам в неудобное время, учиняют скандалы. «Скотт не задавал бесцеремонных вопросов, не ставил никого в неловкое положение, не произносил речей и вел себя как нормальный, умный и обаятельный человек», — написал Хемингуэй об одном эпизоде, из чего, надо полагать, следует, что в остальное время

Фицджеральд совершал все перечисленное. В мае ему нужно было съездить в Лион, он пригласил Хемингуэя — за свой счет, а сам не явился к поезду, Хемингуэй возмутился: «Я никогда раньше не соглашался поехать куда-либо за чужой счет („я“, персонаж „Праздника“, может, и не ездил. — М. Ч.), а всегда платил за себя», но теперь пришлось оплачивать ненужную поездку, потом встретились, Фицджеральд пил, капризничал, герой «Праздника» опять был в бешенстве — «характер у меня был тогда очень скверный и вспыльчивый», — потом отошел: «На Скотта нельзя было сердиться, как нельзя сердиться на сумасшедшего». Правда, никто не знает, как проходила поездка в Лион на самом деле. Фицджеральд назвал ее «одной из самых приятных в его жизни», а Хемингуэй сообщал Паунду и Макс Перкинсу, что поездка была «чудесная» и что много пили они оба.

Фицджеральд же о Хемингуэе говорил — тогда — одно хорошее. Перкинсу называл его «прекрасным, обаятельным молодым человеком» и советовал «хватать» его, как только тот развяжется с «Бони и Ливерайтом», критику Генри Менкену писал: «Я встретил здесь подавляющее большинство американских литераторов... и нашел, что в основном это ненужное старье, за исключением нескольких, вроде Хемингуэя, которые, пожалуй, думают и работают больше, чем молодые люди в Нью-Йорке».

В личном общении Хемингуэй сразу взял тон подтрунивания, а Фицджеральд его принял — характерны первые письма, которыми они обменялись. Письмо Хемингуэя от 1 июля 1925 года (из Испании): Хемингуэй рассказывает, как он представляет рай Фицджеральда — «вакуум, заполненный богачами, власть имущими и членами лучших семейств, и все они моногамны и допиваются до смерти» — и свой собственный: бой быков, ловля форели, два дома — один для жены и детей, другой «для девяти любовниц». Противопоставление: один — сноб, пьяница, и у него всего одна женщина, другой — спортсмен, всегда трезв, и женщин у него куча. Первый сохранившийся ответ Фицджеральда датирован 30 ноября 1925-го, после инцидента, когда Фицджеральд был пьян — «ему очень стыдно», он отделяется вымученной шуткой: «Тот ужасный человек, который явился в Ваш дом в субботу утром, был не я, а некто Джонстон, которого часто со мной путают». Он извиняется: «я глупо солгал», «я глупо хвастался» и пр. Хемингуэю случалось и хвастать, и лгать — но он никогда ни перед кем не извинялся, ибо это удел слабаков.

Дружбе также мешала Зельда, «ястреб, что не делится добычей». «Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свое место. Скотт твердо решал не ходить на ночные попойки, ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. Он

начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку». Ненависть была взаимна. Зельда считала Хемингуэя «фальшивым», говорила, что это он, а не она, на самом деле спаивает Фицджеральда, называла садистом и некрофилом. В 1930 году, после нервного срыва, обвинила в любовной связи со своим мужем (ни один приличный биограф, даже из тех, кто считает Хемингуэя бисексуальным, всерьез этого не принимает). Трудно дружить с человеком, чья жена считает тебя исчадием ада. И все же как-то дружили.

В июне Эрнест с восторгом прочел «Великого Гэтсби»: «Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки». Доналдсон и эти слова трактует как оскорбление в адрес Фицджеральда — но на самом деле Хемингуэй сделал страшное признание, ведь оно означает, что собственный талант он считал менее естественным, а «естественный» и «искусственный» талант — это Моцарт и Сальери. Люди, которые любят Фицджеральда и не любят Хемингуэя, уверены, что так и было — Хемингуэй сам признавался неоднократно, что работал тяжело, медленно и «уставал, словно вол».

До «Гэтсби» Хемингуэй говорил, что романов писать не станет — слишком трудное занятие, его размер — 12 тысяч слов максимум, да и жанр «искусственный». Но, видимо, жажда соперничества заставила попробовать. Героем, как и в прошлую попытку, был Ник Адамс, рабочее название — «Вместе с юностью» (Along with youth). Сохранилось 27 неполных страниц, где описано морское путешествие Ника в июне 1918-го, его разговоры с польскими офицерами (такие попутчики были у Хемингуэя), спасение от немецких торпед. (К роману иногда относят также отрывок из трех страниц — разговор революционеров в парижском кафе.) «С тех пор как я изменил свою манеру письма, и начал избавляться от приглаживания, и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро».

Но какие могут быть романы, когда подошло время фиесты? У кого-то бывает так: работаю, а в свободное время пойду на футбол. У Хемингуэя чаще было по-другому: такого-то числа надо на футбол, а остальное, уж извините, в свободное время. Но на сей раз спорт и работа пересеклись: «Квершнитт» заказал книгу о корриде, которую должны были иллюстрировать Пикассо и Хуан Грис. Под книгу был получен аванс, так что обошлись без Макэлмона. Группа состояла из четы Хемингуэев (Бамби

увезла в Бретань мадам Рорбах), Билла Смита, Дональда Стюарта, Гарольда Леба, Дафф Туизден и Пэта Гатри. Маршрут выработали сложный, одни поедут оттуда, другие отсюда, Эрнест был координатором, как в детстве: узнавал расписания, меню, заказывал номера в отелях. Они с Хедли намеревались пробыть неделю в Бургете, потом к ним присоединятся Смит, Стюарт и Леб, а Туизден с Гатри приедут прямо в Памплону.

Дальше — темная история. Дней за десять до поездки Леб, бросив Китти, уехал на море, в Сен-Жуан-де-Люз, с леди Туизден (где в это время был Гатри — не установлено; природа его отношений с Дафф вообще неясна). Дафф, вернувшись в Париж, прислала Эрнесту записку, как Брет — Джейку: «Приходи, пожалуйста, немедленно в бар Джимми. У меня неприятности. Звонила сейчас на Парнас, но от тебя нет ни слова. SOS». Что ей было нужно — неизвестно, скорее всего денег взаймы: они с Гатри порою чуть не побирались. По-видимому, говорили о Лебе, который боялся ревности Эрнеста, так как Дафф потом написала Лебу: «Хем обещал вести себя хорошо и мы должны прекрасно провести время». Она, Леб и «паразит» Гатри опять уехали в Сен-Жуан-де-Люз; Леб телеграфировал Эрнесту, что не приедет рыбачить, а встретится с ним в Памплоне 5 июля.

Двадцать пятого июня Хемингуэи отправились в Бургет, потом подъехали Стюарт и Смит. Рыбалка была неудачной. В Памплоне тоже все шло не так, как в прежние годы, «ветераны» — Дон Стюарт, Эрнест и Хедли — были недовольны. Был колоритный испанский город, а теперь, как вспоминал Стюарт, «понаехало» множество богатых американцев (в Штатах продолжался экономический бум, который уже скоро сменится Великой депрессией), всюду английская речь и лимузины — «словно нашествие инопланетян». Хедли и Стюарту также не нравились новые спутники. «Фиеста в Памплоне — мужское дело, а от женщин только жди беды, не потому, что они этого хотят, но так уж получается, что либо они что-нибудь натворят, либо сами попадут в беду». Но иногда натворить способны и мужчины. Билл Смит еще туда-сюда, но Леб, Дафф и Гатри в сочетании с Хемингуэем образовали взрывоопасную смесь. Кто из них кто в романе? Буквально — никто: всех породил один человек, Эрнест Хемингуэй. Но критики не могут не выяснить, кто с кого «списан» хотя бы отчасти, да и читателям любопытно. Простейший расклад такой: Джейк — сам автор (хотя среди прототипов называют его знакомых журналистов, Уильяма Ширера и Эдгара Калмера), его импотенция — Хедли, Брет — Дафф, Роберт Кон — Леб, Майкл — Гатри, Билл — смесь Билла Смита с Доном Стюартом.

Компания познакомилась с прототипом, а лучше сказать, вдохновителем образа Педро Ромеро — Каэтано Ордоньесом, основателем династии матадоров; тогда это был 21-летний юноша, красавец, талант, дебютировал в Ронде в 19 лет, публика по нему с ума сходила. Он работал «в старой манере» — красиво и рискованно. Газеты писали о нем как о мессии, явившемся, дабы спасти приходящее в упадок искусство корриды. Хедли в него влюбилась, как влюбляются в звезду футбола или балета, также увлечены были Эрнест и Дон Стюарт. Другим нравился Ордоньес, но не нравилась коррида. (Неизвестно, был ли у Дафф роман с Ордоньесом, как у Брете Ромеро.) Билл Смит был шокирован мучениями лошадей, Леб — жестокостью вообще, Хемингуэй их упрекал в немужественности. Стюарт вспоминал: все шло наперекосяк, Гатри просил у всех денег, Хемингуэй ревновал Дафф к Лебу и «бесился», Билл Смит подружился с Лебом, жалел его, оба своей жалостливостью вызывали злобные насмешки остальных.

Дошло до скандала: Леб оказывал внимание Дафф, цеплялся к Гатри, тот ударил Дафф по лицу, а Лебу велел убираться, Леб воззвал к Дафф, Эрнест оскорбил Леба — не приставай к даме (Гатри он почему-то позволил бить эту даму). В «Фиесте» все очень похоже. Но там нет продолжения: Леб предложил Эрнесту выйти, они решили драться, Леб боялся, но снял очки, сказал, что они не должны разбиться, — тогда Эрнест «улыбнулся той улыбкой, за которую невозможно было не любить его», — и оба сказали, что драться не хотят. На следующее утро Эрнест прислал Лебу записку, в которой сожалел о своем поведении. Правда, это версия Леба, так что достоверность ее сомнительна. Хемингуэй историю никак не комментировал. Стюарт высказался и касательно связи Эрнеста с Дафф: «я был не уверен». Билл Смит полагал, что Дафф пыталась соблазнить Эрнеста, но не верил, что связь была. Одно было ясно всем: Леб и Хемингуэй ссорились из-за Дафф.

По окончании фиесты разъехались ко всеобщему облегчению: Леб, Дафф с Гатри и примкнувший к ним Смит — в Байонну, Стюарт — на Французскую Ривьеру, Хемингуэй — в Мадрид. Там делили время между музеем Прадо и корридой: выступал Ордоньес, после одного из боев он преподнес Хедли ухо быка, которое в книге получит Брет. На Ордоньесе все просто помешались — неудивительно, что Хемингуэй решил сделать его героем заказанной книги о корриде.

Он набросал первую сцену — исправленная, она останется в «Фиесте»: «Юноша в костюме матадора стоял очень прямо. Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали

пояс вокруг талии. На нем была белая полотняная рубашка, черные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс, встал с колен и отступил. Педро Ромеро рассеянно и с большим достоинством наклонил голову и пожал нам руки. Монтойя сказал ему, что мы настоящие aficionado^[24] и что мы хотим пожелать ему успеха. Ромеро слушал очень серьезно. Потом он повернулся ко мне. Никогда в жизни не видел я такого красавца». Далее сцена развивалась так: хозяин гостиницы представляет Ромеро американцев Джейкоба Барнса и Уильяма Гортонна, потом те идут в кафе, где их ждет компания, включающая леди Брет Эшли.

Ордоньес спустя неделю перекочевал с выступлениями в Валенсию — автор следовал за героем по пятам. Работал по утрам в постели, днем шли с Хедли на пляж, вечером — коррида. Его увлечение Ордоньесом не уменьшилось, но «центр тяжести» будущей книги стал перемещаться: уже было ясно, что это не та книга, которую хотел «Квершнитт», и главным в ней будет не герой, а героиня. Он решил начать действие с Парижа, изложил биографии Брет и Роберта Кона, описал знакомство Джейка Барнса с Брет. Из Валенсии перебрались в Мадрид, потом в Сан-Себастьян, далее во французский (населенный басками) курортный городок Андай, который Эрнест полюбил и посещал регулярно; 12 августа Хедли уехала домой, муж задержался (в письме Дженкинсу говорил, что не хочет ехать в Париж, пока там живет Билл Смит, «спевшийся» с Лебом), работал как одержимый, не только по утрам, как было заведено всю жизнь, но и после обеда и вечерами, почти не пил. 19-го он приехал в Париж и обнаружил, что квартирная хозяйка сделала ремонт и подняла плату. Был раздражен, метался, говорил, что не может находиться в одном городе с Лебом и Смитом, хочет уехать куда угодно, хоть на войну. Случай представился: Франция начала военные действия против повстанцев в Северном Марокко, в Африку направлялась эскадрилья летчиков-добровольцев под командованием полковника Чарльза Суини, с которым Эрнест познакомился в Константинополе. Но, к счастью, не уехал, а предпочел дописать роман.

Пятого сентября Леб и Смит уезжали в Америку, Леб помирился с Китти, пригласил всех на обед, Хемингуэйи пришли, все сошло против ожидания мирно. А уже 21 сентября Эрнест закончил черновой вариант романа. Он набросал его вдохновенно за два месяца, да и корпеть над переделками будет не так долго, как обычно: хотя окончательный вариант сдаст лишь год спустя, но за этот период будет часто отвлекаться на другие работы. Писатель, как правило, — Сальери и Моцарт в одном лице.

Глава седьмая АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ

Работать без передышки, сидя на одном месте, он не умел и не любил, нуждаясь в частой перемене обстановки. Собрались было с Хедли в Италию, но не нашли с кем оставить ребенка, да и ехать в страну, где к власти пришли фашисты, было страшновато. Ходил плавать в Сене, где нормальные люди не купаются, — разболелась раненая нога. Во второй половине сентября ненадолго съездил в Шартр — один. Там начал править роман, который хотелось закончить к Рождеству. Нужно было название, иностранное слово «фиеста» употреблять не хотелось, перебрал множество вариантов — *River to the Sea*, *Two Lie Together*, *The Old Leaven*. Было среди них и *The Lost Generation* — «Потерянное поколение».

Неизвестно, кто первым употребил это выражение. Его приписывают разным людям. Вряд ли найдется поколение, которое кто-нибудь не считал бы потерянным, и, вероятно, что-то подобное говаривали еще древние египтяне. Хемингуэй в эпиграфе к «Фиесте» подарил авторство Гертруде Стайн, но в других текстах объяснял, что Стайн не придумала, а услышала эти слова. В неопубликованном предисловии к роману он рассказал: Гертруда поставила машину в деревенский гараж, молоденький механик показался ей старательным, она похвалила его хозяину гаража, а тот сказал, что такие юнцы хорошо обучаются, зато тех, кто чуть постарше и побывал на войне, ничем не научишь, они — *une generation perdue*. Другая версия изложена в «Празднике»: механик, напротив, успел повоевать и показался Гертруде нерадивым, она пожаловалась хозяину, а тот сказал механику: «Все вы — *une generation perdue*». Согласно этой версии Гертруда обвинила все «потерянное поколение» — включая Хемингуэя — в том, что у них ни к чему нет уважения и все они сопьются. По версии самой Гертруды, она услышала это выражение от владельца гостиницы: «Он сказал, что каждый мужчина становится цивилизованным существом между восемнадцатью и двадцатью пятью годами. Если он не проходит через необходимый опыт в этом возрасте, он не станет цивилизованным человеком. Мужчины, которые в восемнадцать лет отправились на войну, пропустили этот период и никогда не смогут стать цивилизованными. Они — „потерянное поколение“».

Термин подхватили публицисты и литературоведы. Первые относили к «потерянному поколению» всех, кто попал на фронты Первой мировой в

возрасте 17–20 лет: эти юноши, еще не цивилизовавшиеся, то есть не имевшие образования, семьи и профессии, но уже обученные убивать, после войны часто не могли адаптироваться к мирной жизни, многие кончали с собой или сходили с ума; окончательно потеряться этим несчастным «помог» мировой экономический кризис конца 1920-х. Вторые — писателей, принадлежащих к этому поколению и выражавших его чувства, то есть ощущение непрочности жизни, разочарование в традиционных ценностях, утрату идеалов: Хемингуэя, Дос Пассоса, Фицджеральда, Ремарка. Такого рода «потерянные поколения» и писатели, пишущие о них, существуют повсеместно, где случается какая-нибудь война, особенно закончившаяся бесславно (Вторая мировая для немцев, Вьетнам для американцев, Афганистан для нас), но в принципе любая.

Однако каждое «потерянное поколение» теряется по-своему: одно — за колючей проволокой, другое — под стойкой бара. Для «потерянных» американцев — ровесников Хемингуэя ситуация складывалась вроде бы не так плохо. Не было ни позора поражения, ни бедности, наоборот: США были кредитором воевавших стран, после войны начался экономический бум, работа имелась, высокий курс доллара позволял даже небогатым американцам путешествовать, и они наводнили всю Европу: дома — провинциализм, мещанство, «сухой закон», родители нудят, что надо работать и ходить в церковь; здесь — красивая жизнь, напитки, свободная любовь, жизнь ничего не стоит, наслаждайся, лови мгновение. Форд Мэддокс Форд писал: «Молодая Америка, освобожденная, ринулась из необъятных прерий в Париж. Они ринулись сюда как сумасшедшие жеребята, когда убирают изгородь между вытоптаным пастбищем и свежим».

Юнцов с художественными наклонностями влекла в Париж не столько «шикарная» жизнь, сколько культурная обстановка и возможность быстро получить признание, но, когда они оказывались посреди баров и дансингов, у них начинала кружиться голова. Не у всех хватало силы воли работать, многие спивались, некоторые ухитрялись делать то и другое одновременно. (К концу 1920-х большинство американских экспатриантов либо вернулись в США, либо переехали из Парижа в другие места.) Гертруда Стайн имела в виду именно это. Хемингуэй, во всяком случае в «Празднике», истолковал ее упрек иначе:

«Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот „форде“, переоборудованном в санитарную машину. <...> Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне, и об эготизме, и о том, что лучше — духовная лень

или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение? Тут я подошел к „Клозери-де-Ли́ла“: свет падал на моего старого друга — статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли, — стоит совсем один, и за ним никого! И я подумал, что все поколения в какой-то степени потерянные, так было и так будет, — и зашел в „Ли́ла“, чтобы ему не было так одиноко, и прежде, чем пойти домой, в комнату над лесопилкой, выпил холодного пива. И сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в арьергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкурром; я думал о том, каким хорошим и заботливым другом была мисс Стайн и как прекрасно она говорила о Гийоме Аполлинере и о его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала: „A bas Guillaume!“^[25], а метавшемуся в бреду Аполлинеру казалось, что эти крики относятся к нему, и я подумал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ей, и постараюсь, чтобы ей воздали должное за все содеянное ею добро, свидетель бог и Майк Ней. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные, дешевые ярлыки».

При чем тут маршал Ней? Да при том же, что и механик, возможно, даже не существовавший: женщина, не оскорбляй людей войны, это ты и тебе подобные, может, куда-то потерялись, а мы за вас проливали кровь: маршал, юноша-механик и я, и мы в полном порядке. В СССР Хемингуэй называли антивоенным писателем — это верно лишь отчасти. Да, он писал о том, что война ужасна. Но он не соглашался считать военный опыт разрушительным, и у нас еще будут основания предположить, что война была для него более естественным состоянием, чем ее отсутствие. Однако в период работы над «Фиестой» он был в общем (не применительно к себе) согласен с Гертрудой и в 1926 году писал Фицджеральду, что его роман показывает, «как люди разрушают себя», а Макс Перкинсу — что «любит землю и восторгается ею, но ни в грош не ставит свое поколение и его суету сует». В 1925-м, когда он вернулся из Шартра, в названии романа не было выражения «суета сует», но он взял его — «И восходит солнце...» (The Sun Also Rises), — как и второй эпитафия, из того же источника, Екклесиаста: «Род приходит и род проходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце...»

В Париж возвратился ко дню рождения Хедли, сделал ей подарок — картину испанского живописца Хуана Миро «Ферма», изображавшую загородный дом посреди зелени. Он присмотрел ее еще в июне, тогда же заключил с Миро предварительный контракт. Существуют разные легенды о том, как была куплена картина, стоившая пять тысяч франков (около 250

тогдашних долларов), например, такая: холст присмотрел Эван Шипмен, но Хемингуэй предложил определить с помощью жребия, кому она достанется; Шипмен выиграл, но отказался от покупки в пользу Эрнеста. По другим версиям, Хемингуэй выиграл в карты у художника то ли саму картину, то ли требуемую за нее сумму. В 1961 году «Ферма» оценивалась в четверть миллиона долларов, но Хедли уже давно не была ее владелицей — после развода муж забрал подарок обратно, а его последняя жена в конце концов передала картину Национальной галерее в Вашингтоне.

«Фиеста» (будем по привычке так называть роман) была на время заброшена. Почему, сказать сложно — может, отчасти потому, что ее живая героиня была в Париже и продолжала мучить автора. (Сохранилось ее осеннее письмо к Хемингуэю, в котором она просила займы три тысячи франков. Впоследствии Дафф еще как минимум дважды обратится за деньгами. Давал он их ей или нет — никто не знает. О их встречах тоже неизвестно.) Зато 5 октября 1925 года в издательстве «Бони и Ливерайт» тиражом 1335 экземпляров вышла книга «В наше время», состоящая из 14 рассказов, или глав (рассказ «На Биг-Ривер» был разбит на две части), перемежавшихся миниатюрами. Расходилась она неважно: публика любит романы — но критики хвалили. Аллен Тейт в «Нейшн» восхищался описаниями природы, Пол Розенфельд в «Индепендент» писал о «новом оригинальном голосе», Эрнест Уолш, несмотря на ссору, превознес автора: «В наше время, когда мало кто знает, куда идет, мы видим человека, чьи чувства ясны, поступь уверенна, и он заставляет нас вспомнить об утерянной мужественности». Форд назвал Хемингуэя «лучшим писателем Америки», восторженные отзывы опубликовали Стюарт и Андерсон.

Родители прочли книгу, скандала не было, напротив — мать вырезала рецензии и прислала Эрнесту, писала, что в Оук-Парке «все восторгаются» его блестящей карьерой. Отец, правда, упрекнул: «Поверь, тебе следует видеть и описывать все более человечно. Ты замечаешь в мире только грубость. Обрати внимание на радость, оптимизм, духовное начало в людях. Они есть, надо только поискать. Помни, что Бог велит нам быть ответственными за лучшее в нас. Думаю и молюсь о тебе, мой мальчик, ежедневно». Сын ответил вежливым письмом. Он уже писал новые рассказы, которые отец тоже счел бы грубыми: «Десять индейцев» (Ten Indians) — о детстве Ника Адамса и «Пятьдесят тысяч» (Fifty Grand) — о жульничестве в профессиональном боксе. Последний рассказ Фицджеральд раскритиковал и предложил сократить; Хемингуэй совет принял, хотя потом отрицал этот факт, а в 1959 году сказал, что коллега его текст «искалечил».

В отзывах была ложка дегтя: все рецензенты отметили влияние Стайн и в особенности Андерсона. Сам Андерсон только что опубликовал роман «Темный смех», историю журналиста, который оставляет семью и карьеру, работает на фабрике, заводит роман с женой начальника, также разочарованной и ищущей чистой жизни, и обдумывает книгу. Текст преимущественно состоял из внутренних монологов героев. Читающей публике «Темный смех» понравился: это выглядело современно, в роде Джойса, но без «непристойностей», какими изобилывал «Улисс», и вдобавок мелодраматично. Роман высоко оценивали некоторые критики: Генри Менкен, например, считал его «самой глубокой книгой столетия». Но коллеги его обругали за надуманность, стилистическую неряшливость и самоповторы. Фицджеральд назвал роман «дрянью», Фолкнер говорил, что мэтр исписался. От возможности отомстить покровителю за все, что тот для него сделал, Хемингуэй отказаться не смог. На крестных, если они художники или писатели, положиться нельзя, говаривала Элис Токлас. На крестников — тем более.

В ноябре он за десять дней написал пародию на Андерсона — повесть «Вешние воды» (The Torrents of Spring), которую мы уже цитировали: «У Скриппса О’Нила было две жены» и т. д. Пародировались не конкретный роман, а манера Андерсона, например, его слащавые любовные диалоги: «„Пусть это будет наша свадебная церемония“, — сказала старшая официантка. Скриппс сжал ее руку. „Ты моя женщина“, — сказал он просто. „Ты мой мужчина и даже больше, чем мой мужчина. — Она смотрела в его глаза. — Ты для меня вся Америка“. — „Уйдем“, — сказал Скриппс». А вот как писал эти диалоги сам Хемингуэй: «— Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь. — Хорошо, — сказала она и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне. „Да, хорошо!“ — подумал он». Ну что, сильно отличается?

А вот внутренние монологи: «Идти куда-то. Гюисманс писал так. Интересно было бы почитать по-французски. Когда-нибудь он должен попробовать. В Париже есть улица Гюисманса. Сразу за углом, где живет Гертруда Стайн. Ах, что это была за женщина! Куда вели ее эксперименты со словами? Что было за всем этим? Все это в Париже. Ах, Париж! Как далек от него сейчас Париж. Париж утром. Париж вечером. Париж ночью. Париж опять утром. Париж днем, быть может. Почему нет?» «Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где этот Гарц, между прочим?» «Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой.

Возможно, отец мой. Нет, отец мой. Что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были не хорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное». Неискушенный читатель может и не разобраться, где тут пародия на Андерсона, а где — собственно Хемингуэй...

«Вешние воды» — текст озорной, с «хулиганскими» вставками: «Как раз на этом месте повествования, читатель, однажды днем к нам в дом явился мистер Ф. Скотт Фицджеральд и, пробыв довольно длительное время, неожиданно сел в камин и не захотел (а может быть, не смог?) встать, и пришлось разжигать огонь в другом месте, чтобы обогреть комнату»; этакий «литературный капустник». Писать такие вещи никому не возбраняется. Но стоит ли их издавать? Дос Пассос сказал, что нельзя строить успех на пародировании. Хедли сказала, что публикация оскорбит Андерсона и не нужно быть неблагодарным. Бывают друзья, которые хотят, чтоб их друг не совершал злых поступков. Бывают другие — если они видят, что другу чего-то хочется, неважно, хорошего или дурного, то поощряют его. Полина Пфейфер сказала, что вещь гениальна, как все, что выходит из-под пера Эрнеста, и что ее нужно публиковать немедленно.

Он предложил «Вешние воды» «Бони и Ливерайту», издательству, где печатался сам Андерсон. Ход хитроумный: если бы Ливерайт принял «Вешние воды», то нанес бы обиду Андерсону, а если бы отклонил, то по условиям контракта потерял бы право на третью книгу Хемингуэя, и тот мог уйти от Ливерайта к Скрибнеру, чего давно хотел. Эрнест сам подтвердил обдуманное намерение, написав Фицджеральду: «Я с самого начала знал, что они не смогут и не захотят издавать эту книгу, так как я выставил их любимого Андерсона идиотом...» 7 декабря Хемингуэй отправил рукопись и едва не просчитался: пародии входили в моду, публика их обожала, смешную пародию на Уэллса опубликовал Дон Стюарт, и ничего; Ливерайт сперва выразил намерение взять книгу. Но, прочтя рукопись, передумал и телеграфировал с возмущением: «Неужели кто-то, по-вашему, купит это? Кроме того, что это жестокая и безнравственная карикатура на Шервуда Андерсона, она чересчур заумна». В письме он разъяснил, что советует отказаться от этой затеи и писать обещанный роман. Эрнест не отказался — тогда, как и было задумано, отказался Ливерайт. Но отдавать работу Скрибнеру автор не спешил: «Вешними водами» (не читая) заинтересовались издательства «Харкурт» и «Кнопф» и предлагали значительные суммы.

Фицджеральд, однако, был твердо намерен привести друга к

Скрибнеру. Написал Перкинсу, что Ливерайт не берет книгу, потому что «стоит за Андерсона», и что по его, Фицджеральда, мнению Хемингуэй имеет право порвать с Ливерайтом; Перкинс может получить роман, если возьмет «Вешние воды» в нагрузку. Перкинс ответил: хотя идея опубликовать сатиру на Андерсона не приводит его в восторг, он счастлив получить Хемингуэя, да и самому Хемингуэю так будет лучше, ибо издательство Скрибнера заботится о своих авторах как мать родная (это была правда — Скрибнер горой стоял за «своих», как, впрочем, и Ливерайт). Забегая вперед сообщим, что книга вышла у Скрибнера 28 мая 1926 года тиражом 1250 экземпляров и продавалась плохо, но критики приняли ее доброжелательно, называли «прелестной шуткой». В «Нэйшн» автора назвали «лучшим прозаиком с XVIII века», а «Вешние воды» — лучшей американской пародией; в «Нью-Йорк уорлд», правда, написали, что Хемингуэй «унизил и Андерсона, и себя».

После выхода книги Эрнест отправил Андерсону письмо, объясняя, что ничего против него не имеет, а лишь «считает своим долгом» критиковать плохие книги. Обиженный Шервуд назвал это письмо «самым самодовольным и покровительственным, какое когда-либо один литератор писал другому». Фолкнер, также опубликовавший в 1926-м пародию на Андерсона, писал: «Ни Хемингуэй, ни я никогда бы не могли задеть или высмеять его творчество. Мы просто постарались сделать так, чтобы стиль его стал выглядеть нелепым и смешным; а в то время, после выхода „Темного смеха“, когда он уже дошел до предела и ему фактически следовало бы бросить писать, ему не оставалось ничего другого, как защищать свой стиль, любой ценой, потому что в то время и он тоже должен был уже признать, хотя бы в душе, что больше ему ничего не остается делать». (Андерсон, вероятно, это отчасти признал, опубликовав в период после «Темного смеха» и до смерти в 1941 году лишь один роман и две книги воспоминаний.)

Стайн, обожавшая Андерсона, была в гневе и позднее, в «Автобиографии Элис Б. Токлас», проехала по Хемингуэю тяжелым катком: «Гертруда Стайн и Шервуд Андерсон когда сойдутся вместе очень веселятся на счет Хемингуэя. В последний раз когда Шервуд Андерсон был в Париже они частенько о нем говорили. Хемингуэй появился на свет их общими стараниями и им обоим это совместное духовное детище внушает отчасти гордость а отчасти стыд Был такой эпизод, когда Хемингуэй очень старался втоптать в грязь и самого Шервуда Андерсона и его творчество, и написал ему письмо от лица американской литературы которую он, Хемингуэй, за компанию с молодым поколением собирался спасти, и

прямо выложил Шервуду все что он, Хемингуэй, думает о творчестве Шервуда, и в том что он думал комплиментарная часть отсутствовала напрочь. Когда Шервуд приехал в Париж Хемингуэй понятное дело испугался. А Шервуд понятное дело нет». Андерсон приехал в Париж в 1926 году и действительно встречался с Хемингуэем; неизвестно, «испугался» кто-нибудь из них или нет. По версии Хемингуэя, они «премило провели время», по версии Андерсона — несколько минут поговорили и разошлись. Навсегда.

С Гертрудой Эрнест продолжал общаться, но отношения были испорчены. Как считают все ее и многие его биографы, причиной разрыва была именно история с «Вешними водами», а не то, что Хемингуэй написал в «Празднике»: якобы, услышав разговор Стайн с ее любовницей, он испытал брезгливость. Об отношениях Гертруды с Элис он прекрасно знал с самого начала, и это не мешало ему долгое время превозносить Гертруду, своего «брата». Оба отомстили друг другу много лет спустя: «Как я уже сказала эта тема у них (Андерсона и Стайн. — М. Ч.) была неистоцима. Они оба считали что Хемингуэй трус, он, уверяла Гертруда Стайн, совсем как тот лодочник с Миссисипи которого описал Марк Твен. <...> А потом они оба соглашались что у них к Хемингуэю слабость потому что он такой прекрасный ученик Он отвратительный ученик, начинала спорить я. Нет, ты не понимаешь, говорили они оба, это же так лестно когда твой ученик не понимает что он делает, но все же делает, другими словами он поддается дрессировке а всякий кто поддается дрессировке ходит у тебя в любимчиках. <...> Но какова была бы повесть про истинного Хэма, и рассказать ее следовало бы ему самому жаль что никогда не расскажет. В конце концов, как он сам однажды пробормотал себе под нос, есть такая вещь и называется она карьера, карьера».

Возвращаемся в 1925 год: «Вешние воды» еще не пристроены, нужно заканчивать «Фиесту», а в Париже не работается. 11 декабря Эрнест с женой и ребенком уехал в Шрунс. На Рождество туда явилась Полина Пфейфер. Из «Праздника» мы знаем, что происходит, когда «молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает все, чтобы женить мужа на себе». В январе Полина вернулась в Париж. Он вскоре последовал за ней. Оба писали Хедли в Шрунс ласковые письма. Полина покупала игрушки для Бамби и докладывала «подруге», какой чудесный человек ее муж: «Все по-настоящему плохое начинается с самого невинного. И ты живешь настоящим днем, наслаждаешься тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь».

Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и каждый день грозит все большей опасностью, но ты живешь лишь настоящим днем, как на войне».

Первая часть «Фиесты» к концу января была готова. Нужно было решать, кому продать ее и «Вешние воды». 3 февраля Хемингуэй уехал в Нью-Йорк. Фицджеральд отправил Перкинсу письмо: «Если вы его послушаете, то решите, что Ливерайт сжег его дом и украл у него миллион долларов, но это только потому, что у него ничего не публикуют, он еще совсем молод и чувствует себя очень беспомощным». Побывав у Ливерайта, разорвал договор, затем отправился к Скрибнеру и Харкурту, побеседовал тут и там, условия, предложенные Скрибнером, были лучше: издательство берет «Вешние воды» и предлагает за «Фиесту» аванс в 1500 долларов. Переговоры, начавшиеся 11 февраля, вел Макс Перкинс, человек, сыгравший в жизни Хемингуэя роль, которую невозможно переоценить: он будет его другом до самой своей смерти, и эту дружбу никогда не омрачат серьезные конфликты.

Перкинс был старше Хемингуэя на 15 лет, происходил из почтенной и знаменитой семьи, окончил Гарвард по специальности «экономика», но избрал профессией литературу; работал репортером в «Нью-Йорк таймс», в возрасте двадцати пяти лет был принят в издательство Скрибнера на должность младшего редактора, сделался незаменимым, научился оказывать влияние на шефа, стал в конце концов главой редакционного отдела. «Скрибнер и сыновья» славились публикациями таких уважаемых авторов, как Голсуорси и Генри Джеймс; Перкинс высоко ценил, но смысл своей работы видел в поиске новых талантов. В 1919 году он добился издания книги Фицджеральда, несмотря на сопротивление Скрибнера и других редакторов. Уже после Хемингуэя он «откроет» Томаса Вулфа, Эрскина Колдуэлла, Марджори Киннан Роулингс. Отношения с опекаемыми авторами Перкинс не ограничивал «промоушеном» и рекомендациями литературного характера: вел с ними переписку, ссужал деньгами, выбивал авансы, был в курсе их личных дел, возился с ними, когда у них был запой или депрессия: отец пяти дочерей, он мечтал о сыне, и Фицджеральд полушутя называл себя, Хемингуэя и Вулфа его «сынками». Был дипломатом: хвалил щедро, критиковал необидно, никогда не переступал грань, за которой покровительство обращается в навязчивость; в том, что Хемингуэй с ним не ссорился, заслуга скорее его, чем Хемингуэя. Перкинс представил рукописи «Вешних вод» и первой части «Фиесты» на заседание редколлегии — старики встали на дыбы, 72-летний Скрибнер был шокирован, но Перкинс сумел отстоять своего протеже, а тому деликатно посоветовал смягчить некоторые

выражения. 17 февраля контракт был подписан.

В Нью-Йорке Эрнест познакомился с Дороти Паркер — критиком, юмористом, остроумнейшей женщиной, организатором общества литераторов «Круглый стол», а также, увы, алкоголичкой, неосторожно ведшей себя с мужчинами и известной громкими попытками самоубийства. Паркер высоко оценила рассказы Хемингуэя, одной из первых написала о них восторженный отзыв, брала у него интервью. Выражение «достоинство под давлением» родилось, по одной из версий, именно в беседе с Паркер: та предложила дать более точное выражение для понятия «кураж», он ответил просторечным словом «guts», которое буквально переводится как «кишки», а в переносном смысле означает мужество, стойкость (в русском языке, кстати, слово «кишки» употребляется в том же смысле, только с обратным знаком — «кишка тонка»), она попросила перефразировать — получилось «достоинство под давлением». (Подругой версии, выражение впервые появилось в письме Хемингуэя Фицджеральду от 20 апреля 1926 года; есть и еще версии.) На пароходе, отплывавшем 20 февраля, они оказались вместе, третьим был критик и юморист Роберт Бенчли. В дороге пили, откровенничали — за это Дороти скоро поплатится.

В Париже он провел два дня с Полиной, а 4 марта уехал в Шрунс. «Когда поезд замедлил ход у штабеля дров на станции и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее». Вдвоем они были до марта. Потом все изменилось: «Зима лавин была счастливой и невинной зимой детства по сравнению со следующей зимой, зимой кошмаров под личиной веселья, и сменившим ее убийственным летом. Это был год, когда туда явились богачи».

С этими нехорошими богачами, четой Мерфи, Хемингуэй познакомился через Фицджеральда еще до отъезда в Шрунс и настойчиво звал их в гости. Джеральд и Сара Мерфи, оба из богатых американских семейств, пара с тремя очаровательными детьми, обосновались в Париже в 1921 году. Джеральд служил летчиком в Первую мировую. В 1925-м ему было 37 лет, Саре — 42. Композитор Коул Портер и художник Фернан Леже ввели их в художественные круги. Их парижская квартира стала «салонем», вилла на Ривьере — пристанищем «богемы». Оба были не просто щедры, радушны и прекрасно образованны, но излучали обаяние невероятной силы; они вдохновляли Фицджеральда, когда тот писал о чете Дайверов, и фигурировали под разными именами в десятках текстов своих знаменитых современников. Стюарт называл их принцем и принцессой: «Они любили друг друга, они наслаждались собственным обществом, и они дарили

радость жизни всем, кто имел счастье дружить с ними». Это счастье имели Джойс, Миро, Пикассо (Сара была одной из его любимых моделей), Брак, Стравинский, Беккет, Баланчин, Кокто, Дягилев, Наталия Гончарова, Айседора Дункан — проще перечислить тех, кто его не имел. Отзывались о них впоследствии по-разному: Фицджеральд считал, что они его сгубили, Пикассо любил их всегда. Джеральд Мерфи был художником, неизвестным при жизни, но в 1974 году названным специалистами «оригинальным»; Фернан Леже писал, что после прогулки с Джеральдом он начинал видеть все предметы по-новому, а Сара умела «из миски помидоров создать произведение искусства».

Хемингуэй произвел на Мерфи сильное впечатление. «Всеобъемлющая личность, психологически огромная и сильная, и он преувеличивал все и говорил так быстро и наглядно и хорошо, что вы обнаруживали, что во всем с ним согласны, — писал Джеральд. — Он умел придать своей жизни масштаб. Многие из нас рядом с ним казались мелочью». С Джеральдом, как и со всеми мужчинами, которые имели (или ему так казалось) перед ним какие-либо преимущества, Эрнест завел обычное соперничество в мужественности. Джеральд писал о том, как они катались на горных лыжах: «Я был хуже всех. Эрнест делал остановки каждые 20 метров, чтобы убедиться, что я в порядке. Внизу он спросил меня, было ли мне страшно. Я признался, что было. И он сказал, что увидел мое мужество. Я был по-детски польщен». (Одна из версий происхождения «достоинства под давлением» связана с этим эпизодом: если верить Джеральду, именно так Хемингуэй определил его поведение.) С Сарой Эрнест нежно дружил и, как многие считают, увлекся ею, хотя этому нет подтверждений: их переписка не выходит за рамки дружеской. Мерфи помогали его семье материально, хвалили его работы. «Ваши проклятые рассказы не дали мне спать всю ночь. Боже мой! Как Вы твердокаменно держите обещание в верности себе, которое каждый писатель дает, и потом почти каждый нарушает», — писал ему Джеральд. И все же это были очень дурные люди.

«Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради ее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может, и для него как для писателя это опаснее, чем непривязанным съезжать на лыжах по леднику до того, как все трещины закроет толстый

слой зимнего снега. Когда они говорили: „Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не понимаете, что это такое“, — я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместо того чтобы подумать: „Этим сукиным детям роман нравится — что же в нем плохо?“». Пикассо, правда, не считал, что если его картины нравятся Мерфи, то они плохи. Но это у всех по-своему.

С Мерфи приехал Дос Пассос, которому досталось от Хемингуэя еще пуще: «У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им путь, — иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и чересчур вежливых... Этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и нигде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока он молод. Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут. Он обладает незаменимой закалкой сукина сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он сам становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом. Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, забавен, неуловим, уже подвизался в своей области, а также потому, что он был рыбой-лоцманом с безошибочным чутьем. <...> Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт, и сама тоже явилась, чтобы мы не встретили их, как чужих, и чтобы я не закапризничал. Ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом».

Хемингуэй ругал «рыбу-лоцмана» и до «Праздника»: «Маркс, буржуа до мозга костей, живущий на содержании Энгельса, так же убедителен, как Дос Пассос, живущий на яхте богачей на Средиземноморье и обличающий капитализм». Когда и почему «рыба» перестала быть другом и в чем, собственно, провинились перед Хемингуэем «богачи», кроме того, что он брал у них деньги? Первого он в «Празднике» не объяснил, но объяснял в других текстах, и мы до этого еще дойдем. Второе прокомментировал туманно: «Те, чье счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы». Что значит эта «мертвая пустыня»? Мерфи

виноваты, что Хемингуэй оставил Хедли ради Полины? Мерфи втянули его в развлечения, научили жить на содержании, «каждый день превращать в фиесту» в ущерб работе — вот это уже серьезно. Сказать «а ты бы взял да отказался» — легко. Отказаться — сумеет не каждый.

Весна в Шрунсе, несмотря на присутствие «богачей», прошла неплохо: «Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы неуязвимы». К концу марта он закончил (так ему казалось) «Фиесту», отослал в «Скрибнерс», Перкинс назвал роман «безукоризненным». Хемингуэй обдумывал новую книгу, то ли сборник рассказов, то ли роман, о работе репортером в Чикаго и Торонто. Съездил в Париж, встречался с Полиной, но так и не принял решения, забрал домой из Шрунса жену и ребенка. Полина, вероятно, нервничала: они с сестрой пригласили Хедли в автомобильную поездку в Рамбуе, в дороге Хедли почувствовала неладное: Полина то раздражалась хохотом, то мрачно умолкала, не отвечала на ее вопросы. Хедли спросила, в чем дело — Вирджиния ответила, что ее сестра «всегда такая» и что они обе «очень любят» обоих Хемингуэев. Когда женщины сражаются за мужчину, лучшее, что он может сделать, — уйти в работу. Эрнест написал рассказ «Альпийская идиллия» (Alpine Idyll), напоминающий жутью некоторые рассказы Мопассана. Это история о крестьянине, который из-за погоды не мог добраться до деревни, чтобы похоронить жену; наконец в дом пришел пастор и увидел мертвую.

«Пастор еще раз посмотрел на нее. Что-то, видно, ему не нравилось.

— Отчего у нее сделалось такое лицо?

— Не знаю, — сказал Олз.

— А ты подумай, может быть, вспомнишь, — сказал пастор и опустил одеяло. Олз ничего не ответил. Пастор смотрел на него. Олз смотрел на пастора. <...>

— Так вот, — сказал Олз, — она умерла, я известил общину и убрал ее в сарай на сложенные дрова. Потом мне эти дрова понадобились, а она уже совсем заоченела, и я прислонил ее к стене. Рот у нее был открыт, и когда я вечером приходил в сарай пилить дрова, я вешал на нее фонарь.

— Зачем ты это делал? — спросил пастор.

— Не знаю, — ответил Олз.

— И часто ты это делал?

— Каждый раз, когда вечером работал в сарае.

— Ты поступил очень дурно, — сказал пастор. — Ты любил свою жену?

— О да, любил, — сказал Олз. — Я очень любил ее».

Часть айсберга, сокрытая под водами этого маленького рассказа,

находится в такой тьме, что, может, лучше и не пытаться искать ее. Скрибнер издавал журнал «Скрибнерс мэгэзин». Хемингуэй предложил туда новый текст и рассказ «Пятьдесят тысяч», написанный ранее. Перкинс принял первый, несмотря на его «чернушность», и отклонил безобидный второй — из-за большого объема («Пятьдесят тысяч» были опубликованы в июле 1927-го в «Атлантик мансли»).

В мае Эрнест собрался в Испанию. Обе женщины ждали решающего слова — он поругался с обеими и 14-го уехал один. Полина отправилась с родственниками в Италию — потом он скажет, что она всегда отсутствовала, когда была ему необходима. Бои быков посещал редко. Переработал «Десять индейцев», пытался писать пьесу, не пошло, тогда написал знаменитых «Убийц» (Killers). Предельная сухость, никаких описаний и вводных: «Дверь закуской Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.

— Что для вас? — спросил Джордж.

— Сам не знаю, — сказал один. — Ты что возьмешь, Эл?

— Не знаю, — ответил Эл. — Не знаю, что взять».

Пообедав, пришедшие связывают служащих и посетителей, деловито объяснив, что они наемные убийцы и ждут Андресона, бывшего боксера. Жертва не пришла, связанных освободили, один из них, подросток Ник Адамс, отправился к Андресону — предупредить. Тот все знал и отнесся к смерти с мрачным фатализмом. В рассказе не один айсберг, а как минимум два: первый, плавающий ближе к поверхности воды — история Андресона и его «заказчика», которую каждый волен додумывать по-своему, у второго над водой торчат лишь крохотные кусочки:

«Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.

— Послушай, — сказал он. — Какого черта, в самом деле? — Он старался делать вид, что ему все нипочем. <...>

Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет, — сказал Оле Андресон. — Это бесполезно.

— А я не могу помочь чем-нибудь?

— Нет. Тут ничего не поделаешь.

— Может быть, это просто шутка?

— Нет. Это не просто шутка. <...>

— Уеду я из этого города, — сказал Ник.

— Да, — сказал Джордж. — Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай, — сказал Джордж».

Большой айсберг спрятан под маленьким. На первый взгляд Ник — не центральный персонаж. Но внимательный читатель додумает историю мальчика, может, и не впервые столкнувшегося с жестокостью, но не знавшего прежде, что она так обыденна и неумолима; литературоведы относят «Убийц» наряду с «Индийским поселком» к серии рассказов об «инициации» подростка, вхождении в суровый мужской мир. Предположительно в тот же период писался не публиковавшийся при жизни автора рассказ «Люди лета» (Summer People), где Ник Адамс, проводящий каникулы в Мичигане, его друг и девушка составляют любовный треугольник.

Тем временем Мерфи пригласили Хедли на свою виллу «Америка» в Антибе, зимнем курорте между Ниццей и Каннами, который они ввели в моду и на лето, основав там «художественную» колонию. Комфорт, изящество, прекрасный сад. «Все было продумано почти с восточной щепетильностью», — писал Эндрю Тернбулл. Фицджеральды жили у Мерфи с начала лета и занимали гостевой коттедж; когда приехала Хедли, обнаружилось, что Бамби простужен, боялись коклюша, домик отдали Хедли с ребенком и няней, а Фицджеральды перебрались в отель поближе к казино — Мерфи платили за все. В середине июня, проведя в Испании меньше трех недель, в Антибе появился и Эрнест. Вилла «Америка» ему понравилась: «Никто не пил ничего, кроме шампанского, и я подумал, как здесь весело и как хорошо здесь писать. Тут было все, что нужно человеку, чтобы писать, — кроме одиночества». (На самом деле он не умел оставаться в одиночестве долго. Писать утром, писать после обеда, писать вечером, тихо поужинать и лечь спать — подобный образ жизни не привлекал его до старости.) Фицджеральды вели себя экстравагантно, затевали шумные скандалы: в «Празднике» Хемингуэй писал, что в то лето понял: «Зельда помешалась». Он показал Фицджеральду «Фиесту» — поскольку текст был уже отослан издателю, подразумевалось, видимо, что друг просто прочтет. Но Фицджеральд отнесся к тексту коллеги как учитель к сочинению школьника и написал критический разбор на десяти страницах (притом что они виделись каждый день); начал с того, что писатель должен прислушиваться к откровенной критике заинтересованных людей, сам он внимал чужим советам и рекомендует Эрнесту сделать то же. Вот выдержки из его критики:

«Я думаю, что части „Солнца“ небрежны и слабы. Как я сказал вчера (и как я говорил тебе, когда пытался заставить тебя сократить первую часть „Пятидесяти тысяч“), я вижу у тебя тенденцию к пространным

предисловиям и рассказыванию многословных анекдотов или „уток“, которые ты случайно услышал... В твоей первой главе около 10 таких мест...

...Я думаю, здесь ты не только не сумел написать на своем уровне, но написал ниже среднего уровня...

...Этот отрывок можно сократить до 7 предложений...

...Стр. 3 — написано бойко, но чересчур бойко...

...Стр. 5 — живописность в прозе не нужна. Она должна быть сведена к минимуму.

...Стр. 9 — а это просто очень плохо...

...Стр. 14 — как я сказал вчера, это чертовски пошлый анекдот...

...Заканчивать упоминанием об Алистере Кроули — пошло. Это роман, а не сборник анекдотов. Также я исключил упоминание о Стернсе...

[26] Почему не сократить биографию Кона? Его первый брак не важен. Когда ты можешь писать так хорошо — я недоумеваю, как ты мог написать эти первые 20 страниц так небрежно... Примерно с 30-й страницы роман начал мне нравиться, но, Эрнест, у меня слов нет, как я разочарован его неуклюжим началом. Пожалуйста, исправь. Объем в 7500 слов надо сократить до 5000. И, мой совет, не просто сокращай, а выкидывай самые плохие сцены. Роман чертовски хорош... Но центральная тема — импотенция героя — неубедительна и плоха».

Далее Фицджеральд рекомендовал выбросить всё начало и начать со страницы 29: «Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского университета в среднем весе» — как можно видеть, Хемингуэй совету последовал. (Часть из выброшенного потом будет включена в «Праздник» в виде главы «Форд Мэддокс Форд и ученик дьявола» и фрагментов других глав.) Советы Фицджеральда наверняка были справедливы — неопытный романист, даже если он уже писал отличные рассказы, как правило, грешит затянутыми вступлениями — но они высказаны таким тоном, который оскорбил бы и автора с ангельским характером. «Сократи!» «Убери!» И еще хлеще — «Я исключил» (из чужой книги!). Человеку, который только учится писать, такие рекомендации полезны, но Хемингуэй не считал себя начинающим. Кроме того, литература — не точная наука. Не всегда можно сказать, что вот так писать надо, а так — нельзя. Если бы Толстой читал рукописи Достоевского (и наоборот), то посоветовал бы половину выкинуть, а другую переписать. Не так уж кроток и тактичен был Фицджеральд по отношению к другу. Обижаться было на что..

Однако Хемингуэй проглотил обиду, срочно исправил и отослал текст Перкинсу — правда, сказал, что сокращения сделал по собственной

инициативе, а Фицджеральд «с ними согласен». Фицджеральд промолчать о своей роли не пожелал и дал Перкинсу понять, кто был редактором романа; он сообщил, что «Фиеста» ему нравится, но с оговорками: «Фиеста, рыбная ловля, некоторые второстепенные персонажи превосходны. Героиня мне не нравится, может, потому, что не нравится прототип. Что касается образа искалеченного мужчины, думаю, тут Эрнест откусил больше, чем может проглотить, и тем самым потерял нерв книги». Тем же летом Фицджеральд уговаривал Хемингуэя заключить контракт с литературным агентом Обе-ром, с которым работал сам, но Эрнест отказался — возможно, ему надоело быть покровительствуемым. Фицджеральд, видимо, это понял, так как в декабре писал (уже из Америки): «Не могу выразить, как много значила для меня твоя дружба в течение этого года — то было самое яркое мое впечатление в этой поездке в Европу. Я буду стараться блюсти твои интересы у Скрибнера в Америке, но, кажется, надобности в этом уже нет и скоро ты материально встанешь на ноги». (Опять бестактность — получается, что Хемингуэй на ногах еще не стоит.)

Летом на вилле «Америка» появилась Полина Пфейфер, и началась странная жизнь: «Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и каждый день грозит все большей опасностью, но ты живешь лишь настоящим днем». Виноваты были, конечно, Мерфи: зачем пригласили Полину? В гостевом домике жили Бамби и няня, старшие Хемингуэи и Полина сняли номера в отеле, две недели провели втроем. В начале июля стали собираться в Памплону: Фицджеральды ехать отказались (Зельде недавно вырезали аппендикс), и компания составила из Мерфи, Хемингуэев и Полины. Платил за все, разумеется, Джеральд Мерфи. Атмосфера была еще хуже, чем прошлым летом с Дафф Туизден: Хемингуэй «задирает» Джеральда, Полина нервничала, Хедли плакала. После фиесты Мерфи и Полина уехали в Байонну, Хемингуэи — в Мадрид, потом в Валенсию. Повсюду Хедли получала от Полины письма с уверениями в любви и дружбе; Эрнест написал Майку Стрэйтеру, что «всё идет к черту». В начале августа Хемингуэи вернулись на виллу Мерфи, к обитателям которой прибавились Стюарт с женой, и сообщили, что собираются «пожить отдельно». Мерфи предложил Эрнесту жить в его студии на улице Фруадево, 69, и дал денег на обустройство. Бамби с няней родители отправили в Бретань, а сами вернулись в конце лета в Париж, где отказались от квартиры. Эрнест поселился в студии Джеральда, Хедли — в отеле.

Двадцать седьмого августа Хемингуэй отправил Перкинсу окончательную редакцию «Фиесты» с посвящением жене и сыну. С Хедли

он в те дни не виделся, общались в письмах. 24 сентября она предложила план: Эрнест и Полина расстанутся на 100 дней, и если по истечении этого срока он будет желать развода, то получит его. «Эрнест не хотел разрыва, он просто не хотел поступаться своей дружбой. Но я сама шла на разрыв, я не поспевала идти с ним в ногу. И к тому же я была на восемь лет старше. Я все время ощущала усталость и думаю, что именно это и было главной причиной...» Эрнест условие принял, Полина тоже — при умелом ведении дела разлука идет на пользу любви. На оговоренные 100 дней она уехала в Америку — сообщить родителям о сложившейся ситуации. Мать, рьяная католичка, осуждала поведение дочери; отцу не нравилось, что жених ведет богемный образ жизни. Но постепенно оба сдались: по иронической версии Хемингуэя, этому способствовал Гас, дядя Полины, которого она еще до отъезда в Америку привела в студию Мерфи. Дядя будто бы тихонько постоял минут пять, глядя на работавшего Эрнеста, и вышел с словами: «Ну, не буду мешать», — после чего телеграфировал брату, отцу Полины, что лучшего мужа и желать нельзя.

Началась бурная переписка. Полина называла жениха «о мой красавец, самый умный, самый совершенный», писала, что безумно тоскует, страдает из-за причиненного Хедли зла, сомневается, можно ли рушить чужое счастье — ее письма следовало бы издать как учебное пособие для женщины, желающей выйти за чужого мужа. Эрнест мучился тройне: от разлуки, от вины перед Хедли и от страха, что Полина от него откажется. Фицджеральду писал, что вся жизнь пошла к дьяволу, «как и бывает со всякой хорошей жизнью», восхвалял благородство обеих женщин. Желая, надо заметить, не винил ни в чем и никогда: на вопрос Билла Берда о причине развода ответил: «Мое сволочное поведение».

Мерфи и Дос Пассос уехали в Штаты, Эрнест общался в основном с Арчи Маклишем, ходили на велогонки, в октябре съездили вдвоем в Сарагосу. Маклиш, Шипмен и Дорман-Смит — вот немногие из бесчисленных, казалось бы, друзей, кто не успел перед Эрнестом провиниться. Добродушнейший Стюарт охладел к нему из-за истории с Доротой Паркер. Хемингуэй расхваливал Паркер корриду — она, побывав в Испании, сказала, что считает бои быков мерзостью и что испанская культура ей несимпатична своей жестокостью. Он знал, что Дороти делала аборт, и написал сатирическую поэму «Чувствительной американке», где говорил, что убийцы — это не матадоры, а женщины, «ласкающие чужих детей и собак», но прерывающие беременность, упоминал о любовниках Дороты и рекомендовал ей «уносить из Европы свою жидовскую задницу». Поэму он прочел за обедом у Маклишей, где присутствовали Стюарты, и

сказал, что намерен ее опубликовать. Все пришли в ужас, но Маклиши пожурили автора мягче, а Стюарты — резче. Если друг тебя критикует — к чертям такого друга! Паркер о поэме не знала; позднее, в Штатах, Хемингуэй читал ее восторженные отзывы о своих книгах и как ни в чем не бывало общался с ней. Она отплатила ему отчасти, опубликовав в 1929 году сатирическую заметку в «Нью-Йоркере» о Хемингуэе как о загадочной знаменитости, о которой никто ничего не знает: «Ходят легенды, что он потерянный дофин, что его расстреляли как германского шпиона и что на самом деле он — баба, вырядившаяся в мужскую одежду».

При чтении «Праздника» можно подумать, что после лета 1926 года Хемингуэй порвал с гадкими богачами Мерфи — ничего подобного, он будет приглашать их в гости, теплая переписка продлится много лет. Таких примеров мы увидим немало: вспышка злобы, нечеловеческие оскорбления (обычно высказываемые за глаза), при этом — сохранение дружеских отношений. Когда Джеральд Мерфи уже после смерти Хемингуэя прочтет, как тот отозвался о нем и его жене в «Празднике» (а в черновиках книги есть и более резкие высказывания в адрес Мерфи — «богатые ублюдки», «заслуженное возмездие»; Мерфи разорились, их сыновья умерли), то напишет с печальным удивлением: «Какая странная разновидность принципиальности! Какая шокирующая этика! И как хорошо написано, однако». Чем правильнее объяснять подобного рода поступки Хемингуэя — просто «сложным и противоречивым характером»?

Или все-таки психическим расстройством, проявлявшимся в трудные моменты? Второе кажется убедительнее — не только потому, что, приняв первое объяснение, становится, честно говоря, трудно дальше читать (или писать) о нем, но и потому, что очень уж несоразмерны масштабы полученных «обид» и реакции на них — реакции, заметим, ни во что практическое не выливавшейся (если не считать нескольких демонстративных драк, в результате которых опять-таки никто ущерба не претерпел). Он любил стрелять по людям — но холостыми патронами.

Всю осень он был в депрессии. Писал Полине, что покончит с собой, если вопрос о их браке не будет решен до Рождества. Если он убьет себя — это облегчит жизнь и Хедли, и Полине. После смерти он попадет в ад — но этот ад «не будет хуже того, который окружает меня сейчас». Полина утешала, обещала приехать — успокаивался ненадолго, затем снова грозил самоубийством, говорил, что не может работать, чувствует себя несчастным, окруженным врагами: «Мы двое противостояем всему миру». Он словно и не заметил, что в эти недели британское издательство «Кейп»

вело переговоры со «Скрибнерс» об издании его книг в Англии, что «Непобежденный» переведен на французский и немецкий языки и включается в антологии лучших рассказов, что «Скрибнерс мэгэзин» опубликовал «Убийц», что, наконец, 22 октября 1926 года «Фиеста» вышла в свет.

Глава восьмая ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

«„Мы вникали во всю эту сложность, разгадывали эту непостижимость, погружались до предела в эти бесконечные „духовные искания“, и бесчисленные „нравственные переломы“, и „таинственные глубины“, и „неотвратно влекущие к себе бездны“, упивались „тонкими проникновениями“, и „беспощадным самоанализом“, переходами от „взлетов“ к „падениям“, и вновь к „внезапным озарениям“... и вдруг подворачивается писатель, у которого можно было прочесть:

Будь здоров! — сказала Брет.

Я осушил свой стакан и еще раз наполнил его. Брет дотронулась до моего локтя.

— Не напивайся, Джейк, — сказала она. — Не из-за чего.

— Почему ты знаешь?

— Не надо, — сказала она. — Все будет хорошо.

— Я вовсе не напиваюсь, — сказал я. — Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца.

— Не напивайся, — сказала она. — Не напивайся, Джейк.

— Хочешь покататься? — спросил я. — Хочешь покататься по городу?

— Правильно, — сказала Брет. — Я еще не видела Мадрида. Надо посмотреть Мадрид.

— Я только допью, — сказал я“.

И все, и сразу все делалось как-то просто. Никаких тебе „что делать?“ и „кто виноват?“, никаких обличений „проклятой действительности“, моральных выводов, итогов, нравоучений, призывов следовать отныне только... и т. п. Герои жили своей жизнью, поступали, как хотели и как считали нужным, а главное, что в них привлекало: им не было никакого дела до читателя с его мнением, осудит он их, не осудит, поймет, не поймет...» (Борис Василевский).

«Почему было такое поголовное увлечение Хемингуэем? А что мы имели свое? Я имею в виду литературу пятидесятых. Натужное, показное геройство, идеологические задачи, бесконечные цитаты — так можно, так нельзя. <...> Мы больше изображали, чем были. Сплошная показуха. Мы действительно быстро строили — но какой ценой! Мы действительно прокладывали каналы — но какими костями! И все с шумом, с треском, с помпой, а тут... Не громкий, не крикливый, не показушный героизм. Борьба с самим собой, со своими страстями, с судьбой — каждодневная,

мучительная. Он ни к кому не лезет со своими переживаниями, а мы в это время лезли к человеку в душу — товарищеские суды, профсоюзные собрания и все прочее. Все на публику, на подчинение, на подавление. И вдруг Хадсон, и вдруг „По ком звонит колокол“, и вдруг „Фиеста“. И вдруг человек, который живет и никого к себе не пускает, и что с ним происходит — это его личное дело» (Михаил Ульянов).

«Культ Хемингуэя возник в России от того, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу, — личную отвагу, риск, спонтанность. <...> Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в девятнадцатом веке он получал от гвардейских гусар и кавалерийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американско-космополитический, хемингуэевский манер» (Василий Аксенов).

Книга появилась в СССР в переводе Веры Топер в 1935 году, когда Хемингуэй считался «социально близким»; позднее, когда он обидел коммунистов, она долго не переиздавалась, а в 1960-х вошла в моду. Называлась она «Фиеста», хемингуэевское название — в скобках: над цитатой из Екклесиаста у нас не задумывались, видели одно — фиесту, праздник. «Потерянное поколение», скажите пожалуйста! Нам бы так потеряться, нам бы так пострадать, посиживая в барах, выбирая между Мадридом и Парижем... Вайль и Генис замечали, что хемингуэевский культ «мужчинства» многим шестидесятникам вышел боком — элегантное парижское пьянство мутировало в русский алкоголизм, а глубокомысленное молчание — в бесплодную немоту. Однако «Фиесту» как гимн «красивой жизни» воспринимали не только в Советском Союзе. Как писал Эдмунд Уилсон, Хемингуэй «выразил романтическое разочарование и сформулировал модную позу целого поколения. Это было время элегантных страданий, мрачной и беспечной иронии, героического разложения. Лозунг эпохи был „Выпьем“, и во всех барах Нью-Йорка и Парижа молодые люди говорили друг с другом „под Хемингуэя“». Малкольм Каули вспоминал, как обнаружил, что молодые литераторы «говорят в манере, которую я потом определил как хемингуэевскую, — жестко, сухо и доверительно. В середине вечера один из них встал, снял пиджак и стал показывать, как он стал бы управляться с быком. Молодые люди старались напиваться так же невозмутимо, как герой романа, а молодые девушки из хороших семей проповедовали нимфоманию

героини».

Вот и ответ на вопрос, почему Хемингуэй пришлось широкой публике больше по душе, чем Андерсон. Чтобы массы влюбились в книгу, она должна быть не о сереньких людишках из штата Огайо, а о ярких, богатых, красивых, из Парижа. Она должна повествовать не о том, как умер крестьянин или поссорились две старухи, а о любви, сражениях, ревности, измене. Она может быть великим произведением искусства, но при этом обязана быть жестокой мелодрамой — как «Ромео и Джульетта» или «Идиот». Не будь в «Войне и мире» Наташи с князем Андреем, а одни Платоны Каратаевы — кто бы читал эту книгу, кроме горстки интеллектуалов?

Когда Хемингуэй начинал писать «Фиесту», Китти Кэннелл, по ее словам, попросила его написать «душещипательно» — он с усмешкой обещал, что так и сделает. Почему-то никто не замечает, сюжет какого «культового» произведения он использовал в романе. Испания... коррида... красавец матадор... женщина, меняющая мужчин как перчатки... герой любит ее... она сначала любит его, но изменяет с матадором... только убийства недостает, все ж XX век, и вместо него — комическая драка, а Кармен уходит, живая и свободная. Вокруг Кармен — Брет Эшли — строится все действие романа: она делает с мужчинами что хочет, берет их, бросает и вновь подбирает, а они таскаются за ней, покорные, как телята. Она может любить и, полюбив, делается мягкой, «точно кисель», но она сама решает, когда дать волю страсти, а когда поставить точку или многоточие. Неважно, была ли такой Дафф Туизден: Хемингуэй создал образ столь же мифологичный и бессмертный, как Мериме и Бизе. Многие критики утверждали, что его книги проникнуты женоненавистничеством и что он воспевал только робких девиц, безликих и бессловесных «друзей человека»; что же до Брет, автор не воспел ее, а унизил и осудил. Может, и пытался, как хотел Толстой осудить Анну Каренину, да не получилось.

Теперь о герое. Считается общим местом, что Хемингуэй если не придумал, то воспел «мачизм» — если и так, он начал делать это далеко не сразу. Джейкоб Барнс не мачо, а антимачо: не суперсамец, а человек, лишенный функции продолжения рода. Но дело не только в этом. Барнс, в отличие от поздних хемингуэевских персонажей, никого не бьет (бьют его), ничего не взрывает, не совершает подвигов (если они и были, то за пределами романного действия), ходит на поводу у женщины, прощая ей измены и даже сводничая, а когда Кон называет его сводником и бьет, приходит к нему мириться:

«— Все. Джейк, скажите, что вы больше не сердитесь.

— Да нет, — сказал я. — Ладно.

— Я так измучился. Я прошел через муки ада, Джейк. Теперь всё кончено. Всё.

— Ну, — сказал я, — до свиданья. Мне пора.

Он повернулся, сел на край постели, потом встал.

— До свиданья, Джейк, — сказал он. — Вы подадите мне руку?

— Конечно. Почему же нет?»

Барнс — мягкий, интеллигентный человек: он страдает, когда при нем оскорбляют другого человека: «Я не понимаю, как можно было говорить Роберту Кону такие ужасные вещи. Есть люди, которым говорить оскорбительные вещи невозможно. Кажется, мир развалится, в полном смысле слова развалится тут же, на глазах, если сказать им такое». Он пьет по утрам шампанское с очередным поклонником его любимой, и при этом, что удивительно, воспринимается как образец мужественности — неужели только потому, что умеет пить? Нет, не только, его мужественность особая: это не мачо, а денди, аристократ, граф де ла Фер. Он по нескольку раз в день принимает душ (чем дальше, тем реже герои Хемингуэя будут это делать), и на рыбалке читает умную книгу, и находит общий язык с английскими аристократами и испанскими содержателями гостиниц, и щедр с официантами, и играет в бридж, и превыше всего ценит красоту, и всегда все делает (и пьет тоже) с достоинством, сохраняя спокойствие и элегантность.

«Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить». Трагедия? Ну, может, с точки зрения богатых американцев... Но ведь все они молоды, красивы, богаты, живы, здоровы, и даже у Джейка с его импотенцией (прав Фицджеральд: какая-то игрушечная эта импотенция и похоже скорее на мрачный обет, от которого герой откажется, когда сочтет нужным) есть будущее, проблема одна: в какой ресторан пойти ужинать и где провести следующий отпуск, в Париже или Мадриде?

Продавался роман прекрасно — менее чем за месяц ушел семитысячный тираж — и имел успех у критиков. Конрад Эйкен в «Нью-Йорк геральд трибюн» нашел хемингуэевские диалоги «блистательными», «лучшими, чем кто-либо когда-либо писал». Бертон Раско в «Нью-Йорк сан»: «Каждая фраза свежая и живая». «Нью-Йорк таймс»: «После скупой, сильной прозы Хемингуэя вся остальная англоязычная проза должна устыдиться». Было, правда, много сказано о влияниях — Фицджеральда, Форда, Стайн, Андерсона, Майкла Арлена (с героини чьего романа «Зеленая шляпа», поговаривали, списана Брет). Не обошлось без упреков:

Дос Пассос сказал, что «вместо того чтобы стать эпопеей потерянного поколения, роман являет собой небылицы о пьянствующих туристах». Но большинство критиков охарактеризовали книгу именно как «летопись потерянного поколения» наряду с «Великим Гэтсби».

Хемингуэю эта трактовка не нравилась: игнорировалась мысль, которую он выразил в названии книги. Советские критики, во всем искавшие идеи, оказались ближе к пониманию авторского замысла, чем родные. Кашкин писал, что персонажи «Фиесты» делятся на три группы: 1) «праздные бездельники-туристы и завсегдатаи ресторанов, которые вьются вокруг Брет и прожигают жизнь каждый на свой лад в пьяном угаре», 2) «люди Парижа и Испании, живущие своей повседневной жизнью и в будни и в праздник. Это трудовая жизнь, будь то даже показная, облеченная романтическим ореолом, жизнь Бельмонте, Ромеро и других матадоров», 3) Барнс, у которого есть профессия: «накрепко прикованный к своей среде, Джейк все же тянется к этой живительной и для него силе земли... ищет спасения в работе, о которой неоднократно говорится в романе, ищет опоры в обращении к природе, то на ручье в Бургете, то на берегу моря». А по Грибанову, Хемингуэй «противопоставил всей этой нишей духом, пьяной компании своего героя Джейка Барнса, который, подобно ему самому, жил среди этих людей, был среди них наблюдателем, но исповедовал иные взгляды. Джейк Барнс — человек работающий, он журналист и никогда не забывает о своем деле. Таков же и его друг, писатель Билл Гортон. Таков чистый и целомудренный парень матадор Педро Ромеро. Таковы крестьяне, с которыми они сталкиваются на фиесте в Памплоне. И наконец, есть земля, природа, которая вечна и которая тем самым противостоит всяческой человеческой накипи».

Все это выглядит наивным — Ромеро мало похож на представителя трудового народа, а Джейк ищет спасения преимущественно в барах, в рамках романа не работает, а развлекается также, как «нищая духом компания» — но, возможно, Хемингуэй и вправду имел это в виду. Так бывает: автор задумывал одно, а пишется другое, не столь высокоморальное, но лучшее. Земля, трудящиеся матадоры — да черт с ними... Главное, что остается у читателя — ощущение, что жизнь прекрасна, и прекраснее всего именно «суета сует»...

«Я вошел в воду. Вода была холодная. Когда подкатила волна, я нырнул, поплыл под водой и поднялся на поверхность, уже не чувствуя холода. Я подплыл к плоту, подтянулся и лег на горячие доски. На другом конце плота отдыхали молодой человек и девушка. Девушка отстегнула бретельку своего купального костюма и повернулась спиной к солнцу.

Молодой человек лежал ничком на плоту и разговаривал с ней. Она смеялась его словам и подставляла под солнечные лучи загорелую спину. Я лежал на плоту под солнцем, пока не обсох. Потом я несколько раз нырнул. Один раз я нырнул глубоко, почти до самого дна. Я плыл с открытыми глазами, и кругом было зелено и темно. Плот отбрасывал густую тень. Я выплыл около плота, посидел на нем, еще раз нырнул, пробыл под водой как можно дольше и поплыл к берегу. Я полежал на берегу, чтобы обсохнуть, зашел в кабинку, снял купальный костюм, окатился холодной водой и вытерся насухо.

Я прошел берегом под деревьями до казино, а потом по одной из прохладных улиц вышел к кафе „Маринас“. Внутри кафе играл оркестр, и я сидел на террасе, наслаждаясь прохладой среди жаркого дня, и пил лимонад со льдом, а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе „Маринас“, читал газеты, смотрел на публику и слушал музыку».

*

Ругали «Фиесту» люди, узнавшие себя. Обижен был Леб, чьим карикатурным портретом сочли Кона; позднее литературоведы будут говорить, что в Конe столько же от самого автора, сколько и от Леба, но тогда так никому не казалось. Гневалась Кэннелл, увидевшая себя во Фрэнсис, подруге Кона. В эпизодических персонажах, чете Брэдокс, узнавали Форда Мэддокса Форда с женой. Дафф Туизден была уязвлена поначалу, потом, обнаружив, что молодежь видит в Брет предмет не осмеяния, а обожания, успокоилась. Хемингуэю эти обиды доставили удовольствие и он был рад их преувеличить, придумав байку о том, что Леб намеревался застрелить его.

В Оук-Парке, по воспоминаниям Лестера, романом были шокированы «как монахини, попавшие в публичный дом». Тем не менее оба родителя написали Эрнесту, что гордятся его успехом и рады. Но с оговорками. Кларенс прислал рецензию из журнала «Литерари дайджест бук ревью мэгэзин», где говорилось, что в романе много грубости и половых сцен (никаких половых сцен в «Фиесте» и в помине нет, но тогдашние американцы были невероятными ханжами), и советовал писать «о здоровых и добрых сторонах жизни». Грейс также заявила, что книга «непристойна» и писать следует о разумном, добром: «Люблю тебя, мой дорогой, и надеюсь, что ты создашь что-нибудь действительно стоящее.

Обрети Бога и делай настоящую работу. Бог тебя наставит». Оба выразили тревогу о моральном облике сына: неужели он, как персонажи романа, пьет и водится с непотребными женщинами? Он выдержал паузу, затем ответил обоим:

«Дорогой папа...<...> Я уверен, что мои произведения не опозорят тебя, напротив, когда-нибудь ты будешь ими гордиться. Но все сразу не получается. Верю, что когда-нибудь тебе не придется стыдиться и за мою жизнь. Для этого тоже требуется время. Насколько счастливее были бы мы оба, если бы ты верил в меня. Кто спросит обо мне, скажи, что Эрни ничего не сообщает о своей личной жизни, даже где он находится, и только пишет, что много работает. Не стоит чувствовать себя ответственным за мои произведения или поступки. Я все беру на себя, сам делаю ошибки и несу наказание. Ты мог бы, если б захотел, гордиться мною иногда — не поступками (я не очень преуспел в добрых делах), а моей работой. Для меня работа важнее всего на свете, за исключением счастья троих людей, и ты не представляешь, как я сочувствую маме, которая переживает за то, что всем нам хорошо известно — на небесах есть Бог и мы должны быть перед ним чисты».

«Дорогая мама, <...> Я не сразу ответил на твое письмо о романе „И восходит солнце“, потому что я не мог не рассердиться, а писать сердитые письма, в особенности собственной матери, чрезвычайно глупо. Совершенно естественно, что книга тебе не понравилась, и мне жаль, что ты читаешь книги, вызывающие у тебя боль и отвращение. И все же я нисколько не стыжусь своей книги — разве что мне не удалось точно изобразить тех, о ком я писал, или добиться, чтобы читатель живо представил их себе. Книга, конечно, малоприятная. Но она наверняка приятнее оборотной стороны жизни некоторых лучших семей нашего Оук-Парка. Пожалуйста, помни, что в такой книге напоказ выставляется худшее в жизни людей, тогда как у нас дома есть две стороны — одна показная, а другая вроде той, которую я имел удовольствие наблюдать за закрытыми дверями. Кроме того, как художник (Грейс занималась живописью, о ней писали газеты, она послала сыну свой каталог с выставки — он писал, что „мечтает увидеть оригиналы“. — М. Ч.) ты знаешь, что писатель волен сам выбирать себе тему и критиковать его следует лишь за то, как он сумел ее раскрыть. Люди, о которых я писал, несомненно выжаты, опустошены, раздавлены жизнью, именно таковыми я и хотел показать их... На моем веку у меня еще хватит времени написать книги и на другие темы, но и они всегда будут о людях. <...> Я... не пью ничего, кроме вина или пива, как обычно за обедом, веду монашеский образ жизни и стараюсь писать как

можно лучше».

Но эти кроткие, вежливые письма были отправлены в начале 1927 года, когда личная жизнь Эрнеста уладилась. Осенью же 1926-го он продолжал тосковать и злиться. В ноябре Хедли поехала в Шартр — отдохнуть и подумать о будущем. Бамби она оставила отцу, быть может, надеясь, что это заставит его расчувствоваться. Она написала, что не уверена, будет ли развод правильным решением, но если муж настаивает, пусть начинает хлопотать (развестись было не так просто); она обещает, что он сможет видеть сына когда угодно, но сейчас просит его не травмировать. Большая часть ее письма была посвящена Бамби, возможно, тоже в надежде смягчить отцовское сердце. Отец действительно был растроган, возясь с малышом: тот был так очарователен, так забавно болтал по-французски, так трогательно называл отца «мадам Папа»... Но решения не переменял.

Письмо к Фицджеральду от 24 ноября 1926 года: «...Я попрошу „Скрибнерс“, чтобы, начиная с восьмого издания, они ставили подзаголовок:

„И восходит солнце“
Еще более великий Гэтсби

(Написано в содружестве с Ф. Скоттом Фицджеральдом — пророком века джаза.)

Как бы мне хотелось тебя повидать. Ты единственный парень во всей Европе и за ее пределами, о котором я могу сказать так много доброго (и наоборот), но одно точно — я хочу тебя видеть... И все же, черт побери, как ты там?

Что касается личной жизни известного писателя (известного кому?), то Хедли разводится со мной. Я передал ей все имеющиеся деньги, а также все полученные и предстоящие гонорары за „Солнце“.

Ем раз в день и, если очень устаю, сплю — последнее время работал как проклятый — и вообще начинаю жизнь беднее, чем я помню себя с тех пор, как мне стукнуло четырнадцать. Моя покупательная способность зависит от того, сколько рассказов покупает „Скрибнерс“. <...> Как бы там ни было, я вошел в колею, и выбить из нее меня могут только чрезвычайные обстоятельства, которые, надеюсь, не возникнут. Я обошелся без включения газа или вскрытия вен стерилизованной безопасной бритвой. Продолжаю жить в присущей мне манере сукина сына *sans peur et sans*

rapproche!^[27]»

Упомянутые рассказы, которые купил «Скрибнерс мэгэзин» — «Убийцы» и два новых: «В чужой стране» (In Another Country) и «Канарейка в подарок» (A Canary for One). В первом Хемингуэй вернулся к теме, которую не трогал после рассказа «Дома» — о человеке, чья воинская слава не соответствует действительности: «У них все было иначе, и получили они свои ордена совсем за другое. Правда, я был ранен, но все мы хорошо знали, что рана в конце концов дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий и иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что сделал все то, за что и они получили свои ордена. Но, возвращаясь поздно ночью под холодным ветром вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать, и очень боялся умереть, и часто по ночам, лежа в постели, боялся умереть, и думал о том, что со мной будет, когда я снова попаду на фронт. Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов; я соколом не был, хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом; но они трое отлично это понимали, и мы постепенно разошлись».

Оба рассказа написаны в период, когда автор сильно страдал и, может быть, поэтому не «сухи» и не «холодны», а душераздирающе-трогательны. Рассказчик («В чужой стране») разговаривает в палате с тяжело раненным майором:

«— Но почему человек не должен жениться?»

— Нельзя ему жениться, нельзя! — сказал он сердито. — Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять.

Майор говорил раздраженно и озлобленно и смотрел в одну точку прямо перед собой.

— Но почему же он непременно должен потерять?»

— Потеряет, — сказал майор. Он смотрел в стену. Потом посмотрел на аппарат, выдернул свою высохшую руку из ремней и с силой ударил ею по ноге. „Потеряет, — закричал он. — Не спорьте со мною!“ Потом он позвал санитаря: „Остановите эту проклятую штуку“.<...>

— Извините меня, — сказал он и потрепал меня по плечу здоровой рукой. — Я не хотел быть грубым. Только что моя жена умерла. Простите меня.

— Боже мой, — сказал я, чувствуя острую боль за него, — какое несчастье.

Он стоял около меня, кусая губы.

— Очень это трудно, — сказал он. — Не могу примириться. — Он

смотрел мимо меня в окно. Потом заплакал. — Никак не могу примириться, — сказал он, и голос его прервался. Потом, не переставая плакать, подняв голову и ни на что не глядя, с мокрым от слез лицом, кусая губы, держась по-военному прямо, он прошагал мимо аппаратов и вышел из комнаты».

«Канарейка» — один из образцов «айсберга». Муж и жена — между ними вроде бы все гладко, ничто не указывает на обратное, — садятся в купе, с ними пожилая дама заводит светскую беседу, и вдруг прорывается первая нота тревоги: дама ни с того ни с сего начинает рассказывать о своей беде (или злодеянии): ее дочь пришлось разлучить с любимым, та совсем плоха, и ей в подарок, как больному ребенку, везут птичку в клетке. Потом второй тревожный укол (возможно, сознательно заимствованный из «Анны Карениной») — они проезжают мимо состава, потерпевшего крушение — «стенки вагонов были разворочены, крыши смяты» — и заключительный: «Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе».

Хедли, вернувшись в Париж, написала (они не встречались, ребенка передавала из рук в руки няня), что освобождает мужа от обещания выдержать 100 дней без Полины. Он отвечал, что без ее «самоотверженной поддержки» никогда не смог бы стать писателем, что она «всегда была великодушной», «самым лучшим, честным, любящим и любимым человеком», что Бамби счастлив, имея такую чудесную мать, что он отдает ей гонорар за «Фиесту», что составил завещание в ее пользу, что все его доходы будут перечисляться в специальный фонд для Бамби; сам он простодушно добавлял, что всегда сможет брать деньги у Фицджеральда, Мерфи, Маклишей и своей новой богатой жены. Хедли ответила в тот же день, сухо: он может начинать процедуру развода. Он испытал облегчение — но потом, похоже, всю жизнь жалел. «А зачем вообще я расстался с матерью Тома? Лучше не задумывайся об этом, сказал он себе». «Я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось. Но об этом я больше не хочу и не стану думать».

О том же он писал отцу: «Дорогой папа, ты представить себе не можешь, как мне скверно оттого, что я доставил вам с мамой столько стыда и переживаний, но я не мог написать о моих неприятностях с Хедли, даже если мне следовало это сделать. Письмо через океан идет, по крайней мере, две недели, и мне не хотелось доверять бумаге все те адские муки, через которые мне пришлось пройти. Я люблю Хедли и люблю Бамби. Мы с Хедли разошлись, и я не бросал ее и ни с кем ей не изменял.

Я жил с Бамби, присматривал за ним, пока Хедли была в отъезде, и,

вернувшись из поездки, она решила, что определенно хочет развестись. Мы уладили все, и обошлось без скандала и срама. Отношения наши осложнились давно. Во всем виноват я, и никого это не касается.

Тебе посчастливилось любить всю жизнь только одну женщину. Я целый год любил двоих и оставался верен Хедли... Ты пишешь о „похитителях сердец“, „людях, которые разбивают очаг“ и т. д., и ты понимаешь, что я слишком горяч, но я понимаю, как просто проклинать людей, когда ничего о них не знаешь. Я видел, страдал и пережил достаточно, поэтому не берусь никого проклинать. Пищу только ради того, чтобы ты не мучился мыслями о стыде и позоре. Я никогда не перестану любить Хедли и Бамби и всегда буду заботиться о них. Так же я никогда не перестану любить Полину Пфейфер...»

Полина прибыла во Францию 8 января 1927 года. Зимние каникулы провели в Швейцарии, в Гстааде, с четой Маклишей. Бамби несколько раз по нескольку дней жил с отцом и мачехой, пока Хедли готовилась к отъезду в Штаты. Процедура развода была начата 27 января. Имелась сложность: католичка Полина желала церковного брака, ее жених должен был стать католиком. Обращение писателей, выросших в протестантской среде, в католицизм было обычным делом: так по разным причинам поступили Томас Элиот, Ивлин Во, Грэм Грин, Мюриэл Спарк и много других. Но для Хемингуэя проблема заключалась в том, что он, дабы жениться на Полине по-католически, должен был доказать, что никогда не был женат, а для этого, в свою очередь, требовалось доказать, что он уже был католиком, когда стал жить с протестанткой Хедли, и, следовательно, их брак недействительный, а сын — незаконнорожденный. Он на это согласился — поступок, неприятно поразивший окружающих. Многие исследователи, правда, полагают, что он обратился в католичество не только по расчету: причинами послужили тяга к испанской культуре и ритуальной эстетике католицизма, а также отвращение к протестантской религии, которую ему навязывали родители и которая ассоциировалась провинциальностью и косностью. Протестантство казалось ему основанным на страхе, а католичество — на любви, его также привлекал культ Богородицы.

В марте он с Гаем Хикоком поехал на автомобиле в Италию, чтобы разыскать католического священника Бианки, который должен был подтвердить, что окрестил его в госпитале летом 1918 года. Полина сопровождать его отказалась, полагая, что он едет не только из-за Бианки, но и ради «мальчишника». За 10 дней посетили Геную, Рапалло, Пизу, Флоренцию, Римини, Болонью. Обстановка в Италии не понравилась — всюду фашисты. Но цель поездки была достигнута: Бианки подтвердил, что

крестил раненого. Хикок вспоминал, что, когда ехали на встречу со священником, Хемингуэй вышел из машины, встал на колени и «долго молился и рыдал» — то ли от религиозных чувств, толи ощущая вину перед Хедли и Бамби. По возвращении в Париж он нашел доминиканского патера и объяснил ему, что был добрым католиком уже давно, ежедневно молился, посещал мессы, а если иногда отклонялся от истинного пути — так это потому, что не было хорошего примера; скрывал же свое католичество, дабы его не объявили «католическим писателем». Насколько все это соответствовало действительности — как говорится, одному Богу известно.

Агнес фон Куровски впоследствии подтверждала, что он желал с нею венчаться по католическому обычаю. Хедли говорила, что ни о каком католичестве слыхом не слыхивала, парижские знакомые — тоже. В «Фиесте», однако, герой — католик. «Я встал на колени и начал молиться и помолился обо всех, кого вспомнил, о Брет и Майкле, о Билле, Роберте Конне, и о себе, и о всех матадорах, отдельно о каждом, кого я любил, и гуртом о всех остальных, потом я снова помолился о себе, и, пока я молился о себе, я почувствовал, что меня клонит ко сну, поэтому я стал молиться о том, чтобы бои быков прошли удачно, и чтобы фиеста была веселая, и чтобы нам наловить побольше рыбы. Я старался вспомнить, о чем бы еще помолиться, и подумал, что хорошо бы иметь немного денег, и я помолился о том, чтобы мне нажать кучу денег, и потом начал думать, как бы я мог их нажать, <...> и так как я все это время стоял на коленях, опершись лбом о деревянную спинку скамьи, и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно и я жалел, что я такой никудышный католик, но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере сейчас, а может быть, и никогда, но что все-таки это — великая религия, и как бы хорошо предаться набожным мыслям, и, может быть, в следующий раз мне это удастся...»

Свидетельство о крещении он получил, положенные формальности проделал и стал считаться католиком. Получил разрешение на брак от архиепископа Парижского. Полина нашла квартиру в Париже, которую согласился оплачивать ее дядя Гас.

14 апреля Хемингуэй завершил процедуру развода с Хедли, 16-го проводил ее и Бамби в Нью-Йорк (оттуда они должны были ехать в Оук-Парк), а 10 мая обвенчался с Полиной в церкви Сент-Оноре д'Эйло. Гостей было мало — жених успел со всеми перессориться, Маклиши не пришли, возмущенные тем, что он, по их мнению, переходом в католичество предал Хедли и сына. Не приехали родители жениха и невесты, ограничившись

присылкой подарков — со стороны Пфейферов были чеки на солидные суммы. Молодожены тихо провели медовый месяц в пансионе в Гро-дю-Руа, рыбацком поселке близ Эг-Морт во Франции — купались, загорали, у Эрнеста разболелась раненая нога, и после возвращения в Париж 7 июня пришлось провести неделю на больничном режиме. Жили они теперь в комфортабельной квартире на улице Феру, 6, возле церкви Сен-Сюльпис.

Приезжал Дональд Фрид, партнер Ливерайта, пытался уговорить беглого автора вернуться, предлагал новый контракт — три тысячи долларов за роман, тысячу за сборник рассказов, 15 процентов роялти. Хемингуэй отклонил предложение. Он уже готовил новый сборник рассказов, обещанный Скрибнеру. Среди них были опубликованные: «Убийцы», «В чужой стране» и «Канарейка в подарок» (в «Скрибнерс мэгэзин» за март — апрель 1927 года), «Непобежденный» (в «Квершнитт» и «Кворттер» еще в 1925-м); летом 1926-го в «Литтл ревью» вышла «Банальная история» (Banal Story), рассказ о том, как среди пошлых журнальных заметок затерялось сообщение о смерти матадора, а в «Стейбл пабλικейшнз» — «Сегодня пятница» (To-Day is Friday), крошечная пьеса-фантазия, в которой пьяные римские солдаты, разговаривающие как современные американцы, в кабаке обсуждают казнь Христа: «Я много раз такое видел. Но этот — этот держался очень здорово».

«Атлантик мансли» летом 1927 года опубликовал многострадальные «Пятьдесят тысяч», а антология «Америкен караван» в сентябре — «Альпийскую идиллию». Эдмунд Уилсон еще в мае напечатал в «Нью рипаблик» под названием «Италия — 1927» рассказ «О чем говорит тебе родина» (Che Ti Dice La Patria?), который был написан после поездки с Хикоком в Италию и где о фашистах говорилось вскользь, но при этом создавалось ощущение, что страной завладела темная, неприятная сила: «Молодой человек не сказал: „благодарю вас“, или „очень вам благодарен“, или „тысяча благодарностей“, — словом, все то, что полагалось раньше говорить в Италии человеку, который протягивал вам расписание поездов или объяснял, как пройти куда-нибудь. Он выбрал самое сухое „благодарю“ и очень подозрительно посмотрел на нас, когда Гай тронул машину. Я помахал ему рукой. Он был слишком преисполнен собственного достоинства, чтобы ответить. Мы въехали в город. — Этот молодой человек в Италии далеко пойдет, — сказал я Гаю».

Непристроенными оставались «Десять индейцев» и «У нас в Мичигане» — они должны были увидеть свет в составе сборника. В дополнение к названным рассказам осенью 1926-го — весной 1927 года были написаны еще четыре: «Гонка преследования» (A Pursuit Race),

«Обычное расследование» (A Simple Enquiry), «Белые слоны» (Hills Like White Elephants) и «На сон грядущий» (Now I Lay Me); два последних заслуженно относят к шедеврам. «Белые слоны» — еще один образец «айсберга»: персонажи говорят одно, читатель понимает другое. Молодая пара обсуждает предстоящий аборт: на нем настоял мужчина, но, когда его подруга соглашается, он пытается сделать вид, что решение принято ею самой, а он готов пойти на попятный:

«— Ты должна понять, — сказал он, — я вовсе не хочу, чтобы ты делала то, чего не хочешь. Если для тебя это так много значит, я готов пойти на это.

— А для тебя это ничего не значит? Мы бы как-нибудь справились.

— Конечно, значит. Только мне никого не надо, кроме тебя. Мне больше никто не нужен. И я знаю, что это сущие пустяки.

— Конечно. Ты знаешь, что это сущие пустяки.

— Ты можешь говорить что угодно, а я знаю, что это так.

— Можно тебя попросить об одной вещи?

— Я все готов для тебя сделать.

— Так вот, я тебя очень, очень, очень, очень, очень прошу замолчать».

Критики, считающие Хемингуэя женоненавистником, обычно не знают, что делать с этим рассказом...

«На сон грядущий» — шедевр иного рода, особенного подтекста здесь нет — только потрясающее описание душевной муки человека, переживающего войну: «В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому».

«Белые слоны» были опубликованы в журнале «Транзишен мэгэзин» в августе, а остальные рассказы вошли вместе со старыми (кроме вновь отвергнутого «У нас в Мичигане») сразу в сборник, получивший название «Мужчины без женщин» (Men Without Women). Впоследствии Хемингуэй объяснял выбор названия тем, что в рассказах сборника «отсутствует смягчающее женское влияние» (по отношению к «Белым слонам» это утверждение звучит странно), а в письме Фицджеральду комментировал

его с юмором: «К счастью, в городке нашелся один англиканский священник, который уезжал на следующий день, и Полина одолжила у него библию, полученную им при посвящении в духовный сан, пообещав вернуть ее в тот же вечер. И что же, Фиц, я посмотрел всю библию — она была прекрасно издана — и, наткнувшись на великую книгу Екклесиаст, стал читать ее вслух всем желающим послушать. Вскоре я остался один и поносил проклятую библию за то, что в ней не нашлось для меня названия, впрочем, теперь я знаю, откуда берутся все хорошие заголовки. Другие парни, главным образом Киплинг, уже порылись здесь до меня и выудили все стоящее. И тогда я назвал книгу „Мужчины без женщин“ в надежде, что она быстро разойдется среди гомосексуалистов и старых дев».

Гомосексуалисты помянуты не случайно — два рассказа посвящены им. В «Обычном расследовании» майор в госпитале задает молодому санитару странные вопросы и отпускает его, чрезвычайно смущенного; в «Гонке преследования» рекламный агент, которого бросил любовник, жалуется знакомому на свою жизнь. Хемингуэй писал Перкинсу, что эти тексты вряд ли кто-то возьмется публиковать — но Перкинс счел их приемлемыми, в отличие от злополучного «У нас в Мичигане». Оба рассказа (а будут еще на ту же тему) дали современным критикам почву для домыслов: автор повсюду трубил о мужественности, а рассказыки-то писал, причем без явного осуждения: это неспроста, детские переодевания не прошли даром, а Таормина с Гэмблом была не Эдемом, но Содомом... Множество знакомых Хемингуэя свидетельствуют, что он отзывался о гомосексуалистах чрезвычайно грубо, когда хотел обругать кого-нибудь, называл его «гомиком», шутил на эту тему много и навязчиво — «привет, вы, старые педики», «не буду делать того-то и того-то, я же не педик», и проч.; боялся, как бы о нем «чего-нибудь не подумали», и передавал эту боязнь персонажам, например Джейку и Биллу в «Фиесте»:

«Послушай. Ты очень хороший, и я никого на свете так не люблю, как тебя. В Нью-Йорке я не мог бы тебе этого сказать».

Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Также как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было подстроено Лигой сухого закона. Все это — половой вопрос. Полковника леди и Джуди О'Грэди — лесбиянки обе в душе!

Он замолчал.

— Хочешь еще?

— Валяй, — сказал я.

— Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом.

— Ах ты, чучело! — сказал я.

— Дрянь ты этакая!»

Курт Воннегут сказал по этому поводу, что «чувство братства, то есть любовь, связующая мужчин в минуту опасности или просто в условиях длительной близости друг к другу — это и есть высшая награда, уготованная многим героям Хемингуэя». Доказать, что Хемингуэй был бисексуален, никому до сих пор не удалось, но бесспорно одно: если писатель обращался неоднократно к какой-либо теме, следовательно, она его хотя бы в некоторой степени занимала. Предложим версию — не «психиатрическую», а житейскую: восемнадцатилетний мальчишка необыкновенной красоты уходит из дома в мир, где полно всяких людей; к нему проявляют интерес, в котором он не «виноват», как не «виноваты» женщина, подвергшаяся нападению, или артист, преследуемый маньяком, но он по глупости счел себя виновным: раз ко мне пристают, значит, что-то во мне неправильное...

Первого июля молодожены уехали в Памплону на фиесту, посетили также Сан-Себастьян и Валенсию, завершили каникулы в Андае и вернулись домой 3 сентября. Вскоре Полина забеременела, а ее муж начал вынашивать новый роман, «Сраженный рыцарь» (A New Slain Knight); Перкинсу он сообщил, что это будет нечто вроде современного «Тома Джонса»^[28], что он экспериментирует, пытаясь писать в третьем лице. Замысел, над которым он работал до января 1928 года, не был реализован. Два фрагмента из него, «Путешествие поездом» и «Проводник», по воле наследников опубликованы в 1987-м в «Полном собрании рассказов»: подросток Джимми с отцом уезжает из Мичигана, сталкивается в поезде с беглым революционером, грабителем банков, но не выдает его охране.

Четырнадцатого октября у Скрибнера вышли «Мужчины без женщин», тиражом 7650 экземпляров, с посвящением Эвану Шипмену. У публики книга имела успех, за три месяца продали два тиража, всего 15 тысяч экземпляров. Но рецензенты встретили ее сухо, упрекали в вульгарности и «чернухе». Вирджиния Вулф назвала рассказы «искренними» и «мастеровитыми», но отметила, что они «слишком искусственно собраны вместе, сухи и бесплодны» и что автор воспекает «самодовольную мужественность». (Трудно понять, где в сборнике можно углядеть самодовольную мужественность — разве что в названии.) Критик Уилсон Додд заявил, что персонажи Хемингуэя — «очень вульгарные люди: тореадоры, хулиганы, бандиты, профессиональные солдаты, проститутки, алкоголики и наркоманы», Джозеф Крутч сказал, что предмет

хемингуэевской прозы низведен до «мерзких ничтожных происшествий». На защиту встал Уилсон: да, Хемингуэй изобразил мир темноты и страдания, но в его историях «всегда есть место смелости, жалости, благородству». Критики попросту проигнорировали такие тонкие и нежные рассказы, как «Канарейка» и «Белые слоны», и вообще автор — «не моралист, конструирующий мелодрамы, а художник, изображающий сложность жизни».

Фицджеральд поздравлял с успехом: «Книга прекрасна. <...> Несмотря на географические и эмоциональные различия, это целостная вещь, как сборники Конрада. Зельда прочла с восхищением, ей понравилось больше, чем всё, что ты писал. Ее любимое — „Белые слоны“, мое было „Убийцы“, а теперь — „На сон грядущий“. „Индейцы“ — единственное, что оставило меня холодным, и я рад, что ты не стал включать „Мичиган“. (Перкинс до выхода сборника советовался с Фицджеральдом о публикации „У нас в Мичигане“, тот ответил, что, если вещь „смягчить“, она будет пригодна для печатания, но Хемингуэй „смягчать“ отказался. — М. Ч.) Мне нравится твое название — все эти грустные мужчины без женщин, — и я чувствую, что мое влияние начинает сказываться. Мануэль Гарсия — это вылитый Гэтсби». Далее Фицджеральд советовал другу отправлять рассказы в «Пост» и хвалился, что ему там платят за рассказ 3500 долларов. Касательно своего влияния Фицджеральд иронизировал — но Хемингуэй не всегда понимал иронию, обращенную в его адрес, и мог оскорбиться. Он написал злой фрагмент (оставшийся в черновиках) о том, как Фицджеральд «держал трех негров в ливреях и с опахалами, которые день и ночь отвечали за него на письма читателей, а потом белый надзиратель отбирал из писем лучшие и зачитывал их Фицджеральду».

Хедли вернулась в Париж, встретились, она сообщила, что нашла другого мужчину. Неизвестно, как отреагировал бывший муж, но скандала не было. В ноябре Эрнест и Полина съездили в Берлин на велогонки, потом в Гстаад с Бамби и Вирджинией Пфейфер. По свидетельству Вирджинии, Эрнест был все время не в духе, простудившись, заявил, что у него пневмония и скоро он умрет: мелкие неприятности переживал, как его мать, все преувеличивая. Но он таки притягивал неприятности: однажды встал ночью посадить Бамби на горшок — ребенок нечаянно ткнул его пальцем в здоровый глаз, повредив зрачок. Смертельно боялся слепоты, впал в депрессию, вдобавок заболел зуб — смерть уже стояла на пороге.

Фицджеральд Хемингуэю в начале декабря 1927 года: «Пожалуйста, напиши мне подробно о твоих приключениях — я слышал, что тебя видели

проезжавшим через Португалию на подержанном авто и собирающим материал об игроках в шары (старинная французская игра. — М. Ч.), что ты был рекламным агентом Линдберга (знаменитого авиатора. — М. Ч.), что ты закончил роман в сто тысяч слов, полностью состоящий из слова „яйца“ в разных сочетаниях; что ты принял испанское гражданство, одеваешься в кожаный костюм на молниях, и что ты ведешь незаконную торговлю настоящим шпанской мушки (считалось, что это афродизиак. — М. Ч.) от Сан-Себастьяна до Биаррица, где твои агенты разбрызгивают его на пол в казино. Надеюсь, что меня дезинформировали, но — увы! — это слишком похоже на правду...» Хемингуэй ответил в том же залихватском тоне: «Рад слышать тебя, старый педик», сообщил, что «завязал с писательством и шпанской мушкой ради сводничества», что Бамби «по договору с Херстом пишет сериал о лесбиянках, раненных на войне» и что сам он не носит кожаной одежды, а также «не употребляет туалетной бумаги, точек с запятой и крема для обуви», дабы люди не решили, что «старый Хем заделался педиком». К сожалению, этот тон теперь будет преобладать в их переписке. Но иногда они все же будут говорить друг другу человеческие слова.

В Швейцарии молодожены оставались до 12 февраля, потом Париж, 6 марта — новая дурацкая травма: закрывал окно в ванной, рама отвалилась, разбив лоб над правым глазом, тем самым, на который недавно покушался Бамби. (В 1956 году Джед Кили, бывший редактор журнала «Бульвардье», выдававший себя за друга Хемингуэя, писал, причем совсем не в шутку, что раму подпилил Фицджеральд с целью убийства.) В больнице наложили швы — шрам остался навсегда. Дос Пассос впоследствии говорил, что «не знал другого атлетически сложенного крепкого мужчину, который бы столько времени проводил на больничной койке, как Эрнест Хемингуэй». Джеффри Мейерс составил подробнейший реестр больших и мелких происшествий, случившихся с Эрнестом, и пришел к выводу, что опасность его здоровью угрожала как минимум раз в год.

С депрессией Хемингуэй справился, начав писать «Прощай, оружие!». Три года назад он сказал Фицджеральду, что война — лучшая тема для писателя (другие хорошие темы — любовь, деньги, алчность и убийство), но сам он не получил от войны достаточно материала для работы, ибо был молод. Теперь он стал достаточно взрослым. Текст сперва был безымянный и задумывался как рассказ о ранении, госпитале, любви к медсестре и принятии католичества. Работу вскоре пришлось прервать — Полина хотела рожать на родине, планировали, как и с Хедли, задержаться там на пару лет, но не в дыре вроде Оук-Парка или Пиготта, отчего дома Полины,

а в более приятном месте. Дос Пассос, «рыба-лоцман», указал такое место — Ки-Уэст, самая южная точка США, город на одноименном острове в 150 километрах от Кубы, соединенный с сушей мостом, ближайший крупный американский город — Майами, откуда теперь можно попасть в Ки-Уэст самолетом, а тогда только на автомобиле или по морю. Дос Пассос нашел остров идеальным для курортного проживания: тропический климат, красивая природа, романтическая история — в XIX веке остров был пристанищем контрабандистов, мало туристов, тихо, свободная атмосфера: «никаких табу, каждый может говорить что вздумается». Хемингуэя особенно привлекло то, что Ки-Уэст был как бы маленькой Испанией в Америке: население острова тогда состояло преимущественно из кубинцев и испанцев, работавших на местных табачных фабриках или занимавшихся рыбной ловлей. 17 марта отплыли в Гавану, откуда тогда было проще всего попасть в Ки-Уэст, намереваясь провести на острове полтора месяца, а потом ехать к Пфейферам.

Глава девятая ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ

«Луна уже вошла, и деревья темнели на фоне неба, и он шел мимо деревянных домов с узкими дворишками и запертыми ставнями, сквозь которые пробивался свет; немощеными переулками с двойным рядом домов; кварталами кончей, где все было чинно, надежно упрятано от посторонних взоров — добродетель, неудачи, недоедание, овсяная каша и вареная рыба, предрассудки, порядочность, кровосмешительство, утешения религии; мимо ярко освещенных, с распахнутыми дверями, кубинских „болито“, деревянных лачуг, в которых только и было романтического, что их имена: Чича, Красный домик; мимо церкви из каменных блоков, с треугольными острями шпилей, безобразно торчавшими в лунном небе; мимо живописной в лунном свете громады монастыря с черным куполом и обширным садом; мимо заправочной станции и ярко освещенной закуской возле пустыря, где когда-то была миниатюрная площадка для гольфа...» Это — Ки-Уэст, каким его описал Хемингуэй в романе «Иметь и не иметь».

Прибыли 7 апреля, городок понравился, сняли квартиру на Симонтон-стрит. По утрам работа над романом, после обеда рыбалка и купание — режим, установленный отныне навсегда. Хемингуэй писал Фицджеральду в октябре 1928 года: «Перкинс в письме выдал мне небольшой секрет, что ты работаешь по восемь часов в день — Джойс, кажется, работал по двенадцать. Он даже пытался сравнивать, сколько времени уходит у вас, великих писателей, на завершение работы. Что ж, Фиц, слов нет, ты трудяга. Мне лично стоит поработать больше двух часов, и я совершенно выдыхаюсь». На самом деле он работал больше, чем два часа в день, но ненамного: сутками сидеть над текстом не любил. Он часто говорил о каторжном писательском труде, но иногда, как сделал в предисловии к изданию «Прощай, оружие!» 1948 года, проговаривался, что этот труд — наслаждение: «Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило».

Знакомился с обитателями Ки-Уэст: по его словам, они принимали его за «большого бутлегера или наркоторговца с Севера», и никто не верил, что он писатель: для него это якобы был комплимент. Приятельствовал с

рыбаком Бра Сандерсом, владельцем бара Расселом, автомехаником Салливаном: последний охарактеризовал его как «молчаливого, основательного человека, который говорил неторопливо и все знал точно». Много написано, особенно советскими литературоведами, о том, что дружить Хемингуэй умел только с представителями так называемого «простого трудового народа»: он действительно легко (как его отец) сходилась с людьми малообразованными, без труда находил с ними общий язык и темы и, как правило, очень им (в том числе — своей многочисленной прислуге) нравился. Дело даже не в том, что для них отсутствие принстонского диплома ничего не значило, а в том, что в их обществе это ничего не значило для него самого. С ними он расслаблялся и не соперничал. Однако если проследить хронологию его жизни, поездок и встреч, нетрудно заметить, что, во-первых, среди «трудовых людей», с которыми он приятельствовал, преобладали содержатели баров и профессиональные спортсмены, во-вторых, в дом к обеду «простые люди» (если не относить к ним спортсменов) не приглашались, и, в-третьих, в обществе одного только «народа» он никогда не выдерживал больше месяца — начинал тосковать по интеллектуальному общению, звал в гости «литературных» знакомых или сам уезжал. Он и в Ки-Уэст выбрал в друзья человека не такого уж «простого» — Чарльза Томпсона, владельца рыбзавода, сигарной фабрики и нескольких магазинов: вместе рыбачили, Полина сдружилась с женой Томпсона Лорин.

Двадцать третьего апреля приехал тесть, они произвели друг на друга хорошее впечатление. 20 мая Полина уехала в Пиготт, Эрнест с тестем рыбачили еще несколько дней, потом последовали за нею. Он полюбил тещу — они останутся в хороших отношениях даже после его развода с Полиной, он будет с ней откровенен, как никогда не был с Грейс: в каком-то смысле миссис Пфейфер сумела заменить ему мать. Решали, где рожать Полине: Пиготт даже не обсуждался, тамошнее медицинское обслуживание казалось недостаточно хорошим, однако Эрнест написал отцу, что хочет привезти жену в Мичиган, где ситуация была не лучше. Кларенс благоразумно посоветовал Канзас-Сити. Приехали туда 17 июня, поселились у знакомых, Малькольма и Рут Лоури. Роды начались 27-го, шли тяжело, Полина промучилась почти восемнадцать часов, нужно было делать кесарево сечение.

«Так вот в чем дело! Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем

ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся. Бедный малыш! Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, не жаль. Хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через все эти смерти. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют».

В романе Кэтрин Баркли родила мертвого ребенка и умерла после операции, но в действительности 28 июня 1928 года на свет появился Патрик Хемингуэй, весом 9,5 фунта, живой и здоровый; правда, мать пролежала в больнице две недели и была предупреждена, что три года как минимум ей рожать нельзя. Еще неделю прожили в доме Лоури, а 20 июля уехали в Пиготт. Младенец, в отличие от Бамби, все время орал, отец писал Уолдо Пирсу, художнику, с которым сдружился в Париже незадолго до отъезда, что его новый сын «сложен как бык и ревет точно так же» и что он «не понимает, что за счастье иметь детей», но в дальнейшем характер ребенка, видимо, переменился, и в октябре Хемингуэй докладывал Фицджеральду:

«Пат за три месяца удвоил свой вес — крепыш, никогда не плачет, только смеется, ночами спит. Подумываю, не дать ли в газете рекламу: если ваш ребенок слаб здоровьем, рахитичен или почему-либо вам не нравится, обращайтесь к Э. Хемингуэю (далее фото отпрысков — все от разных матерей). Может быть, он поможет вам. Мистер Хемингуэй понимает вас. Он автор рассказа „Мистер и миссис Эллиот“. У мистера Хемингуэя проблема другого рода. Мистеру Хемингуэю нужно воздерживаться от производства детей... Он решил поделиться своим даром со всеми вами. Оторвите прилагаемый купон и пошлите его в простом почтовом конверте мистеру Хемингуэю, и вы получите его брошюру „Первоклассные дети для всех“. Не перепутайте мистера Хемингуэя с мистером Фицджеральдом. Правда, мистер Фицджеральд — отец роскошной малышки, говорящей с восхитительным английским акцентом (этого мистер Хемингуэй не может гарантировать своим клиентам). Но мистер Фицджеральд, говоря профессиональным языком, делает все в единственном экземпляре... Ни в коем случае не обращайтесь к мистеру Дос Пассосу. Он совершенно бесплоден...»

В июле ребенок еще плакал, и мистер Хемингуэй, пробыв в Пиготте

четыре дня, уехал обратно в Канзас-Сити, чтобы встретиться с Биллом Хорном — после того, как отношения с Биллом Смитом закончились, Хорн был самым старым его другом. Отправились на автомобиле, подаренном Гасом Пфейфером, в Вайоминг, лесистый штат на западе США, где расположен Йеллоустонский парк — рыбачить. Поселились в местечке Бигхорн-Маунтинс: река, лес, мужская компания, работа шла отлично (до 17 страниц в день — для него это рекорд), идиллия, но почему-то он быстро заскучал, говорил Биллу, что хочет в Париж, потом оставил Билла и один уехал в ближайший город Шеридан. Но в одиночестве тоже затосковал, пил больше обычного, набрал лишний вес. 18 августа приехала Полина — успокоился. К концу месяца он закончил черновик «Прощай, оружие!», сообщил Перкинсу, тот обещал от 10 до 16 тысяч долларов за сериализацию романа в «Скрибнерс мэгэзин» — это был бы его первый крупный заработок.

Править работу Хемингуэй не садился сразу, нужен был перерыв, чтобы текст «вылежался». Поехал с женой в путешествие на машине: Йеллоустонский парк, индейская резервация Кроу, обратно в Шеридан, оттуда через Небраску на юг. 25 сентября были в Пиготте: за редактуру все еще не брался, написал «Вино Вайоминга» (*Wine of Wyoming*), зарисовку, довольно средненький для его уровня; он будет опубликован в «Скрибнерс мэгэзин» в августе следующего года. 17 октября отбыл в Оук-Парк. Дома его не видели пять лет. Мать выглядела цветущей, но отец сильно сдал, болел, казался растерянным. Через две недели приехала Полина (без Патрика), она и Грейс привязались друг к другу: муж и жена как бы обменялись матерями.

Из Оук-Парка — в Чикаго, потом, в ноябре, — Нью-Йорк: ходили на бокс и бейсбол, встретили Уолдо Пирса и Майка Стрейтера, после почти двухлетнего перерыва увиделись с Фицджеральдами на бейсбольном матче и 17–18 ноября гостили в их усадьбе Эллерсли близ Уилмингтона. Встреча сопровождалась инцидентами — Хемингуэй описал их в тексте, не включенном в каноническую редакцию «Праздника»: в поезде до Филадельфии Фицджеральд начал приставать к незнакомым женщинам, на станции их встречал шофер, которому Фицджеральд не позволял остановиться для заправки, так что они еле добрались до дому. Текст на этом заканчивается, но далее, как Хемингуэй рассказывал Аарону Хотчнеру, Фицджеральд оскорбил за обедом горничную-негритянку, опять был скандал. Потом Фицджеральд написал письмо с извинениями, Хемингуэй ответил дружелюбно, но, похоже, его терпение лопнуло: после этого инцидента нормального личного общения между ними уже никогда

не будет. По словам Стрейтера, «эти двое пробуждали друг в друге все худшее».

Хотелось немедленно ехать в Европу, но Перкинс настаивал на том, чтобы сперва отредактировать роман; решили вернуться в Ки-Уэст и там закончить работу. 18 ноября заехали в Пиготт, забрали Патрика, Пол Пфейфер «подарил» дочери и зятю шофера Отто Брюса, который будет долго работать в семье Полины, выполняя также обязанности секретаря, отчасти редактора и «мастера на все руки». Из Оук-Парка по приглашению брата прибыла Мадлен — перепечатывать рукопись и помогать Полине с детьми (потом она говорила, что из нее пытались сделать прислугу); недоставало только Бамби, но он уже плыл на пароходе из Европы в Нью-Йорк. Эрнест встретил сестру, съездил в Нью-Йорк за сыном — кажется, можно наконец сесть за работу. Но на станции Трентон ему вручили телеграмму от Кэрл — умер отец.

Пятилетний Бамби, самый самостоятельный малыш в мире, привык плавать через океан на попечении стюардов, мог так же добраться и до Ки-Уэст, но нужно было дать проводнику денег, а их не было. Хемингуэй телеграфировал Перкинсу, просил срочно выслать 100 долларов, ответа не получил и воззвал к Фицджеральду — тот выслал деньги «молнией» (Хемингуэй был очень благодарен, через несколько дней написал теплое письмо). Бамби поехал дальше, а его отец пересел на поезд до Чикаго. Он приехал домой 7 декабря 1928 года, на следующий день после смерти Кларенса и накануне похорон.

Кларенс застрелился из пистолета своего отца. Записки он не оставил, и о причинах можно только догадываться. Он страдал от стенокардии и диабета, а Хемингуэй, как и Холлы, не хотели умирать беспомощными развалинами. Известно также, что он переживал из-за финансового положения семьи: незадолго до самоубийства вложил средства в строительный холдинг во Флориде, дело не пошло, и он боялся разорения. Кэрл говорила, что, поскольку его жизнь была застрахована на 25 тысяч долларов, он хотел своей смертью спасти семью — но вряд ли он мог рассчитывать, что Грейс сумеет выдать самоубийство за несчастный случай. После его смерти остались два дома на Валлонском озере и дом в Оук-Парке, все имущество оценивалось в 15 тысяч долларов.

Лестер впоследствии описал произошедшее мелодраматически: отец принес к его кровати ружья, всю ночь рыдал, но жена над ним не сжалась, потом раздался выстрел. Дочери утверждают, что никто рыданий не слышал, тело утром обнаружила горничная, а тринадцатилетний Лестер крепко спал и узнал о несчастье последним.

Неизвестно, была ли у Лестера уже тогда своя версия случившегося и если да, то рассказал ли он ее старшему брату. Неизвестно также, тогда ли Эрнест решил, что мать виновна в смерти отца, или позднее. «Официально» он обвинил ее в письме 1948 года к Малкольму Каули: «Я стал ненавидеть мою мать как только понял, что к чему, и любил моего отца до тех пор, пока он не удивил меня своей трусостью... <...> Моя мать — самая-разсамая американская сука всех времен, и она заставила своего вьючного мула застрелиться; я говорю про беднягу отца». В том же году в предисловии к очередному изданию «Прощай, оружие!» он писал: «Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений». Еще раньше, в романе «По ком звонит колокол», герой размышлял о смерти отца: «Каждый имеет право поступать так, думал он. Но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу... <...> Он был просто трус, а это самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека. Потому что, не будь он трусом, он не сдал бы перед женщиной и не позволил бы ей заклевать себя». Эрнест также обвинял в случившемся Джорджа, брата Кларенса, за то, что тот давал плохие финансовые советы и не помог материально. В общем, виноваты были все кругом: это естественная реакция на самоубийство близкого человека.

Но такая реакция обычно наступает сразу, потом проходит; у Эрнеста было наоборот, он озлился позднее. В первые месяцы после смерти отца он с матерью не конфликтовал. Грейс оказалась в трудном положении: Кэрол и Лестер еще учились в школе, дочери, кроме Марселины, не пристроены; она по совету Джорджа Хемингуэя ликвидировала флоридские вложения и сдала в аренду часть городского дома, сообщила об этом Эрнесту, тот написал, что одобряет ее решение, и вызвался также содержать Мадлен. Марселине он написал, что она и ее муж богаты и должны взять на себя часть материальных забот; Марселина, зная о громадном богатстве Полины Пфейфер, обиделась. Но он и сам понимал, что младших придется обеспечивать ему. В марте 1929 года он занял значительные суммы у Гаса Пфейфера и у Перкинса (в счет будущих гонораров) и основал траст на имя Грейс.

В том же месяце он письмом попросил мать прислать ему револьвер, из которого отец застрелился, — та, по свидетельству Марселины и Кэрол, была шокирована, но просьбу выполнила, присовокупив к посылке несколько своих картин. Спустя годы он будет утверждать, что мать зачем-то прислала револьвер без его просьбы, да еще с издевательской запиской, так что шокирован был он. Когда, по какой причине он перешел от более-

менее нормальных отношений с матерью к открытой ненависти — остается неясным. Может быть, ему не понравилось то, что Рут Арнольд (бывшая уже замужем и имевшая детей) после смерти Кларенса возобновила дружбу с Грейс; а последовавший через несколько лет переезд Грейс из Оук-Парка в соседний городок Ривер-Форест он мог воспринять как желание сбежать, уединившись с Рут. А может, его просто раздражало то, что Грейс пышет здоровьем, рисует картины и не слишком страдает.

Послужило ли самоубийство Кларенса «примером» для его потомков (Лестер и Урсула тоже убьют себя, будучи неизлечимо больны), сказать трудно, но наверное да — ведь Кларенс умер не беспомощным, семью не погубил и оставил в целом хорошую память, так что все вышло «наилучшим образом». Многочисленные высказывания Эрнеста Хемингуэя о самоубийствах противоречивы: то клялся (как и Лестер), что никогда не совершит подобного, то утверждал, что добровольный уход из жизни является единственно достойным в безвыходных обстоятельствах. Он грозил самоубийством и до гибели отца, во время разлуки с Полиной, и множество раз после. Мысли о смерти становились особенно привлекательны в периоды депрессии, так называемой *black dog*, «собачьей тоски»: когда эта «собака» набрасывалась на него, он отдавал отчет в том, что находится в ее власти. «Когда я себя плохо чувствую, мне нравится думать о смерти и о том, как по-разному она может наступить. За исключением смерти во сне, я считаю лучшим способом умереть — это как-нибудь ночью прыгнуть в воду с палубы корабля. Труден только сам момент прыжка. Но для меня это как раз не проблема. Важно, чтобы об этом никто не знал или чтобы думали, что это произошло случайно». Однако непосредственно после смерти Кларенса «собачья тоска» если и приходила, то была быстро изгнана посредством работы, главного писательского лекарства: уже к 22 января в Ки-Уэст с помощью Мадлен Хемингуэй (печатавшей) и Отто Брюса (вычитывавшего текст) был окончен второй вариант романа «Прощай, оружие!».

Перкинс приехал 1 февраля и нашел роман превосходным; как обычно пытался возражать против «неприличных» слов, кое-какие поправки протолкнул, в остальном уступил и увез рукопись. Посвящалась она Гасу Пфейферу — «благодетелю и другу». Предстояла еще работа с гранками, удобнее было остаться в Америке, ведь на фиесте нужно быть лишь в июле, но не было сил терпеть — самое прекрасное место обычно надоедало максимум через пару месяцев. 16 марта супруги Хемингуэй, Бамби, Патрик и няня уехали в Гавану, оттуда через две недели отплыли во Францию, где поселились в квартире на улице Фери, которую во время их отсутствия

оплачивал Гас Пфейфер, как и поездку: он, в отличие от плохих богачей Мерфи, был хорошим богачом, хотя и стремился превратить жизнь обожаемой племянницы и ее мужа в непрерывную фиесту. Хедли тоже жила в Париже, Бамби был то с нею, то с отцом. Хемингуэя упрекают в том, что он мало заботился о детях, когда расходился с их матерями, — по отношению к Бамби это неверно, ребенок проводил с матерью и отцом примерно равное количество времени, и никаких конфликтов не возникало. Конец весны и начало лета 1929-го прошли тихо: Полина и Патрик хворали, глава семьи спешно редактировал роман, который с мая начал печататься в «Скрибнерс мэгэзин» (гонорар шел на погашение долга, так что жили по-прежнему за счет дядюшки Гаса). Публикации сопутствовал скандал: в Бостоне продажу журнала запретили по причине «безнравственности». 24 июня Хемингуэй окончательно переделал финал романа (перебрав 35 вариантов) и отослал Перкинсу. Теперь можно было устроить каникулы.

В Париже тем летом жил и Фицджеральд, а также журналист Морли Каллаган, которому Хемингуэй когда-то покровительствовал: о том, что происходило между двумя писателями, известно в основном из книги Каллагана, весьма субъективной — автор не пытался скрыть, что его симпатии принадлежат Фицджеральду. «Эрнест, с его безошибочным чутьем, наверняка знал, с каким восхищением и любовью относится к нему Скотт. Как нужна Фицджеральду та дружеская близость, которая, как он надеялся, могла бы существовать между ним и Эрнестом. Я не сомневался, что Скотт готов пойти за него в огонь и в воду». «Он (Фицджеральд. — М. Ч.) был обречен казаться хуже, чем был. Как человек открытый, великодушный и очень гордый, он, я думаю, переживал это очень тяжело. Другое дело Эрнест. Он тоже не любил представать в невыгодном для себя свете. Но такова была его природа и его обаяние, что ему достаточно было подождать, и со временем всё, что бы он ни делал, оборачивалось в его пользу. Еще во времена нашей первой встречи в Торонто я заметил, какими значительными казались поступки Эрнеста знавшим его людям, как естественно в их изложении они сплетались в цепь увлекательнейших приключений. Современникам всегда хотелось слагать о нем легенды, и в конечном итоге это сыграло в его жизни такую же роковую роль, как в жизни Скотта то, что его унижали люди, которые были намного хуже его». Каллаган утверждал, что никогда не слышал от Хемингуэя добрых слов о книгах Фицджеральда — если так, он был единственным человеком в Париже, который их не слышал.

По словам Каллагана, он пытался выполнять роль посредника:

Фицджеральд хотел встречи с Хемингуэем, тот отказывался и требовал не сообщать его адрес (вообще-то адрес был не новый, и его знала тьма народу); Скотт якобы говорил Каллагану, как он хочет дружить с Эрнестом, а Эрнест Скотта только бранил. Встреча, которой избегал Хемингуэй, всё же состоялась — в спортзале. Каллаган был неплохим боксером, а Фицджеральд получил приглашение (от кого — неясно) быть секундантом в одном из поединков Каллагана с Хемингуэем. По рассказу Каллагана, Хемингуэй был им бит, после чего стал плевать ему в лицо кровью из разбитого рта, объясняя свой поступок тем, что так принято у матадоров; Фицджеральд задержался с сигналом об окончании раунда, и Каллаган отправил Хемингуэя в нокаун, а тот заявил Фицджеральду: «если ты хотел посмотреть, как из меня выбивают дерьмо, можешь быть доволен», — и ушел. Фицджеральд, по словам Каллагана, был в отчаянии и никогда не оправился от чувства вины. История в общих чертах правдивая, ее подтверждают все участники, но пустяковая; однако в ноябре она, сильно перевернутая, попала в «Нью-Йорк геральд трибюн» — как считается, стараниями журналистки Кэролайн Бэнкрофт. Каллаган был тогда в Штатах, авторство приписали ему; он послал в газету опровержение, а Перкинсу поклялся, что рассказал об инциденте «всего трем людям» и понятия не имеет, кто написал заметку. И Хемингуэй и Фицджеральд этому, видимо, не поверили, так как оба потом отзывались о Каллагане как о сплетнике.

О бое с Каллаганом Хемингуэй рассказал дважды: в письме Перкинсу в августе 1929-го и в письме Артуру Майзенеру, биографу Фицджеральда, в 1951 году. В обоих отчетах нет обиды на Фицджеральда. Но в них нет и победы Каллагана, а во второй версии утверждается, что Хемингуэй легко мог побить Каллагана, да пожалел. К 1951 году Хемингуэй обладал всемирной славой, побывал на двух войнах, охотился на львов; зачем нужно было доказывать, что он еще и великий боксер? Может быть, он еще в юности загнал себя в ловушку, рассказывая сказки об успехах в этом спорте, и потом не мог отступить? Однако в биографии боксера Джека Демпси рассказывается, как он в 1920-х в Париже проводил спарринги со знаменитостями — Дугласом Фэрбенксом, певцом Элом Джонсоном, но не согласился — с Хемингуэем. Биограф Роджер Кан приводит слова Демпси: «Ему было лет 25 и он был в неплохой форме. Я был уверен, что он действительно считает себя боксером и что он вылетит из своего угла как бешеный. Чтобы остановить его, мне пришлось бы его травмировать, а я этого не хотел». Так что Хемингуэй не обманывал других — он убедил сам себя.

В его жизни будет много эпизодов, связанных с боксом (они войдут в книгу Джорджа Плимптона «Писатели на ринге»): в 1948 году на Кубе он пожелает драться с боксером Хью Кейси, тот во время боя уклонится, и хозяин упадет, наткнувшись на стол; другой знаменитый тяжеловес, Джин Тьюни, раздраженный тем, что Хемингуэй всерьез пытается на него нападать, ответит ударом в голову, но в последнюю долю секунды отклонит удар и потом скажет, что его противник «был близок к тому, чтоб унести свою голову в руках» и должен благодарить его за милосердие. Так что неправ был Эл Хиршфельд, утверждая, что Хемингуэй всегда выбирал партнеров меньше и слабее себя.

История с поединком не сказалась на отношениях Хемингуэя и Фицджеральда: обменивались письмами, Хемингуэй дал коллеге прочесть «Прощай, оружие!» — а вот это, возможно, сказалось. По Каллагану, Фицджеральд восторгался романом, а когда сам Каллаган и Зельда книгу ругали, не сумел ее защитить и лишь пожал плечами; Каллаган старался подчеркнуть, какой Фицджеральд наивный и беспомощный. В действительности Фицджеральд прислал Хемингуэю обычный критический разбор на 10 страницах:

«Стр. 114–121 — слишком медленно — необходимо сократить — отсутствует острота, с какой ты обычно даешь характеристики в этой книге и других. Персонажей слишком много и у всех защиты рты. Пожалуйста, сократи! Абсолютно неоправданны психологически эти певцы — это даже не смешно.

...Стр. 124 и далее. Это занудно... Эта сцена кажется просто безобразной.

...В сцене, где Кэтрин умирает, а он пьет пиво в кафе, совсем не звучит эхо войны.

...Стр. 130 — эта комическая сцена выглядит навязчивой, потому что ты заставляешь по двадцать раз читать одни и те же словечки. Они забавны, когда повторяются пять раз, но не больше. Сократи. Здесь ты загнипнотизирован собственным мастерством.

...133–138 — тут надо хорошенько сократить. Эти беседы с ней написаны с наивностью, которой ты бы не потерпел в чужих работах.

...134 — помни, что храбрая молодая мать, ожидающая незаконного ребенка — избитая тема, которую эксплуатируют все кому не лень. Не унижай себя...

...Кэтрин чересчур болтлива. Когда будешь сокращать, убирай ее реплики, а не его. Я думаю, ты видишь его своими нынешними глазами искушенного человека — но на нее ты по-прежнему смотришь как

девятнадцатилетний мальчик.

...122 и далее. В „Кошке под дождем“ ты действительно слышал женщину. Здесь слышишь только себя. Это неинтересно, Эрнест, и выглядит как литературное упражнение. Это надо даже не сократить, а полностью переделать.

...Почему бы не закончить книгу на стр. 141?»

Все письмо такое — как и с «Фиестой». «Сократи!» «Убери!» Зрелый автор может стерпеть подобное от редактора, которого считаешь существом низшего порядка и чьи указания принимаешь, как принял бы совет стоматолога, но не от коллеги. От него ждешь «Старик, это гениально!», а замечание можно принять лишь одно — «мало написал, надо бы побольше». Хемингуэй, критикуя работы Фицджеральда, ограничивался общими замечаниями. Фицджеральд разбирал его работы как учитель, и то, что он закончил письмо словами «Прекрасная книга!», не смягчает впечатления. Он лишь усугубил его, написав: «Боюсь, наша бедная старая дружба после этого не выживет, но ты мне дороже, чем критики из „Литрэри ревью“, которые не заботятся о тебе и твоём будущем». Эрнест Хемингуэй — мальчик, которого поучает старший, заботящийся о его будущем, — такого оскорбления дружба вынести не может.

И однако вынесла: на критику Хемингуэй отозвался предложением поцеловать его в определенную часть тела, но позже, в сентябре, написал Фицджеральду трогательное письмо (изобилующее по обыкновению непечатными выражениями, которые в переводе смягчены): «Дорогой Скотт, мерзкая тоска, когда терзаешься, хорошо ли, плохо ли ты написал — это и есть то, что называется „награда художнику“. Бьюсь об заклад, все получилось дьявольски хорошо. И когда ты собираешь вокруг себя этих слезливых пьянчуг и начинаешь плакаться, что у тебя нет друзей, ради бога, внеси поправку. Если ты скажешь, что у тебя нет друзей, кроме Эрнеста — паршивого короля романов с продолжением, — то и этого будет достаточно, чтобы их разжалобить. <...> Пора расцвета проходит у всех — но мы же не персики и это не значит, что мы гнием. Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше. <...> Просто нужно не отступать, даже когда совсем скверно и не ладится. Единственное, что остается, если взялся за роман — это во что бы то ни стало довести его, проклятый, до конца. <...> Если письмо получилось занудным, то только потому, что меня ужасно расстроило твое подавленное

настроение, и я чертовски люблю тебя, а когда начинаешь рассуждать о работе или жизни, то это всегда ужасно банально...»

Каллаган утверждал, что Хемингуэй «испытывает к Скотту глубокую, тайную неприязнь». Сам Хемингуэй в «Празднике» написал об отношениях с Фицджеральдом летом 1929-го: «Я редко видел его трезвым, однако трезвый он всегда был мил, шутил по-старому и иногда даже по-старому подтрунивал над собой. Но когда он был пьян, он любил приходить ко мне и пьяный мешал мне работать почти с таким же удовольствием, какое испытывала Зельда, когда мешала ему. Это продолжалось несколько лет, но зато все эти годы у меня не было более преданного друга, чем Скотт, когда он бывал трезв». Что касается собственного романа, то Хемингуэй принял часть замечаний Фицджеральда, в частности выбросив большой монолог героя. Спустя годы, правда, сказал Майзенеру, что замечания были «глупыми» и он не обратил на них внимания.

При чтении книги Каллагана складывается впечатление, что «разборки» между Эрнестом и Скоттом продолжались все лето. На самом деле Хемингуэй еще 6 июля уехал в Памплону с Полиной, Вирджинией и дядюшкой Гасом. После фиесты гостил у Хуана Миро в Монтроиге, потом опять устремился на бои быков, в Валенсию и Мадрид. «Педро Ромеро» — Ордоньес — выступал неудачно, но появилась новая звезда, Сидней Франклин, замечательный тем, что был не испанцем, а американским евреем Фрумкиным, чьи родители эмигрировали из России. Быка Франклин убивал бесстрастно; сперва Хемингуэю эта манера («холодная, спокойная, интеллигентная») не нравилась, потом он оценил, увлекся. Познакомились — по словам Хемингуэя, он не назвался писателем, Франклин узнал об этом случайно и долго не верил. (Франклин оставил мемуары «Матадор из Бруклина», в которых написал о их дружбе массу выдумок, под стать самому Хемингуэю.) Каллаган: «Он (Хемингуэй. — М. Ч.) был жертвой собственной нарочитой мужественности, проистекавшей из страха того, что ремесло писателя, как он считал, несет в себе что-то женское».

В Испании Эрнест так много пил, что это наконец стало беспокоить окружающих. Перкинс деликатно пытался предостеречь — он отвечал в августе 1929 года, что, бывая на воздухе, занимаясь спортом и принимая витамин В, можно пить без ущерба для здоровья. Но, несмотря на свежий воздух, стремительно толстел, чувствовал себя плохо, впервые осознал, что с ним что-то не в порядке, и сел на диету. Отправился отдохнуть в Андай, где приобрел три литографии Гойи и одного полезного друга: молодого американского юриста, любителя искусств и поклонника хемингуэевского

творчества Мориса Спейсера, который на долгие годы станет его адвокатом и финансовым поверенным. 20 сентября вернулся в Париж, а 27-го у Скрибнера вышел роман «Прощай, оружие!». Перкинс прислал телеграмму: «Первые отзывы превосходные». Отзывы и впрямь были превосходные, ничего «непристойного», как опасался Перкинс, рецензенты не нашли. Клифтон Фадимен из «Нэйшнз» считал, что «нация должна гордиться таким романом и автором»; Малкольм Каули сказал, что Хемингуэй «сделал шаг вперед» и в его новой работе, в отличие от прежних, появились идеи. Уилсон годом позднее написал, что «Оружие» — произведение романтическое, «новый романтизм» увидел и Хатчинсон из «Нью-Йорк пост». Хемингуэю эта характеристика не нравилась: он считал себя не романтиком, а реалистом. Но это был свехреализм, как у Сезанна, чего он и добивался:

«К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора, на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно, и осенью, когда начались дожди, с каштанов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы напозлали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах; винтовки у них были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обойм с тонкими 6,5-миллиметровыми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце».

Хотя «антивоенным» писателем Хемингуэй не был, «Оружие» — один из сильнейших антимилитаристских романов XX века. Настоящую антивоенную книгу может написать лишь тот (или она может быть написана от лица того), кто сражался на неправой стороне: ему нечего сказать в оправдание убийства. Герой «Оружия», упомянув антивоенный роман Уэллса «Мистер Бритлинг», говорит, что эта книга его не впечатлила, но мысль Хемингуэя совпадает с уэллсовской: война — омерзительная бойня, которой политики пытаются придать видимость чего-то разумного, осмысленного и даже необходимого, а мы, пушечное мясо, не перестаем ловиться на их крючок.

«Меня всегда приводят в смущение слова „священный“, „славный“, „жертва“ и выражение „свершилось“. Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что

считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как „слава“, „подвиг“, „доблесть“ или „святыня“, были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами». Вот лучшая, по мнению Фицджеральда и многих других, сцена романа: лейтенант Генри, американец, воюющий в итальянской армии, возвращается из госпиталя в свою часть, и ей тут же приходится отступать; карабинеры, встретившие отступающие колонны, расстреливают офицеров:

«— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте, — сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня, — сказал подполковник, — прошу вас, расстреливайте сразу, без дальнейшего допроса. Этот допрос нелеп. — Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу, — сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Это тоже был офицер, отбившийся от своей части. Ему не разрешили дать объяснения. Он плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали следующего, когда его расстреливали. Они все время спешили заняться допросом следующего, пока только что допрошенного расстреливали у реки. <...> Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрашием и законоблустительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает».

Генри — антимачо, как и Джейк Барнс: мягкий, интеллигентный человек, который попал на войну, купившись на слова «священный» и «жертва». Он не покоряет женщину — та первая объясняется ему в любви и «берет» его. Он даже не может дать жизнь ребенку — тот умирает. Он никого не спасает — спасают его. Все его подвиги — был ранен, отступал, а потом дезертировал. «Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил».

Если «Фиеста» — «Кармен» XX века, то «Прощай, оружие!» — его «Ромео и Джульетта»; это сразу заметили критики. В роли Монтекки и Капулетти выступает война, перемалывающая судьбы влюбленных. Фицджеральд утверждал, что сцена, когда Генри в кафе ожидает известия об участии Кэтрин, недостаточно связана с войной. Но он был чересчур строг: если Хемингуэй хотел выразить мысль, что самое ужасное в войне то, что от нее некуда спрятаться, он выразил ее точно. «Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют».

Джульетта погибла; Фицджеральд назвал ее болтливой, а любовные сцены глупыми. Но он слишком строг. Обычно в романах Хемингуэя любовь не развивается, как у Стендаля или Пруста, а является готовой, как из магазина; в «Оружии» он единственный раз описал причудливый процесс рождения чувства. «Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кончиться. Это было лучше чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, на что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно». Потом: «Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин, я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне

стало тоскливо и я почувствовал себя одиноким». Далее разлука, период «кристаллизации любви» — и «Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее». Кэтрин болтлива? Но она не «болтает», а лепечет, задыхаясь от любви и страха: это вполне естественно. Разбор, учиненный Фицджеральдом, был не просто бестактен, но и несправедлив.

Тираж в 31 050 экземпляров разлетелся мгновенно, к октябрю допечатали второй, к ноябрю — третий; 12 ноября роман возглавил список бестселлеров США, к началу следующего года было продано почти 80 тысяч экземпляров, а автор получил более 30 тысяч долларов; ближайший конкурент — «На западном фронте без перемен» Ремарка. Хемингуэй говорил потом, что коммерческий успех мог быть больше, но помешал финансовый кризис. Может, и так: катастрофа разразилась в «черный четверг» 24 октября 1929 года, 25-го рухнула нью-йоркская фондовая биржа, «черный вторник» 29-го стал днем краха Уолл-стрит. Только что Америка упивалась процветанием, и вдруг «экономическое чудо» рухнуло, кризис подмял миллионы, причем не только бедняков. За последующие три года благоустроенный американский дом превратился в руины: к 1933-му каждый третий американец был лишен источников существования, многие миллионеры превратились в нищих, в 47 из тогдашних 48 штатов банки прекратили всякие операции.

Экономисты не пришли к единому мнению о причинах кризиса: кейнсианцы объясняли его тем, что в результате ограниченности денежной массы и роста товарной возникла дефляция, вызвавшая банкротства и невозврат кредитов; монетаристы — денежной политикой властей, марксисты трактовали как кризис перепроизводства, присущий капитализму. Были и частные причины: инвестиции в производство сверх реальной необходимости, слишком быстрый рост населения. Война тоже стала одной из причин — американская экономика была «накачана» военными заказами правительства, которые потом резко сократились, что привело к рецессии в ВПК и смежных секторах экономики. Париж пока оставался прежним — но кризис достигнет и его. Французский фотограф Брассаи вспоминал: «Преуспевающие художники продавали свои особняки, менее удачливые переходили на хлеб и воду. Что же касается американских художников, образовавших целую колонию на перекрестке Вавен — их узнавали по неизменным клетчатым рубашкам, — то они обратились в бегство и с тоской пересекали Атлантику, чтобы вернуться к своим разорившимся семьям». Скоро американский Париж опустеет. Но образ жизни Хемингуэев не изменился, кризис их не задел: Пфейферы пострадали незначительно, Грейс Хемингуэй, успевшая избавиться от

ненужных активов, не пострадала вовсе.

Осенью 1929-го Эрнест сдружился с критиком Алленом Тейтом: месса по воскресеньям, велогонки по субботам, Тейт говорил с усмешкой, что был «причислен к хемингуэевскому мифу». 8 ноября прибыл дядюшка Гас, вдвоем с зятем они съездили в туристскую прогулку по Берлину. Продолжались литературные дразги: Роберт Херрик в ноябрьском номере журнала «Букмен» назвал книги Хемингуэя «грязными», тот предложил редактору «Букмена» биться на кулаках. И в этот же период произошла его знаменитая ссора с первым издателем Макэлмоном.

В октябре Макэлмон приехал в Нью-Йорк к Перкинсу, а Хемингуэй прислал Перкинсу своеобразное рекомендательное письмо: хотя Макэлмон «проклятый педик» и «мерзкий сплетник», он пишет неплохо и его можно издавать, «если он откажется от ореола мученика». Вскоре Перкинс, к немногочисленным недостаткам которого следует отнести страсть передавать сплетни, сообщил Фицджеральду, что в Нью-Йорке Макэлмон говорит, а Каллаган повторяет, будто Хемингуэй гомосексуален (как и его жена), состоит в связи с Фицджеральдом, а первую жену он бил, в результате чего у нее случился выкидыш. Редко у кого из публичных людей хватает ума не реагировать на всякую околесицу: Фицджеральд встретился с Хемингуэем в первых числах декабря в Париже и сплетни ему зачем-то передал (после чего в письме Перкинсу корил себя за болтливость). Хемингуэй сообщил Перкинсу, что изобьет и Макэлмона («слишком жалок, чтобы его бить, но такие люди понимают только кулак»), и Каллагана, а также просит не винить Фицджеральда за то, что передал сплетню: он «абсолютно благороден в трезвом виде, но ведет себя безответственно, когда напьется». (Сплетню-то распространил сам Перкинс, но он всегда выходил сухим из воды.) Каллагана Хемингуэй не бил; во всяком случае, об этом не известно. Но Макэлмон, встретившись с ним в баре, получил свое, о чем свидетельствовал один из парижских американцев Джеймс Чартере. Есть также версия, что Макэлмона, вступившись за честь Хемингуэя, побил Эван Шипмен. Фицджеральд, видимо, считал, что все эти сплетни разрушали дружбу: в его записных книжках говорится: «Я действительно любил его, но, конечно, все это изнашивалось, как изнашивается любовный роман. Эти „голубые“ изгадили все».

Хемингуэй в декабре написал Фицджеральду теплое письмо: он не сердится за историю с секундантством, это обычное дело в любительских поединках, проиграл бой он не из-за ошибки Фицджеральда; он рассказал, как однажды во время такого поединка чувствовал себя настолько слабым, что тайком попросил Билла Смита, секунданта, остановить бой раньше

условленного времени, если он будет проигрывать, и продолжать, если будет выигрывать. Ему даже нравится рассказывать людям, как он был побит Каллаганом. Он обругал Скотта после поединка лишь со злобы и теперь просит прощения, ибо знает, как у Скотта развито чувство чести, и сожалеет, что ранил его, и ни за что не хотел бы терять дружбу. Поводом к такому нехарактерному для Хемингуэя письму, как полагает Бейкер, послужило самоубийство молодого американца Гарри Кросби, после которого Эрнест расчувствовался и осознал, что друзья могут внезапно умереть. Кроме писем, за лето и осень 1929-го он написал только статью о бое быков для журнала «Форчун» и предисловие к мемуарам знаменитой натурщицы Алисы Прен по прозвищу «Кики с Монпарнаса», где выразил восхищение тем, как автор передал ощущение декаданса. Декабрь провели с Полиной в Швейцарии, в Монтана-Вермала, в обществе Дос Пассоса и Мерфи — оказывается, Хемингуэй вовсе не был на них в обиде.

Сидеть в Париже было незачем, жизнь ухудшалась, американцы уезжали; 10 января 1930 года Хемингуэй отплыли в Гавану и 2 февраля были в Ки-Уэст. По-прежнему не работалось — не было идеи. Общество «простых людей» быстро прискучило, пригласил компанию совершить рыболовную экспедицию (на катере Бра Сандерса) по течению Гольфстрима в направлении Драй-Тортугас, группы необитаемых островов в 70 километрах к западу от Ки-Уэст. К Драй-Тортугас Хемингуэй плывал неоднократно, всегда с компанией, так что невозможно установить, кто и когда его сопровождал. Была более-менее постоянная группа под названием «Моб», включавшая Сандерса с его братом, Хемингуэя, Перкинса, Майка Стрейтера, Уолдо Пирса, Чарльза Томпсона, Салливана, Билла Смита, Дос Пассоса, Джо Расселла, моряка Гамильтона Адамса и журналиста Эрла Адамса, иногда участвовали и другие люди. В одну из поездок, с 16 по 30 марта 1930 года, катер попал в шторм, пришлось несколько дней провести на берегу — эпизод послужит материалом к рассказу о кораблекрушении.

Он заболел Гольфстримом. «Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди», — писал он; но Гольфстрим — больше, чем страна. «Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь, и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно, ибо поток его будет течь и после того, как все индейцы, все испанцы, англичане, американцы, и все кубинцы, и все формы правления, богатство, нищета, муки, жертвы, продажность,

жестокость — все уплывет, исчезнет, как груз баржи, на которой вывозят отбросы в море»; «и пальмовые ветви наших побед, перегоревшие лампочки наших открытий и использованные презервативы наших пылких любовей плывут, такие маленькие, ничтожные, на волне единственно непреходящего потока — Гольфстрима».

Появилось и новое увлечение: охота на крупную морскую рыбу. Нам при слове «рыбалка» обычно представляется человек, сидящий на берегу или у проруби, а при словах «большая рыба» — сом, но в океане иные масштабы: здесь обитают чудовища, достойные пера Мелвилла. Голубой тунец, прекрасное чудовище длиной до трех метров и весом до 3,5 центнера, способное развивать скорость до 90 километров в час — Хемингуэй видел, как добывают тунца, еще в 1922-м в Испании, и называл его «царем всей рыбы, правителем рыбацкой Валгаллы». Атлантический синий марлин — длина пять метров, а весить он, по слухам, может чуть не до тонны. Ловят этих гигантов на удочку со спиннинговой катушкой, с движущегося плавсредства, они совершают рывки, мотают лодку или катер из стороны в сторону: для рыбаков-профессионалов это «изматывающий, тяжелый труд, от которого болит спина, ноют мускулы, хотя вы и работаете удочкой толщиной с ручку мотыги», для рыболовов-спортсменов, каким был Хемингуэй — приносящий наслаждение поединок.

Но по возвращении в Ки-Уэст он не начал писать о море — тема должна выноситься. Он стал писать книгу о корриде, которая потом получит название «Смерть после полудня» (Death in the Afternoon). Работа двигалась медленно, отвлекали гости: в начале апреля приехал Дос Пассос с женой Кэтрин Смит, подругой юности, которую Эрнест обвинил в краже денег, — теперь они снова были друзьями. Полина с Патриком уехала к родителям, Хемингуэй в Нью-Йорке встретил Бамби и отвез в Пиготт. Материальных проблем по-прежнему не было, Гас Пфайфер не только выдержал кризис, но и основал новый банк, «Оружие» продолжало хорошо расходиться — автор был рад узнать, что экземпляр романа есть в библиотеке президента. Его популярность росла, а репутация укреплялась: ему предложили стать вице-президентом литературной организации «Общество Марка Твена», он был польщен и согласился. Издатель Генри Кон выпустил библиографию его работ, просил написать предисловие — сперва дал согласие, потом передумал: все, что хотел, он сказал в своих книгах. Ему было всего 30 лет, еще можно звать Эрнестом, но он давно уже стал Папой (невозможно установить, кто и когда его начал так называть — вероятнее всего, он сам в середине 1920-х); карьера состоялась, жизнь удалась...

Жена вернулась, 13 июля отправились с ней и Бамби в Вайоминг, остановились на ранчо знакомого, Нордквиста, недалеко от Кук-Сити, где будут впредь жить всякий раз, приезжая в Вайоминг. Рыбалка великолепная, охота тоже, за этими занятиями прошла осень. У Нордквиста были лошади, Эрнест заинтересовался ими, начал учиться верховой езде, Полина тоже, ездила она лучше мужа. Подружился с ковбоем Айвенгом Уоллесом и впоследствии говорил, что, общаясь с ним, всегда узнавал что-то новое, а от «городских эстетов» не узнал ничего. (Общаясь с «городскими эстетами», он стал писателем, но это так, мелочь.) В августе приехал Билл Хорн с невестой, охотились, удалось подстрелить нескольких медведей. 14 сентября Полина увезла Бамби в Нью-Йорк, чтобы посадить его на пароход и отправить к матери, потом поехала к родным в Пиготт — муж в это время совершил верховую поездку в горы с Уоллесом, убил лося, потом гризли. В октябре появился Дос Пассос, все еще друг, а не «рыба», опять охотились, постепенно стали рождаться планы — ехать в Африку, где много редкостной дичи, добрый богач Гас Пфейфер обещал оплатить путешествие. Замечательная осень, одно плохо — вдали от жен, в мужской компании, всегда почему-то неважно шла работа.

Домой отправились 31 октября: Хемингуэй за рулем, Дос Пассос и Хорн (его невеста уехала раньше) — пассажирами. Водитель, будучи не вполне трезв, потерял управление, машина слетела в кювет, перевернулась, руль вдавился в грудную клетку, правая рука сломана, обе ноги, казалось, тоже (пассажиры не пострадали — ему одному всегда так «везло»). Пострадавшего доставили в больницу Сан-Висент в городке Биллингс, штат Монтана, где он пролежал три недели. В 1933 году он написал об этом рассказ «Дайте рецепт, доктор» (Give Us a Prescription, Doctor), позднее переименованный в «Игрока, монашку и радио» (The Gambler, The Nun and the Radio)^[29].

«У него пошаливали нервы, и когда он был в таком состоянии, ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы расходились, и хотя он радовался, что они продержались так долго, он все же не хотел подвергать себя экспериментам, когда уже заранее знал их результат. Мистер Фрэзер испытывал это и раньше. Единственно, что было для него ново — это радио. Он слушал его всю ночь, приглушив его так, что было едва слышно, и приучал себя слушать, ни о чем не думая». Кроме радио, Фрэзера развлекает монашка Цецилия, страстная болельщица: «В международную встречу я чуть было не умерла. Когда вышли „Атлеты“, я прямо-таки в полный голос читала молитвы: „О боже, помоги им попасть в цель! О боже, ну дай же ему забить! О боже, дай им выиграть!“ А когда третья игра

подходила к концу, тут уж я совсем не выдержала. „О боже, пусть он пробьет хорошенько! О боже, дай ему силы“. А потом настал черед бить „Кардиналам“, это был сплошной ужас. „О боже, не дай ему попасть!“» Это один из лучших женских персонажей у Хемингуэя, «характерные» героини ему удавались лучше лирических, но в этом он не одинок.

В больнице разворачивается еще одна история: мексиканец подстрелил другого, профессионального картежника, друзья приходят узнать о здоровье раненого и ведут занятные беседы. Когда Хемингуэй писал рассказ, в Мексике шла гражданская война, частично на религиозной почве: после победы революции 1910–1917 годов правительство приняло репрессивные меры против католической церкви, и в 1929-м начались крестьянские бунты, в которых священники принимали активное участие. Мексиканцы спорят о том, является ли религия «опиумом народа»; о революции они не говорят, но рассказ завершается размышлениями Фрэзера именно о ней. «Революция, — подумал мистер Фрэзер, — не опиум. Революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании. Опиум нужен до и после». (В первом русском переводе слова о тирании были опущены.) Запомним эту фразу.

После аварии Хемингуэй, наконец, заметил, что несчастные случаи становятся закономерностью, и в шутливом письме Перкинсу предложил застраховать свою жизнь. Ему было не до шуток — ноги уцелели, но он боялся, что не сможет владеть рукой. По воспоминаниям Полины, не мог спать, нервничал, набрасывался на людей — когда Маклиш приехал его навестить, сказал, что тот специально явился смотреть, как он умирает. Годы позднее, в книге «Зеленые холмы Африки», он напишет: «... открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все это за него — все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреде, я подумал, что, может, так воздается по заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это и было возмездие, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю. Я поступал так, как поступили со мной. Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком. Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это. Но, так как отказываться от своего любимого занятия мне не хотелось, я решил, что буду охотиться до тех пор, пока смогу убивать наповал, а как только утеряю эту способность,

тогда и охоте конец». Люди, любящие животных и не любящие Хемингуэя, дивятся логике этого рассуждения. «Я поступал так, как поступили со мной» — кто поступил? Лоси? Гризли? Может, не надо было с похмелья за руль садиться? Но он в этом отрывке связал все — нелепое ранение в 1918 году, беспрестанные увечья, ощущение, что «весь мир против него».

Однако мир, если не считать несчастных случаев, был к нему благосклонен, экономический кризис его не трогал. В ноябре 1930 года «Парамаунт пикчерз» приобрела права на экранизацию «Прощай, оружие!» за 80 тысяч долларов. Фильм — первая экранизация Хемингуэя, — вышел в 1932-м, играли в нем звезды, Хелен Хейс и Гари Купер, ставший позднее его другом, сценарий написали Бенжамин Глейзер и Оливер Гарретт, режиссер Фрэнк Борзаг; картина получила два «Оскара», но не удовлетворила автора — мелодраматично и слащаво. Той же осенью режиссер Лоуренс Столлингс поставил по роману пьесу — она не имела успеха и сошла со сцены уже через три недели.

Двадцать первого декабря больного выписали, и после недолгого пребывания в Пиготте они с Полиной вернулись в Ки-Уэст. Рука восстановилась, но мучили боли, депрессия долго не отпускала — хромал, отпустил волосы и бороду, дети принимали его за бродягу. В больнице он привык пить спиртное не после обеда, как обычно, а в течение всего дня, на работе это сказывалось не лучшим образом, так что зима 1931-го получилась довольно тоскливой. Тем не менее работал над книгой «Смерть после полудня», написал рассказ «Перемены» (The Sea Change, опубликован в декабре 1931 года в «Квортере»): женщина признается любимому в связи с другой женщиной, он отвечает цитатой из стихотворения Александра Поупа: порок «мы сперва терпим, потом жалеем, а затем принимаем». Следует ли понимать так, что Полине был свойствен сей порок, а муж его терпел, жалел и принял? Некоторые исследователи полагают, что так оно и было. Хотя, возможно, сюжет навеяла не Полина, а ее сестра Вирджиния, а может, просто поэзия Поупа. Сам автор, когда его спрашивали, откуда он взял сюжет для той или иной истории, обычно отвечал, что случайно подслушал беседу неких незнакомцев.

Больного навещали родные и друзья: сперва Кэрл (уже поступившая в колледж), Грейс, Вирджиния Пфейфер, со всеми он поругался; потом, когда ему стало лучше, начали появляться мужчины: дядя Гас, Арчи Маклиш. В начале марта он смог совершить плавание к Драй-Тортугас, казался выздоровевшим физически, но в душе явно что-то было неладно: в середине апреля он написал Фицджеральду, у которого в январе умер отец,

странное письмо: «Мне очень жаль, что тебе пришлось приехать в США по такому печальному поводу. Надеюсь прочесть твой отчет об этом в книге, а не на страницах „Пост“. Помни, что у нас, писателей, отец и мать умирают только однажды. Не пренебрегай таким прекрасным материалом». Письмо приводится обычно как доказательство жестокости Хемингуэя, но следует учитывать предысторию. Отец Хемингуэя умер 7 декабря, Фицджеральд написал ему только 28-го: «Дорогой Эрнест, я очень сожалею о твоей беде. Я думаю, что к тридцати годам почти каждый из нас теряет родителей, и всегда, когда вижу своего отца, думаю, что это в последний раз»; после этих слов Фицджеральд начал рассказывать о своих финансовых успехах и сообщать сплетни. Возможно, Хемингуэю то письмо показалось обидным и он на свой лад отомстил.

Угнетенное состояние прошло, когда Полина сообщила о беременности: теперь уж обязательно будет дочка! 29 апреля 1931 года Гас Пфайфер купил в подарок племяннице дом 907 на Уайтхед-стрит, напротив маяка. (Дядюшка уплатил восемь тысяч долларов, остальные 60 тысяч вносились в рассрочку десять лет, преимущественно им же.) Здание было построено французским архитектором в 1851 году: белый известняк, громадные арочные окна со ставнями, по второму этажу — круговая веранда, есть подвал, мансарда, двор размером чуть не с квартал. Остаться бы дома, приводить жилье в порядок и работать, работать, но опять были запланированы развлечения: Африка откладывается, но можно успеть съездить на фиесту и вернуться к родам. В мае Полина с Патриком уехала во Францию, а Эрнест — в Испанию; договорились встретиться в Памплоне.

В Испании только что пала монархия: на муниципальных и парламентских выборах в апреле 1931 года почти 70 % избирателей проголосовали за блок республиканских партий, король Альфонс XIII оставил страну. 14 апреля была провозглашена Вторая республика, в конце года принята новая конституция, президентом избран Нисето Алькала Самора, правительство возглавил Мануэль Асанья. Хемингуэй: «Это была последняя по времени республика, родившаяся в Европе, и я верил в нее». На корриде смена строя не сказалась, фиеста прошла как обычно, по ее окончании Патрика с няней отправили в Андай, родители уехали в Мадрид. Новые знакомства: с художником Луисом Кинтанильей, который «просто и спокойно объяснял мне, почему необходима революция», с корреспондентом «Чикаго трибюн» Джем Алленом. Беседа с ним, Папа был навеселе и уверял, что окончил Принстон (потом объяснил, что солгал из зависти к Фицджеральду). Пил, как обычно в путешествиях, очень

много. К умеренному питью парижского периода он уже никогда не вернется.

В августе поехали за сыном в Андай. Там проводил лето Морис Спейсер; Хемингуэй, ставший обеспеченным человеком, осознал, что ему необходим поверенный, и Спейсер, который решил «специализироваться» на писателях, взялся вести все его дела, включая налоговые (он будет вести их успешно в течение двадцати лет). 23 сентября отплыли в США, пересеклись в Нью-Йорке с Фицджеральдом, но подробности встречи не известны (Фицджеральд в конце 1931 года обосновался в Монтгомери, штат Алабама). Патрика завезли в Пиготт, сами выехали в Канзас-Сити, где 12 ноября Полина опять посредством кесарева сечения родила второго ребенка, в Ки-Уэст отбыли 19 декабря. Родители были сильно разочарованы: вместо девочки опять появился сын, Грегори. Врачи сказали Полине, что рожать ей больше нельзя, а значит, дочери никогда не будет...

Глава десятая ЛЕОПАРД

На острове не было пресной воды, кроме дождевой, которая стекала по желобам в цистерны: сперва ее не хватало даже на хозяйственные нужды, но постепенно справились, устроили водопровод, во дворе — бассейн. Работами руководил Отто Брюс: провел электричество, возвел стену вокруг участка, отремонтировал крышу и внутренние помещения. Интерьером занимались Полина и часто гостившая Вирджиния. Из Европы привезли много антикварных вещей, дом отделявали частично в испанском стиле (мебель орехового дерева, резные сундуки, частично в колониальном: циновки, кресла и столы из ротанговой пальмы), частично во французском (изящные туалетные столики, шторы, постельное белье). Обустроили библиотеку, заполнили дом чучелами дичи, оружием и картинами: Миро, Хуан Грис, Уолдо Пирс, Андре Массон, Пауль Клее, Луис Кинтанилья; одну из веранд отвели под зал для бокса, Пфейферы подарили дорогой проигрыватель. Завтракали в постели на французский манер, там же Хемингуэй по утрам работал или читал.

К недостаткам жилища относились термиты, которые всё грызли, и опять же нехватка воды, из-за чего трудно было выращивать цветы: даже пальмы болели и сохли, так что двор был поначалу голый, однако Полина, изучавшая ботанику, и садовник Джим Смит смогли засадить его неприхотливыми растениями. (Прислуги было пять человек: кроме Брюса и садовника, няня Ада Стернс, прачка Ина Хепберн и кухарка Мириам Уильямс.) Полина знала массу рецептов и сама их придумывала, меню взрослых изобиловало блюдами из черепах, моллюсков, дети ели отдельно — гороховое пюре и подобные гадости, о чем, став взрослыми, вспоминали с обидой. Долго считалось, что Хемингуэй в Ки-Уэст разводили шестипалых кошек (это не порода, а мутация), бытовала легенда о том, как капитан дальнего плавания подарил хозяину дома такого котенка; шестипалые кошки действительно населяют Ки-Уэст, но Патрик Хемингуэй в 1980-х годах клялся, что в доме кошек не было, только заходили соседские, зато были собаки, павлины и ручные еноты, один из которых съел свою супругу, за что был застрелен хозяином. Одного забредшего кота, больного, Эрнест тоже пристрелил: по мнению Патрика, то был акт милосердия (даровать смерть), но хозяин кота был иного мнения.

Дом получился прекрасный, не хуже, чем у Мерфи, очень нравился

хозяевам, но, не успев обустроиться, они захотели уехать (одна остроумная журналистка назвала их «самыми знаменитыми в мире цыганами»); рука Эрнеста зажила, теперь можно и в Африку. Маршрут: британские колонии Кения и Танганьика (материковая часть нынешнего государства Танзания), компаньоны — Маклиш, Стрэйтер и Чарльз Томпсон. Узнали адреса охотников-проводников, купили ружья, зачем-то пистолет, прочую амуницию, все стоило дорого, но Гас Пфейфер подарил на поездку 20 тысяч долларов. Однако путешествие по разным причинам то и дело откладывалось.

В декабре 1931 года Хемингуэй окончил «Смерть после полудня». Книга необычная: вопреки собственному принципу показывать, не разъясняя, здесь автор все декларирует впрямую. Ее русский перевод фрагментарен и не дает представления о структуре оригинала: текст, состоящий из двадцати глав, выстроен причудливо, мысль вьется, образуя изящные вероники. В первой главе говорится, чем хороша коррида (это не спорт и не ритуал, а «момент истины», ситуация, в которой противники проявляют свои лучшие качества, и тот, кто сильнее, дарует другому прекрасную гибель), во второй и третьей объяснены специальные термины, в четвертой перечислены места, где лучше смотреть бои быков, в пятой автор изящно отклоняется, чтобы признаться в любви к Мадриду, в шестой рассказывает, как матадор готовится к бою, в седьмой делает неожиданный ход — вступает в диалог с некоей старой дамой, задающей глупые вопросы, в восьмой и девятой разъясняет старушке причины упадка корриды в XX веке, в десятой вдруг возвращается к терминологии; три следующие главы представляют эссе о быках (жизнь их с рождения посвящена одной цели — красиво победить или красиво погибнуть), в середине которого читателю наносится неожиданный и страшный удар — другое эссе, «Естествознание мертвых», которое мы цитировали, рассказывая о взрыве на заводе и растерзанных телах женщин («Мы также все сошлись на том, что собирание отдельных кусков — занятие необычайное, и всего поразительнее то, что человеческое тело разрывается на части не по анатомическим линиям, а дробится на куски причудливой формы, похожие на осколки снарядов»).

Глава пятнадцатая повествует о матадоре Бельмонте, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая — о пикадорах, лошадях, бандерильеро и прочих атрибутах корриды; в девятнадцатой автор воспекает смерть на арене, красивую и осмысленную, в противоположность той, что описана в «Естествознании мертвых», а в заключительной извиняется за то, что не описал еще многого — и тут же описывает это многое: «запах жженого

пороха, и дымок, и вспышку, и треск ракеты, взорвавшейся над зеленой листвой деревьев, и вкус ледяного оршада, и чисто вымытые, залитые солнцем улицы, и дыни, и росинки, выступившие на кувшине с пивом; аистов на крышах Барко де Авила и аистов, кружащих в небе; красноватый песок арены; и танцы по ночам под волынки и барабаны, огоньки в зеленой листве и портрет Гарибальди в рамке из листьев».

Коррида в «Смерти» трактуется двояко: это и бой быков, и метафора, обозначающая искусство. Как в XX веке изменилась коррида — уже не «момент истины», где ставкой является жизнь матадора, а серия изящных поз, «прием ради приема», — так и в литературе форма начинает подменять суть: «Заметьте: если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямого утверждения <...>, то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его. Не следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн и к которой прибегает бесталанный писатель, пытаясь замаскировать свое невежество или неумение писать ясно». Матадор должен пользоваться красивыми приемами лишь когда они ведут к цели — так и писатель, «как бы удачен ни был оборот или метафора», должен применять их «только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу».

В «Смерти» Хемингуэй высказал важнейшие мысли о литературе: 1) сформулировал «принцип айсберга»: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места»; 2) проехался по критикам, укорявшим его за недостаточную культурность: «Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-на-всего попугай. И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сич»; 3) ответил на обвинения в безыдейности: «Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, — если они видят

его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир»; 4) объяснил, почему его персонажи, как кажется некоторым, грубы: «Если автор романа вкладывает в уста своих искусственно вылепленных персонажей собственные умствования, — что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, — то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целостности, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго»; 5) сформулировал отличие талантливого писателя: «Он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей затратой времени, чем другие люди, а кроме того — умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание».

«Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун». Автор «Смерти» — человек культурный: ему «свойственно говорить о старых мастерах», и он, проявив тонкость вкуса, оценивает Гойю, Веласкеса, Эль Греко; он также имеет право судить о коллегах и судит их строго: Уайльду приписаны «ленивая, тщеславная распущенность», он «предал свое поколение», Уитмен проявляет «отвратительную, сентиментальную фамильярность», Андре Жид — «ханжески-эксгибиционистское... высокомерие старой девы», Жан Кокто и Раймон Радиге охарактеризованы в более сильных выражениях. Мишени для критики выбраны не случайно — тут тоже параллель с боем быков. Среди матадоров развелось много «голубых», что ведет к упадку корриды, — то же и в искусстве; в живописи для Эль Греко, искупившего свою особенность творчеством, автор делает исключение, но в литературе все «такие» — бездари. Гомосексуализм не давал автору покоя: он даже включил термины из этой области в завершающий книгу глоссарий, а также поведал «старой даме» случай, когда некий журналист был свидетелем домогательств старшего друга к младшему, чем дал биографам повод предположить, что младший друг и автор — одно и то же лицо. Если он не хотел подобных сплетен, ему не следовало так привязываться к этой теме. Но в том и состоит мужество литератора: пишу о чем хочу, и подите все к черту...

Кроме формалистов, идеологов и гомосексуалистов, искусство губят «гуманисты» — тут Хемингуэй либо выбрал не самый удачный термин, либо нарочно спутал карты (второе вероятнее: он не делал ошибок, а наносил изощренные удары), поскольку к «гуманистам» он причислил как тех, кто ратует за благопристойность и возражает против «грубых слов», так и тех, кто не одобряет корриду, так что пафос книги в упрощенном виде можно передать так: есть настоящие мужчины, которые участвуют в бычьих боях (или смотрят на них с трибуны — по Хемингуэю, это одно и то же) и не боятся ни смерти, ни разговора о ней — и есть другие, что под покровом «гуманности» скрывают «консервированное бесплодие».

Книга вышла у Скрибнера 23 сентября 1932 года тиражом 10 300 экземпляров. Она не заинтересовала «простых читателей», равнодушных к корриде. Не понравилась идейным критикам: пропагандировать экзотический спорт и турпоездки в Испанию, когда в США миллионы безработных, неуместно, а нужно писать о политике, экономике, положении народа; одному из них, Полу Ромену, Хемингуэй ответил, что отказывается писать о «левых» и «правых», литература не может быть «левой» или «правой», а только хорошей или плохой, что же касается его лично, он только описал свой опыт и ничего не пропагандировал. Еще до выхода «Смерти», весной 1932-го, он обсуждал тему политики в литературе в переписке с Дос Пассосом, который к тому времени обратился в коммунизм и издал «идейный» роман «1919»: политические системы, писал он, переходящи, существуют только люди, и вообще ему «приятнее слушать вой койотов в Вайоминге, чем дебаты Гувера и Рузвельта».

Критики также сочли нападки Хемингуэя на коллег (кроме вышеназванных, он лягнул Фолкнера и изничтожил Олдоса Хаксли) несправедливыми и глупыми. Все это он мог стерпеть, а ругательства таких людей, как Макэлмон (назвавший книгу «Бычьим путеводителем»), его даже радовали, хуже другое: его работу называли нудной, стилистской (а ведь он выступал против «стилистов»), подростковой. Ужасно было высказывание Менкена о том, что Хемингуэй «беспрестанно доказывает, что он мужчина», и всем это уже наскучило. Но еще ужаснее был отзыв человека, которого он уважал безмерно, Эдмунда Уилсона, написавшего, что, начиная со «Смерти», Хемингуэй «перестал управлять своим талантом» и «впал в пустословие».

Писателя всегда бранят, если он напишет книгу, непохожую на прежние. В «Смерти» нет «хемингуэевских диалогов», рубленых фраз, недосказанности, она изобилует разъяснениями и вычурными, изящно скругленными периодами. Каждый исследователь Хемингуэя считает

своим долгом заявить, что какая-либо его работа переоценена (как правило, «Старик и море»), а другая недооценена; автор данной книги, не являясь литературоведом, все же берет на себя смелость предложить в качестве такой работы именно «Смерть»: этот текст с его арабесками, выпадами и уколами — блистательный пример того, как содержание определяет форму. Об изящном надо писать изящно, о философском — солидно, об Уайльде — так, как написал бы сам Уайльд. Велика важность, что Хемингуэй обругал других писателей — они не нуждаются в защите, Толстой ругал Шекспира, от этого ни тот ни другой ничего не потеряли. Мужество Хемингуэя не в том, что он посещал корриду и ругал «ненастоящих мужчин», а в том, что он создал трактат о смерти, предмете, от обсуждения которого все стараются ускользнуть, прикрывшись религией или этикой. Зачем нужна такая книга, когда трудящиеся голодают? Да ни за чем; как сказал тот же Уайльд, «всякое искусство совершенно бесполезно». Но даже животные нуждаются в бесполезных предметах, чтобы развиваться и играть; чем развитей человек, тем больше бесполезного ему необходимо...

Отослав рукопись Перкинсу (тот сдержанно хвалил), автор устроил каникулы: в феврале и марте 1932-го дважды плывал на Драй-Тортугас, а 20 апреля, получив гранки, отправился работать в Гавану. Планировал провести там две недели, а прожил больше двух месяцев: позднее он скажет, что на Кубе его привлекало все — прохладные утренние бризы, при которых «ему работалось как нигде в мире», Гольфстрим, где была «лучшая в мире» рыбная ловля, природа, погода, архитектура и спорт. Куба была в ту пору островком туризма: пляжи, отели, бары, азартные игры, кровавые развлечения, запрещенные в Штатах, как, например, петушиные бои и стрельба по живым голубям, выпускаемым из садков, — тем и другим Хемингуэй моментально увлекся (теперь «местом, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть», стала площадка, где петухи заклевывали друг друга); он также стал фанатом «хай-алай», баскской разновидности пелоты (игры с мячом, похожей одновременно на теннис и бейсбол) — на Кубе эта игра была профессиональной, сам играть не пытался, но болел и делал ставки. Жил он в гостинице «Амбос Мундос» на улице Обиспо. Теперь его скромный номер стал туристским достоянием Гаваны наравне с барами (первый из которых — легендарная «Флоридита»), стрелковыми клубами и прочими местами, которые он посещал. (Чтобы узнать подробно, в какие кафе Хемингуэй ходил, что он пил, ел и т. д., читайте опубликованную на русском книгу Норберто Фуэнтеса «Хемингуэй на Кубе»; пересказывать все это нет смысла.) Но почему он жил там один? Найти предлог уехать от жены можно всегда,

причина же, как считается, заключалась в другой женщине, с которой он познакомился на пароходе из Европы.

Грант Мейсон, богач, глава нескольких успешных фирм, часто уезжал по делам, его жена Джейн оставалась одна. В 1932-м ей было 27 лет; взбалмошная светская красавица, она напоминала и Сару Мерфи, и Дафф Туизден, и Зельду Фицджеральд, но была в большей степени «львицей», чем они: обожала охоту, снайперски стреляла, носилась на автомобиле с бешеной скоростью, управляла яхтой и рыбачила лучше мужчин, пила — тоже: этот типаж Хемингуэя привлекал. Принято считать, с его собственных слов (в пересказе его старшего сына и Дос Пассоса), что у него с Джейн была связь, но доказательств нет. Сохранившиеся фрагменты переписки явствуют, что отношения были, во всяком случае с ее стороны, дружескими: он восхищался ею, она плакалась ему в жилетку, он говорил, что она «пьянит без вина», она писала, что «сыта по горло» женской долей, хочет свободы на мужской лад, мечтает бросить светскую жизнь и поселиться в Африке со своим возлюбленным Ричардом Купером, о котором она без конца рассказывала как Хемингуэю, так и его жене — с Полиной она тоже переписывалась. Она пыталась писать, ее рассказы отклоняли, он рекомендовал ей попробовать пьесы. «Как ты? Пишешь? Это — жестокий бизнес, дочка, поверь...» (Хемингуэй теперь всех молодых женщин звал «дочками», хотя слишком наивно объяснять это тоской по неродившейся дочери.) Кроме того, что Джейн была влюблена в другого мужчину, она страдала алкоголизмом, приступами депрессии, и вообще у нее была куча проблем, так что вряд ли в ее душе нашлось место для романа с Хемингуэем. Товарищество вероятнее: уж очень они были похожи.

Помимо гранок «Смерти», Хемингуэй в «Амбос Мундос» работал над рассказом о военном опыте Ника Адамса «Какими вы не будете» (A Way You'll Never Be) — вероятно, здесь он использовал черновики «Смерти». Эссе «Естествознание мертвых»: «Более всего поражает, наряду с прогрессирующей тучностью, количество бумаг, разбросанных вокруг мертвых. <...> Жара, мухи, характерное положение тел и множество разбросанных по траве бумаг — вот приметы, которые остаются в памяти». А вот — «Какими вы не будете»: «Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги. Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навтыжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и

раздувшиеся, они лежали в траве...» Второй текст смахивает на самоплагиат, но размышления о смерти мучили автора и он не мог от них отделаться. Редактируя «Смерть после полудня», он простудился, решил, что умирает, и тут обнаружил, что наборщик на листах корректуры делал пометки, сокращая для быстроты — получилась «Смерть Хемингуэя». Он отправил Перкинсу телеграмму, в которой предположил, что издательство желает его смерти — может и не шутил, ибо за телеграммой последовало пространное письмо на ту же тему, с обещанием «свернуть шею» наборщику.

Завершив редактуру, в первых числах июля он отправился в Пиготт, где уже месяц жили Полина и дети, захватил жену, поехал в Вайоминг, на ранчо Нордквиста. Охотничий сезон еще не открылся, ловили форелей, ездили верхом. Приезжали Мерфи — по-прежнему прекрасные отношения, никакой вражды. В конце сентября Полина отбыла в Пиготт, а в Вайоминг приехал Чарльз Томпсон, появились и другие охотники, стреляли лосей, медведей. По свидетельству Томпсона, его друг временами «казался одержимым»: выходил из себя, если чья-то добыча оказывалась крупнее его собственной, все время говорил о самоубийстве (сказал, что покончит с собой не задумываясь, если будет неизлечимо болен), слишком много пил. 16 октября он, уже зная о реакции критики на вышедшую «Смерть», уехал в Ки-Уэст, но жену не застал — она вернулась в Пиготт, потому что жившие у бабушки с дедушкой дети заболели, — зато обнаружил присланного из Парижа Бамби — у него плохо шла учеба и Хедли решила на зиму оставить его с отцом, где с ним будет заниматься приглашенный специально для этого Эван Шипмен. Но в октябре Шипмен еще не приехал. Отец с сыном отправились в Пиготт — там заболел и Бамби. Из этой болезни родился трогательный рассказ «Ожидание» (*A Day's Wait*). «Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать, но увидел, что он не слушает меня, и остановился.

— Как по-твоему, через сколько часов я умру? — спросил он.

— Что?

— Сколько мне еще осталось жить?

— Ты не умрешь. Что за глупости!

— Нет, я умру. Я слышал, как он сказал сто два градуса.

— Никто не умирает от температуры в сто два градуса. Что ты выдумываешь?

— Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура сорок четыре градуса, человек умирает. А у меня сто два.

Он ждал смерти весь день; ждал ее с девяти часов утра.

— Бедный малыш, — сказал я. — Бедный мой малыш. Это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура тридцать семь градусов. На этом девяносто восемь.

— Ты это наверное знаешь?

— Ну конечно, — сказал я. — Это все равно как мили и километры. Помнишь? Если машина прошла семьдесят миль, сколько это километров?

— А, — сказал он.

Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис».

В Пиготт после приезда Хемингуэя, подобно магниту притягивавшего неприятности, случился пожар, пропали многие книги и вещи, но дети выздоровели, и он мог спокойно работать. Завершил начатый ранее рассказ «Там, где чисто, светло» (A Clean Well-Lighted Place): 80-летний одинокий старик ежевечерне сидит в кафе, а два официанта обсуждают его:

«— А я вот люблю засиживаться в кафе, — сказал официант постарше. — Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди, — сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. — Дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе, чисто и опрятно. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи, — сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи, — сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Ничто и снова ничто».

«Там, где чисто, светло» относят к лучшим рассказам Хемингуэя, и, как все его лучшие рассказы, он может быть истолкован по-разному. Один назовет его печальным, но светлым: существует человек, которому «не хочется закрывать кафе, потому что кому-нибудь оно очень нужно» и, хотя самому этому человеку некуда деваться, он помогает другому одинокому; другой увидит жестокую иронию — ведь то подобие покоя, что обретают одиночки, слоняющиеся по кафе, так жалко...

Написал еще рассказ, также относимый к шедеврам: «Отцы и дети» (Fathers and Sons): критики трактуют его как признание в сыновней любви, которого Кларенс не успел услышать: «Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того, он был сентиментален, и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают. Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас перепелиная охота заставила его вспомнить отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. <...> Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток...»

Рассказы этого периода мягче и светлее обычного, но без темы смерти не обходилось — вот диалог между взрослым Ником и его маленьким сыном:

«— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Придется об этом позаботиться.

— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!»

Заметим попутно, что сын спрашивает, когда его научат охотиться, и отец отвечает: «Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным» — возможно, при всей благодарности собственному отцу за привитую любовь к охоте, Хемингуэй все же чувствовал, что три года — рановато.

Накануне Нового года семейство вернулось в Ки-Уэст. Прибыл Шипмен: жена, дети, прислуга были им очарованы, называли «нежным и заботливым», на него можно было оставить семью. В конце января

Хемингуэй был в Нью-Йорке по издательским делам, Перкинс свел его со своим новым протеже Томасом Вулфом, надеялся, что два «сынка» подружатся, но из этой затеи ничего не вышло. Познакомился с литератором Арнольдом Гингричем, который собирался издавать журнал «для мужчин» и предлагал сотрудничество — отказался, так как Гингрич не понравился (они подружатся позднее). Был также обед с Фицджеральдом и Уилсоном: последний сказал, что «Хемингуэй был теперь большим человеком, а Скотт был так подавлен его величию, что смутил меня своим самоуничижением». Фицджеральд был пьян, юродствовал, униженно извинялся; Хемингуэй написал Перкинсу, что его друг «ушел в это дешевое ирландское поражение» и сможет писать лишь в том случае, если бросит пить или овдовеет, а Фицджеральд сказал Уилсону, что ему не следовало видеться с Хемингуэем: «Мне кажется, что с Эрнестом мы достигли такой ступени, когда я одновременно высмеиваю его и раболепствую перед ним».

К тому же периоду относится серьезный конфликт с сестрой Кэрол. Она училась в Роллинс-колледже в Уинтер-Парке, Флорида; брат высылал ей ежемесячно 100 долларов. Отношения до конца 1932 года были очень теплыми. Ситуация изменилась, когда Эрнест узнал, что Кэрол живет со студентом того же колледжа Джоном Гарднером (это вызывало недовольство руководства колледжа) и намерена ехать с ним в Европу, дабы выйти замуж, а заодно прослушать курс лекций в Венском университете. Бейкер утверждает, что Гарднер в письме к Эрнесту просил руки Кэрол, а тот отказал и пригрозил кулачной расправой, и что в январе в Нью-Йорке состоялась его бурная встреча с сестрой и Гарднером; переписка между Эрнестом и Кэрол это не подтверждает. Но для ссоры не обязательно встречаться. Сохранились несколько писем, которыми брат и сестра обменялись в январе — феврале 1933-го: Эрнест называет Гарднера «жалким психопатом», «грязным совратителем малолетних» (Кэрол было уже 22 года) и сравнивает его с серийным убийцей. Его письма напоминают письма Грейс к нему: он «снимает с себя дальнейшую ответственность за поведение сестры» и грозит лишить ее денежного пособия. Он также обвинил Кэрол в том, что деньги ей нужны на аборт (она об этом и не заикалась): это — преступление, но рожать от Гарднера он ей тоже запрещает. Осыпав сестру оскорблениями, брат далее умолял ее одуматься и приехать в Ки-Уэст, он оплатит расходы, а если ей нужно в Вену, он бросит работу и поедет с ней.

Кэрол ответила, что отношения с Гарднером — ее личное дело; знакомым она писала, что ей тяжела «необъяснимая враждебность Эрнеста,

который ведет себя так, словно он мой муж». В Ки-Уэст она не приехала, и брат не приехал к ней. Она жила в Вене с Гарднером, потом они вернулись в Штаты, поженились; из детей Кларенса и Грейс ее жизнь сложилась наиболее счастливо — работала учительницей, мужа любила, родила трех детей и тихо умерла в старости, окруженная внуками. С 1933 года она не видела брата и не переписывалась с ним. Почему Хемингуэй так «взбесился», никто не знает. Вряд ли человека, боровшегося с ханжами, могло так шокировать внебрачное сожительство сестры с мужчиной. Братская ревность, конечно, присутствовала — он недолго любил мужей всех своих сестер, но не до такой же степени! В письмах к Кэрол он утверждал, что Гарднер ее «заполучил на спор» и «изнасиловал». С чего он это взял, неизвестно. Гарднер обучался профессии психоаналитика, а Хемингуэй психиатров ненавидел, именовал Гарднера «санитаром» и предсказывал, что тот умрет в сумасшедшем доме — но и этого недостаточно, чтобы вызвать столь жгучую ненависть, поэтому высказывается предположение, что Гарднер пытался заочно «анализировать» брата невесты, а та передала его слова Эрнесту. Но это домыслы. Хемингуэю не нужны были причины, чтобы ссориться с родственниками — постепенно он порвет отношения со всеми.

Ссоры не мешали работе: в первой половине 1933 года новые рассказы регулярно появлялись в периодике. В мартовском номере «Скрибнерс мэгэзин» — «Там, где чисто, светло», в апрельском — «Посвящается Швейцарии» (Homage to Switzerland) — текст из трех миниатюр, действие которых происходит в «чистых и светлых» привокзальных кафе, где одинокие мужчины пытаются унять тоску. В апреле журнал «Хауз оф букс» опубликовал рассказ «Счастливых праздников, джентльмены!» (God Rest You Merry, Gentlemen!), гротескную историю о том, как юноша просит хирурга его оскопить, дабы «вернуть чистоту»: здесь использованы впечатления от репортерской работы в Канзасе, а также рассказы врача Логана Гленденинга, с которым Хемингуэй познакомился в больнице во время рождения Грегори. В мае «Скрибнерс мэгэзин» напечатал «Дайте рецепт, доктор», но отклонил рассказ «Свет мира» (The Light of the World), который новый редактор счел чересчур грубым.

Об этот рассказ сломано немало критических копий: автор опять ничего не разъяснил. Два подростка, в одном из которых можно угадать Ника Адамса, сидят в станционном зале ожидания, где также присутствуют молчаливые индейцы, молчаливые шведы, говорливые лесорубы, жеманный повар-гомосексуалист и проститутки. «Одна из шлюх громко захохотала. Я никогда не видел такой толстой шлюхи и вообще такой

толстой женщины. На ней было шелковое платье из такого шелка, что кажется то одного цвета, то другого. Рядом с ней сидели еще две, тоже очень толстые, но эта, наверно, весила пудов десять. Трудно было поверить собственным глазам, глядя на нее. Все три были в платьях из такого шелка. Они все сидели рядом на скамье. Они казались огромными. Остальные две были самые обыкновенные шлюхи, с крашенными пергидролем волосами». Одна из женщин, «пергидрольная» блондинка, рассказывает, как у нее была романтическая любовь с боксером, а другая уличает ее во лжи:

«— Брось, — сказала Алиса своим мягким, певучим голосом. — Нет у тебя никаких воспоминаний, разве только о том, как тебе перевязали трубы и как ты первый раз ходила на шестьсот шесть. Все остальное ты вычитала в газетах. А я здоровая, и ты это знаешь, и хоть я и толстая, а мужчины меня любят, и ты это знаешь, и я никогда не вру, и ты это знаешь.

— Тебя не касаются мои воспоминания, — сказала пергидрольная. — Мои чудные, живые воспоминания.

Алиса посмотрела на нее, потом на нас, и выражение обиды сошло с ее лица. Она улыбнулась, и мне показалось, что я никогда не встречал женщины красивее. У нее было очень красивое лицо и приятная гладкая кожа, и певучий голос, и она была очень славная и приветливая. Но, господи, до чего же она была толста».

Вот и всё — подростки уходят, на прощание дав отпор развратному повару. О чем это? В чем здесь «свет мира»? Кашкин написал, что свет — в толстой Алисе, «которая и в своем падении сохраняет веру в лучшее, что озаряет человека». Черкасский возражает: «Несчастный человек придумывает себе красивую сказку. Но обычно даже те, что не верят, не показывают этого. Из сострадания. Но Алиса не может отдать боксера коллеге. И об этой женщине Кашкин говорит, что она „...и в падении своем сохраняет веру в лучшее...“. Слепота удивительная! Во-первых, падения, как такового, нет, ибо сама Алиса не чувствует его. Это очень приятный, даже преуспевающий на своем поприще человек. Недаром же ее все любят и неспроста она все время трясется от смеха. Во-вторых, не она „сохраняет веру в лучшее“, а та, пергидрольная. Она, Алиса — растаптывает. Чужое. Со вкусом. С сознанием своего превосходства. <...> И наконец, „свет мира“ не в Алисе, а в том, что какой-то боксер стал для этих женщин лучшим, что они видят на этом свете. Такова мысль автора».

Хемингуэвед Чарльз Оливер считает, что «свет мира» в обеих женщинах: «Даже шлюхи могут обретать человеческое достоинство, вспоминая важные моменты из их жизни». А Карлос Бейкер написал, что «свет мира» есть и в любви, как считает блондинка, но еще больше его в

здравом смысле, который проявила Алиса. А может, смысл в том, что «свет» у каждого свой и он может быть даже у такого человека, как повар, ведь зачем-то этот персонаж написан? Или, напротив, что только у повара нет света, а подросток, проявив симпатию к Алисе и антипатию к повару, выбрал «свет»? Или автор хотел сказать, что каков мир (жалкий и грязный), таков и его «свет»? Или «свет» — жизнь, что открывается подросткам, уходящим от этой жалкой компании? Каждый понимает как хочет. Однако, поскольку сам Хемингуэй говорил, что этим рассказом «заткнет за пояс Мопассана», а описание внешности Алисы совпадает почти дословное описанием мопассановской Пышки, похоже, он имел в виду именно то, что сказал Кашкин: блондинка — жеманность и фальшь (и волосы-то крашенные), толстуха — правда жизни. Но тогда можно предложить еще одно объяснение: две женщины — половинки души автора: та, что лгала и придумывала сказки, и та, что смотрела на мир трезво и так же старалась его описать; «свет мира» — это правда и трезвость в литературе. Вот только «заткнуть за пояс» не удалось. Пышку жалеешь и любишь, жирную Алису — не получается...

В апреле 1933 года Хемингуэй с Гасом Пфейфером и Карлом, братом Полины, плывал на яхте Джо Рассела на Кубу — рыбачил, делал наброски о море, потом в Гавану приехали Бамби и Патрик. На Кубе было беспокойно: правление диктатора Мачадо было жестоким, в ответ революционная группа «АВС» совершала теракты. Хемингуэй познакомился с американским фотографом Уокером Эвансом, который делал книгу о кубинских событиях. У Эванса кончились средства, он собрался уезжать, но Хемингуэй дал денег еще на две недели в Гаване. «Пили каждый вечер, — вспоминал Эванс. — Он был свободен и нуждался в собутыльнике». Но они не только пили, а обсуждали политику, Эванс, настроенный против Мачадо, все же считал действия «АВС» неоправданными — убивали не только гвардейцев диктатора, а «любого, кто казался подозрительным или много болтал».

В Гаване Хемингуэй встречался с Джейн Мейсон, что между ними происходило — никто не знает. 27 мая Джейн, посадившая в гоночную машину Бамби и Патрика, не справилась с управлением, произошла авария, никто не пострадал, но несколько дней спустя Джейн по неизвестной причине выбросилась из окна второго этажа, сломала спину. Хемингуэй, по словам Дос Пассоса, утверждал, что она сделала это из-за любви к нему и чувства вины. Джейн поместили в нью-йоркскую клинику, где она прошла курс психоанализа у Лоуренса Кьюби, фрейдиста, который избавить ее от депрессии не сумел, зато написал эссе о Хемингуэе: тот посредством

охоты, бокса и прочих мальчишеских занятий компенсировал недостаток сексуальной жизни, его персонажи боятся женщин, и он слишком часто описывает нежную дружбу между мужчинами. Эссе не было опубликовано при жизни Хемингуэя благодаря вмешательству Арчи Маклиша. На дружеские отношения Джейн с Хемингуэем все это до поры до времени не влияло.

Новый сборник был готов к июню. Туда вошли уже изданные рассказы: «Там, где чисто, светло», «Вино Вайоминга», «Счастливых праздников, джентльмены!», «Посвящается Швейцарии», «Какими вы не будете», «Перемены», «После шторма» (After the Storm), история, основанная на рассказах Бра Сандерса и напечатанная в «Космополитен» в мае 1932-го, «Игрок, монашка и радио», опубликованный в «Скрибнерс мэгэзин» в мае 1932-го, и эссе «Естествознание мертвых», а также публиковавшиеся впервые: «Отцы и дети», «Ожидание», «Свет мира» (Перкинс скрепя сердце согласился взять этот «непристойный» рассказ, но настоял, чтоб он не был в книге первым), сатирическая зарисовка «Пишет читательница» (One Reader Writes), героиня которой выясняет, можно ли ей житье мужем, больным сифилисом, и очередная история на гомосексуальную тему «Мать красавчика» (The Mother of a Queen) — о женоподобном матадоре, что занимает деньги под фальшивыми предложениями и не отдает (матадоры традиционной ориентации, по видимому, всегда отдают взятое в долг — так их и различают).

Сборник, озаглавленный «Победитель не получает ничего» (Winner Takes Nothing), Скрибнер выпустил 27 октября 1933 года тиражом в 20 300 экземпляров. Раскупался он неплохо, хотя медленнее, чем ожидалось, хвалили «Вино Вайоминга» и «После шторма», отмечали «Ожидание», но в целом отзывы критиков были неблагоприятные. Хорэс Грегори, Джон Чемберлен, Генри Кэмби писали, что Хемингуэй повторяется и надоед; Томас Стенли Мэттьюз — что он «почивает на лаврах» и «боится попробовать новое», Изидор Шнайдер — что хемингуэевская простота «лишь способ уклониться от выражения чувств». Лоуренс Лейтон сказал, что ленивый и малокультурный автор «не хочет знать истории» и описывает только «примитивных существ», и противопоставил его творчеству Пруста, Джойса и Радиге; Менкен заявил, что Хемингуэй «не умеет писать». Даже Клифтон Фадимен, ранее превозносивший Хемингуэя, теперь заявил, что, хотя новые рассказы «честны и бескомпромиссны как обычно» и автор «довел до совершенства рассказы о спорте и смерти», ему стоит научиться писать о чем-нибудь другом. Хемингуэй ответил Фадимену гневно: он прожил насыщенную жизнь и написал достаточно прекрасных

книг, чтобы «не обращать внимания на тех, кто думает, будто старый Папа исписался», а критиков он будет «бить», как положено мужчине. Критики, однако, не испугались и продолжали «Победителя» ругать — на наш взгляд, несправедливо, ибо сборники не могут состоять из одних шедевров. Наличие как минимум двух текстов высочайшего уровня — «Отцы и дети» и «Там, где чисто, светло» — с лихвой искупает недостатки остальных.

Отношения с критиками, как и с родственниками, становились все хуже: еще до выхода «Победителя», в начале июня, произошла стычка со старым знакомым Максом Истменом, опубликовавшим в «Нью рипаблик» разгромную рецензию на «Смерть после полудня» — «Бык после полудня». Истмен размышлял о том, почему писатель-реалист «впадает в романтику», и приходил к выводу, что автор не уверен в своей мужественности и вынужден ее доказывать, для чего выработал «стиль, если можно так выразиться, фальшивых волос на груди». Истмен предлагал Хемингуэю избавиться от «фальшивых волос», бросить «нарочитый стоицизм» и писать о социальных проблемах. (Истмен критиковал не одного Хемингуэя: он многих писателей обвинял в том, что они «создают культ антиинтеллигентности»). Хемингуэй почему-то решил, что Истмен назвал его импотентом, отправил гневное письмо в редакцию «Нью рипаблик» и сообщил Перкинсу, что Истмен — «грязная свинья», из которой он, Хемингуэй, «выбьет дерьмо». Истмен написал Хемингуэю, что не имел в виду его частную жизнь, а только литературный стиль; Хемингуэй написал Перкинсу, что Истмен извинился, потому что струсил, и «рано или поздно свое получит».

История имела комическое продолжение в августе 1937-го, когда Хемингуэй в кабинете Перкинса наткнулся на Истмена. Далее, по версии писателя (все это детальнейшим образом описано на страницах «Нью-Йорк таймс!»), он в шутку предложил Истмену расстегнуть рубашку и продемонстрировать растительность (оказалось, что у Истмена волос на груди нет, тогда как у него, Хемингуэя, их полным-полно). Когда Хемингуэй увидел на столе книгу Истмена, он вспыхнул и швырнул этой книгой в автора, тот упал на стул, после чего Хемингуэй его избил бы, но враг «цеплялся за него, как баба», и Хемингуэй его пожалел. Репортер, интервьюировавший Хемингуэя, заметил у него под глазом синяк и спросил, не Истмен ли это сделал, в ответ Хемингуэй (если верить репортеру) стал демонстрировать шрамы на своем теле и сказал, что если Истмен серьезно относится к своим писаниям, то должен остаться с ним наедине в запертой комнате, после чего получит тысячу долларов «на больницу». По версии Истмена, также опубликованной в «Таймс»,

Хемингуэй, едва войдя, накинулся на него, но Истмен «швырнул его на пол и уложил на обе лопатки», после чего Хемингуэй извинился; Истмен его избил бы, но вспомнил, что мама не велела ему драться, и пожалел; что же касается предложения запереться в комнате, оно ему не импонирует, так как «чокнутый» Хемингуэй способен принести с собой нож. Так что было на самом деле? Это нетрудно установить, ведь Перкинс был очевидцем — но Перкинс отказался давать комментарии. Он, в отличие от участников схватки, был человек взрослый.

Читатель, относящийся к Хемингуэю без обожания и без неприязни, задастся вопросом: почему именно его постоянно обвиняли в том, что его мужественность — фальшивая? Полно писателей, что воевали, охотились, любили спорт, имели успех у женщин, дрались, погибали на дуэлях — почему их не попрекают? Первая причина, житейская, вероятно, в том, что Хемингуэй в общении свою мужественность навязчиво подчеркивал и противопоставлял себя другим литераторам, «немужественным». Есть и другая. Существуют два, если можно так выразиться, сорта мужества. Первый — это когда человек добровольно идет в газовую камеру, чтобы его маленьким ученикам было не так страшно умирать, выносит инвалида из горящего дома, остается у пулемета, чтобы прикрыть отход товарищей, спасает девушку от бандитов. Второй — когда он рискует жизнью для самоутверждения, впечатлений или адреналина, смело смотрит на раздавленную собаку, наблюдает с трибуны за поединком человека и быка, бьет кого-нибудь по лицу, зная, что дуэлей больше нет и его жизнь вне опасности, обещает «выбить дерьмо» из всякого, кто на него не так посмотрел. Не сомневаемся, что Хемингуэй, если бы ему представился случай, проявил бы мужество первого сорта. Однако случаев не было, и он довольствовался вторым.

Но нельзя же требовать, чтобы все совершали подвиги, и разве не лучше проявлять второсортное мужество, чем никакого? Да, нельзя, да, может быть, лучше, но некрасиво хвалиться вторым сортом, когда есть люди, что проявляют первый и не хвалятся. (Есть еще одна разновидность мужества — упомянутое мужество художника, заключающееся в том, чтобы писать о чем и как считаешь нужным. И если бы Хемингуэй этим мужеством ограничился, не рассказывая всюду, как он из кого «выбьет дерьмо», к нему бы, наверно, никто и не придирался.)

Другой конфликт, заочный, случился летом — осенью 1933 года с Гертрудой Стайн, опубликовавшей «Автобиографию Элис Б. Токлас»: Хемингуэй завистлив, злобен, корыстен, не выносит соперников, сноб, карьерист. Все это он, может, и снес бы, но эта женщина знала его самые

больные места: «Боксировать паренек не умел, но надо же такому случиться по нечаянности отправил Хемингуэя в нокаут. Должно быть такое время от времени и впрямь бывает. Во всяком случае в то время Хемингуэй хоть он и спортсмен очень быстро выматывался. Он так бедняга уставал пока дойдет от собственного дома до нашего. Но с другой стороны его конечно сильно вымотала война. Даже и сейчас он, а Элен говорит что вообще все мужчины такие, очень хрупкий. Недавно один его друг сам довольно крепкий сказал Гертруде Стайн, Эрнест такой хрупкий, за что он ни возьмется за какой угодно вид спорта непременно что-нибудь сломает, руку, ногу а то и голову».

Хемингуэй в интервью Арнольду Гингричу высказался о Стайн умеренно, признав, что научился у нее и Паунда «некоторым элементам технического мастерства», но спустя год в книге «Зеленые холмы Африки» охарактеризовал ее творчество как «книжонки мерзкой бабы, которой ты помог напечататься, а она в благодарность тебя же сопляком обзывает». «Досадно, что она весь свой талант разменяла на злобу, пустую болтовню и саморекламу. <...> И знаешь, что забавно, — ей никогда не удавались диалоги. Получалось просто ужасно. Она научилась у меня и использовала это в своей книжке. Раньше она так не писала. С тех пор она уже не могла мне простить, что научилась этому у меня, и боялась, как бы читатели не сообразили, что к чему, вот и напустилась на меня». (Это был смягченный вариант — сперва он просто назвал Гертруду сукой («суки» и «педики» были все, кто его ругал) — но Перкинс уговорил фрагмент переделать.) В 1958-м Хемингуэй сформулирует эту мысль интеллигентнее: Гертруда «написала довольно длинно и довольно неточно о своем влиянии на мою работу. Ей это было необходимо сделать после того, как она научилась писать диалог по книге, названной „И восходит солнце“. Я к ней очень хорошо относился и считал, что это прекрасно, раз она научилась писать диалог».

Когда обнаружилось, что Гингрич увлекается рыбной ловлей, они подружились, и Хемингуэй дал согласие публиковаться в его журнале «Эсквайр»: гонорар 250 долларов за небольшой текст на свободную тему. Впервые за 10 лет он вернулся к журналистике. Первый очерк (о ловле марлина) появился в журнале 1 августа 1933 года, а всего Хемингуэй в 1930-х написал для «Эсквайра» 26 текстов: почти все они, за редким исключением, посвящены охоте и спорту. По мнению Уилсона, «Эсквайр» Хемингуэя погубил — «высокомерный, воинственный и хвастливый тон», в каком написаны очерки, был «наихудшей личиной из всех, какие он надевал на себя».

На самом деле ничего высокомерного в эсквайровских очерках Хемингуэя нет. Он говорил, что не придавал значения этой работе, выполняемой ради денег, но старался писать «правдиво, интересно и без претензий». Так и получалось: интересно, правдиво и даже поэтично. О ловле рыбы с катера: «Рыба — существо удивительное и дикое — обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким описаниям и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе, и ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке». Он также описал случай, послуживший позднее сюжетом «Старика и моря»: «Старик не расставался с рыбой день и ночь и еще день и еще ночь, и все это время рыба плыла на большой глубине и тащила за собой лодку. Когда она всплыла, старик подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. Привязанную к лодке, ее атаковали акулы, и старик боролся с ними совсем один в Гольфстриме на маленькой лодке. Он бил их багром, колот гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся, и тогда акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрали его, полуобезумевшего от своей потери, а акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки».

Иногда он писал в «Эсквайр» о литературе и политике, например, предсказывал Вторую мировую в статье «Заметки о будущей войне»: «Было убито более семи миллионов, и убить значительно больше, чем семь миллионов, сегодня истерично мечтает бывший ефрейтор германской армии и бывший морфинист, сжигаемый личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. Он бывший ефрейтор, и в этой войне он будет не воевать, а только произносить речи». Это нормальная качественная журналистика.

Двадцатого июля Хемингуэй вернулся в Ки-Уэст, а 4 августа семейство — он, Полина, Бамби, Патрик и Вирджиния Пфейфер (Грегори оставили дома с няней, Адой Стерн) — двинулось в Европу: родители оттуда поедут в Африку на сафари, а дети с теткой вернутся домой. Три дня провели в Гаване и застали революцию: волнения на Кубе начались весной, а 1 августа антивоенная демонстрация была расстреляна войсками, что положило начало открытым антиправительственным выступлениям. 4-го началась всеобщая забастовка. В отеле было безопасно, но на улицах

стреляли; Хемингуэй сказал, что его симпатии на стороне восставших: «Революция — катарсис, экстаз...» 7-го отплыли в Европу и уже на пароходе узнали, как развивались события: 11-го офицеры столичного гарнизона заставили Мачадо подать в отставку, 12-го диктатор бежал, было сформировано правительство во главе с временным президентом Сеспедесом, но к концу августа правительство оказалось перед лицом очередного взрыва под лозунгом «Куба для кубинцев», в воинских частях распространились слухи о массовых увольнениях из армии, и 4 сентября произошел военный переворот во главе с сержантом-мулатом Фульхенсио Батистой. Была образована Революционная хунта, к власти пришло правительство профессора Грау де Сан-Мартина. Батисту назначили начальником генштаба. Через несколько лет он станет правителем. «Революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании...» Но пока ничто тирании не предвещало.

Прибыли в Испанию — там революция в тиранию не переросла, но страна, казалось, кренится вправо. На парламентских выборах в ноябре 1933-го победят правоцентристские силы, вскоре будет образована фашистская партия «Испанская фаланга», представители крайне правой партии СЭДА войдут в либеральное правительство Лерруса. Хемингуэй написал провидческую статью в «Эсквайр»: «Спектакль с управлением этой страной в настоящее время скорее комический, чем трагический, но трагедия очень близка». Корриде не мешали никакие политические пертурбации, но она разочаровала — Франклин был болен, другие матадоры не понравились. Встретились с Луисом Кинтанильей, выезжали в горы охотиться на кабанов.

26 октября перебрались в Париж — и там все разочаровало, и об этом тоже был написан очерк для «Эсквайра»: «Это был замечательный город, в котором хорошо жить, когда ты совсем молод и это необходимо для образования человека. Мы все были влюблены в него однажды, и мы лжем, если отрицаем это. Но он похож на любовницу, которая не стареет и у которой сейчас новые возлюбленные». Сказался экономический кризис: Монпарнас опустел, американцы вернулись домой. «Но вот что заставляет вас действительно чувствовать себя плохо, так это то, как абсолютно спокойно здесь все говорят о будущей войне. С этим смирились и принимают это как должное».

Кроме работ для «Эсквайра», Хемингуэй написал предисловие к автобиографии Джима Чартерса, содержателя бара в 1920-х, содержащее желчный отзыв о Стайн: салун Чартерса полезнее, чем салон Гертруды. Дурное настроение, возможно, отчасти было связано с тем, что Хедли в

июле вышла замуж за журналиста и поэта Пола Скотта Маурера. Он был на 12 лет старше Хемингуэя, отец двоих детей — как только дети достигли совершеннолетия. Пол и Хедли поженились в Лондоне, где Маурер возглавлял иностранную информационную службу «Чикаго дейли ньюс». В 1934-м Мауреры уедут в Америку, Маурер получит должность главного редактора газеты, в годы войны станет иностранным редактором «Нью-Йорк пост». Брак вышел удачным, Бамби отчима любил. Хорошо, когда твоя жена, который желаешь счастья, по любви выходит за другого, но радоваться этому — свыше человеческих сил. В ноябре появились первые отзывы на «Победителя», тоже не способствовавшие поднятию настроения. Единственная хорошая новость — «Космополитен» был в восторге от рассказа «Один рейс» (One Trip Across) и предлагал за него 5500 долларов — таких гонораров Хемингуэй никогда еще не получал. «Один рейс» опубликовали в апреле 1934 года, в нем впервые появился сквозной персонаж Гарри Морган, рыбак и контрабандист.

В Америке скучно, в Европе грустно — пора в Африку. Группа так и не собралась: Маклиш и Стрейтер отказались ехать, ждали Мейсон, но она не оправилась после травмы и лишь рекомендовала связаться в Танганьике с ее возлюбленным, бывшим полковником британской армии Купером; приехал лишь Чарльз Томпсон. Перед отъездом ужинали с Джойсами — Хемингуэй потом описал разговор: Джойс пожаловался, что круг его тем беден, Дублин, Дублин и Дублин — то ли дело охота на львов; Нора Джойс якобы сказала: «Хемингуэй опишет тебе льва, и тогда ты сможешь подойти, дотронуться до него и почувствовать его запах». Завершили сборы, Эрнест купил свои первые очки, чтобы стрелять метко, и 22 ноября отплыли из Марселя через Порт-Саид, по Суэцкому каналу в Красное море и Индийский океан. 8 декабря прибыли в кенийский город Момбаса, главный порт восточноафриканского побережья, далее поездом в столицу Кении — Найроби, там встретились с Филипом Персивалем, охотником, который должен был руководить экспедицией, остановились на его ранчо. Персиваль был настоящим мужчиной — смелый, сдержанный, немногословный; от него, как считается, Хемингуэй услышал легенду, ставшую эпиграфом к «Снегам Килиманджаро». На юг двинулись на двух грузовиках и легковом автомобиле: Хемингуэй, Томпсон, Персиваль, механик Бен Фурье, африканцы-носильщики. 20 декабря разбили лагерь близ городка Аруша: 200 миль от Найроби, вид на Килиманджаро, неподалеку кратер Нгоронгоро — Хемингуэй был сражен и признал, что Вайоминг и Мичиган ничто перед африканской природой.

К 1930-м количество животных в Африке уже приближалось к

критической отметке, охотники-спортсмены изничтожали все живое, но охраной природы пока никто всерьез не занимался и получить лицензию было несложно. Десять дней охотились удачно — антилопы, газели, два леопарда, все это войдет в «Зеленые холмы Африки» (Green Hills of Africa), чтение не для слабонервных: «Я нащупал сердце около передней ноги, чувствуя, как оно трепещет под шкурой, всадил туда лезвие ножа, но он оказался слишком коротким и только слегка оттолкнул сердце. Я ощущал под пальцами горячий и упругий комок, в который уперлось лезвие, повернул нож, ощупью перерезал артерию, и горячая кровь заструилась по моей руке». «Я выждал, когда газель остановилась, видимо, не в силах бежать дальше, и, не вставая, продев руку в ремень ружья, стал стрелять ей в шею, медленно, старательно, и промазал восемь раз кряду, в порыве безудержной злости целясь в одно и то же место и тем же манером... Я протянул руку к М'Кола (оруженосец из племени масаи. — М. Ч.) за новой обоймой, старательно прицелился, но промахнулся, и лишь на десятом выстреле перебил эту проклятую шею. Затем я отвернулся, даже не поглядев на свою жертву». Сравните с Гумилевым, также одержимым африканской охотой: «Я подошел к леопарду: он был уже мертв, и его остановившиеся глаза заволокла уже беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. <...> Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно».

Теперь дамы могут открыть глаза — были, оказывается, и добрые, слащавые эпизоды: «Из-за куста выскочил маленький кролик и заметался в ужасе; масаи, бежавшие за нами во всю прыть, поймали кролика, и самый рослый из них, нагнав машину, протянул его мне. Я взял зверька и, почувствовав, как колотится сердце в мягком, теплом, пушистом тельце, погладил его, а масай дружески похлопал меня по плечу. Взяв кролика за уши, я протянул его обратно масаю. Где там! Масай не брал его — это был подарок. Я передал кролика М'Кола, но тот счел все шуткой и вернул его одному из масаев. Мы продолжали путь, а масаи снова побежали следом. Взявший кролика нагнулся, посадил его на траву, и когда он пустился наутек, все засмеялись. <...> — Хорош масай, — растроганно промолвил М'Кола. — Масай — много скота. Масай не убивает, чтобы есть. Масай убивает только врага». Врагами были, например, гиены, убивать которых... смешно. «А сколько смеха вызывал этот отвратительный остромордый зверь, когда выскакивал из высокой травы в десяти шагах от нас! Гремел выстрел, и гиена начинала вертеться на месте и бить хвостом, пока не

испускала дух. М'Кола забавлялся, глядя, как гиену убивали почти в упор. Ему доставляли удовольствие веселое щелканье пули и тревожное удивление, с которым гиена вдруг ощущала смерть внутри себя».

Казалось ли Хемингуэю, что его возбуждение похвально, или он видел, что в нем есть нечто странное? «Я со спокойной душой убивал всяких зверей, если мне удавалось сделать это без промаха, сразу: ведь всем им предстояло умереть, а мое участие в „сезонных“ убийствах, совершаемых каждый день охотниками, было лишь каплей в море». Но — «человек не может долго оставаться на грани такого возбуждения, какое я испытал сегодня; убив живое существо, пусть всего лишь буйвола, он внутренне весь как-то сжимается. Не такое это чувство, чтобы им можно было делиться с окружающими...».

Новый, 1934 год начался неудачно: Хемингуэй заболел амебной дизентерией, очень страдал, отмщенныи гиены злорадно смеялись — в «Снегах Килиманджаро» они будут хохотать над умирающим. Уговаривали лечь в больницу — отказался и был вознагражден, убив первого льва — вот достойный друг и любимый, который заслуживает, чтоб ему даровали красивую смерть. Но красиво не получилось: «Я был так удивлен тем, что лев просто-напросто свалился мертвым от выстрела, тогда как мы ожидали нападения, геройской борьбы и трагической развязки, что чувствовал скорее разочарование, чем радость». В середине января больному стало так худо, что пришлось лететь в Найроби. Пролетали мимо вершины Килиманджаро — она вдохновила на, быть может, самые прекрасные строки, когда-либо написанные Хемингуэем: «И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, — попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь».

Пока что он держал путь в больницу, откуда отправил Гингричу иронический очерк «Амебная дизентерия в Африке». 23 января оправился от болезни и догнал группу в местности к югу от вулкана Нгоронгоро.

Объектами охоты на сей раз были зебры, ориксы, куду. Томпсон опять заметил что-то болезненное в том, как его товарищ реагировал на чужие успехи — у других всегда и зверь больше, и дальность выстрела лучше, и из-за этого обиды и гнев. Переместились в ущелье Рифт, разбили лагерь близ танзанийского города Бабати, заехали в гости к Куперу, познакомились с еще одним известным «белым охотником», датчанином Брором фон Бликсеном — бывшим мужем известной впоследствии писательницы Карен Бликсен. Охота шла плохо, добыча скучная, много змей, вида которых Хемингуэй не выносил (а честно сказать, просто боялся); Персиваль предложил перебраться в район Кибайя, где много куду. Разбили лагерь близ Киджунгу. Первого куду убил Томпсон, после чего, по его словам, Хемингуэй бросился на него с кулаками. Потом по ошибке убил самку, а самца не добил — это вызвало угрызения совести: «Лучше бы уж я промахнулся! <...> Я сделал подлость, прострелив ему брюхо».

Экспедиция длилась 72 дня и закончилась с наступлением сезона дождей. «Я хотел только одного — вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней...» Персиваль сопровождал клиентов до городка Малинди на северном побережье Кении, где к ним присоединился фон Бликсен — заказали катер, рыбачили. 28 февраля отплыли в Париж, пробыли там девять дней. Снова обед с Джойсами, встреча с Сильвией Бич, от которой Хемингуэй услышал о сборнике критических эссе Уиндема Льюиса (того, что присутствовал на уроках бокса с Паундом): заглавие книги пародировало сборник «Мужчины без женщин» — «Мужчины без искусства», а самая разносная статья называлась «Тупой бык».

Льюис утверждал, что Хемингуэй «одержим войной», но воспринимает ее лишь как повод продемонстрировать мужественность; он «интересуется войной, но не причинами войны, не теми, кто извлекает из войны выгоду, или человеческими судьбами, вовлеченными в нее» — последнее утверждение странно, ибо что такое «Прощай, оружие!», если не рассказ о судьбах людей, вовлеченных в войну? Льюис также заявил, что стиль Хемингуэй заимствовал у Гертруды Стайн, а еще один упрек заключался в том, что персонажи Хемингуэя примитивны. Их, а не автора, он называл «тупыми быками», но Хемингуэй в очередной раз сделал вид, что не понял критика, заявил, что «тупым» назвали его, и обещал «выбить из Льюиса дерьмо». Сильвия пыталась его отвлечь, познакомила с Кэтрин Энн Портер, он не заинтересовался, будучи поглощен планами мести Льюису (неосуществившимися). 27 марта Хемингуэй отплыли в Нью-Йорк (попутчицей оказалась Марлен Дитрих; их знакомство продлится много

лет), где в дорогой таксидермистской фирме были заказаны чучела и шкуры: лев, леопард, головы антилоп.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей... <...>
Я не оскорбляю их неврастением,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.

От автора этих строк все знают, что надо делать: спалить усы убитому леопарду, дабы его дух вас не преследовал. Хемингуэй не спалил. Ах, зря он не сделал этого!

Глава одиннадцатая БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

До возвращения в Ки-Уэст было еще одно важное дело: покупка яхты. 4 апреля съездили на верфи в Бруклин, заказали яхту: 38 футов длиной, два дизельных двигателя, один в 75 лошадиных сил, другой в 40, скорость 16 узлов при спокойном море, объем бака 300 галлонов топлива, запас хода около 500 миль с экипажем из семи человек, два кубрика, каюты с санузлами, в камбузе ледник и спиртовая плита, заказали дополнительные устройства для ловли и хранения рыбы. Стоило это чудо 7500 долларов — оплатил в рассрочку, деньгами, полученными авансом от Гингрича, дал имя «Пилар» в честь святой и в честь жены (это было одно из ее домашних имен).

В мае была начата работа над «Зелеными холмами». Да что о ней говорить — самодовольный, жестокий, написал, как развлекаются богатенькие туристы... Ничего подобного: человек, который отбросил интеллигентность, — обманка, он только о книгах и думает, и в поездке его сопровождает любимый Толстой. Как и «Смерть», «Зеленые холмы» — эссе о литературе; его герои — не львы, а книги, и цель, видимо, ставилась та же: проводя параллели с мужественным спортом, продемонстрировать, что такое мужественная литература. Удалось ли достичь цели — другой вопрос. Параллель демонстрируется «в лоб» и неубедительно: «Настоящий охотник бродит с ружьем, пока он жив и пока на земле не перевелись звери, так же как настоящий художник рисует, пока он жив и на земле есть краски и холст, а настоящий писатель пишет, пока он может писать, пока есть карандаши, бумага, чернила и пока у него есть о чем писать, — иначе он дурак и сам это знает». Следуя этой логике, легко заменить первую половину фразы: настоящий сантехник бродит с гаечным ключом, пока не перевелись краны, настоящий стоматолог — с бормашиной, пока не перевелся кариес, а настоящий педофил — пока не перевелись детишки, «иначе он дурак и сам это знает» — и все это то же самое, что искусство.

В «Смерти» автор ввел старушку, чтобы полемизировать с ней, — в «Зеленых холмах» есть подобный персонаж, некто Кандинский, чьи глупые вопросы позволяют автору высказаться о литературе. (Прототип Кандинского — повстречавшийся в Африке австриец Ганс Коритшонер, не факт, правда, что он задавал хоть один вопрос из тех, на которые отвечает герой «Зеленых холмов». Коритшонер осуждал охоту на редких животных, стал экологом, в конце 1950-х просил у Хемингуэя денег на заповедник —

неизвестно, получил ли.)

«У нас нет великих писателей, — сказал я. <...> У нас в Америке были блестящие мастера. Эдгар По — блестящий мастер. Его рассказы блестящи, великолепно построены — и мертвы. Были у нас и мастера риторики, которым посчастливилось извлечь из биографий других людей или из своих путешествий кое-какие сведения о вещах всамделишных, о настоящих вещах, о китах, например, но все это вязнет в риторике, точно изюм в пудинге. Бывает, что такие находки существуют сами по себе, без пудинга, тогда получается хорошая книга. Таков Мелвилл. Но те, кто восхваляет Мелвилла, любят в нем риторику, а это у него совсем неважно. <...> Эмерсон, Готорн, Уиттьер и компания. Все наши классики раннего периода, которые не знали, что новая классика не бывает похожа на её предшественницу. Она может заимствовать у того, что похуже её, у того, что отнюдь не стало классикой. Так поступали все классики. Некоторые писатели только затем и рождаются, чтобы помочь другому написать одну-единственную фразу. Но быть производным от предшествовавшей классики или смахивать на неё — нельзя. Кроме того, все эти писатели, о которых я говорю, были джентльменами или тщились быть джентльменами. Они были в высшей степени благопристойны. Они не употребляли слов, которыми люди всегда пользовались и пользуются в своей речи, слов, которые продолжают жить в языке. В равной мере этих писателей не заподозришь в том, что у них была плоть. Интеллект был, это верно. Добропорядочный, сухонький, беспорочный интеллект».

Все же были и хорошие писатели: Генри Джеймс, Стивен Крейн и автор «Гекльберри Финна», книги, из которой вышла вся американская литература, но даже в ней есть недостатки: «Если будете читать её, остановитесь на том месте, где негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Все остальное — чистейшее шарлатанство».

Выжить писателю трудно, труднее, чем леопарду в Африке. Его губят «политика, женщины, спиртное, деньги, честолюбие. И отсутствие политики, женщин, спиртного, денег и честолюбия». Писатели «начинают сколачивать деньгу», а разбогатеv, — «жить на широкую ногу — и тут-то они и попадаютv. Теперь уж им приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, и прочая, — а в результате получается макулатура». Их также губят критики: «Если верить критикам, когда те поют тебе хвалы, приходится верить и в дальнейшем, когда тебя начинают поносить, и вот ты теряешь веру в себя». Бывают такие, что «мнят себя духовными вождями» — это их губит. Еще губит мода: «Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они

будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой». Губит общение: «Писатели должны встречаться друг с другом только тогда, когда работа закончена, но даже при этом условии не слишком часто. Иначе они становятся такими же, как те их собраты, которые живут в Нью-Йорке. Это черви для наживки, набитые в бутылку...»

Если человек хочет остаться писателем, он должен стремиться к небывалому совершенству: «Ведь есть четвертое и пятое измерения, которые можно освоить.<...> — По-моему, то, о чем вы говорите, называется поэзией. — Нет. Это гораздо труднее, чем поэзия. Это проза, еще никем и никогда не написанная. Но написать ее можно, и без всяких фокусов, без шарлатанства». Что нужно, чтобы писать такую прозу? «Во-первых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом нужно иметь ясное представление о том, какой эта проза может быть, и нужно иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того чтобы уберечься от подделки. Потом от писателя требуется интеллект и бескорыстие, и самое главное — умение выжить».

Писателя Хемингуэя жизнь мытарил (громкая слава, богатая жена, здоровые дети, усадьба, яхта, сафари — не в счет) — «меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком» — но он выжил: «У меня много других интересов. Жизнью своей я очень доволен, но писать мне необходимо, потому что, если я не напишу какого-то количества слов, вся остальная жизнь теряет для меня свою прелесть. <...> Мне нужно писать — и как можно лучше, и учиться в процессе работы. И еще я живу жизнью, которая дает мне радость».

Высказывания Хемингуэя о литературе глубоки и блестящи, но органичная сцепка двух видов искусства, в отличие от «Смерти», не получилась. «Литературный» фрагмент остался в книге инородным телом. Трудно доказать, что охота и писательство суть одно и то же. В «Смерти» воспевался бой, в «Зеленых холмах» — убийство. Ведь нельзя же всерьез говорить о «поединке» с газелью, да и на льва богатый турист выходит не с копьем.

В том же году Хемингуэй вновь обратился к теме искусства — летом он познакомился с Арнольдом Сэмюелсоном, молодым журналистом, и, используя его как спарринг-партнера в диалоге, написал для «Эсквайра» очерк «Маэстро задает вопросы». «Писать хорошо — значит писать правдиво. А правдивость рассказа будет зависеть от того, насколько автор знает жизнь и насколько добросовестно он работает, чтобы, даже когда он выдумывает, это было как на самом деле. Если же он не знает, как поступят

и что подумают в данных обстоятельствах люди, то на какое-то время его может выручить случай или он вообще специализируется на выдумке. Но если он будет и дальше писать о том, чего не знает, то может получиться только фальшь». — «А как же воображение?» — «Никто не знает толком, что это такое, кроме того, что мы получаем его задаром. После честности — это второе качество, необходимое писателю. Чем больше он узнает из опыта, тем правдивее будет его вымысел. А если он сможет воображать достаточно правдиво, то люди поверят, что все, о чем он рассказывает, действительно произошло и что он просто по-репортерски зафиксировал это».

В статье сформулированы знаменитые советы по технике работы: «Всегда останавливайтесь, пока еще пишется, и потом не думайте о работе и не тревожьтесь, пока снова не начнете писать на следующий день. При этом условии вы подсознательно будете работать все время». — «А какова может быть тренировка писателя?» — «Наблюдайте, что делается вокруг. <...> Запоминайте все звуки и кто что говорил. Старайтесь понять, что вызвало именно эти чувства, какие действия особенно вас взволновали. Потом запишите все это четко и ясно, чтобы читатель мог сам все увидеть и почувствовать то же, что и вы. <...> Потом подойдите с другой стороны, попытайтесь представить себе, что творится в чужой голове. Например, если я на вас ору, старайтесь вообразить, что я при этом думаю, а не только, как вы на это реагируете. <...> Вслушивайтесь в разговоры. Не думайте о том, что вы сами собираетесь сказать. Большинство людей никогда не слушают. И не наблюдают. Войдя в комнату и тут же выйдя из нее, вы должны помнить все, что вы там увидели, и не только это. Если у вас при этом возникло какое-то чувство, вы должны точно определить, что именно его вызвало. Упражняйтесь в этом. В городе, стоя у театра, смотрите, как по-разному выходит народ из такси и собственных машин».

Хемингуэй также составил перечень хороших писателей (он длиннее, чем в «Зеленых холмах») — всех их надо «обскакать». «В наше время писателю надо либо писать о том, о чем еще не писали, или обскакать писателей прошлого в их же области. И единственный способ понять, на что ты способен, это соревнование с писателями прошлого. Большинство живых писателей просто не существуют. Их слава создана критиками, которым всегда нужен очередной гений, писатель, им всецело понятный, хвалить которого можно безошибочно. Но когда эти дутые гении умирают, от них не остается ничего. Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает».

Некоторые живые писатели все же существовали и даже пытались

писать: у Скотта Фицджеральда в 1934-м вышел роман «Ночь нежна». В апреле в Нью-Йорке произошла встреча, Фицджеральд был трезв, чем Хемингуэй остался недоволен и назвал его занудой, а в мае, прочтя «Ночь», писал ему: «Книга твоя и понравилась мне и нет. Она начинается великолепным описанием Сары и Джеральда... А потом ты стал придумывать им историю, превращать их в других людей, а этого делать не следует, Скотт. <...> Кроме того, ты уже давно перестал прислушиваться к чему-либо за исключением ответов на твои собственные вопросы. В книге есть и лишние куски — хорошие, но лишние. <...> Бога ради, пиши и не думай о том, что скажут, или о том, будет ли твоя вещь шедевром. У меня на девяносто одну страницу дерьма получается одна страница шедевра. Я стараюсь выбрасывать дерьмо в корзину для мусора. Ты печатаешь все, чтобы жить и давать жить. <...> Забудь о личном горе. Все мы обжигались поначалу, а ты, в особенности, прежде чем начать писать что-то серьезное, должен испытать настоящую душевную боль. Но, пережив эту треклятую боль, выжимай из нее все, что можешь, не играй с нею. Оставайся предан ей как исследователь, только не думай, что событие обретает значимость лишь оттого, что это случилось с тобой или с кем-то из твоих близких. <...> Видишь ли, Бо, ты не трагический персонаж. Как, впрочем, и я. Мы всего лишь писатели и должны только писать. <...> Но, Скотт, хорошие писатели всегда возвращаются. Всегда. А ты сейчас в два раза лучше, чем в то время, когда ты мнил себя великолепным писателем. Знаешь, я никогда не считал „Гэтсби“ шедевром. Теперь ты можешь писать в два раза лучше. Нужно только писать искренне и не заботиться о том, какая участь ждет твою работу».

Письмо ядовитое — и «Гэтсби» не шедевр, и новая книга так себе, но в нем не было учительских приказов «сократи — убери», так что Фицджеральд ответил восторженно, благодаря друга, превознося его работу и выражая надежду, что «туман недоразумений» рассеялся. Однако вскоре он начал писать исторический роман, герой которого, французский барон — карикатурный «портрет Эрнеста, перенесенного в средние века». В декабре Хемингуэй пригласил Фицджеральда на рыбалку — тот отказался, писал Перкинсу, что бывшая дружба — «одна из самых ярких страниц в моей жизни. Но я все же продолжаю считать, что таким отношениям когда-то приходит конец, хотя бы в силу присущего им чрезмерного накала». А теперь вот что интересно: Хемингуэй еще несколько раз перечтет «Ночь» и будет менять мнение о романе в лучшую сторону, пока скрепя сердце не признает его «превосходным». Фицджеральд книг Хемингуэя не перечитывал...

Параллельно с «Зелеными холмами» писались очерки для «Эсквайра», отнюдь не только о спорте. Хотя Хемингуэй кокетливо заявил в «Маэстро», что разговоры о литературе ему «осточертели», он не упускал случая поговорить о ней. Статья «В защиту грязных слов» — ответ Менкену, написавшему разгромную рецензию на «Смерть» и, в частности, утверждавшему, что автор использует «грубые слова» нарочито. Хемингуэй объяснил, что использует те слова, которые употребляют люди. «Старый газетчик пишет» — ответ критикам, упрекавшим в аполитичности: «Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее. Если эта партия победит, карьера такого писателя обеспечена. <...> Он может быть фашистом или коммунистом, и если его партия победит, он получит должность посла, или миллионные тиражи за государственный счет, или любую награду, потому что все революционные литераторы честолюбивы. <...> Одни из моих друзей сделали карьеру, другие сидят в тюрьмах, но ни то ни другое не поможет писателю, если он не отыщет того нового, что сможет дать читателям. Иначе он будет смердеть после смерти как любой другой писатель — только цветов на его похоронах будет больше и вонять он будет дольше».

Тем не менее политические взгляды он высказывал, в частности по поводу событий в Испании. В январе 1934 года на парламентских выборах в Каталонии победу одержали левые силы, а в остальных регионах — правые, после чего произошло несколько забастовок, особенно сильных в Каталонии и другом промышленном регионе, Астурии; там и там возник альянс социалистов и анархистов. В октябре популярный политик Луис Компанис объявил об образовании независимой Каталонской республики. На подавление каталонского мятежа правительство бросило войска, а тем временем в Астурии шахтеры восстали и провозгласили рабоче-крестьянскую республику. Центральное правительство ввело военное положение, в мятежные районы направили генерала Франсиско Франко, быстро подавившего восстание; газеты прочили его в диктаторы.

В астурийском восстании участвовал Луис Кинтанилья, который был арестован, Хемингуэй принял участие в организации в Нью-Йорке его выставки, подписал петицию за освобождение, опубликовал статью об испанских рабочих: «Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями; кто никогда не хранил запрещенного оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамваи по заведомо минированным путям; <...> кто

никогда не стрелял в лошадь и не видел, как копыта пробивают голову человека; кто никогда не попадал под град пуль или камней; кто никогда не испытал удара дубинкой по голове и сам не швырял кирпичей». В «Зеленых холмах» Хемингуэй выступал против риторики и, наверное, правильно делал: сам, впадая в риторику, становился напыщен и нелогичен. Нельзя говорить о революции тем, кто не начинал бомб, не водил трамваев и не стрелял в лошадь — а сам он ничего этого не делал и все же говорил о ней и, разумеется, имел право говорить, как любой писатель, независимо оттого, водил он трамвай или нет, а уж читатель имел право слушать его или не слушать.

Американская жизнь, в отличие от европейской, была скучна. Приезжал Ирвинг Стоун, спросил, почему Хемингуэй не напишет роман об Америке, ответ — «неинтересно», «ничего не происходит». Стоун заговорил о социальных и экономических реформах Рузвельта, Хемингуэй сказал, что это «не его материал». В черновике «Зеленых холмов» он писал: «Хороший писатель должен быть против государства, каким бы оно ни было. Всегда и всюду есть множество писателей, обслуживающих государство. Писатель как человек имеет право сражаться за государство, за любую партию. Но если он пишет для государства или партии, он — шлюха».

Весна и лето в Ки-Уэсте прошли тихо, в работе, если не считать бесконечных гостей — Спейсер, Дос Пассос, Мерфи (у них скоро умрет ребенок — Хемингуэй напишет, что нужно держаться, жить и заботиться друг о друге, но не горевать, ибо никто не живет вечно — утешать людей, потерявших близких, он не очень-то умел), Маклиши, Томпсоны, Уолдо Пирс, брат Лестер, кубинский художник Антонио Гатторно (ему помогал устроить выставку). Приехали ученые — Чарльз Адуаладер, директор Института естественных наук в Филадельфии, и ихтиолог Генри Фаулер, изучали тунца и марлина, выходили в море на «Пилар» (капитан — Хемингуэй, помощник — пожилой рыбак Карлос Гутьеррес), сказали, что благодаря сведениям, полученным от Хемингуэя, смогли внести дополнения в классификации, и даже назвали в его честь рыбу — «Neomerinthe Hemingwayi». Это был для него новый мир — не «простые» люди и не люди искусства — и он был заинтригован, растроган и польщен. Жаль, наверное, что ему немного доводилось общаться с учеными. Сними, включая и некоторых филологов, он держался уважительно, почти робко.

Восемнадцатого июля отправился в длительное плавание на «Пилар» с Гутьерресом и коком, рыбачил, потом осел в Гаване, дописывал «Зеленые холмы», вернулся 26 октября. Через пару недель вновь появился Дос

Пассос с женой — он провел лето в Голливуде, писал сценарии. Поругались: Хемингуэй презрительно отозвался о работе сценариста, Дос и Кэтрин сочли, что он стал «знаменитым писателем и знаменитым охотником, свысока глядящим на смертных и поучающим всех и каждого». Из-за таких же пустяков он поссорился с Маклишем, с которым дружил 10 лет. Место старых друзей занимали новые — Сэмюелсон, начинающий писатель Эдгар Калмер, которому Хемингуэй помог деньгами и рекомендательными письмами. Эти новые друзья были очень молоды и к ним он относился по-отцовски. Его возраст уже приближался к тридцати пяти.

«Зеленые холмы» он начерно дописал в ноябре, на Рождество ездили с Полиной и Патриком в Пиготт, там единственным развлечением была охота на перепелов с тестем, да и та не удалась: простудился, сидел дома, правил рукопись, к середине января закончил. Приехал Перкинс, прочел книгу, предложил показать ее специалистам по африканской фауне и местным наречиям — автор отказался. Перкинсу не нравилась книга (он предлагал другой проект — собрание сочинений), к тому же автор требовал за сериализацию в «Скрибнерс мэгэзин» 15 тысяч долларов, а Перкинс предлагал три тысячи (сошлись на пяти). С мая 1935-го началась сериализация, осенью должна была выйти книга, а лето — время каникул. На Кубу на сей раз не поехали, выбрали другое место, славившееся пляжами и рыбалкой — Бимини, группу островков (входят в состав Багамских островов) в 40 километрах от Майами.

Местечко, как писал Хемингуэй Саре Мерфи, затмило даже Африку: нетронутая природа, чистейшая вода, полно рыбы, один, зато первоклассный, отель и никаких автомобилей, контингент — «веселящаяся компания богатых спортсменов, прибывших сюда на роскошных белоснежных яхтах», как писали советские хемингуэеведы, не упоминая, что герой сам был одним из этих спортсменов, только яхта у него была зеленая. (Богатый спортсмен не обязательно бездельник: почти все из той компании имели профессию или бизнес.) Отплыли в начале апреля: Хемингуэй, Томпсон, Дос Пассос с Кэтрин и двое матросов. Полина, дети и Вирджиния должны были присоединиться позднее. Охотились на тунца и попутно на акул, которые набрасывались на плененную рыбу: это был враг, для борьбы с которым хотелось задействовать все средства, включая огнестрельное оружие. Хемингуэй стрелял в акулу из револьвера, попал, естественно, себе в ногу, пришлось вернуться домой и лечиться (он написал об этом юмореску в «Эсквайр»), Перед вторичным отплытием (к команде присоединился Майк Стрэйтер) Хемингуэй купил у другого

спортсмена ручной пулемет. Подцепили тунца, опять напали акулы, стали стрелять в них из пулемета, хитрые акулы увернулись, расстреляли одного тунца. После этого спутники Хемингуэя упростили его оставить пулемет в покое.

На Бимини новым другом стал Майкл Лернер, крупный бизнесмен и страстный рыбак: разработали регламент соревнований, кодекс рыболова-спортсмена, решили учредить клуб. Хемингуэю везло: в первые же дни он поймал двух громадных тунцов. Соревнования перемежались вечеринками и поединками любителей бокса: в одном из них, с сыном владельца журнала «Кольерс» Кнаппа, была одержана победа, другие, с профессионалами Томом Хини и Уиллардом Сандерсом, были остановлены «по взаимной договоренности». Жил Хемингуэй сначала в отеле, потом приобрел коттедж, названный «Марлин-хауз». Хотел остаться до октября, но чувствовал себя неважно, и «Пилар» нуждалась в ремонте — в середине августа пришлось вернуться в Ки-Уэст.

Среди ожидавшей почты была посылка от Гингрича, а в ней — вышедший в Москве сборник рассказов, озаглавленный «Смерть после полудня», и майский номер советского журнала «Интернациональная литература» со статьей «Трагедия мастерства». (В январском номере того же журнала за 1934 год был опубликован рассказ «Убийцы».) Статью о творчестве Хемингуэя написал его ровесник Иван Александрович Кашкин, критик и переводчик; первый перевод из Хемингуэя он опубликовал в 1927 году.

«Вы читаете невеселый рассказ излюбленного хемингуэевского героя, всегда одного и того же, несмотря на разные имена, и начинаете осознавать: то, что казалось авторским лицом — это Маска... Вам представляется человек, болезненно сдержанный, всегда замкнутый и осторожный, очень целеустремленный, очень усталый, приближающийся к последней черте, изнемогающий под грузом обстоятельств. <...> Неизбывная печаль его усмешки обусловлена трагической дисгармонией в душе автора, физическими страданиями, ведущими к распаду». Говоря о физических страданиях, Кашкин имел в виду последствия автомобильной аварии, слухи о которой докатились до Москвы, но не только ими он объяснял трагедию Хемингуэя: главная трагедия заключалась, разумеется, в том, что автор не имел четкой политической позиции и вследствие этого его душу заполнили «одиночество и вакуум». Правда, виноват был не он, а «машина буржуазного строя, перемальвающая отборный человеческий материал, дабы превратить его в тщательно замаскированную, приглаженную пустоту».

Хемингуэю статья очень понравилась. Почему? Сам факт, что его книгу знают в далекой России, привел его в восторг, о чем он сообщил Перкинсу, но этого мало. Ему польстило, что русский называл его «превосходным мастером слова» и «великолепным спортсменом»? Да, но более всего, вероятно, тронуло, что Кашкин охарактеризовал его как фигуру трагическую (в заглавии следующей статьи Кашкина о нем тоже будет слово «трагедия»). Американцы и европейцы, знакомые с Хемингуэем и имевшие представление о его образе жизни, трагизма замечать не хотели: они видели благополучного человека, переезжающего с одного шикарного курорта на другой; аварию, к которой привело управление в нетрезвом виде, они могли расценить в лучшем случае как трагифарс. И все же правы были не они, а Кашкин, ибо сам Хемингуэй воспринимал свою жизнь как трагедию, а только это и важно. Но в таком случае дама, страдающая из-за дешевизны своих жемчугов, вправе считать себя трагической фигурой? Да — если она сумеет передать свое трагическое мироощущение в книге так, чтобы мы поверили...

Девятнадцатого августа Хемингуэй ответил письмом, где наряду с выдумками о своей жизни (которые Кашкин принял за чистую монету) изложил принципы творчества: «Теперь все стараются запугать тебя, заявляя устно или в печати, что если ты не станешь коммунистом или не воспримешь марксистской точки зрения, то у тебя не будет друзей, и ты окажешься в одиночестве. Очевидно, полагают, что быть одному — это нечто ужасное; или что не иметь друзей страшно. Я предпочитаю иметь одного честного врага, чем большинство тех друзей, которых я знал. Я не могу быть сейчас коммунистом, потому что я верю только в одно: в свободу. Прежде всего я подумаю о себе и о своей работе. Потом я позабочусь о своей семье. Потом помогу соседу. Но мне дела нет до государства. Оно до сих пор означало для меня лишь несправедливые налоги. Я никогда ничего у него не просил. Может быть, у вас государство лучше, но, чтобы поверить в это, мне надо было бы самому посмотреть. Да и тогда я немного узнаю, потому что не говорю по-русски. <...>

В какие бы времена я ни жил, я всегда смог бы о себе позаботиться; конечно, если бы меня не убили. Писатель — как цыган. Он ничем не обязан любому правительству. И хороший писатель никогда не будет доволен существующим правительством, он непременно поднимет голос против властей, а рука их всегда будет давить его. С той минуты, как вплотную сталкиваешься с бюрократией, уже не можешь не возненавидеть ее. Потому что, как только она достигнет определенного масштаба, она становится несправедливой. <...> Если вы думаете, что такие взгляды

грозят опустошенностью и делают из личности человеческий брак, то, по моему, вы не правы. <...> Если ты веришь в свое дело, как я верю в важность работы писателя, и непрестанно работаешь, — у тебя не может быть разочарования, разве что ты слишком падок до славы. И только не можешь примириться с тем, как мало времени отпущено тебе на жизнь и на то, чтобы сделать свое дело. <...> Приятно, когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо. Каким я при этом кажусь, не имеет значения. Здесь у нас критика смехотворна. Буржуазные критики ни черта не понимают, а новообращенные коммунисты ведут себя, как и подобает новообращенным: они так стараются быть правоверными, что их заботит только, не было бы ереси в их критических оценках».

Заочное общение с Кашкиным продлится лишь до 1939 года, но теплые воспоминания останутся. «Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеголовый, теперь, должно быть, седой. Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались», — напишет Хемингуэй Симонову в 1946 году, а Кашкин — своему гимназическому другу А. А. Реформатскому в 1960-м: «Сашинэ ты мое, Сашинэ! *Есть в Гаване старик краснорожий, На тебя бородою похожий, / Может, вспомнит и он обо мне...*» Первая книга о Хемингуэе на русском языке, написанная Кашкиным, выйдет в свет для обоих посмертно — в 1966-м.

*

Тридцать первого августа объявили штормовое предупреждение — на Ки-Уэст шел ураган. Ночью 2 сентября он достиг острова, Хемингуэй выходил, беспокоясь за яхту, с ней все обошлось, но наутро он узнал, что последствия были ужасны.

В Ки-Уэст находилось несколько лагерей, где нанятые государством безработные, преимущественно ветераны Первой мировой, строили дорогу. Власти пытались эвакуировать рабочих, но сделали это с запозданием, и предназначенный для них поезд ураган сорвал с рельсов. Лагеря были плохо укреплены, погибло около тысячи рабочих и несколько местных жителей. Хемингуэй вышел в море с Бра Сандерсом, пытались спасти кого-нибудь — живых не было. Он писал Перкинсу, что в этот день увидел столько мертвых, сколько не видел с лета 1918 года. Редактор коммунистического журнала «Нью мэссиз» Джозеф Норт предложил Хемингуэю написать о катастрофе. Он написал статью «Кто погубил

ветеранов войны во Флориде». «Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов? Кто виновен в их гибели?»

Статья была великолепная — о чем о чем, а о смерти Хемингуэй писать умел как никто, — но с журналом произошел конфликт: автор употребил глагол kill, которым обозначают действие, повлекшее гибель человека, а редакция самовольно заменила его на murder, то есть «преднамеренное преступное убийство». Перкинсу Хемингуэй писал, что по-прежнему не питает к левым, как и к правым, ни малейшей симпатии, но после публикации в «Нью мэссиз» многие подумали, что он наконец стал «красным», и на него посыпались письма от левых литераторов, выражавших надежду, что он обрел идеалы. Он отвечал вежливо и сухо: свой единственный идеал по-прежнему видит в том, чтобы правдиво писать о жизни.

Двадцать пятого октября тиражом в 10 500 экземпляров вышли «Зеленые холмы Африки» с посвящением Персивалю, Томпсону и Салливану, с иллюстрациями художника Шентона. Хемингуэй был в это время в Нью-Йорке, по свидетельству Перкинса, волновался, предвидя злобные отзывы критиков. Они были разные. Хвалебные: «лучшая книга об охоте», «магическая, легкая, ясная проза», «великолепные портреты людей». «Я прочла книгу Хемингуэя „Зеленые холмы Африки“». Она произвела очень сильное впечатление. Когда я оказалась там, это мерцание, этот свет, это тепло и эти краски, которые так отличались по яркости от всего, что есть в Европе, все это совершенно очаровало меня. Это напоминало мне художников-импрессионистов — Мане, Моне, Сезанна», — писала Лени Рифеншталь. Но преобладали ругательные рецензии: «миленькая книжечка», «писания обо всем и ни о чем». Льюис Ганнетт: «Очередное сафари», Эдмунд Уилсон: «Единственная по-на-стоящему слабая книга Хемингуэя». Писатель Эбнер Грин, поклонник Хемингуэя, в журнале «Америкен критерий» опубликовал открытое письмо: такой автор должен писать о чем-то более значительном, нежели охота и рыбалка. Хемингуэй ответил ему то же, что Кашкину: писатель никому ничего не должен. Книга не имела успеха и у публики, которой нужен сюжет — любовь, преступление, интриги; эссе она не любит. Правдивое описание жизни? Но как проверишь, ведь такая жизнь доступна лишь богачам. А для подростков, любящих читать о путешествиях, книга слишком заумная... Хемингуэй был в отчаянии и ругал Перкинса за высокую цену на книгу и плохую рекламу.

Фицджеральд написал, что «Зеленые холмы» — очень слабая работа, Хемингуэй отозвался: «Рад отметить, что ты по-прежнему не умеешь

отличить хорошую книгу от плохой». Приглашал бывшего друга на Кубу, чтобы присутствовать при очередном перевороте: «Если на тебя действительно навалилась тоска, застрахуй себя на кругленькую сумму, а уж я позабочусь о том, чтобы ты не остался в живых... Я напишу чудесный некролог, из которого Малькольм Каули вырежет лучшие куски для „Нью рипаблик“». Фицджеральд шуточного тона не поддержал и от приглашения отказался.

Поздней осенью 1935 года Хемингуэй писал второй рассказ о Гарри Моргане, «Возвращение контрабандиста» (The Tradesmen Return), герой доставляет спиртное с Кубы в Ки-Уэст, таможенная охрана ранит его, он теряет руку; текст вышел в «Космополитен» в марте 1936-го, а в январе того же года в «Эсквайре» появилась аналитическая статья «Крылья над Африкой» — о нападении фашистской Италии на Абиссинию. «Следующий ход Италии мне сейчас представляется таким: она постарается путем тайного сговора с европейскими державами обеспечить себе свободу действий и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе „большевизма“ в стране. Иногда государства с демократическим образом правления объединяются, чтобы помешать какому-либо диктатору осуществить свои империалистические замыслы (особенно если их собственные империалистические владения достаточно прочно защищены). Но стоит такому диктатору завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне».

Это один из блестящих образцов поздней хемингуэевской публицистики — здесь и афоризмы («Долго любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки»), и глубокие мысли, применимые не только к Италии («Во время диктатуры опасно иметь хорошую память. Нужно приучить себя жить великими свершениями текущего дня. Пока диктатор контролирует прессу, всегда найдутся очередные великие свершения, которыми и следует жить»), и жуткие картины смерти: «Но главное, о чем дуче следовало бы умалчивать перед своими солдатами, это не опасность угодить после смерти в желудок стервятника, а то, что марабу и стервятники делают с ранеными. Каждый итальянский солдат должен усвоить одно правило: если ты ранен и не можешь подняться на ноги, то хотя бы перевернись лицом вниз».

После этого два месяца ему не писалось; был раздражителен, «кидался» на людей, поссорился с отдохавшим в Ки-Уэст поэтом Уоллесом Стивенсом (тот в разговоре с гостившей у брата Урсулой плохо отозвался о

его творчестве), даже избил его (Стивенс был пожилым человеком), о чем написал Саре Мерфи хвастливый отчет на четырех страницах. У него гостил Уолдо Пирс с семьей, возился со своими и хемингуэвскими детьми, утирал им носы, хозяин за глаза назвал его «одомашненной коровой» и «старой курицей», ведущей себя не по-мужски. Сам он опустил внешне, одевался неряшливо, в том числе при гостях, подолгу не брился, не расчесывал волос, не менял белья: это началось пару лет назад как сознательное «опрощение», завершающий штрих в противопоставлении себя «этим с принстонскими дипломами», «трусам» и «педикам» и переросло в привычку. Что дурного в том, что человек одевается как ему удобно? Да ничего, если это вызвано необходимостью или если человек всегда себя так вел — но Хемингуэй-то в молодости был по-кошачьи чистоплотен, франтоват, уделял немалое внимание прическе... Он погрузнел, расплылся, лицо, все еще очень красивое, обрюзгло; он чрезмерно много пил и ел, принимал никем не прописанные лекарства, жаловался на бессонницу.

Годом раньше подобное состояние началось у Фицджеральда, и тот осенью 1935 года написал миниатюру «В самый темный час», положившую начало серии эссе «Крушение», опубликованной в «Эсквайре» в начале 1936-го. «Мой измочаленный мозг и больные нервы подобны смычку с лопнувшей струной, застывшей над рыдающей скрипкой. Я вижу, как из-за коньков крыш выплывает ужас, леденящий ужас, который вселяется в меня. Я ощущаю его в пронзительных клаксонах полуночных такси, в доносящейся издали заунывной песне горланящих бражников. <...> Ужас утраты овладевает мной. Боже, кем бы я мог стать, доведись мне свершить все, что потеряно, растрчено, угасло, кануло в небытие и чего уже нельзя воскресить! <...> Страх надвигается теперь, как гроза. Что, если эта ночь — предтеча ночи после смерти? Что, если за всем этим последует вечное прозябание на краю пропасти, когда все скверное и дурное выплеснется наружу и все грязное и низменное кажется впереди? Не осталось ни выбора, ни дороги, ни надежды, лишь бесконечное повторение омерзительного и трагического. Может быть, мне придется вечно обивать пороги жизни, и я буду не в силах ни вступить в нее, ни вернуться назад. Часы бьют четыре, я превращаюсь в призрак».

Хемингуэй требовал от писателей правдивости, но не одобрял исповедальности: можно говорить о физических страданиях, о пережитых трагедиях («Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком»), но эти муки должны выглядеть как нечто внешнее (враждебные силы подстрелили, искалечили); признаться же, что ты сам нехорош, слаб,

совершаешь ошибки и жалеешь о них — не по-мужски. Он написал Перкинсу, что «Крушение» ему «омерзительно»: нечего «выставлять напоказ свое слюнтяйство», Скотт — «трус, которого на войне расстреляли бы за дезертирство», человек, который «из молодости перепрыгнул в старость, минуя зрелость». Это был его первый по-настоящему оскорбительный отзыв о Фицджеральде. Кажется, теперь их дружба умерла. Оба сделали для этого все возможное.

В марте в Ки-Уэст появилась Джейн Мейсон, а в апреле Полина с Грегори уехала на два месяца в Пиготт (Патрик остался с отцом и няней) — после, а может, и вследствие этого Хемингуэя наконец «прорвало» и он почти без перерыва написал три сильнейших текста: то была его «болдинская осень».

Глава двенадцатая ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

Критики говорили Хемингуэю, что он напрасно избегает прямого авторского высказывания: литература не суррогат живописи, каждый вид искусства имеет свои возможности, отказываться от которых — все равно что свести кинематограф к съемке театральных спектаклей. Он отвечал, что обойдется без авторских высказываний. Незачем писать «он был добрый» — надо так передать позу, речь, интонации, что читатель сам разберется, какой персонаж добрый, какой нет. На самом деле Хемингуэй в романах авторские высказывания употреблял (например, рассуждение о характере Роберта Кона, которым открывается «Фиеста»), широко использовал их в таких эссе, как «Смерть» или «Зеленые холмы», а также в рассказах, когда считал нужным. Первый из текстов весны — лета 1936-го, написанный в марте «Рог быка» (The Horns of the Bull), не столько изображает, сколько повествует, и начинается как классический роман — с обстоятельного изложения биографии героя.

«В Мадриде полно мальчиков по имени Пако — уменьшительное от Франсиско, — и есть даже анекдот о том, как один отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице „Эль Либераль“ объявление: „Пако жду тебя отеле Монтана вторник двенадцать все простил папа“, и как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы разогнать восемьсот молодых людей, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил младшим официантом в пансионе Луарка, не было ни отца, от которого он мог ждать прощения, ни грехов, которые нужно было прощать. <...> Это был складной подросток с очень черными, слегка вьющимися волосами, крепкими зубами и кожей, которой завидовали его сестры; и улыбка у него была открытая и ясная. Он был расторопен и хорошо справлялся со своим делом, любил своих сестер, казавшихся ему красавицами и умницами, любил Мадрид, для него еще полный чудес, и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск».

В пансионе живут второразрядные матадоры, которых автор тоже описал (не нарисовал): «Матадор-трус прежде, до страшной раны в живот, полученной им в одно из первых его выступлений на арене, был на редкость смелым и замечательно ловким, и у него еще сохранились кое-какие замашки от времен его славы». «Матадор, который был болен,

больше всего боялся показать это и считал своим долгом не пропускать ни одного блюда, которое подавалось к столу. У него было очень много носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и за последнее время он стал распродавать свои пышные костюмы». Пако, наслушавшийся матадорских рассказов, мечтает стать матадором: «Столько раз он видел рога, видел влажную бычью морду, и как дрогнет ухо, и потом голова пригнется книзу, и бык кинется, стуча копытами, и разгоряченная туша промчится мимо него, когда он взмахнет плащом, и снова кинется, когда он взмахнет еще раз, потом еще, и еще, и еще, и закружит быка на месте своей знаменитой полувероникой, и, покачивая бедрами, отойдет прочь, выставя напоказ черные волоски, застрявшие в золотом шитье куртки, а бык будет стоять как вкопанный перед аплодирующей толпой». Впрочем, Пако сам не знает чего хочет, он совсем ребенок: «Он еще не разбирался в политике, но у него всегда захватывало дух, когда высокий официант говорил про то, что нужно перебить всех священников и всех жандармов. <...> Сам он хотел бы быть добрым католиком, революционером, иметь хорошее постоянное место, такое, как сейчас, и в то же время быть тореро».

Боем быков бредит и официант Энрике, постарше Пако, за мытьем посуды они говорят о корриде и играют в нее; Энрике объясняет, что исполнять эффектные вероники мало — нужно преодолеть страх: «Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором». Но Пако «знал, что не боялся бы. А если бы он и почувствовал когда-нибудь страх, он знал, что сумел бы проделать все, что нужно». Чтобы проверить смелость Пако, посудомойки затевают страшную игру: Энрике привязывает к ножкам табуретки столовые ножи и, изображая быка, нападает на Пако-матадора. Нечаянно он наносит мальчику смертельную рану в живот. «Он умер, как говорится, полный иллюзий. И он не успел потерять ни одной из них, как не успел прочесть до конца покаянную молитву. Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, что уже две недели разочаровывал весь Мадрид...» Редактор «Космополитен» Гарри Бартон, приехавший в Ки-Уэст с предложением баснословных гонораров в 40 тысяч долларов за роман и от 3000 до 7500 за рассказ, этот великолепный текст, в котором нет ни «живописности», ни нарочитой сухости, ни назойливой декларации «мужчинства», а лишь невыносимая жалость и печаль, забраковал. Гингрич был умнее: «Рог быка» появился в июне 1936 года в «Эсквайре». А у автора к 19 апреля уже было готово «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» (The Short Happy Life of Francis Macomber).

Хемингуэй написал этот знаменитый рассказ не после своего сафари, а

после того, как в 1935-м в Африку съездила Джейн Мейсон, которая наконец смогла воссоединиться с Купером. Прототипы не вызывают у литературоведов сомнения: миссис Макомбер — Джейн, охотник Уилсон — собирательный образ, вдохновленный Персивалем, Купером и фон Бликсеном, а также самим автором, каким он себе грезился. Сложнее с Макомбером: кто он? Хемингуэй говорил, что это портрет некоего американца, о котором рассказал Персиваль. А Персиваль объяснял журналистам, что никакого «Макомбера» не знал, с женами клиентов не жил и ни одна из них мужа не убивала. Люди любят, чтобы сюжет был «списан с натуры». Но Хемингуэю не было нужды в чужом сюжете — он мог почерпнуть у Персиваля лишь эскиз характера.

Наиболее очевидный смысл рассказа — преодоление страха, история о том, как человек становится мужчиной, проходя инициацию под руководством наставника. Макомбер убегает от льва, потом ранит его, но боится добить, а когда все-таки идет, опять проявляет страх, и его жена, выказывая презрение, проводит ночь с Уилсоном; но во время следующей охоты (правда, не на льва, а на буйвола, причем из движущейся машины: буйвол — опасное и сердитое животное, но автомобиль позволяет удрать), Уилсон наконец побеждает страх и его охватывает восторг. «Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезнее событие, чем невинность потерять. Страх больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха».

Жена, увидев, что муж стал мужчиной и теперь сильнее ее, его возненавидела:

«— Оба вы болтаете вздор, — сказала Марго. — Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощения, — сказал Уилсон. — Я и правда наболтал лишнего. — Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, — презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно».

Миссис Макомбер застрелила мужа — нечаянно или нарочно, можно только гадать. Рассказ называют «женоненавистническим»; особенно ему досталось от феминисток в 1960-е годы и позже. В эссе «Искусство короткого рассказа» (1959) Хемингуэй говорил, что образ Марго Макомбер вдохновила одна «подлейшая сука», которую он встретил, когда она была прекрасна, и он «всей душой принадлежал ей», а Хотчнеру прямо сказал,

что эта «сука» — Джейн Мейсон. Но что дурного она ему сделала? Джейн любила Купера, но Хемингуэй знал об этом с самого начала. В июне 1936-го, когда Джейн на Багамах встретила Гингрича, между ними завязался роман — вот это Хемингуэя рассердило. Он был рассержен еще больше, когда летом 1937-го Джейн уехала в Мексику с лесбиянкой Вирджинией Пфейфер, после чего его отношения с ней порвались. (Джейн впоследствии не раз выходила замуж, в том числе за Гингрича, сильно пила, страдала депрессиями, но дожила до глубокой старости.) Но «Макомбер»-то написан до всех этих событий! В апреле 1936-го, когда Хемингуэй над ним работал, Джейн жила в Ки-Уэст с мужем: она «бросила» Хемингуэя? «Отказала» ему? Никто ничего не знает. Престарелую Джейн расспрашивали репортеры, та говорила, что они с Хемингуэем собирались пожениться, да не вышло, однако ее внуки считают, что она страдала маразмом и путала одного мужчину с другим. А тогда, прочтя «Макомбера», Джейн в ответ написала пьесу «Сафари», где героиня пытается самоутвердиться на мужской лад. Неизвестно, что думал об этой пьесе Хемингуэй.

Двадцать четвертого апреля он отплыл на Кубу, путешествие, длившееся месяц, было неудачным: «Пилар» барахлила, марлины не ловились, Гутьеррес почти ослеп. 4 июня, когда яхту починили, уехал с Полиной и Вирджинией на Бимини, где обнаружил «веселящуюся компанию богатых спортсменов»: Лернера, Купера, Мейсонов, издателя-миллионера Фаррингтона, сотрудника американского посольства на Кубе Бриггса; к дню рождения Хемингуэя подъехал Гингрич. Как уговаривались прошлым летом, основали рыболовно-спортивный клуб: Хемингуэй — президент, Лернер и Фаррингтон — заместители. (В 1940-м на средства Лернера будет создана Международная ассоциация рыболово-спортсменов, где Хемингуэй получит пост вице-президента.) Проводили соревнования, построили коптильню для рыбы. Единственное, что раздражало Хемингуэя — членство в клубе женщин, «геморроя», как называл он их в письме Лернеру. Одной из них была миссис Гриннелл, жена бизнесмена; на ее яхте гостила писательница Марджори Киннан Роулингс (у нее с Хемингуэем был один издатели и общий друг — Перкинс), оставившая о том лете воспоминания.

Будучи наслышана о Папе, Роулингс ожидала увидеть громилу, который из всех «выколачивает дерьмо», и услышать от него, что бабе в литературе делать нечего, а обнаружила «милого, застенчивого, чувствительного человека» с ласковыми глазами и негромким нежным голосом, выразившего восхищение ее книгами; беседовал он исключительно об искусстве, очень интеллигентно. Но вскоре Роулингс

заметила, что это «белое и пушистое» может во мгновение ока превратиться в «громилу»: оскорбить человека, учинить скандал из-за пустяка. Роулингс полагала, что Хемингуэй страдает из-за внутреннего конфликта — в нем борются литератор и «веселящийся богатый спортсмен». «Спортсменов», по ее мнению, отделяло от писателей не богатство, а восприятие мира: они вечно наслаждаются, не замечая чужого страдания. Хемингуэй она убеждала (с ее слов), что «спортсмены» восхищаются его славой и спортивными успехами, ничего не понимая в его работе, предрекала, что бесконечные развлечения и попойки его погубят. (Сама Роулингс, впрочем, не чуждалась «спортсменов» и светской жизни.) Он отвечал, что привык к рыбалке с детства, ничего крамольного в том, чтоб иметь яхту и отдыхать на Багамах, не видит, литература — главное дело жизни, но когда не пишется, надо чем-то заниматься, «чтобы не сойти с ума»; пить он умеет, рыбалка и искусство ему одинаково нравятся, никакого конфликта нет.

Но он отлично видел этот конфликт — тому свидетельство рассказ «Снега Килиманджаро» (The Snows of Kilimanjaro), который он писал тем летом. «Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не из их племени — ты соглядаешь в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. <...> Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолубием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать».

Но разве это о себе? Разве он мало сделал, разве загубил талант — подумаешь, написал пару-тройку слабых вещей, ему всего 37, еще есть время для шедевров? Неизвестно, знал ли он, что 37 — роковой рубеж для некоторых, но в тот период, по воспоминаниям знакомых (Маклиш,

Роулингс, Персиваль), беспрестанно твердил о скорой смерти: Маклишу писал, что «страстно любит жизнь», но «чувствует, что придется убить себя». «С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило». С чего ему именно в 1936-м казалось, что он вот-вот умрет, неясно, но казалось, и в таком случае легко понять, почему не «сделал», а только «мог бы». «Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо».

К счастью, сам Хемингуэй не стал «откладывать в долгий ящик» и написал «Снега Килиманджаро», страшный и прекрасный рассказ, в котором содержится одно из самых сильных в мировой литературе описание умирания: «Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена. <...>

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

— Знаешь, единственно, чего я еще не утратил, — это любопытства, — сказал он ей.

— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

— Господи Боже, — сказал он. — Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание.

— Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом, — сказал он. — С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе. (Кто „она“ — смерть или женщина, с которой он разговаривает? — М. Ч.)

— Ну и несет же от тебя, — сказал он. — Вонючая дрянь.

Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

— Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла».

*

Даже тот, кто читал «Килиманджаро» давным-давно, помнит фразу о «суке, у которой щедрые руки»: о ком думал автор, когда создал эту женщину? Опять о Джейн — или о жене?

«— Всему виной твои поганые деньги, — сказал он. <...>

— Если ты правда умираешь, — сказала она, — неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие?

— Да, — сказал он. — Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле. <...>

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай, — сказал он. — Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив, — должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя. — Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный».

Об отношениях Хемингуэя с женой в 1935–1936 годах, хотя они постоянно были у всех на виду, известно мало. Об охлаждении свидетельствует простой факт: при том, что Хемингуэй не умел оставаться в одиночестве, с 1933-го он все чаще расставался с Полиной на недели и месяцы. Возможно, причиной была Джейн, возможно, отдаление от жены было связано с запретом на беременность (в католической семье это создает неудобства), возможно, он никогда не любил Полину по-

настоящему, возможно, они надоели друг другу, возможно, он страдал от ее богатства больше, чем показывал. Некоторые исследователи полагают, что он только и ждал момента, когда начнет прилично зарабатывать, чтобы бросить жену. Этого мы никогда не узнаем. Но так уж вышло, что «Килиманджаро» стало прощанием с Полиной Пфейфер.

«Макомбера» в сентябре 1936-го опубликовал «Космополитен», а «Килиманджаро» — «Эсквайр» в августе. Публикация поставила еще одну точку: в отношениях с Фицджеральдом. «Он вспомнил беднягу Фицджеральда, его сентиментальное благоговение перед богачами и как тот однажды начал рассказ словами: „Очень богатые отличаются от нас с вами“, и кто-то съязвил: „Конечно, у них больше денег“. Но Скотт не понял шутки. В его представлении они были особой, окутанной ореолом романтики расой, и, когда он обнаружил, что заблуждался, это открытие подкосило его точно так же, как и все остальное». Фицджеральда потрясло это упоминание — по словам журналиста Джеймса Фаина, «лучше бы Хемингуэй ударил его по голове бейсбольной битой».

Фицджеральд никогда не говорил «Очень богатые отличаются от нас с вами» — эти слова произносит персонаж его рассказа «Богатый мальчик». Перкинс рассказал об эпизоде: обедали он, Хемингуэй и писательница Мэри Колум, Хемингуэй рассказывал о богачах на Бимини и сказал, что «теперь он знает богатых», а Колум насмешливо парировала: «У богатых больше денег». Хемингуэй вывернул ситуацию наизнанку. В письме знакомой Перкинс заявил, что «презирает» его поступок, но в глаза ничего не сказал. Он пытался уладить конфликт дипломатически.

Фицджеральд — Хемингуэю: «Дорогой Эрнест, оставь, пожалуйста, меня в покое... Если я иногда пишу *de profundis* („из бездны“; имеется в виду „Крушение“. — М. Ч.), это еще не значит, что мне приятно, когда мои друзья (все еще друзья, да?) ходят ногами по моему трупу...» (Ответ Хемингуэя не сохранился; по словам Фицджеральда, бывший друг согласился убрать его имя из рассказа.) Фицджеральд — Перкинсу: «Я люблю Эрнеста, несмотря на все, что он говорит и делает. Но еще одна подобная выходка, и я присоединюсь к толпе его недоброжелателей...» Хемингуэй — Перкинсу: «Я имел право использовать его имя в „Снегах“, потому что он сам писал те ужасные вещи о себе в „Эсквайре“». (Малкольм Каули никаких ужасных вещей о себе в «Эсквайре» или где-либо не писал, но в черновиках «Килиманджаро» есть пассаж о нем, куда более оскорбительный, чем о Фицджеральде.) Марджори Роулингс — Фицджеральду: «В Хемингуэе есть какое-то садистское безумие». Фицджеральд — Роулингс: «Ему нравится избивать людей, как физически,

так и морально...»

В последующих изданиях «Килиманджаро» имя Фицджеральда было заменено на «Джулиана». Перкинс полагал, что конфликт исчерпан, пытался примирить «сынков», но ничего не вышло: Эрнест продолжал называть Скотта трусом, а тот заявил, что Хемингуэй «исписался точно так же, как и я»: «Никто не мог упрекнуть его за его первые книги, но теперь он совсем потерял голову и оступел, он напоминает пьяного мопса из мультфильмов, который дерется сам с собой». «У него такое же нервное расстройство, как и у меня, только проявляется оно у него по-другому. Он склонен к мании величия, а я к меланхолии».

Но Фицджеральд зря сказал, что коллега исписался. Удачная работа лечит: после «Килиманджаро» депрессия прошла, а желание писать осталось. На очереди был роман, заказанный Гингричем, «Иметь и не иметь» (To Have and Have No) — за основу были взяты новеллы о Гарри Моргане. Работать он намеревался осенью в Вайоминге. 16 июля вернулся в Ки-Уэст с Вирджинией (Полина уехала раньше), а два дня спустя узнал, что в Испании началась гражданская война: после того как на выборах в кортесы в феврале 1936 года победу одержали левые партии, произошел мятеж реакционно настроенных военных против республиканского правительства. Хемингуэй был в волнении, порывался ехать в Испанию, писал знакомому, литератору Пруденсио де Пареда: «Мы должны были бы быть в Испании всю эту неделю». Но не поехал — хотелось работать. 27-го с женой, Бамби и Патриком выехал в Пиготт, а оттуда, захватив Грегори, в Вайоминг, куда прибыл 1 августа. Он сразу начал интенсивно писать. В сентябре, когда охотничий сезон открылся, приехал знакомый по Багамам Том Шелвин, убили нескольких гризли, медведь гостя казался больше и лучше, хозяин расстраивался. За испанскими событиями он следил, в конце сентября писал Перкинсу, что жалеет, что «эта испанская история» происходит без его участия, и отправится туда, если война не кончится раньше, чем он допишет роман.

Отметавший всякую критику, он почему-то на сей раз решил ей внять. Его ругали за то, что не пишет о социальных проблемах — ладно, получите: как он докладывал Перкинсу, в книге «будут и революционеры, и политика, и все на свете». О политике он говорил с новым знакомым (уже в Ки-Уэст, куда вернулся в ноябре), профессором Колумбийского университета Гаем Тагуэллом, членом Рузвельтовского «мозгового треста» — группы ученых, разрабатывавших экономические и социальные программы правительства. Для преодоления кризиса Рузвельт осуществлял политику «нового курса», содержащую элементы социализма: контроль

государства над экономикой, увеличение налогообложения крупных корпораций, пакет законов по соцобеспечению бедных, максимальные цены на товары первой необходимости, пособия по безработице и т. д., в результате которой «олигархи» ослабели, а мелкие предприниматели смогли подняться, безработица уменьшалась, наметился экономический рост. Тагуэлл пытался это Хемингуэю объяснить, но тот не захотел вникнуть и отвечал, что нехорошо, «когда рабочий человек бедствует, а богачи жируют». Об этом он и написал «Иметь и не иметь».

Место действия — Ки-Уэст, герой — безработный Морган. Социальные программы Рузвельта вынуждают людей сидеть на пособиях, но Морган не такой человек, чтобы принимать подаяния: сперва он возил туристов на рыбную ловлю, но был обманут, тогда начал заниматься контрабандой. «Но одно могу тебе сказать; я не допущу, чтоб у моих детей подводило животы от голода, и я не стану рыть канавы для правительства за гроши, которых не хватит, чтобы их прокормить. Да я и не могу теперь рыть землю. Я не знаю, кто выдумывает законы, но я знаю, что нет такого закона, чтоб человек голодал...

— Я бастовал против такой оплаты, — ответил я ему (рассказчик — Гарри Моргану. — М. Ч).

— И вернулся на работу, — сказал он. — Они заявили, что вы бастуете против благотворительности. Ты, кажется, всю жизнь работал, не так ли? Ты никогда ни у кого не просил милостыни.

— Теперь нет работы, — сказал я. — Нигде теперь нет такой работы, чтоб можно было жить не впроголодь.

— А почему?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. Но только моя семья будет сыта до тех пор, пока другие сыты. <...>

— Ты говоришь, как красный, — сказал я.

— И никакой я не красный, — сказал он. — Просто меня зло берет».

Морган перевозит рабочих-нелегалов; китайский мафиозо предлагает ему обмануть своих соотечественников — взять плату и утопить. «Я схватил его руку вместе с деньгами, и когда он ступил на корму, я другой рукой схватил его за горло. Я почувствовал, как лодка дрогнула и пошла, вспенивая воду, и хоть я был здорово занят мистером Сингом, но я видел кубинца с веслом в руках, стоявшего на корме своей лодки, когда мы отходили от нее под корчи, и судороги мистера Синга. Он корчился и судорожно бился, точно дельфин, вздетый на острогу, и один раз даже изловчился и укусил меня в плечо. Но я поставил его на колени и изо всех

сил сдавил ему горло обеими руками». Китайцев Морган и его напарник Эдди также выкидывают за борт, но живыми.

Далее Морган в перестрелке с таможенниками теряет руку и вынужден согласиться на еще более рискованное дело: переправить на Кубу революционеров. Те, как выясняется, ездили грабить банк; поняв это, Морган с помощником пытаются бежать, но революционеры убивают помощника, а Морган ведет лодку под дулом пистолета.

«— Сколько вы взяли денег? — спросил Гарри вежливого.

— Мы не знаем. Мы еще не считали. Все равно, ведь эти деньги не наши. <...> Я хочу сказать, что мы сделали это не для себя. Для нашей организации.

— А моего помощника убили — тоже для вашей организации?

— Мне очень жаль, — сказал юноша. — Не могу передать вам, до чего это мне тяжело.

— А вы и не старайтесь, — сказал Гарри.

— Видите ли, — сказал юноша спокойным тоном, — этот Роберто — дурной человек. Хороший революционер, но дурной человек. Он столько убивал во времена Мачадо, что привык к этому. Ему теперь даже нравится убивать. Правда, ведь он убивает ради дела. <...> Я люблю мою бедную родину, и я на все, на все готов, чтобы освободить ее от тирании, которая там процветает. То, что я делаю сейчас, мне глубоко противно. Но даже если б оно мне было в тысячу раз противнее, я бы все равно делал это».

Один из революционеров, разъяря Моргану, что революционная цель оправдывает грабеж, приводит исторический пример: «В России делали то же самое. Сталин много лет до революции был чем-то вроде бандита»; наши переводчики, естественно, последнюю фразу вырезали, а в первую вставили слово «царской». Моргана слова не убеждают: «Плевать я хотел на его революцию. Чтобы помочь рабочему человеку, он грабит банк и убивает того, кто ему в этом помог, а потом еще и злополучного горемыку Элберта, который никому ничего не сделал дурного. Ведь это же рабочего человека он убил. Такая мысль ему и в голову не приходит. Да к тому же семейного. Кубой правят кубинцы. Они там все друг друга предать и продать готовы. Вот и получают по заслугам. К черту все эти их революции».

В финале Морган перебил кубинцев, но и сам был ранен и, умирая, произнес знаменитую фразу: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. — Он остановился. — Все равно человек один не может ни черта. — Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это».

Критики, вы требовали риторики? Будут вам отныне и риторика, и патетика, и патока; прощай, Сезанн...

Советские критики роман хвалили, Моргана называли трагическим героем. Черкасский не согласен: Морган — бандит, убивающий других бандитов, в нем отсутствуют «бережность, чистота, самоотреченность». «Что из всего этого ведомо мелкостойческим душам Хемингуэя? Говорят, они сильные. Но вол тоже сильный. Но вол и есть вол, и думы у него тоже, должно быть, воловьи. Так не выдавайте же олово за булат: трагедия требует благородного характера». Все верно — но олово за булат выдали критики, а не автор. Хемингуэй и не пытался писать «благородного» героя. Морган — его первый романский мачо, персонаж для Голливуда. А мачо не обязан быть благородным. Он должен быть сильным, отчаянным и всех «мочить».

Моргану противопоставлен литератор Гордон, который пишет о социальных проблемах, а сам презирает бедняков. «В сегодняшней главе он собирался вывести толстую женщину с заплаканными глазами, которую встретил по дороге домой. Муж, возвращаясь по вечерам домой, ненавидит ее за то, что она так расплылась и обрюзгла, ему противны ее крашенные волосы, слишком большие груди, отсутствие интереса к его профсоюзной работе. Глядя на нее, он думает о молодой еврейке с крепкими грудями и полными губами, которая выступала сегодня на митинге. Это будет здорово. Это будет просто потрясающе, и притом это будет правдиво. В минутной вспышке откровения он увидел всю внутреннюю жизнь женщины подобного типа». Это пародия на Дос Пассоса, который в тот период писал «идейные» книги, используя так называемый социологический подход: все персонажи — «типы». Женщина, которую намерен типологизировать Гордон, — жена Моргана Мария, которая на самом деле не противна мужу, а желанна, как и он ей, а вот Гордон своей женою нелюбим: «Если б еще ты был хорошим писателем, я, может быть, стерпела бы остальное. Но я насмотрелась на то, как ты злишься, завидуешь, меняешь свои политические убеждения в угоду моде, в глаза льстишь, а за глаза сплетничаешь». Такое лобовое противопоставление двух пар как раз и напоминает идейные романы Дос Пассоса...

«Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не из их племени — ты соглядатай в их стане». Хемингуэй выполнил обещание и описал «веселящуюся компанию богатых спортсменов», также «в лоб» сравнил их с четой Морганов: и сон у богачей нездоровый, и женщины их не любят — а вот, посмотрите, Гарри и Мария, пылкие, как в первую брачную ночь. Гадкие богачи имели

прототипов — опять досталось, в частности, Джейн Мейсон. Гингрич опасался обвинений в диффамации: некоторые детали сексуальной жизни своих приятелей, по его мнению, автор мог узнать только от Вирджинии Пфейфер, и обнародовать их было опасно. Хемингуэй сперва отмахнулся — пусть обижаются, а с Дос Пассосом он «как-нибудь утрясет», потом все же убрал самые оскорбительные фрагменты. Роман он обещал закончить в июне 1937-го, но нужно было ехать в Испанию (об этом дальше), и он сдал текст в январе, сырым, почти черновиком. Отсюда все недостатки. Фрагмент, где описаны «богачи», не имеет отношения к сюжету, тормозит действие, выглядит чужеродным. Где тонкость, куда делся подтекст? Айсберг растаял, от стиля остались только «рубленные» фразы. Критики порой дают дельные советы, но иногда уступить им — значит потерять себя.

Публикация прошла 15 октября 1937 года, когда автор уже был в Мадриде. Распродавался боевик прекрасно — 25 тысяч экземпляров к ноябрю, — но неблагоприятные критики его изничтожили. Луис Кроненберг обвинил автора в вопиющих провалах в плане мастерства; Дональд Адамс сказал, что лучше бы Хемингуэю никогда не писать этой книги; Уилсон назвал роман «дрянью» и «осколком прежнего Хемингуэя». Единственный, кому показалось, что роман «превосходно сконструирован и замечательно написан», — британский литературовед Сирил Коннолли. Не оценили книгу и «красные» — ведь революционеры были показаны уродами. Хемингуэй назвал критиков «поганой шайкой». Зато книгу, распознав «экшн», оценили кинематографисты: в 1939 году продюсер Говард Хоукс возьмется ставить по ней фильм, и эта экранизация будет не последней при жизни автора.

Осенью же 1936-го он все еще колебался относительно поездки в Испанию. Он оплатил проезд двух американских добровольцев, пожертвовал 1500 долларов на покупку санитарных машин для республиканской армии, помог Пруденсио де Пареда писать текст к фильму «Испания в огне», полагал это достаточным, надеялся, что война вот-вот кончится, обговаривал с женой новое сафари, носился с проектом организации корриды в Гаване. Но в конце ноября Джон Уилер, директор НАНА (North American Newspaper Alliance), предложил ему отправиться в Испанию корреспондентом: 500 долларов за телеграфную заметку, 1000 — за статью. Полина поездку не одобряла: ревностная католичка, она была на стороне испанских правых. Не одобрял и Перкинс: нужно выправить роман. Но предложение Уилера было слишком заманчиво. Хемингуэй списался с «Чикаго трибюн» и стал также ее корреспондентом, нашел

спутника — Франклина, которого оформил своим помощником. Еще бы кого-нибудь взять: он любил путешествовать компаниями. И компаньон нашелся.

Под Новый год в баре Хемингуэй познакомился с туристами из Сент-Луиса (родины Хедли и Полины), семьей Геллхорн: мать, сын и дочь Марта. Девушка родилась в 1908 году (эта жена наконец-то будет моложе мужа), отец-австриец — известный гинеколог. Она окончила школу Джона Берроуза, затем училась в Брин-Мор (как и Хедли), стала журналистом; к моменту знакомства с Хемингуэем Марта Геллхорн уже сделала себе имя. В 1929-м она начала писать для «Нью рипаблик» и херстовского концерна «Таймс юнион», в начале 1930-х отправилась в Европу, вышла за маркиза Бертрана де Жувеналея, была иностранным корреспондентом множества изданий, в 1932-м ездила в Германию, чтобы описать взлет нацистов и избрание Гинденбурга, в 1934-м, разойдясь с мужем, вернулась в Штаты и работала в комиссии Гарри Гопкинса, директора Федеральной администрации по чрезвычайной помощи, исследовавшей положение безработных, по итогам работы написала книгу «Горе, которое я видела», стала другом Рузвельта и его жены Элеоноры. Когда она встретила Хемингуэя, «Горе» было только что опубликовано с предисловием Уэлса, назвавшего его «одной из самых душераздирающих книг, которые были когда-либо написаны о положении людей, лишенных привилегий». В том же году она опубликовала автобиографический роман «В безумной погоне».

У Геллхорн был острый глаз, она писала умно и четко, по-мужски. Ослепительная блондинка, высокая, идеально сложенная: из всех жен Хемингуэя лишь ее можно назвать красавицей. «Марта Геллхорн была абсолютно бесстрашна, как мужчина, и при этом своей женственностью сводила мужчин с ума», — сказал редактор «Нью-Йоркера» Билл Бафорд. Эмансипированная «львица», как Джейн Мейсон, только непьющая, талантливая и самореализовавшаяся. Первый раз Хемингуэй полюбил женщину, с которой можно говорить на «мужские» темы, и ему это нравилось; он подчеркивал, что относится к Марте как к «коллеге», «товарищу», звал «дочкой». Мать и брат Марты уехали, она осталась в Ки-Уэст. Полина пыталась ничего не замечать, но Лоррейн Томпсон сочла нужным «открыть ей глаза». В январе Марта отбыла в Майами — Хемингуэй изобрел предлог для поездки туда, там, видимо, произошло объяснение, и было уговорено встретиться в Мадриде.

Вернувшись в Сент-Луис, Марта написала Полине, как мило общалась с ее мужем и какой он замечательный. («Это письмо могло бы напомнить

Полине некоторые ее письма, которые она весной 1926 года писала Хедли», — ехидно заметил Бейкер.) «Я был свидетелем того, как мисс Геллхорн осуществляла бесстыдное нападение на брак Эрнеста и Полины», — сказал Арчи Маклиш, а Мейерс привел мнение Роберта Джойса, американского дипломата, который знал Марту и полагал, что она «использовала таких знаменитостей, как Уэллс и Хемингуэй, для своей карьеры»; жена Джойса утверждала, что Марта «ничуть не любила» Хемингуэя. Вряд ли это так. Чтобы «использовать» мужчину, женщине не обязательно выходить за него замуж — скорее уж наоборот.

Глава тринадцатая БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

«Красных» и «белых» в Испанской республике было примерно поровну, так что покоя страна не знала с 1931 года, а к выборам 1936-го раскол оформился окончательно. Блок левых сил включал социалистов разного толка, коммунистов, анархистов, либералов-центристов, которые подписали пакт о создании Народного фронта; его преимущественно поддерживало население промышленно развитых регионов. В блок правых входили монархисты, «Испанская фаланга», СЭДА, католические организации: за них в основном были сельские районы.

16 февраля 1936 года Народный фронт победил на выборах с незначительным перевесом, получил парламентское большинство и сформировал правительство во главе с Мануэлем Асаньей, включающее представителей леволиберальных партий, Коммунистической партии Испании (КПИ), Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), каталонских и баскских националистов. В мае Асанья стал президентом страны.

«Раскачивать лодку» испанцы начали немедленно и с обоих бортов. Профсоюзные лидеры призывали к забастовкам против «буржуазного правительства», крестьяне захватывали помещичьи земли; в ответ активизировались правые силы, среди которых на ведущую роль выдвинулась «Испанская фаланга». Повсеместно происходили столкновения, иногда вооруженные. Правительство не сумело стабилизировать ситуацию, но, получив информацию о готовящемся армейском заговоре, предприняло кое-какие действия: за группой офицеров было установлено полицейское наблюдение, потенциальные заговорщики переведены на периферию: Мола в Памплону, Франко на Канары — но этого оказалось недостаточно. 17 июля военные в Марокко подняли мятеж, на следующий день восстание (под предводительством генерала Санхурхо, который скоро погиб в авиакатастрофе, уступив свое место Франко) перекинулось на континент. «Белые» легко овладели югом и западом страны — Севильей, Кордовой, Гранадой, Наваррой, Галисией, — но в других регионах путч, лишенный поддержки населения, провалился.

Поскольку победы не вышло ни у одной из сторон, обеим требовалась помощь. Хотя официально она не могла быть оказана — в сентябре 1936 года международное соглашение запретило экспорт и транзит оружия в

Испанию, для контроля создали Комитет по невмешательству Лиги Наций, — почти все государства, входившие в комитет, в той или иной степени вмешались в войну. Франко еще в августе получил поддержку Германии и Италии, направивших в Испанию экспедиционные силы: авиацию, флот, танковые и пехотные войска численностью в 70 тысяч человек (у самого Франко на первых порах было всего 25 тысяч); несколько батальонов прислала Португалия. (На том основании, что франкисты пользовались поддержкой фашистских государств, их тоже называют фашистами, но их идеология ничего общего не имела с гитлеровской и они скорее напоминали наших «белых».) Республиканское правительство, с 4 сентября возглавляемое левым социалистом Ларго Кабальеро, воззвало к остальному миру и тоже получило помощь, но далеко не столь значительную, в виде Интернациональных бригад, сформированных из добровольцев, и небольшого количества военной техники и специалистов, в основном из СССР. Неудивительно, что уже осенью Франко имел большое преимущество и контролировал шесть из семи дорог, связывающих Мадрид с остальной территорией.

Франкисты несколько раз пытались взять Мадрид и 6 ноября подошли к нему вплотную; правительство переехало в Валенсию, оставив в столице войска под командованием генерала Хосе Миахи, которого поддерживали коммунисты. Без поддержки Мадрид бы вряд ли выстоял, но к тому времени на помощь стали прибывать добровольцы из разных стран и советское оружие. К концу ноября Франко изменил тактику и предпринял ряд попыток окружить столицу — первую из них, у Боадильи, республиканцы в декабре остановили ценой огромных потерь. В январе 1937 года, когда Хемингуэй, подписав контракт с НАНА, приехал в Нью-Йорк на премьеру фильма де Пареды, осажденный Мадрид бомбила немецкая авиация.

Отъезд откладывался: Госдепартамент США не давал Хемингуэю разрешения на поездку, подозревая его в чрезмерных симпатиях к одной из воюющих сторон, нужно было проходить собеседования, обещая оставаться нейтральным. Это тянулось долго, он вернулся в Ки-Уэст, снова приехал в Нью-Йорк, узнал, что Дос Пассос, тоже уезжающий в Испанию, собирает средства для документального фильма о гражданской войне, который будет снимать голландский режиссер-коммунист Йорис Ивенс, выразил желание участвовать, его приняли; для содействия съемкам была образована неформальная группа «Современные историки», в которую также вошли Маклиш, Дороти Паркер, сценаристы Лиллиан Хелман и Герман Шумлин. 24 февраля Хемингуэй получил разрешение

Госдепартамента и 27-го отплыл в Европу (за это время республиканцы отбили вторую попытку окружения Мадрида — у Харамы), с ним ехали Эван Шимпен, который потом займется переправкой волонтеров в Испанию, и Сидней Франклин. Перед отплытием и на пароходе он давал интервью: говорил, что видит в этой войне начало второй мировой, а сам намерен быть не военным, а «антивоенным» корреспондентом, преследующим одну цель — удержать Штаты от вступления в войну.

Нейтральным он конечно же не был — сразу принял одну из сторон, хотя утверждать, что он перед поездкой всецело поддерживал республиканцев, было бы преувеличением. Теще он писал, что даже если «красные» «так плохи, как о них говорят», они представляют народ, а франкисты выражают интересы «богачей». Однако значительная часть крестьян поддерживала Франко, видя в его действиях «крестовый поход против безбожников»; того же мнения придерживались жена и теща Хемингуэя. Сам он в тот период был (или считался) католиком, но позицию католической церкви по Испании осуждал; когда в 1938-м кардинал Хейс в Нью-Йорке объявит, что молится за победу Франко над «радикалами и коммунистами», Хемингуэйотреагирует возмущенной статьей в журнале «Кен». 5 февраля 1937 года он писал знакомому, Гарри Силвестру, что «убивать раненых в госпитале в Толедо с помощью ручных фанат или бомбить рабочие кварталы Мадрида без какой-либо военной необходимости, с единственной целью убивать простых людей — это не по-католически и не по-христиански... Я знаю: они (республиканцы. — М. Ч.) расстреливали священников и епископов, но почему же церковь вмешивается в политику на стороне богачей, вместо того чтобы защищать простых людей или оставаться вне политики? Это не мое дело... но симпатии мои всегда на стороне рабочих, и я против богачей, хотя, бывало, сам с ними пью и стреляю по тарелочкам. Я бы с удовольствием перестрелял их самих...».

Бог и церковь, по его мнению, разошлись — на взгляды человека, который и раньше подозревал (как Толстой), что они не имеют друг к другу отношения, это не могло бы повлиять, но Хемингуэй не отделял веру от ее обрядового воплощения: вернувшись из первой поездки в Испанию и собираясь во вторую, он напишет теще, что «утратил веру в потустороннюю жизнь», а еще через год — что выступления церкви на стороне Франко так угнетают его, что он «не может молиться». Позднее он вернется к религии, найдя объяснение: виноват не католицизм, а его испанские особенности. «Прощение — христианская идея, а Испания никогда не была христианской страной. У нее всегда был свой идол,

которому она поклонялась в церкви Otra Virgen mas^[30]. Вероятно, именно потому они так стремятся губить virgens своих врагов. Конечно, у них, у испанских религиозных фанатиков, это гораздо глубже, чем у народа. Народ постепенно отдалялся от церкви, потому что церковь была заодно с правительством, а правительство всегда было порочным. Это единственная страна, до которой так и не дошла реформация. Вот теперь они расплачиваются за свою инквизицию»^[31].

Прибыв в Париж, опять ждали — Франклину не давали визу, первая корреспонденция для НАНА от 12 марта была посвящена этим мытарствам. Общались с Дженет Флэннер, журналисткой, с которой Хемингуэй дружил в юности, и ее подругой Солитой Солано, которая перепечатывала его ранние рассказы. По воспоминаниям обеих женщин, Хемингуэй и Франклин были веселы и говорили исключительно о корриде. Потом появился Луис Кинтанилья, который вступил в республиканскую армию, а теперь был откомандирован для работы в посольстве; он рассказывал о боях, о том, как бомба разрушила его студию, после этого (так показалось очевидцам) Хемингуэй посерьезнел и начал осознавать масштаб трагедии. Прибыла Марта Геллхорн (корреспондент журнала «Кольерс»), дела задерживали ее в Париже, Франклину визу не дали. Хемингуэй решил ехать один. Два дня просидел в Тулузе, ожидая разрешения на проезд, 16 марта вылетел в Барселону.

До Каталонии франкисты пока не добрались (лишь бомбили изредка), и у Хемингуэя не возникло ощущения войны. Часто пишут, что он в Барселоне общался с Оруэллом: это, видимо, ошибка, вызванная тем, что Хемингуэй говорил, будто видел Оруэлла в 1945 году в Париже во второй раз, а ранее встречал его в Барселоне. Но переводить утверждения Хемингуэя в разряд фактов можно лишь в том случае, если они подтверждены прочными показаниями других людей. Нет подтверждений тому, что они с Оруэллом вообще когда-либо виделись. В марте 1937-го Оруэлл был в Каталонии — он вступил в ополчение ПОУМ (Рабочей партии марксистского единства), — но не упоминал о встрече с коллегой.

Из Барселоны Хемингуэй выехал в Валенсию, где сидело правительство: «Ликующие толпы заставляли думать больше о ferias и fiestas^[32] прежних дней, нежели о войне. И только вышедшие из госпиталя солдаты, ковыляющие по дороге в мешковато сидящей на них форме Народной милиции, напоминали, что идет война...» Получил машину и шофера, 21 марта прибыл в Мадрид, зарегистрировался в пресс-центре и цензурном комитете, поселился в отеле «Флорида» на Гран-Виа. В тот же

день был представлен Гансу Кале, немецкому коммунисту, которого вскоре назначат командующим 11-й интербригадой, а назавтра выехал с ним под Гвадалахару, где республиканские войска только что одержали победу над силами итальянской экспедиционной армии — то была третья попытка Франко обойти Мадрид.

Успех был временный, итальянцы проводили перегруппировку, но это была первая значительная победа республиканцев и она вселяла надежды. «Генералиссимус Франко, растрепавший своих марокканцев в безуспешных атаках на Мадрид, сейчас видит, что итальянцы ненадежны, и не потому, что они трусы, а потому, что итальянцы, защищающие родину на рубеже Пьяве — Граппа — это одно, а итальянцы, которые думали попасть на гарнизонную службу в Абиссинию и угодили вместо того в Испанию — совсем другое...» Вернувшись в Мадрид, он написал о Гвадалахаре: «Народ охвачен энтузиазмом, колонны грузовиков из провинции везут в Мадрид продовольствие и подарки, и в армии крепнет боевой дух». Наконец прибыли Франклин и Марта, с которой 27-го вновь ездили на Гвадалахарский фронт. «В жару все трупы одинаковы, но эти мертвые итальянцы, лежавшие с восковыми, посеребрившими лицами под холодным дождем, казались маленькими и жалкими. Они не походили на людей; в одном месте, где снаряд накрыл разом троих, останки убитых валялись, как сломанные игрушки. Одной кукле оторвало ноги, и она лежала без всякого выражения на восковом, заросшем щетиной лице». Илья Эренбург, с которым Хемингуэй к этому моменту успел познакомиться, вспоминал: «Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии — красные, похожие на крупную клубнику, — и усмехался: „Побросали все... Узнаю...“»

Обосновались с Мартой в Мадриде: город подвергался артобстрелу, один из снарядов разорвался у дверей отеля, но в целом обстановка была мирная. Маршал Р. Я. Малиновский вспоминал те дни в книге «Три сражения»: «Дети играют на улицах в войну и посещают зоопарк, который никто и не думал закрывать. Разорвется снаряд — ребяташки шарахаются в подворотни, а потом снова выбегают, крича и жестикулируя. Бывало и так, что после артиллерийского обстрела какой-нибудь курчавый малыш со сбитыми коленками лежит в луже крови и его подбирают, как солдата в бою». Впечатления от осады Хемингуэй описал в романе «По ком звонит колокол»: «Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко и трудно говорить,

как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрского или Лионского собора и смотришь, как падает свет сквозь огромные витражи, или когда глядишь на полотна Мантеньи и Греко, и Брейгеля в Прадо. Оно определило твое место в чем-то, во что ты верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты».

Там же и о тех же днях он написал и другое: «В Мадриде я собирался купить кое-какие книги, взять номер в отеле „Флорида“ и принять горячую ванну, представлял себе, что пошлю Луиса, швейцара, за бутылкой абсента, — может быть, ему удалось бы достать в Мантекериас Леонесас или в другом месте, — и после ванны полежу на кровати с книгой, попивая абсент...» Клод Бауэрс, американский посол в Испании, о Хемингуэе: «Я много слышал о его беспокойной жизни в Мадриде. Там он жил в отеле „Флорида“, который подвергался обстрелам, вел жизнь, полную опасностей, но был доволен и отказывался съезжать. Он расхаживал по городу так, как если бы ничего не происходило, общаясь с бойцами, которые им восхищались, и время от времени выезжая на фронт. Он жил в той части отеля, которая прямо не подвергалась обстрелам, но когда однажды снаряд попал в один из номеров отеля, он с ребяческим ликованием взял себе осколок, и каждый раз при попадании снарядов брал по осколку, и скоро весь его номер был заполнен осколками. В этой странной комнате, украшенной зловещими сувенирами, толпились молодые литераторы, художники, отпускники с фронта, и комната сотрясалась больше от взрывов хохота, чем от снарядов».

«Флорида» была населена репортерами, на которых Хемингуэй производил неоднозначное впечатление. «Конечно, самым знаменитым американцем в Мадриде был Эрнест Хемингуэй, — вспоминал журналист Лэнгстон Хьюз. — Мне он показался большим дружелюбным парнем, которого хорошо принимали в интербригадах. Он много времени проводил с ними в их военных лагерях. Он не раз был под огнем. И жил в одном из самых уязвимых зданий города. Я встретился с ним и золотоволосой Мартой Хемингуэй (Хемингуэй представлял Марту как свою жену. — М. Ч.) и как-то провел с ним день на окраине Мадрида... Не помню, о чем мы говорили, о чем-то маловажном, но было очень приятно разделять мужскую трапезу». Герберт Мэттьюз, корреспондент «Нью-Йорк таймс», находившийся в Мадриде с начала осады, вспоминал: «У меня сложилось впечатление о Хемингуэе как о храбром, щедром, дружелюбном товарище, правда, сверхчувствительном, вспыльчивом и временами капризном. Он

походил на мальчика-переростка». Журналист Сефтон Делмер сказал, что Хемингуэй «очень старался утвердиться в собственных глазах и глазах окружающих». Джози Хербст отзывалась неприязненно: «Хемингуэй наслаждался ролью главного военного корреспондента Америки». Эренбург, обожавший «Папу», все же заметил, что его «притягивали опасность, кровь и убийства», а другой советский человек, о котором речь впереди, был возмущен тем, что Хемингуэй являлся в интербригаду пьяным. А вот впечатление журналиста Стивена Спендера, познакомившегося с Хемингуэем в Валенсии: «Этот усатый и волосатый гигант вел себя как персонажи его книг. Я задавался вопросом, как этот человек, чье искусство было тонко, подобно тургеневскому, мог быть так малочувствителен и груб. Но однажды в книжном магазине я увидел роман, которого не читал, „Пармская обитель“. Хемингуэй сказал, что, по его мнению, сцена блуждания Фабрицио по полю битвы при Ватерлоо — лучшее описание войны. Мальчик потерялся, не зная, какая сторона побеждает, едва понимая, идет ли сражение — так и бывает в жизни. Он горячо заговорил о Стендале, и я увидел Хемингуэя-эстета, о существовании которого всегда подозревал...»

Энтони Бивор в книге «Битва за Испанию» охарактеризовал Хемингуэя как «одного из тех литераторов, что приехали в Испанию в поисках псевдвоенного возбуждения»; Рэймонд Карр в книге «Испанская трагедия» писал, что «военные суждения Хемингуэя всегда искажались в пользу людей, с которыми он выпивал», и с издевкой описывал хемингуэевские обеды в то время, как мадридцам не хватало еды. Но это уже поздние спекуляции. Тогда же большинство очевидцев относились к Хемингуэю не то чтобы плохо, но с ехидцей. В его храбрости не сомневались, но хвастовство и противопоставление себя другим, «немужчинам», раздражали; в нем видели бойскаута, человека, который ездил убивать львов, а теперь приехал посмотреть, как убивают людей. Это было несправедливо, но он сам создал себе такую репутацию. Потом, вернувшись в Америку, он рассказывал, как был пулеметчиком, ходил в разведку и командовал отрядами; его стали называть «романтическим лжецом». Полина говорила, что он лгал намеренно, но журналист Винсент Шин считал, что легенды создавались как бы помимо воли Хемингуэя: такой уж у него был имидж.

Восемнадцатого апреля он отправил второй текст в НАНА, о раненом американском добровольце, который неправдоподобно хвастался своими подвигами. «Тут я окончательно уверился, что он говорит неправду, и с удивлением подумал, как же он все-таки получил такое страшное ранение?»

Но ложь его меня не смущала. В ту войну, которую я знал, люди часто привирали, рассказывая о том, как они были ранены. Не сразу — после. Я сам в свое время немного привирал. Особенно поздно вечером». Потом автор узнал, что раненый не приврал ни слова. Мораль: не нужно подозревать людей, самые фантастические выдумки могут оказаться правдой... Был на той войне еще один писатель, такой же мифотворец, как Хемингуэй, — француз Андре Мальро. Он достал для республиканцев несколько старых бомбардировщиков и принимал участие в вылетах. Сомнений в его мужестве не было, но в его воспоминаниях потрепанные самолеты превратились в мощную эскадрилью, которой он командовал, и появилась масса подвигов, которых никто не подтверждает. Друг друга они с Хемингуэем сильно не любили.

Хемингуэй, как уже отмечалось, «задирался» только в обществе себе подобных. С военными он вел себя по-другому и они относились к нему иначе. Он хорошо разбирался в стратегии и тактике, задавал разумные вопросы, был отлично осведомлен и мог поделиться «военными тайнами» (хотя на его сведения не всегда можно было положиться), привозил на фронт спиртное, еду, был остроумным и доброжелательным собеседником. В интербригадах его встречали (за редкими исключениями) с радостью.

Решение сформировать интербригады принял Исполком Коминтерна 18 сентября 1936 года, первая группа добровольцев прибыла на базу в Альбасете 13 октября, а 22-го правительство Испании объявило интербригады входящими в его вооруженные силы. Было семь бригад: 11-я — немецко-австрийская, 12-я — итальянская (хотя итальянцев там было всего 200, остальные — испанцы), 13-я — польско-франко-бельгийская, 14-я — франко-испанская, 15-я — смешанная: англичане, американцы, французы, бельгийцы, 16-я — испанская и 50-я — смешанная и малочисленная; были также две французские пулеметные роты, югославский батальон и еще несколько малочисленных подразделений, плюс несколько сот иностранцев в ополчении ПОУМ. Всего в Испании сражалось около 30 тысяч иностранцев.

Серьезными силами были только 11, 12, 14 и 15-я бригады, в которых Хемингуэй бывал регулярно, как в первый приезд в Испанию, так и в следующие. В 11-ю его приглашали благодаря знакомству с Гансом Кале, и он собирался писать о немецких добровольцах книгу; в 14-й на него произвел неизгладимое впечатление командующий, поляк Кароль Сверчевский (генерал Вальтер), сражавшийся в гражданскую войну в России и обучавшийся в Академии им. Фрунзе. В 15-ю входил батальон Линкольна, состоявший из американских добровольцев (всего около 3500).

Первая их группа (450 человек) прибыла в январе 1937-го, боевое крещение получила в феврале в сражении на реке Харама. Это были преимущественно студенты, по убеждениям — коммунисты или сочувствующие, военную подготовку имели единицы, однако батальон стал одной из ударных сил республиканской армии; советские военные консультанты отмечали смелость, надежность и дисциплину его бойцов. Хемингуэй от своих земляков был в восторге; командир батальона Роберт Мерримен считается одним из прототипов героя «Колокола».

Но основным пристанищем Хемингуэя стал штаб 12-й, «литературной» Интербригады, командиром которой был венгерский писатель-коммунист Мате Залка (генерал Лукач), а комиссаром — немецкий писатель Густав Реглер. С последним Хемингуэй встречался и после войны, в 1940-м написал восторженное предисловие к его книге об Испании; Реглер, однако, в мемуарах 1959 года отзывался о коллеге неласково: «Хемингуэй с его тягой к закону джунглей Киплинга, аполитичный человек, не мог понять, что происходит в Испании. По его мнению, все было черное или белое. Он видел в бойцах интербригад каких-то тореадоров, вокруг которых витал привлекавший его запах смерти». Дружба завязалась с главврачом бригады Вернером Хейльбруном и начальником хирургического отделения походного госпиталя, испанцем Хосе Луисом Эррерой Сотолонго (этому человеку предстоит сыграть в жизни Хемингуэя громадную, отчасти роковую роль). Познакомился Хемингуэй и с русским адъютантом Лукача Алексеем Эйснером, сыном эмигранта, членом компартии Франции. Эйснер: «Мы часто засиживались за полночь, и мне кажется, что ему было интересно слушать о всех перипетиях моей странной жизни. Отзвуки тех разговоров я потом нашел в его романе „По ком звонит колокол“». По словам Эйснера, в одну из последних встреч, в 1938-м, Хемингуэй приглашал его в США, а также дал подписанный, но не заполненный чек на предъявителя; в 1940-м, когда Эйснер, приехавший в СССР, был арестован, у него нашли этот чек и именно он послужил поводом для обвинения в шпионаже. Неизвестно, так ли это: Эйснер, как и Хемингуэй, любил присочинить. (Он был освобожден из лагерей в 1956-м и тоже стал писателем.) Попадались и другие русские...

«У ворот отеля Гэйлорда стоят часовые с примкнутыми штыками, и сегодня вечером это самое приятное и самое комфортабельное место в осажденном Мадриде». «Ему хотелось выпить абсента, чтобы потянуло на разговор, и тогда отправиться к Гэйлорду, где отлично кормят и подают настоящее пиво...» «Когда он первый раз попал в отель Гэйлорда —

местопребывание русских в Мадриде, ему там не понравилось, обстановка показалась слишком роскошной и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. Но я очень быстро привык, подумал он. Не так уж плохо иметь возможность вкусно пообедать, когда возвращаешься после такого дела, как вот это. А в тех разговорах, которые сперва показались ему вольными, как выяснилось потом, было очень много правды». «У Гэйлорда ему не понравилось, а Карков понравился». «Карков, приехавший сюда от „Правды“ и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». Кто такой Карков и что делали советские люди в Мадриде?

В отличие от других европейских стран, имевших в Испании экономические или политические интересы, у Советского Союза таковых не было. СССР и Испания признали друг друга лишь в августе 1936-го, уже после начала войны. Советское правительство присоединилось к соглашению о невмешательстве и поначалу не собиралось его нарушать — только иностранные коммунисты, жившие в СССР, стали уезжать в интербригады. Но испанское правительство неоднократно просило о помощи, и 29 сентября на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение откликнуться. Причин было несколько. Во-первых, геополитический расчет: если победят франкисты, Испания примкнет к итало-германскому блоку, если же республиканцы одержат победу с помощью Франции и Англии, она сделается их союзником. То и другое СССР невыгодно (хотя и несмертельно), поэтому надо попробовать установить свое влияние, но если не получится, то и бог с ним.

Во-вторых, можно было хорошо заработать. Франко недаром называли лисом: Германия и Италия сами содержали своих военных на испанской земле (и, заметим, практически ничего не получили взамен). Республиканцы же купили помощь за деньги. Была достигнута договоренность: СССР поставит оружие и военных специалистов, а Испания оплатит это золотым запасом республики, составлявшим около 600 тонн. 15 октября Ларго Кабальеро и министр финансов Хуан Негрин обратились к СССР с предложением принять золотой запас «на хранение», 20-го получили согласие, а 22—25-го 510 тонн золота были погружены на советские суда в Картахене. Груз был зачтен в качестве оплаты за военные поставки и на родину никогда не вернулся. (Ущерб Испании был частично компенсирован Хрущевым в 1960-е путем продажи нефти по низким ценам). Для Хемингуэя эта история не была тайной.

«— Знаете, испанцы — удивительный народ, — продолжал Карков. —

У здешнего правительства очень много денег. Очень много золота. Другим они ничего не дают. Вы — друг. Отлично. Вы, значит, сделаете все бесплатно и не нуждаетесь в вознаграждении. Но людям, представляющим влиятельную фирму или страну, которая не состоит в друзьях и должна быть обработана, — таким людям они дают щедрой рукой. Это очень любопытный факт, если в него вникнуть.

— Мне это не нравится. Помимо всего, эти деньги принадлежат испанским рабочим.

— И не нужно, чтобы вам это нравилось. Нужно только, чтобы вы понимали, — сказал ему Карков. — При каждой нашей встрече я даю вам небольшой урок, и так постепенно вы приобретете все необходимые знания. Очень занятно, когда преподаватель сам учится.

— Вряд ли я теперь буду преподавать, когда вернусь. Меня, вероятно, выбросят как красного.

— Ну что ж, тогда приезжайте в Советский Союз и будете продолжать там свое образование. Это, пожалуй, было бы для вас лучше всего».

Политбюро поручило начальнику иностранного отдела НКВД А. Слуцкому разработать план мероприятий по Испании: создание за границей фирм для закупки и отправки оружия, организация военных поставок непосредственно из СССР. Обсуждался вопрос о направлении регулярных частей Красной армии, но предложение было отклонено; решили послать только военных советников и специалистов. Вот и третья причина, которую сформулировал генерал П. Судоплатов: «В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных инструкторов-профессионалов. Эта страна сделалась своего рода полигоном, где опробовались и отрабатывались наши будущие военные и разведывательные операции».

В общей сложности советских специалистов было около двух тысяч, постоянно на местах находились 600–800 человек, среди которых будущие крупные военачальники — маршал Малиновский, генерал П.И. Батов, генерал В.Е.Горев (военный атташе в Мадриде). Хемингуэй писал: «...и Листеру, и Модесто, и Кампесино^[33] большинство их ходов было подсказано русскими военными консультантами. Они были похожи на пилот-тов-новичков, летающих на машине с двойным управлением, так что пилот-инструктор в любую минуту может исправить допущенную ошибку. Интересно, как Листер, такой, каким я его знаю, справится с этим, когда двойное управление будет снято. А может быть, оно не будет снято, подумал он. Может быть, они не уйдут».

Приезжие из СССР создали разветвленную сеть управления: посол,

М.И.Розенберг, вопреки всем законам дипломатии, участвовал в заседаниях испанского правительства, военные советники взяли под контроль армейские структуры. Система советнического аппарата состояла из нескольких уровней. Высшую ступень — пост главного военного советника — последовательно занимали Я. К. Берзин (бывший начальник Разведуправления Красной армии), Г. Г. Штерн и К. М. Качанов. Следующий уровень — службы Генштаба. В Генеральном военном комиссариате работали два советника — дивизионные комиссары Красной армии, в том числе Н. Н. Нестеренко, впоследствии военный историк. В штабе ВВС было девять советников, в штабах артиллерии и ВМС по четыре, два в штабе ПВО и два при медслужбе. Третий уровень — советники командующих фронтами — 19 человек (попеременно). При штабах фронтов — еще восемь советников; были также советники командиров дивизий, полков, группа инженеров-инструкторов, 200 переводчиков. И наконец, «простые бойцы»: 772 летчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 166 связистов. Официально эти люди считались добровольцами, едущими в Испанию на свой страх и риск, и попадали туда через Францию, как и бойцы интербригад.

Кроме дипломатов и военных советников, Москва направила в Испанию большое количество штатных и внештатных сотрудников спецслужб, среди которых были знаменитый Антонов-Овсеенко, генерал Ян Берзин, видные сотрудники НКВД Наум Эйтингон и Павел Судоплатов и множество других. Двое названы в «Колоколе» поименно: «Варлов», то есть главный резидент НКВД в Испании и главный советник по внутренней безопасности и контрразведке при республиканском правительстве Александр Орлов (Фельдбин), прибывший туда в сентябре 1936-го под прикрытием должности атташе советского полпредства, и «Карков» — собкор «Правды» Михаил Кольцов (Фридлянд). О своей деятельности в Испании он написал книгу «Испанский дневник», где о легальной работе рассказал от первого лица, а о тайной — от имени «Мигеля Мартинеса».

В своей резиденции, отеле «Гэйлорд», Кольцов познакомился с Хемингуэем: «Эрнест Хемингуэй приехал сюда, большой, неладно скроенный, крепко сшитый. Он облазил все места боев, побывал и подружился с Листером, с Лукачем; он сказал мне, медленно и вкусно проворачивая испанские слова:

— Это настоящее поражение. Первое серьезное поражение фашизма за эти годы. Это начало побед над фашизмом».

Американцу Кольцов понравился: «Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался

смешным — тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами, и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие».

Хемингуэй отлично понимал, что Кольцов не «простой корреспондент», и использовал знакомство для получения эксклюзивной информации (за что был нелюбим коллегами, которые в «Гэйлорде» не обедали): «Все, что удавалось узнать у Гэйлорда, было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гэйлорда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит. На войне всегда много лжи. Но правда о Листере, Модесто и El Campesino гораздо лучше всех небылиц и легенд. Когда-нибудь эту правду не будут скрывать ни от кого, но пока он был доволен, что существует Гэйлорд, где он может узнать ее». (Кольцов, в свою очередь, надеялся использовать Хемингуэя, чтобы тот «написал правду», но, судя по конечному результату, американец от общения получил куда больше выгоды.)

Был там и Эренбург: «В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: „Гайлорд“ соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: „Здесь Хемингуэй...“ Я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех. Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. „Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?“ — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: „Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..“ „Информация“ по-французски „nouvelles“, а по-испански „novelas“ — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись». Эренбург назвал Хемингуэя «человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое

быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: „А все-таки в жизни есть свой смысл...“».

Восхищение не было взаимным. Эренбург в «Колоколе» — «человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка.

— Слыхали приятную новость?

Карков подошел к нему, и он сказал:

— Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Новость замечательная. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.

— Это верно? — спросил Карков.

— Абсолютно верно, — сказал человек, у которого были мешки под глазами. — Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая, какой я ее никогда не видал. Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для „Известий“. Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Pasionaria^[34].

— Запишите это, — сказал Карков. — Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите».

Впрочем, внешне Хемингуэй неприязни к Эренбургу не выказывал и потом переписывался с ним в доброжелательном тоне; у него со многими так было.

Еще одна категория советских, с которыми общался Хемингуэй, — подрывники. Кольцов свел его с легендарным Хаджи Мамсуровым («Ксанти»), старшим советником по разведке и диверсиям в 14-м партизанском корпусе. Мамсуров: «В нашем роду никто не пил. Я не люблю пьяных людей, подвыпившие компании. Тогда же совсем не переносил запаха водки, коньяка. А Хемингуэй был нетрезв. Хемингуэй почему-то говорил по-французски, и Кольцов переводил. Хемингуэй слушал, записывал и все время прикладывался к стакану с вином. Его очень забавляло, что я не пью. Помнится, в тот вечер я сказал Кольцову, что мне не нравится этот американец. Но Михаил Ефимович вновь настаивал на подробном рассказе, объяснил, как важно, чтобы Хемингуэй написал правду об Испании». Кинорежиссер Роман Кармен, тоже познакомившийся

с Хемингуэем, рассказывал об этом эпизоде иначе: «После долгих уговоров товарищей, которые убедили его, что интервью, опубликованное всемирно известным писателем, может сослужить добрую службу испанским патриотам. Хаджи согласился рассказать о своих делах Хемингуэю. Два вечера они беседовали за чашкой кофе в отеле „Флорида“». (Это маловероятно: горячей весной 1937-го у Мамсурова вряд ли было время посидивать в отеле.)

Поскольку Роберт Джордан и его напарник Кашкин — разведчики-диверсанты, люди склонны всех подрывников, с которыми встречался автор романа, называть «прототипами» — это наивность, но, разумеется, Хемингуэй использовал их рассказы, описывая действия подрывных групп. По мнению Е. З. Воробьева, автора книги «Земля, до востребования», Хемингуэй много почерпнул из рассказа Мамсурова о диверсанте Василии Тимофеевиче Цветкове, погибшем в июле 1937-го, и его напарнике, испанском старике Баутисте — это похоже на правду, так как с людьми, напоминающими старика Ансельмо из «Колокола», Хемингуэй лично не встречался. Но этой информации ему было мало, и он добился разрешения (которое Кольцову пришлось согласовать с Орловым) на поездку в тренировочный лагерь в Альгамбре: там познакомился с латышом Артуром Спрогисом, возглавлявшим подготовку диверсантов для «герильерос» — мобильных групп, засылаемых за линию фронта. По воспоминаниям Спрогиса, Хемингуэй попросил взять его на операцию, Мамсуров сильно протестовал, но Кольцов велел удовлетворить просьбу: в той операции группа поляка Антония Хруста («Пепе») взорвала поезд с боеприпасами для франкистов и разрушила железнодорожную линию Сан-Рафаэль — Сеговия.

Был он и у другого знаменитого подрывника, «дедушки русского спецназа» Ильи Григорьевича Старинова («Рудольфо»), прошедшего путь от советника диверсионной группы до советника 14-го партизанского корпуса. Старинов: «Эрнест Хемингуэй — храбрый человек. Единственный из военкоров ходил вместе с нами в тыл противника под Кордовой. Был очень любознателен. <...> Но время было такое, что связи с иностранцами у нас, мягко говоря, не поощрялись. А особенно связи русских с американцами. Можно было напороться. И я, к моему теперешнему сожалению, избегал лишних встреч с Хемингуэем. Я направлял его к Доминго, к переводчице, а сам лично старался с ним меньше общаться. Мало ли что, американец же!» Американцев, однако, в 14-м корпусе было полно, они были подрывниками и Старинов называл некоторые имена: Ирвин Гофф, Александер Кунслич и Уильям Алто,

«отличные американские ребята, которые всегда с удовольствием делали самую опасную работу». Хемингуэй, видимо, показался Старинову «не таким» американцем.

Материал о диверсиях Хемингуэй собирал в марте, а с апреля начались съемки фильма «Испанская земля». Очерк «Жара и холод» (1938): «Прежде всего вспоминаешь, какой был холод; как рано приходилось вставать по утрам; как ты уставал до такой степени, что в любую минуту готов был свалиться и уснуть; как трудно было добывать бензин и как мы все постоянно бывали голодны. Кроме того, была непролазная грязь, а наш шофер был страшный трус. Ничего этого в картине не видно, кроме, пожалуй, холода, когда дыхание людей в морозном воздухе заметно и на экране». «В жаркой части приходилось бегать с аппаратом, в поту, прячась за выступами голых холмов. Пыль забивалась в нос, пыль забивалась в волосы, в глаза, и мы испытывали страшную жажду, когда во рту все пересыхает, как бывает только в бою. <...> Эта часть фильма в моей памяти — сплошной пот, и жажда, и вихри пыли; и, кажется, на экране это тоже немножко видно».

Киногруппа выезжала на позиции каждое утро: Хемингуэй описал ее работу правдиво и красиво, но по своему обыкновению так, будто, кроме режиссера Ивенса, оператора Джона Ферно и него самого, в ней никто не участвовал, а Дос Пассос, организатор киноэкспедиции, вообще не имел отношения к фильму и вдобавок был «врагом испанского народа». Одна из причин внезапно вспыхнувшей враждебности — рабочая: Дос хотел, чтобы в фильме показывались мирное население и зло, которое причиняет война, Хемингуэй настаивал на съемках боев. Но была и другая причина.

Дос Пассос в начале 1930-х считался «красным», выступал с радикальными политическими заявлениями, в 1931 году с Драйзером ездил в Кентукки, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам шахтеров, в 1932-м заявил о поддержке кандидатов от компартии на президентских выборах. Престиж его среди «левых» был высочайшим. В 1928-м он побывал в СССР — там его сочли «попутчиком» и надеялись, что он будет пропагандировать советский опыт. Однако по возвращении он заявил, что «словно вырвался из тюрьмы», и сталинизм назвал не социализмом, а тоталитарным строем, мало отличавшимся от фашизма. (Дос Пассос единственный из зарубежных писателей входил в «Список лиц, все произведения которых подлежат изъятию согласно приказам Главлита за период 1938–1950 гг.».) В Испанию он поехал «не потому, что симпатизировал коммунизму, но потому, что опасался успехов фашизма».

По приезде в Валенсию Дос решил разыскать друга — испанца Хосе

Роблеса, переведившего его книги, профессора филологии в университете Джона Хопкинса. В 1936-м Роблес с семьей поехал в Испанию в отпуск; когда война началась, решил остаться, был назначен в военное министерство на должность атташе по культуре, потом переведен в советское посольство, работал переводчиком у генерала И. А. Березина, был произведен в генерал-полковники, но считал себя гражданским лицом и форму носить отказывался. Когда в феврале 1937-го Дос Пассос пришел на его квартиру, жена сказала, что ее муж арестован в декабре и с тех пор о нем нет сведений. Дос Пассос встретился с министром иностранных дел Альваресом дель Вайо — тот сказал, что не знает, где Роблес. Дос пошел к Пепе Кинтанилья, главе министерства юстиции, и услышал, что обвинения против Роблеса несерьезны и его скоро отпустят. Но Роблеса не отпустили. В Мадриде Хемингуэй сказал Дос Пассосу, что беспокоиться нечего: если Роблеса арестовали — значит, так надо, а Пепа, родственник художника Кинтанильи, — «отличный парень» (Хемингуэй с ним однажды обедал) и дал ему слово, что Роблеса «будут судить справедливым судом». Дос продолжал хлопотать, снова ездил в Валенсию — Хемингуэй сказал, что надо заниматься фильмом, а не «пустяками». Наконец Джози Херст сказала Хемингуэю, что конфиденциальный источник сообщил ей: Роблес был казнен еще в декабре. Хемингуэй передал это Досу — передал, по словам последнего, «равнодушно», — и прибавил, что если Кинтанилья считает Роблеса предателем, то так оно и есть.

За что убили Роблеса? Он был выходцем из семьи монархистов, один из его братьев воевал у Франко. Сам он сочувствовал республиканцам, но не коммунистам, которые в конце 1936-го уже начали забирать власть. Вероятно, сказал что-то лишнее. В его предательство мало кто верил, кроме Хемингуэя, который, в свою очередь, назвал веру Дос Пассоса в невиновность Роблеса «наивной». В мае, когда оба писателя были уже в Париже, Хемингуэй (по словам Доса) «настойчиво выспрашивал», собирается ли он рассказывать об истории с Роблесом, и требовал «решить, на чьей он стороне»; Дос не ответил, и Хемингуэй якобы хотел его избить, но ограничился угрозой: если Дос скажет хоть слово против республиканцев, в Нью-Йорке ему придется худо (конечно, имелась в виду не физическая расправа, а охлаждение со стороны левых).

Досу действительно пришлось худо: товарищи от него отвернулись, назвали глупцом, Малкольм Каули писал, что Роблес, может, и милейший человек, но ежели он враг, то «революционное правительство обязано защищать себя». Дос Пассос отвечал, что защита республиканского правительства — одно, а бессудные казни — совсем другое: «В Испании

использование коммунистами методов ГПУ принесло столько же вреда, сколько пользы принесли советские танкисты, летчики, военные советники». В письме Эптону Синклеру он высказывал тревогу по поводу того, что в России и Испании «в руках фанатиков и им подобных находится всесильная тайная полиция» и что «запущенную машину не остановишь». В 1939-м он начал публиковать трилогию «Приключения молодого человека», где юноша-коммунист приезжает сражаться с франкистами, а коммунисты обвиняют его в «отклонении от партийной линии» и убивают; эта книга окончательно рассорила его с «красными». В 1953 году он заявил Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, что история с Роблесом «привела его к окончательному разочарованию в коммунизме».

Дружбе двух писателей пришел конец. Историк Герберт Солоу так описал разницу между ними: «В Испании Дос Пассос находил бомбежки ужасными, кровопролитие отвратительным, считал, что на анархистов охотится сталинская камарилья, а Народный фронт компрометирует социализм. Хемингуэй находил бомбежки занимательными, кровопролитие восхитительным, анархистов — предателями, Народный фронт — благородным, социализм — чепухой». (При чем тут анархисты? Об этом — в следующей главе.) В 1938 году Хемингуэй писал Досу, что тот «вонзил нож в спину старой дружбе» и «продался за два четвертака», а Кашкину — что «люди, подобные Досу, пальцем не шевельнувшие в защиту Испанской республики, теперь испытывают потребность нападать на нас, пытавшихся хоть что-нибудь сделать, чтобы выставить нас дураками и оправдать собственное себялюбие и трусость». Возможно, он искренне считал, что ходить по инстанциям, пытаясь выручить арестованного, — значит быть трусом.

Заключительные сцены «Испанской земли» снимались под деревней Фуэнтедуэнья, к 1 мая съемки были закончены. Прощальный вечер перед отъездом Хемингуэй провел в Моралехе в штабе 12-й Интербригады. Между тем положение республиканцев ухудшалось: 12 апреля дивизия Листера безуспешно атаковала войска Франко в районе Серро-дель-Агила, 28-го после массированной бомбардировки франкисты взяли Гернику и Дуранго. (Весной и летом 1937-го они без труда захватили всю Северную Испанию.) 9 мая Хемингуэй прибыл в Париж. Он выступил с речью в англо-американском пресс-клубе, сказал, что не ожидал, что война затянется надолго, но республиканцы победят. Был у Сильвии Бич, виделся с Джойсом — того война не интересовала. Случился первый конфликт с НАНА: корреспонденцию, отосланную Хемингуэем 9 мая, не хотели оплачивать, так как по условиям контракта он должен был писать из

Испании, а не из Парижа. 18 мая он уже был в Нью-Йорке с Мартой и Франклином. Оттуда заехал в Ки-Уэст, забрал семью и отправился на Бимини, где дописывал дикторский текст к фильму.

Четвертого июня — снова Нью-Йорк, выступление на II конгрессе американских писателей, где Ивенс показывал «Испанскую землю», еще не озвученную: «Настоящий хороший писатель будет признан почти при всякой из существующих форм правления, которая для него терпима. Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. <...> Когда каждый день бываешь на фронте и видишь позиционную войну, маневренную войну, атаки и контратаки, все это имеет смысл, сколько бы людей мы ни теряли убитыми и ранеными, если знаешь, за что борются люди, и знаешь, что они борются разумно. Когда люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков и когда эти люди — твои друзья, и новые друзья и давнишние, и ты знаешь, как на них напали и как они боролись, вначале почти без оружия, то, глядя на их жизнь, и борьбу, и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже».

Премьера «Испанской земли» должна была состояться 8 июля в Белом доме — это устроила Марта через Элеонору Рузвельт. По предложению Маклиша съемочная группа решила, что хемингуэвский текст будет читать Орсон Уэллс. Сделали запись, но, по словам Ивенса, в голосе Уэллса было что-то «слишком профессиональное». Хелман и Паркер предложили, чтобы текст читал автор — так будет искреннее. 19 июня Хемингуэй опять вылетел в Нью-Йорк. (Марта сопровождала его как «официальная» подруга.) Уэллс был обижен и потом рассказывал историю так: «Прибыв в студию, я увидел Хемингуэя, который сидел и пил виски; мне вручили текст, который был многословным, унылым, напыщенным и ничего не имел общего с его литературным стилем, кратким и скупым. <...> Мои замечания ему не понравились, и он сказал: „Вы, женоподобные актеришки, ничего не знаете о войне“». Далее, по словам Уэллса, они схватили стулья и стали бить ими друг друга, а потом помирились и пили виски. (Никто этой истории не подтверждает.) Уэллс обожал корриду, дружил с матадорами, восхищался «Фиестой» — на этом сошлись. Впоследствии они много раз встречались в Европе, вместе проводили время; по словам Уэллса, «напыщенный и торжественный» Хемингуэй ему не нравился, но когда тот «расслаблялся», то становился идеальным собеседником, веселым и остроумным.

— Прав ли был Уэллс, обругав текст к фильму? В принципе да, но

«Испанская земля» все-таки не художественное произведение, а агитка — к ним требования особые. «Вот подлинное лицо людей, идущих в бой. Они чем-то не похожи на всех остальных людей.

Люди не могут играть перед аппаратом, когда смерть тут же, рядом.

Крестьяне Фуэнтедуэньи слышат рев и говорят:

— Наши пушки.

Линия фронта идет, изгибаясь, с севера к Мадриду.

Это — сорванные двери опустевших домов. Те, кто пережил бомбардировку, тащат их на укрепление новых окопов.

Когда сражаешься, защищая свою родину, война становится почти буднями. Можно есть и пить, спать и читать газеты».

«Они прощаются, — на всех языках мира слова прощания звучат одинаково. Она говорит, что будет ждать. Он говорит, что вернется. Он знает: она будет ждать. Ждать, неизвестно чего, под таким обстрелом! Кто знает, вернется ли он. „Береги малыша“, — говорит он. „Ладно...“ — говорит она и знает, что это невозможно. И оба знают: на этих вот грузовиках люди отправляются в бой.

Смерть каждое утро приходит к этим людям — ее шлют мятежники вон с тех холмов, в двух милях отсюда.

Запах смерти — едкий дым взрывов и пыль развороченных камней.

Почему же они остаются? Они остаются потому, что это их город, тут их дома, их работа, тут идет их борьба, борьба за право жить по-человечески».

В Белом доме фильм смотрели еще с голосом Уэлса (с голосом Хемингуэя он был показан 13 июля в Лос-Анджелесской филармонии). Из письма теще: «Миссис Рузвельт высоченного роста, обворожительная и совершенно глухая. Она практически ничего не слышит, когда к ней обращаются, но так мила, что большинство людей этого просто не замечают. Президент по-гарвардски обаятелен, беспол, женствен и похож на огромную даму — министра труда. Он полностью парализован ниже пояса, и требуется немало усилий, чтобы усадить его в кресло и перевозить из комнаты в комнату. В Белом доме очень жарко — кондиционер только в кабинете президента, а еда — хуже не бывает. Нам подали суп на дождевой воде, резинового голубя, чудный салат из вялых овощей и присланный каким-то почитателем торт...»

Десятого июля «Испанскую землю» показывали в Голливуде, на квартире актера Федерика Марча: цель — сбор средств для республиканцев. Хемингуэй произнес речь, прочувствованную и убедительную. Но людям не понравилось, что он делал вид, будто был в

Испании один, и не упомянул о существовании съемочной группы. Актриса Мирна Лой вспоминала: «Хемингуэй был там как король, наслаждаясь всеобщим поклонением. Он больше интересовался выпивкой, чем взносами, и во время показа картины то и дело приходилось слышать его пьяные выкрики». Лиллиан Хелман запомнилось, что он швырнул и разбил стакан. Фицджеральд, присутствовавший на вечеринке, сказал Перкинсу, что Хемингуэй «пронесся, словно вихрь» и попутно оскорбил половину присутствующих. «Я чувствовал, что он находился в состоянии нервного исступления, в этом проглядывало что-то почти религиозное». Хотелось бы привести в противовес высказывания других людей, которые говорили, что Хемингуэй был трезв и держался прекрасно, но их, к сожалению, нет. Сумму собрали незначительную — 13 (по некоторым источникам — 20) тысяч долларов: ее хватило лишь на покупку нескольких санитарных машин. А ведь на просмотре были миллионеры. Можно было собрать больше, веди себя Хемингуэй менее агрессивно? Может быть, но вряд ли: богатые не любят раздавать деньги, а общественное мнение было не в пользу республиканцев.

Вернувшись домой с гранками «Иметь и не иметь», Хемингуэй обнаружил письмо от главреда «Интернациональной литературы» Сергея Динамова, который просил прислать что-нибудь для спецвыпуска журнала, посвященного 20-летию Октябрьской революции. «Вы знаете, какой глубокий интерес вызывало всегда Ваше творчество у нас в Советском Союзе. Сейчас, после известий о помощи, оказываемой Вами испанскому народу в его героической борьбе за свою свободу и о Вашем пребывании в Испании, Ваше имя в особенности привлекает к себе внимание и симпатии наших читателей». Прилагался номер журнала со статьей Кашкина «Трагедия силы в пустоте», в основном повторявшей мысль первой статьи (Кашкин писал ее, еще не зная о поездке Хемингуэя в Испанию): талант гибнет, пропадает. Хемингуэй, видимо, был несколько обижен и Кашкину отвечать не стал, 24 июля писал Динамову: «Надеюсь, мне еще удастся некоторое время давать повод Кашкину пересматривать окончательную редакцию моей биографии. Передайте от меня Кашкину, что война совсем другая, когда тебе 38 лет, а не 18, 19, 20... Когда-нибудь я напишу ему об этом, если вообще останется время писать письма». (В 1938 году «ИЛ» опубликовала «Иметь и не иметь» и дикторский текст к «Испанской земле», но главред Динамов уже был арестован и позже расстрелян.)

Над гранками Хемингуэй работал не так тщательно, как обычно, хотел скорее развязаться и ехать в Испанию. Жена протестовала, теща написала умоляющее письмо. Он ответил очень мягко: «Дорогая мама... меньше чем

через две недели я снова еду в Испанию, где, как Вы знаете, независимо от того, формируются ли ваши политические взгляды непосредственно или окольным путем, я сражаюсь не на той стороне и должен быть уничтожен со всеми прочими красными. После чего Гитлер и Муссолини могут пожаловать в Испанию и получить необходимые им полезные ископаемые и начать новую войну в Европе. Что ж, пожелаем им удачи, потому что она им очень понадобится. Меня уже мутит от подобной чепухи и всеобщего нежелания знать правду об этой войне, так что я в определенном смысле рад вернуться туда, где мне не нужно будет говорить об этом. <...> Дорогая мама, простите меня за то, что я возвращаюсь в Испанию. Все, что Вы говорили о необходимости остаться и воспитывать мальчиков, очень правильно. Но когда я был там, я обещал вернуться, и, хотя всех обещаний сдержать невозможно, это я не могу нарушить. В противном случае, чему бы я мог научить моих мальчиков... <...> Вы всегда были такой примерной и в равной степени заботились как о земной, так и о потусторонней жизни... А я пока что утратил всякую веру в потустороннюю жизнь... С другой стороны, на этом этапе войны я абсолютно перестал бояться смерти и т. д. Мне казалось, что мир в такой опасности и есть столько крайне неотложных дел, что было бы просто очень эгоистично беспокоиться о чем-либо личном будущем».

Франклин ехать в Испанию не пожелал (зато забрал Полину и мальчиков на свое ранчо в Мексике), Геллхорн тоже не могла ехать немедленно, пришлось отправляться одному. 14 августа, после упоминавшейся схватки с Максом Истменом в редакции «Скрибнерс», Хемингуэй отплыл в Испанию. За это время дела республиканцев ухудшились: в июне франкисты заняли Страну басков, погибли знакомые — генерал Лукач, доктор Хейльбрун. Но, кроме этого, случились и другие плохие вещи. «Вот мы и дрались, думал он. И для тех, кто дрался хорошо и остался цел, чистота чувства скоро была утрачена. Даже и полугола не прошло».

Глава четырнадцатая КРАСНАЯ ЖАРА

Европейские коммунисты в XX веке тратили значительно больше энергии на борьбу с попутчиками, нежели с врагами. Одни историки считают, что такова природа коммунизма, другие — что такова природа людей вообще, третьи — что это в каждой стране объяснялось своими причинами; так или иначе в Испании вместо двух противоборствующих сторон образовалось три. Руководство республики (не употребляем термин «правительство», ибо прокоммунистические и антикоммунистические историки сходятся на том, что все испанские правительства в период гражданской войны были в большей или меньшей степени марионеточными, а фактическую власть осуществляли КПИ, выросшая с 20 тысяч человек в 1936-м до 300 тысяч, представители Коминтерна и СССР) воевало теперь не только с Франко, но и со своими товарищами в Каталонии. Почему?

В 1936 году в Испании складывалась своеобразная модель государства с тенденцией к самоуправлению. Влиятельнейшей силой была НКТ (Национальная конфедерация труда) — анархо-синдикалистское движение, отстаивавшее идеи муниципального самоуправления и организацию профсоюзов «снизу». (Корень «анархо» не должен сбить нас с толку: представляйте не опереточных сумасшедших под черным флагом, а суровых мужиков из профсоюза какой-нибудь угольной шахты в Кемерове.) Не всем представителям Народного фронта подобная система была по душе. Если описать ситуацию упрощенно, то одна сила — НКТ, левые социалисты и ПОУМ — хотела «власти трудящихся», то есть развития профсоюзного самоуправления, другая — коммунисты, либералы-центристы и правые социалисты — такой власти боялись (профсоюзы — страшная сила: в СССР недаром сделали всё, чтобы превратить их в игрушку), а желали похужей на ту, что установилась в СССР в 1930-х — централизованной власти партийно-бюрократического аппарата и органов госбезопасности; первые стремились к коллективизации экономики, вторые — к ее огосударствлению. Получилась удивительная ситуация, о которой писал Оруэлл: «Коммунисты занимали в рядах правительства место не на крайне левом, а на крайне правом фланге. В действительности ничего удивительного в этом не было, ибо тактика коммунистических партий... показала, что официальный коммунизм следует рассматривать, во всяком случае в данный момент, как антиреволюционную силу». В Мадриде к

весне 1937 года власть перешла в руки коммунистов и их «правых» союзников. В Барселоне все было иначе.

Каталония, одна из наиболее развитых промышленных областей, давно стремилась к автономии и получила ее 25 сентября 1932 года: парламент, государственный язык. Формально власть там находилась в руках многопартийного Женералитата, правительства во главе с каталонским националистом Компанисом, которого поддерживала правая ОСПК (Объединенная социалистическая партия Каталонии), но на деле самой влиятельной силой была НКТ: она установила контроль над национализированными ею же предприятиями и сельскохозяйственными кооперативами. После франкистского мятежа процесс перехода власти к профсоюзам и разным советам самоуправления в Барселоне пошел еще быстрее: в руках рабочих частично находились транспорт и связь, порядок поддерживали вооруженные дружины. Оруэлл: «У нас не было класса хозяев и класса рабов, не было нищих, проституток, адвокатов, священников, не было лизоблюдства и козыряния. Я дышал воздухом равенства и был достаточно наивен, чтобы верить, что таково положение во всей Испании. Мне и в голову не приходило, что по счастливому стечению обстоятельств я оказался изолированным вместе с наиболее революционной частью испанского рабочего класса».

Сторонникам централизации это было не по душе: в войну нельзя заниматься социальными преобразованиями, напротив, любая война — предлог для их свертывания. Коммунисты утверждали, что НКТ отвлекала население от борьбы с Франко, саботировала мобилизацию, а если ее сторонники все же оказывались на фронте, то вели себя как трусы, предатели и клинические идиоты, не мылись, не брились и день-деньской играли с противником в футбол. Последнее фактами не подтверждается, но мобилизации «самоуправляющиеся» трудящиеся действительно сопротивлялись, предпочитая организовывать партизанские отряды; впрочем, вся республиканская армия, за редким исключением, не отличалась дисциплиной.

Одним из предприятий, которое контролировали барселонские рабочие, была телефонная станция — это давало им возможность прослушивать переговоры между Мадридом и Москвой, что, по мнению отдельных историков, и послужило поводом расправиться с Барселоной. В конце апреля на заседании исполкома ЦК ОСП К было принято решение о захвате станции, и 3 мая подразделения Гражданской гвардии предприняли ее штурм. В тот же день НКТ и руководству правительства удалось достичь соглашения об отводе гвардейцев, но параллельно с этим Салас, начальник

каталонской полиции и член ОСП К, приказал разоружать рабочие патрули. Требование НКТ об отставке Саласа власти отклонили. В ответ была объявлена забастовка, выросли баррикады, началась стрельба с обеих сторон. (Существуют мнения, что беспорядки были спровоцированы по приказу Орлова или, напротив, по приказу Франко.) Кабальеро отказался посылать в Барселону войска — разберутся сами, но коммунисты, в том числе советские, настаивали на силовом подавлении беспорядков.

Это было важно для них, возможно, не столько из-за НКТ, сколько из-за другой левой партии в Барселоне — ПОУМ (которую Оруэлл охарактеризовал как «одну из тех раскольничьих коммунистических партий, которые появились в последнее время во многих странах как оппозиция сталинизму»): она занимала непримиримые позиции в отношении КПИ и резко критиковала Сталина. ПОУМ называют «троцкистской» партией, и она когда-то была ею, но в 1933-м переменяла платформу и вышла из так называемого «троцкистского» IV Интернационала. Тем не менее в 1935-м ее лидеры Андрес Нин и Хулиан Горкин ходатайствовали перед каталонскими властями, чтобы беглый Троцкий мог жить в Барселоне. В феврале 1936-го секретариат Коминтерна отдал распоряжение КПИ вести «борьбу против контрреволюционной троцкистской секты», а в декабре (то есть за полгода до майских событий) международную кампанию против ПОУМ развернула «Правда»: «В Каталонии началось уничтожение троцкистов и анархо-синдикалистов: их будут истреблять до победного конца с той же энергией, с какой их истребляли в СССР».

Лидеры ПОУМ считали, что нужно требовать роспуска правительства и брать власть, НКТ, организация более мирная, предлагала вести переговоры. В итоге никто не понимал, что надо делать, а меж тем правое (то есть коммунистическое) крыло в мадридском правительстве взяло верх над премьер-министром, и 7 мая в Барселону вошли войска, по дороге разоружавшие отряды ополчения НКТ и ПОУМ. В городских боях погибло около пятисот человек, более тысячи были ранены.

Официальная версия гласила, что «троцкисты и анархисты», «банда провокаторов на службе у международного фашизма», подняли мятеж, чтобы «всадить нож в спину республиканского правительства». В распространении этой дезинформации ведущая роль принадлежала Кольцову: в его «Испанском дневнике» утверждалось, будто в Барселоне действовала фашистская организация. Сталинское (по недоразумению продолжавшее называться советским, хотя от Советов там остались рожки да ножки) государство учило, как справляться с врагом: сразу после

подавления восстания Орлов приказал генеральному директору по вопросам безопасности коммунисту Ортеге подписать, минуя министра внутренних дел, ордера на арест профсоюзных активистов. Количество арестованных оценивается разными исследователями в 10–15 тысяч, ряд активистов, в том числе Нин, были бессудно казнены. 15 июня деятельность ПОУМ была запрещена. Далее КПИ потребовала от Кабальеро ликвидации всех антисталинских группировок и установления контроля над СМИ, тот отказался, после чего был вынужден уйти в отставку и его сменил Негрин, поддерживавший коммунистов. Это была полная и окончательная победа контрреволюции: представители НКТ арестовывались, исключались из муниципальных советов, профсоюзы были разогнаны, земли сельских коммун возвращены помещикам. (Проиграл и каталонский Женералитат: его сменило марионеточное правительство, управляемое из Мадрида.) Европейская интеллигенция, в начале войны относившаяся к республиканцам лояльно, стала от них отворачиваться; особенно много протестов вызвало убийство Нина.

«— Я думал, что вы против метода политических убийств.

— Мы против индивидуального террора, — улыбнулся Карков. — Конечно, мы против деятельности преступных террористических и контрреволюционных организаций. Ненависть и отвращение вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники^[35]. Мы презираем и ненавидим этих людей. — Он снова улыбнулся. — Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко.

— Вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков, накипь человечества. Их мы ликвидируем. Но не убиваем. Вы понимаете разницу?

— Понимаю, — сказал Роберт Джордан».

Хемингуэй прибыл в Мадрид в конце августа (его сопровождала Марта, с которой он воссоединился в Париже), поселился в той же «Флориде», посещал тот же «Гэйлорд». Разумеется, знал о событиях в Барселоне. Он писал о таких событиях три года назад: «Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями... кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамваи по заведомо минированным путям». Неизвестно, говорил ли он с Кольцовым о Барселоне, но в романе такой разговор есть:

«— Посмотрели бы вы, что делается в Барселоне! (реплика Каркова. — М. Ч).

— А что?

— Самая настоящая оперетта. Сначала это был рай для всяких психов и революционеров-романтиков. Теперь это рай для опереточных вояк. Из тех, что любят щеголять в форме, красоваться, и парадировать, и носить красные с черным шарфы. Любят все, что связано с войной, не любят только сражаться! От Валенсии становится тошно, а от Барселоны смешно.

— А что вы думаете о путче ПОУМ?

— Ну, это совершенно несерьезно. Бредовая затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало, бедный ПОУМ. Дураки все-таки.

— Много народу погибло во время этого путча?

— Меньше, чем потом расстреляли или еще расстреляют. ПОУМ. Это все так же несерьезно, как само название. Уж назвали бы КРУП или ГРИПП. Хотя нет. ГРИПП гораздо опаснее. Он может дать серьезные осложнения. Кстати, вы знаете, они собирались убить меня, Вальтера, Модесто и Прието. Чувствуете, какая путаница у них в голове? Ведь все мы совершенно разные люди. Бедный ПОУМ. Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только нескольких человек в Барселоне.

— А вы были там?

— Да. Я послал оттуда телеграмму с описанием этой гнусной организации троцкистских убийц и их подлых фашистских махинаций, но, между нами говоря, это несерьезно, весь этот ПОУМ. Единственным деловым человеком там был Нин. Мы было захватили его, но он у нас ушел из-под рук.

— Где он теперь?

— В Париже. Мы говорим, что он в Париже. Он вообще очень неплохой малый, но подвержен пагубным политическим заблуждениям.

— Но это правда, что они были связаны с фашистами?

— А кто с ними не связан?

— Мы не связаны.

— Кто знает. Надеюсь, что нет. <...>

— Мне больше нравится на фронте, — сказал тогда Роберт Джордан.
— Чем ближе к фронту, тем люди лучше».

В первых числах сентября Хемингуэй с Мартой и Гербертом Мэттьюзом выехал туда, где люди лучше, — на Арагонский фронт, где республиканцам удалось взять город Бельчите (но у них не хватило сил для нанесения удара противнику). Успешно действовал батальон Линкольна: «Заключительную атаку возглавил Роберт Мерримен, в прошлом

профессор Калифорнийского университета, а теперь начальник штаба Пятнадцатой бригады. Давно не бритый, с черным от дыма лицом, он пробивал себе путь фанатами и, хотя был шесть раз ранен осколками в обе руки и в лицо, не ушел на перевязку, пока не взял собор».

Затем провели несколько недель там, где люди хуже — «Именно в те дни, думал он, ты испытывал глубокую, разумную и бескорыстную гордость, — каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гэйлорда, подумал он вдруг» — а в начале октября побывали на фронте под Брунете, где республиканцы еще в июле ценой страшных потерь остановили наступление противника и отсрочили его прорыв на севере страны. Хемингуэй убеждал читателей, что дела республиканцев идут на лад: «Если так и будет продолжаться, Франко придется выделять все новые и новые воинские части, чтобы сдерживать малые наступления Республики. Чтобы повысить свой престиж за границей, а вместе с тем укрепить свой кредит, он будет, наверное, двигаться вдоль побережья, занимая города, не имеющие важного стратегического значения, но зато известные всем по названию; или ему придется вновь атаковать Мадрид и дорогу на Валенсию; с этим можно тянуть, но в конечном счете от этого ему не уйти. Мое личное мнение, что, войдя в Мадрид и не сумев его взять, Франко проиграл; он увяз в Мадриде».

Батальон Линкольна был ударной силой в большинстве боев лета — осени 1937-го; его будущий (и последний) командир, 21-летний Милтон Уолф, во время краткого отпуска в Мадриде познакомился с Хемингуэем. 38-летний писатель был в восторге от юноши, сравнивал его с Линкольном и Вашингтоном. Впечатления Уолфа противоречивы: он вспоминал, что собеседник «всех заражал оптимизмом», но и раздражал: «Хемингуэй пытался показать, что знает о сражении под Брунете больше, чем я, простой солдат». «Эрнест во многих отношениях как ребенок, — писал он другу. — Ему хочется быть мучеником... Таковы литераторы. Я предпочитаю читать их, а не общаться с ними».

Литераторы, к счастью, тоже иногда предпочитают не общаться, а писать: в октябре, когда в Штатах вышел и был раскритикован роман «Иметь и не иметь», его автор уже работал в Мадриде над пьесой «Пятая колонна» (The Fifth Column). Если не считать пьески «Сегодня пятница», это был его первый драматургический опыт. В предисловии к «Пятой колонне» говорится: «Каждый день нас обстреливали орудия, установленные за Леганес и по склонам горы Гарабитас, и пока я писал свою пьесу, в отель „Флорида“, где мы жили и работали, попало больше тридцати снарядов. Так что, если пьеса плохая, то, может быть, именно

поэтому. А если пьеса хорошая, то, может быть, эти тридцать снарядов помогли мне написать ее». Вообще-то в Мадриде в тот период было затишье и в другом тексте Хемингуэй писал о тогдашних проблемах: «Пива не хватает, и виски почти нигде не найдешь. В витринах выставлены испанские подделки ликеров, виски и вермута. Для внутреннего употребления они не годятся, но я купил одну бутылку с этикеткой „Милорд“, чтобы обтирать щеки после бритья», но это непринципиально: если автор ощущает себя так, словно около него каждый день рвутся снаряды, и сумеет передать это ощущение читателю, значит, так оно и было.

Что такое «пятая колонна»? Осенью 1936 года, когда франкисты четырьмя колоннами наступали на Мадрид, генерал Мола заявил, что у него имеется «пятая колонна» — шпионская и диверсионная агентура в тылу республиканцев. Для борьбы с этой «пятой колонной» и для координации деятельности разведывательных служб 9 августа 1937 года по распоряжению министра обороны, правого социалиста Индалесио Прието, была создана Служба военной информации, СИМ (Servicio de Information Militar), орган, копировавший организационную структуру, политику и методы НКВД. Впоследствии Прието (5 апреля 1938-го выведенный из правительства) утверждал, что, вопреки его намерениям, СИМ прибрали к рукам коммунисты и фактически этим органом управлял Орлов. В пьесе Хемингуэя СИМ называется «Сегуридад» (безопасность): это хорошая и правильная организация, хотя ее руководитель Антонио — зловещий тип. Бейкер написал, что Антонио — «глава мадридского отделения СИМ Пепа Кинтанилья», и биографы повторяют эту ошибку, возможно, потому, что американцы принципиально не читают ничего; что написано не на английском языке, ибо из испанских и французских источников известно, что Кинтанилья такого поста не занимал. Главой СИМ был Анхель Диас Баса, потом на этом посту сменилось еще несколько человек, а первым начальником мадридского отделения был друг Хемингуэя Густаво Дуран.

Они познакомились в Париже в 1930-х — тогда Дуран был студентом консерватории, потом стал композитором и музыкальным критиком. С началом гражданской войны он вернулся на родину, вступил в республиканскую армию, дослужился до майора, руководил в составе 11-й Интербригады 69-м смешанным дивизионом, участвовал в нескольких значительных сражениях. Летом 1937 года, когда его часть отошла с фронта, Прието назначил его главой мадридского отделения СИМ: если верить Прието, Дуран набрал в штат одних коммунистов и министр уже через несколько недель его снял, заменив на правого социалиста Анхеля

Педреро Гарсию. Орлов, по словам Прието, стоял за Дурана, так что они поссорились, а вскоре по настоянию Орлова был снят и сам Прието — но Педреро уже нашел с Орловым общий язык и оставался на посту до конца войны. Дуран же вернулся в армию, стал полковником, командовал 47-й дивизией, принимал участие в битве за Теруэль и обороне Валенсии. После войны бежал в Англию, затем перебрался в США, вернулся к мирной специальности, а в 1950-х предстал перед комиссией сенатора Маккарти, которая, как считает абсолютное большинство изыскателей, несправедливо заподозрила его в службе в СИМ. Однако факт этой службы подтверждают как Прието, так и сменщик Дурана, после войны осужденный правительством Франко. Но все для Дурана обошлось и он потом служил уже в американской разведке, а после Второй мировой работал в ООН. Так неужели Хемингуэй «списал» Антонио со своего друга? Вряд ли; скорее всего, зверский шеф контрразведки — образ собирательный...

Шпионские группы на республиканской территории, для борьбы с которыми была создана СИМ, реально существовали, хотя до сих пор неясно, велик ли был их вклад в дело Франко. Но СИМ боролась также с диссидентами. Термин «пятая колонна» использовался официальной пропагандой для обоснования террора. «Пятой колонной» были не только шпионы Франко, но и все, кто мешал мадридскому руководству — например «троцкисты». Хемингуэеведов почтение героя к СИМ, Кольцову и коммунистам смущает, и они, комментируя «Пятую колонну» и вообще деятельность Хемингуэя в Испании, пытаются создать впечатление, что он политикой не интересовался. Мейерс пишет, что ему «была скучна политика» и что, «подобно большинству художников, его занимало наблюдение за жизнью и использование этих наблюдений для своего творческого развития»; Майкл Рейнольдс утверждает, что он был «одним из наименее политизированных обозревателей того времени». Написание «Пятой колонны» объясняют тем, что Хемингуэю были нужны деньги (его последние книги продавались не очень хорошо, а для «Эсквайра» он писать бросил), что он мечтал о бродвейских подмостках и, наконец, что ему было нечем заняться. Но если это было так — почему он написал пьесу не о матадорах, а о СИМ?

Филип Роулингс, герой «Пятой колонны» — американский журналист, по совместительству работающий на «Сегуридад»: сам разоблачает шпионов, сам ловит. Биографы полагают, что Хемингуэй писал о себе, то есть о своей детской мечте быть «рыцарем плаща и кинжала», и воображал, как бы он развернулся, если бы глава СИМ предложил ему работу (впоследствии он рассказывал, что такое предложение было и что он

выполнял некие секретные задания; ни один биограф в это не верит, ибо в СИМ сидели не идиоты); Филип — это «голливудизированный» Эрнест.

Пьеса начинается с того, что боец республиканской армии (американец) упустил шпиона, и Роулингс его отчитывает:

«1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу сказать вам...

Филип. Вы дали уйти человеку, который мне был нужен. Вы дали уйти человеку, который мне был необходим. Вы дали уйти человеку, который пошел убивать.

1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста...

Филип. Пожалуйста — неподходящее слово для солдата.

1-й боец. Я не настоящий солдат.

Филип. Раз на вас военная форма, значит, вы солдат.

1-й боец. Я приехал сюда, чтобы сражаться во имя идеала.

Филип. Все это очень мило. Но послушайте, что я вам скажу. Вы приезжаете сражаться во имя идеала, но при первой атаке вам становится страшно. Не нравится грохот или еще что-нибудь, а потом вокруг много убитых, — и на них неприятно смотреть, — и вы начинаете бояться смерти — и рады прострелить себе руку или ногу, чтобы только выбраться, потому что выдержать не можете. Так вот — за это полагается расстрел, и ваш идеал не спасет вас, друг мой».

Потом выясняется, что боец — не предатель, он заснул от усталости, и Роулингс заступается за него на допросе в «Сегуридад», куда сам его и приволок:

«Антонио. Я хотел бы задать несколько вопросов.

Филип. Слушайте, *mi coronet*^[36]. Если бы вы считали меня непригодным к этим делам, вы бы мне их больше не поручали. Этот парень совершенно чист. Вы сами знаете, никого из нас нельзя назвать чистым в полном смысле слова. Но этот парень чист. Он просто заснул, а я ведь, знаете, не судья. Я просто работаю у вас ради идеи и ради Республики и тому подобное. А у нас в Америке был президент по имени Линкольн, который смягчал приговоры часовым, заснувшим на посту и присужденным за это к расстрелу. Так вот, если вы не возражаете, давайте, так сказать, смягчим и этому приговор. Он, видите ли, из батальона Линкольна — а это очень хороший батальон... <...> Теперь вот что, товарищ... (Оборачиваясь к арестованному.) Если вы еще когда-нибудь заснете на посту, выполняя мое задание, я сам пристрелю вас, понятно?»

Боец спасен, ведь Роулингс такой уважаемый человек, что шеф «Сегуридад» слушается его, как овечка. Правда, это только в русском

переводе так: в подлиннике Антонио, когда Роулингс ушел, снова приказал привести бойца и пытаться его...

Далее шпион вторгается в номер Роулингса и убивает человека, приняв его за хозяина (тот чувствует вину); потом немец-коммунист Макс дает Роулингсу наводку на гнездо диверсантов; параллельно происходят сцены из личной жизни героя. Его любят брюнетка Анита и блондинка Дороти (похожая на Марту и на Полину): «Она ленива, избалована, даже глупа и страшная эгоистка. Но она очень красивая, очень милая, очень привлекательная и даже честная — и, безусловно, храбрая». Дороти уговаривает Роулингса бросить войну: «Филип, неужели тебе не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сен-Тропе, — то есть вроде прежнего Сен-Тропе, — и жить там долго-долго мирной счастливой жизнью, — много гулять, и купаться, и иметь детей, и наслаждаться счастьем, и все такое? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? Война, и революция, и все прочее?»

Роулингс не железный, он страдает. «Я устал, и я вконец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда, во всю свою жизнь, не убивать больше ни одного человека, все равно кого и за что. Мне бы хотелось никогда не лгать». Но Макс, положительный герой-резонер, приводит его в чувство:

«Филип. Мне все опротивело. Знаешь, где бы я хотел очутиться? В каком-нибудь славном местечке вроде Сен-Тропе на Ривьере, проснуться утром, и чтобы не было войны, и чтобы принесли на подносе кофе с настоящим молоком... и бриоши со свежим клубничным вареньем, и яичницу с ветчиной. <...>

Макс. Ты работаешь, чтобы у всех был такой хороший завтрак. Ты работаешь, чтобы никто не голодал. Ты работаешь, чтобы люди не боялись болезней и старости; чтобы они жили и трудились с достоинством, а не как рабы.

Филип. Да. Конечно. Я знаю».

Потом диверсанты производят взрыв, Роулингс берет одного из них живым — это некий «штатский», подозрительно напоминающий Дос Пассоса.

«Штатский (истерически). Вы его убили!

Филип (презрительно). А ну-ка, помолчите, вы».

Штатского уводят на допрос в «Сегуридад» — эту сцену в русском переводе сократили, потому что выглядела она не слишком гуманно, оставили только конец:

«Макс. Как он держался?»

Филип. Подло. Но вначале выкладывал не сразу, понемногу».

Цель достигнута: «штатский» выдал 300 шпионов и «пятая колонна» ослабела. Дороти опять просит уехать с ней, но Роулингс ее отвергает — ведь «впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок». Для серьезного художника, как Хемингуэй, «Пятая колонна» — вещь чудовищная: не из-за политики, она просто ужасно написана. Ходульный герой, которого домогаются красавицы, картонные коммунисты, диалоги как в плохих голливудских фильмах об СССР: «Товарищч!!! — Что тебе, товарищч?!»; коммунист Милтон Уолф презрительно назвал ее «историей рыцаря плаща и кинжала», в которой «нет ничего похожего на подлинную войну», другие военные охарактеризовали как «слюнтяйство». Коммунист Майкл Голд, однако, хвалил: пьеса «доказывает, что мадридский опыт перевоспитал Хемингуэя». Перкинс заявил, что пьеса «растрогала» его и подтвердила, что автор «движется к новым горизонтам». Сам автор предчувствовал, что его работа не произведет впечатления, и по его настоянию она была издана не отдельно, а в составе сборника вместе с рассказами: рассказы хвалили, мнения о пьесе разошлись. Ее хвалил Каули, восторгался всем, что выходило из-под пера Хемингуэя. Уилсон, открывший Хемингуэя миру, назвал ее «наихудшим образцом мифотворчества». Лайонел Триллинг писал, что она выражает иезуитский лозунг «цель оправдывает средства», Джон Рейберн нашел в ней «макиавеллиевское презрение к морали», Стивен Коч назвал «низшей точкой морального падения Хемингуэя, служившего Сталину и сталинскому террору», а Стэнли Пейн охарактеризовал Роулингса как «омерзительнейший образ американца в мировой литературе».

Пьеса была куплена нью-йоркской Театральной гильдией, но из-за финансовых трудностей поставлена только в 1940 году; голливудский сценарист Бенджамин Глейзер, которого его шурин Морис Спейсер «сосватал» Хемингуэю, ее переделал (доход они с Хемингуэем делили пополам), и она стала еще более глупой: упоминания о коммунистах выкинули по политическим причинам, по «моральным» — заставили Роулингса изнасиловать героиню (в пьесе она сперва приехала в Испанию с другим мужчиной и, если бы отдалась герою добровольно, то была бы нехорошей женщиной, а вот если женщина полюбила насильника, то она нормальная). Шла пьеса всего два месяца и, как впоследствии признался автор, не доставила ему ничего, кроме неприятностей. В 1952 году он писал о ней критику Бернаруду Беренсону: «В то время она мне казалась хорошей, но, очевидно, это не так. Я тогда читал странную книжку какого-

то англичанина, написанную необыкновенно плохим и в то же время эффективным языком, и, подобно жалкому хамелеону, я стал подражать ему».

Но почему Хемингуэй, зная о Барселоне, все же принял сторону СИМ? Он объяснял это тем, что коммунисты виделись ему единственной силой, способной победить Франко, а ради победы все средства допустимы. Но, думается, это был не столько осознанный выбор, сколько результат обстоятельств. В Барселоне он почти не был, деятелей НКТ и ПОУМ не знал, уличных боев не видел; оказался он волею случая с барселонскими рабочими, возможно, занял бы их сторону. Коммунисты же попадались на каждом шагу: Кольцов и его окружение, немцы из 11-й Интербригады, Реглер, Залка, Хейльбрун, Эррера, Дюран, подрывники, батальон Линкольна, режиссер Ивенс; он также познакомился с кубинскими коммунистами Хуаном Маринельо (будущим генсеком компартии Кубы), и Роландо Масферрером (будущим врагом коммунистов). Самым близким его другом-коммунистом стал Эдвин Рольф, поэт и журналист, выходец из рабочей семьи: его подлинная фамилия была Фишман и он не хотел знакомиться с Хемингуэем, будучи наслышан о его антисемитизме, но их же свел другой американский коммунист, Джо Норт, и завязалась дружба, которая продлится много лет. «Хемингуэй — своего рода мальчишка-переросток, очень симпатичный, — вспоминал Рольф. — Я загрузил их (с Мартой. — М. Ч.) пропагандой». «Загружали пропагандой» и другие — Ивенс, к примеру, утверждал, что Хемингуэй к концу 1937-го «полностью созрел для вступления в партию».

Закончив «Пятую колонну» в ноябре, Хемингуэй собрался уезжать домой, но задержался, потому что приехал Шипмен (он переправлял добровольцев в батальон Линкольна). В Мадриде делать было нечего: Кольцова отозвали в Москву, Дурана сняли с должности, секреты узнать не у кого. Он съездил на день в Барселону (уже управляемую коммунистами), оттуда в Валенсию, там узнал, что началось контрнаступление республиканцев под Теруэлем. После того как в сентябре — октябре франкисты заняли Астурию и таким образом полностью овладели севером страны, Теруэль стал важнейшим участком фронта. От него, расположенного между Мадридом и Валенсией, мог зависеть исход войны: если франкистам удастся наступление, они прорвутся к морю, отрежут Каталонию и выйдут в тыл защитникам Мадрида. Ликвидация же Теруэльского выступа позволяла республиканским войскам обезопасить Валенсию, сократить линию фронта и лишить противника выгодного плацдарма. (Между прочим, теруэльский фронт держали в основном недобитые троцкисты и анархо-синдикалисты.)

В Барселоне он встретил Эренбурга: «Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. „Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он. — Я туда еду с Капой“. В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: „Не знаю. Началось хорошо... Но говорят, что фашисты подтягивают резервы“. Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. „Ты сошел с ума — там собачий холод!“ Он засмеялся: „Топливо со мной“, — и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: „Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...“ Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: „Он тебе поможет“. Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине».

На 18 декабря было назначено наступление франкистов на Гвадалахару и Мадрид, но в ночь с 14-го на 15-е подразделения республиканской армии под командованием Листера начали контрнаступление; 18-тысячная группировка войск Франко была окружена. 17-го Хемингуэй, Мэттьюз и Капа выехали на линию фронта, а 19-го вошли в Теруэль с первыми республиканскими частями. (Там сражался и Милтон Уолф.) Потом съездили в Мадрид и вернулись, прихватив с собой еще Делмера. О Теруэле Хемингуэй написал три корреспонденции для НАНА, был в восторге: «На фоне ландшафта, ледяного, как гравюра на стали, неистового, как снежная буря в Вайоминге или ураган на открытом горном плато, шло это, быть может, решающее в ходе войны сражение».

Письмо к Хедли Маурер от 31 января 1938 года: «Передай Полу, что я как-нибудь расскажу ему про Теруэль... Мэттьюсу и Делмеру отказали в разрешении ехать в Теруэль и мне пришлось поручиться за них... Первый репортаж о битве я отправил в „Нью-Йорк таймс“ на десять часов раньше Мэттьюса, потом вернулся на фронт, участвовал в наступлении вместе с пехотой, вошел в город вслед за ротой саперов и тремя ротами пехоты, написал и об этом, вернулся и уже готов был отправить прекрасный репортаж об уличных боях, когда получил телеграмму от НАНА. Они сообщали, что им больше не нужны мои корреспонденции. Должно быть, это им слишком дорого обходилось». Он по своему обыкновению искажил факты: и за Мэттьюза не «ручался», и Уилер, директор НАНА, тогда еще не отказывался от сотрудничества, а лишь отклонил одну из заметок о Теруэле, так как она повторяла текст Мэттьюза, опубликованный на 10 часов раньше, а вовсе не позже, хемингуэевского. Но в НАНА действительно были недовольны.

Хемингуэй написал для НАНА 30 корреспонденций — первая

(«Паспорт для Франклина») была датирована 12 марта 1937 года, последняя («Мадрид ведет свою войну») — 10 мая 1938-го. Поначалу Уилеру нравилось, но вскоре он стал просить побольше писать не о боях, а о «человеческих проблемах». Потом попросить писать пореже (гонорар-то сумасшедший), некоторые тексты критиковал, три — отклонил, так как они дублировали статьи Мэттьюза и Делмера и (по мнению Уилера) отличались от них в худшую сторону.

Чем корреспонденции Хемингуэя не нравились НАНА? Во-первых, они были слишком «литературны» (читателям газет это не нужно) и монотонно-живописны: «Справа от нас желтой громадой высится Мансуэто. Республиканская артиллерия стреляет через наши головы; за выстрелом сперва слышится звук, словно рвут шелк, а потом вдруг вздымающиеся черные дымки разрывных снарядов ложатся на испещренные рубцами оборонительные сооружения»; «Вчера вечером, когда мы прибыли в Барселону, все казалось грязно-серым, туманным и грустным, но сегодня было тепло и солнечно, и розовые цветы миндаля расцвечивали серые холмы и оживляли пыльно-зеленые вереницы оливковых деревьев»; «Под миндальными деревьями в зелени пшеницы сияют маки, и голые серые и белые мадридские стены кажутся очень далекими». Раздражали также бесконечные описания трупов — когда их так много, это не впечатляет: «Убило старуху, возвращавшуюся домой с рынка; она свалилась, как неряшливо увязанный черный узел с платьем, и одна нога ее, вдруг отделившись от туловища, угодила в стену соседнего дома»; «Убило трех прохожих на соседней площади, и они тоже лежали, подобно груде старой одежды, в пыли, на булыжной мостовой, куда ударили осколки „сто пятьдесят пятого“, взорвавшегося на обочине тротуара»; «Ослепительная вспышка и грохот, и легковую машину занесло, водитель вышел, шатаясь, сорванная с головы кожа с волосами свисала ему на лоб, он сел прямо на тротуар и подпер голову рукой, и кровь, поблескивая, стекала у него с подбородка».

Во-вторых, у Хемингуэя было много назойливых указаний на личную храбрость автора (чего не допускали Мэттьюз и Делмер): «Кое-кому это не понравится и будет объявлено пропагандой, но я-то видел поле боя, видел трофеи, пленных и мертвецов»; «Это вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдаю так близко»; «Два дня ваш корреспондент занимался опаснейшим делом в этой войне»; «Ваш корреспондент вошел сегодня в Лериду. Это не такое трудное дело. Нужно только следить за ногами, чтобы твердо ступали, и не поддаваться холодку на спине, от лопаток и выше к затылку, когда пересекаешь сортировочную станцию под пулеметом,

бьющим с башни на расстоянии пятисот ярдов».

В-третьих, он допускал много фактических неточностей. В-четвертых, все военные у него были похожи друг на друга и говорили «хемингуэевским стилем». В-пятых, он повторял пропагандистские басни, услышанные от Кольцова, в частности, о каталонцах: «Кухни были вынесены вперед, окопы служили для отдыха, и контакты с противником носили чисто дружеский характер, когда, например, анархисты — так рассказал нам офицер республиканской армии, командующий сейчас этим сектором, — приглашали мятежников сыграть с ними в футбол». Он также приукрашивал положение дел на фронтах и умалчивал о второй гражданской войне, что велась между коммунистами и их бывшими союзниками. Наконец, он, аккредитованный как журналист нейтрального государства, писал о республиканской армии: «мы взяли город такой-то». Претензий множество: по словам Бейкера, «его глаз был не так остер, чтобы подмечать индивидуальные особенности и мелкие детали, как у Дос Пассоса, и он не проявлял дотошности и точности, характерных для работ Мэттьюза и Делмера».

Есть и другое мнение, выраженное, например, историком У. Уотсоном, который полагает, что в конфликте с НАНА правота была на стороне Хемингуэя. Во-первых, его тексты нещадно правили, чего он не выносил. Во-вторых, НАНА действительно хотела сэкономить деньги. В-третьих, НАНА не нравились его политические взгляды: в найденных Уотсоном черновиках Хемингуэй призывал США оказывать военную помощь Мадриду и говорил, что война в Испании является частью грядущей мировой войны, — Уилер это печатать отказался. Эти идеи Хемингуэю удалось-таки опубликовать — в основанном Гингричем журнале «Кен»: он писал, что если США откажутся от нейтралитета, «фашизм можно будет разбить на испанской земле. В противном случае Соединенным Штатам в ближайшем будущем придется иметь дело с противником куда более сильным, чем легионы Муссолини или армия генерала Франко».

Правы, наверное, те и другие: то обстоятельство, что Хемингуэй писал вещи, политически неприемлемые для НАНА, не исключает того, что писал он их плохо. Он отправил Уилеру гневное письмо, но оно не возымело успеха. Его контракт окончился, к тому же он плохо себя чувствовал (принимая большие количества алкоголя ежедневно), нужно уезжать. Перед Рождеством с Мартой вернулись в Париж. Там застали Полину. По-видимому, между супругами произошло объяснение, но формально они примирились. Жена заставила показаться врачу — обнаружили признаки цирроза печени. Врач запретил пить. (Несколько

дней он держался, потом махнул рукой.) 12 января 1938 года супруги отплыли в Нью-Йорк, а оттуда в Ки-Уэст. Хемингуэй говорил репортерам, что дела у республиканцев идут на лад — Теруэль подтверждение тому. (21 февраля после шестинедельного обстрела тяжелой артиллерией и бомбежек республиканцы были вынуждены отступить, а 22-го Теруэль пал.)

Дома не знал куда себя деть — семья фактически распалась, тосковал по Марте, ссорился с Перкинсом из-за плохой рекламы «Иметь и не иметь», писал очерки об Испании. Должна была родиться книга, но пока не было даже замысла. В начале марта заключил с НАНА новый контракт на шесть недель, 15-го написал Перкинсу, что не может спать, потому что «принадлежит Испании», а 19-го уже отплыл в Европу. Он вез с собой тексты старых рассказов, которые осенью должны были выйти у Скрибнера сборником вместе с «Пятой колонной». В Париже прочел статью Дос Пассоса — тот писал, что советские коммунисты в Испании заправляют всем, а СИМ применяет методы НКВД. 28 марта ответил гневным письмом (бесчисленные fuck и shit убраны):

«В Испании по-прежнему идет война между народом, на стороне которого некогда был и ты, и фашистами... <...> Как я понимаю, единственная причина, по которой ты денег ради нападаешь на тех, на чьей стороне некогда был сам, — это нестерпимо-жгучее желание рассказать правду. Тогда почему же ты этого не делаешь? Конечно же, за десять дней или даже за три недели узнать правду невозможно... Когда люди читают серию твоих статей, публикуемых в течение полугола или более, они даже не представляют себе, как мало времени ты провел в Испании и как мало ты там увидел... <...> Если ты когда-нибудь заработаешь деньги и захочешь отдать мне долг (не те деньги, что дал дядя Гас, когда ты болел, а те небольшие суммы, что ты брал потом), то почему бы тебе не вернуть мне тридцать сребреников, коль скоро ты получишь триста или черт его знает сколько еще? <...> Достопочтенный Джек Пассос трижды всадит тебе нож в спину за пятнадцать центов, а „Джовинецца“ (гимн итальянских фашистов. — М. Ч.) споет бесплатно». Кашкин потом писал: «Что же касается государства, то практика анархистов, оказавшихся у власти в республиканской Испании, и особенно в Каталонии, раскрыла Хемингуэю глаза... И он, хотя бы на время войны, высказывался за железную дисциплину Пятого полка и испанских коммунистов и на этой почве порвал долголетнюю дружбу с Дос Пассосом».

Разумеется, Дос никогда не хвалил фашистов, итальянских или каких-либо еще, а из-за разрыва с левыми издателями не приобрел, а потерял

доход; что касается денег, взятых в долг, неизвестно, существовали ли они: когда Хемингуэй хотел кого-нибудь обругать, о фактах он заботился в последнюю очередь. Но слова Доса о советских, заправляющих в Испании, видимо, запали ему в душу, так как в «Колоколе» есть рассуждение об этом: «Там, у Гэйлорда, можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки, и оказывалось, что многие из них говорят по-русски. Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в Военную академию для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе. <...> Все, что удавалось узнать у Гэйлорда, было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гэйлорда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит». Но приятно и нужно было знать правду только самому Хемингуэю — а его читателям знать ее было противопоказано.

Правда же была такова: испанская война всем надоела, были уже другие проблемы. 11 марта Германия осуществила захват (так называемый аншлюс) Австрии: расстановку сил в Европе это не сильно изменило, но многие поняли, что мировой войны не избежать. Франко повел переговоры с Англией, а немецкому легиону «Кондор» предложил убраться домой: в будущей войне «лис» предпочитал остаться нейтральным. Что касается СССР, то еще с середины 1937 года на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) чаще стали обсуждать вопросы помощи не Испании (она называлась страна X), а Китаю (страна Z). Резко уменьшились поставки оружия в Испанию, в феврале 1938-го они вовсе прекратились, так как был исчерпан «золотой запас». Франко 9 марта начал наступление на Арагонском фронте; он брал один населенный пункт за другим с целью выйти к побережью между Барселоней и Валенсией и разрезать территорию, контролируемую республиканцами, надвое. К началу апреля франкисты достигли Лериды и спустились по долине реки Эбро, отрезав Каталонию от остальной страны: вот-вот они достигнут побережья.

Хемингуэй 31 марта прибыл в Перпиньян с корреспондентом «Нью-Йорк геральд трибюн» Винсентом Шином и молодым Джимом, сыном Ринга Ларднера: тот хотел вступить в батальон Линкольна, старшие его отговаривали — безрезультатно. (Джим погиб 22 сентября; у Хемингуэя его смерть вызвала чувство вины.) 1 апреля — Барселона: точными сведениями о положении на фронте никто не располагал. 3 апреля Хемингуэй с Мэттьюзом выехал в район Таррагоны — навстречу шли отступающие республиканские части. На следующий день они встретили остатки батальона Линкольна, попавшего в окружение у Гандесы и переплывшего Эбро. Перешли реку — мосты наводились и разрушались по несколько раз в день. (Бои за Эбро будут вестись почти до самого конца войны.) Разговорились со стариком, который беспокоился о своих домашних животных, — в тот же вечер 5 апреля Хемингуэй написал рассказ «Старик у моста» (The Old Man at the Bridge). В нем нет ни «сезанновских» пейзажей, ни описания боев, ни красивых фраз. Хемингуэй снова стал Хемингуэем: он выбрал самые простые слова, необходимые, чтобы у читателя сжалось сердце.

«— Вы за кого? — спросил я.

— Ни за кого, — сказал он. — Мне семьдесят шесть лет. Я прошел уже двенадцать километров, а дальше идти сил нету.

<...>

Он взглянул на меня устало и безучастно и потом сказал, чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своей тревогой:

— Кошка-то, я знаю, не пропадет. О ней нечего беспокоиться. А вот остальные. Как вы думаете, что с ними будет?

— Что ж, они, вероятно, тоже уцелеют.

— Выдумаете?

— А почему бы нет? — сказал я, всматриваясь в противоположный берег, где уже не видно было повозок.

— А что они будут делать, если обстрел? Мне и то велели уходить, как начался обстрел.

— Вы оставили голубятню открытой? — спросил я.

— Да.

— Тогда они улетят.

— Да, правда, они улетят. А вот остальные. Нет, лучше не думать, — сказал он.

— Если вы уже отдохнули, уходите, — настаивал я. — Встаньте и попробуйте идти.

— Благодарю вас, — сказал он, поднялся на ноги, покачнулся и снова

сел в пыль. — Я смотрел за животными, — повторил он тупо, уже не обращаясь ко мне, — я только смотрел за животными».

Текст опубликовал «Кен» в майском номере. Начало новой серии рассказов было положено. Когда-то Хемингуэй спорил с Дос Пассосом, рекомендовавшим обращать внимание не на битвы, а на несчастных людей, а теперь так и поступил — и тотчас вернулось умение подмечать мелочи, и стали на каждом шагу попадаться персонажи будущего романа. Но полностью отказаться от пропаганды он не мог: продолжал отсылать в НАНА корреспонденции, столь же напыщенные и ложно-оптимистичные, как прежде. Перкинсу писал: «Мы страшно побии итальянцев на Эбро — это чуть выше Тортосы, рядом с местечком под названием Черта. Окончательно их остановили. Правда, левый фланг сдал — под Сан-Матео, — и в конце концов мы вынуждены были отдать им то, что сами они никогда бы не взяли. Но до поражения далеко, и мы прочно удерживаем позиции по реке Эбро. <...> Стараюсь запомнить побольше и не растратиться в корреспонденциях. Как только все кончится, я засяду и стану писать, и мошенники и фальсификаторы — вроде Андре Мальро, которые вышли из игры в феврале 37-го, дабы написать объемистые шедевры задолго до того, как все началось, — получают хороший урок, когда я напишу книгу и расскажу, как это было на самом деле...»

Конфликт с НАНА достиг апогея, когда Уилер отклонил заметки от 1 мая из Барселоны и от 8-го из Мадрида, в которых отрицалось, что война идет к концу: «Мадрид остался тем же и крепок, как никогда. <...> И сколько бы ни твердили европейские дипломаты, что через месяц все кончится, впереди еще год войны». Однако оставаться в Мадриде Хемингуэй не стал — в середине мая выехал в Париж, где в очередной раз соединился с Мартой. Из Испании уезжали все, включая бойцов интербригад и советских специалистов, Франция грозилась закрыть границу (это было сделано 13 июня). Париж оказался наводнен знакомыми американцами, Хемингуэй взял их под опеку, кормил обедами, помогал с визами. Шипмен, теперь вывозивший американских добровольцев обратно, был арестован пограничными властями, Хемингуэй хлопотал и о нем (успешно). Когда нужно было о ком-то практически позаботиться, он был незаменим. В Нью-Йорк приехал 30 мая, репортерам сказал, что у республиканцев «хорошие шансы». (Шансов не было никаких. 5 июля в Лондоне Комитет по невмешательству, который правильнее было бы называть Комитетом по вмешательству, принял решение об эвакуации из Испании всех иностранных волонтеров.) Уехал в Ки-Уэст и работал, прервавшись лишь затем, чтобы съездить в Нью-Йорк на матч по боксу.

Роман — дело серьезное, сразу не всегда подступишься; «для разогрева» он начал с коротких историй. В ноябрьском номере «Эсквайра» появился рассказ «Разоблачение» (The Denunciation): герой встречается в баре фашиста в форме республиканца и предлагает официанту донести в СИМ:

«— Я никогда не донес бы на него сам, — сказал я, стремясь оправдать перед самим собой то, что я сделал. — Но я иностранец, а это ваша война, и вам решать.

— Но вы-то с нами!

— Всецело и навсегда. Но это не означает, что я могу доносить на старых друзей.

— Ну а я?

— Это совсем другое дело.

Я понимал, что все это так, и ничего другого не оставалось сказать ему, но я предпочел бы ничего об этом не слышать.

<...>

— Скажите ему, что донес я. Он, должно быть, и так ненавидит меня, как политического противника. Ему было бы тяжело узнать, что это сделали вы.

— Нет. Каждый должен отвечать за себя. Но вы-то понимаете.

— Да, — сказал я. Потом солгал: — Понимаю и одобряю.

На войне очень часто приходится лгать, и, если солгать необходимо, надо это делать быстро и как можно лучше».

За «Разоблачением» последовал душераздирающий «Мотылек и танк» (The Butterfly and the Tank), опубликованный «Эсквайром» в декабре: человек заходит в бар и всех зачем-то опрыскивает из пульверизатора, а его убивают. «Послушайте, — сказал бармен. — Ну не странно ли? Его веселость столкнулась с серьезностью войны, как мотылек...» Хемингуэй также написал предисловие к альбому Луиса Кинтанильи и три статьи для «Кена»: нападал на Дос Пассоса за его позицию в «деле Роблеса», обвинял США, Англию и Францию в том, что они способствуют победе фашизма, «отказывая испанскому правительству в праве покупать оружие, чтобы защищать свою страну от немецкой и итальянской агрессии», и призывал Рузвельта поддержать республиканцев, «пока не поздно». Прав ли он был в своих претензиях? По сути, наверное, да: дело было не в республиканцах и франкистах, а в том, чтобы нанести по Германии опережающий удар. Но никто бы тогда на это не решился: все крупные государства надеялись, что уж они-то отсидятся в сторонке, а в итоге «отсиделась» одна Испания...

Четвертого августа Хемингуэй отправились в Вайоминг, но доехали только до Палм-Бич: глава семьи травмировал глаз, пришлось двое суток

пролежать в темной комнате. На ранчо Нордквиста он редактировал сборник, который назвал «„Пятая колонна“ и первые 49 рассказов» (The Fifth Column and the First Forty-nine Stories), упрямо пытался включить туда «У нас в Мичигане», но натолкнулся на такое же упрямство Перкинса, который считал рассказ «грязным», и заменил его «Стариком у моста». Сборник был готов 20 августа, Скрибнер выпустил его в свет 14 октября; за первые две недели продали шесть тысяч экземпляров, критики хвалили рассказы, поносили пьесу. Готовя книгу к печати, автор написал посвящение: «Марте и Герберту (Мэттьюзу. — М. Ч.) с любовью». Но потом убрал.

Марта осталась в Париже: как когда-то Полина, она испытывала его разлукой, а разлуки он переживал тяжело, не выдержал, купил билет на пароход. Полина пыталась устраивать сцены — безрезультатно. Все вышло как в нравоучительных мелодрамах: «хищница», укравшая чужого мужа, была побита тем же оружием, а добродетельная Хедли отмщена дважды: и унижение соперницы увидела, и счастливо жила в новом браке. 28 августа после очередной ссоры Полина с детьми уехала в Пиготт, а Хемингуэй 31 августа отплыл из Нью-Йорка во Францию. В Испанию он на сей раз не собирался. Он хотел жить с Мартой в Париже: «проснуться утром, и чтобы не было войны, и чтобы принесли на подносе кофе с настоящим молоком...» Но это были несбыточные мечты. В Судетской области Чехословакии проживали 3,5 миллиона этнических немцев: под предлогом их защиты Гитлер потребовал отдать Судеты Германии. Англия и Франция посоветовали чехам не противиться и 30 сентября подписали с Гитлером Мюнхенское соглашение, окончательно похоронившее Версальский мир. Марта тотчас уехала в Чехословакию по заданию «Кольерс».

В октябре Гингрич получил очередной рассказ (опубликован в «Эсквайре» в феврале 1939-го) — «Ночь перед битвой» (Night before Battle), о работе съемочной группы в Мадриде: «Накануне снайперы выжили нас с удобной для съемки позиции, мне пришлось отползать, прижимая маленький аппарат к животу, стараясь держать голову ниже плеч и подтягиваясь на локтях, а пули шмякались о стену за моей спиной и дважды брызнули на меня кирпичной пылью». Рассказчик беседует с разными бойцами и узнает от них, что во всех бедах республиканцев виновен премьер-министр (уже давно смещенный) Ларго Кабальеро.

Можно ли сидеть в Париже, когда республика умирает? Интербригады были еще в конце сентября отведены с фронта и готовились к эвакуации; 28 октября прошел их прощальный парад, но фактически вывод продолжался до февраля, и последние подразделения отступали во Францию под огнем.

(Из тридцати тысяч интербригадцев примерно пять тысяч погибли или пропали без вести, еще шесть тысяч дезертировали или были казнены командованием.) Еще раньше уехали советские специалисты (осталась небольшая группа советников под руководством комбрига М. С. Шумилова, покинувшая Испанию в марте 1939-го). Многие из них по возвращении на родину были репрессированы: Я. К. Берзин, Г. М. Штерн, Я. В. Смушкевич, К. А. Мерецков, В. Е. Горев и десятки других. Орлов, понявший раньше всех, что дело проиграно, сбежал еще в июле, но вовсе не на родину, а в США, где жил припеваючи и писал книги о преступлениях сталинского режима.

С Франко было уговорено «по-честному»: республиканцы лишаются примерно десяти тысяч бойцов (столько их оставалось в интербригадах), и противник отсылает домой столько же. Но после обмена у Франко еще осталось 90 тысяч итальянцев; 30 октября он перешел в наступление на Эбро. Хемингуэй писал Перкинсу и Гингричу, что дал жене слово не участвовать в войне и потому отклонил предложение записаться в формируемый во Франции отряд для помощи республиканцам. (Никто не подтверждает, что ему делалось подобное предложение.) Он также написал, что «вакханалия вероломства и низости обеих сторон» (впервые он высказал серьезные претензии к республиканцам) отталкивает его, и он в последний раз съездит в Испанию, а потом начнет работу над романом. 4 ноября прибыл в Барселону, 5-го с Мэттьюзом и Капой выехал на фронт к Таррагону, затем побывал в городке Риполь близ французской границы, где остатки батальона Линкольна ожидали эвакуации. Участник батальона Альва Бесси вспоминал, что Хемингуэй чувствовал себя виноватым за то, что его речь на конгрессе писателей побудила, как он считал, «наших славных парней» поехать на войну и погибнуть: «Его чувства были искренни, но его штампованные речи отталкивали».

Пятнадцатого ноября республиканцы оставили плацдарм на левом берегу Эбро. Потеря Барселоны, Валенсии и Мадрида была лишь вопросом времени. 24 ноября Хемингуэй вернулся в Нью-Йорк, провел несколько дней с Полиной (она приобрела там квартиру) и сыновьями, решал вопросы с постановкой «Пятой колонны». 23 декабря Франко начал наступление на Каталонию. Регулярная армия, созданная правительством Негрина взамен ополчения НКТ — ПОУМ, не смогла сдержать наступление франкистов и отступила; дольше всех держался 10-й корпус, составленный из бывших поумовских ополченцев, которые, как утверждали коммунисты и Хемингуэй, умели только в футбол играть. 5 декабря Хемингуэй вернулся в Ки-Уэст к Полине. Делали вид, что семья

еще существует. Он занимался рыбалкой. Написал рассказ «Никто никогда не умирает» (Nobody Ever Dies, опубликован в «Космополитен» в марте 1939-го).

«— Нет чужих стран, Мария, когда там говорят по-испански. Где ты умрешь, не имеет значения, если ты умираешь за свободу. И во всяком случае, главное — жить, а не умирать.

— Но подумай, сколько их умерло... вдали от родины... и в неудачных операциях...

— Они пошли не умирать. Они пошли сражаться. <...>

— Ты словно по книге читаешь, — сказала она. — На человеческий язык не похоже.

— Очень жаль, — сказал он. — Жизнь научила. Это то, что должно быть сделано. И это для меня важнее всего.

— Для меня важнее всего мертвые, — сказала она.

— Мертвым почет. Но не это важно.

— Опять как по книге! — гневно сказала она. — У тебя вместо сердца книга».

Мертвым почет — им он посвятил реквием «В память американцев, погибших в Испании» (On the American Dead in Spain). «...Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании и проспят всю холодную зиму, пока с ними вместе спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга овеет холмы. Черные деревья опять оживут, покроются зелеными листьями, и яблони зацветут над Харамой. Весной мертвые почувствуют, что земля оживает. Потому что наши мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет...» Текст был опубликован в «Нью мэссиз»

14 февраля, а сделанный Кашкиным перевод вскоре появился в «Правде». За две недели до этого пала Барселона. А Хемингуэй писал теще:

«Дорогая мама, <...> итальянцы перебросили свежие части, артиллерию и самолеты, а испанское правительство закрыло французскую границу, прекратив таким образом поступление через Францию артиллерии и боеприпасов... Ну что ж, даже говорить об этом не хочется. Но, когда я читаю в „Санди визитор“ о зверствах „красных“, коварстве испанского „коммунистического“ правительства и гуманности генерала Франко, который мог бы закончить войну на много месяцев раньше, если бы не боялся причинить вред гражданскому населению (и это после того, как я видел полностью разрушенные бомбежкой города, видел, как методично бомбят и расстреливают из пулеметов колонны беженцев на дорогах) — то

что тут скажешь. <...> Когда воюешь, остается только одно — победить. Но когда тебя предали и продали десяток раз и ты проиграл войну, то вряд ли стоит удивляться, что на тебя же еще и клеветают».

Шестого февраля он написал: «Для организации крупного наступления на Мадрид или Валенсию Франко потребуется от шести до восьми месяцев». А уже 27 февраля Великобритания и Франция признали правительство Франко. 5 марта полковник Касадо, возглавлявший оборону Мадрида, объявил о низложении правительства и предложил Франко перемирие, которого тот не принял. Правительство Негрина сбежало во Францию, как и все коммунистические лидеры. Республиканские войска бросали оружие. 3 марта Франко взял Валенсию, 28-го — Мадрид. В апреле прекратил работу Комитет по невмешательству. В мае Испания вышла из Лиги Наций. Франко обманул всех. Он победил чужими руками. Его страна не участвовала в мировой войне. Установленный им диктаторский режим осуждали все демократические государства, но постепенно смягчили свою позицию. Состарившись, Франко передал власть молодому королю Хуану Карлосу, который неожиданно для всех оказался демократом. Какова была бы сейчас Испания, если бы тогда победили коммунисты, можно только предполагать.

С 14 февраля Хемингуэй работал в гаванском отеле «Амбос мундос». Написал рассказ «Под скалой» (Under the Ridge, опубликован в «Космополитен» в октябре): члены съемочной группы прячутся под скалой вместе с другими людьми, один, испанец, ненавидит всех иностранцев, другого, интербригадовца, полицейские уводят на расстрел; рассказчик потом узнает, что это был дезертир. Но всех, и правых и виноватых, вот-вот сметет танковая атака. Потом — еще рассказ о съемках, «Пейзаж с фигурами» (Landscape with Figures, при жизни не публиковался). К роману он приступил 1 марта.

Глава пятнадцатая МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

За время гражданской войны в Испании погибло около 850 тысяч человек. По нейтральным (французским) источникам, франкисты казнили 80 тысяч, республиканцы — 55 тысяч. «Смерть каждого человека умалет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Окончательное название романа, как и в случае с «Фиестой», повторялось в эпиграфе — это были строки из проповеди поэта и священника XVII века Джона Донна. До этого автор перебрал более двадцати вариантов. Писал в среднем 700—1000 слов в день, но иногда доходил до пяти тысяч — для него это очень много. Вставал в семь утра (отчитывался Перкинсу), пил мало, а работал запоем; говорил, что это «наваждение» и мучит его, и делает счастливым. До середины марта работал в Гаване, продолжил в Ки-Уэст, куда приехал на каникулы Бамби, учившийся в Сторм-Кинг, престижной частной школе под Нью-Йорком; был так поглощен работой, что даже отказался от предложения Томпсона ехать на ловлю тунца. Но дома долго не выдержал — Полина грозила броситься с балкона (во всяком случае, так он писал Хедли), а гостившая Вирджиния во все вмешивалась. 10 апреля вновь отбыл в Гавану. Туда же приехала Марта, но жила в другом отеле. В мае она присмотрела громадный старый одноэтажный дом под названием «Ла Вихия», «сторожевая вышка» (иногда пишут «Финка-Вихия», но «финка» — не имя собственное, оно означает «усадебка»; Хемингуэй называл новое жилье просто «Финка») в деревне Сан-Франсиско-де-Паула, в 15 милях от Гаваны, на холме, с видом на море. Восемь комнат, огромный сад, бассейн, теннисный корт, винный погреб, подвал, круговая терраса, множество помещений для прислуги, внутренний дворик-патио, голубятня, до моря 15 минут на автомобиле, аренда всего 100 долларов в месяц.

Хемингуэю дом показался чересчур запущенным, но Марта обещала привести его в порядок. Пошла мирная жизнь: работа, скачки, теннис, петушиные бои, бары, дворец спорта «Фронтон», где проходили игры в «хай-алай», короткие вылазки в море на «Пилар», переведенной из гаванского порта в рыбацкую деревню Кохимар; помощником вместо Гутьерреса с 1938 года стал Грегорио Фуэнтес, ранее служивший у Джейн Мейсон (его считают прототипом героя «Старика и моря»). На новом месте он быстро обзавелся приятелями: рыболов-спортсмен Карлос Колли (врач-

дерматолог), биржевик Хайме Бофилл, владелец газеты «Амбос мундос» Мануэль Аспер, старший лоцман гаванского порта Хулио Идальго, сын бывшего президента Кубы Марио Менокаль, юноша, ставший чем-то вроде «сынка»; по воспоминаниям Менокаля, уже весной 1939 года Хемингуэй подумывал поселиться на Кубе навсегда. В июне узнал, что в Ки-Уэст эпидемия полиомиелита, попросил знакомого вывезти детей в летний лагерь в Коннектикуте, хотел потом взять их в Вайоминг, но Полина увезла сыновей в Европу. 27 августа отвез Марту в Сент-Луис к матери, сам отправился в Вайоминг. По пути заехал к Маурерам, перебравшимся в США и проводившим лето на ранчо близ Коди: супруги принимали его радушно. Он никогда не сказал дурного слова ни о Маурере, ни о Хедли; писал ей незадолго до встречи, что «чем больше узнает других женщин, тем выше ценит ее» и понимает, какое счастье потерял.

У Мауреров его застало известие о вторжении Гитлера в Польшу (оно произошло через неделю после подписания пакта Молотова — Риббентропа, предусматривавшего раздел польских территорий между Германией и СССР); официально Великобритания, Франция и ряд других государств объявят войну только 3 сентября, но все уже было ясно. По воспоминаниям Мауреров, Хемингуэй сказал, что война продлится много лет, но Америки, хочется надеяться, не коснется, а в Европу он не поедет: сыт войнами по горло. На следующий день он был уже на ранчо Нордквиста, куда Полина отвезла всех трех его сыновей. Вскоре появилась и она сама, но из попытки примирения ничего не вышло, и Хемингуэй телеграфировал Марте, прося о встрече.

Двадцатого сентября они вдвоем уехали в местечко Сан-Вэлли близ крохотного городка Кетчум, штат Айдахо, где Хемингуэй давно хотел побывать. Эти места называли американской Швейцарией: красивые виды, в лесах много дичи, прекрасные условия для горнолыжного спорта. В 30-е годы Сан-Вэлли начинал превращаться в модный курорт, строились отели, клиентов нужно было завлекать. Живший там журналист из «Сан» Джин ван Гилдер, знакомый Хемингуэя, договорился с администрацией отеля «Сан-Вэлли», что писатель с подругой будет жить там бесплатно, делая рекламу для туристов, и получит разрешение на покупку спиртного («сухой закон» отменили в 1933-м, но в отдельных штатах оставались ограничения для «неместных»).

Роман шел хорошо: к концу октября было начерно готово 18 глав. С развлечениями тоже все в порядке: охота на уток, стрельба по тарелочкам, пешие и конные походы. Появились новые друзья: проводник Тейлор Уильямс, курортный фотограф Ллойд Арнольд и его жена Тилли

(очередная «дочка»), юный фермер Бад Парди (очередной «сынок»). Веселье вскоре омрачил несчастный случай на охоте, во время которого погиб ван Гилдер. На смерть друга Хемингуэй написал строки, которые потом высекут на постаменте, воздвигнутом уже в его честь: «Он любил теплое летнее солнце и высокогорные луга, лесные тропы и внезапно открывающееся голубое сияние озер... Он любил горы зимой, когда выпадает снег... Но больше всего он любил осень... осень в рыжеватых и серых тонах, желтые листья на тополях, листья, плывущие в потоках форели, и над вершинами холмов высокое синее безветренное небо...»

Тилли Арнольд и Бад Парди в интервью, данных после смерти Хемингуэя, рассказывали, что в Сан-Вэлли он был весел, мил, ни с кем не конфликтовал, не говорил ни о политике, ни об Испании, ни о работе, был душой общества, организовывал пикники, трогательно заботясь об удобстве женщин; отмечали его «тихий и мягкий» голос и учтивые манеры. Тилли: «Я встречала много интересных людей, довольно хорошо знала Гари Купера и Кларка Гейбла, но из всех них Папа был самым интересным. О нем говорили, что он бывал экстравагантен или агрессивен; может быть, на Кубе или в Ки-Уэст он был таким, но не в Кетчуме. Его называют алкоголиком, но здесь никто не видел его пьяным. Он пил очень много, да, он научился этому в Париже, но это никогда не было заметно». Парди: «Я думаю, что он был демократом, но не уверен... Он был настоящий джентльмен, я думаю». Хемингуэя эта характеристика удивила бы: он утверждал, что «джентльменов» не переваривает. Но, может, в глубине души он хотел быть «джентльменом»?

Тилли говорила, что отношения Хемингуэя с Мартой были превосходными; первый конфликт произошел в декабре, когда началась советско-финляндская война, загадочное мероприятие, попортившее немало крови историкам. Марта вызвалась ехать туда от «Кольерс». Тилли: «Я сказала ей: Марта, ты сумасшедшая, если хочешь уехать туда и бросить своего мужа. Это нехорошо. И она ответила: Тилли, это для меня важнее всего на свете. Она сказала: это в моей крови. Ничего не могу поделать».

Позднее, когда отношения Хемингуэя с третьей женой разладятся, он будет говорить, что она «променяла его на карьеру». Геллхорн единственная из его жен не принесла работу в жертву семье, полагая, что их можно сочетать — ведь детей у них не было, а хозяйство вела прислуга. Она не видела причин не ехать в Финляндию и, кстати, звала мужа с собой, но он отказался: то ли вправду устал, то ли не хотел портить благоприятное впечатление от русских. Но когда Эдвин Рольф попросил его сделать заявление в поддержку СССР, тоже отказался.

После отъезда Марты все пошло прахом. Каждый день вылазки на охоту, спиртное в больших количествах, работа замедлилась и, возможно, остановилась бы вовсе, если бы не новые «дочки»: без милой женской дружбы он не мог прожить и недели. Одна дочка была Тилли, второй стала Клара Шпигель, жена Фреда Шпигеля, с которым Хемингуэй в 1918-м служил в Италии: она писала под диктовку Папы письма, старалась отвлечь от мужской компании, и это ей частично удалось. Говорил с нею Хемингуэй о литературе, не обошел любимую тему самоубийства, Клара сказала, что убьет своих сыновей и себя, если Гитлер вторгнется в США — его эта идея привела в восторг. С третьей «дочкой», актрисой Слим Хоукс, приехавшей с мужем, продюсером Говардом Хоуксом (экранизовавшим «Иметь и не иметь»), у Хемингуэя, по мнению некоторых биографов, был платонический роман. Несмотря на присутствие «дочек», хандрил, Тилли рассказывал о несчастном детстве и называл мать «сукой», Кларе жаловался на жестокость Марты. Клара приглашала его в гости на Рождество, Хедли тоже, но он отказался, хотел провести праздник с сыновьями, приехал в Ки-Уэст. Но Полина опять забрала детей. Тогда он собрал свои вещи и уехал в Гавану.

Он написал теще, что в распаде брака виноваты ее дочери (особенно Вирджиния, которая «разрушила семью»), обещал, что будет блюсти материальные интересы Полины «как свои собственные» и выплачивать на детей 500 долларов в месяц — не бог вещь что, но надо помнить, что Полина была намного богаче мужа. Миссис Пфейфер ответила: она не вмешивается в «разногласия и недоразумения» между Полиной и Эрнестом, она и ее муж «считают его сыном». (Впоследствии он говорил также, что причиной разрыва была неспособность Полины рожать.)

Марта вернулась из Финляндии в середине января 1940 года. Ее статьи о советско-финляндской войне — «мы восхищались стойкостью финнов и их решимостью выдержать эту войну, как будто не было ничего особенного в том, что 3 миллиона человек борются против нации в 180 миллионов» — оказали большое влияние на общественное мнение в Штатах. Неизвестно, что о них думал Хемингуэй. Март и апрель провели в «Ла Вихии» довольно мирно, но хуже, чем прошлую весну. Работа занимала все меньше времени, а стрельба по голубям, петушиные бои, тотализатор и бары — все больше. Он видел, что не закончит книгу к сроку, нервничал, от этого еще больше пил, утверждая, что партия в теннис «выведет алкоголь из организма», но после тенниса следовал новый прием алкоголя. Марте — она одна из его жен не пила совсем — не нравились и его времяпровождение, и круг общения: профессиональные боксеры (из них

любимый — Эвелио Мустельер, «сынок», с которым познакомились в Париже), богатый бездельник Марио Менокаль, эмигранты-баски (Хемингуэй даже был членом гаванского Клуба басков): профессиональные спортсмены Хуан и Франсиско Ибарлюсеа, моряк Хуан Дунабейтия, католический священник Андрес Унтзайн, воевавший на стороне республиканцев, — с ними Марта не могла и не пыталась найти общий язык, как и они с ней. Кубинские историки пишут, что Хемингуэй дружил на Кубе с интеллигенцией — поэтом Николасом Гильеном, журналистом Алехо Карпентьером, беллетристом Энрике Серпа. Он с ними и правда встречался, но нет подтверждений, что общение было близким. Друзьями Хемингуэя называли себя сотни людей, зачастую после шапочного знакомства.

На весенние каникулы приезжали все три сына, сразу, в отличие от друзей отца, поладившие с Мартой: Бамби и Грегори ее полюбили, Патрик, горячо любивший мать, отнесся прохладно, но конфликтов не было. В апреле Хемингуэй написал предисловие к книге Густава Реглера, потом слег — печень замучила, опять подозревали цирроз. Облегчение принесли диета и известие о том, что Полина начала развод (который будет завершен только в ноябре). В письме Перкинсу он объяснил: Полина мешала работать, он писал слабые книги из-за нее, теперь все будет иначе. Однако Марта тоже мешала — говорила о политике, настаивала на поездке в Европу, где шла война. Он ехать не хотел, поссорились, она убежала в Нью-Йорк, он запил; в июне она вернулась, стало полегче, но ненадолго. (Его друзья рассказывали, что Марта силой вытаскивала его из баров, кричала на него и т. д.)

Заключительная работа над романом проходила в нервной обстановке, но все же в июле он был завершен и показан знакомым, включая Перкинса, — тот нашел ряд сцен «непристойными» и их пришлось переделывать, а 26 августа Скрибнер получил окончательный вариант. Автор 1 сентября уехал с Мартой и детьми в Сан-Вэлли, потом Бамби вернулся в школу, а младшие задержались. За роман пока был получен лишь аванс в тысячу долларов, но материальное положение будущей семьи вот-вот должно было улучшиться: кинокомпания «Парамаунт» начала переговоры с автором еще до публикации книги. Агента в Голливуде у Хемингуэя не было, делами занялся сценарист Дональд Фрид. К концу октября заключили контракт на 136 тысяч долларов (Хемингуэй, естественно, рассказывал, что на 200 тысяч). Кто будет играть героя? В Сан-Вэлли приехал Гари Купер с женой — подружились, боксировали, ходили на охоту, Купер оказался классным стрелком, а значит, достойным роли Джордана. (Героиню сыграет Ингрид

Бергман.)

Все было прекрасно, только не с Мартой. Он предложил ей подписывать свои работы «Марта Хемингуэй» — отказалась. Их вкусы расходились: она хотела жить в больших городах, в вылазках на природу покорно сопровождала его, но он отдыхал, а она уставала. В октябре она приняла новое назначение от «Кольерс» — в Китай, но все же задержалась, чтобы выйти замуж, и застала публикацию главной книги своего мужа. Роман «По ком звонит колокол» вышел в свет 21 октября 1940 года тиражом в 75 тысяч экземпляров. Его действие происходило в мае 1937 года и укладывалось в 64 часа. По словам автора, он стоил ему «одной жены и полутора лет жизни».

*

Американец Роберт Джордан (нет смысла спорить, с кого он списан: это и Мерримен, и Милтон Уолф, и автор, каким он хотел бы быть, и еще множество народу; писатели не фотографируют, а творят) приехал сражаться в интербригадах. «Он участвует в этой войне потому, что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому, что он верит в Республику и знает, что, если Республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее». Перешел на диверсионную работу в тылу противника. У него был русский напарник Кашкин, которого Джордан убил, когда тот был ранен и не хотел живым попасть в плен. Е. Воробьев пишет, что, дав персонажу фамилию критика, «Хемингуэй хотел воздать должное своему незнакомому другу», но на самом деле «должное» воздано довольно странно. Партизанка Пилар рассказала, что от Кашкина «пахло страхом» — Джордан сказал, что в таком случае хорошо, что он пристрелил его. «Бедный Кашкин, думал Роберт Джордан. От него, здесь, наверно, было больше вреда, чем пользы. <...> Надо было убрать его отсюда. Людей, которые ведут такие разговоры, нельзя и близко подпускать к нашей работе. Таких разговоров вести нельзя. От этих людей, даже если они выполняют задание, все равно больше вреда, чем пользы». Обиделся Хемингуэй на последнюю критическую статью Кашкина или у него просто были трудности с придумыванием русских фамилий? Или действительно «воздал должное» — ведь смерть от руки друга прекрасна?

«Вредные разговоры» Кашкина — это те самые разговоры, что Хемингуэй вел со всеми встречными: о самоубийстве как избавлении от мук. Кашкин, как следует из текста, отлично выполнял работу и никаких

претензий к нему, кроме «запаха страха», не было, но для Хемингуэя этого достаточно: он на всех войнах, как свидетельствуют очевидцы, толковал о смелых и несмелых людях, полагая их чем-то вроде двух рас, и когда кадровые военные говорили, что трусоватый человек может стать хорошим солдатом, а храбрец — плохим, сильно удивлялся. От Джордана страхом не пахнет, и его «подпускать к нашей работе» можно: он получает от генерала Гольца (его прототипом считается Сверчевский) задание взорвать мост одновременно с началом наступления республиканцев, и приходит в партизанский отряд, который должен ему помогать. Командир отряда Пабло, человек жестокий и с кулацкими замашками, помогать не хочет, крадет динамит и сбегает. Джордан понимает, что случилась измена, противник знает о наступлении, и отправляет Гольцу донесение, но тот отменить приказ не может, ибо военно-бюрократическая машина неповоротлива. Джордан все же взрывает мост, ибо «вы только орудия, которые должны делать свое дело» и «дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман» — и погибает как герой.

Это внешняя фабула, а главное происходит в душе Джордана, за трое суток как бы проживающего целую жизнь: он должен понять, правильный ли выбор сделал, а для этого надо вспомнить «всю правду». «Он не боялся, что эти мысли приведут его в конце концов к пораженчеству. Самое главное было выиграть войну. Если мы не выиграем войны — кончено дело. Но он замечал все, и ко всему прислушивался, и все запоминал. Он принимал участие в войне и, куда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому; что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже. Материала для выводов будет достаточно. Его уже достаточно. Порой даже кажется, что слишком много».

Пилар рассказала, как республиканцы в деревне казнили тех, кого считали фашистами, — это одна из самых сильных сцен романа: «У донна Гильермо особняка не было, потому что он был человек небогатый, а фашистом стал просто так, из моды и еще в утешение себе, что приходится пробавляться мело-нами, держать лавку сельскохозяйственных орудий. Жена у него была очень набожная, а он ее так любил, что не хотел ни в чем от нее отставать, и это тоже привело его к фашистам. Дон Гильермо жил через три дома от Ayuntamiento^[37], снимал квартиру, и когда он остановился, глядя подслеповатыми глазами на двойной строй, сквозь который ему надо было пройти, на балконе того дома, где он жил, пронзительно закричала женщина. Это была его жена, она увидела его с

балкона.

— Гильермо! — закричала она. — Гильермо! Подожди, я тоже пойду с тобой!

Дон Гильермо обернулся на голос женщины. Он не мог разглядеть ее. Он хотел сказать что-то и не мог. Тогда он помахал рукой в ту сторону, откуда неслись крики, и шагнул вперед.

— Гильермо! — кричала его жена. — Гильермо! О, Гильермо! — Она вцепилась в балконные перила и тряслась всем телом. — Гильермо!

Дон Гильермо опять помахал рукой в ту сторону и пошел между шеренгами, высоко подняв голову, и о том, каково у него на душе, можно было судить только по бледности его лица.

И тут какой-то пьяный крикнул, передразнивая пронзительный голос его жены: „Гильермо!“ И дон Гильермо бросился на него, весь в слезах, ничего не видя перед собой, и пьяный ударил его цепом по лицу с такой силой, что дон Гильермо осел на землю и так и остался сидеть, обливаясь слезами, но плакал он не от страха, а от ярости, и пьяные били его, и один уселся ему верхом на плечи и стал колотить его бутылкой. <...> После бойни в Ауунтаменто убивать больше никого не стали, но митинг в тот вечер так и не удалось устроить, потому что слишком много народу перепилось. Невозможно было установить порядок, и потому митинг отложили на следующий день».

Одна женщина рассказала о зверствах «красных», другая, возлюбленная Джордана Мария, — о зверствах «белых»: «Так вот, он отрезал мне бритвой обе косы у самых корней, и все кругом смеялись, а я даже не чувствовала боли от пореза на ухе, и потом он стал передо мной — а другие двое держали меня — и ударил меня косами по лицу и сказал: „Так у нас постригают в красные монахини. Теперь будешь знать, как объединяться с братьями-пролетариями. Невеста красного Христа!“ <...> Потом тот, который заткнул мне рот, стал стричь меня машинкой сначала от лба к затылку, потом макушку, потом за ушами и всю голову кругом, а те двое держали меня, так что я все видела в зеркале, но я не верила своим глазам и плакала и плакала, но не могла отвести глаза от страшного лица с раскрытым ртом, заткнутым отрезанными косами, и головы, которую совсем оголили. <...> Потом он зашел спереди и йодом написал мне на лбу три буквы СДШ^[38], и выводил он их медленно и старательно, как художник. Я все это видела в зеркале, но больше уже не плакала, потому что сердце во мне оледенело от мысли об отце и о матери, и все, что делали со мной, уже казалось мне пустяком. <...> Тогда меня потащили из парикмахерской, крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге я

споткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху лицом, и лицо у него было серое, и тут мы чуть не столкнулись с Консепсион Гарсиа, моей лучшей подругой, которую двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала меня, но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время, пока меня тащили через площадь, и в подъезд ратуши, и вверх по лестнице, в кабинет моего отца, где меня бросили на диван. Там-то и сделали со мной нехорошее».

Тут плохо и там плохо — Джордана подмывает послать «к чертовой матери эту вероломную проклятую страну и каждого проклятого испанца в ней и по ту и по другую сторону фронта», но потом решает, что виноваты лишь плохие правители, как Ларго Кабальеро, а народ ни при чем, так что надо делать дело, а не думать: «Нечего ему думать об этом. Это не его дело». «И если ты, голубчик, не бросишь думать, то и тебя среди оставшихся не будет». Но не думать он не может. Хорошо ли, например, убивать людей? (Эту тему Хемингуэй постоянно обсуждал с кадровыми военными, чем приводил их в смущение.) «Но ты не должен стоять за убийства. Ты должен убивать, но стоять за убийства ты не должен». В этих словах, по мнению Грибанова, «нашел свое выражение высокий гуманизм Хемингуэя», а по мнению Черкасского, «„нашел свое выражение“ некто иной — рассудочный эрзац-гуманизм. Он улегся в словоблудии, как в пуховом гнездышке, и высиживает щекотливый вопрос: бить или не бить? Для прозы это нехудожественно. Для публицистики вяло. Для философии самоочевидно. Симонов тоже написал „Убей его!“ Худо ли, хорошо ли, но это был вопль, а не игрушечная карусель трюизмов. То, что другие делают буднично, естественно, незаметно для самих себя, ибо иначе просто не могут, у него (Хемингуэя. — М. Ч.) непременно вознесено и обставлено ритуальными словесами. Тихими, но такими ложно значительными».

Хемингуэй с Джорданом и сами чувствуют «ритуальность словес». «Разве громкие слова делают убийство более оправданным? <...> Ты что-то уж очень охотно взялся за это, если хочешь знать». И Джордан делает признание: «Прекрати все эти сомнительные литературные домыслы о верберах и древних иберийцах и признайся, что и тебе знакома радость убийства, как знакома она каждому солдату-добровольцу, что бы он ни говорил об этом». Итак, Джордан воюет потому, что ему это нравится. Но почему именно на стороне республиканцев? Люди там лучше? Он размышляет о них — например, о Каркове-Кольцове...

В ноябре 1937-го Михаил Кольцов был отозван из Испании. Его наградили орденом Красного Знамени, избрали членкором АН СССР и депутатом Верховного Совета. Опубликовали «Испанский дневник». 12

декабря 1938-го он делал доклад на писательском собрании о «Кратком курсе истории ВКП(б)», а 14-го был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД. Ему инкриминировали участие в заговоре и шпионаж в пользу британской разведки. Неизвестно, пахло от него страхом или нет, но пыток он не выдержал и оговорил более семидесяти человек. Он был расстрелян в феврале 1940 года. Этих подробностей Хемингуэй не знал. Но об аресте, похоже, знал и даже догадался, кто донес на Кольцова. «Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном: Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь».

База интербригад в Альбасете находилась под контролем политуправления Коминтерна, во главе которого стоял француз Андре Марти, «палач из Альбасете»; по его распоряжению казнили бойцов интербригад, являвшихся сторонниками ПОУМ, или просто «неблагонадежных». «Для Марти, — писал работавший с ним французский коммунист, — врагов в интербригадах и на республиканской территории было больше, чем по ту сторону фронта». Эренбург о Марти: «Он говорил, а порой и поступал, как человек, больной манией преследования». Хемингуэй узнал о «подвигах» Марти, видимо, от Густава Реглера: в его романе некоторые рассказы Реглера повторены почти дословно. Реглер писал, что интербригадовцы отказывались убивать своих — это делала спецбригада палачей. (В обнаруженной в московских архивах записке Марти обращается к ЦК КПИ: «Я также сожалею, что ко мне в Альбасете присылают шпионов и фашистов, которых отправили в Валенсию и там должны были казнить. Вы прекрасно знаете, что интернациональные бригады здесь в Альбасете не могут взять на себя исполнение приговора».)

Хемингуэй сказал Эдвину Рольфу, что «выведет подонка Марти на чистую воду», и сдержал обещание. В «Колоколе» капрал республиканской армии рассказывает: «Этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума... Но он не как мы, он убивает не фашистов... Он убивает, что подиковиннее. Троцкистов. Уклонистов. Всякую редкую дичь... Когда мы были в Эскуриале, так я даже не знаю, скольких там поубивали по его распоряжению. Расстреливать-то приходилось нам. Интербригадовцы своих расстреливать не хотят. Особенно французы. Чтобы избежать неприятностей, посылают нас. Мы расстреливали французов. Расстреливали бельгийцев. Расстреливали всяких других. Каких только национальностей там не было...» Единственное расхождение с книгой Реглера: тот писал, что расстрельная бригада состояла из русских, а у Хемингуэя это испанцы. Как бы то ни было, Марти раздражали и русские.

Известен текст доноса, который он отправил в Москву: «Мне приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самочинно узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, использование своего положения как представителя Москвы сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер.

2. Так называемая „гражданская жена“ Кольцова Мария Остен (Грессгенер) является, у меня лично в этом нет никаких сомнений, засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве — следствие ее шпионской деятельности».

Беглый Орлов вспоминал, как в посольство СССР в Испании прибыл дипкурьер, «который болтает, будто Особое управление НКВД имеет сведения, что корреспондент „Правды“ М. Кольцов продался англичанам и снабжает секретной информацией о Советском Союзе лорда Бивербрука... Сплетня относительно М. Кольцова не понравилась мне. <...> Хотя после того, что случилось с Кировым, казалось, я должен был больше доверять слухам подобного рода». За что на самом деле казнили Кольцова — да кто ж ответит? Историки выдвигают десятки версий: знал много, болтал лишнее... Вел он себя в Испании вызывающе, демонстрировал свое влияние. Возможно, Марти оговорил Кольцова, боясь, что тот его опередит; возможно, Сталин вообще не руководствовался доносом Марти, а имел свои резоны.

У Хемингуэя Марти вредит делу республиканцев не только жестокостью, но и тем, что ничего не смыслит в военном деле, а Карков (он, кстати, спас от ареста посыльного Джордана) не скрывает презрения к нему. Но так ли благороден сам Карков? «Но были и такие вещи, о которых Карков не писал. В „Палас-отеле“ находились тогда трое тяжело раненных русских — два танкиста и летчик, оставленные на его попечение. Они были в безнадежном состоянии, и их нельзя было тронуть с места, Каркову необходимо было позаботиться о том, чтобы эти раненые не попали в руки фашистов в случае, если город решено будет сдать.

В этом случае Карков, прежде чем покинуть „Палас-отель“, обещал

дать им яд. Глядя на трех мертвецов, из которых один был ранен тремя пулями в живот, у другого была начисто снесена челюсть и обнажены голосовые связки, у третьего раздроблено бедро, а лицо и руки обожжены до того, что лицо превратилось в сплошной безбровый, безресничный, безволосый волдырь, никто не сказал бы, что это русские. Никто не мог бы опознать русских в трех израненных телах, оставшихся в номере „Паласотеля“. Ничем не докажешь, что голый мертвец, лежащий перед тобой, — русский. Мертвые не выдают своей национальности и своих политических убеждений.

Роберт Джордан спросил Каркова, как он относится к необходимости сделать это, и Карков ответил, что особенного восторга все это в нем не вызывает.

— А как вы думали это осуществить? — спросил Роберт Джордан и добавил: — Ведь не так просто дать яд человеку.

Но Карков сказал:

— Нет, очень просто, если всегда имеешь это в запасе для самого себя. — И он открыл свой портсигар и показал Роберту Джордану, что спрятано в его крышке. <...> — Понимаете, я вовсе не пораженец, но критический момент всегда может наступить еще раз, а этой штуки вы нигде не достанете. Читали вы коммюнике с Кордовского фронта? Оно бесподобно. Это теперь мое самое любимое из всех коммюнике.

— А что в нем сказано?

Роберт Джордан прибыл в Мадрид с Кордовского фронта, и у него вдруг что-то сжалось внутри, как бывает, когда кто-нибудь подшучивает над вещами, над которыми можете шутить только вы, но никто другой.<...> Жива была еще память о людях, которых ты знал и которые погибли в боях под Пособланко; но у Гэйлорда это было предметом шуток».

«Положительного героя» среди тех, на чьей стороне служит Джордан, нет: испанский командир партизан — свирепый трус, советский эмиссар — жестокий циник, коминтерновский — исчадие ада; так верен ли выбор? «И ты все еще абсолютно убежден, что стоишь за правое дело? Да. Так нужно, сказал он себе, и не в утешение, а с гордостью». Но чем конкретно дело правое? «Я стою за народ и за его право выбирать тот образ правления, который ему годен». Однако вряд ли Хемингуэй всерьез верил, что Марти и Орлов с Кольцовым обосновались в Испании с целью предоставить народу право выбирать образ правления. На самом деле выбор Джордана — выбор не «за», а «против», выбор «меньшего зла». Франко есть зло абсолютное, поскольку с ним силы фашистских государств: Хемингуэй, как и многие, думал, что Франко захочет воевать на стороне Гитлера. Поэтому против

франкистов — хоть с чертом, тем более что у «черта» есть свои достоинства.

«Здесь, в Испании, коммунисты показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, потому что там, где дело касалось войны, это была единственная партия, чью программу и дисциплину он мог уважать». Аргумент шаткий — казни тысяч собственных солдат по политическим мотивам трудно назвать «здравым и разумным подходом к ведению войны», — но советские военные консультанты действительно внесли в республиканскую армию организованность, хотя коммунизм тут ни при чем: как и немецкие советники у Франко, они были специалистами. Но почему вообще Хемингуэй заговорил о дисциплине? Кому он противопоставлял дисциплинированных коммунистов — не германскому же легиону «Кондор», где дисциплина была еще лучше, хоть они своих и не расстреливали? По-видимому, тем, кого он в романе назвал «анархистами»: «Эти люди, похожие на беспризорных ребят, грязные, недисциплинированные, испорченные, добрые, ласковые, глупые, невежественные и всегда опасные, потому что в их руках было оружие», то есть тем, кого коммунисты удушили в Барселоне и расстреливали в Альбасете.

Дмитрий Быков: «Хемингуэй прекрасно понимает, что правых нет (и левых нет), что в борьбе плохого с отвратительным давно уже нельзя быть ни на чьей стороне. И репутация погибнет, и толку никакого. Однако некий рыцарский кодекс, усвоенный еще в детстве, заставляет его выбирать меньшее из зол и в сотый раз терпеть поражение. Вот эта обреченная борьба и привлекает меня по-настоящему, потому что быть ни на чьей стороне, высокомерно наблюдая за битвой титанов, — это позиция еще менее творческая и еще более бесперспективная, чем случай Роберта Джордана. Война бессмысленна, это самоочевидно. Но выбор делать надо, потому что всякий наш выбор в конце концов — это выбор между смертью славной и смертью бесславной».

Это верно в отношении Джордана, но не Хемингуэя. Дело ведь не в том, было или не было государство сталинской модели «меньшим из зол» по сравнению с франкистским или даже гитлеровским. Война велась не между СССР и Германией: это была гражданская война, и в ней существовала третья сторона, которая вообще не была злом и которую «меньшее зло» одолело в Барселоне. Это не имеет значения для политика или солдата — он выбирает «меньшее зло» потому, что оно может, по его мнению, противостоять злу абсолютному. Но у писателя другое

предназначение — выбирать не силу, а совесть, не «меньшее зло», а добро или, за неимением такового (в политике нет ангелов), не самое могущественное из «меньших зол», а самое меньшее, пусть даже оно не обладает «дисциплиной». Для Хемингуэя выбор заключался не в том, где ему воевать — он вообще не воевал, а в том, что рассказать людям. Ладно бы он знал о барселонских и астурийских рабочих только из пропагандистских баек Кольцова — но ведь он слышал и другое, он писал о них в 1934-м: «Пусть никогда не говорят о революции те, кто...» Ладно бы он написал откровенно: да, были эти шахтеры и прочие, я симпатизировал им до войны, но потом ими нужно было пожертвовать ради победы «меньшего зла»; ладно бы он совсем проигнорировал их существование! Но он счел нужным их высмеять; он также публично поносил тех, кто напоминал о них миру, как Оруэлл, Кестлер или Дос Пассос.

За что он взъелся на «профсоюзников», которых толком не знал, и на своих коллег, которые пытались за них заступиться? Возможно, дело в психологии, а не в политике. Кого мы ненавидим беспричинно? Тех, кто заставляет нас чувствовать угрызения совести: раненное нами животное, старая нелюбимая жена, которая не хочет умирать. Казненный Роблес, тайно убитый Нин, обезглавленная Барселона провинились перед Хемингуэем тем, что вынуждали его чувствовать слабость своей моральной позиции, и потому люди, говорившие о них, стали «врагами» и «трусами». Трусом стал Дос Пассос, который пытался хлопотать об арестованном друге (чего не пытался делать Хемингуэй в отношении, скажем, Кольцова); трусом стал Оруэлл, который вступил в ополчение (чего не делал Хемингуэй, бывавший на фронте наездами и возвращавшийся обедать в Гэйлорд); трусом был Кестлер, которого франкисты посадили в тюрьму и который, несмотря на это, не выбрал «меньшее зло». Все эти люди были трусы, жалкие, ничтожные личности. Ведь они никогда не стреляли из автомобиля по буйволам...

*

«Великолепен эпизод, когда гибнет отряд, а также бой на холме и та сцена, где Джордан производит взрыв. Из боковых ответвлений мне особенно понравился Карков, а еще Пилар и ее соната смерти... Поздравляю тебя с большим успехом твоей новой книги», — написал Фицджеральд. Но за глаза он говорил иное. «По моему мнению, это

абсолютно поверхностный роман, который по глубине можно сопоставить разве что с „Ребеккой“. В нем нет ни накала страстей, ни оригинальности, ни вдохновенных поэтических мгновений». «Роман состоит в большой мере из бесконечных авантур в духе Гекльберри Финна... Но я думаю, что среднему читателю, воспитанному на Синклере Льюисе, он понравится больше остальных его вещей...»

С Фицджеральдом согласился только критик Альфред Казин, назвавший «Колокол» «одной из худших вещей Хемингуэя». Остальных книга привела в восторг. Джон Чемберлен назвал роман «крепким, как бренди»; Дональд Адамс — «самым совершенным, самым правдивым»; Роберт Шервуд — «доказывающим, что этот прекрасный писатель, в отличие от других американских авторов, способен к развитию»; Клифтон Фадимен — «свидетельством зрелости». Маргарет Маршалл писала, что неприятное ощущение, оставшееся после «Пятой колонны», исчезло: Хемингуэй утвердил себя на новом уровне, и хотя в романе «нет глубокого социального анализа испанской войны», но есть «живая история людей». Синклер Льюис, один из инициаторов выдвижения «Колокола» на Пулитцеровскую премию, заявил: «Роман является шедевром, потому что в нем кристаллизована идея мировой революции». Но что же сказал Эдмунд Уилсон, человек, «раскрутивший» Хемингуэя, человек, которому тот писал: «Вы были первым критиком, который сколько-нибудь заинтересовался моей работой, и я всегда был очень благодарен и с нетерпением ждал каждого Вашего отзыва о том, что я пишу»?

Осенью 1938-го, после выхода сборника «„Пятая колонна“ и первые 49 рассказов», Уилсон разнес пьесу в пух и прах, назвав автора «оголтелым сталинистом», но сказал, что ее недостатки искуплены достоинствами рассказов и сборник «нужно иметь в каждом доме». В том же месяце Уилсон прошелся по фронтовым корреспонденциям Хемингуэя, которые перепечатал британский левый журнал «Факт», опять говорил о сталинизме и о том, что Хемингуэй «слишком настойчиво демонстрирует собственную храбрость». Хемингуэй ответил, что корреспонденций своих не стыдится: «Если вас посылают писать о том, как стреляют, и вам платят за это, вы не можете в текстах обойтись без выстрелов», пенял Уилсону на то, что тот не воевал (хотя и сам не воевал): когда дети спросят, что делал Уилсон, им ответят: «Отсиживался в Нью-Йорке и каждого, кто воевал, называл сталинистом».

В июле 1939-го, еще до публикации «Колокола», в журнале «Атлантик мансли» появилось эссе Уилсона «Хемингуэй: мера морали». Критик анализировал хемингуэевское творчество: сперва — истории Ника Адамса

в Мичигане, где «под идиллической обстановкой скрывается жестокость и зверство». Идет ли речь об убийстве животных или рожаящей индианке, смерть для Ника всегда связана с наслаждением. Потом — тексты о бое быков, где эта связь доходит до садизма. «Фиеста» — «великолепное воплощение духа романтического разочарования». «Прощай, оружие!» — красивая трагедия, но у ее героев «нет индивидуальности». «Смерть после полудня» — начало разрушения писателя, она «плаксива, как у невротика или пьяного», Хемингуэй, когда начинает писать о себе, теряет вкус и мастерство. Потом он начинает печататься в «Эсквайре» и превращается в «дурацкое подобие Кларка Гейбла», позируя для обложек. (Здесь Уилсон намекал на «психологические проблемы», которые вынуждают писателя надевать маску спортсмена.) «Зеленые холмы» — падение продолжается: в книге нет природы, единственное, что читатель может узнать о ней, — что автору нравится ее уничтожать. «Иметь и не иметь» — «вестерн с деревянноголовым героем». Вдруг подъем: «Килиманджаро» и еще несколько рассказов. Новое падение — «Пятая колонна», «фантазия маленького мальчика», «бессовестное оправдание сталинизма». И вот — «Колокол»...

«Хемингуэй-художник снова с нами; это как если бы к нам вернулся старый друг... Знаменитый охотник, супермен, сталинист из отела „Флорида“ испарились подобно алкогольным парам». Но без упрека не обошлось: книга перегружена однообразными рассуждениями, слаба любовная линия. Уилсон писал о женщинах Хемингуэя: те, что хотят быть личностями, — «суки», а нравятся ему только «индейские девочки из детства Ника, которые находятся на социальном дне, являясь покорными игрушками белого мужчины». Мария относится к этому ряду: она — «амебоподобное существо», — а эротические сцены «Колокола» — «подростковые сексуальные фантазии».

Дональд Адамс назвал те же сцены «лучшими в американской литературе», ибо они, «в отличие от беспорядочных совокуплений в „Фиесте“» (в «Фиесте» вообще нет совокуплений. — М. Ч.), целомудренны. «Вот оно, вот оно, и другого ничего нет. Да, вот оно. Оно и только оно, и больше ничего не надо, только это, и где ты, и где я, и мы оба, и не спрашивай, не надо спрашивать, пусть только одно оно; и пусть так теперь и всегда, и всегда оно, всегда оно, отныне всегда только оно; и ничего другого, одно оно, оно; оно выше, оно взлетает, оно плывет, оно уходит, оно расплывается кругами, оно парит, оно дальше, и еще дальше, и все дальше и дальше; и вместе, вместе, вместе, все еще вместе, все еще вместе, и вместе вниз, вместе мягко, вместе тоскливо, вместе нежно,

вместе радостно, и дорожить этим вместе, и любить это вместе, и вместе и вместе на земле, и под локтями срезанные, примятые телом сосновые ветки, пахнущие смолой и ночью; и вот уже совсем на земле, и впереди утро этого дня». Хорошо ли это написано — решайте сами. Адекватно и высокохудожественно изобразить половой акт очень трудно, быть может, невозможно — недаром в одном из величайших романов о страсти, «Анне Карениной», он описан как «.....». Тут Хемингуэй за учителем не последовал.

Грибанов: «Мария становится для него олицетворением всего святого в жизни. И это находит выражение в прекрасных по простоте словах, которые он ей говорит: „Я люблю тебя так, как я люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне“». Неудивительно, что советскому критику понравилось: словно какой-нибудь третий секретарь райкома диктовал. Но, в конце концов, главное в романе не любовь, а война: сравним ученика с учителем.

«В Петербурге и губерниях, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины, в ополченских мундирах, оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантке и тому подобное...» Это «Война и мир». А вот «Колокол»: «Ты узнал иссушающее опьянение боя, страхом очищенное и очищающее, лето и осень ты дрался за всех обездоленных мира, против всех угнетателей, за все, во что ты веришь, и за новый мир, который раскрыли перед тобой». «Ты не настоящий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в Свободу, Равенство и Братство. Ты веришь в Жизнь, Свободу и Право на Счастье».

Хемингуэй: «Он принимал участие в войне и, покуда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу»(курсив мой. — М. Ч.). «Я пришел, чтобы исполнить свой долг, — сказал ему Роберт Джордан». «Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко и трудно говорить, как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха...» А вот — «Севастопольские рассказы»: «Мой долг был идти... да, долг. <...> Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать

прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице».

Да надо ли указывать, где Хемингуэй и где Толстой?! «Наверное, мне быть убитым нынче, — думал штабс-капитан, — я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж 13-й раз иду на бастион. Ох, 13! скверное число». «Мысленно он подсмеивался над собой, но он смотрел в небо и на дальние горы и глотал вино, и ему не хотелось умирать. Если надо умереть, думал он, — а умереть надо, — я готов умереть. Но не хочется». «Сегодня — только один из многих, многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня».

У учителя — жизнь, у ученика — слова; Толстой показывает, Хемингуэй разжевывает. «Он участвует в этой войне потому, что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому, что он верит в Республику и знает, что, если Республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее». «Мир — хорошее место, и за него стоит драться». Где айсберги? Растаяли под жаром агиток?

В романе много сильных мест — они там, где нет риторики, они написаны «старым другом», чье возвращение приветствовал Уилсон: «Потом он понял, что произошло, и как раз в это время серая лошадь привстала на колени, и правая нога Роберта Джордана, выпроставшись из стремени, скользнула по седлу и легла на землю, и он обеими руками схватился за бедро левой ноги, которая по-прежнему лежала неподвижно, и его ладони нащупали острый конец кости, выпиравший под кожей. Серая лошадь стояла почти над ним, и он видел, как у нее ходят ребра. Трава под ним была зеленая, и в ней росли луговые цветы, и он посмотрел вниз,

увидел дорогу, теснину, мост, и опять дорогу, и увидел танк, и приготовился к новой вспышке. Она сейчас же почти и сверкнула, но шипения опять не было слышно, только сразу бухнуло и запахло взрывчаткой, и, когда рассеялась туча взрытой земли и перестали сыпаться осколки, он увидел, как серая лошадь мирно села на задние ноги рядом с ним, точно дрессированная в цирке. И сейчас же, глядя на сидевшую лошадь, он услышал ее странный хрип».

И все же после Толстого читать «Колокол» невозможно, после «Живых и мертвых» Симонова — затруднительно. Недаром Андрей Тарковский называл романы Хемингуэя «вестернами». У американцев роман имел баснословный успех: к концу года было продано 190 тысяч экземпляров, к осени 1941-го разойдется миллионный тираж. Сенатор Джон Маккейн сказал, что немногие личности, реальные или вымышленные, повлияли на него так, как Роберт Джордан; «одной из трех книг, которые наиболее сильно его вдохновляли», назвал «Колокол» его удачливый соперник Барак Обама.

Глава шестнадцатая СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

«Коммунистическую дисциплину» Джордан принял. Но: «Он уже успел стать политическим фанатиком и ханжой, похожим на какого-нибудь твердолобого баптиста, и словечки вроде „враги народа“ сами собой приходят ему в голову. Революционно-патриотические штампы. Его разум приучился некритически воспринимать и употреблять их. Конечно, в них заключена правда, но слишком уж легко они слетают с языка». Хемингуэй писал Перкинсу, что во время войны был полностью предан одной стороне, но потом стал свободным: он «не католический и не партийный писатель, а просто писатель — и ничего более».

Большинство критиков восприняли «Колокол» как «отход от коммунизма»: Уилсон объявил, что Хемингуэй «в значительной степени отбросил свой сталинизм», Маклиш — что он «наконец-то отвернулся от Москвы»; «Нью-Йорк таймс» за «Колокол» простила Хемингуэю «красный» роман «Иметь и не иметь»; «Тайм» приветствовала «излечение от марксистской кори». Так же думают большинство хемингуэеведов: Рон Кап-шоу назвал Джордана «закономерным финалом Роулингса», «разочарованным, как священник, обнаруживший, что его религия содержит элементы фашизма», и увидел в романе «осуждение Сталина и русских у Гэйлорда». А Бейкер уверен, что Хемингуэй никогда «марксистской корью не болел», ибо был «иммунизирован эстетическим принципом». По мнению Линна, Хемингуэй «обнаружил, что его обманывали, и распрощался с Коминтерном»; Джеймс Меллоу считает, что он «к концу 1938 года разочаровался в республиканцах». Коммунисты, как ни странно, были с этими «буржуйскими» оценками согласны.

«Беспринципный литератор, не имеющий представления ни о коммунизме, ни о демократии, — писал колумнист „Дейли уоркер“ Майк Голд, — из корыстных побуждений поехал в Испанию, а потом дезертировал», «оклеветал идеалы» и «страдает классовой слепотой», что неудивительно — ведь он «богатый алкоголик» и «психически больной». Голд вообще был хамом, называл Стайн идиоткой, Пруста мастурбатором, они ответить не смогли, но в лице Хемингуэя он обрел достойного противника: тот рекомендовал Голду совершить половой акт с самим собою, а потом приходил в редакцию его бить.

Разгромную статью 5 ноября 1940 года опубликовал в «Нью мэссиз» ветеран батальона Линкольна Альва Бесси: «Многие ждали, что опыт

Хемингуэя в Испании заставит разгореться его сердце и его талант, и его роман будет лучшим из всего, что он написал. Это не так. <...> Хемингуэй воспринял эту войну так же, как первую мировую в „Прощай, оружие!“, и провозгласил ее бессмысленной, жизнь — тщетной, а любовь — единственной ценностью. В романе нет трагедии — один пустой пафос. Опять надоедливые описания боя быков, бессмысленные рассуждения о смерти, патологическая озабоченность автора сексом и кровью и болезненная сконцентрированность на индивидуальных жизнях. Автора меньше беспокоит судьба испанского народа, чем его собственные переживания и судьба героя и героини... <...> Хемингуэй допускает шовинистические нападки на итальянский народ и на женщин. Его ошибки позволяют неискушенным читателям думать, что роль Советского Союза в Испании предосудительна. Он также злобно нападает на Андре Марти, организационного гения и вдохновителя Интербригад; Хемингуэй обязан был понять величие этого человека независимо от своего личного мнения о нем. А теперь его книге будут рады наши враги, и из-за нее бойцы батальона Линкольна будут оклеветаны и многие из них погибнут. <...> Он написал роман об Испании без народа Испании: народ изображен жестоким, мстительным и безответственным. Это позволило буржуазным и либеральным писакам приветствовать роман. Арчи Маклиш возопил от радости, что Хемингуэй порвал с Москвой, и договорился до того, что сравнил роман с „Записками молодого человека“ Дос Пассоса, который, как известно, является врагом испанского народа. Это странная компания для такого человека, как Хемингуэй. В данный момент он находится в компании своих врагов и врагов народа».

Не успокоившись, Бесси 20 ноября опубликовал открытое письмо Хемингуэю (оно воспроизведено в «Интернациональной литературе» № 11–12 за 1940 год): «Мы, участники Интербригад Испанской республики, убежденные в правоте того дела, за которое мы боролись, с чувством глубокого негодования осуждаем...» Письмо подписали десятки участников батальона Линкольна и, в частности Милтон Уолф, которого Хемингуэй превозносил в своих корреспонденциях. Уолф считал, что сцена казни франкистов, «написанная вне исторического контекста и без разъяснения причин, играет на руку франкистской пропаганде». Уолф не сказал, что сцена лжива: он, как и Бесси, с наивной откровенностью советовал Хемингуэю писать о Марти «независимо от своего личного мнения», полагал, что правда бывает вредной. Уолф оставил о Хемингуэе злобные воспоминания: якобы, когда он обратился к нему за помощью для немецкого коммуниста Альфреда Канторовича,

Хемингуэй дал 400 долларов, да и то взаймы; что он отказывался давать деньги другим ветеранам и вдобавок «в военных делах не мог отличить локтя от задницы». При жизни Хемингуэя, однако, Уолф поддерживал с ним отношения и в 1947 году пригласил его выступить на юбилейном собрании ветеранов батальона. Но в 1948-м разгорелась новая склока, тянувшаяся четыре года. Ветераны собирались издать антологию произведений об испанской войне; включать ли туда хемингуэевский реквием? Уолф был «за», Эдвин Рольф тоже, и даже Бесси согласился, но Луи Арагон объявил, что не даст свою поэму, если будет текст Хемингуэя, и в конце концов решили его исключить.

Обиделись не только американские коммунисты: публикация «Хемингуэй — предатель» появилась в «Нуэстра палабра», органе компартии Аргентины, и в «Нотисиас де ой», газете Народно-социалистической партии Кубы; в ярость пришли компартии Франции и, разумеется, Испании. Короче, все, левые и правые, сочли роман антикоммунистическим. Но в Испании при Франко он был запрещен как прокоммунистический, и в США в 1941-м, когда его номинировали на Пулитцеровскую премию, был отклонен правыми журналистами на том же основании. Когда критикуешь две стороны, следует быть готовым к нападкам обеих. Хемингуэй, конечно, знал, что крайне правые его будут ругать, был готов и к атаке слева — Перкинсу писал в январе 1940 года, чтобы тот не показывал его работу «идейным парням вроде Бесси» — но не ожидал, что она будет так жестока. Он ответил публично: письмо Бесси назвал «идиотским и лживым», сказал, что был в Испании раньше, чем многие из «этих так называемых ветеранов», но не слышал о их подвигах: они — трусы. Что касается Марти — «у вас он свой, у меня мой», и «время покажет, кто прав».

*

«Хемингуэй был долгие годы полузапрещенным за пацифизм», — написал К. Кедров в «Известиях» в статье к 110-летию Хемингуэя и добавил, что за это же у нас не любили Эйнштейна. Как хорошо было бы, если б авторы юбилейных статей заглядывали хотя бы в справочную литературу! Эйнштейн провинился перед советской властью отнюдь не «пацифизмом», а, например, тем, что в 1930 году протестовал против казни советских специалистов в области пищевой промышленности, Хемингуэй — другим, и пацифизм тут тоже ни при чем: история его взаимоотношений

с советской властью изложена, например, в книге Р. Д. Орловой (переводчик, критик, работала в журнале «Иностранная литература» в 1955–1961 годах) «Хемингуэй в России» и множестве других источников.

До «Колокола» все складывалось отлично: в 1939 году в Москве вышел сборник «„Пятая колонна“ и первые 38 рассказов», в «Известиях» напечатали реквием погибшим в Испании. 20 ноября 1940 года «ИЛ» опубликовала письмо Бесси — несмотря на это, заведующая иностранной редакцией Гослитиздата А. В. Савельева дала задание переводчикам Е. Калашниковой и Н. Волжиной переводить роман, только велела не рассказывать о нем никому, включая Кашкина (тут свои интриги, в которые мы углубляться не будем), и к марту 1941-го перевод был закончен. Роман готовился к печати в Гослите и в журнале «Знамя» — но так и не вышел.

Слухи были такие — якобы роман прочел Сталин и сказал: «Интересно. Но печатать нельзя». Факты — следующие: 2 июня 1941-го Т. А. Рокотов, сменивший на должности главреда «ИЛ» расстрелянного С. С. Динамова (до Динамова был Бруно Ясенский, казненный еще раньше, — увы, нет данных о том, что Хемингуэй, ведший переписку с редакцией «ИЛ», хотя бы полубопытствовал, куда деваются все эти люди), написал в Управление агитации и пропаганды ЦК партии: «...отдельные главы, в которых автор изображает советских людей, принимавших участие в борьбе испанского народа против мятежников и интервентов, представляют значительный интерес, хотя... в романе и имеется специальная глава, содержащая клеветническое изображение Андре Марти, который выведен в книге под своим настоящим именем...<...> По ходу действия в романе герой соприкасается с советским журналистом Карковым. Под этим псевдонимом Хемингуэй выводит — даже без особенной маскировки — Михаила Кольцова. Последний представлен читателю как человек, присланный „Правдой“ и имеющий непосредственный контакт со Сталиным... <...> Восторженную оценку романа Хемингуэя дал на страницах журнала „Нью рипаблик“ троцкистский эмиссар в американской литературе Эдмунд Уилсон, который, естественно, особенно превозносит Хемингуэя за его антисоветские страницы в романе».

Управление агитации и пропаганды вынесло резолюцию: «Идейный смысл романа „По ком звонит колокол“ заключается в стремлении показать моральное превосходство буржуазно-демократической идеологии над идеологией коммунистической; поэтому, несмотря на то, что роман написан с сочувствием делу борьбы испанского народа против фашизма, печатать его нельзя. <...> Нецелесообразно также выступать в настоящее время на страницах журнала „Интернациональная литература“ с критикой

романа Хемингуэя, потому что в американской печати была большая дискуссия по поводу романа и выступление представителя советской печати было бы воспринято как наша официальная полемика с Хемингуэем».

Перевод тем не менее как-то оказался в самиздате — об этом вспоминают десятки людей. Его читали в Красноуфимске (туда был эвакуирован Гослитиздат), в Ташкенте (туда эвакуировалась часть Союза писателей), в Свердловске (там находились факультеты Московского университета), в Куйбышеве. Эренбург об июле 1941 года: «В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и мы с Б. Лапиным решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневого. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя „По ком звонит колокол“. Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист». На «человека с серым обрюзглым лицом» Эренбург не обиделся — Бенедикт Сарнов, говоривший с ним о романе, вспоминал: «...я не сомневался, что увижу на его лице хотя бы мимолетный след этой давней обиды. Но ничего такого я на нем не увидел. А увидел только растроганность и нежность...» А вот воспоминания Кашкина: «...летом 1941 г. роман или выделенную из него повесть об испанских партизанах просили спускать на парашютах в минские и новгородские леса, где бывшие соратники Хемингуэя — испанцы и русские — сражались с „голубой дивизией“ Франко и Муньос Грандеса». (Кто просил — так и осталось неясным.) Переводчик Елена Зонина: «„Колокол“, который я прочла зимой 1941 г. в Красноуфимске, при свете коптилки в халупе за кладбищем, был подтверждением того, что надо, нельзя не добиваться, чтобы меня взяли в армию, на фронт (эвакуированных не брали). Нужно было быть как Джордан».

Война кончилась, но ничего не изменилось: Кольцов был «врагом народа», Марти возглавлял компартию Франции, а в СССР проживал главный враг «Колокола» — генсек КПИ Долорес Ибаррури. «Ее называют Пасионария. Она — не романтическая красавица, не Кармен. Она — жена бедного астурийского горняка. Но ее голосом говорит новая женщина Испании». Так Хемингуэй писал о ней в 1937-м. То ли за войну его мнение изменилось, то ли он сразу ее невлюбил, но притворялся из идейных соображений, но в «Колоколе» о ней говорится совсем иначе.

«— Эй ты, коммунист! А ты знаешь, что у твоей Пасионарии сын, такой, как ты, в России с самого начала движения?»

— Это неправда, — сказал Хоакин.

— Que va, неправда, — сказал партизан. — Мне это говорил динамитчик, которого так по-чуждому звали. Он был той же партии, что и ты. Чего ему врать.

— Это неправда, — сказал Хоакин. — Не станет она прятать сына в России от войны.

— Хотел бы я сейчас быть в России, — сказал другой партизан из отряда Глухого. — Может, твоя Пасионария и меня послала бы в Россию, а, коммунист?»

Леонид Пасенюк: «Неправомочность самого появления подобной сцены в романе, для Долорес Ибаррури все же оскорбительной, была очевидной для тех <...> кто знал, что ее сын геройски погиб, сражаясь с фашизмом на Волге». Пасенюк утверждает, что Пасионария проявила благородство и не препятствовала публикации «Колокола», но этого мнения никто не разделяет. По воспоминаниям А. Беляева, в начале 1960-х инструктора Отдела культуры ЦК КПСС, его шеф Д. Поликарпов говорил, что Ибаррури требовала запрета публикации. (Возмущал ее не один «Колокол» — она регулярно указывала «ИЛ», чего они не должны публиковать.) Хемингуэй в 1946 году писал Константину Симонову (читавшему рукопись во время войны), что согласен сделать купюры и заменить подлинные имена вымышленными. Симонов обещал посодействовать. Не вышло.

Шли годы, Марти в 1952-м был исключен из французской компартии как «предатель», а Хемингуэй в 1954-м получил Нобелевскую премию. Попытку выпустить «Колокол» предпринял Иноиздат: заведующий редакцией художественной литературы И. Л. Блинов в интервью «Литературной газете» сообщил, что роман стоит в плане на 1956 год. Но Ибаррури никуда не делась, и французские коммунисты, хотя Хемингуэй ругал их теперешнего врага, отреагировали возмущенным письмом писателю и видному функционеру Борису Полевому, назвав роман «клеветническим». 15 июня 1955-го Полевой переправил это письмо с сопроводительной запиской в ЦК КПСС. Инициатива Иноиздата была расценена ЦК как «серьезная ошибка».

В 1956-м реабилитировали Кольцова, но Пасионария все еще тут... Записка Отдела культуры ЦК КПСС от 25 января 1958 года, подготовленная для постановления ЦК «О мероприятиях по устранению недостатков в издании и критике иностранной литературы»: «Переводчики и близкие к ним люди настойчиво рекомендовали издательствам роман Хемингуэя „По ком звонит колокол“, описывающий события 1936–1938 годов в Испании с позиций, враждебных прогрессивным силам». А роман продолжал

разгуливать в самиздате. Бенедикт Сарнов рассказывает, как в 1959-м к нему пришел Юлиан Семенов: «В общем, слово за слово, выяснилось, что у него есть машинопись русского перевода этого романа, и он — ну конечно, что за вопрос! — может дать мне его почитать. <...> К этому нашему разговору с интересом прислушивалась моя коллега Джана Манучарова, и когда Юлиан Семенов нас покинул, мы с ней быстро договорились, что если всё это не окажется пустым трёпом, читать „По ком звонит колокол“ мы с ней будем, конечно, вместе. <...> И тут остроумная Джана нашла гениальный выход. Давай, сказала она, скинемся и отдадим рукопись машинистке. <...> Машинистка (или машинистки) сделала четыре закладки, и сумма расходов, таким образом, была разложена на четверых: я приобщил к нашей аванюре моего друга Володю Корнилова (он тоже тогда бредил Хемингуэем), четвертого компаньона нашла Джана. Вот так вышло, что я стал счастливым обладателем собственной рукописи не напечатанного у нас знаменитого хемингуэевского романа».

В феврале 1960-го Анастас Микоян встретился с Хемингуэем. Надежды ожили. «Советская Россия», 19 февраля: «Где сейчас Хемингуэй, который много времени проводит в путешествиях? Ответ на этот вопрос дали газеты: первый заместитель Председателя Совета министров СССР А. И. Микоян посетил писателя в Гаване. Из Ленинграда на Кубу полетела телеграмма: „Литературный журнал ‘Нева’, открывший год окончанием романа Шолохова ‘Поднятая целина’, от имени 121 тысячи своих подписчиков и многочисленных читателей просит Вас разрешить публикацию романа ‘По ком звонит колокол’“. Через сутки пришел короткий ответ: „Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания. Хемингуэй“. Роман американского писателя будет опубликован в ближайших номерах „Невы“». Поторопились, однако: в «Записке Отдела Культуры ЦК КПСС» в Секретариат ЦК КПСС заметка названа «крикливой», характеристика романа — «несостоятельной», а обращение «Невы» к Хемингуэю — «ошибкой». 16 апреля и. о. главного редактора «Невы» Е. П. Серебровская и литературовед А. И. Хватов поехали за поддержкой к Шолохову. Тот написал министру культуры Екатерине Фурцевой:

«Ленинградский журнал „Нева“, опубликовавший вторую книгу „Поднятой целины“, решил опубликовать, разумеется, с соответствующими купюрами, роман Э. Хемингуэя „Под звон колокола“ (так у Шолохова. — М. Ч.). С Хемингуэем списались по этому поводу и получили его согласие. <...> Не мне говорить Вам о том, как важно было бы привлечь на нашу сторону Хемингуэя, и, думается, неспроста нанес ему визит А. И. Микоян,

будучи на Кубе. А этого можно достигнуть, публикуя у нас Хемингуэя, не ограничиваясь одними лишь хвалебными отзывами о его творчестве. Сейчас стоит вопрос о передаче романа Хемингуэя журналу „Международная литература“. Это несправедливо, на мой взгляд. Пусть публикует „Нева“. Кроме этого, такое решение вызовет недоумение у самого Хемингуэя и даст повод буржуазной печати сочинять небылицы о том, что наши журналы не могут распоряжаться своими портфелями по своему усмотрению».

Фурцева обещала Серебровской, что после приезда Хемингуэя в СССР можно будет подумать о публикации в «Неве». Но Хемингуэй не приехал, а Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии постановила: «Признать нецелесообразным публикацию в советском журнале романа Э. Хемингуэя „По ком звонит колокол“. Указать и. о. главного редактора журнала „Нева“ т. Серебровской Е. П. на допущенную ошибку, выразившуюся в организации рекламной шумихи вокруг этого произведения». Серебровскую вызвали в ЦК (как она рассказывала Орловой, начальник Отдела культуры Поликарпов распекал ее: «Вы что, хотите нас с братскими партиями поссорить?»), и она была уволена. А люди продолжали читать роман... Солженицын: «Это было начало ноября 1961 года. Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний — ещё можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского „По ком звонит колокол“, полученного на три дня)».

В 1962 году «Колокол» хотели печатать «Иностранная литература» и «Новый мир». В июле их главные редакторы, А. Маковский и А. Твардовский, обратились в ЦК с просьбой разрешить публикацию, но получили отказ. А. Беляев: «Выслушав гостя, Поликарпов развел руками. Сообщил, что мешает публикации книги одна „настырная читательница“ романа, „которая решительно с этим не согласна и выражает свое несогласие в резкой форме в письмах на имя первого секретаря ЦК КПСС“...» Но в том же году Идеологический отдел ЦК дал распоряжение перевести роман и издать для «своих» — хотя бы знать, что ругаем. Он вышел в «Издательстве иностранной литературы» тиражом 300 экземпляров, с грифом «Рассылается по специальному списку. №...»^[39]. А. В. Блюм: «Книга не поступила ни в одну из библиотек; даже в бывших спецхранах крупнейших книгохранилищ (петербургских, во всяком случае), обладавших правом получения „обязательного экземпляра“, она отсутствует». Анатолий Медведенко: «Лучшее произведение будущего нобелевского лауреата у нас было издано под грифом „Для служебного

пользования“. Оно представляло собой две книжки в мягком бумажном переплете белого цвета с тем самым предупреждением на титульном листе. Тираж был чрезвычайно мал, каждый экземпляр пронумерован, а допуск к роману имели, естественно, только избранные». Но даже для избранных в предисловии пояснялось — вдруг не разберутся? — «так, например, обращает на себя внимание не совсем правильная трактовка образов коммунистов, бесстрашных и мужественных борцов с фашизмом в трудное для испанского народа время».

В начале 1963 года отрывки из романа хотели напечатать в «Неделе», Е. Д. Калашникова показывала Орловой корректуру. Но тут «оттепель» закончилась и публикацию запретили. Редакторы, однако, были упрямы. Орлова: «Чаковскому тоже захотелось вступить на разминированное поле. Он опубликовал отрывок из 43-й, завершающей главы романа „По ком звонит колокол“. Тот самый отрывок о последних мгновениях жизни Роберта Джордана, который Эренбург читал в ВТО летом 42 г.» Из редакционной врезки: «Как мы уже сообщали, издательство ‘Художественная литература’ готовит к выходу в свет роман Хемингуэя ‘По ком звонит колокол’». Теперь на лекциях можно было цитировать хотя бы эпилог романа по «Литгазете». Журнал «Звезда» напечатал мою большую статью «О революции и любви, о жизни и смерти» с подзаголовком «К выходу русского издания романа Хемингуэя „По ком звонит колокол“ (1964, № 1). Цитаты из романа, приведенные в моей статье по самиздатовской рукописи, я выверяла в Гослите по чистым листам. Но и на этот раз выход русского издания не состоялся, роман был запрещен и набор рассыпан. Руководители испанской компартии Долорес Ибаррури и Листер, их единомышленники возражали в ЦК против книги».

«Литатурка» 24 августа 1964 года опять сообщала о готовящейся публикации — впустую; в 1965-м алма-атинский журнал «Простор» объявил, что напечатает роман — запретили. В марте 1967-го в журнале «Заря Востока» вышла статья Симонова о «Колоколе»: хвалил, но с оговорками: «Джордан — буржуазный гуманист... внутренне остается индивидуалистом и идеалистом», Хемингуэй «далеко не обо всем мог составить себе объективно верное представление». Орлова: «Как и за 30 лет до того, был и расчет. Быть может, в данном случае прежде всего расчет — „обернуть роман в вату“, чтобы его можно было напечатать». Капля камень точит... По словам Беляева, сотрудникам Международного отдела ЦК было поручено «уломать» Ибаррури. «Международники позвонили и сказали, что Ибаррури хоть и остается при своем мнении, но возражать против издания романа Хемингуэя „По ком звонит колокол“ в собрании

сочинений писателя не будет. Готовьте соответствующую записку, наше руководство ее подпишет». Трехтомное собрание сочинений, включающее «Колокол», вышло в 1968 году (забавно, что в том же году был снят и запрет Франко на публикацию романа в Испании). Но перевод был цензурированный, с купюрами. Лишь в 2005-м роман вышел без купюр в издательстве «Азбука-классика». Но Хемингуэй был уже не в моде, и большинство из нас помнят тот, первый перевод. Что же от нас скрыли?

Читатель при слове «цензура» представляет радикальные изменения в тексте. На самом деле купюры были невелики. Убрали упоминание о Бухарине, которого к тому времени еще не реабилитировали. В переводе 1968-го Карков назван «одним из самых значительных людей в Испании» — в подлиннике было «один из трех самых влиятельных» (второй — Орлов, третий, возможно, Марти). В подлиннике за угрозой Каркова вывести Марти на чистую воду следовала фраза «Я добьюсь, чтобы тракторный завод не носил больше ваше имя» — цензура ее убрала, посчитав более крамольной, чем то, что Марти назван сумасшедшим убийцей. Хемингуэй пишет о столяре Хуане Модесто, который командует корпусом: «Он был намного умнее, чем Листер или Эль Кампесино» — эти слова в переводе исчезли. Из диалога Каркова с Эренбургом о Ибаррури зачем-то убрали пару реплик: «— Эта женщина не предмет для шуток. Даже для такого циника, как вы. Если бы вы были там и видели ее лицо и слышали ее голос! — Этот великий голос, — сказал Карков иронически. — Это великое лицо». У Хемингуэя написано, что военных командиров «послали учиться в Военную академию и Ленинский институт Коминтерна» — цензура вырезала упоминание о Коминтерне.

Но есть несколько важных купюр. «Готовящееся наступление было его первой крупной операцией, и пока Роберту Джордану не очень нравилось все то, что он слышал об этом наступлении». Далее в подлиннике следовало: «Там был Галл, венгр, которого будто бы расстреляли, если хотя бы половина из того, что слышишь у Гэйлорда, — правда. Возможно, лишь десять процентов того, о чем говорили у Гэйлорда, было правдой...»

«Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения». В подлиннике далее: «Лжи было много. Сперва его это смущало. Он ненавидел это. Но потом это стало ему нравится. Было приятно быть посвященным и знать все изнутри, но это очень растлевало».

Был вырезан фрагмент: «Гэйлорд казался непристойно роскошным и

развращенным. Но почему бы представителям силы, что управляла одной шестой частью суши, не позволить себе некоторых удобств? Что ж, они их имели, и Роберт Джордан, которого сперва отталкивали эти вещи, потом принял их и наслаждался ими». Далее следовал абзац о любовнице Каркова — его тоже удалили. Исключено было упоминание о Кашкине и Гэйлорде: «Кашкина только терпели там. Очевидно, было что-то не так с Кашкиным и он искупал свою вину в Испании. Они не сказали ему, что это было, но, может быть, скажут теперь, когда он мертв».

Перевод: «...если положение изменилось настолько, что Гэйлорд мог стать тем, чем его сделали уцелевшие после первых дней войны, Роберт Джордан очень рад этому и рад бывать там. То, что ты чувствовал в Сьерре, и в Карабанчеле, и в Усере, теперь ушло далеко, думал он». В подлиннике далее: «ты развратился очень легко, думал он».

Короче говоря, оставили ужасные ругательства в адрес Марти и Ибаррури, описание зверской расправы «красных» над «белыми», вырезали только то, что порочило конкретно русских — братские партии пусть сами разбираются. Но невольно получился иной эффект: исчезло то, что касалось собственной позиции героя. Он признал, что был растлен ложью... А ведь с этими словами весь роман звучит чуточку иначе.

*

Развод с Полиной оформили 4 ноября, а 20-го в городке Шейенн, штат Вайоминг, Хемингуэй женился (гражданским браком) на Марте и дал согласие ехать с нею в Китай, заключив контракт с газетой «Пост меридиен». Медовый месяц начался в нью-йоркском отеле «Беркли», там же поселился приехавший на каникулы Бамби — его записали на уроки бокса к директору гимназии и тренеру Джорджу Брауну, который занимался с его отцом. В Нью-Йорке жил женившийся на американке Густаво Дюран (Хемингуэй консультировался с ним, редактируя «Колокол») — встречались, Марта была им очарована. Заходила парижская знакомая Солита Солано, сообщившая, что Маргарет Андерсон, первый редактор «Литтл ревью», не имеет средств выехать из Парижа (Франция капитулировала) — Хемингуэй выслал тысячу долларов. Денег у него благодаря Голливуду было много, но не так, как он надеялся: налоги съели почти 80 из 134 тысяч. Прогрессивный налог был одной из мер правительства Рузвельта, направленных на перераспределение средств от богатых к бедным, но Хемингуэй этой меры не оценил и в гневе писал

Перкинсу, что «человек вкалывает всю жизнь и у него всё отнимают».

Двадцать первого декабря от сердечного приступа умер Скотт Фицджеральд. Хемингуэй на похоронах не был. В последний раз они виделись летом 1937 года на просмотре «Испанской земли», но не говорили; на следующий день Фицджеральд прислал телеграмму с похвалой в адрес фильма — Хемингуэй не ответил. Спустя месяц, когда случилась драка Хемингуэя с Истменом, о которой газеты писали больше, чем о войне в Испании, Фицджеральд написал Перкинсу, что бывший друг «живет в своем собственном мире, и я не могу помочь ему даже если бы сейчас был близок с ним, чего нет. И все же я так люблю его, так глубоко переживаю все, что с ним происходит. Мне искренне жаль, что какие-то глупцы могут насмеяться над ним и причинять ему боль».

Перкинс оставался их единственным связующим звеном, и Хемингуэй, в свою очередь, говорил ему в 1939-м, что всегда испытывал «дурацкое чувство превосходства над Скоттом, какое бывает у жестокого и сильного мальчика, глумящегося над слабым, но талантливым маленьким мальчиком», и просил передать свою «глубокую привязанность». В 1944-м сказал Перкинсу, что хочет написать о Фицджеральде «большую, правдивую, справедливую, подробную книгу», требовал не показывать переписку с Фицджеральдом Уилсону, который тоже собирался писать о нем. Перкинс не послушался, Уилсон книгу написал, Хемингуэй — нет. В 1945-м он писал Перкинсу: «...Меня гложет то, что я ничего не написал о Скотте, хотя знал его, возможно, лучше других. Но как можно написать правду, пока жива Зельда... Конечно, он никогда не закончил бы своей книги. („Последний магнат“. — М. Ч.) Скорее она нужна была ему для получения аванса — карточный домик, а не книга. Поразительная напыщенность таких книг производит впечатление на тех, кто не знает секретов писательства. Эпические произведения, как известно, часто бывают фальшивыми. (У себя в „Колоколе“ Хемингуэй этого не заметил. — М. Ч.) <...> Мне всегда казалось, что мы с тобой можем рассказать правду о Скотте, потому что оба восхищались им, понимали и любили его. В то время как другие были ослеплены его талантом, мы видели и сильные и слабые его стороны... Малодушие и мир грез всегда отличали его героев... Скотт мнил себя знатоком футбола, войны (о которой он вообще ничего не знал)... В следующий раз напишу о его положительных качествах... Но, оценивая лошадь, полк или хорошего писателя, я прежде всего стараюсь разглядеть их недостатки». (О «положительных качествах» так и не написал, но в 1950-е, переписываясь с биографом Фицджеральда, продолжил собирать «отрицательные».)

Под Рождество уехали с Мартой в Гавану, где 28 декабря муж сделал жене подарок — за 18 500 долларов была куплена «Ла Вихия». «Небо над холмами розовое, Гавана светится в сиреновом тумане, наше большое дерево, которое на прошлой неделе покрылось новой листвой, кажется золотым, розовым, медным и похоже на огромный зонт, почки каучукового дерева возле вашего домика набухли и лопнули, бассейн сверкает зеркальной водой, кругом весенние цветы, из селения доносится музыка...» (Только что, в октябре, президентом Кубы стал Фульхенсио Батиста, будущий диктатор, а тогда вроде бы довольно приличный человек.) В январе вернулись в Нью-Йорк, 27-го полетели в Лос-Анджелес, встретились с исполнителями главных ролей в экранизации «Колокола» Купером и Бергман, 31-го отплыли из Сан-Франциско в Гонконг: командировка и свадебное путешествие одновременно.

Глава семнадцатая СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Япония была союзником Германии и потенциальным врагом США, воевавшему с ней с июля 1937 года Китаю следовало помогать. Но ситуация в Китае была запутанная: правительство Гоминьдана во главе с Чан Кайши, формально объединившее страну в 1928-м, враждовало с коммунистами; в январе 1941-го дошло почти до гражданской войны, и тогда же Япония предложила Гоминьдану перемирие. США нужно было разобраться: согласится ли Китай на мир с Японией, способен ли он выдержать японскую агрессию, можно ли помирить КПК с Гоминьданом, как намерены вести себя русские, которым, с одной стороны, выгодно, чтобы Китай сопротивлялся Японии и она не могла напасть на СССР, а с другой — чтоб она напала на Штаты и опять-таки не трогала СССР. Каждого мало-мальски толкового американца, отправлявшегося в Китай, просили прощупать обстановку. Хемингуэи не стали исключением. В Вашингтоне с ними встретился Гарри Декстер-Уайт, начальник денежно-кредитного отдела министерства финансов, и просил собирать информацию об отношениях Чан Кайши с КПК, а также о состоянии Бирманской дороги, важнейшего транспортного пути. Но недавно мир узнал, что Папа Хем ездил в Китай в качестве... советского шпиона.

Выпущенная издательством Йельского университета книга Джона Эрла Хейнса и Харви Клера «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» основана на документах из архивов Лубянки, переписанных бывшим сотрудником КГБ Александром Васильевым. Это делалось в соответствии с контрактом между издательством и нашей СВР (Службой внешней разведки). Но в середине 1990-х в России к этому проекту охладели, Васильев эмигрировал; значительная часть его материалов не прошла проверку, так что, хотя книгу Хейнса и Клера на Западе воспринимают как серьезную работу, доверять ей можно, как Гэйлорду, лишь отчасти.

Первый этап шпионской деятельности Хемингуэя, по мнению авторов книги, был невольным: на Советы работал давший ему задание Декстер-Уайт. ФБР неоднократно предупреждало Белый дом об Уайте, в 1948-м он был обвинен в шпионаже и давал показания в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, но вскоре умер. Его вина не доказана. Историки Уильям Лангер и Эверетт Глизон из Гарвардского университета полагают, что Уайт в интересах СССР и Великобритании спровоцировал

вступление США во Вторую мировую войну, в частности, составил американский ультиматум от 26 ноября 1941 года, с помощью которого Японию «заманили сделать первый выстрел» в Пёрл-Харборе; в тех же интересах Уайт заморозил выплату 200-миллионного кредита правительству Чан Кайши в 1942-м. Другие историки — Стивен Шлезингер, Брюс Крейг, Роберт Скидельский — убеждены, что предателем Уайт не был, а просто хотел, чтобы СССР и США были союзниками, и поступал в соответствии со своими убеждениями. В любом случае маловероятно, чтобы Уайт открылся Хемингуэю.

Но, как следует из материалов Васильева, Хемингуэя завербовали помимо Уайта: сделал это агент НКВД Яков Голос (Джейкоб Рейзен), активист компартии США. В 1930-х он владел турагентством — оно позволяло узнавать о поездках американцев в страны, интересующие советскую разведку. Китай был важен, и Голос, узнав о маршруте Хемингуэя, дал задание коммунисту Джозефу Норту завербовать его. Норт сперва поговорил с Хемингуэем о «Колоколе», упрекнул за клевету на коммунистов, тот попросил прощения, после чего Норт доложил Голосу, что «он серьезно хочет работать с нами и намерен компенсировать свои ошибки». Хемингуэй сообщил маршрут, получил кличку «Арго», уговорились о способах связи. Однако найти «Арго» в Китае связные не сумели, никакой информации не получили и «законсервировали» его; забегая вперед сообщим, что он числился в агентах почти 20 лет и за это время, как следует из отчетов кураторов, ни разу палец о палец не ударил. А теперь давайте думать. Сперва о том: мог ли Хемингуэй согласиться работать на советскую разведку?

Аргументы «против»: во-первых, до Пёрл-Харбора он категорически не хотел, чтобы Америка втягивалась в войну, во-вторых, СССР до 22 июня считался союзником Германии, каковой позиции Хемингуэй вряд ли мог сочувствовать (правда, по словам Менокаля, он в прочность этого союза не верил и предсказывал, что «фюрер перехитрит Сталина»), К тому же, ему не нравилась политика американского правительства; того, что Рузвельт спас страну от экономического краха, он не оценил, так как не интересовался экономикой, видел одно: богатые грабят трудовой народ. Себя он относил не к богатым, а к ограбленным — ведь он зарабатывал, а правительство обложило его налогами. Его также возмущала позиция правительства по отношению к Испанской республике — не пришли на помощь, а когда американские добровольцы вернулись домой, их преследовали: «репрессиями», даже в более поздний период маккартизма, это может назвать лишь человек, не живший в Германии, СССР или Китае,

но их далеко не везде принимали на работу и общественное мнение было против них; Рейган, будучи президентом, говорил, что большинство американцев до сих пор думают, что эти ветераны сражались «не на той стороне».

Теперь об отношении Хемингуэя к коммунистам. Хотя американские биографы утверждают, что он после испанской войны «перестал интересоваться политикой», и приводят в доказательство письма Перкинсу («я не партийный писатель») и слова, якобы сказанные Джозефу Норту: «Мне нравятся коммунисты как солдаты, но как проповедников их ненавижу», есть и другие свидетельства. В письме Рольфу, предлагавшему вступить в компартию США, Хемингуэй говорит, что не может принять партийную дисциплину, но по-прежнему считает, что «было прекрасно сражаться за то, во что мы верили»; он поссорился с Бесси и Вольфом, но других коммунистов — Дюрана, Рольфа, Хуана Маринелло — продолжал числить в друзьях. Наконец, он обожал «рыцарей плаща и кинжала» и в мечтах, возможно, видел себя Филипом Роулингсом. Хейнс и Клер считают, что он был «романтиком-дилетантом» и ему просто нравилось воображать себя шпионом. Так что мог согласиться, наверное. Но — согласился ли?

Если да, то почему, так любя рассказывать о своих подвигах, действительных или мнимых, никогда никому не упомянул об этом? И главное, если согласился работать — почему не работал? Нравилось играть в шпионов — так почему ж не играл? Почему «потерялся» в Китае? Запил и забыл? Ладно, допустим, что в Китае ему недосуг было встретиться со связным, а по возвращении он запамятовал, что его завербовали, и поэтому не пришел к Норту и ничего ему не рассказал. Но почему Норт не мог сам посетить его, расспросить о поездке, и тогда Голосу было бы что доложить в Москву?

Возникает версия, на первый взгляд абсолютно неправдоподобная, зато объясняющая это противоречие. В романе Грина «Наш человек в Гаване» герой, ради денег согласившийся стать резидентом разведки, в отчетах придумывает несуществующих агентов. А теперь вернемся к отчету Голоса. Он лично с Хемингуэем не встречался, донесение о вербовке основано на словах Джозефа Норты, человека, никогда не бывшего другом Хемингуэя, но, возможно, желавшего им казаться. Норт якобы упрекнул Хемингуэя за ошибки в «Колоколе», а тот извинился и сказал, что согласен на вербовку, дабы их загладить. Невозможно поверить, что Хемингуэй перед кем бы то ни было извинялся за свой роман, куда вероятнее другая сцена: Норт сказал Хемингуэю, что в его романе есть «ошибки», Хемингуэй ответил «Да пошел ты!», после чего Норт, не желая

признать унижения, отрапортовал Голосу, что вербовка прошла успешно, а Хемингуэй, как персонажи Грина, не подозревал, что его «завербовали». Трудно в такое поверить? Что ж, мы еще будем возвращаться к этому вопросу.

В Гонконге Хемингуэй провели месяц. Пестрое сборище — гоминьдановцы, коммунисты, японские шпионы, британские военные — Хемингуэй писал, что опасность так давно висит над городом, что стала привычной и люди «веселятся без удержу». Познакомились с англичанином Абрахамом Коэном, много лет служившим в китайской полиции, — Хемингуэй собирался написать о его приключениях книгу. Коэн свел новых друзей со вдовой первого китайского президента Сунь Ятсена, он же рекомендовал, какой участок фронта выбрать для осмотра. В первых числах марта выехали в 7-ю военную зону гоминьдановской армии — в Шаогуань. Всюду грязь и неразбериха, ехать пришлось на лошадях, таких низкорослых, что Хемингуэй, по его словам, не мог понять, то ли он сидит на лошади, то ли несет ее. Военных действий не было, но в честь приезда американцев китайский генерал устроил спектакль, приказав открыть огонь по предполагаемым позициям врага, потом разыгрывались пропагандистские пьески — муж наслаждался обстановкой, жене казалось, что она попала в сумасшедший дом. В 1978 году Марта опубликовала мемуары «Путешествия в одиночку и со спутниками»; на основе ее воспоминаний и других материалов Питер Морейра в 2006-м издал книгу «Хемингуэй на китайском фронте: его шпионская миссия с Мартой Геллхорн», где описал, как мучительно было путешествие мужа с женой, абсолютно разных и по-своему неуравновешенных: Эрнест пил беспробудно, Марта приходила в ужас всякий раз, когда сталкивалась с «народом», который она любила только в теории.

В начале апреля приехали в Чунцин, военную столицу гоминьдановского Китая — комфортная жизнь в отеле отчасти примирила супругов. Марте нужно было сделать серию интервью с китайскими руководителями, начали с Чан Кайши. Хемингуэй нашел его «настоящим военным командиром», малоспособным к демократии, но — «война всегда требует диктатуры» (он не отличал военную дисциплину от диктатуры, хотя первая предполагает соблюдение правил, уставов и пусть специфических, но законов, а вторая их игнорирует). На обеде присутствовал американский посол Нельсон Джонсон, говорил о силе Китая, Хемингуэй усомнился, но потом, увидев, как китайцы ночью без освещения строят аэродромы для американских самолетов, писал, что они «способны на невозможное, как египтяне времен пирамид».

Встречались с несколькими гоминьдановскими военными чинами, но это была одна сторона, а нужно еще «прощупать» коммунистов — готовы ли они к сотрудничеству с Чан Кайши. Удалось пообщаться с представителем КПК Чжоу Эньлаем (по воспоминаниям переводчицы Анны Вонг, встреча произошла 15 апреля, тайно, в частном доме). Чжоу за два месяца до этого разговаривал с экономическим советником Рузвельта Лафлином Керри, который сказал, что финансовая помощь будет оказана при условии прекращения раздоров с Гоминьданом, теперь Чжоу спросил о том же Хемингуэя, тот ответил обтекаемо. Ян Жэньцзин, автор еще одной книги о пребывании писателя в Китае, приводит телеграмму Чжоу Мао Цзэдуну: «Согласно нашей беседе с Хемингуэем, у нас все еще много пространства для манёвра».

На другой день поехали в Мандалай, оттуда в Рангун и Куньмин, осматривали строящуюся Бирманскую дорогу, далее на юг, в Лашо. Вернулись в Рангун и там, не в силах больше выносить друг друга, разделились: жена поехала в Джакарту, муж в Гонконг. В «Пост меридиен» он написал, что город готов к обороне (его защищали британские войска), но в частных беседах говорил, что англичан «перебьют как крыс». (Он был прав — в конце года в Гонконге погибнет множество народа.) Встретил знакомого по Испании Рамона Лавалье, с ним совершил визит на фронт в районе Кантон, затем вылетел в Манилу, где пробыл несколько дней, отсылая корреспонденции в «Пост меридиен»: первая отправлена 10 июня из Гонконга, седьмая и последняя — 18-го из Манилы. Писал он о том, что русско-японские отношения не помешают СССР оказывать помощь Китаю, что Китай без поддержки вряд ли способен отразить агрессию Японии, что США и Англии следовало бы в собственных интересах пытаться остановить японцев и что пока японские войска увязли в Китае, Америка успеет подготовиться к возможной войне с Японией.

Прилетев в Вашингтон, воссоединился с Мартой — та, заразившись от мужа склонностью к несчастным случаям, была покалечена и больна. Отчитался перед Уайтом, был представлен полковнику Томасону из морской разведки (ветеран Первой мировой, очень понравились друг другу). Томасон был уверен, что японцы не рискнут напасть на Штаты, Хемингуэю удалось поколебать его оптимизм. Напомним, что встретиться с «завербованным» его Нортон он и не подумал. Из столицы поехали в Ки-Уэст, где у Полины гостили младшие сыновья, договорились, что дети приедут осенью в Сан-Вэлли. Вернулись в Гавану и там с радостью (по воспоминаниям Менокаля), как и все, кто не мог понять, на чьей стороне находятся русские, узнали о нападении Германии на СССР. 12 июля было

подписано британско-советское соглашение о взаимной помощи. Эдвин Рольф, работавший в ТАСС, попросил сделать заявление. Хемингуэй отвечал:

«Ты знаешь, как я отношусь ко всяким заявлениям. Когда дело доходит до них, я становлюсь заикой. Они обычно начинаются словом „я“ и выглядят ужасно напыщенно, и писателю надо быть очень самоуверенным, чтобы производить их. Но если тебе нужно послать текст в Россию, то я напишу его как сумею. „Я с Советским Союзом на 100 процентов в его войне против нацистской агрессии. Люди в Советском Союзе сражаются и умирают ради защиты всех людей, которые выступают против фашизма. Война в Китае показала, что ни один народ, знающий, за что он сражается, не может быть побежден, если сражаются все и если страна достаточно велика, чтобы можно было отрезать и окружить армию агрессора. Я приветствую Советский Союз и его героическое сопротивление“. Если это недостаточно ясно, можно усилить. Комментировать британско-советский договор не вижу смысла. Я думаю, что Британия выпестовала Гитлера, не позволив Франции его уничтожить (Хемингуэй обожал Францию и по неизвестной причине терпеть не мог Англию, поэтому свалил вину с больной головы на здоровую. — М. Ч.), и вооружила его для нападения на Россию, а нынешний договор с Россией для них временный и они денонсируют его, когда им будет нужно».

Текст Хемингуэя был воспроизведен в «Интернациональной литературе» в одном ряду с заявлениями Драйзера, Эптона Синклера, Генриха Манна, Уэллса и Хьюлетта Джонсона^[40]: слово «война» в первой фразе заменили на «вооруженное сопротивление», «нацистов» на «фашистов», вместо «сражаются и умирают» оставили «сражаются». Упомянем сразу, что Хемингуэй в войну сделал еще ряд заявлений в адрес СССР. В 1942 году через ТАСС отправил в «Правду» поздравление к 23 февраля: «24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в неоплатном долгу у Красной Армии. Но мы можем заявить, что Советский Союз получит оружие, деньги и продовольствие, в которых он нуждается. Всякий, кто разгромит Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом для подражания». (С заявлением Хемингуэя соседствовало поздравление от кубинского президента Батисты.) В 1943-м в «Правде» было помещено его новогоднее приветствие (в компании Томаса Манна и Фейхтвангера): «В 1942 году вы спасли мир от варваров, сопротивляясь в одиночку, почти без помощи. В конце года мы начали сражаться в Африке. Это — символ обещания. Каждый человек в Америке

будет работать и бороться вместе с рабочими и крестьянами Советского Союза ради общей цели — полного освобождения мира от фашизма и гарантии свободы, мира, и правосудия для всех людей».

Кроме того, он писал Роману Кармену: «Я, зная Вас, убежден, что Вы в огне сражений, в боях, которые Ваш народ ведет с фашизмом. А я пишу Вам с далекой Кубы, которая в стороне от сражений. Но не подумайте, что я отсиживаюсь в тиши. Представьте себе, будучи здесь, на Кубе, я тоже воюю с фашистами. Сейчас я не вправе рассказывать Вам, в чем выражается моя борьба с фашистами. Придет время, я об этом расскажу...» и Симонову (уже после войны): «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и посмотреть, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, во-вторых...» Но об этой второй причине и о его «войне с фашистами» — позднее. Пока, летом 1941-го, он воевал только с женой.

Еще до свадьбы было ясно, что они не уживутся. «Она любила все гигиеническое. Ее отец был врачом, и она сделала все, чтобы наш дом как можно больше был похож на больницу. <...> Ее друзья из журнала „Тайм“ приезжали в Финку, одетые в отглаженные спортивные костюмы, чтобы играть в безупречный эlegantный теннис. Мои друзья тоже играли в пелоту, но они играли грубо. Они могли прыгнуть в бассейн потными, не помывшись предварительно в душе, потому что они считали, что только гомики принимают душ». Хемингуэй все свел к бытовым противоречиям, и они действительно были причиной ссор — Марта не любила рыбалку, охоту, алкоголь, вообще все, что любил ее муж, — но суть конфликта глубже. Она не была его «спутницей» или «помощницей», а была, как журналист, равна ему. Она вела себя свободно, как мужчина, всюду ходила одна, не умела быть слабой и писала мужу, что «никогда не могла уважать мужчин, которым нужно, чтобы женщины зализывали их раны и льстили им». Кроме того, она, по мнению некоторых изыскателей, флиртвала с другими мужчинами. Мейерс отыскал массу упоминаний о том, что супруги не удовлетворяли друг друга сексуально: она жаловалась, что он пьян и груб, он рассказывал, что она «не создана для постели». Наконец, она не хотела или не могла родить ему дочь. И все же они, кажется, любили друг друга. В мемуарах Марта заявила, что годы, проведенные с ним, были «лучшими в ее жизни — и худшими». Он страшно тосковал, когда она уезжала, писал ей то ласковые, то отчаянные письма. Но долго выносить друг друга они не могли.

Летом он совершал рейсы на «Пилар» с Грегорио Фуэнтесом — Марта

с ними не плавала. В середине сентября поехали в Сан-Вэлли (по железной дороге в качестве бесплатных гостей компании «Юнион пасифик рэйлроуд»): туда же съехались Хемингуэй-младшие, учившиеся в школе Кентербери в Нью-Милфорде. Как и в прошлые приезды в Сан-Вэлли, Хемингуэй (по рассказам местных) был тих, приветлив, с женой не ссорился и пьяным его никто не видел. Охотились — мальчишкам разрешалось расстреливать до 300 патронов в день. Приезжал Гари Купер с женой, обсуждали будущий фильм. 3 декабря отправились в автомобильное путешествие по Техасу и Мексике. Существуют легенды о том, что и эта поездка была шпионской (по заданию не советской, а американской разведки), цель — поговорить с испанскими республиканцами, эмигрировавшими в Мексику, и узнать, согласны ли они воевать в армии США. Невероятного в этой версии ничего нет, но нет и подтверждений. В ФБР знали о поездке: в рассекреченном «файле Хемингуэя» упоминается, что он в Мехико «встречался под чужим именем с коммунистом Густавом Реглером». Означает ли это, что «агент Арго» контактировал с коммунистами по заданию Голоса, или, напротив, что агент американской разведки «прощупывал» коммунистов? Никаких свидетельств в пользу того или другого нет; исследователь Дэниел Робинсон считает, что поездка была обычной туристической, под чужим именем Хемингуэй путешествовал далеко не в первый и не в последний раз (любил инкогнито), а с Реглером виделся просто по старой дружбе.

Утром 7 декабря 1941 года японская палубная авиация и подводные лодки атаковали американские военные базы в окрестностях Пёрл-Харбора на острове Оаху. Через 6 часов после нападения американские командующие на Тихом океане получили приказ начать боевые действия против Японии. 8 декабря Рузвельт выступил на объединенном заседании обеих палат конгресса; была объявлена война. Для Хемингуэя это оказалось неожиданным: неделей раньше он писал Перкинсу, что Япония «не посмеет» напасть. Под Рождество вернулись в Гавану — Хемингуэй обратился к НАНА с предложением выехать в качестве корреспондента на Тихий океан или в другой район боевых действий. Однако Уилер, разочарованный его работой в Испании, ответил, что «на настоящем этапе войны» командование американской армии не хочет пускать корреспондентов на фронт. Хемингуэй был оскорблен и, когда Марта предложила ехать за свой счет, отказался и предался мирным утехам: петушинные бои (завел собственных петухов), ставки на хай-алай, ставки на ипподроме, удвоенные дозы алкоголя. Начиная с этого времени его постоянным спутником стал поселившийся в Гаване в ноябре 1941 года

Хосе Луис Эррера, коммунист, хирург из 12-й Интербригады (с ним приехал его младший брат Роберто, недоучившийся медик).

Американские биографы о жизни Хемингуэя на Кубе с 1940 по 1960 год знают мало — источники до сих пор для них закрыты — так что этот период подробно описан лишь кубинскими авторами (Энрике Сирулес, Норберто Фуэнтес) и советским журналистом Юрием Папоровым. Папоров (уже после смерти Хемингуэя) руководил бюро агентства печати «Новости» в Гаване, имел доступ к источникам и в 1979 году опубликовал книгу «Хемингуэй на Кубе». Американцы ее, как и работы Сирулеса и Фуэнтеса, характеризуют как «бесценный материал» и не выражают сомнений в ее правдивости. На самом деле к ней следует относиться очень осторожно — в первую очередь потому, что она основана на рассказах братьев Эррера, которые много ввали и преувеличивали свою роль в жизни Хемингуэя: Роберто называл себя «секретарем» писателя, хотя никогда им не был, Хосе Луис утверждал, что «просвещал» Хемингуэя в политике, а тот внимал и соглашался. По рассказам Эрреры-старшего выходит, что он и его брат круглосуточно торчали в «Ла Вихии», знали все о делах Хемингуэя и были единственными его друзьями; все, что Папа делал хорошего, он делал по совету Хосе Луиса, а дурные поступки совершал, когда его не слушался. (Постоянными гостями в «Ла Вихии» братья Эррера действительно были — это подтверждают Марио Менокаль, управляющий усадьбой Рене Вильяреаль, шофер Хуан Лопес, по словам которого, Эррера «всегда перебегал дорогу, старался быть первым»: все они крутились в орбите великого человека и отчаянно ревновали друг к другу.)

Кроме того, книга Папорова — беллетристика, хотя и написана с использованием фактов. Автор сам придумывал диалоги и сцены, пересказывал выдумки героя и байки о нем (например, как Хемингуэй в цирке укрощал львов). Это относится и к работе Фуэнтеса, основывавшегося на тех же источниках, пересказавшего те же анекдоты и тоже позволявшего себе додумывать за героя его мысли и чувства. Об архитектуре и природе Гаваны, о местном колорите, о занавесках и дверных ручках в «Ла Вихии», о хемингуэевских кошках и собаках, о разных видах спорта вы узнаете из этих книг всё. Но в том, что касается конкретно Хемингуэя, слишком полагаться на них не стоит.

После «Колокола» Хемингуэй долго не писал: единственной работой зимы — весны 1942 года было составление антологии о войне для издательства «Кроун паблишерс»: из своего он включил отрывки из «Прощай, оружие!» и «Колокола», а также написал предисловие: «Составитель этой книги, принимавший участие и раненный в прошлой

войне, которая должна была покончить с войнами, ненавидит войну и ненавидит политиков, чье плохое управление, доверчивость, алчность, себялюбие и честолюбие вызвали эту войну и сделали ее неизбежной. Но раз мы уже воюем, нам остается только одно. Войну надо выиграть». А вскоре и некогда стало писать — нашлись дела поважнее, о которых он сообщал Кармену и Симонову.

В апреле 1942-го он обратился в американское посольство в Гаване с предложением создать сеть контрразведки.

Куба фактически не воевала, но с декабря 1941-го находилась в состоянии войны с Германией, Италией и Японией. На острове жило много испанцев, в том числе бывших франкистов, которые могли стать шпионами — например, снабжать информацией немецкие подлодки, крейсировавшие у северного побережья Кубы и нападавшие на танкеры союзников, которые перевозили нефть в США и Англию. Мог и настоящий германский шпион попасться. У профессиональных контрразведчиков до Кубы руки не доходили, так что предложение любителя имело смысл. С Хемингуэем встретились сотрудники посольства Роберт Джойс и Эллис Бриггс. Он сказал, что уже организовывал работу контрразведки в Испании — они поверили. Он предоставлял гостевой коттедж в усадьбе под штаб-квартиру и почти ничего не просил — только оружие и немного денег для агентуры. Джойс и Бриггс доложили информацию послу, Спруиллу Брэйдену, тот передал ее по инстанциям. В начале мая Брэйден принял Хемингуэя и сообщил, что «наверху» согласны, кубинские власти — тоже. Оружия не дали, выделили на все про все 500 долларов в месяц (по некоторым источникам — 1000). Брэйден предложил назвать организацию Crime Shop, но Хемингуэй предпочел свой вариант — Crook Factory, то есть «Плутовская фабрика», и выбрал себе код — 08.

30 сентября он докладывал Джойсу, что в группе состоят 4 агента и 14 осведомителей; в разные периоды у него числилось от 15 до 26 человек. У беллетриста Дэна Симмонса есть роман «Колокол по Хэму» — деятельность «Плутовской фабрики» там описана довольно точно. «„Полевой агентурой“ Хемингуэя оказалась разношерстная компания бродяг, собутыльников и старых приятелей, о которых Боб Джойс узнал из уст писателя, а я — из досье Гувера под грифом „О/К“, в их числе — Пэтчи Ибарлусия и его брат, которые должны были действовать в качестве разведчиков в промежутках между матчами хай-алай; младший брат доктора Эрреры Сотолонго Роберто, эмигрант из Каталонии по имени Фернандо Меса, работавший официантом и время от времени помогавший Хемингуэю управляться с яхтой; католический священник Андрес

Унцзайн, плевавший при всяком упоминании о фашистах; несколько рыбаков из гаванских доков; два богатых испанских дворянина, проживавших в больших усадьбах на холмах, расположенных ближе к городу, чем Финка Хемингуэя; целый выводок шлюх не менее чем из трех гаванских борделей; несколько портовых пропойц, провонявших ромом, и слепой старик, который днями напролет просиживал на Парк-Сентрал».

Собранные сведения агент 08 еженедельно систематизировал и составлял донесения, которые Джойс передавал куда следует. Донесения до сих пор не рассекречены, так что судить об их важности невозможно. В рассекреченных документах ФБР содержатся лишь упоминания об отдельных эпизодах: так, Хемингуэй сообщил, что генерал Мануэль Бенитес, шеф полиции, хотел захватить власть на Кубе, когда Батиста и посол Брэйден уезжали в Вашингтон, но информация не подтвердилась; один из агентов нашел в баре подозрительную коробку, но там оказались религиозные книжки. Он также сообщал о коррупции среди кубинских чиновников, но это не имело отношения к шпионажу.

По сей день никто не может сказать, была ли «Плутовская фабрика» серьезным делом или мистификацией, как в гриновском романе. Джеффри Мейерс: «Я сомневаюсь, что „Плутовская фабрика“ достигла больших успехов, но ее существование оказывало некоторое давление на фалангистов, потому что они знали, что за ними следят». Энрике Сирулес утверждает, что «фабрика» выявила массу потенциальных шпионов, но его книга — такая же беллетристика, как роман Симмонса. Даже Эррера ни о каких серьезных результатах работы группы не говорил. Папоров приводит рассказ испанского эмигранта Хосе Рехидора о том, как «фабрика» «распотрошила» группу сочувствующих фашистам во главе с кубинским министром финансов, но эти слова никем, даже самим агентом 08, не подтверждаются. Зато есть много воспоминаний о веселье, царившем на сходках агентов. В одном из недавно опубликованных писем жене Хемингуэй рассказывал о собрании «фабрики»: «Нас было 21 человек, и мы выпили всего лишь 24 бутылки вина... Томми Шевлин пел замечательные песни, и в знак одобрения все кидали в Фернандо бутылками, а неодобрения — стульями.... Торвальд стащил пистолет у заснувшего солдата и стрелял из него... Хуан получил буханкой хлеба по уху и изображал бой быков...»

Посол Брэйден в мемуарах 1971 года «Дипломаты и демагоги» писал, что Хемингуэй «создал прекрасную организацию, которая делала первоклассную работу». То же самое утверждал Бриггс в книге «Выстрелы по всему миру». Наверно, им видней, хотя возможно также, что они попали

под обаяние Папы. Супруги Брэйден часто приглашали Хемингуэя к обеду, тот предлагал заняться боксом, рассказывал военные и спортивные байки — посол, человек аристократического происхождения и утонченного воспитания, был и шокирован и очарован. Хемингуэй устраивал вечеринки у себя дома — Брэйдена на них не было, но Бриггсы приходили с детьми. По воспоминаниям Бриггса, Хемингуэй был гостеприимным хозяином, тактичным и чувствительным: когда кто-то начинал ссориться, очевидно страдал и умел шутками устранить недоразумение. «Его личность была так сильна, что почти никто не мог устоять перед ним. <...> Хотя среди друзей он не пользовался своей властью, чувствовался дух жестокости, когда он говорил о людях, которые ему не нравились».

«Почти два года я провел в море на тяжелых заданиях...» К концу первого месяца работы «фабрики» агент 08 появился в посольстве с другим проектом: охотиться на яхте «Пилар» за немецкими подлодками. (Таковые у берегов Кубы встречались, 15 мая 1943 года кубинскому военному судну удалось потопить одну.) Бывало, подлодки всплывали, чтобы остановить рыбаков и отнять у них продукты; если «Пилар» прикинется рыбацкой лодкой, есть шанс, что немецкая субмарина захочет напасть, и тогда яхта, соответствующим образом вооруженная, захватит врага. «Вот зачем, кроме гранат, нам нужен крупнокалиберный пулемет, — говорит Хемингуэй в романе Симмонса. — Я отлично стреляю из автоматического оружия, Джон. Тренировался на своей бабушке. Нацисты даже не успеют понять, какая смерть их настигла. Еще мы с Лукасом хотели бы знать, насколько велика рубка типичной немецкой подлодки, какова ширина люка. Но больше всего нас интересует, какое действие оказывает граната, попавшая внутрь субмарины? Есть ли у нас шанс взять ее на abordаж и притащить этих мерзавцев в гаванский порт либо на одну из военно-морских баз США? Я перестал его слушать. Это уже была не просто фантазия, а бред сумасшедшего. Однако посол Брэйден, первый секретарь Бриггс и шеф военно-морской разведки в Центральной Америке полковник Джон Томасон-младший воспринимали его всерьез. Прошло еще тридцать минут, и, хотя Брэйден сказал, что, прежде чем дать окончательный ответ, ему нужно посоветоваться с остальными, было очевидно, что Хемингуэй получит горючее, фанаты, автоматы и каперское свидетельство. Настоящее безумие».

Безумие или не безумие, а согласился не только доверчивый Брэйден. В затею были посвящены пять адмиралов, в том числе командующий военно-морской базой в Гуантанамо; три полковника, Джон Томасон, Хейн Бойден и Джон Харт, курировали проект. Вряд ли они приняли всерьез

намерение агента 08 потопить подлодку, скорее их привлекло другое: «Пилар» могла заметить в территориальных водах что-нибудь подозрительное. Военно-морское ведомство снабдило яхту приборами гидроакустики, для работы с которыми был командирован сержант ВМС Дон Саксон, выдало автоматы или, как их называют, пистолеты-пулеметы Томпсона, ручные фанаты (в бомбах отказали), бензин за счет государства, жизнь членов экипажа была застрахована. Операции присвоили имя «Френдлесс» («Одинокий») в честь одного из хемингуэвских котлов. Команда: первый помощник — миллионер-плейбой Уинстон Гест, кузен Черчилля, два моряка — Фуэнтес и Дунабейтия, спортсмены братья Ибарлусиа, эмигрант-каталонец Фернандо Меса и Дон Саксон, иногда присоединялся еще кто-нибудь.

Долго тренировались: разбирали и чистили оружие, бросали гранаты в фанерные щиты. Когда субмарина всплывет около «Пилар», возможны два варианта: либо, открыв огонь, вынудить экипаж подлодки подняться на палубу и там его захватить, либо просто бросить в люк гранату — для игроков в хай-алай это пустяк, а лучше бомбу — ее изготовили сами в корпусе от огнетушителя. (Марта замечала, что при втором варианте экипаж «Пилар» тоже погибнет от взрыва.) Патрулирование началось в июне. Делать ничего не надо было, только дежурный глядел в оба, остальные ловили рыбу, загорали и играли в карты, Хемингуэй читал. Тот же вопрос, что о «фабрике»: дело или игрушки? — и тот же неопределенный ответ. По словам Фуэнтеса, однажды подлодка хотела обстрелять яхту, но появившаяся авиация ее потопила, Эррера (сам не ходивший в рейды) тоже упоминает этот случай, а в рассказе Рехидора «Пилар» сама гонялась за подлодкой.

Из документов известно лишь об инциденте 9 декабря 1942 года: Хемингуэй, согласно донесению, в бинокль заметил, как испанский пароход «Маркиз де Комильяс» замедлил ход недалеко от северного побережья Кубы; вскоре стало видно, что к нему приближается «что-то серое, низкое». Предположили, что на пароходе шпион, которого собираются пересадить на подлодку. «Пилар» сбавила ход, часть экипажа начала изображать процесс рыбной ловли, другая часть готовила бомбу. Но пароход уплыл, а «серое низкое» так и не обнаружилось. Зато поймали громадную барракуду. Хемингуэй доложил о происшествии военно-морскому атташе в посольстве, тот передал информацию в ФБР, пароход проверили, пассажиров и команду опросили, но ничего не выявили. Однако Денис Бриан, автор книги «Лица Хемингуэя» (1988), приводит воспоминания Уинстона Геста, утверждающего, что они действительно

видели подлодку и несколько дней спустя получили от военно-морского атташе подтверждение: субмарину заметили экипажи других судов.

«Вклад Хемингуэя был настолько серьезен, что я настоятельно рекомендовал наградить его орденом» — так операцию «Френдлесс» оценил Брэйден, и он действительно писал представление в военно-морское ведомство; Папоров и Фуэнтес приводят воспоминания знакомых Хемингуэя, которым тот с гордостью демонстрировал копию письма Брэйдена. Жена, однако, не разделяла мнения сотрудников посольства, в операции «Френдлесс» видела развлечение за казенный счет и ругала мужа за «постыдную и бессмысленную жизнь», которую он ведет вместо того, чтобы ехать на фронт или работать. Однажды ее взяли в патрулирование вместе с женами Джойса и Бриггса, вышла увеселительная прогулка с шампанским, но чего можно ожидать, когда на борту дамы? С другой стороны, брат их на задание было странно: а если бы в тот день на «Пилар» напала подлодка? Или экипаж понимал, что никто не нападет?

В патрулирование брали и сыновей, кроме Бамби: в мае, когда тот ненадолго прилетел из Европы (он окончил Дартмутский колледж, хотел стать морским офицером, но отец его отговаривал, рекомендуя университет), «Пилар» еще не была готова. В июле приехали Патрик и Грегори, выходили с отцом в море, но, как ни странно, не были в восторге. Патрик вспоминал, что отец в то лето страшно пил и казался не совсем нормальным: «Он утратил контакт с действительностью. Он сходил с ума, пытаясь исправить мир, и был полон самодовольства». Грегори: «Он ужасно изменился. Он беспрестанно говорил о великой книге, которую напишет, но, по-моему, чувствовал, что разучился писать». Марте не нравилось, что детей подвергают хоть и призрачной, но опасности. Ее также раздражало, что в доме постоянно околачивается толпа нетрезвых людей, и что ее муж, помимо виски, пива и шампанского (столовое вино не в счет), пристрастился к абсенту. В «Ла Вихии» не прекращались скандалы; по воспоминаниям Менокаля, когда он подходил к дому, оттуда обычно неслись такие громкие крики, что он пережидал во дворе, когда ссора окончится.

Вскоре Марта получила задание от «Кольерс» — выехать на Карибские острова и написать о настоящей подводной войне. Отец остался с сыновьями. Им посвящена одна из частей книги, которую он начнет писать еще не скоро — «Острова в океане»: «Он всегда любил своих детей, но раньше не признавал, как сильно он их любит и как это плохо, что он живет с ними врозь. Ему бы хотелось, чтобы они всегда были с ним и чтобы мать Тома до сих пор оставалась его женой». «Та, вторая, родила

тебе чудесных детей. Очень непростые, очень своеобразные оба, но ты знаешь, как много хорошего они унаследовали именно от нее. Она прекрасная женщина, и с ней тебе тоже не следовало расставаться». Летом 1942-го у отца жили только младшие дети, но в романе присутствуют все трое (они гостили и втроем, но в другие периоды). Бамби — Том: «Старший мальчик был длинный и смуглый, шея, плечи и длинные ноги пловца и большие ступни, как у Томаса Хадсона. Лицом он смахивал на индейца, и был он веселого нрава, хотя в покое лицо у него принимало почти трагическое выражение.

Томас Хадсон однажды посмотрел на сына, когда тот сидел грустный, и спросил: „О чем ты думаешь, дружок?“

„О наживке“, — ответил мальчик, и лицо у него сразу осветилось. Глаза и рот — вот что в минуты задумчивости придавало трагическое выражение его лицу, но стоило ему заговорить, и лицо сразу оживало».

Патрик — Дэвид: «Для Томаса Хадсона Дэвид всегда оставался загадкой. Горячо любимой, но все же загадкой». «Он всегда напоминал отцу звереныша, который живет сам по себе, здоровой и отзывчивой на шутку жизнью. <...> Этот мальчик никогда не будет по-медвежьки сильным и широким в плечах, и он никогда не будет спортсменом и не хочет им быть, но в нем есть чудесные свойства мелкого зверька, и голова у него работает хорошо, и жизнь налажена своя собственная. Он привязчивый и наделен чувством справедливости, и быть рядом с ним интересно. К тому же он всегда во всем сомневается, как истинный картезианец, и любит яростно спорить и поддразнивать умеет хорошо и беззлобно, хотя иной раз и перебарщивает».

Грегори — Эндрю: «Младший мальчик был светлый, а сложением — настоящий карманный крейсер. Физически он в точности повторял Томаса Хадсона, только в меньшем масштабе, короче и шире. <...> Он любил задевать своих старших братьев — была в его натуре темная сторона, которую никто, кроме Томаса Хадсона, не мог понять. Ни отец, ни сын об этом не задумывались, но они различали друг в друге эту особенность, знали, что это плохо, и отец относился к ней всерьез и понимал, откуда это у сына. Они были очень близки между собой, хотя Томас Хадсон жил с ним под одной крышей меньше, чем с остальными детьми. Этот младший мальчик, Эндрю, был отличный спортсмен — настоящий вундеркинд — и с первого же своего выезда обходился с лошадьми, как заправский лошадиник. Братья гордились им, но задаваться ему не позволяли. В подвиги этого мальчугана трудно было поверить, однако его видели в седле, видели, как он берет препятствия, и чувствовали в нем холодную профессиональную

скромность. Он родился каверзным мальчишкой, а казался очень хорошим, и свою каверзность подменял чем-то вроде задиристой веселости. И все-таки по натуре он был дурной мальчик, и все знали это, и он сам знал».

Что дурного было в младшем сыне? Из троих Грегори был самым атлетичным, больше всех походил на отца. Стрелок несравненный: в августе 1942 года в возрасте 11 лет занял второе место на взрослом чемпионате Кубы по стрельбе в голубей. Из письма Хемингуэя к Хедли: «Джиджи (уменьшительное от Грегори. — М. Ч.) этим летом прекрасен. Он всегда самый лучший мальчик. Он стреляет изумительно, в прекрасном стиле... О Джиджи написали в газетах как о феноменальном маленьком американце и „знаменитейшем Джиджи“... Он очень рад быть „знаменитейшим“ и стреляет, как маленький ангел». Отец рассказывал всем, как «феноменально» Грегори играет в бейсбол, плавает, пьет спиртное (не в 11 лет, а в 17); гордился его умом и талантом. Грегори единственный из сыновей проявлял литературные способности и склонности, в школе был редактором газеты. Была, правда, некрасивая история: он получил приз за сочинение, отец был счастлив, а потом обнаружил, что дитя списало отрывок из Тургенева. Но разве этого достаточно, чтобы объявить ребенка «дурным»? И тем не менее его отец писал его матери: «Из всех членов семьи, кроме меня и тебя, в нем сильнее всего темная сторона. Он скрывает ее так ловко, что об этом невозможно догадаться, и она может взять над ним верх. Но, может быть, это пройдет, это проходит у всех талантливых людей вместе с юностью...» В середине 1950-х Хемингуэй написал рассказ «Всё напоминает тебе о чем-то» (I Guess Everything Reminds You of Something), не публиковавшийся при жизни, о том, как отец разочаровывается в сыне, несмотря на его успехи в стрельбе: «Мальчик совершил все самое ненавистное и гадкое. <...> Но это из-за его болезни, сказал себе отец. Его мерзость была болезнью».

«Мерзость» заключалась в том, что мужественный Грегори с детства обнаружил наклонности трансвестита. (Они не обязательно совпадают с гомосексуальностью: Грегори четырежды, как и его отец, женился и был отцом восьми детей, хотя это, конечно, ничего не доказывает.) Своей третьей жене он рассказал, что все началось, когда родители, уехав в Африку, оставили его, двухлетнего, на попечении жестокой няньки: когда малыш описался, та угрожала бросить его одного, он, рыдая от ужаса, случайно нашел материн чулок, прижал его к лицу и почувствовал, что успокаивается. Потом он стал надевать ее одежду и ему становилось легче, и в конце концов он начал получать от этого наслаждение. Когда родители все узнали? Как пишет со слов Грегори его знакомый Дональд Джанкинс,

отец в начале 1940-х, возможно, в то самое лето 1942 года, застал мальчишку одетым в платье Марты. Был скандал. Другие изыскатели относят скандал к более позднему периоду, так как Грегори много раз гостил у отца и признаков ссоры не обнаруживалось. А Бамби утверждал, что семья ничего не знала о странностях Грегори до 1951 года.

В 1976 году Грегори опубликовал книгу «Папа: личные воспоминания». Он обвинил в своей «болезни» родителей, которые мало общались с ним (это правда: его постоянно кому-нибудь подбрасывали). Мать «не любила его так, как старшего брата Патрика, и не обладала сильным материнским инстинктом». Еще больше виноват отец — «чрезвычайно мужественный, но постоянно сомневающийся в своей мужественности и не верящий в нее; он так же ведет себя по отношению к сыновьям, сомневается в том, что они мужчины, и постоянно этим обеспокоен». В интервью «Вашингтон пост» в 1987 году Грегори объяснял, что «вся его жизнь ушла на то, чтобы оправдывать завышенные ожидания отца». Он утверждал, что отец с десяти лет заставлял его пить спиртное и убивать животных, упомянул об эпизоде, когда отец привел его смотреть на петушиный бой: он был в ужасе и восторг отца его шокировал. (Похожий эпизод вспоминали Тилли Арнольд и Бад Парди — они не критиковали Хемингуэя, а, напротив, восхищались его «спортивным духом»: в Кетчуме ставили капканы на сорок, Хемингуэй, узнав, что им потом сворачивают шею, сказал, что лучше использовать птиц для развлечения: мальчики будут освобождать их, подбрасывать в воздух и убивать выстрелом.) Два старших сына подобных претензий к отцу не высказывали, но они вообще говорили о нем уклончиво: выносить сор из избы у Хемингуэев не полагалось.

Проницательный читатель не забыл, как Эрнест и Полина мечтали о дочке и были разочарованы рождением Грегори, и как самого Эрнеста мать принуждала изображать «доченьку». Линн усматривает тут прямую связь с трансвестизмом Грегори. Сам Грегори писал: «Мой отец ужасно хотел дочь. Для моей матери мое рождение означало, что она, а также я упустили возможность осчастливить этого эгоиста». Считать ли это совпадением? Да кто же может однозначно ответить на такой вопрос?

*

Марта вернулась с Кариб с материалом для романа; по словам Грегори, отец сказал ему: «Дадим Марте шанс — она этого заслуживает», сам же

писать не хотел или не мог. В сентябре дети уехали в школу, Марта отправилась навестить Элеонору Рузвельт; в одиночестве Хемингуэй как обычно сдал, пил так, что даже выдавший виды экипаж «Пилар» беспокоился о его здоровье. Утверждая, что счастлив в обществе «простых людей», он тосковал по старым друзьям-интеллектуалам. Один такой к нему приехал — Густаво Дуран, работавший в Музее современного искусства. Хемингуэй помогал ему деньгами, хлопотал, чтобы пристроить консультантом в Голливуд, но не вышло из-за коммунистического прошлого Дурана. Американское гражданство, однако, Дуран в 1942-м получил и в ноябре приехал на Кубу и поселился в «Ла Вихии». Его старосветские манеры всех очаровали, Брэйден и Бриггс были в восторге. Хемингуэй был уверен, что друг примет участие в деятельности «Плутовской фабрики» и операции «Френдлесс», но, к его изумлению, Дуран отказался: затеи агента 08 показались ему «ребяческими», отчеты осведомителей он назвал чепухой.

Приехала жена Дурана Бонита, несколько дней все было спокойно, но вернулась Марта и высказала недовольство: она не желала, чтобы в доме жили посторонние. Начались конфликты, о которых потом рассказывал Дюран, в основном из-за мелочей: пропал кот, его искала вся Гавана, Хемингуэй рассказал Боните, как однажды подстрелил собаку, убившую кота, так, чтобы та трое суток умирала в мучениях; если это была шутка, то Бонита ее не поняла и ударилась в слезы, муж поругался с хозяином. В конце концов гости съехали в отель и встречались с Хемингуэями только на ужинах в посольстве: в один из таких вечеров Хемингуэй набросился на Дурана, назвав его «трусом и слабаком», который «не хочет бить фашистов».

Вероятно, Дуран многое искажил или придумал, но другие знакомые, например Менокаль, подтверждали, что поведение агента 08 осенью — зимой 1942 года стало невыносимым: он публично скандалил и даже дрался с женой, все время проводил на петушиных боях и в барах («Пилар» выходила в море без него), где рассказывал байки о своих шпионских и воинских подвигах; домой его уводили под руки, Менокаль плакал от того, что человек, которого он считал вторым отцом, выставляет себя на посмешище. От агентов и экипажа «Пилар» Хемингуэй требовал беспрекословного подчинения, а за глаза смеялся над ними, в особенности над Гестом, утверждая, что тот прыгнет из самолета без парашюта, если он, Папа, ему прикажет. Лишь однажды наступила передышка: узнав, что знакомый умер от рака печени, Папа призадумался, отказался от алкоголя и стал милым и обаятельным. Но это длилось лишь несколько дней.

В стрелковом клубе «Эль Серро» Хемингуэй познакомился с эмигрантом из Германии, психиатром Францем Штетмайером, который впоследствии дал ряд интервью Папорову: «Превосходно развитый физически и умственно, этот человек страдал набором крайне стойких противоречивых душевных качеств. <...> Стреляя, он соревновался с самим собой, страстно желал победить и оттого проигрывал. В остальных жизненных ситуациях — чаще выигрывал, но это всегда стоило ему сил. Марта, очевидно, не любила его и потому была сильнее. Он боялся ее потерять, боялся проиграть и признаться в этом прежде всего самому себе. Отсюда не находил себя, не был в состоянии владеть собой».

В апреле 1943 года «Плутовская фабрика» закрылась. Решение принял директор ФБР Эдгар Гувер. В январе 1983-го, в соответствии с актом об свободном доступе к информации, была рассекречена значительная часть файлов ФБР, касающихся Хемингуэя: они включают донесения резидента американской контрразведки на Кубе Реймонда Ледди (атташе в посольстве), резюме его шифровок, сделанные в вашингтонской штаб-квартире ФБР, и некоторые ответы на них: достаточно, чтобы понять, что отношения между ФБР и агентом 08 с самого начала были напряженными.

Вот докладная Ледди на имя Гувера от 8 октября 1942 года: «С весны 1941 года м-р Хемингуэй находится в дружеских отношениях с консулом Кеннетом Поттером; затем он завязал дружбу со вторым секретарем посольства м-ром Робертом П. Джойсом, а через него стал неоднократно встречаться с послом. По имеющимся наблюдениям, инициатива в развитии этой дружбы исходила от Хемингуэя, однако условиям для общения с ним благоприятствовали официальные лица посольства. На различных совещаниях с участием посла и других чинов посольства обсуждалась тема использования услуг Хемингуэя в интересах разведывательной работы. Посол отмечал, что опыт Хемингуэя, обретенный им во время гражданской войны в Испании, его обширные знакомства с испанскими республиканскими эмигрантами на Кубе, а также его длительное пребывание на острове делают его, судя по всему, весьма полезным для разведывательной программы посольства. Программа относится ко всем разведывательным подразделениям и информационным службам, но посол отметил, что эта работа должна согласовываться в первую очередь с представительством Бюро в посольстве. На упомянутых совещаниях обсуждалась информация о секретной деятельности испанской фаланги на Кубе, полученная на основе сотрудничества с Хемингуэем, и если он готов посвятить свое время и способности сбору такой информации, то это весьма приветствовалось бы нами».

Гувер, которому всюду чудилась «красная угроза», Хемингуэя терпеть не мог. «Дело» на писателя велось с конца 1930-х. В досье говорится, что его деятельность в Испании можно рассматривать как проявление «нелояльности» и что он подозревается в связях с компартией и прокоммунистических взглядах, каковые доказывают его публикации в «Нью мэссиз» и «Нью рипаблик». Однако сотрудник, составлявший справку, признал, что «не найдено никакой информации, которая определенно связывала бы Хемингуэя с коммунистической партией или свидетельствовала бы о том, что он состоял или является членом партии», и агенту 08 не стали препятствовать. К получаемой от него информации первое время относились серьезно, о чем свидетельствует то, что после его сообщения о контакте парохода с субмариной пассажиры и экипаж подверглись допросу. Но Гувер терпел недолго. 17 декабря 1942 года он писал Ледди: «Любую собранную Вами информацию о ненадежности Эрнеста Хемингуэя как осведомителя следует осторожно довести до сведения посла Брэйдена. Напомним, что недавно Хемингуэй сообщил информацию относительно дозаправки субмарин в карибских водах, которая оказалась ненадежной».

Ледди ответил: «Хемингуэй, по моим сведениям, лично дружен с послом Брэйденом и пользуется полным доверием посла. Посол, как Вы знаете, человек весьма импульсивный и у него имеется пунктик: он постоянно подозревает коррупцию среди кубинских должностных лиц». Далее Ледди писал, что именно на этом «пунктике» сошлись Брэйден и Хемингуэй: последний предпринимает некие шаги против шефа полиции Бенитеса, и если его не остановить, то могут выйти неприятности с кубинцами, вплоть до того, что «нас всех вышвырнут отсюда»; лично он, Ледди, о коррупции ничего знать не хочет, ибо это проблемы суверенной Кубы, находящиеся вне юрисдикции ФБР. Ледди обещал воздействовать на Брэйдена, сказав ему, что «Хемингуэй зашел слишком далеко; фактически он создает свою личную разведывательную организацию, вышедшую из-под контроля».

Гувер — Ледди: «Касательно использования Эрнеста Хемингуэя в качестве разведчика или резидента, по моему мнению, Хемингуэй никоим образом не пригоден к такой работе. Его взгляды небезупречны, а трезвость суждений, если она остается такой же, как несколько лет назад, весьма сомнительна. Тем не менее я не вижу смысла предпринимать что-либо по этому поводу и не считаю, что наши агенты в Гаване должны подталкивать к этому посла. Господин Брэйден несколько опрометчив, и я ничуть не сомневаюсь в том, что он немедленно сообщит Хемингуэю о возражениях

со стороны ФБР. Хемингуэй не питает теплых чувств к Бюро и не преминет обрушиться на нас с диффамацией». Неужели Гувер боялся Хемингуэя?! Может, и так: в записке он упоминает о встрече с Рузвельтом, на которой президент дал понять, что знаком с писателем через «общего друга», то есть Марту. Возможно, Гувер думал, что благодаря такому знакомству Хемингуэй «в силе».

Наконец Ледди убедил Брэйдена, что от деятельности агента 08 слишком много шума, а его сведения могут представлять интерес для кубинской власти, но не для США. 1 апреля Гувер доложил Рузвельту, что «сотрудник посольства в частном порядке предложил Хемингуэю распустить свою организацию и прекратить ее деятельность. Этот шаг был предпринят послом Брэйденом без каких-либо консультаций с представителями ФБР. Сейчас посольство подготавливает полный отчет о деятельности Хемингуэя и разведслужбы, которую он создал, и в ближайшее время передаст его в ФБР». Хемингуэй, разумеется, все понял и обвинил не посла, а ФБР — «антилиберальную, профашистскую организацию, с весьма опасной тенденцией к превращению в американское гестапо». Почему он оправдывал СИМ, признавая, что эта организация применяет пытки, и ненавидел ФБР, которое, при всей неприязни, в пытках не обвинял? Тем, кто служит правильной стороне, надо прощать недостатки; но Америка с декабря 1941-го была на правильной стороне — почему ей не прощал? Во-первых, ФБР плохо относилось к ветеранам батальона Линкольна. Во-вторых, ФБР плохо относилось к Хемингуэю лично — этого, как правило, было достаточно, чтобы вызвать у него (да и у любого человека) ответную неприязнь.

Итак, ФБР признало, что агент 08 пытался копать глубоко и что главная причина, по которой его деятельность была нежелательна, заключалась не в бесполезности (ну что такое пара тысяч долларов в месяц, пусть бы развлекался), а в опасности испортить отношения с Кубой. Означает ли это, что работа «Плутовской фабрики» на самом деле была значительной, но ее принесли в жертву политическим интересам? Увы, ответа нет: ведь мы так и не знаем, что конкретно Хемингуэй «накопал» на кубинскую полицию. Была ли она коррумпирована? А где она не коррумпирована? Должен ли был агент 08 разоблачать эту коррупцию? Как честный человек — безусловно; как официальный представитель США, наверное, нет, если его государству это было невыгодно.

Другой вопрос: справедливо ли Гувер назвал Хемингуэя «последним человеком» для разведки? Хемингуэй, как уже говорилось, был наблюдателен, обладал прекрасными аналитическими способностями, умел

добывать информацию и завоевывать доверие людей. В то же время он: а) много пил; б) был человеком нечестным — не в том смысле, что непорядочным, а в том, что любил врать; в) не умел держать язык за зубами. Не первый человек для разведки. Но все-таки и не последний. Линн назвал деятельность Хемингуэя «ковбойством»; Мейерс полагает, что ковбойство присутствовало, но было и здоровое зерно, а ФБР действительно преследовало Хемингуэя и пыталось его дискредитировать.

Гувер, безусловно, «придирался» к Хемингуэю. Но на эту историю надо взглянуть и с другой стороны. Какая разведка потерпит, чтоб ее подменяли самодеятельностью? В начале 1942-го Штаты еще были плохо готовы к войне, потому и соглашались на всякую помощь; любительские организации, подобные «фабрике», действовали не только на Кубе. Но постепенно военная машина, в том числе разведывательная, приводилась в порядок, профессионалы сменяли любителей. Опасностью шпионажа на Кубе они отнюдь не пренебрегали. В 1942 году кубинской контрразведкой совместно с ФБР был раскрыт и казнен агент абвера Гейнц Лунинг, который передавал сведения о передвижениях судов США и союзников. («Плутовская фабрика» никакого отношения к поимке Лунига не имела.) «Американские контрразведчики не исключали, что Лунинг был второстепенной фигурой, которой пожертвовали, чтобы прикрыть других, куда более опасных агентов, — пишет специалист по латиноамериканским разведывательным операциям Нил Никандров. — Чтобы подстраховаться, Гувер направил в резидентуру СРС в Гаване дополнительных сотрудников». Однако ни фашистского подполья, ни шпионов, кроме Лунига, этим сотрудникам (как и Хемингуэю) найти не удалось. Возможно, их и не было: Куба представляла для Гитлера мало интереса. Никандров: «Чтобы загрузить работой вновь прибывшие кадры, их нацелили на потенциальных „противников“ Соединенных Штатов — коммунистов и связанные с ними организации».

Двадцать первого мая 1943 года, уже не будучи агентом 08, но продолжая операцию «Френдлесс», Хемингуэй ушел в море; в начале июня опять приехали Патрик и Грегори, и их стали брать с собой. Последнее патрулирование прошло 18 июля. Военно-морское ведомство прекратило финансирование «Френдлесс» — у него была теперь своя разведка. Капитан «Пилар» впал в депрессию. Говорил Маклишу, что задумал роман — «есть 2–3 идеи, все о море» — но во время войны писать невозможно. Состоялась премьера фильма «По ком звонит колокол» — не поехал. (Ему не нравился сценарий Дадли Никольса: испанские партизаны выглядели, по его словам, как персонажи «Кармен».) Жена опять предлагала ехать в

Европу — отвечал, что войн много, на всякую не наездишься. Власти родной страны его разочаровали, он обвинял их в предательстве — поэтому вполне логичным выглядит упоминание в документах Васильева, что именно осенью 1943-го Хемингуэй вышел на связь с советской разведкой. «В сентябре 1943 года, когда „Арго“ находился в Гаване, где у него имеется вилла, наш сотрудник связывался с ним и, перед отъездом „Арго“ в Европу, они дважды встречались».

До 1943 года СССР не имел дипломатических отношений с Кубой; при Батисте они были установлены, в апреле посланником в Гаване стал М. М. Литвинов (по совместительству, в ноябре его сменил А. А. Громыко). Под крышей посольства обосновались люди с особыми функциями — вице-консул Д. Заикин и второй секретарь Ф. Гаранин, резидент НКВД. О существовании «Арго» они знали, и интереса к нему Москва не потеряла, несмотря на фиаско в Китае: в конце 1941 года Центр предписал «Максиму», то есть легендарному шпиону В. М. Зарубину, до апреля 1943-го бывшему резидентом советской внешней разведки в Нью-Йорке, «изыскивать возможности поездки его [Хемингуэя] за границу в интересующие нас страны». Но Хемингуэй никуда ехать не собирался — возможно, поэтому Заикин и Гаранин его не беспокоили. В сентябре, однако, он сам пришел в посольство. С какой целью, неясно. Если знал, что является «Арго», то, конечно, хотел установить контакт. Но мог прийти, не подозревая о том, кто он такой: просто пообщаться, ведь он так любил русских.

Через несколько дней Заикин и Гаранин нанесли ответный визит. «Обсуждали ход войны, перспективы разгрома гитлеровских армий и открытия англо-американскими союзниками второго фронта, — пишет Н. Никандров. — Гаранину писатель явно понравился: „Он простой и душевный человек. Знаменитая с проседью борода делает его весьма похожим на Энгельса“. Договорились о новой встрече, и вскоре Гаранин снова приехал к Хемингуэю. В качестве подарка привез бутылку водки. „Это как раз то, что надо“, — сказал писатель и, посетовав, что на Кубе в условиях войны трудно достать настоящую русскую водку, тут же предложил выпить за победу над общим врагом. Потом последовали другие „союзнические тосты“, в том числе за Сталина, Жукова и Красную Армию. Налаживание отношений, без всяких сомнений, удалось, и Гаранин, чтобы развить успех, пригласил писателя к себе в гости. Из Москвы лаконично порекомендовали: „Окажите ‘Арго’ соответствующий прием и внимание, но никакого разговора о нашей работе не ведите. О дате выезда ‘Арго’ в Англию и его предполагаемом адресе сообщите телеграфом“».

Из этого рассказа нельзя понять главного: знал ли Хемингуэй, что он агент, или мистификация Норта продолжалась? И если была мистификация, поняли ли это Заикин и Гаранин? На Кубе тогда были и другие советские агенты, например, певица Мариана Гонич: Гаранин с нею работал, поручал задания, Хемингуэю ничего не поручил, более того, Москва велела «не говорить с ним о работе». Что это за работник, с которым нельзя говорить о работе? Возможно, причиной было то, что Хемингуэй служил американской разведке (о чем болтала вся Гавана), но к сентябрю он с ней рассорился, о чем также было известно: почему его не попросили дать информацию, например, о действующих на Кубе агентах ФБР? Уж он бы столько порассказал...

Из справки: «Встречи с „Арго“ в Гаване проводились с целью изучения его возможностей для нашей работы. За все это время „Арго“ не предоставил никакой политической информации, хотя неоднократно выражал готовность помогать нам». Если хотел помогать — чего ж не помогал? Он не был «последним человеком для разведки»; он симпатизировал Советской стране и был обижен на свою — так сделал бы хоть что-нибудь! Не потому ли Москва запретила «говорить о работе», что догадалась: «агент» понятия не имеет, чего от него хотят? Из рассказа Гаранина складывается впечатление, что во время встреч с «Арго» не было упоминаний о том, что он завербован, и встречи он воспринимал как просто дружеские. Но не могли же разведчики признать, что произошло недоразумение: неприятности наживешь, проще числить «Арго» в «законсервированных контактах», а когда-нибудь при случае он, глядишь, и сообщит что-нибудь.

Марта заключила новый контракт с «Кольерс» и 25 октября уехала в Европу. Ее муж туда, несмотря на данное Гаранину обещание, так и не собрался. Рыбачил, посещал зланные места, но больше сидел дома и читал. С Дураном он поссорился, американское посольство пустело (Джойс поступил на настоящую разведывательную службу и уехал), сотрудники советского посольства, поняв, что он не представляет интереса, дружбы с ним не завязали. Бамби, учившийся в университете штата Монтана, завербовался в армию, служил в военной полиции в Северной Африке, отцу не нравилось, что сын стал «полицейским», на что он жаловался Бриггсу. Писал Патрику, как тоскует по нему, Хедли — как он одинок, всеми брошен, болен, слаб. 26 ноября «Клуб избранных изданий» присудил «Колоколу» золотую медаль, Синклер Льюис произнес речь, но автор на награждение не поехал. Если не считать визита Патрика и Грегори на Рождество, он четыре месяца прожил в обществе одних лишь слуг.

Персонал в Финке был немалый: повар, горничная, шофер, садовник, два мальчика на побегушках; руководил ими управляющий Рене Вильяреаль. Он после смерти Хемингуэя был заведующим его домом-музеем, потом эмигрировал в США, дал множество интервью, а в 1995 году надиктовал своему сыну книгу: «Вспоминая Папу Хемингуэя: жизнь в кубинском раю». Вильяреали жили по соседству с «Ла Вихией»; ребенком Рене часто видел соседа: «Сильный, тучный мужчина, а ходил в шортах, как мы. Он дал каждому из нас по доллару. Тогда один доллар был большими деньгами. Мы сказали: „Спасибо, господин, благодарим вас“. Он покраснел, заволновался и сказал: „Стойте, стойте, не надо“». Дети играли в бейсбол на дороге, Хемингуэй спросил, почему они не играют во дворе, они отвечали, что нет места: домовладельцы их гонят. Он сказал, что у него есть сыновья их возраста и он хотел бы, чтоб они дружили с местными мальчиками. Устроил на своей территории площадку для бейсбола, купил детям снаряжение. Когда Рене было 11 лет, его семилетний брат попал под машину, Хемингуэй отвез его в больницу, оплатил лечение, но ребенок не выжил. Сосед пришел к матери Рене, был очень нежен, пытался утешить, просил присылать детей играть в его дом. Рене и другой его брат стали приходить — он учил их боксировать. «Я очень рано полюбил Папу как настоящего отца, — вспоминал Вильяреаль. — Для меня он был подобен Богу. Он сказал мне: „я хочу, чтобы ты жил в усадьбе как член моей семьи“».

Рене начал работать в «Ла Вихии» с 1940 года. Сперва доставлял почту, помогал садовнику, а в 17 лет его сделали управляющим. Он обедал вместе с хозяином; ему было позволено входить в рабочий кабинет. «Правила в доме Хемингуэя были простые: уважайте других. Будьте вежливы. Когда нужно быть сильными — будьте сильными. Когда нужно быть резкими, будьте резкими. Когда стреляете — стреляйте без колебаний. Смотрите людям в глаза. Если случится пожар, сперва спасайте рукописи, потом картины. Когда Папа работает, не шумите». «Я очень много узнал от Папы, когда был молодым. Он учил меня жизни — как друг, как мужчина. От него я научился любить животных. Я научился любить жизнь».

Вильяреаль описал интерьер и быт усадьбы. Огромная гостиная, вся в картинах, чучелах и книжных стеллажах, рядом такая же библиотека. Книги всюду, даже в ванной — на английском, испанском, французском и немецком, из любой поездки хозяин привозил новые. Читал в гостиной, в большом мягком кресле, рядом скамеечка для ног, столик с напитками. Единственная комната без книг — столовая, которую украшали картины и среди них любимая «Ферма» Миро. На столе бутылки: бурбон, скотч, джин,

минеральная вода; проигрыватель играет Бетховена, Чайковского, Андреса Сеговию или Луи Армстронга, окна в сад всегда распахнуты. В кабинете удобный рабочий стол, масса фотографий. Но работал хозяин обычно не там, а в спальне: либо писал карандашом, лежа в постели, либо стоя (босой, в нижнем белье) печатал на машинке, укрепленной высоко на полке. «Он что-то бормотал, глядя в окно или на картину Хуана Гриса. Он говорил: „Тебе, наверно, кажется, что я псих и разговариваю сам с собой. Когда-нибудь я тебе это объясню“».

Спальни у хозяина и хозяйки были отдельные. Хозяин просыпался в полшестого или в шесть, шел в ванную, уставленную лекарствами, измерял давление, взвешивался, на стене записывал результаты. Завтрак в постели: грейпфрут, тост, яйца, чай. Работало полудня. (Не вяжется с образом пьющего человека? Но не стоит путать наших пьяниц с американскими.) Днем — первые порции алкоголя, прогулки, развлечения. Вечером гости: кинозвезды и матадоры, местные баски. Вечеринки затягивались иногда на несколько дней. «Вся Гавана знала Папу, называли его просто „мистер“ или „Американо“». Он помогал людям — давал деньги и посылал цветы на похороны. Вильяреаль рассказывает случай: человек просил денег на похороны матери и получил их, а через месяц пришел с той же историей; Хемингуэй сказал: «Вы похоронили мать в прошлом месяце», но деньги дал за «прекрасную актерскую работу». Правда, этот эпизод почти дословно совпадает со старым рассказом «Мать красавчика»...

Вероятно, Хемингуэй очень тепло относился к Вильяреалу, но в романе о тех годах лишь вскользь упомянул о нем, а о других «сынках», Менокале и Мустельере, не вспомнил вовсе. Он любил другого, любил страстно — «меня с Бойзом, думал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого... Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз», — и был любим, и в «Островах в океане» описал эту любовь, взаимную, но все же мучительную, ибо она омрачена страхом вечной разлуки, с такой душераздирающей нежностью, какой не удостоилась ни одна из его женщин, романских или живых.

«Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен в Кохимаре прямо на утесах, высящихся над гаванью.

И тут-то котенок подбежал к нему — бегом промчался через весь бар — и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку.

— Они слишком большие для тебя, котеныш, — сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно.

Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой — белая грудь, и белые передние лапки, и черная полумаска на лбу и вокруг глаз, — наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец, чей это котенок.

— Захотите, ваш будет».

«Кот мурлыкал, но Томас Хадсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное, и, держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота.

— У тебя микрофон в горле, Бойз, — сказал он. — Скажи, ты меня любишь?

Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера, и Томас Хадсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье».

Симонов, после смерти Хемингуэя узнав, что в его доме живет множество кошек, был неприятно удивлен: это не вязалось с мужественным образом, Бате Хему больше подошла бы огромная собака. Собак Хемингуэй любил и в «Ла Вихии» они были, но маленькие и, как правило, беспородные: «Негрита, небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста, хвост у нее торчал закорючкой, а тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала; мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза ласковые и умные». Усадьба была полна зверья: куры, утки, корова, бойцовые петухи. Но царствовали кошки. В 1942 году их было 11, спали они в гостевом бунгало (фаворит Бойз — в постели хозяина), ели мясо, лососину, пили парное молоко, ходили где хотели днем и ночью: двери специально держали приоткрытыми. Им прощались и порча мебели, и кража продуктов. В библиотеке Хемингуэя была масса специальной литературы о кошках, он покупал все новинки в этой области, изобретал приспособления для кормления, следил за рационом, только что роды не принимал.

Карлен Фредерика Бреннен написала книгу «Кошки Хемингуэя», много о них рассказал Фуэнтес. Но никто не мог написать о них так, как сам Хемингуэй: он, оказывается, умел говорить о зверье не только с точки зрения убийства. «Принцесса, бабушка всех этих котов, интеллигентная, деликатная, очень принципиальная, аристократичная и необыкновенно

ласковая, не выносила даже запаха кошачьей мяты и бежала от нее, точно страхась гнусного порока. Принцесса была такая деликатная и аристократичная кошечка, дымчато-серая с золотыми глазами и утонченными манерами, и держалась с таким достоинством, что в свои периоды течки она могла служить иллюстрацией, объяснением и наконец обличением тех скандальных историй, что случаются иной раз в королевских фамилиях. <...> У Дяди Волчика, который был столь же глуп, сколь красив, это могло происходить от тупости или косности — он никогда не решался сразу попробовать что-нибудь непривычное и без конца подозрительно обнюхивал всякую новую еду, пока ее не съедали остальные кошки и ему ничего не оставалось». Бойз был особенный: ел овощи и фрукты, не обращал внимания на других котов, для него существовал только его друг. «А меня с Бойзом, думал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого. Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не кажется смешным». И многим не кажется: Бреннен убеждена, что именно смерти Бойза, прожившего с Хемингуэем 15 лет, тот в конце концов не смог перенести.

Но даже Бойз, к сожалению, не мог удержать друга от алкоголя. Марта уговаривала мужа приехать к ней — он писал, что «не видит смысла». В марте она приехала сама. Муж выглядел больным и разбитым, плакал. Видимо, ей удалось убедить его, что, оставаясь в усадьбе один и без дела, он погибнет, так как через две недели он заключил контракт с «Кольерс» на статьи о британских ВВС. Приехали в Нью-Йорк, она отправилась 13 мая на судне с грузом динамита, он летел самолетом 17-го. Перед отлетом зашел к писательнице Даун Пауэлл, у той была кошка, Хемингуэй ласкал ее, говорил о своих котах, беспокоился, что с Бойзом что-нибудь случится. На аэродром его провожал Патрик. Он улетел в Европу, так, похоже, и не узнав, что едва не стал агентом очередной разведки.

Управление стратегических служб (УСС), первая объединенная разведывательная служба США, на основе которой после войны было создано ЦРУ, было основано в июне 1942 года; профессионалов не хватало, работали солдаты, офицеры, актеры, журналисты, профессора, спортсмены. Роберт Джойс, ставший сотрудником УСС в конце 1943-го, весной следующего года рекомендовал начальству Хемингуэя. Сообщил, что тот «был боевым офицером в Первую мировую», «обладал навыками партизанской работы» и даже «фактически руководил контрразведкой во время обороны Мадрида» (нетрудно догадаться, от кого Джойс получил эти

потрясающие сведения). 21 апреля руководство отклонило рекомендацию, сказав Джойсу, что его друг — «индивидуалист, озабоченный лишь собственным шоу». Нет подтверждений того, что Хемингуэй знал об этой истории. А как жаль — ведь мог стать агентом сразу ФБР, КГБ и ЦРУ! Но, может, еще не все потеряно? Его попутчиками в самолете оказались молодые лейтенанты Генри Норт и Майкл Берк, оба — новоиспеченные сотрудники УСС. А Папа умеет обаять молодежь...

Глава восемнадцатая ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

В Лондоне он оказался впервые: город, потрепанный бомбежками, не произвел впечатления. Поселился в отеле «Дорчестер». С Джорджем Хоутоном из Управления ВВС согласовали программу: посещение аэродромов, вылеты, был выделен сопровождающий, офицер Джон Макадам. Но с мероприятиями вышла задержка и получился двухнедельный отдых. В «Дорчестере» жили корреспонденты, обнаружилось много знакомых: Фред Шпигель, Льюис Галантье, Грегори Кларк (старый друг из Торонто), фотограф Капа (товарищ по Испании), завязалась новая дружба — с Биллом Уолтоном, корреспондентом журнала «Пайк», здесь же оказался и Лестер Хемингуэй, работавший в киносъемочной группе. Веселье, вечеринки, одна из них закончилась очередным несчастным случаем: в ночь на 25 мая возвращались от Капы в отель на машине (за рулем был не Хемингуэй), врезались в цистерну с водой, не пострадал никто, кроме Хемингуэя, который ударился о ветровое стекло, разбил голову, повредил колени. Как в Первую мировую: едва приехал и уже ранен. Как тут не поверить, что весь мир против тебя?

Пострадавшего доставили в госпиталь Святого Георга, потом перевели в Лондонскую клиническую больницу. Сидел с ним Лестер — старший брат неплохо себя чувствовал, но был раздражен. Приходили лейтенанты Норт и Берк — отказывался говорить о несчастном случае, переживал, что не сможет летать. В палате пил, несмотря на запрет, тосковал, нацарапал душераздирающие строки: «Человек без детей и без кошек. Нет манго за окнами. Вместо воды — ванна. Оружие сдано. Нет кошек...» По радио передали, что он погиб, Марта беспокоилась, но прибыв 28-го в Лондон и узнав, при каких обстоятельствах муж получил травму, не удержалась от насмешек (во всяком случае, так говорил Хемингуэй). Но у него на примете уже была другая женщина.

Через Лестера он познакомился с Ирвином Шоу, а 22 мая, за два дня до аварии, в ресторане «Белая башня» в Сохо встретил Шоу с молодой женщиной, подошел познакомиться. «Мистер Хемингуэй остановился в нерешительности и сказал: „Представьте меня вашему другу. Шоу“ и застенчиво пригласил меня позавтракать на следующий день. Поверх большой, густой бороды с проседью на меня смотрели красивые глаза с живым, пронизательным и дружелюбным взглядом. Его голос показался мне более молодым и нетерпеливым, чем взгляд. Я почувствовала

витающую вокруг него атмосферу одиночества, покинутости...» 29-го Хемингуэй выписался из больницы — начались встречи, он прихорашивался, помолодел. «На восьмой день нашего знакомства он предложил мне стать его женой. Он подошел ко мне и в присутствии всех сказал: „Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Я хочу быть вашим мужем“. Я попросила его не говорить глупостей, мы ведь едва знали друг друга, и я даже подумала, уж не хочет ли он меня разыграть. Но он говорил совершенно серьезно».

Четвертая и последняя жена Папы Мэри Уэлш не была красавицей — просто миниатюрная блондинка (журналист Кеннет Койен описал ее так: «резкие черты лица и самоуверенный вид»); ровесница Марты, она, как и Марта, к моменту знакомства с Хемингуэем побывала замужем и имела профессию. Она родилась в 1908-м в Миннесоте, в семье лесопромышленника, обучалась журналистике в Северо-Западном университете, вышла за студента Лоуренса Кука, вскоре развелась, переехала в Чикаго, вела дамскую страницу в «Чикаго дейли ньюс». Незадолго до начала войны, будучи в Англии, устроилась в «Лондон дейли экспресс», была командирована в Париж, после капитуляции Франции вернулась в Лондон, где вышла за Ноэля Монкса, корреспондента «Дейли мейл». Муж постоянно был на фронтах, жена оставалась в городе, писала отчеты о пресс-конференциях Черчилля. В автобиографии «Как это было» (1976) Мэри признавалась, что «не хотела быть равной Эрнесту. Я хотела, чтобы он был главным, более сильным и умным, чем я, чтобы он признавал всегда, какой он большой и какая я маленькая». Хемингуэеведов можно разделить на «полиноненавистников», «мартоненавистников» и «мэриненавистников»: последние считают, что Уэлш была целеустремленной, лицемерной, жестокой хищницей. Как и в отношении других жен, это недоказуемо, очевидно одно: ему, уставшему от соперничества с Мартой, нужна была женщина вроде Мэри: ласковый, кроткий (искренне или притворно) «маленький котенок».

Едва выписавшись, он попросил Хоутона разрешить вылеты, но получил отказ: пусть как следует поправится. Опять вынужденное безделье, посиделки в «Дорчестере», рестораны, алкоголь, настрого запрещенный врачами, хвастливые рассказы о кубинских подвигах, выдумки (голову повредил в сражении и т. д.), намеки на то, что он — агент УСС (Берк и Норт его навещали, и он давал понять, что это неспроста). Корреспондент «Тайм» Чарльз Вертенбейкер вспоминал, что Хемингуэй «без конца разглагольствовал о корриде», Джон Падни, офицер по связям с общественностью ВВС, нашел его поведение «вызывающим и

смехотворным»: «Для меня он был парень, одержимый ролью Эрнеста Хемингуэя и доводящий ее до абсурда: сентиментальный актеришка XIX века, которого заставили участвовать в пьесе XX века. Он казался эксцентричной картонной фигуркой по контрасту с людьми, которые действительно сражались». Мы обычно говорим об алкоголизме великих людей вскользь, стыдливо — «ну да, и выпивка тоже...», не допуская мысли, что их странные или некрасивые поступки могут объясняться столь прозаической причиной. Но физиологически эти люди такие же, как мы: представьте, как различно протекала бы ваша жизнь и как по-разному относились бы к вам окружающие в зависимости от того, были вы изо дня в день пьяны (на работе!) или нет... Раздражал коллег и его вызывающий роман с Мэри, которую в журналистской среде не любили, в противоположность Марте. Он вообще всегда производил плохое впечатление на людей, когда не был занят делом.

А дело близилось, причем грандиознейшее — операция «Нептун» (первый этап операции «Оверлорд»), высадка англо-американского десанта в Нормандии. Британцы долго не хотели ее осуществлять, потому что имели неудачный опыт. Нужно было в одночасье десантировать не только 150-тысячную армию (дополнительно сбрасывались с воздуха парашютными десантами более 20 тысяч), а также госпитали, бронетехнику, грузовики, обозы, провиант, снаряжение, потом сразу же вступить в бой, закрепиться и немедля двигаться на Рур, чтобы дойти до запада Германии и нанести непоправимый урон ее армии и промышленности. Море у берегов Нормандии беспокойное, холодное, берега крутые, немцы настороже, ведь другого пути для морского вторжения нет. На побережье есть порты, Кале и Шербур, но оба находятся на полуостровах, откуда трудно выйти на оперативный простор, а там, где надо, пристаней нет. Поэтому на Тегеранской конференции Черчилль предлагал высаживаться не в Нормандии, а на Балканах. Но Рузвельт и Сталин отстаивали «стратегию сокрушения»: высадиться во Франции и как можно быстрее войти в Германию, и англичане уступили.

Решили высаживаться на голые пляжи Нормандии и тут же сооружать порты из гигантских бетонных понтонов — а немцы пускай себе ждут высадки в Кале. Заранее были приняты меры, чтобы выжать из Северной Атлантики немецкие метеостанции, в результате чего Роммель, главнокомандующий немецкими войсками в Нормандии, получил информацию о том, что в начале июня будут штормы, и отбыл в Германию в отпуск, но «наши» синоптики знали, что с запада идет «окно» хорошей погоды, которое достигнет пляжей 4–6 июня.

Второго июня Хемингуэй, как и другие корреспонденты, вылетел на южное побережье Англии, где в боевой готовности стояла флотилия вторжения. День «Д» был запланирован на 5 июня, но из-за ухудшения погоды (синоптики не могут не наврать) начался на сутки позже. Ночью с 5 на 6 июня — массированный парашютный десант, высадки на планерах, воздушные атаки, обстрел немецких береговых позиций; на рассвете — высадка с моря. Хемингуэй был на борту военного транспорта «Доротея М. Дикс», Марта — на другом судне, перевозившем госпиталь. Флотилия продвигалась медленно: «Приходилось лавировать между сваями, опущенными на дно в качестве заградительного сооружения и соединенными с ударными минами, похожими на большие круглые блюдца, сложенные попарно, дном наружу. Они были неопределенного безобразного серо-желтого цвета, как все почти вещи на войне. Когда мы видели перед собой такую сваю, мы отталкивались от нее руками».

Опять это хемингуэевское «мы», злившее многих, в том числе Уильяма Ван Дузена, военного моряка, которому Хемингуэй показывал процитированный очерк. Но разве так говорить нельзя, ведь он имел в виду «мы, союзные войска»? Да говорить-то можно — именно «мы», лежащие с банкой пива на диване, первыми полетели в космос, выигрываем чемпионаты и даже бились при Бородине, — но чем ближе человек, а в особенности журналист, находится от реальных событий, тем осторожнее он должен обращаться с лукавым «мы». Если военный корреспондент, от которого требуется точность, передает, что высоту X взял не взвод лейтенанта Z, а «мы», читатель полагает, что корреспондент принимал в этом непосредственное участие. Однако, по свидетельству Уильяма Лихи, командира «Доротеи», Хемингуэй ни от каких свай не отталкивался: после того как он обошел судно, у него разболелись колени и его пришлось снести на носилках в трюм, а потом пересадить на транспорт «Эмпайр энвил», который даже к берегу не подходил. Тем не менее он до конца дней утверждал, что высадился в Нормандии. Марта сошла на берег 7-го. Она писала в своей корреспонденции не «мы», а, как полагается, «выгрузился госпиталь».

Первая высадка длилась три дня: у англичан все гладко, у американцев на пляже Омаха не очень (этому посвящен фильм «Спасти рядового Райана»), но операция в целом прошла с успехом, превзошедшим ожидания: за июнь в Нормандию переправили полтора миллиона людей, потери были минимальны. Хемингуэй вернулся в Лондон, жена улетела в Италию, передав ему записку: «Я приехала сюда, чтобы видеть войну, а не чтобы жить в „Дорчестере“». Брак рухнул: у мужа была Мэри Уэлш, у

жены начинался роман с генералом Джеймсом Гэвином, командующим 82-й воздушно-десантной дивизией.

Немцы начали обстреливать Лондон «Фау-2» — эти «летающие бомбы» содержали по тонне взрывчатых веществ. Английские истребители «Тифон» сбивали их в воздухе. Наконец-то живое дело: Хемингуэй с разрешения Хоутона посетил аэродром (просился в полет, но на истребители не берут пассажиров) — результатом стал очерк «Лондон воюет с роботами». «Хлопает пистолет — и тут же слышится сухой лай стартового заряда, нарастающий вой мотора, и большие голодные длинноногие птицы, споткнувшись и подпрыгнув, взмывают ввысь с таким воем, словно двести циркулярных пил вгрызаются в бревно красного дерева. Они взлетают по ветру, против ветра, как угодно, зацепляются за какой-то кусок неба и лезут в него, подбирая под себя свои длинные тощие ноги. Многих и многое в жизни начинаешь любить, когда поживешь рядом, но ни одна женщина, ни одна лошадь и, уж конечно, ничто другое не вызывает такой любви, как большой самолет, и люди, которые их любят, остаются им верны, даже когда покидают их и уходят к другим. Летчик-истребитель только раз теряет девственность, и если он теряет ее с достойной машиной, значит, сердце его отдано навеки. А П-51, безусловно, пленяет сердца». На взгляд штатского, написано здорово, но кадровых военных эротические сравнения коробили.

Пятнадцатого июня в расположении 98-й эскадрильи — новый инцидент: был в баре с другими корреспондентами, рассказывал им об истребителях, кто-то «стукнул», что в баре сидит провокатор и выдает военные тайны, прибыла полиция, капитан Данлеп, командир звена, уладил дело. Хемингуэй вернулся в Лондон, 18-го в «Дорчестере» обедал с Ван Дузенном, адмиралом Лиландом Ловеттом, Нортон и Берком, говорили об авианалетах, Хемингуэй, по воспоминаниям сотрапезников, все время говорил, что не боится. Он действительно не боялся, в этом нет сомнений. Но постоянно твердить об этом на фронте не принято: военные смущались.

Английская авиация боролась с «Фау-2» и другим способом — бомбардируя их стартовые площадки на территории Франции. Опасные операции — площадки стерегла немецкая зенитная артиллерия, 41 средний бомбардировщик «Митчелл» был сбит, более 400 повреждены. На бомбардировщик взять корреспондента можно: 19 июня Хемингуэй, снабженный кожаной курткой и парашютом, вылетел с аэродрома в Дансфорде на «Митчелле» Аллана Линна. Написал об этом и словечко «мы» на сей раз пояснил. «Так вот, мы (вернее, командир авиаполка Линн, человек, с которым хорошо летать и который отвечает бомбардиру Кису,

когда тот, зайдя на цель, докладывает в переговорную трубку: „Раз... два... три... четыре“, таким же ровным, обыденным голосом, каким говорят на земле) разбомбили эту базу точно, как по нотам. <...> Те самые кольца черного дыма в большом количестве поднимались к нам, возникали все в ряд, внутри треугольника, между нами и соседним „Митчеллом“ справа от нас, очень похожим на изображение „Митчелла“ на рекламе фирмы. И пока рядом возникали кольца дыма, брюхо машины раскрылось, с силой оттолкнуло воздух — прямо как в кино, — и из нее косо выпали все бомбы, точно она в спешке разродилась восемью длинными металлическими котятками». (Единственная придумка и даже не о себе: Линн командовал не авиаполком, а всего лишь звеном.)

Линн вспоминал, что пассажир вел себя достойно, ничего не боялся, после бомбежки просил вернуться и посмотреть на разрушения; в этом было отказано. Но в другой полет его не взяли: по его версии, из-за запрета доктора, по версии Джона Падни, — потому что летчики были от него не в восторге. Опять сидение в «Дорчестере» и любовь, ради которой совершил немыслимое — сбрил знаменитую бороду. Написал в ее честь поэму «Мэри в Лондоне», где описывал охоту за подлодками на Кубе и по контрасту — жизнь в «чужом и странном городе», где «собачья тоска» владела им все время, за исключением полета с Линном и моментов, когда Мэри Уэлш сидела подле него в номере отеля.

Двадцать шестого июня в «Дорчестере» его посетил советский разведчик «Ива» — контакт описан Никандровым: «Завязавшаяся беседа показала, что писатель держится в стороне от официальных лиц и не в курсе текущих политических событий: „Я предпочитаю смотреть по сторонам, жить с летчиками и собирать материалы для новой книги“. Он рассказал о том, как летал на планёре, как друзья-пилоты брали его на перехват ракет FAU и бомбежки. „Ива“ так описал образ жизни „Арго“: „Живёт он один, но вокруг него кружится много соотечественников — журналисты, киношники и женщины. Накануне он получил из США перевод на 15 тыс. долларов от какого-то издательства, так что пьют они здорово и почти непрерывно“». В справке из документов Васильева говорится: «Связь была вскоре прервана, поскольку „Арго“ отбыл во Францию». Все то же: информации не предоставил, ничего не делал и явно не понимал, чего эти симпатичные, но странные русские от него хотят.

Двадцать восьмого в сопровождении Падни поехал на Торни-Айленд близ Портсмута, где располагалась штаб-квартира британских ВВС, договорились, что командир звена Питер Уикхем-Бернс возьмет его в полет на «Моските» — это легкий бомбардировщик, сделанный почти полностью

из фанеры и парусины, и радарам трудно его засечь. «Москиты» летали очень низко, выполняя точечные бомбометания и «пристрелки» для тяжелых бомбардировщиков, при случае могли выполнять функции истребителя. Утром 29-го вылетели. «Ваш корреспондент вовсе не из тех, кого вечно тянет искать опасности в небе или бросать вызов законам земного притяжения; просто он, не всегда ясно понимая, что именно ему предлагают по телефону, раз за разом оказывается вовлеченным в уничтожение этих чудовищ в их жутких логовах или в попытке перехватить их на чудесном, развивающем скорость до 400 миль в час самолете „Москит“». Знакомым рассказывал, что Бернс дал ему порулить, что представляется, мягко говоря, сомнительным. Вечером того же дня совершили второй вылет. Бернс: «Мне сказали, что я не должен брать Эрнеста на вражескую территорию, да я и не мог ночью лететь очень далеко. Поэтому мы решили пролететь над Ла-Маншем и поискать чего-нибудь интересного».

Бернс пишет, что Хемингуэй поразил его смелостью и мальчишеством — предлагал сбить обнаруженный немецкий самолет (что не входило в задачу), и это желание передалось летчику, которому с трудом удалось себя сдержать. Вернувшись, долго говорили о трусости и смелости («любимая тема Эрнеста», замечает Бернс, проведший с ним всего сутки): «Эрнест казался в высказываниях более жестким и решительным, чем те, кто воевал». Бернс сказал, что по поведению человека в отдельной ситуации нельзя судить, какой он воин, Хемингуэй был не согласен. В целом у Бернса сложилось о нем противоречивое впечатление: с одной стороны, выказывал ясное понимание, когда речь шла о технике, тактике и т. д., с другой — «вел себя как дитя, довольно безответственно».

Меж тем в Нормандии союзные войска перешли к активным действиям, начиналось освобождение Франции (операция «Кобра»). В Шербуре обосновались корреспонденты Билл Уолтон и Чарльз Коллингвуд из радиовещательной сети округа Колумбия, постепенно туда уезжали и другие коллеги Хемингуэя — Боб Капа, Чарльз Вертенбейкер, Билл Пэлли. Сам он прибыл в Шербур в начале июля, пробыл там несколько дней, побывал в бронетанковых войсках, но ничего об этом не написал (впоследствии он назовет танкистов «трусами» на том основании, что они сидят в танке). Остаться в Англии больше не желал, вернулся в «Дорчестер», 17 июля обедал с Мэри в «Белой башне», а на следующий день снова вылетел в Нормандию.

Его прикомандировали к штабу 3-й американской армии под командованием генерала Паттона, известного военной дерзостью,

граничившей, по мнению некоторых, с авантюризмом: армия, оголяя фланги, с неслыханной скоростью шла на окружение немцев, в результате загнав их в так называемый «Фалезский котел». Казалось бы, такой человек должен Хемингуэю понравиться — но нет, не сошлись характерами. Паттон не думал о том, чтобы угодить корреспондентам, и держал их в штабе взаперти: скука, пьянство, ссоры. 24 июля Хемингуэю удалось вырваться — он напросился в штаб 4-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Рэймонда Бартона, который поручил его заботам офицера по связям с общественностью, капитана Маркуса Стивенсона, а тот 28-го числа пристроил гостя вместе с корреспондентом НАНА Айрой Уолфертом в штаб 22-го пехотного полка, которым командовал полковник Чарльз Лэнхем.

Лэнхем туристов не любил, положение его полка было сложным, шли непрерывные бои, так что встретил он посетителя нерадушно. Но его приятно удивило, как Хемингуэй разбирался в вопросах военной тактики, понравились его умные и точные вопросы. Лэнхем любил литературу, сам пробовал писать: в итоге они поладили и подружились. Хемингуэй оставался в 22-м полку девять дней, пока дивизия двигалась через ля Денисьер, Вильбодон, Амбие, Вильдюэль-ле-Поэль, Сен-Пуи. Почувствовал себя при деле, рядом с другом, который его понимает, вел себя очень достойно, почти не пил и, возможно, поэтому не донимал Лэнхема рассуждениями о трусости и геройстве; оценка, которую Хемингуэю дал Лэнхем в мемуарах, отличается от большинства других оценок: «простой, прямой, вежливый и ничуть не напыщенный».

«Самым диким, самым прекрасным, замечательным временем» он назвал эти девять дней в письме к Хедли; Симонову писал, что лето 1944 года было лучшим в его жизни. Письмо к Мэри от 31 июля: «Вот уже восьмой день мы непрерывно наступаем. Познакомился с отличными ребятами. Им приходится намного труднее, чем летчикам, так что моя страсть к полетам, очевидно, не что иное, как разновидность лени. Во всяком случае, здесь с пехотой я очень счастлив. В бронетанковых частях мне не очень нравится — слишком много пыли. Впрочем, пыли здесь повсюду хватает, хотя попадаются и отличные места... <...> Захватили мотоцикл с коляской, и теперь у нас есть свой транспорт, а вчера захватили еще и штабной „мерседес-бенц“... Наша дивизия перебила немало фрицев, а в немецких бронемашинах полно прекрасного коньяка... Иногда мы наступаем и днем и ночью. Это очень хорошая дивизия, и я стараюсь быть полезным и не мешать. <...> Я так скучаю по тебе, что чувствую внутри какую-то пустоту и пытаюсь заполнить ее войной — днем и ночью... Я

очень счастлив на фронте, но все же это не то, что любить... Я знаю, после того как все кончится, стоит мне остаться наедине с пишущей машинкой, и я смогу написать хороший рассказ. Все увиденное я держу в голове. Есть потрясающие наблюдения, и мне не следует растрачиваться на „Кольерс“. Только за последнюю неделю получил столько впечатлений, что хватило бы на целую книгу...»

Машину и мотоцикл корреспондент получил в свое распоряжение, и генерал Бартон, довольный тем, что он ему не докучает, выделил ему шофера Арчи Пелки. Возможность передвигаться самостоятельно привела Хемингуэя в восторг; впрочем, все корреспонденты тем летом, как правило, были предоставлены сами себе — уж очень быстро наступали, не до них. 3 августа Хемингуэй с Пелки вслед за войсками въехал в деревню Вильдюэль-ле-Поэль, французы сочли его офицером — одет в военную форму (это было запрещено и повлечет неприятности), солидный возраст, властный вид. Он их не разубеждал. В деревне, по его словам, некий человек сказал ему, что в одном доме укрылись солдаты и офицеры СС, и Хемингуэй с шофером забросали дом гранатами. Были ли немцы, были ли гранаты, был ли хотя бы дом, никто не знает, Хемингуэй сделал все, чтобы в его словах сомневались, к тому же он рассказывал эту историю на разные лады: то эсэсовцев перебили фанатами, то немцы (уже не эсэсовцы) вышли и сдались; агентство Рейтер передало, что Хемингуэй взял в плен шестерых немецких солдат. Эти выдумки ему тоже потом аукнутся.

Пятого августа мотоцикл, на котором ехали Капа, Хемингуэй и Пелки, напоролся на немецкий патруль, успели выскочить, залегли в канаву, всё обошлось. Это — факт, подтвержденный Капой. В письме Хемингуэя к Мэри он выглядит так: «...я очутился впереди нашей пехоты и меня швырнуло на землю взрывом танкового снаряда, потом из танка по мне выпустили пулеметную очередь и еще стреляли из автоматических пистолетов двое солдат, засевших по обеим сторонам дороги. Пришлось притвориться убитым и пролежать так довольно долго, и я слышал, как немцы, стоявшие от меня примерно в десяти футах за придорожным кустарником, чрезвычайно неуважительно отзывались о твоём старшем друге, коего почитали мертвым...» Окружающим потом рассказывал, что сам вел огонь из укрытия, был ранен в голову, еще позднее патруль превратился в танк, а ранение привело к импотенции, длившейся четыре месяца. 6-го он был в деревне Мон-Сен-Мишель, откуда писал Мэри: «Мы живем здесь радостной, пьянящей жизнью, полной убитых немцев, награбленного ими добра, стрельбы, боев, трудностей, небольших холмов, пыльных дорог, шоссе, пшеничных полей, убитых коров, лошадей, и снова

холмов, убитых лошадей, танков, 88-миллиметровок, погибших американских солдат, порой ничего не ешь, спишь под дождем на земле, в амбарах, на телегах, походных койках, сидя и все время вперед, вперед... <...> За последние двенадцать дней одиннадцать раз ходил в атаку — знаю дивизионных, полковых, батальонных, многих ротных и взводных командиров».

На несколько дней установилось затишье, 22-й полк отдыхал. У Грибанова об этом периоде говорится: «Хемингуэй налаживал контакты с французскими партизанами, собирал оперативную информацию о противнике». Это очередная фантазия из письма к Мэри. Хемингуэй предлагал Бартону свои услуги в качестве разведчика, это подтверждает Лэнхем, но Бартон отказался это обсуждать. В действительности компания корреспондентов обосновалась в гостинице: Хемингуэй, Уолтон, Капа, Вертенбейкер, Коллингвуд, Уолферт, Элен Киркпатрик из «Чикаго дейли ньюс». Обнаружили винный погреб, хозяйка прекрасно стряпала, получился продолжительный пикник, Хемингуэй, как вспоминали остальные, сидел во главе стола и доминировал в разговорах на военные темы; Киркпатрик охарактеризовала его как «прекрасного компаньона, веселого, но несколько догматичного и без конца рассуждающего о стратегических вопросах». Он разрывался между гостиницей и штабом 22-го полка; в один из вечеров, когда в полку его уговаривали остаться на ужин, отказался — спустя час немцы неожиданно прорвали фронт и полк понес тяжелые потери. Лэнхем был ранен. Когда он потом спросил Хемингуэя, почему тот не остался в полку, ответ был «я чуял запах смерти». Почему ж не предупредил товарищей? Да ничего он, разумеется, не «чуял», сказал ради красивого словца. От опасности он не бегал, а гонялся за ней.

В дни отдыха написал для «Кольерс» очерк о Бартоне: «Его лицо, все еще красивое после отдыха, было серым, осунувшимся и бесконечно усталым. Только глаза были веселые, и он произнес своим добрым ласковым голосом:

— Я беспокоился о тебе. Что тебя задержало?

— Мы напоролись на танки, и я вернулся кружным путем.

— Каким?

Я сказал ему.

— Расскажи, что ты видел сегодня там-то и там-то. (Он перечислил места расположения пехотных частей.)

Я рассказал ему.

— Люди очень устали, Эрни, — сказал он. — Им надо отдохнуть.

Даже одну ночь отдохнуть как следует было бы неплохо. Если бы они могли отдохнуть четыре дня... только четыре дня. Но это все старая песня.

— Вы сами устали, — сказал я. — Пospите немного. Гоните меня прочь.

— Генералы не имеют права уставать, — сказал он, — а болеть тем более».

Коллингвуд сказал, что очерк напоминает плохую пародию на Хемингуэя. Оскорбленный автор велел Коллингвуду «убираться вон», но убираться тому было некуда и они просто перестали разговаривать. Безделье, как всегда, шло не на пользу: пил, затевал ссоры, Уолферта попрекнул, что тот пишет корреспонденции с чужих слов (так поступали все журналисты и он сам тоже). Коллегам не нравилось, что он никогда не упоминал их имен и делал вид, что был в местах боев один, даже если ехали все в одной машине, раздражали разговоры о корриде. Разругался со всеми, кроме Уолтона, дело, вероятно, дошло бы до драки, но, к счастью, затишье кончилось. 10 августа 4-я дивизия двинулась на новые позиции, корреспонденты — за ней. 18 августа Хемингуэй с 22-м полком прибыл в Ментенон. Идти на Париж, по слухам, должна была то ли 5-я американская пехотная дивизия, то ли 7-я — к кому податься? Или штурм не будет?

Эйзенхауэр, главнокомандующий экспедиционными союзными войсками в Европе, не хотел брать Париж, так как считал главной целью марш на Германию; штурм Парижа замедлил бы наступление. У де Голля, естественно, было другое мнение: Париж прежде всего. Французский генерал Леклерк, охарактеризованный Хемингуэем как «хлюст третьего или четвертого сорта, чью кончину я отпраздновал бутылкой перьежуэ сорок второго года», командир 2-й бронетанковой дивизии в составе 3-й армии Паттона, 12 августа взял Алансон и 15-го запросил разрешения идти на Париж — Паттон отказал, а в городе тем временем началось восстание, в котором на руководящие роли вышли коммунисты. Немцы бежали отовсюду, «наши» не успевали наступать, жители населенных пунктов близ Парижа не понимали, «под кем» находятся. К 19 августа 22-й полк достиг Эпернона. От Парижа его отделял городок Рамбуйе. Там и началось главное приключение:

«На блокпосту 22-го пехотного полка я столкнулся с несколькими французами-штатскими, которые приехали на велосипедах из Рамбуйе. Я был там единственным человеком, который говорил по-французски. Эти штатские сообщили мне, что последние немцы оставили Рамбуйе в три часа утра, но дороги к городу минированы. Я пошел было в штаб полка, чтобы передать эту информацию, но потом решил, что лучше вернуться и

взять с собой этих французов, чтобы их могли допросить». Французы представились партизанами — маки. Прибыли в штаб полка, доложили информацию, ее передали выше, но начальство не дало Лэнхему распоряжения идти в Рамбуйе. Партизанами никто не заинтересовался, они волновались, хотели установить охрану на заминированных участках. Ни их, ни Хемингуэя никто не держал, и они отправились в Рамбуйе, где встретили 5-й американский разведотряд под командованием лейтенанта Петерсона; потом появился взвод лейтенанта Кригера из 2-го пехотного полка и с помощью партизан занялся разминированием. Хемингуэй стал, по его словам, «осуществлять связь» между Лэнхемом, Петерсоном, Кригером и партизанами, которые не говорили по-английски и (по его словам) признали его командиром; один из них, Жан Декан, вызвался быть ординарцем.

«Не знаю, поймете ли вы, что это значит — только что впереди у вас были свои части, а потом их отвели, и у вас на руках остался город, большой, красивый город, совершенно не пострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую раздали корреспондентам в качестве руководства по военному делу, не было ничего применимого к такой ситуации; поэтому было решено по возможности прикрыть город, а если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают войти с ними в соприкосновение, в этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали». Хемингуэй основал в номере городской гостиницы «командный пункт», остаток дня прошел в обустройстве, а утром 20-го прибыл полковник УСС Дэвид Брюс, которому было поручено организовать оборону Рамбуйе.

Под началом у Брюса оказалось около ста человек — американские солдаты, французские партизаны и полицейские из Рамбуйе. Хемингуэй предложил услуги в качестве связного между Брюсом и партизанами. Брюс согласился. Как он вспоминал, «номер Эрнеста был похож на штаб», на кроватях штабелями лежало оружие, партизаны допрашивали «пленных» — проституток и барменов. Неразбериха была полнейшая, никто не понимал, каковы полномочия Брюса, не говоря уж о Хемингуэе: майор Норлинг из УСС выдал письменное разрешение «обеспечить Эрнеста Хемингуэя стрелковым оружием, гранатами и другими боеприпасами, какие ему необходимы». Прибыл Мишель Пасто, деятель Соппротивления, был в восторге от встречи с Хемингуэем (обожал его книги) и тоже осел в Рамбуйе с неопределенными полномочиями. На велосипедах приезжали парижане, требовали идти на столицу, примчались корреспонденты, но, узнав, что наступления через Рамбуйе не будет, разбежались.

В очерке для «Кольерс» Хемингуэй писал: «Странно протекала в те дни жизнь в отеле „Гран Венер“. Один старик, которого я видел за неделю до того при взятии Шартра и подвез на своем джипе до Эпернона, потом явился ко мне и заявил, что, по его мнению, в лесу близ Рамбуэе можно собрать много интересных сведений. Я сказал ему, что я корреспондент и что это не мое собачье дело. И вот теперь я встречаю его на какой-то дороге в шести милях к северу от города, и он выкладывает мне полные данные относительно минного поля и противотанковой батареи на шоссе сейчас же за Траппом. Послали проверить его сведения, они подтвердились. После этого пришлось взять старика под стражу, потому что он хотел опять отправиться за информацией, а он слишком много знал о нашем положении, нельзя было рисковать, что его сцапают немцы. <...> В эти дни партизаны величали меня „капитан“. Для человека сорока пяти лет это очень низкий чин, поэтому при посторонних они обычно называли меня „полковник“. Но мой низкий чин немного огорчал их и тревожил, и как-то один из них, который до этого целый год занимался тем, что перетаскивал мины и взрывал германские грузовики с боеприпасами и штабные машины, доверительно спросил меня:

— Мой капитан, как случилось, что вы, в вашем возрасте, после, несомненно, долгих лет службы и при явных ранениях (это я в Лондоне налетел на ни в чем не повинную цистерну с водой) до сих пор всего лишь капитан?

— Молодой человек, — отвечал я ему, — я не мог получить более высокого чина, потому что не обучен грамоте.

В конце концов прибыла другая американская разведчасть и расположилась на дороге в Версаль. Таким образом город оказался прикрыт, и мы могли посвятить все свое время засылке патрулей на территорию немцев и сбору подробных сведений об их обороне, с тем чтобы, когда начнется наступление на Париж, части, осуществляющие это наступление, могли опираться на точные данные».

В письме к Мэри история выглядела так: «Девятнадцатого установил связь с отрядом маки, которые решили сделать меня своим командиром. Должно быть, потому, что я выгляжу таким старым и грозным. Я выдал им обмундирование моторизованного разведотряда, погибшего на подступах к Рамбуэе. Вооружил их из дивизионных запасов. Захватил и удерживал Рамбуэе после того, как наша разведка отступила. Высылал дозоры и поставлял развединформацию французам, когда те наступали». Симонову Хемингуэй потом написал, что «работал в авангардных частях маки». По словам Брюса, он «обожал драматизировать свою роль», но на сей раз у

него были для этого некоторые основания, ибо он «оказался прирожденным военным, обладал инстинктом разведчика» и оказал ему, Брюсу, помощь в сборе информации.

После нескольких странных дней наступила ясность: дивизия Леклерка получила приказ занять Париж 24 августа и двигалась на Версаль через Рамбуйе. Брюс и Хемингуэй явились в штаб Леклерка предлагать помощь. «— Катитесь отсюда, мать вашу, — вот что произнес доблестный генерал тихо, почти шепотом, после чего полковник Б., король Сопротивления и ваш референт по бронетанковым операциям удалились». Утром 24-го, пока 2-я бронетанковая преодолевала немецкую оборону, Брюс, Хемингуэй и Пасто отправились в столицу. Разделились в девяти километрах от Версаля, Хемингуэй с Арчи Пелки поехал проселочными дорогами к Парижу. По его утверждению, с ним шел отряд партизан. Однако встреченный им у деревни Серне-ля-Виль американский военный историк Сэм Маршалл вспоминал, что никаких партизан не было, и компания — Маршалл, Хемингуэй, их водители и какая-то местная девушка, — обнаружив брошенную ферму с запасами спиртного, просидела там несколько часов.

Проблем с немцами при освобождении Парижа было мало, де Голля больше беспокоили свои: коммунисты претендовали на власть в городе и вообще был кавардак. Хемингуэй, воссоединившись с Брюсом в Серне-ля-Виль, беспрепятственно въехал в Париж 25 августа. Обстановка невообразимая: тут ползает заблудившийся немецкий танк, рядом французы под шампанское поют «Марсельезу». Проехали по Елисейским Полям, затем отправились «освободить» злачные места, начиная с отеля «Ритц», где Хемингуэй занял номер. Сильвия Бич в мемуарах «Шекспир и компания» (1967) сочинила историю под стать самому Папе: «Мы поднялись в комнату Адриенны, и Хемингуэй, — он был в военной форме, грязный и окровавленный, — с грохотом опустил на пол свой автомат и уселся. <...> Мы попросили, если это возможно, унять нацистских снайперов, которые засели на крыше нашего дома. Он сказал, что попробует, кликнул своих товарищей и повел их на крышу».

В «Ритце» — праздничная обстановка, шампанское ящиками, встречи со старыми друзьями и недругами. Хемингуэй познакомился с молодым Сэлинджером, служившим в дивизионной контрразведке, которому показался «очень вежливым, мягким и приятным человеком» (потом еще раз встретились осенью, творчеством друг друга восхищались, но хороших отношений не сложилось). Он писал позднее, что виделся с Мальро и поставил его на место как труса, прохлаждавшегося, пока другие воевали.

Мальро провел войну примерно так же, как Хемингуэй: до июня 1944-го жил в Англии, высадился в Нормандии с войсками, связался с партизанами, объявил себя полковником, был легко ранен, двое суток провел в плену, потом в Париже рассказывал о своих подвигах. (О взаимной неприязни двух писателей написаны книги, ей посвящены симпозиумы, но никто не назвал причины вражды, кроме одной: они были похожи и один видел в другом карикатуру на себя.) Встречал Пикассо, по легенде, подарил ему ящик гранат. Заходили партизаны из Рамбуйе. Весело... Но Мэри писал с грустью: «Побывал во всех старых местах, где когда-то жил в Париже... Все кажется настолько невероятным, что ощущение такое, будто ты умер и это всего лишь сон...»

«Ритц» после освобождения Парижа — место действия рассказа «Комната окнами в сад» (A Room on the Garden Side; не окончен, написан предположительно в 1956 году): писатель отдыхает в номере с шампанским и «Цветами зла» Бодлера, на кровати — автоматы и винтовки; его посещают партизаны, приходит Мальро, разряженный в военную форму, герой дает ему понять, что он самозванец. Оставшись один, герой размышляет, что ему делать: остаться в уютной комнате и работать или же воевать дальше. Тени мертвых писателей, бывавших в «Ритце» — Пруст, Гюго, Бодлер и даже Дюма-отец, — укоряют его: писатель должен писать. Но он выбирает войну, потому что это его долг, но также потому, что пристрастился к ней, «как к опиуму».

Двадцать второй пехотный шел в Бельгию; 1 сентября Хемингуэй получил от Лэнхема приглашение вернуться в полк. На следующий день выехали с Деканом (он сменил Пелки в должности шофера), в деревне Вассиньи (по рассказам Хемингуэя) столкнулись с партизанами, те хотели сражаться, Хемингуэй, которого они приняли за начальника, их отговаривал, предлагая дождаться американцев, они не послушались, был бой с немцами и шестеро партизан погибли. (Лэнхем писал Бейкеру, что все это выдумки, ибо никаких немцев в тылу 22-го полка тогда не было, да и Хемингуэй ему почему-то ничего подобного не рассказал.)

Разыскали полк 3 сентября в Поммерее, но Лэнхем убыл в отпуск — пришлось вернуться в Париж. Но усидеть на месте было невозможно. Хемингуэй обратился к Бартону с просьбой прибыть в штаб дивизии, получил разрешение и утром 7-го с компанией — Пелки, Декан, бразильский журналист Немо Лукас, корреспондент лондонской «Дейли мейл» Питер Лоулесс и капитан Стивенсон — явился в штаб, базировавшийся на границе с Бельгией в деревне Арнье. Там просидел пару дней, успел разругаться с Лукасом, 9-го навешал 22-й пехотный у

города Уффализ, вернулся в штаб дивизии, переместившийся в Сент-Юбер. 10-го Лэнхем атаковал Уффализ — Хемингуэй полетел туда, Лукас и компания от него не отставали, и в конце концов, если верить неоконченным рассказам середины 1950-х «Ограниченная цель» (The Limited Objective; другое название — Indian Country and the White Army) и «Монумент» (The Monument), между Хемингуэем и Лукасом произошла драка, когда последний подверг группу опасности. К вечеру вошли в Уффализ, уже занятый Лэнхемом; немцы разобрали мост, связывавший части города, и чинившие мост бельгийцы приняли Хемингуэя за генерала, что на сей раз подтверждает Лэнхем.

Письмо от 8—11 сентября 1944 года к Мэри Уэлш: «Малыш, это был самый счастливый месяц в моей жизни... Знаешь, за что, где и почему сражаешься и с какой целью. Не одинок. Не разочарован. Не обманут. Нисколько фальши. Никаких проповедей. Цель ясна, и делаешь все, чтобы ее приблизить. Потом пишешь как можно лучше и даже лучше этого, и нет больше одиночества. <...> Из очерков, написанных для „Кольерс“ (если вставить вычеркнутые цензурой части), можно составить целую книгу. Но если не проституировать и не идти на компромиссы, то и тогда нам хватит денег, чтобы прожить, пока я напишу новый роман, а я каждый день тренируюсь, сплю, живу в суровых условиях на открытом воздухе, много не пью, стараюсь все понять и прочувствовать, потому что только так я смогу написать его».

Армия Паттона вела бои на «линии Зигфрида» — этому посвящен шестой и последний очерк Хемингуэя для «Кольерс»: «Временами мы на полчаса отставали от отступающих мотомехчастей противника. Временами почти догоняли их. Временами обгоняли, и тогда слышно было, как позади бьют наши 50-миллиметровки и 105-миллиметровые самоходные пушки, и смешанный огонь противника сливался в оглушительный грохот, и поступало сообщение: „Вражеские танки и бронетранспортеры в тылу колонны. Передайте дальше“. А потом, внезапно, парад кончился, лес остался позади, мы стояли на высокой горе, и все холмы и леса, видные впереди, были Германией». Топлива не хватало, корреспондентам пришлось бросить свои джипы и всем втиснуться в один. 12-го вслед за первыми американскими отрядами пересекли немецкую границу. Допрашивали пленных парашютистов — Хемингуэй сделал наброски к очерку о них, но так и не написал.

Письмо от 15 сентября к Патрику Хемингуэю: «Любимый мышонок, вот уже два месяца как Папа вернулся во Францию после дня „Д“. Должно быть, ты читал об этом в „Кольерс“. Позже я летал с английскими

летчиками, а потом был постоянно прикомандирован к пехотной дивизии, если не считать того периода, когда мне пришлось (временно оставив корреспондентскую работу) командовать отрядом маки — лучшее время за все эти месяцы, но писать об этом нельзя, расскажу при встрече. Находимся, как и Бамби, в подчинении УСС. Любопытнейшая история, и когда-нибудь длинными скучными зимними вечерами я еще надоем вам рассказами о ней. Мышонок, я очень соскучился по тебе, Старичку (одно из прозвищ Грегори. — М. Ч.) и Бамби и часто думаю о том времени, когда мы будем вместе. <...> Вчера и сегодня шли тяжелые бои...и сейчас пишу под грохот контратаки».

Двадцать второй пехотный сражался на «линии Зигфрида» 14–17 сентября; Хемингуэй, естественно, писал, что бои вели «мы», хотя не был на передовой из-за простуды и объехал позиции лишь 18-го, когда все кончилось. Письмо к Мэри от 13 сентября: «Мой дорогой малыш, вчера после целого дня преследования и стрельбы мы обосновались на ночь в пустом доме на ферме. <...> Когда мы пришли, люди все попрятались, но Джон нашел несколько человек, и они прибрали в доме, приготовили ужин и подоили коров, чтобы им не было больно, а я накормил кота и чудную, умную, сбитуую с толка собаку, убитую горем из-за того, что все ушли и нарушился привычный порядок вещей. Потом уйдем и мы, но, я надеюсь, люди вернуться и все будет хорошо, ведь у собак нет ни национальности, ни гражданства...» Упомянутый дом был в деревне Буше, там обедали с несколькими молодыми журналистами и Лэнхемом, во дворе разорвался снаряд, Хемингуэй отказался встать из-за стола и надеть каску, Лэнхем, которого друг начинал уже немного раздражать, назвал его поведение «дурацким» и «показным». В Буше тихо просидели две недели — он маялся от безделья и дурных предчувствий, 23 сентября написал Мэри, что возвращается в Париж, на конверте сделал пометку — отправить, если с ним что-нибудь случится. Неприятность, правда, не опасная, не заставила себя ждать.

Корреспонденты не имели права: а) носить военную форму; б) иметь оружие; в) участвовать в боевых действиях. В общем виде эти нормы сформулированы в Женевских конвенциях, а на практике регулировались инструкциями; инструкция армии США предписывала журналистам не иметь оружия, носить специальные знаки различия и, разумеется, не воевать. Хемингуэй, как следует из его рассказов, нарушил все правила. Коллеги этого не одобряли, одни из принципиальности, другие из зависти. В Рамбуэе Брюс Грант из «Чикаго дейли ньюс» публично обвинил его в самоуправстве. История дошла до генерала Паттона. Корреспонденты

подтвердили, что видели в номере Хемингуэя в Рамбуйе оружие, что он ходил в форме и допрашивал пленных. Он был вызван в Нанси, где 6 октября его допросил старший инспектор 3-й армии полковник Парк (историк Джеймс Ховард Мередит, исследовавший этот эпизод, подчеркивает, что то не был трибунал, а предварительное расследование, по результатам которого Паттон должен был решить — отдать нарушителя под трибунал, просто лишить аккредитации или простить). Ему предъявили обвинения: ношение и хранение оружия, ношение военной формы, участие в боевых действиях, попытки выдать себя за офицера. Вот выдержки из протокола допроса:

«Я прибыл в Рамбуйе как военный корреспондент, но также выполнял обязанности переводчика... Французские партизаны отдали себя под мое командование, несмотря на то, что я им сразу же разъяснил, что корреспондент не может командовать подразделениями. <...> Я был рад помочь им в любых вопросах, если это не нарушало Женевские конвенции. Когда они спросили моего совета, я предложил им помочь сохранить общественный порядок до прибытия властей. Я также сказал, что, пока не прибыла армейская разведка, они могли бы сами сделать разведку двух главных дорог из города. <...> После прибытия разведотряда под командованием лейтенанта Петерсона, когда партизаны спросили моего совета, чем они могут помочь в дальнейшем, я предложил им принять участие в защите окраин города. <...> Когда прибыл полковник Брюс из УСС, я объяснил ему ситуацию в городе и предложил свои услуги в любых действиях, которые не нарушают Женевские конвенции и не нарушат прав моих коллег — журналистов. <...> Там были следующие проблемы: в лесах были разбросаны немецкие отряды, одни из которых хотели сдать, другие пытались соединиться со своими частями между Рамбуйе и Парижем. <...> Во всех этих делах я служил консультантом и переводчиком полковника Брюса. Я не командовал отрядами, не давал распоряжений, а лишь передавал распоряжения полковника. <...>

Парк: У нас имеются данные о том, что мистер Хемингуэй не имел журналистских знаков различия и выдавал себя за полковника, руководя в этом качестве отрядом французских партизан, что в его номере были гранаты, мины и военные карты и что он управлял партизанскими патрулями.

Хемингуэй: В ответ на вышеупомянутые утверждения заявляю, что все корреспонденты, которые были в Рамбуйе, могут свидетельствовать, что я носил знаки различия корреспондента, кроме случаев, когда было холодно и я надевал поверх рубашки другую одежду. <...> Если меня и называли

полковником, это было то же самое, как в штате Кентукки называют полковником любого, кто бывал на войне, это ничего не значит и там называют полковниками и генералами кого попало. <...> Оружие в моем номере оставили партизаны на хранение. Во дворе гостиницы было много пленных, и нельзя было бросать оружие без присмотра.

Парк: Были в вашем номере мины?

Хемингуэй: Никаких мин в моем номере не было. Я вообще не имею привычки держать мины в своей спальне.

Парк: Вы говорили корреспондентам, что, находясь в 4-й пехотной дивизии, сняли знаки различия корреспондента и стали участвовать в боевых действиях?

Хемингуэй: Не говорил и не участвовал».

После допроса он уехал в Париж, Мэри не застал и, опечаленный, начал набрасывать рассказ о том, что чувствовал в тот вечер (остался лишь черновик без названия.) 8 октября его уведомили, что обвинения сняты. Мередит считает, что Паттон с самого начала хотел замять дело, так как оно могло обернуться неприятностями для многих, и, возможно, кто-то из штаба дивизии консультировал Хемингуэя перед допросом. Так правду Хемингуэй говорил Парку или нет? Брюс и Лэнхем его слова подтверждали, партизан никто не спрашивал. В письме к Бамби, написанном вскоре после допроса, он утверждал, что не нарушал Женевских конвенций. Но Лэнхему в апреле 1946 года сказал, что Паттон лично дал ему указание лгать на допросе, а Парк сам писал за него ответы; примерно то же написал Уильяму Лихи в 1952-м. Журналисту «Нью-Йорк таймс» Сайрусу Сульцбергеру в 1951-м рассказывал обтекаемо: «Я должен был писать для „Кольерс“ всего одну статью в месяц, и мне хотелось делать еще что-то полезное. Я обладал некоторыми знаниями о партизанской войне и был счастлив помочь любому, кто дал бы мне такую возможность». Носил ли он оружие? Лэнхем писал Карлосу Бейкеру, что ни разу не видел оружия в его руках. Но Билл Уолтон говорил, что оружие имели многие корреспонденты; Хемингуэй, по его словам, «зашел дальше и, вооруженный, командовал людьми», но никогда не использовал оружие. 5 декабря 1944-го, уже после допроса, Хемингуэй был сфотографирован с торчащей из кармана патронной обоймой; снимок попал в «Кольерс», но герой просил его не публиковать.

Начало октября прошло мирно: он жил с Мэри, написал для нее новую поэму, ходил по ресторанам с Нортон и Берком, встретился с Марлен Дитрих (она гастролировала в воинских частях), собирался работать, о чем доложил Перкинсу 15 октября: «Набрал материал на прекрасную книгу. Я

приехал в дивизию как раз накануне прорыва, участвовал во всех операциях и, если мне еще немного повезет, хочу отдохнуть и приступить к работе над книгой...» Какая книга имелась в виду, не установлено; судя по черновым наброскам, задумывалась трилогия о войне на Кубе и в Европе. Но уже через два дня раздумал и работать, и отдыхать. Написал Лэнхему, что хочет вернуться в полк, обещал «вести себя тихо» и «не создавать проблем». Пока ждал ответа, получил письмо от жены с предложением развестись.

Седьмого ноября пришло приглашение на войну, но не от Лэнхема. Стивенсон предлагал приехать в штаб 4-й дивизии, которая готовила наступление в районе Хюртгенского леса; обстановка сложная, поля и дороги минированы. По словам Мэри, Хемингуэй ехать не хотел, но считал своим долгом. 10-го был в штабе дивизии, 15-го, накануне наступления, с Деканом и Биллом Уолтоном прибыл в 22-й полк — Лэнхем вспоминал, что его появление было «как луч солнышка в мрачный день». Просидели за разговорами полночи: у Лэнхема было предчувствие, что он погибнет, поделился с Хемингуэем — тот отругал его, однако сам написал в ту ночь письмо Генри Ла Косси, редактору «Кольерс», в котором распорядился в случае своей гибели сделать Мэри получательницей по выданному журналом страховому полису. В полдень начался бой.

«В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили через двадцать минут, двух других — чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальонов не растут на елке, даже на рождественских елках, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров роты. Но я мог бы установить и это. <...> Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули. <...> Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию. Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день». Это не очерк для «Кольерс», а роман «За рекой, в тени деревьев». Но написан он будет еще не скоро.

Сражение продолжалось 18 дней. Корреспонденты оставались в полку,

правда, вылазок им совершать не позволяли и они находились при штабе, хотя иногда с Лэнхемом объезжали позиции. Вечерами беседовали. Все офицеры отмечали безупречную смелость Хемингуэя (как и Уолтона), вспоминали, что он прекрасно разбирался в вопросах военной тактики, говорили, что мог бы стать успешным командиром. Немного смущали только его бесконечные разговоры о том, кто мужчина и кто не мужчина. Спорили о религии — он неожиданно объявил себя атеистом. В штаб полка приехал дивизионный психиатр доктор Маскин: по свидетельству Лэнхема и Уолтона, Хемингуэй говорил с ним лишь о том, как горюет по своим кошкам, — то ли был искренен, то ли издевался, очевидцы не поняли. Маскин заметил, что у Хемингуэя «есть серьезные проблемы» — тот отвечал, что Маскин «разбирается во всяком дерьме и ублюдках, но ничего не смыслит в настоящих мужиках» и что все психиатры «дерьмо», на что доктор сделал мрачное пророчество: «Вы к нам еще попадете». Других конфликтов не было. Молодые офицеры, которые годились Папе в сыновья, были им очарованы и верили всем его байкам. Откровенен он был только с Лэнхемом — с ним говорили о детях, о женах. Вообще вел себя в те дни спокойно, по словам Уолтона, не выказывал покровительственности, не лез с советами, никого не задирали, пил меньше обычного, предпочитая угощать других. Многие читали его книги — говорил о них неохотно, но интеллигентно и умно. Он попал туда, куда нужно.

Двадцать второго ноября штаб, полка неожиданно подвергся нападению. Хемингуэй был там, это факт, а дальше очередные «непонятки»: Лэнхем пишет, что Хемингуэй принимал участие в обороне и вел огонь, но это со слов самого героя, так как Лэнхем был в тот момент вне штаба. лейтенант Том Кинан, комбат, запомнил Хемингуэя как «высокого мужчину с пистолетом-пулеметом Томпсона», но не видел, чтобы тот стрелял. В 1948 году Хемингуэй писал Лэнхему, что в Хюртгенском лесу «впервые за эту войну взял в руки оружие» (что противоречит его же собственным рассказам). Но Уолтон, также находившийся в штабе в момент атаки, клянется, что оружия у корреспондентов не было, что все знали о допросе и никто бы не дал оружия Хемингуэю, дабы не отправить его под трибунал, да и необходимости не было — атаку моментально отбили. Но в целом бои в Хюртгенском лесу для 22-го полка стали трагедией: с 15 ноября по 3 декабря было убито 126 человек, ранено 1859, 184 пропали без вести.

В полк переслали выпуск «Кольерс» от 18 ноября со статьей Хемингуэя «Война на „линии Зигфрида“», автор обнаружил купюры, поехал в штаб-квартиру армии, откуда отправил телеграмму: он напишет

еще одну статью, а после этого отношения с журналом прекращает. Но последняя статья так и не появилась. 30 ноября были с Уолтоном в разрушенной деревне Гроссау — страшные впечатления, полученные там, найдут место не в «Кольерс», а в будущих книгах. 2 декабря немцы предприняли контрнаступление, воевать в 22-м пехотном было некому, Лэнхем, по его словам, мобилизовал водителей и поваров — но не корреспондентов. 3-го был заключительный день Хюртгенского сражения, а 4-го остатки 22-го полка получили приказ отойти к Люксембургу. Оба корреспондента в тот же день выехали в Париж, по дороге их джип попал под обстрел с воздуха. Уолтон вспоминал, как коллега спас ему жизнь, проявив невероятную быстроту реакции — оба скатились в укрытие за мгновение до того, как машину обстреляли.

В «Ритце» Хемингуэй сказал Уолтону, что устал от войны и к Рождеству вернется домой. Он плохо себя чувствовал, мучила печень, слег с простудой, температура не спадала. Опять было много визитеров — молодой Уильям Сароян, Сартр с Симоной де Бовуар; позднее зачем-то рассказывал, что Симона его домогалась. Заказал билет на самолет, но передумал лететь, узнав, что немцы наступают в районе Люксембурга и 4-я дивизия ведет тяжелые бои. Дозвонился Бартону, тот не советовал приезжать, но 16 декабря Хемингуэй все же прибыл в штаб дивизии, хотя боя не увидел — наступление уже отразили. Уолтон был в штабе, увидел, как плох его друг, поехали в 22-й полк, Лэнхем вызвал врача, больному предписали покой и антибиотики; пять дней лечился, к 22-му почувствовал себя лучше, выезжали с Уолтоном на позиции. 24-го, в сочельник, как снег на голову свалилась Марта: инициатором ее приезда был Лэнхем, надеявшийся примирить супругов. Скандала не было, отметили Рождество, ночевали в штабе, но днем, по воспоминаниям Лэнхема, бурно ссорились. Новогодняя вечеринка проходила в люксембургском отеле — Марта флиртовала с Уолтоном, Хемингуэй проявил ревность, вышла безобразная сцена, дружба двух корреспондентов на сем закончилась, но не переросла во вражду.

В начале января перебрался в Париж — тот же номер окнами в сад, полный гостей, новостей и сплетен. Приезжали в отпуск офицеры из 22-го полка, заходили Марлен Дитрих и Уикхем-Бернс — приятное общение. Было и неприятное — при встрече в ресторане с Сарояном (критиковавшим «Смерть после полудня») Хемингуэй (по свидетельству Бернса) назвал его «поганым армяшкой», последовала драка. Существует легенда — Хемингуэй рассказал ее в 1952-м Харви Брейту из «Нью-Йорк таймс бук ревью», — будто в те дни к нему пришел Оруэлл, «сказал, что боится

коммунистов, и просил дать ему пистолет». Оруэлл прибыл в Париж в марте 1945-го и, как уже отмечалось, никто никогда не слышал, чтоб он хоть раз видел Хемингуэя. Зачем эта выдумка, чем Оруэлл провинился — только тем, что «неправильно» вел себя в Испании? Да, но еще, возможно, ревность: люди болтали, что Оруэлл работает на УСС и британскую разведку Ми-5, а Хемингуэю не посчастливилось. Зато в УСС с июля 1944-го служил Джон Хемингуэй — отец им страшно гордился.

В середине января 1945-го пришло известие о том, что Джон пропал без вести. Он в октябре был сброшен с парашютом во Франции: должен был обучать местных партизан и производить разведку местности, одевался как рыбак, носил с собой удочки и червей. Но уже через несколько дней был вместе с двумя товарищами обстрелян, ранен и взят в плен. Хемингуэй есть Хемингуэй: пленение сына окружено такими же легендами, как и приключения отца. Джон рассказывал, что допрашивавший его австрийский офицер, услышав его фамилию и звание, вспомнил, что знал семью в Шрунсе в 1925-м, и проявил к молодому человеку участие, направив его в госпиталь и даже напоив шнапсом. (Это очень мило, но зачем же разведчик назвал свою фамилию и звание?) Он был помещен в лагерь для военнопленных, откуда якобы пытался бежать, но был пойман; в конце концов его освободят американцы и он получит от французского правительства орден «Круа де Герр».

В январе Джон находился в лагере «Шталаг люфт III» под Нюрнбергом, отец этого не знал, был в тоске и опять запил. Мэри уезжала в Лондон и вернулась лишь к Валентинову дню. Как и с Мартой, они начали ссориться, не успев пожениться. Лэнхем, приехавший в отпуск по ранению, описал эпизод: он подарил Хемингуэю трофейный пистолет, тот пожелал стрелять из него прямо в номере, Мэри пыталась его удержать, он взял фотографию ее мужа и расстрелял ее, запершись в ванной комнате, — Мэри была взбешена, едва не дошло до разрыва. На Кубе тем временем случился ураган, пострадала «Ла Вихия»: Хемингуэй послал Вильяреалу три тысячи долларов на ремонт, бронировал на 6 марта место на американском военном самолете до Нью-Йорка. Накануне написал Мэри нежное письмо, подписался «твой муж», вечер провел с Уолтоном и Лэнхемом, говорил, что сердце велит оставаться на войне до конца, но разум приказывает вернуться домой, работать и заботиться о семье.

Он провел в Европе десять месяцев, из них примерно месяц на фронте. А Маклишу в 1948 году писал, что был «в непрерывных боях» в течение 1088 дней, то есть около трех лет. Убил ли он кого-нибудь? Во время войны говорил только о доме, забросанном гранатами, но не утверждал, что были

убитые. Он вел краткий дневник — и там об убитых ни слова. Но на обеде в «Ритце» осенью 1944-го, по воспоминаниям Пикассо, заявил, что убил эсэсовца и снял его знаки различия: «Он лгал. Если бы он кого-то убил, он бы непременно показал и подарил кому-нибудь эти знаки отличия». А Мэри упоминает, что чей-то Железный крест он ей подарил, но не говорил, что снял его с убитого.

Потом он начал сочинять. Историк Маршалл опубликовал книгу о войне, которая Хемингуэю не понравилась, и в том же письме Макклишу он критиковал автора и утверждал, что сам «по необходимости» убил столько немцев, сколько Маршаллу и не снилось. «За 8 месяцев я убил 26 фрицев. Ни одного из тех убийств я не стыжусь, кроме одного, когда мы стреляли из засады... Я застрелил фрица, а он оказался 17-летним мальчиком». Он дал мальчику морфий и ухаживал за ним, а потом вернулся в засаду и убил еще много немцев «по отдельности, группами» и даже едущих в «фольксвагенах». Историю с мальчиком он изложил и в письме Лэнхему в сентябре того же 1948-го — там убитому 16 лет. А в 1956-м она появилась в рассказе «Черномазый на распутье» (Black Ass at the Cross Roads), где герой, ранивший юного немца, дает ему морфий и целует в лоб.

Через два года количество убитых фрицев резко увеличилось. В мае 1950-го Хемингуэю опять не понравилась книга о войне — автором был маршал Монтгомери, — и он написал генералу Дорману-О'Говэну (это имя принял его старый друг Дорман-Смит), что убил столько народу, сколько не снилось Монтгомери, конкретно — 122 человека. Через месяц писал Майзенеру и Скрибнеру — опять 122 убитых, с подробностями: одному «сопливому» эсэсовцу он пригрозил расстрелом, если тот не покажет выходы из укрытия, тот отказался, Хемингуэй «трижды выстрелил ему в живот», заставил встать на колени и выстрелил в голову «так, чтобы выбить из него соплю».

Джон Хемингуэй в интервью сказал: «Я знаю, что мой отец утверждал, будто убил 122 фрица, но, думаю, он просто сожалел, что ему этого не довелось. Возможно, кого-то он и убил. Он сотрудничал с УСС и, возможно, что-то такое было». (Ни с каким УСС его отец не сотрудничал, если не считать два дня в Рамбуйе с Брюсом.) Лэнхем писал, что Хемингуэй «вряд ли когда-либо сталкивался с немцами — разве что видел их на горизонте». Биографы пишут по-разному. Бейкер просто приводит рассказы Хемингуэя, сопровождая их ехидным «так он сказал», однако ссылается на слова Джона Раггlsa, офицера из 22-го полка, что Хемингуэй, «возможно, убил несколько немцев». Мейерс: «Хемингуэй утверждал, будто убил много немцев, но нескольких-то наверняка убил». (Странная

логика — если человек заявил, будто был на Марсе 122 раза, то уж несколько-то раз наверное бывал.) Меллоу сомневается, что Хемингуэй убил хоть кого-нибудь, а Рейнольдс категорически не верит: «число убитых напрямую зависело от количества выпитого, и когда фрицы шли на вторую сотню, все переставали слушать». Думается, последнее верно. Недаром Хемингуэй не рассказывал об убийствах людям, которые могли бы проверить его слова.

Зачем появлялись эти выдумки, понятно: как в юности, хотелось быть «крутым». Но как умный взрослый человек мог думать, что адресаты поверят в «122 фрица» и прочее? Прав ли был психиатр Маскин, уже в 1944-м заметивший «серьезные проблемы», или эти проблемы появятся позднее, когда будут написаны странные письма? Уолтон в интервью 1993 года сказал: «Он был сочинителем. Он не делал различия между беллетристикой и действительностью. И порой, когда мы были вдвоем, он расскажет мне какую-нибудь историю, а я смотрю недоверчиво, а он говорит: „Ты мне не веришь?“ Я говорю: „Нет“. А он — „И правильно делаешь...“».

Глава девятнадцатая В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Во время остановки в Лондоне 7 марта они встретились с Мартой: больше не увидятся и отзываться друг о друге будут со смешанным чувством восхищения и неприязни. В Нью-Йорке отца встречал Патрик, рассказавший о тех днях в интервью 1999 года: пробыли в городе неделю, сходили в магазин спортивных товаров, где отец купил подержанный дробовик, «самый уродливый, какой я когда-либо видел, и ужасно дорогой. „Папа, — спросил я, — ты вправду хочешь купить этот ужасный дробовик?“ „Да, — сказал он, — им владел один паршивый фриц. Он умер, а я еще жив“». Встречался с Перкинсом, с демобилизованными офицерами из 22-го пехотного, с Брауном, тренером по боксу — тот проводил отца с сыном на поезд до Пенсильвании, где нужно было забрать Грегори, прежде чем ехать домой. Патрик: «Состояние папы было плачевное, он кашлял кровью из-за хронической бронхиальной инфекции, антибиотиков еще не знали, и единственное лекарство, которое он признавал — выпивка. <...> То была долгая и печальная поездка... Мы говорили мало и спали плохо. Когда мы добрались до Майами, он сказал: „Мышонок, я хочу тебе рассказать о том, как мы взяли Париж, и о замечательной девушке, которую, уверен, ты полюбишь, хотя она старовата для тебя. Но сперва давай найдем место, где можно выпить, чтоб избавиться от этого кашля...“».

Дети пробыли в Финке всего неделю. Одиночество переносилось хуже обычного: тяжело болел, работать не мог, без Мэри не мог, пил, тосковал по войне: по его словам, в Париже он не чувствовал себя виноватым за то, что не пишет, так как был занят более важным делом, но здесь — виноватился. Побывал на приеме в советском посольстве, где стал свидетелем ссоры между двумя своими знакомыми по испанской войне: Роландо Масферрер объявил Хуану Маринелью, что порывает с коммунистами. Гаранин с женой нанес ответный визит 10 апреля и в очередной раз доложил начальству, что от «Арго» проку нет: «Ничего особенного он не рассказал, может быть, потому, что там были другие гости. Его самочувствие плохое: он был ранен, физически ослаблен, к тому же его старший сын находится в плену. „Арго“ сильно переживает за него. Немцы могут убить Джона из-за ненависти к писателю. После небольшого отдыха „Арго“ собирается писать книгу о войне».

Вскоре Гаранина перевели в другую страну, и резидентура НКВД в Гаване фактически прекратила существование. В 1949 году советская резидентура включила «Арго» в список источников, связь с которыми не возобновлялась, в 1950-м Москва предложила возобновить контакт. Возобновление, видимо, опять поручили Джозефу Норту, который завербовал или сделал вид, что завербовал Хемингуэя, так как в ответном донесении из Вашингтона сообщалось, что «Арго» поддерживает отношения с Нортом, но — «По слухам, „Арго“ якобы поддерживает троцкистов и в своих статьях и брошюрах допускал нападки на Советский Союз». Информация шла, вероятно, от того же Норта — никаких «троцкистов» Хемингуэй не поддерживал, разве что помирился с Дос Пассосом, и об СССР давно не писал. На этом контакты с «агентом» прекратились навсегда.

Мэри прибыла в Нью-Йорк 13 апреля, на Кубу не поехала, ей нужно было в Чикаго к родным, позвонила по телефону: муж, по ее словам, жаловался на одиночество и нездоровье, обещал пить поменьше и не с утра. Примерно с этого момента Хосе Луис Эррера стал его лечащим врачом, конфидентом и одним из немногих источников информации о нем. Образчики такой информации из книги Папорова: «Как только Эрнест, уже в Париже, узнал о пленении Джона, он с группой французских партизан, перебравшись через линию фронта, отправился к Монпелье. Получилось так, что он продвигался несколько впереди наступавших американских частей с единственной целью разыскать Джона и отбить его. Эрнесто напал на след. Захваченных им немцев Хемингуэй допрашивал с особым пристрастием. В „Ла Вихии“ хранится боевой нож эсэсовца, которым Эрнесто в те дни, как он любил выражаться, „немного нарушал Женевскую конвенцию“». «Хемингуэй неимоверным усилием воли заставил себя устоять на месте, не броситься на сержанта и не задушить его голыми руками — он это умел делать в былые годы». Простак ли Эррера, верящий байкам пациента, или баснословный лжец, уже не узнать. (Мы не попусту уделяем внимание Эррере: некоторые его рассказы о Хемингуэе носят принципиальный характер, и нужно понимать, какова степень доверия к ним.) Хотя, возможно, это выдумки самого Папорова, так как в книге Сирулеса, тоже основанной на фантазиях Эрреры, Хемингуэй все-таки никого не пытал и не душил.

Теперь о лечении. Пациент жаловался на ухудшение слуха, звон в ушах, боли в печени, повышенное давление, ночные кошмары, бессонницу, замедленность в речи и мыслях, нарушение памяти и приступы «собачьей тоски». Эррера прописал ему гипотензивные препараты. Он также, не

будучи психиатром и не поставив диагноз, взял на себя смелость прописывать разнообразные транквилизаторы и антидепрессанты. Он утверждал, что Хемингуэй не был алкоголиком и использовал спиртное «в качестве транквилизатора», и не пытался заставить пациента не пить, а лишь требовал «снизить суточную дозу», хотя уже в те времена медики понимали, что антидепрессанты с выпивкой несовместимы ни в каких дозах. Он говорил Папорову, что «Эрнесто сумел подчинить потребность в алкоголе своим интересам». Но скорее уж «Эрнесто» сумел подчинить врача своей потребности в алкоголе.

Эррера также предписывал писателю хорошо питаться, побольше отдыхать и избегать умственных нагрузок, то есть не работать. Вот образец его рекомендаций (из письма, отправленного Хемингуэю в Италию в 1950 году): «Прогулки, охота, рыбная ловля и любой другой вид спорта, который не требует чрезмерных нагрузок. Отводить по меньшей мере четыре часа ежедневно отдыху, из которых один час должен быть „созерцательным“ — полный умственный отдых: ни читать, ни размышлять над тем, что может вызвать волнения. Спать положенные восемь часов в сутки и в постели, а не в креслах. Если будут продолжаться судороги в икрах, слегка массировать ноги в течение десяти — пятнадцати минут по утрам и перед сном. Не допускать половых излишеств. Режим питания. Обычная разнообразная пища с большим употреблением свежих овощей и фруктов. Рекомендуются продукты моря: устрицы, креветки, лангусты, съедобные ракушки и т. п. Во время еды стремиться избегать каких-либо разговоров, особенно связанных с делами. Употребление спиртного сократить до минимума. По возможности исключить прием джина и перно». Подобные рекомендации при умственном переутомлении — обычное дело. Но состояние Хемингуэя не имело ничего общего с умственным переутомлением — он и так уже четыре года не работал.

Больной отчасти последовал необременительным советам доктора: ходил на пляж, стрелял по голубям, посещал петушиные бои, совершил небольшую прогулку на яхте, играл в теннис. Но уговорить его «пить поменьше», по признанию Эрреры, не получалось: доктор серчал, они ссорились, потом пациент приносил извинения, а добрый доктор соглашался его простить. Мэри приехала 2 мая. Увиденное ее не обрадовало: муж жаловался на потерю слуха и провалы в памяти, был раздражителен, дом и сад запущены, повсюду кошачья шерсть и запах. Но Мэри приняла решение терпеть все и, в отличие от Марты, добивалась своего не в открытой конфронтации, а потихоньку.

Мейерс пишет, что она «хотела стать Софьей Андреевной Толстой», а

некоторые «мэриненавистники» утверждают, что она вышла за Хемингуэя лишь потому, что рассчитывала быть его вдовой. Эти утверждения основаны на том, как она вела себя с мужем в его последние годы. Но пока она была безупречна. Обихаживала мужа, поощряла заниматься рыбалкой и сама проявила интерес к ней, училась управлять яхтой, приструнила прислугу, нашла общий язык с кошками и визитерами (Эррера: «Марта относилась к нам снисходительно. Многих его друзей она категорически не принимала. Мэри же отличалась добротой и сдержанностью»), даже петушинные бои полюбила и не требовала, чтобы муж не пил, предпочитая разделять с ним бутылку.

В 1956 году Хемингуэй говорил: «Мэри чудесная жена, она сделана из крепкого, надежного материала. Кроме того, что она чудесная жена, она еще и очаровательная женщина, на нее всегда приятно смотреть. Вдобавок она великолепная пловчиха, хорошая рыбачка, превосходный стрелок, незаурядная повариха, хорошо разбирается в винах и любит заниматься астрономией, что не мешает ей заниматься садоводством. Кроме астрономии, она изучает искусство, политическую экономию, язык суахили, французский и итальянский языки. <...> Когда ее нет, наша Финка пуста, как бутылка, из которой выцедили все до капли и забыли выбросить, и я живу в нашем доме словно в вакууме, одинокий, как лампочка в радиоприемнике, в котором истощились все батареи, а ток подключить некуда...»

Однако окружающие подозревали, что муж скорее пытается убедить окружающих в своем семейном счастье, чем испытывает его, и что женился он от отчаяния, дабы излечить раненное Мартой самолюбие. Эррера рассказывал Папорову, будто бы Хемингуэй сказал: «Настоящий брак возможен только при условии, что муж — самец, производитель. А жена — так себе, влюблена в него и ни у кого не вызывает интереса» и «упорно твердил, что удачный брак — когда муж во всем превосходит жену». Штетмайер: «Женщины в жизни Хемингуэя... играли гораздо большую роль, чем можно себе представить. <...> Начиная с матери, каждая из его жен и многие из тех, кого он встречал на пути, оставляли по себе след, активно влияя на его жизнь, на его труд. Эрнест понимал это, но — таков уж был он — тщательно скрывал — и порою от самого себя — за фасадом мужского бахвальства, напускного „мачизма“, как говорят мексиканцы. После Полины и особенно провала, краха, значительной силы психологического удара, нанесенного ему Мартой, с которой он уже, по всей вероятности, не мог быть полноценным мужчиной, Хемингуэй не функционирует должным образом. Его сверхэстетическая натура

становится крайне уязвимой». Но в первое время после приезда Мэри все было хорошо: муж пил меньше, подтянулся, по словам Роберто Эрреры, «посветлел и помолодел».

Мэри станет официальной вдовой Хемингуэя. В книге «Как это было» она расскажет о прожитых с ним годах — приглаженно и слащаво. По ее словам, муж сразу продекларировал принципы брака (à la Лев Толстой): нужно быть внимательными друг к другу, сражаться за то, что считают справедливым, вырастить хороших детей, которые будут следовать их примеру, стараться сделать мир лучше и т. д. Жизнь в Финке она также описала идиллически, но в общем верно: «На Кубе с ним приходило повидаться много людей, иногда слишком много, и все в одно и то же время, и тогда он жаловался, что ему мешают работать. Бывало, что он жаловался, что приходится встречаться с разными идиотами. Но чаще он бывал рад гостям. Ведь он был очень общительным. Он любил, чтобы вокруг вертелись люди. Часто он собирал своих друзей и вел их с собой в бар „Флоридита“, где любил посидеть с ними за стаканом вина и от души посмеяться». В интервью рассказывала, что муж если не писал, то ловил рыбу или плавал в бассейне, после ужина читал — по пять-шесть книг на разных языках одновременно. Читал он действительно очень много вне зависимости от здоровья (за исключением самых последних лет), Фуэнтес провел исследование в его библиотеке: поля книг испещрены заметками, внимательный читатель хвалил и критиковал коллег, полемизировал с ними.

Мэри сказала, что муж чаще работал, чем не работал: в иные периоды так и было, но не в 1945 году. Единственные его тексты за весну — лето — очерки в гаванской прессе о боксере Мустельере. Переписывался с Лэнхемом, которого произвели в бригадные генералы, — тон был бодрый; Бартону написал о своих подвигах в Рамбуйе, тот ответил, что будет ходатайствовать о награждении его «Бронзовой звездой». Джон, освобожденный из плена (о его местонахождении было известно с мая), в июне прилетел в Гавану, на каникулы приехали младшие братья. Опять инциденты с Грегори — пропало белье Мэри, та уволила горничную, а вещи отыскались в комнате пасынка. Как вообще сыновья отнеслись к новой мачехе? Выносить сор из избы в этой семье не принято, но кое-что стало известно из опубликованной в 2007 году в газете «Нотисиас де Куба» беседы Валери Хемингуэй (последним секретарем писателя и вдовой одного из его сыновей) с кубинским хемингуэеведом Глэдис Родригес Ферреро, работавшей в течение семнадцати лет директором дома-музея в «Ла Вихии».

«Глэдис: Когда я встретила Бамби в 1983-м, в одной из наших бесед он сказал мне, что ненавидел Мэри.

Валери: Я думаю, все дети Хемингуэя ненавидели ее.

Глэдис: И когда Грегори был здесь в 1995-м, он сказал мне, что он ненавидел Мэри, выразившись весьма ясно: „Пожалуйста, не произносите при мне ее имя“.

Валери: Да, верно. В Бостоне, на международном собрании в честь столетия со дня рождения Хемингуэя, в библиотеке Джона Кеннеди, я спросила Патрика — мне хотелось знать, что он о ней думает. Он ответил: „Пожалуйста, не будем говорить об этом“. Они все трое любили Марту. И не потому, что она была женой их отца, она была для них чем-то большим».

Мэри меж тем ожидала развода, которого не одобряли ее родители, принадлежавшие к секте «Церковь христианской науки Мэри Б. Эдди»; отец, Томас Уэлш, присылал будущему зятю религиозные брошюры, тот отвечал кратко: «Во время Первой мировой войны после ранения я был по-настоящему напуган и под конец стал очень набожным. Страх перед смертью. Надежда спасти собственную душу или уцелеть с помощью молитв о защите, обращенных к Деве Марии и прочим святым чуть ли не с неистовством первобытного человека. Во время войны в Испании мне казалось слишком эгоистичным молиться за себя, когда вокруг тебя непосредственно поддерживаемые церковью люди творили такие ужасные вещи по отношению к народу. Правда, порой мне недоставало духовного утешения, как привыкшему выпивать человеку не хватает глотка спиртного, когда он продрог и промок. Во время этой войны я не молился ни разу. Хотя попадал в разные переделки. Думал, что, потеряв всякое право на покровительство, просить о нем, несмотря на страх, было бы нечестно...»

Родителей письмо не убедило — Мэри нужно было снова ехать к ним. 20 июня Хемингуэй повез ее на аэродром, хотя ему не рекомендовали управлять автомобилем, врезался в дерево, разбил лоб о ветровое стекло, сломал несколько ребер и повредил ногу. У Мэри была рассечена щека — по ее воспоминаниям, муж, несмотря на собственные ранения, отнес ее на руках в медпункт и умолял пластического хирурга «спасти ее лицо». Письмо Перкинсу от 23 июля: «На этот раз голова не очень пострадала — рана на лбу довольно глубокая, но трещины в черепе или сотрясения мозга не было. Сильно ударил левое колено, и оно до сих пор беспокоит — плохо сгибается. Грудная клетка уже в порядке... Был первый дождливый день после восьми месяцев засухи, и дорога на холме, по которой возят глину, была такой скользкой, словно ее натерли мылом. Не повезло. Чтобы замаять

шумиху, я велел прислуге сказать газетчикам, что ничего серьезного не произошло и что я уехал на рыбалку. Но вообще-то мне досталось. Рана на голове от зеркала заднего вида... Рулевую колонку я погнул грудью... Четвертая авария за год. К счастью, в печать просочилось сообщение только о двух из них.

Бамби был здесь, но уже уехал. Славный мальчик. В плену он похудел, но уже немного отошел. Однажды он бежал из лагеря. <...> После первой выброски он провел в тылу у немцев шесть недель — организовывал сопротивление. (Неизвестно, чьи это выдумки — Джона или Эрнеста. — М. Ч.) <...> Прошлый год был очень тяжелым. Все, чему научился, досталось мне нелегко и, честно говоря, Макс, это далеко не то, что прописал бы доктор хорошему писателю 45 (46. — М. Ч.) лет, имеющему дело с таким деликатным инструментом, как голова... Но за прошедший год я узнал много больше, чем за все предшествовавшие годы, и надеюсь со временем написать об этом что-нибудь приличное. Я буду очень стараться».

Он старался — за лето давление снизилось, прекратились провалы в памяти, ограничивал себя в спиртном, пробовал работать, но не смог. Мэри в конце августа уехала в Чикаго и застряла там надолго. Сентябрь без нее прошел скверно, Хемингуэй оживился лишь 22-го, когда приехал погостить Лэнхем с женой. Водил гостей на бокс, хай-алай, петушинные бои, катал на яхте. Лэнхем вспоминал, что вели много серьезных разговоров, в частности о бомбардировке Хиросимы: Хемингуэй высказывал опасения, что Штаты превращаются в «международного палача», ругал покойного Рузвельта, хвалил Советский Союз. Гости его взглядов не разделяли, а миссис Лэнхем обозвала «Чемберленом», имея в виду то, что он так же благодушен к врагу (СССР), как Чемберлен перед войной — к Германии. Жена Лэнхема была похожа на Мэри Уэлш и звали ее тоже Мэри, Хемингуэй к ней привязался, но без взаимности, и, возможно, антипатия, которую она испытывала, повлияла и на чувства ее мужа. По словам Лэнхема, Хемингуэй постоянно говорил о своем детстве, поносил мать, которая «погубила» его отца и пыталась сделать то же с ним, непристойно отзывался о Полине и Марте. Миссис Лэнхем сочла его законченным женоненавистником, сказав мужу, что, видно, Грейс и Марта «взяли верх над Хемингуэем и он им этого простить не мог».

Гости пробыли всего две недели, так как Лэнхем получил назначение на пост начальника отдела информации и образования в военном министерстве. Хемингуэй не выносил психоанализа, но Лэнхемы невольно сыграли роль психоаналитиков: он выговорился, и на душе полегчало. Охлаждения со стороны Лэнхемов он не заметил, после их отъезда был в

неплохом настроении, много гулял, плавал, вот только работать не мог. За осень написал лишь предисловие к антологии «Сокровища свободного мира»: «В мирное время обязанность человечества заключается в том, чтобы найти возможность для всех людей жить на земле вместе». Там же высказался об атомной бомбе: «Сейчас мы — самая сильная держава в мире. Важно, чтобы мы не стали самой ненавидимой...» Крохотный текст потребовал таких усилий, что вернувшаяся в октябре Мэри застала его опять в глубоком унынии. Примерно в тот период у него стал развиваться страх, который не отпустит до конца жизни — остаться без средств. Ругал Рузвельта, который «украл» его заработок, говорил, что скоро не сможет содержать усадьбу. В ноябре деньги появились: «Парамаунт» купила права на экранизацию «Фрэнсиса Макомбера», а «Юниверсал» — «Убийц». А в 1947-м продюсер Марк Хеллинджер и адвокат Морис Спейсер составили контракт, предусматривавший постоянный доход от Голливуда. Но он все равно беспокоился.

Сыновья приезжали на зимние каникулы, Джон задержался на три месяца (потом уехал доучиваться в университете). Под Рождество — новое огорчение: Жан Декан был арестован по обвинению в коллаборационизме. Во Франции все обвиняли друг друга в сотрудничестве с немцами, разобраться, кто им служил, а кто с ними воевал, было подчас невозможно, тем более что один и тот же человек мог в разные периоды делать то и другое. Как сообщает Бейкер, Хемингуэй отправил французскому правительству письмо, подтверждающее участие Декана в освобождении Парижа, и просил Лэнхема сделать то же самое. Как отнеслись к этому во Франции, не удастся установить: Декан, во всяком случае, оправдан не был. Интересно, вспомнил ли Хемингуэй о том, как тщетно хлопотал за друга Дос Пассос в Испании.

*

Двадцать первого декабря он развелся с Мартой. Она была корреспондентом «Кольерс» на Яве, опубликовала несколько романов, в 1949-м усыновила сироту, жила в Мексике, в 1954-м вышла замуж за коллегу, в 1963-м развелась, 13 лет провела в Кении. Она освещала в прессе вьетнамские войны, арабо-израильский конфликт, перевороты в Центральной Америке, приезжала в СССР; в 81 год она писала об американском вторжении в Панаму. Узнав, что неизлечимо больна, отравилась снотворным в Лондоне в 1998 году. Из романа «За рекой, в тени

деревьев»:

«— Она была женщина честолюбивая, а я слишком часто бывал в отъезде.

— Ты хочешь сказать, что она ушла от тебя из честолюбия, а тебя никогда не бывало дома из-за твоего ремесла?

— Вот именно, — сказал полковник, вспоминая прошлое почти без горечи. — Честолюбия у нее было больше, чем у Наполеона, а таланта — как у первого зубрилы в школе.<...>

— Как ты мог жениться на журналистке и позволить ей этим заниматься?

— Я же говорил, что у меня в жизни бывали ошибки, — сказал полковник».

Четвертая и последняя свадьба (гражданская церемония) состоялась 14 марта 1946 года в Гаване. Вечеринка, на которой присутствовали дети и десяток кубинских друзей, едва не закончилась разрывом — молодая жена уже упаковала чемоданы. Но мужу женитьба пошла на пользу: он наконец смог усадить себя за работу. Какую именно — точно не установлено. Он называл ее книгой о войне. Это могли быть фрагменты того, что потом превратится в романы «Острова в океане», «Эдем» и «За рекой, в тени деревьев»: два первых не будут закончены и увидят свет лишь после смерти автора, который до конца не был уверен, что скомпоновал их как должно. Большинство биографов, ссылаясь на Бейкера, успевшего лично пообщаться с Хемингуэем, уверены, что весной 1946 года он писал «Эдем», однако Роз Мэри Бервелл доказывает, что работа над «Эдемом» была начата только в 1948 году, а Рейнольдс — что в 1952-м; кроме того, этот роман — не о войне. В 1946-м Хемингуэй говорил, что пишет-пишет и все еще не «добрался до войны», так что речь могла идти об «Островах», где войне посвящена самая последняя часть, или о «За рекой». Но все это лишь предположительно. Писатель может делать наброски к одному роману, а потом передумать и включить их в другой.

В апреле в Штаты прибыла делегация советских писателей: Константин Симонов, Михаил Галактионов, Илья Эренбург. Хемингуэй и Симонов знакомы не были, но американец слышал о только что вышедшем на английском и получившем прекрасную прессу романе об обороне Сталинграда «Дни и ночи». Хемингуэй узнал о визите русских от знакомого, Томаса Шевлина, и 16 мая отправил Эренбургу и Симонову письма с приглашением в гости: «Я сейчас нахожусь на середине романа и буду счастлив отложить работу на пару дней, чтобы съездить с Вами половить рыбу в Гольфстриме...» Симонов отвечал из Нью-Йорка 20 июня:

«Я был очень счастлив получить Ваше письмо.

Я долго не отвечал, потому что все надеялся, что смогу поехать на Кубу. Но только сегодня узнал, что это невозможно». (Хемингуэй не понимал, что советский писатель не может ездить куда ему вздумается; делегацию отправили в Канаду.) Симонов писал, как восхищен книгами коллеги: «Прощай, оружие!» — «не просто книга, а моя жизнь, или, точнее, часть моей жизни», «Белые слоны» вдохновляли на стихи. «Одним словом, мне кажется, что после войны я не только ценю Вас, но и понимаю. Возможно, это звучит слишком самонадеянно, но тем не менее мне так кажется, и я решил писать только правду, потому что иначе бы не имело бы смысла писать. Если Вы верите мне, то понимаете, что я чувствую и почему мне так хотелось увидеть Вас. Мне это нужно не потому, что это интересно, а потому, что необходимо. Вы меня понимаете? Я надеюсь через некоторое время, возможно, через год, снова приехать в Америку...»

Симонов также просил высказаться о «Днях и ночах». Хемингуэй ответил 26 июня: «Огромная радость — получить Ваше письмо и ощущать тесную связь как с братом и хорошим писателем. Но как же жаль, что Вы не приедете! Мы бы чудесно провели время в море и в моем доме. Вашу книгу получил вчера днем. Сегодня читал, и когда закончу, напишу Вам в Москву. Судя по первым 48 страницам, я получу большое удовольствие. Буду счастлив написать об этом. Я давно должен был прочесть ее. Но я только что вернулся с войны и не мог ничего читать о ней. Даже самое лучшее. Я уверен, Вы меня поймете. После моей первой войны я почти 9 лет не мог о ней писать. После войны в Испании я вынужден был писать о ней сразу, потому что знал, что вот-вот начнется новая война и у меня нет времени. <...> В эту войну у меня сильно пострадала голова (три раза), и меня мучили головные боли. Но в конце концов я снова взялся за перо, и дело пошло, но и после 800 страниц рукописи романа я все еще не добрался до войны. Но если со мной ничего не случится, роман охватит и войну. Надеюсь, он мне удастся... я пишу с таким усердием и почти без перерыва, что недели, месяцы проносятся так быстро, что не успеешь оглянуться, как умрешь. <...>

Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и посмотреть, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что по-русски я знаю лишь четыре слова: „да“, „нет“, „говно“ и „нельзя“, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении „кочерыжек“ (так мы прозвали немцев) на другой работе. Два года я провел в море на тяжелых заданиях. Потом я уехал в Англию, оттуда вылетел в

Нормандию на самолете королевских ВВС, был свидетелем высадки в Нормандии, а после этого до конца войны оставался в 4-й пехотной дивизии. В королевских ВВС провел время хорошо, но бесполезно. А в 4-й дивизии и в 22-м полку старался быть полезным, потому что знаю французский язык и страну, что позволило мне работать связным между нашими передовыми частями и отрядами маки. (Тут следует длинный рассказ о подлеце Мальро. — М. Ч.) <...>

Но, черт возьми, почему же Вы не можете приехать?! Есть ли переводы Ваших стихов и дневников на английский язык? Если есть, пришлите, мне очень хочется их прочесть. Потому что я понимаю Вас, а Вы понимаете меня. Мир наконец дошел до того, что писатели могут понять друг друга. Вокруг много говна (боюсь допустить ошибку в этом слове), но по-прежнему есть немало хороших и умных людей, и если мы пойдем друг друга, то не позволим, вопреки всем козням Черчиллей, развязать войну. Простите, что говорю о политике. Я знаю, что когда я начинаю говорить о политике, Вы можете счесть меня дураком. Но я знаю, что ничто не может помешать дружбе между нашими странами, и эта дружба может быть столь же тесной, как у нас с Канадой, а если не будет, то этому не найти потом ни экономического, ни морального оправдания. Так или иначе, берегите себя и пишите. Я знаю, как нас всех затягивает журналистика. Но помните, что это грех против Святого Духа, если не пишешь так, как должно, и это не принесет пользы...»

Под конец Хемингуэй передавал привет Кашкину и спрашивал, переведен ли на русский язык «Колокол». Симонов ответил из Бостона: хотя «Колокол» не издается в СССР, он лично дважды видел рукописные переводы и это одна «из трех-четырех книг», которые ему по-настоящему нравятся, рассказывал о Кашкине, выражал надежду на встречу. Но она так и не состоялась.

Симонова принято называть «советским Хемингуэем» и считать, что он Хемингуэю подражал, но недотянул до образца. В молодости — да, но если сравнить позднего Симонова, автора «Живых и мертвых», с поздним Хемингуэем, да хотя бы с «Колоколом», то это еще вопрос, кто до кого недотянул. У Симонова люди воюют — как живут («война — это очень ускоренная жизнь»), у Хемингуэя живут — как воюют; у Симонова — строят, окапываются, устраиваются, у Хемингуэя — взрывают, разрушают, совершают подвиги. У Симонова герой спасает ребенка, у Хемингуэя — убивает друга, и об убитом Кашкине ему нечего вспомнить, кроме того, что от того «пахло страхом» и хорошо, что он его убил! Попробуем перечесать «Живых и мертвых» и «Колокол» параллельно и ощутим, что они

находятся на разных берегах, один из которых называется жизнь, а другой — Голливуд...

*

В июне Мэри сообщила о беременности; надеялись на рождение дочери. Провести осень решили в Кетчуме, где уже жили Патрик и Грегори. 19 августа, когда проезжали город Каспер, жене стало плохо: беременность оказалась внематочной. В больнице не оказалось главного хирурга (он был на рыбалке), молодой врач сказал, что возможен летальный исход. По настоянию мужа (Папоров: «Эрнест схватил лежавший на столе ланцет, приставил его к горлу медика...») сделали переливание крови, дождался нормального врача, женщину спасли, но последняя надежда иметь дочку умерла. Муж неотлучно провел в больнице неделю, как всегда при серьезных событиях, пил мало, вел себя умно, мужественно и деловито; Мэри справедливо сказала, что он — «человек, которого хорошо иметь рядом во время несчастья». Вызвал сыновей, те приехали, вся семья оставалась в Каспере до выписки Мэри. 13 сентября, проводив Грегори в школу (Патрик из-за болезни пропускал семестр), отправились в Кетчум и пробыли там два месяца (жили на сей раз не в отеле «Сан-Вэлли», а в кетчумской гостинице). Приезжал Джон, был Гари Купер с женой, гостил также восторгавшийся Хемингуэем молодой сценарист Питер Виртел, который в войну служил моряком, а потом агентом УСС: кажется, Папа должен такого юношу обожать, но, по рассказам Виртела, его кумир относился к нему насмешливо, зато «взял в дочери» его юную жену Джиги. Состоялась премьера фильма по «Убийцам» с Бертом Ланкастером, автору понравилось. Вообще он был спокоен, приступы раздражительности утихли. Если только все обитатели и гости Кетчума не сговорились лгать, на Хемингуэя тамошняя атмосфера действовала благотворно, чего не скажешь о гаванской: то ли соблазнов меньше, то ли круг общения более подходящий.

Из Кетчума поехали в Нью-Орлеан, где Хемингуэй в первый и последний раз встретился с новыми тестем и тещей (не понравились друг другу), потом в Солт-Лейк-Сити. В декабре три недели провели в Нью-Йорке, встречались с Лэнхемами, с Уинстоном Гестом, вместе охотились в частном имении общих знакомых, Гарднеров. Охота не удалась, Хемингуэй много пил и с людьми вел себя грубо, дружба с Лэнхемом угасала; тот вспоминал, что на фронте его друг был подтянут, здесь ходил в грязной

одежде «под индейца», неприятно «опрощался», отказывался принимать ванну. Мэри не обращала на это внимания, Лэнхем якобы заставил друга побриться, надеть галстук и привести себя в божеский вид. По окончании охоты Хемингуэй ходил в редакцию «Дейли уоркер» бить Майка Голда, но не застал. Под Рождество вернулись домой. Там ему стало хуже.

Роберто Эррера о первых месяцах 1947 года: «Папа часами простаивал у пишущей машинки. Мы сидели на веранде и не слышали ее стука. Потом он отходил, брал чистый лист бумаги и карандаш, садился за стол, подолгу тербил правое ухо, ворошил своей огромной пятерней короткие волосы. Лежа на кровати, до обеда перелистывал старые европейские и американские журналы». Менокаль и Вильяреаль свидетельствуют, что хозяин «Ла Вихии» был «сам не свой», жаловался, что не идет роман (какой? Одним говорил, что о войне, другим — о «садах», имея в виду, вероятно, «Сады Эдема»), срывался, доктор Эррера заговорил о Марте — ответил бешеными ругательствами; с Мэри, по словам Вильяреаля, скандалили ежедневно. А в апреле случилось очередное несчастье.

Младшие сыновья прибыли на весенние каникулы, через неделю Грегори уехал в школу, а Патрик остался готовиться к экзаменам в Гарвард. 12-го он в Гаване сдавал экзамен, провалился, но был в нормальном настроении, а утром 14-го впал в беспричинное буйство, была высокая температура, головные боли. Мальчика насильно уложили в постель, около него дежурили братья Эррера, Вильяреаль, Хуан Дунабейтия, отец в отчаянии телеграфировал Полине (Мэри срочно вызвали в Чикаго — у ее отца был рак). Выяснилось, что неделю назад, когда оба сына гостили у матери, они попали в автомобильную аварию (за рулем был Грегори, хотя по возрасту не имел прав) и Патрик ударился головой. Полина приехала, не ссорились, горе сблизило. Патрик отказывался есть, не узнавал окружающих. Пригласили на консилиум трех местных врачей, один из них, Лавальета, сказал, что мальчик умрет.

«Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек — рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиограмму и говорит:

— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том.

Он дал рассыльному шиллинг. Но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол.

— Мне чаевых не надо, мистер Том, — сказал он и ушел.

Он прочитал телеграмму. Потом положил ее в карман, вышел на

веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму и прочитал ее еще раз.

ВАШИ СЫНОВЬЯ ДЭВИД И ЭНДРЮ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД БИАРРИЦЕМ. ДО ВАШЕГО ПРИЕЗДА ВСЕ ХЛОПОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ПРИМИТЕ НАШЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ СОЧУВСТВИЕ. <...>

Эдди сел рядом с ним и сказал:

— Мать твою. Как такое могло случиться, Том?

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Наверно, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил.

— Уж наверно, не Дэви вел машину.

— Наверно, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения.

Томас Хадсон смотрел на плоскую синеву моря и на густо синеющий Гольфстрим. Солнце стояло низко и скоро должно было зайти за облака. <...>

— Как-нибудь справитесь, — сказал Эдди.

— Конечно. А когда я не справлялся?

— Ах, мать твою! — сказал Эдди. — И какого хрена нашего Дэви убило?

— Не надо, Эдди, — сказал Томас Хадсон. — Этого нам не дано знать.

— Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок.

— Как сумеем, так и сыграем, — сказал Томас Хадсон».

Читать этот «мужественный» фрагмент «Островов» неприятно — все-таки речь идет о смерти близких героя, а не щенков, — но Хадсон, герой, лишь притворяется, что не чувствует боли: «Он думал, что на пароходе сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его может только смерть, а все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое, скорее всего, не настоящее».

Патрик не умер, но его состояние ухудшалось. Определили «буйное помешательство», хотели везти в больницу, отец не позволил, стали лечить дома, но лечение, как и диагноз, было неквалифицированным. По рассказам очевидцев, Хемингуэй подтянулся, мало пил, вел дневник о болезни сына (этот дневник не обнаружен), все время проводил рядом с комнатой Патрика. 18 мая вернулась Мэри и, к изумлению мужа, подружилась с Полиной. 1 июня Патрик начал есть — отец на радостях зачем-то выкрасил волосы в рыжий цвет. Дышать в доме стало полегче. Но к сыну отец не входил: как утверждают домашние, Патрик отказывался его

видеть. Эррера говорил, что Патрику стало плохо не потому, что он ушиб голову, а «после бурной стычки с отцом». Шофер Лопес косвенно подтверждает эту версию: Патрик «не стеснялся говорить об отце то, что думал». Грегори: «Мой брат Патрик, чудесный ребенок, из которого действительно могло что-то выйти, был абсолютно разрушен моим отцом, не позволившим ему ничего добиться».

Полина несколько раз приезжала и уезжала, появлялись гости. Приехал Грегори, отец обвинил его в болезни брата, потом помирились. Был Лестер — ссора и полный разрыв. Вильяреаль: «Младший брат был совсем не похож на Папу. Ему легко жилось, всегда везло. Он прожигал жизнь, не хотел работать, постоянно что-нибудь клянчил. Мне кажется, стал поучать Папу, как надо жить. Я видел, как Папа его ударил». Потом пошли хорошие гости — Джордж Браун из Нью-Йорка, Тейлор Уильямс из Сан-Вэлли. «Подвешенное» состояние длилось все лето; Патрика не лечили, только стерегли.

Параллельно шли неприятные «разборки» с Фолкнером. Заочные отношения между коллегами складывались неоднозначно. Фолкнер называл Хемингуэя своим любимым американским автором, тот также много раз отзывался о коллеге восторженно и, если верить Сартру, ставил его выше себя, однако в «Смерти после полудня» писал о нем пренебрежительно. Знакомым говорил, что талант Фолкнера огромен («мне бы такой»), но недисциплинирован, его надо «подсушить», взять в рамки. В апреле 1947-го Фолкнер, читая лекцию студенческому кружку в университете Миссисипи, поставил Хемингуэя в ряду современных американских писателей лишь на четвертое место после Дос Пассоса, Эрскина Колдуэлла и Томаса Вулфа; его слова просочились в нью-йоркские газеты.

Русскоязычный читатель с такой иерархией вряд ли согласится: можно не любить Хемингуэя, ставить его гораздо ниже Фицджеральда и Фолкнера, но сказать, что он пишет хуже, чем занудные Колдуэлл или Дос Пассос, при всем уважении к их моральным качествам, мог только американец. Но Хемингуэй обиделся не за четвертое место. Фолкнер на лекции сказал, что у него «недостает смелости, он никогда не поднимался выше деталей, никогда не использовал слова, которые читателю пришлось бы искать в словарях». Нечто похожее написал Солженицын в «Заметках между делом»: «Непонятно, почему писатель должен (как это в хемингуэевском методе) ограничивать себя только тем, что видит и слышит посторонний наблюдатель, то есть отказаться от духовного зрения, от прямого (не подтвержденного органами чувств) заглядывания в душевный

мир и мысли персонажей (у Хемингуэя это разрешается, но почему-то только по отношению к главному). Ведь, берясь за перо, писатель уже объявил себя судьей внутреннего мира. Зачем же ему отказываться от духовного зрения? Без него никто не дал (и не даст) подводной части, девяти десятых айсберга».

Фолкнер сказал, что ему «не хватает смелости» — значит, назвал трусом. Трусы — это те, которые не воевали. Хемингуэй написал Бартону письмо с просьбой подтвердить, что он смелый мужчина и воевал. Генерал, надо думать, удивился, но подтвердил, заявив публично, что корреспондент Хемингуэй бывал на фронте и вел себя мужественно. Фолкнер прислал объяснения: он имел в виду не воинскую смелость, а литературную, Хемингуэй их принял и в 1950-м, когда коллега получил Нобелевскую, поздравил одним из первых, но не успокоился: отныне Фолкнер и нанесенные им оскорбления станут занимать в его мыслях значительное место.

Его раздражало всё. 13 июня в американском посольстве в Гаване ему вручили «Бронзовую звезду» с формулировкой «за деятельность в качестве военного корреспондента с 20 июля по 1 сентября и с 6 ноября по 6 декабря во Франции и Германии». Речь произнес военный атташе полковник Гленн: «Посредством своего художественного таланта м-р Хемингуэй подарил читателям яркую картину солдатских трудностей и побед». Хемингуэй, по словам Эрреры и Вильяреала, ожидал, что награждать его будут за «Френдлесс», был оскорблен и медаль выкинул. 17 июля умер Макс Перкинс, «самый лучший и верный друг и мудрейший советчик», как назвал его Хемингуэй в письме Скрибнеру, один из немногих, с кем он ни разу не поссорился.

Эта смерть вогнала Папу в депрессию: он входил в возраст, когда старые друзья начинают умирать. Сам чувствовал себя плохо, давление 215 на 125, шум в ушах, вес 256 фунтов; в августе Эррера предписал строгую диету, сделал попытку не «ограничить», а запретить спиртное, но она не удалась. Обстановка в доме стала невыносимой. Лишь в конце августа додумались пригласить к Патрику психиатра, доктора Штетмайера. «Меня пригласили к больному юноше, а его отец принялся угощать коктейлями и пространно рассказывать предысторию болезни. Чем больше он говорил, тем меньше я верил тому, что слышал». Психиатр диагностировал кататонический ступор. Прописал ЭСТ (электросудорожную терапию, или электрошок), которую большинство людей сейчас считают издевательством, но тогда она была в моде и некоторые заболевания действительно излечивала. Патрик после первого же сеанса пошел на

поправку.

Штетмайер утверждает: едва он сказал больному, что прислан матерью, а не отцом, и обещал, что отец к нему не войдет, тот успокоился. Со слов Патрика врач составил подлинную «историю болезни»: юноша переживал развод родителей, не любил Марту, а Мэри еще пуще. «Любовь и жалость к отцу внезапно переросли в невообразимой силы протест. Патрик стал перечить отцу, где мог, издеваться над ним». В роковой день были гости, пили, Хемингуэй произнес тост за себя как «лучшего писателя», а сын заявил, что отец «старый никчемный пьяница и дерьмо». Случился скандал, который и спровоцировал приступ. Из воспоминаний Штетмайера и домашних неясно, решился ли кто-то высказать эту версию хозяину «Ла Вихии». Патрик получил еще несколько сеансов ЭСТ, его состояние значительно улучшилось, с отцом он более-менее примирился, но страдал от депрессии еще много лет. (Профессии он так и не получит, уедет в Африку, станет сперва охотником, а потом смотрителем заповедника и защитником животных, будет дважды женат и оба раза благополучно.) Убедившись, что жизнь сына вне опасности, отец решил уехать в Кетчум, чтобы поработать в спокойной обстановке. Правда, существует легенда, запущенная Эррерой и повторенная не только Папоровым и Сирулесом, но и некоторыми американскими авторами, что уехал он не по своей воле, а был вынужден, чтобы его не арестовали за участие в финансировании военного рейда с Кубы в Доминиканскую Республику для свержения тамошнего диктатора Трухильо (в мероприятии принимал участие и Фидель Кастро). Бред или не бред?

С 1941 года на Кубе действовала доминиканская диаспора, выступавшая за свержение Трухильо, к 1947-му был готов план переворота. Власти Кубы (как Батиста, так и сменивший его после выборов 1944-го Грау де Сан-Мартин) попустительствовали заговору, общественные деятели его финансировали, высокопоставленные чиновники принимали прямое участие, в частности — министр образования Хосе Мануэль Алеман и его подчиненный, министр спорта Маноло Кастро (не родня Фиделю), который дружил с Хемингуэем и приглашал его в качестве рефери на боксерские поединки. Кастро предоставил Дворец спорта для хранения боеприпасов, закупал оружие в США. Руководил вторжением другой знакомый Хемингуэя, Роландо Масферрер. Участвовали и американские летчики на американских самолетах, с попустительства правительства США (кровавый сумасброд Трухильо у всех сидел в печенках). Войско готовилось на острове Кайо-Конфитес. Об этом болтала вся Гавана (журналисты в открытую призывали свергнуть Трухильо), так что и

Хемингуэй мог знать, хотя бы от Маноло Кастро, и дать какую-то сумму.

Мероприятие, запланированное на 21 сентября, провалилось — отчасти из-за недостатка секретности, отчасти из-за того, что США побоялись себя скомпрометировать, отчасти из-за правительственного кризиса, разразившегося на Кубе 15 сентября. В последующие дни многие участники заговора были арестованы, но ненадолго, и репрессий против них не было. Эррера утверждает, что Хемингуэй, узнав о провале заговора, испугался и в тот же день улетел в США, причем бежал за самолетом по полю, едва успел вскочить на подножку трапа и т. д. В это можно бы поверить, если бы не слова незаинтересованных свидетелей, которые показали, что к 15 сентября Хемингуэя уже не было в Гаване. Шофер Отто Брюс увез его из Гаваны 12-го, на следующий день или через день его встретил в городке Сент-Августин близ Ки-Уэста Нортон Баскин, муж Марджори Роулингс, а 20-го он был уже в Кетчуме. Эррера потом разъяснил глупенькому Хемингуэю, что не надо было давать деньги на авантюру, ненужную кубинскому народу (в социалистической Кубе заговор осуждался, ибо его участники, в особенности Масферрер, позднее стали врагами Фиделя Кастро), а тот благодарил доктора за науку. Кто хочет верить Эррере, пусть верит, ведь доказать, что он лжет, так же невозможно, как доказать, что Хемингуэй никогда не душил и не резал людей.

Жены остались в «Ла Вихии»: Полина ухаживала за Патриком, Мэри занималась строительством. По словам Эрреры, приходила полиция, делали обыск и арестовали Мэри. (А Хемингуэй удрал и бросил беззащитных женщин...) Ни Мэри, ни биографы, общавшиеся с нею, этого не подтверждают. Американец Стюарт Макивер выдвигает версию, что полиция приходила, но по ошибке: Хемингуэя спутали с другим американцем, жившим по соседству и принимавшим участие в заговоре — Макэвом, редактором кубинского отделения «Ридерс дайджест».

Хемингуэй с Брюсом совершили путешествие через всю страну: по воспоминаниям шофера, пассажир был трезв, в отличном настроении, рассказывал о детстве, говорили о природе, всюду встречали знакомых. Баскину Хемингуэй так объяснил «побег» из Гаваны: «Кто, черт побери, мог бы работать в такой обстановке?» Он жаловался, что в доме торчат сразу две жены, а он очень вымотан и мечтает пожить в тишине. Заезжали в Оксфорд (штат Миссисипи), чтобы встретиться с Фолкнером, но не застали его. Далее — в Мичиган, где жила сестра Мадлен с мужем и детьми; там пробыли два дня и двинулись в Кетчум, где уже ждало письмо от Мэри с отчетом о ходе строительства (и никакого упоминания об аресте).

Постройку, которой занималась Мэри, обычно называют «Башней», но

по назначению это был «Кошкин дом». К котам она относилась хорошо, но терпеть их (40 особей в 1947 году) в комнатах не желала и еще летом предложила сделать постройку, в которой коты бы жили, а муж работал. Задача непростая, Папа беспокоился, из Кетчума писал жене: «Нужен хороший маленький дом для кисок, чтобы его было легко чистить, с удобными полками для сна, со специальным местом для беременных и кормящих кошек... Домик должен быть очень близко к дому, чтобы киски не чувствовали себя сосланными в Сибирь или брошенными, чтоб из дома можно было видеть, хорошо ли о них заботятся, счастливы ли они... Там должны быть большие когтеточки, покрытые коврами, корзины с кошачьей мятой, шары для пинг-понга. Можно даже пожертвовать первый том Шекспира, чтобы Одинокий его догрыз, раз уж он начал это делать. Несправедливо держать кисок, не ухаживая за ними должным образом, и расценивать их природные инстинкты как прегрешения». Он также поставил условие: Бойз останется в большом доме и будет спать в постели друга.

Строил «Кошкин дом» подрядчик Эдуардо Риверо, регулярно посылавший в Кетчум его снимки. Это была четырехъярусная башня: в подвальном этаже мастерская и сарай, первый этаж для кошек, второй для кладовых, наверху — рабочий кабинет. В начале ноября строительство было в основном завершено, и Мэри приехала к мужу. На сей раз он сумел выдержать диету, к концу года похудел на 28 фунтов, давление снизилось до 150 на 105. Остались только депрессия и раздражительность. Мэри с Патриком и Джоном ездила на День благодарения к Полине в Калифорнию — муж был в гневе, дружба жен его раздражала — ему, как герою Пруста, все женские дружбы казались подозрительными. Отвлекли и развлекли его биографы, которые с 1947 года начали вламываться в его жизнь.

Первой была молодая журналистка Лилиан Росс, недавно устроившаяся в «Нью-Йоркер» и получившая задание написать очерк о матадоре Франклине. Возможно, это было уловкой, чтобы выйти на Хемингуэя, которому Росс позвонила и пожаловалась, что она в бое быков ничего не смыслит. Во всякой девушке он заранее готов быть видеть дочку, пригласил Росс, 24 декабря встретились. О Франклине она написала, по мнению Хемингуэя, ужасно, на роль «дочки» тоже не подошла, тем не менее они переписывались и перезванивались два года. Росс собирала материал, а 16–18 ноября 1949 года провела с четой Хемингуэев пару дней в Нью-Йорке: итогом стал очерк «Порвет Хемингуэя», опубликованный 13 мая 1950-го в «Нью-Йоркере» и вышедший брошюрой в 1961 году. Работа получилась слащавой и грубой и не нравилась ни хемингуэеводам, ни

герою.

«— Недопитая бутылка шампанского — враг рода человеческого, — сказал Хемингуэй.

Мы снова сели.

— Когда у меня бывают деньги, я не вижу лучшего способа их тратить, чем покупать шампанское, — сказал Хемингуэй, наполняя бокал.

Когда шампанское было выпито, мы вышли из номера. Внизу миссис Хемингуэй еще раз попросила нас починить очки и исчезла.

Некоторое время Хемингуэй нерешительно топтался у входа. Стоял холодный, облачный день.

— Не очень-то хорошая погода, чтобы разгуливать по улице, — сказал он мрачно и добавил, что у него, кажется, болит горло.

Я спросила, не хочет ли он показаться доктору. Он ответил, что нет.

— Я никогда не доверял докторам, которым нужно платить, — сказал он, когда мы переходили на другую сторону Пятой авеню.

Взлетела стая голубей. Он остановился, посмотрел вверх, прицелился в них из воображаемого ружья и нажал курок. На лице его отразилось разочарование.

— Очень плохой выстрел, — сказал он и, быстро повернувшись, снова как бы вскинул ружье. — А вот хороший выстрел, — сказал он. — Смотри!»

Далее Хемингуэй ходит по магазинам, покупает плащ, туфли, ремень, на каждом углу встречает знакомых, разговаривает на ломаном английском («мой книга меня замучил»), рассказывает, как он кого-нибудь убил или побил, стреляет из воображаемого ружья, заливается хохотом и молотит кулаками себя по животу, а знакомых по спинам, перемежая все это изречениями о литературе, которые Росс заимствовала из его статей и писем и выдала за прямую устную речь. Джон О'Хара написал в «Нью-Йорк таймс», что Хемингуэй у Росс разговаривает как в плохих фильмах про индейцев. Лилиан недоумевала: он так говорил, она своими ушами слышала, и Грегори подтвердил, что отец любил подобным образом коверкать язык. Но текст — не магнитофонная лента. Росс не просто запротоколировала «один день» — она претендовала на целостный портрет, а он получился поверхностным. Сложность и тонкость характера, ум, страшная болезнь (а в 1949-м Хемингуэй был очень болен) — все исчезло, остался пожилой гусар, хлещущий шампанское; это как если из письма Симонову убрать разговор о книгах и войне, оставив лишь приглашение на рыбалку.

Хемингуэй сказал другому биографу (о нем речь впереди), что не

успел прочесть гранки очерка Росс, но Томасу Бледсоу, редактору издательства «Райнхарт», где публиковалась еще одна его биография, в 1951 году писал иное: «Лилиан Росс написала мой портрет, который я прочел в гранках и ужаснулся. Но так как она была моим другом, и я знал, что у нее не было злых намерений, она имела право показать меня таким, каким я ей казался. Я не думал, что разговариваю как индеец племени чокто... <...> Намерения причинить вред не было, хотя он был причинен. Но я все равно люблю Лилиан». Мейерс: «Хемингуэй устроил для Росс спектакль, ожидая, что она разглядит и покажет читателям истинное лицо за маской. Но она приняла маску за лицо, отплатила ему злом за добро и сделала себе карьеру за его счет. <...> Хемингуэй с ней шутил, нарочно изображая тупого быка, сыплющего спортивными терминами, но он никогда не был таким глупым и некультурным, как она его изобразила. Она совершенно не заметила серьезных и чувствительных сторон его характера, вместо этого нарисовав образ скучного хвастуна...» Очерк Росс возмутил всех, даже Элис Токлас, давнего врага Хемингуэя.

Под Новый, 1948 год в Сан-Вэлли собралась голливудская компания: Генри Форд III, продюсер Занук, Гари Купер, Ингрид Бергман; также приехали Роберто Эррера, Хуан Дунабейтия, Лилиан Росс. Их воспоминания о Хемингуэе противоречивы: одни говорили, что был в превосходном настроении, другие — что переживал депрессию из-за смерти Перкинса и других знакомых: весной в Польше погиб Кароль Сверчевский, в сентябре умер Ганс Кале, тогда же Дос Пассос (снова друг, а не «враг народа» и не «рыба») с женой попали в страшную аварию, а незадолго до Нового года умер продюсер Хеллинджер. По словам Роберто Эрреры, Хемингуэй сказал Бергман, что год будет «худшим из худших», и со страхом ждал новых смертей. Но из близких в 1948-м умрет только Морис Спейсер; его помощник Альфред Райс станет новым поверенным Хемингуэя.

Первого февраля супруги вернулись на Кубу, с ними приехал новый пес Блэк Дог, будущий любимец хозяина. А тот, увидев «Кошкин дом», сразу ожил, попытался работать наверху, но скоро вернулся в жилой дом: говорил, что в башне слишком тихо. Вскоре приехал Малькольм Каули, желавший писать «портрет Хемингуэя» для «Лайф». Предполагалось, что там будет много о Второй мировой — Хемингуэй отправил Каули с рекомендательным письмом к Лэнхему, дабы тот рассказал о его подвигах. Всю весну шла переписка с Каули и Росс. Лилиан писала больше чепуху, с Каули был откровеннее — рассказывал о детстве, жаловался на «суку»-мать, горевал об отце, называя его смерть проявлением трусости. Работа

Каули «Портрет мистера Папы» была опубликована раньше, чем очерк Росс, — 10 января 1949 года.

Каули тоже имел благие намерения. Но Сэмюел Джонсон, один из величайших биографов, сказал: «Если биограф пишет о своем знакомом, желая удовлетворить всеобщее любопытство, существует опасность, что его личная заинтересованность, или благодарность, или любовь, переселят его честность и заставят его многое скрывать или выдумывать». Каули сам Хемингуэй называл «лучшим литературным критиком Америки», но биографом он оказался неважным. Он доверчиво воспроизвел все выдумки — бродяжничество, ардитти, командование партизанами. Как и Росс, он не увидел страдающего человека и не понял, что такое профессиональный писатель. Его герой, весь в шрамах от вражеских пуль, ведет патриархальную жизнь среди кубинских пейзажей и лишь из чувства долга перед народом Америки усаживается за машинку, дабы зафиксировать свои подвиги. По тому же пути пойдут многие ранние биографы: Джек Кили, Курт Зингер, Джейк Климо, Питер Бакли. Герой будет недоволен. «Шутка шуткой и фантазия фантазией, но то, что вы мне прислали... это длинный ряд выдумок, фальши и обмана, которые я не могу позволить вам публиковать, даже если вы признаете, что это ваш вымысел», — напишет он Кили в декабре 1954-го. Хемингуэй говорил Дос Пассосу, что после Каули его личная жизнь «была отдана на всеобщее поругание»; еще одному биографу, Филипу Янгу, писал, что «заболел» от статьи Каули и тот его «заживо забальзамировал». Но самому Каули, как и Росс, ничего такого не сказал.

В 1948 году появился и третий биограф: молодой сотрудник «Космополитен» Аарон Хотчнер приехал в Гавану уговорить Хемингуэя написать статью о литературе. Привязались друг к другу мгновенно, у Папы появился новый «сын». Хотчнер на протяжении четырнадцати лет сопровождал Хемингуэя в путешествиях, разделял увлечения скачками, боксом, рыбной ловлей, корридой, был бесконечно терпелив, сносил приступы раздражительности, выполнял функции секретаря, редактора, агента, помогал писать инсценировки для телевидения и кино. Его книга «Папа Хемингуэй» (1966) похожа на роман. «Я был близким другом Хемингуэя в течение четырнадцати лет... Мне многое известно об этом человеке — о его мечтах и разочарованиях, триумфах и поражениях. Хемингуэй считал, что читателю лгать нельзя, — именно этому принципу я и старался следовать, работая над книгой». Тем не менее работа Хотчнера полна выдумок, хотя автор и предупредил, что лишь пересказывает фантазии Папы: тот был любовником Маты Хари, в детстве играл со львом

и был им ранен, нокаутировал знаменитых боксеров и т. д.

Весну 1948-го Хемингуэй провел в Гаване с Хотчнером, в мае приехали Патрик и Грегори, появился Питер Виртел с женой, ходили в море. В июне, отклонив предложение быть избранным в члены Американской академии литературы и искусств, Папа с компанией совершил десятидневный круиз на Багамы, в июле — еще один. Водил гостей на петушиные бои, посещал стрелковый клуб и скачки, попытался работать (по-видимому, над тем, что известно как «Острова в океане»), пил сравнительно мало, давление снизилось; могло показаться, что он выздоравливает. Виртелу писал в июле: «...веду адскую жизнь — стараюсь избегать любых эмоций. Давление понизилось, но потом опять подскочило, потому что почувствовал себя суперменом и переутомился. Трудно быть железным человеком, как прежде...» Но были и тревожные «звоночки»: он заявил Виртелу, что их переписку перлюстрирует Гувер, а в августе отправил Маклишу знаменитое письмо о двадцати шести убитых «фрицах». Эррера, Менокаль и Вильяреаль свидетельствуют, что его психическое состояние было скверным — ежедневные ссоры с Мэри, разговоры о самоубийстве. И все советовали не работать, а отдыхать — а ведь он только и делал что отдыхал.

Наконец решили с Мэри поехать в Италию. 7 сентября отплыли из Гаваны, провожала шумная компания с ящиками шампанского и песнями. Высадились в Генуе, оттуда на привезенном с собой автомобиле отправились по Северной Италии: Стреза, Комо, Бергамо. Встречались с итальянскими издателями — все его читали, видели фильмы, восторгались, и он совсем ожил. Несколько недель прожили в Кортина д'Ампеццо, где он не был после развода с Хедли: рыбная ловля, компанию составили граф Федерико Кехлер, ветеран Первой мировой, и его жена. В конце октября через Тревизо отправились в Венецию, сказочный город привел его в восторг, и он решил там обосноваться. Хемингуэй съездил (один) в окрестности Фоссальты, отыскал примерное место, где был ранен. Большую часть ноября, то с женой, то без нее, провел на острове Торчелло близ Венеции, охотился на уток, написал для журнала «Холидей» очерк о Гольфстриме «Великая голубая река». Мэри ездила во Флоренцию, где познакомилась с 84-летним искусствоведом Бернардом Беренсоном, чьими книгами о живописи ее муж восхищался; он никогда не увидится со стариком, но будет вести с ним переписку. На зиму вернулись в Кортина д'Ампеццо, сняли дом. Охотились в поместье барона Франчетти, знакомого Кехлеров. В доме Франчетти Папа встретил восемнадцатилетнюю красавицу Адриану Иванчич: по легенде, у нее не было расчески и он

отломил ей половину своей, как половинку сердца.

Иванчичи, чьи предки были хорватами, давно жили в Италии. Были богаты, но обеднели после смерти Карло, отца Адрианы, дипломата (по одной версии он был казнен партизанами, по другой — убит бандитами), жили на скромную ренту: вдова Дора Иванчич и ее дети, Адриана и Джанфранко, на десять лет старше сестры — тот служил под командованием Роммеля в Северной Африке, потом перешел на сторону союзников и работал на УСС. Адриана окончила католическую школу, рисовала, воспитывалась в строгих правилах — романтическое существо, во всяком случае с виду. Хемингуэй не был стариком — всего 49 лет. Но любовь была в духе Гете, последняя, грустная.

Рождество провел тихо в Кортине с женой, получил подарок: киностудия «XX век — Фокс» купила права на экранизацию старого рассказа «Мой старик». Вскоре он докладывал Скрибнеру, что работает над «трилогией о море, земле и воздухе» (море — это, видимо, «Острова в океане»; ничего, что можно было бы квалифицировать как роман «о земле» и «о воздухе», в его бумагах не обнаружено), жаловался, что пишется трудно, мучит звон в ушах, к тому же хочется написать «так хорошо, как не писал еще никогда в своей жизни». В январе в «Лайф» вышел «Портрет мистера Папы». Мэри выговорила автору: тот написал, что Папа в детстве играл в футбол не очень хорошо, а это ложь, он всё делал лучше всех. Но сам герой вежливо поблагодарил Каули. Терпимость и благородство, проявленные им в 1949 году по отношению к биографам, возможно, свидетельствуют, что душевная болезнь отступила; заметим также, что ни Росс, ни Каули он не рассказывал о 26 или 122 убитых немцах. Совсем кротким он, конечно, не стал, продолжал «задираться», поругался с Синклером Льюисом, а прочтя роман Шоу «Молодые львы», решил, что один из персонажей, спившийся драматург, списан с него, и как обычно назвал автора не клеветником, а «трусом, который отсиживался, когда другие воевали».

Болячки преследовали семью: жена, катаясь на лыжах, сломала ногу, а муж две февральские недели лежал с простудой, потом на охоте ему попал в глаз кусочек пыжа, пришлось ложиться в больницу в Падуе. Скрибнеру: «Я не буду допускать к себе фотографов или репортеров, потому что я слишком устал — я веду свою борьбу — и еще потому, что все мое лицо покрыто коркой, как после ожога. У меня стрептококковое заражение, стафилококковое заражение (вероятно, я пишу это слово с ошибками) плюс рожистое воспаление, в меня вогнали тринадцать с половиной миллионов кубиков пенициллина и еще три с половиной миллиона, когда

начался рецидив. Доктора в Кортина думали, что инфекция может перейти в мозг и привести к менингиту, поскольку левый глаз был поражен целиком и совершенно закрылся, так что, когда я открывал его с помощью борной, большая часть ресниц вылезала. Такое заражение могло произойти от пыли на плохих дорогах, а также от обрывков пыжа. До сих пор не могу бриться. Дважды пытался, но кожа сдирается, как почтовая марка. Поэтому стригусь ножницами раз в неделю. Физиономия при этом выглядит небритой, но не настолько, как если бы я отпускал бороду. Все вышеизложенное истинная правда, и вы можете рассказывать это кому угодно, включая прессу».

Выйдя из больницы, он вернулся в Венецию. Жили в отеле «Гритти», общались с Адрианой Иванчич и ее братом. В книге «Белая башня» (1980), такой же слащавой, как мемуары Мэри Хемингуэй, Адриана писала: «Сначала я немного скучала в обществе этого пожилого и так много видевшего человека, который говорил медленно, растягивая слова, так что мне не всегда удавалось понять его. Но я чувствовала, что ему приятно бывать со мною и разговаривать, разговаривать. При моем появлении он начинал сразу же смущенно улыбаться и переваливаться с ноги на ногу, как большой медведь. Он не очень любил знакомиться с новыми людьми, но моих молодых друзей встречал радушно. Ему нравилось рассказывать нам об охоте и о войне. Юмористические детали в его рассказах вызывали у нас смех, он тоже начинал смеяться с нами громче всех. Постепенно большой медведь с чуть усталой улыбкой преображался, молодец в нашем обществе. Часто он приглашал нас в Торчелло, назначал свидание за столиком кафе или на террасе „Гритти“. Иногда мы с ним гуляли вдвоем по улочкам Венеции».

Джанфранко и другие родственники Адрианы утверждали, что романа между ней и Хемингуэем не было: отеческое покровительство, дочерняя привязанность. Полностью отрицать, что он был влюблен, они, конечно, не могли, но Адриана якобы его не поощряла; это сомнительно, и поведение родственников наводит на мысль, что они были не прочь выдать девушку за знаменитость. Сама она незадолго до смерти говорила в интервью: «То, что случилось при нашей встрече, было чем-то большим, нежели роман. Я сломила его оборону; он даже переставал пить, когда я просила его об этом. <...> Я всегда критиковала его, когда он делал что-нибудь не так, и он менялся, и что-то во мне менялось тоже. Я никогда не устану благодарить Папу за это». По ее словам, близости не было, потому что «мы решили, что это было бы ошибкой» и «он никогда бы не сделал ничего, что могло повредить мне»; он просил ее руки, но она отказала, так как он был стар, женат и это было для нее «немыслимо». Мэри на это отреагировала:

«Чушь! Эрнест был увлечен ею, как бывал увлечен многими молоденькими женщинами. Никаких проблем у меня из-за этой истории не было». Но проблемы были, и немалые.

Тридцатого апреля супруги отплыли из Генуи домой. Хемингуэй вез с собой начатую работу — не «о море», которую отложил, а о войне, которую предположительно начал в 1946–1947 годах, но теперь благодаря Адриане к военной истории прибавилась любовная. «Ему пятьдесят, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того, чтобы пройти медицинский осмотр за день до поездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы... он и сам толком не знал, для чего: для того, чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя».

Глава двадцатая СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

Доктор Эррера (в пересказе Папорова): «В мае сорок девятого Эрнесто стоял на палубе, несмотря на довольно основательное пекло, при полном параде. Элегантный костюм и галстук уже издали свидетельствовали о его хорошем состоянии. Правда, как только он сошел с трапа, первое, что мне бросилось в глаза, — что он за последние несколько месяцев заметно поседел. Но был весел и шепнул мне: „Доктор, ты выгонял израненного Сатира, а встречаешь окрыленного дважды Амура“». Доктор вновь велел отдыхать, гулять, не волноваться, не думать. Но как может мужчина забыть, что у него есть работа, променять ее на развлечения, «не думать» и «не волноваться» по заказу? Хемингуэй был влюблен в девушку и в начатый роман, голова его и сердце были заняты — может, именно от этого ему стало лучше? Но окружающие советовали рыбачить побольше, а работать поменьше; он успел отвыкнуть от режима, легко поддавался на уговоры, так что книга продвигалась медленно.

В июне в Гавану заехал Лэнхем (получивший новое назначение в Европу) — друга надо развлекать, вывозить в море; явился Виртел, писавший сценарий о кубинских революционерах; прибыл из Италии барон Франчетти — с ним организовали недельную экспедицию на Багамы. Приезжал Грегори, поступивший в колледж Сент-Джон в Аннаполисе: дамских чулок он больше не крал, сообщил, что влюблен в девушку, участвовал в соревнованиях по стрельбе и, как сообщал отец Менокалю, «оставил позади всех этих мазил». У других сыновей тоже все было благополучно: Патрик учился в Гарварде и собирался жениться, Джон, который в послевоенные годы служил в Германии, вышел в отставку и женился — в Париже, 25 июня, на американке Байре Уиттлси, молодой вдове. Он станет биржевым маклером (неудачливым), после смерти отца обоснуется в Кетчуме, с 1971 по 1977 год будет занимать должность уполномоченного службы рыбного и охотничьего хозяйства в штате Айдахо, доживет до 2000 года, от первой жены у него родятся дочери, Джоан, Марго и Мюриэл, все станут актрисами. Марго покончит с собой в 1996-м, продолжив печальную хемингуэевскую традицию. Отец на свадьбу не поехал: окружающие отмечали, что между ним и старшим сыном в тот период были прохладные отношения и невестку он не одобрял.

Летом 1949-го началась переписка с Бернардом Беренсоном и с Артуром Майзенером, биографом Фицджеральда. Первое письмо

Майзенеру от 6 июля: «Я очень любил Скотта, но с ним было трудно иметь дело из-за него самого и из-за Зельды, которая его спаивала, потому что ревновала к работе. <...> Он был как неуправляемая ракета...» Из других писем: «Я никогда бы не мог уважать его, если бы не его прекрасный, золотой, попусту растроченный талант. Возможно, было бы лучше, если бы у него не было таких возвышенных идей и такого шикарного образования». «Алкоголь, который употребляли, был Гигантским Убийцей, без которого я не мог существовать; для Скотта это был чистый яд». «Я сказал ему, что, судя по его поведению на гражданке, на войне его бы расстреляли за трусость. Это было слишком грубо, но я всегда старался заставить его работать и говорил ему правду ради него самого». Высказывал Майзенеру свое мнение и о других коллегах: Эзра Паунд был добр, Стайн — хороша, пока у нее не случился климакс, но единственный писатель, которого он по-настоящему уважает — Джойс.

Работа пошла лучше, когда гости разъехались, а вместо них появилась новая «дочка», сотрудница американского посольства Хуанита Дженсен, нанятая на должность секретаря. Рыболовные вылазки были регулярными, но короткими, установился рабочий режим, алкоголя немного, за исключением 50-летнего юбилея, отпразднованного в море. Присутствие «дочек» влияло на Папу благотворно: Хуанита вспоминала, что он был галантен, предупредителен, при диктовке извинялся, когда нужно было написать грубое слово, одевался опрятно и вообще вел себя как ангел. Роман пошел быстрее, и автор сообщал Скрибнеру, что это будет «лучшая книга, какую когда-либо какой-либо сукин сын написал». В сентябре прилетел Хотчнер для переговоров о публикации романа в «Космополитен», автор дал ему прочесть первые главы, наконец появилось название: «За рекой, в тени деревьев» (*Across The River And Into The Trees*).

По завершении работы он намеревался ехать к Адриане, а пока пригласил в гости ее брата — помочь выправить главы об Италии. Но этого оказалось недостаточно: он решил еще раз побывать в Европе. Мэри была против поездки — по ее рассказам, муж изнурял себя, чтобы закончить роман, принимал слишком много лекарств и был утомлен. Тем не менее они полетели в Нью-Йорк, там общались с Лилиан Росс, 19 ноября отправились пароходом в Гавр, а оттуда в Париж. «Космополитен», которому роман был обещан еще к 1 ноября, волновался и командировал Хотчнера присматривать за автором. Первая совместная поездка была приятна обоим: Папа показывал «Хотчу» Париж, отправились в автопробег по югу Франции, Хотчнер назвал путешествие своим «университетом», Хемингуэй говорил о спутнике как о «честном, умном, понимающем»

человеке и «чудесном ребенке».

После Нового года, встреченного в Ницце, Хотчнер вернулся в Штаты, а Хемингуэй поселились в Венеции. Общество то же: Кехлеры, Франчетти, Иванчичи, занятия — рыбная ловля, утиная охота, ужины с большим количеством спиртного и прогулки с Адрианой, которых Мэри не вынесла и потребовала перебраться в Кортина д'Ампеццо. Прибыли туда в начале февраля, установился рабочий режим: по утрам писал, после обеда ходили на лыжах или охотились (пока от пороха не началось раздражение кожи). Книга была практически завершена: иллюстрации должна делать Адриана. Автор объявил жене, что возвращается в Венецию, а она вольна оставаться. Произошло ли в Венеции объяснение с Адрианой, неясно, но через две недели Хемингуэй примирился с женой, а та — с соперницей. 22 марта 1950 года супруги отплыли в Америку, две недели провели в Нью-Йорке, где встречались с Марлен Дитрих и вышедшим в отставку Дорман-Смитом. 17 апреля приехали домой — там уже ждали письма от Адрианы.

Тринадцатого мая появился очерк Росс: Хемингуэй сказал Скрибнеру, что Лилиан изобразила его мужланом — «точь-в-точь лошадиная задница», но с авторшей был безукоризненно вежлив. В том же месяце кубинская газета «Пренса либре» сообщала, что клубом «Наутико» и Национальной корпорацией по развитию туризма учрежден Международный конкурс ловцов крупной морской рыбы на призы Эрнеста Хемингуэя. Все рыболовные общества Кубы поддержали инициативу. Первые соревнования прошли с 26 по 28 мая, участвовали 36 лодок с экипажами из двух человек. Хемингуэй ни одного приза не получил, зато получила Мэри (она рыбачила с Тейлором Уильямсом) — за лучшего синего марлина весом 100 килограммов. Она фотографировалась с рыбиной и в жемчугах. Газеты назвали конкурс развлечением богатеньких туристов, чем Хемингуэй был сильно огорчен. Соревнование стало проводиться ежегодно и проводится поныне; Хемингуэй ни разу его не выиграл и года через три-четыре потерял к нему интерес.

«Скрибнерс» прислал гранки романа (первые главы с февраля уже публиковались в «Космополитене»), правил с помощью Хуаниты Дженсен, 1 июля работа была сдана. Решили отметить это рыболовной экспедицией: Хемингуэй, Фуэнтес и Роберто Эррера. По рассказу Фуэнтеса, хозяин был пьян, что повлекло очередное несчастье: упал, ударился головой о багор, кровь лилась ручьями, он был полускальпирован, требовал, чтобы ему оказали помощь на месте, но Фуэнтес, не спрашивая позволения, повернул на Гавану. (Море словно отталкивало его — хватит кататься, не так много осталось жить, иди, пиши, работай...) Доктор Эррера требовал ехать в

клинику, больной отказался, велел зашивать рану дома, при этом его обожгли горящим спиртом, рана гноилась, заживала плохо. Работа кончилась, с любимой разлучили — опять начались приступы депрессии и раздражительности, скандалы с женой.

Эррера два года назад замечал: «Мэри же была не просто внимательна, она следила за каждым его движением и, ловя себя на этом, сама раздражалась. В отношении Эрнесто к ней появились новые качества: налет снисходительности и в то же время боязнь обидеть ее». Но теперь, кажется, он уже не боялся этого и оскорблял жену при гостях (ссоры с битьем посуды). Всем говорил о самоубийстве, писал Росс, что однажды заплыл далеко и не хотел возвращаться, но решил «не подавать дурной пример детям». Эррера утверждает, что в августе Хемингуэй дважды пытался покончить с собой — пришлось вывезти из усадьбы оружие. Этому прислуга не подтверждает, но свидетельствует, что состояние хозяина было ужасно. Срывался, скандалил с каждым встречным, набросился на кубинского журналиста Лисандро Отеро, который хотел пообщаться с ним в «Флоридите». В сентябрьском номере журнала «Боземия» появилась карикатура на него — он обещал вызвать автора, кубинского художника Хуана Давида, на дуэль. Вдобавок начались боли в правой ноге, Эррера считал их психосоматическими, «лечил» электричеством и массажем — не помогало. Рентген, на котором настояла жена, показал: боли вызваны осколками, оставшимися от ранения в 1918-м. От операции больной категорически отказался. Мэри решила, что он сходит с ума. Он сказал ей, что ему не нужна помощь психиатра — он сам знает причины депрессии: «гордость, скука, отвращение» и сам справится. Но некоторые письма того лета, похоже, свидетельствуют об обострении душевной болезни.

Второго июня 1950 года, Майзенеру: «Меня достал Уилсон, который пишет о некоей таинственной вещи, которая повлияла на мою жизнь. Почему он не скажет, что это за вещь? Может, то, что мой отец застрелился? Или то, что я не выношу свою мать? Или то, что у меня была дважды прострелена мошонка, и я был ранен в правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу и оба колена? <...> У меня 22 видимых ранения (возможно, помимо скрытых), и я убил, по крайней мере, 122 человека, помимо тех, о ком я не могу знать наверняка. Последний, нет, не последний, а тот, чью смерть я перенес особенно скверно, был солдатом в немецкой форме и каске. Он ехал на велосипеде впереди отступающей части по дороге на Ахен, которую мы перерезали чуть повыше Сен-Кантена. Я не хотел, чтобы наши стреляли из крупнокалиберного пулемета и спугнули тех, что ехали следом за ним на бронетранспортерах, и сказал:

„Оставьте его мне“, и застрелил его из карабина. Потом мы подошли обыскать его и поправить ловушку, и он оказался соврем мальчишкой, ровесником моего сына Патрика, а я прострелил ему позвоночник и пуля вышла через печень». Те же 122 убитых фигурировали в майском письме Дорман-Смиту и июньском — Скрибнеру; напоминаем, что двумя годами раньше их было только 26. А в романе «За рекой, в тени деревьев» герой убил «сто двадцать два верных. Не считая сомнительных».

Двадцать пятого августа 1950 года, Роберту Кантуэллу (американский писатель, критик): «Нельзя же все время сидеть дома, но стоит выйти, и как только что-нибудь случается, газеты тут как тут. Они почему-то не пишут ни о том, что ты встаешь на рассвете и принимаешься за работу; ни о том, что ты никогда не отказывался послужить своей стране; ни о том, что ты сам, твой брат и старший сын были ранены на последней войне; ни о том, что оба твои деда сражались и были ранены во время гражданской войны; ни о том, что ты был ранен врагом 22 раза, из них шесть раз в голову, и тебе прострелили обе ноги, оба бедра и обе руки; ни о том, что твоя единственная цель быть лучшим американским прозаиком... Я никогда не был святым. Боб, и в наш век жить куда труднее, чем в средние века, а ведь я прожил в нем полсотни лет, да плюс еще год. И может статься, скоро сенатор Маккарти, да провались он в преисподнюю, решит, что со мною пора кончать...

Надеюсь, у тебя все хорошо. Свяжись с Кеном (Кен Кроуфорд, американский журналист. — М. Ч.). Он был такой занятой, что, должно быть, не помнит меня. Но ты скажи ему, что я тот самый субъект, которого послали с приказом доставить его во что бы то ни стало. <...> Генерал Раймонд Бартон, командовавший 4-й пехотной дивизией, сказал мне, нет, приказал пойти, отыскать и привести Кена. Пущенный из танковой пушки бронебойный снаряд пробил стену дома, где находился КП, и, оторвав по колено ногу штабного капитана, прошел через заднюю стену чуть повыше голов двух отдыхавших на койках связистов. Нога упала на пол, но голос генерала Бартона, говорившего по телефону, даже не дрогнул, и я, как и было приказано, отправился за Кеном. Ногу капитана обожгло снарядом, и крови почти не было. Он просто удивленно смотрел на свою ногу. На улице я встретил этого героя Эрни Пила (американский журналист, погиб на фронте в 1945-м. — М. Ч.), хныкавшего оттого, что наши бомбардировщики накрыли своих... Я сказал ему, что на прошлой войне, чтобы накрыть цель, нам иногда приходилось вести огонь так близко от своих позиций, что погибало до двадцати процентов наших солдат. Он сказал, что у меня нет сердца. „Войди в дом, — ответил я, — и полюбуйся

на эту ногу, она по-прежнему там, на полу. Ты сентиментальный дурак. И не говори со мной дурацким газетным языком, потому что сейчас я иду во второй батальон“».

Надо ли объяснять, что автор писем был ранен врагом лишь однажды (и вовсе не в голову и не в мошонку), а остальные увечья наносил себе сам, вообще не был ранен «22 раза», что Бартон ни с какими заданиями его не посылал? Тем же летом в письме Лэнхему он рассказывал, как в Испании мочился в кожану пулемета, когда тот перегревался от стрельбы. Возможно, ему на самом деле казалось, что он стрелял из пулемета. Письма были странными не только из-за несусветных выдумок, но и по тональности. Майзенеру писал о Фицджеральде: «Он мертв, и вы его хороните, к добру или к худу... Ваша похоронная работа хороша. Почти так же хороша, как та, которую проделали над лицом моего отца, когда тот застрелился. Лицо запомнят более красивым, чем оно было. Гробовщик благодарит всех, кто пришел на похороны». Он уже рассылал подобные письма летом 1948-го, теперь все повторилось. Что послужило толчком, неясно, но питательной средой явно была праздность. Когда ему удавалось работать, он таких писем не писал.

Теперь о Маккарти, который «решит, что со мною пора кончать...». Этого сенатора называют родоначальником «охоты на ведьм», что не совсем верно. С 1934 года в США функционировала комиссия палаты представителей конгресса, созданная для борьбы с «подрывной и антиамериканской пропагандой», а в 1946-м получившая статус Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. В 1947 году президент Трумэн издал указ, запрещающий прием на работу в государственные органы «неблагонадежных элементов», то есть коммунистов и сочувствующих. Маккарти лишь вывел эту деятельность на телевидение. Он возглавлял подкомитет сената, проводивший слушания дел голливудских знаменитостей, заподозренных в симпатиях к «красным», и объявил, что располагает списком из 205 коммунистов, работающих в госаппарате, после чего стал популярен. Это длилось до 1954 года: Эйзенхауэр, избранный президентом в 1952-м, отрекся от Маккарти, его критиковали председатель республиканской партии Холл и министр обороны Стивенс. По инициативе сенатора Флэндерса была учреждена Комиссия по расследованию деятельности самого Маккарти. Через несколько лет он умер от алкоголизма. Многие люди из списков Маккарти, чиновники и деятели искусства, потеряли высокооплачиваемую работу. (Ах, Мандельштаму бы, Шаламову бы их страдания!) От его действий пострадали и знакомые Хемингуэя: Дороти Паркер, Лиллиан Хелман,

Густаво Дуран.

Сам Хемингуэй никогда в комиссию не вызывался, в госучреждениях не служил, в Голливуде не работал, и нет данных, что Маккарти имел на него зуб, но 8 мая он отправил сенатору письмо с приглашением биться на кулаках: «Если вы потеряли конечности или голову во время боевых действий на Тихом океане (Маккарти служил в морской пехоте. — М. Ч.), то вам, конечно, можно посочувствовать. Но большинству людей вы просто наскучили, потому что им доводилось видеть настоящих солдат, которым досталось по полной. Иные видели даже убитых и вели им счет, и насчитали немало солдат по фамилии Маккарти. Но вас среди них не было, и мне не приходилось считать ваши нашивки за ранения... <...> Можете приехать сюда и сразиться бесплатно и без паблисити с таким старым чудачком, как я, которому стукнуло пятьдесят и который весит 209 фунтов и считает вас, сенатор, дерьмом, и готов дать вам в пору вашего расцвета хорошего пинка под зад».

Верил ли Хемингуэй в 1950 году, что убил «122 фрица» и что Маккарти его преследует? Судя по приведенным письмам — да, но есть и другие источники. Например, 11 сентября в интервью журналу «Тайм» он рассказал, что два года провел в море, выполняя задание военно-морского ведомства, потом попал в 4-ю пехотную дивизию, где «был только гостем, но старался быть полезным». Он — «литератор, а не военный, и никогда не утверждал, что был военным». И ни словечка об убитых фрицах, как и об ужасных ранах: отлично понимал, где можно фантазировать, а где нельзя. На ум приходит грубая версия: может, странные письма просто-напросто рождались под действием алкоголя?

В тот же период он вел интенсивную переписку с Марлен Дитрих — там тоже нет ничего о «122 фрицах», ведь перед женщиной нет нужды принимать угрожающие позы. Рассказывали о своих переживаниях: он о женах, она — о романе с Юлом Бриннером. Обменивались тонкими комплиментами, утешениями, нежными словами: «Где Вы, там мой дом. Я это ощущаю каждый раз, заключая Вас в свои объятия», «Я думаю, пришла пора признаться Вам, что я постоянно думаю о Вас. Я перечитала Ваши письма много раз и посоветовалась по Вашему поводу с несколькими доверенными людьми. Я поместила Вашу фотографию в своей спальне и, кажется, ничего не могу с собой поделатать», «Вы с каждым днем все больше хорошеете, и уже пора всюду выставлять Ваши портреты в девять футов высотой. <...> Чего Вы в действительности хотите от работы и жизни? Если денег, я положу все сокровища мира к Вашим ногам» — последние строки Хемингуэй отправил Дитрих в том же месяце, что и безумное

письмо Майзенеру. Вряд ли их отношения можно назвать романом — то был эlegantный флирт, украшавший жизнь обоих.

О новом романе он написал Дитрих: «Я сваял большой кирпич и где-то через три недели представлю его Вам. Думаю, эта работа Вам очень понравится. В этом повествовании Вы не найдете ни себя, ни кого бы то ни было из нашего окружения. Я все сочинил, как я это умею, от первой до последней фразы». Дитрих ответила: «Я ощутила, будто ужасное, опасное животное по-хозяйски расположилось в моей комнате. И неизвестно, когда ждать его нападения, и Вы не знаете, когда оно убьет Вас. Пока я читала, мое сердце покрывалось гусиной кожей». Все женщины рыдали, когда Хемингуэй показывал им текст; он был уверен, что получилось отлично. «Космополитен» заплатил за сериализацию неслыханный гонорар в 85 тысяч долларов, бум был огромный, ходили слухи о полумиллионном тираже. В сентябре 1950-го, тиражом 75 тысяч, роман «За рекой, в тени деревьев» вышел в «Скрибнерс». Америка ждала и требовала шедевра.

Пожилой полковник Ричард Кантуэлл, американец, прошедший две войны (Хемингуэй говорил, что герой соединяет черты Лэнхема, полковника Чарльза Суини и его самого, каким он мог быть, если бы стал военным), приехал в Венецию, где бывал в Первую мировую: у него больное сердце, нового приступа он может не пережить, он прибыл прощаться с любимыми местами и любимой женщиной, а вернее — умирать. «Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным, о тех краях, частью которых он хотел бы стать». «Смердишь и разлагаешься не так уж долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками».

Кантуэлл болен войной, ни о чем, кроме нее, не может думать, признается, что любит и ненавидит свое «ремесло»: «Отчего я такой ублюдок, отчего я не могу бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть?» «Жаль, — подумал он, — что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен. Среди остальных тоже есть славные люди, я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией; однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понес кару, которая постигает всех пробывших там достаточно долго». Он все

сравнивает с войной — охоту на уток («На причале, перед длинным низким каменным зданием на самом берегу канала, были разложены убитые утки. Они были разложены неровными кучками. „Тут всего несколько взводов, ни одной роты, а у меня едва ли наберется и отделение“, — подумал полковник»), ужины, обеды, любовь: «Женщину теряешь так же, как теряешь батальон, — из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и невысказанно тяжелых условий». «Разве тебе не приятно, что тебя любят? — Да, — сказал полковник. — Я чувствую себя так, словно был раньше на голом скалистом пригорке, — кругом камень, ямки не выроешь, нигде ни кустика, ни выступа, и вдруг оказывается, ты укрылся, ты в танке. Тебя теперь защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки».

Рената, юная красавица аристократка, в отличие от Адрианы, любит героя так же страстно, как и он ее; особую пряность их отношениям придает игра в отца и дочь. «— Я люблю тебя, ты, проклятая! Но ты ведь мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну а теперь пойдем ужинать.

Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.

— Хорошо, — сказала девушка. — Хорошо. Но сначала поцелуй».

Рената готова выйти за Кантуэлла, но он не может позволить ей связать судьбу с больным стариком и уступает ее молодому сопернику. Теперь его жизнь кончена. Он в последний раз убивает, правда, всего лишь уток. «„Ну а теперь отдыхай“, — сказал себе полковник. — У тебя осталась одна забота — о себе, а это уже роскошь. Армии США ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять. С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой. Тут дело обстоит совсем просто. Стрелял ты хорошо, и Альварито все понимает. Ну что ж. Так какого же черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов, которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь? Думаю, что ты не такой».

И тут его схватило — он этого ждал с тех пор, как они собрали чучела.

«Еще два раза — и конец, — думал он, — хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын». Тут его опять схватило, и очень сильно.

— Джексон, — сказал он, — знаете, что однажды сказал генерал Томас Джексон? В тот раз, когда его настигла безвременная кончина? Я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь. Но так, во всяком случае, передают. «А. П. Хиллу приготовиться к атаке», — сказал он. Потом начал бредить. А потом сказал: «Нет, нет, давайте переправимся

и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев».

Хемингуэй сказал жене, что критики разделились на две категории: те, которые считают роман «лучшей прозой, когда-либо написанной», и те, кто видит в авторе «пьянствующего бездельника». Но первых почти не было: из крупных критиков лишь Джон О'Хара восторгался романом, остальные сочли его стиль «слащавым», диалоги «искусственными», всю книгу «манерной», «сентиментальной», «скучной», а главное, «вторичной». Она казалась «пародией на Хемингуэя»: описания охоты и еды, заимствованные из старых книг, но лишённые свежести. Пассажи о смерти были по-прежнему сильны и, наверное, производили бы впечатление, если бы не ощущение, что все это уже сто раз читано. «Но смерть — дерьмо, — думал он. — Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не видно, где она вошла. <...> Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге. Но я знаю, что ко многим она приходит в постели как обратная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим — в этом было мое ремесло».

Описания трупов уже граничили с дурновкусием: «Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре? Сколько можно рассказывать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не помешаешь. Люди возразят: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане. В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные».

Сколько можно рассказывать таких историй? Уйму, но что проку? Критики от них устали. Кантуэлла они назвали «карикатурой», над любовными сценами смеялись — времена меняются, что прежде было смело, теперь выглядело слащаво. Попадались и откровенные глупости, странные в устах военного: «— Тебе не нравятся танки? — Да. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости, к настоящей трусости». Однако читателям

роман понравился. Мужественный герой, юная красавица, любовь, благородство — голливудская история, и Голливуд тотчас пожелал ее приобрести. (Предлагали, по словам автора, 250 тысяч долларов, но его это не устроило.)

Одиннадцатого сентября 1950 года, Лэнхэму: «Рецензию в „Таймс“ написал Джон О’Хара. Он начал с того, что назвал меня лучшим писателем со времен Шекспира, и это, конечно, принесет мне немало „друзей“. Ну и заявление. Все хорошие писатели хороши по-своему. После Шекспира была, по крайней мере, дюжина очень хороших писателей. Кроме того, он не смог понять моей книги, поскольку не знал людей, о которых я обычно пишу... А я знаю всевозможных солдат, художников, дипломатов, воров, гангстеров, политиков, жокеев, тренеров, матадоров, много красивых женщин, аристократок, бомонд, спортсменов, профессиональных убийц, всяческих игроков, оголтелых анархистов, социалистов, демократов и монархистов... <...> Я также знал рыбаков, охотников, бейсболистов, футболистов, Жоржа Клемансо, Муссолини (последнего слишком хорошо), экс-королей... Так что моя биография существенно отличается от биографии тех, кто судит обо мне с такой легкостью. Они всегда изображают меня простеньким, застенчивым сыном сельского врача, а с легкой руки Каули я стал еще и увальнем с плохим зрением...»

Аргументация очень характерная для Хемингуэя: если кто не знал воров, гангстеров и профессиональных убийц (кстати, не факт, что сам он был близко знаком с таковыми), то он и в литературе ничего смыслить не может. Ту же аргументацию использовал Юлиан Семенов: «Критика тогда не смогла подняться до Хэма. Чтобы подняться до его романов, можно и не быть талантливым, но обязательно надо пережить такую же последнюю любовь, и ночь в „Гритти“ за бутылкой вина, и холодный ветер, который задувал под одеяло на гондоле, и последние слезы итальянки, которая дала себе ученическое твердое слово никогда не плакать... Пусть не Италия — пусть костер в архангельском лесу, за Холмогорами, в весенний рассвет, когда уже разлетелся тетеревиный ток, и ты в шалаше на берегу Двины, а над тобой высоко-высоко тянет казара, или Ирак, берег Персидского залива, ночь, и пьяные матросы бьют женщину с растрепанными черными волосами, похожую на венецианку... Или... Это у каждого должно быть свое „или“. А если их не было и человек не может себе представить, как это бывает, или он не хочет поверить Старику, что именно так и бывает, — тогда пусть ругает его роман: это не больно и даже не обидно».

Эта логика кажется верной человеку неискушенному: нельзя писать о том, чего не пережил, и читать о том, чего не знаешь, тоже нельзя — все

равно ничего не поймешь, и критиковать нельзя. Однако, следуя ей, получается, что если человек не убивал, он не может ни писать, ни читать, ни критиковать книги об убийствах, если молод — о стариках, если не рожал — о родах, если не умер — о смерти; зато любой стоматолог может оценить литературные достоинства книги о стоматологах, а алкоголик — об алкоголиках. И Хемингуэй, художник, изобретатель стилей, последовал этой наивной логике! Военные — Лэнхем, Дорман-Смит, генерал Блейкли, в конце войны принявший командование 4-й дивизией, — сказали, что в его книге «верно описаны военные операции» — стало быть, она прекрасна, а те, кто так не думает, идиоты. Но как тогда мог сам Хемингуэй, не знавший французской аристократии, оценить Пруста, не побывав в Ирландии — Джойса, не имея представления о России — Толстого и Тургенева?

После смерти автора критики смягчились. Бейкер назвал роман «элегией, красивой мечтой». Филип Янг считал, что ранние критики недооценили символический смысл романа — это не любовная история, а рассказ об умирании с достоинством: человек контролирует собственную смерть, возвышаясь над нею. На наш взгляд, критики действительно были жестоки, может, потому, что заранее настроились на шедевр. А ведь «За рекой» писал человек, выкарабкивавшийся из лап болезни, давно не работавший; писал как начинающий, заново учащийся ремеслу...

Многих журналистов интересовали не художественные достоинства романа, а содержащиеся в нем высказывания о военном деле. Хемингуэй подверг уничтожающей критике не только танкистов: «Кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и часть ее, ровно столько, сколько для этого нужно, изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах, с тех самых пор, как ее посадили на коней». Французы: «Не было у них ни одного военного мыслителя со времен дю Пика. <...> Три школы военной мысли. Первая: дам-ка я им в морду. Вторая: спрячусь за эту штуковину, хоть она у меня и левого фланга не прикрывает. Третья: суну голову в песок, как страус, и понадеюсь на военную мощь Франции, а потом пушусь наутек». Англичане: «Не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце». Писатели: «пристроились на службе в тылу и писали о боях, в которых ничего не смыслили». Журналисты: «уваливали от военной службы; были жулики, которые вопили, что ранены, когда их задевал рикошетом осколок железа, и носили нашивки за ранение, если попадали в автомобильную аварию; были пролазы, трусы, вруны, мародеры и карьеристы». Военачальники: «Почти все они и в самом деле смахивают на полководцев и состоят в „Ротари-клубе“, о котором ты и не слыхала. Члены этого клуба носят эмалированный жетон со своим именем, там штрафуют,

если назовешь кого-нибудь по фамилии. Воевать им, правда, не приходилось. Никогда». Представитель генералитета: «некий политик в мундире, который за свою жизнь ни разу не был ранен и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге. Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом».

«Тайм» попросил прокомментировать, имел ли в виду Хемингуэй, говоря о «будущем президенте», Эйзенхауэра, и как он к нему относится. Ответ: «Хемингуэю нечего сказать о генерале Эйзенхауэре, кроме того, что он — чрезвычайно способный администратор и превосходный политический деятель. Хемингуэй полагает, что он проделал превосходную работу по организации высадки в Нормандии, если только это действительно делал он. Хемингуэй согласен уважать Эйзенхауэра, Беделла Смита (начштаба у Эйзенхауэра. — М. Ч.) и Джорджа Паттона. Но он отказывается уважать Монтгомери как человека и как военного, и пусть его лучше расстреляют, чем он станет его уважать. Хемингуэй восхищается генералом Омаром Брэдли и генералом Лоутоном Коллинзом^[41] и любит армию США, но не может любить трусов и бездарей».

За что он разругал всех этих людей? Он сказал ехидно, что «военачальники должны иметь хоть какой-нибудь боевой опыт». Эйзенхауэр боевого опыта в понимании Хемингуэя не имел — окончил военную академию Вест-Пойнт, в Первую мировую был направлен в лагерь для подготовки добровольцев, но на фронт не попал, потом занимал должности начальников штабов, командовал силами союзников в Северной Африке, Сицилии и Италии. «Штабной», короче говоря. Но Смит, которого Хемингуэй тоже изрядно приложил в романе, был фронтовиком — его за что? В 1950 году он стал директором ЦРУ, выросшего из УСС, организации, которой Хемингуэй мечтал служить, но его отвергли: может, за это? Британский фельдмаршал Монтгомери был главнокомандующим сухопутными войсками союзников в Европе; он хоть и окончил академию, но в Первую мировую сражался, начиная с комвзвода. Но англичан Хемингуэй не любил вообще, скопом. Разумеется, все военачальники небезгрешны, а в их «работе» — посылать на смерть других людей — можно при желании увидеть подлость. Окажись Хемингуэй в Советской армии, вероятно, нашел бы за что обругать и наших. Но, слава богу, этого не случилось и потому единственные, о ком в романе сказано доброе слово — русские: «Говорят, это наш будущий враг. Так что мне как солдату, может, придется с ними воевать. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас».

Во время работы над романом Хемингуэй сказал Майзенеру: «Я думаю, что пишешь на самом деле только для двух человек: для себя, пытаясь достичь абсолютного совершенства, и для той, которую любишь, неважно, жива она или мертва». Но Адриана не оценила его труд. «Да, он написал роман в мою честь, думая обо мне, но мне не нравится книга и, думаю, ему тоже». Она и ее мать боялись светского скандала: чтобы оградить их, Хемингуэй запретил публикацию книги в Италии в течение двух лет. (Девушки бывают разные: сестра барона Франчетти заявила, что роман написан о ней. Автор отнесся к ее словам снисходительно — он, за редким исключением, с женщинами не воевал.) Но приехать в гости к автору дамы согласились. Они прибыли 28 октября, под предлогом посещения Джанфранко Иванчича, который обосновался в «Ла Вихии» еще летом, намереваясь писать книгу (Хемингуэй ввел его в круг своих богатых знакомых и помогал деньгами). Атмосфера в «Ла Вихии» переменялась: хозяин подстригся, помолодел, расцвел, отказался носить очки.

Адриана потом рассказывала Скрибнеру, что они с матерью «чудесно провели время», занимаясь «чудесными вещами» с «чудесными людьми». В мемуарах описывала идиллию, невинные развлечения. Вряд ли было так. Мужчина влюблен в девушку, рядом крутится жена — какая уж тут идиллия? По словам Эрреры, Хемингуэй понимал, что брак с Адрианой невозможен, но «на что-то смутно надеялся». Сама Адриана не без самодовольства описала случай за ужином: Мэри приставала к мужу, требуя танцевать с ней, тот швырнул ей в голову стакан, и лишь ее, Адрианы, благотворное присутствие спасло супругов от разрыва. Она также утверждала, что Мэри «доверяла» ей, видела, что она «хорошо влияет» на мужа, поощряла их общение. А шофер Лопес слышал, как Мэри просила гостью оставить ее мужа в покое: «Мисс Мэри нервничала, но сдерживалась». Мейерс: «Мэри обладала бесконечным терпением. Она говорила мужу: „Независимо оттого, что ты говоришь или делаешь — если только не убьешь меня — я останусь с тобой, пока не скажешь открыто, чтобы я уехала“. Мэри была готова вынести все, только бы остаться миссис Хемингуэй навсегда».

И все же Хемингуэй в присутствии Адрианы был очевидно счастлив. (Невозможно установить, поощряли ли девушка и ее мать его ухаживания, давали ли надежду на брак, но скорей всего да, иначе б он страдал.) Он практически не пил, сел на диету и вновь стал работать. Замысел трилогии

«о море, земле и воздухе» конкретизировался: его первая часть, условно называемая «морским романом», в свою очередь, разделилась на три части: «Море в молодости» (The Sea When Young), «Вдали от моря» (The Sea When Absent) и «Море в жизни» (The Sea in Being). По его словам, над «Морем в молодости» он работал в 1946–1947 годах, и это дает основания предполагать, что имелся в виду будущий роман «Эдем». Теперь он писал (или редактировал) «Вдали от моря» — это, по-видимому, то, что мы знаем как первую и вторую части «Островов в океане»: повествование о жизни художника Хадсона, фрагменты из которого (о кошках, о сыновьях, о смерти детей) мы цитировали; начерно завершив эту вещь, взялся за «Море в жизни», из которого получится повесть «Старик и море». Работал с ясной головой и весьма продуктивно: его обычная норма, когда он был здоров, не превышала пятисот слов в день, а теперь он, больной, делал по тысяче. На Рождество приехали Патрик с женой Генриеттой и Грегори с невестой Джейн, бывшей моделью, — он женится на ней в апреле 1951-го, отец категорически не одобрит этого брака. Вообще с Грегори были сплошные проблемы: не проучившись в колледже и года, он увлекся теориями Рона Хаббарда (дианетика, сайентология), а в феврале 1951-го, когда Хаббарда «попросили» из Нью-Джерси, бросил учебу и последовал за гуру в Лос-Анджелес. Отец был очень расстроен.

Но когда писателю пишется, его настроение не может омрачить ничто, даже получение соперником (Фолкнером) Нобелевской премии. В первые зимние месяцы Хемингуэй заканчивал «Старика и море», написал также две милые сказки для журнала «Холидей», «Хороший лев» (The Good Lion) и «Честный бык» (The Faithful Bull): в первой лев никого не ест и летает на крыльях, собраты над ним смеются, и он улетает в Венецию, где живут его папа и мама; во второй бык-боец отказывается выполнять функции производителя, потому что влюблен в одну-единственную корову. Тексты появились в марте 1951 года с иллюстрациями Адрианы. (В апреле в журнале «Трю мэгэзин» был опубликован рассказ совсем в другом духе «Выстрел» (The Shot), но о нем позднее.)

6 февраля Адриана и ее мать улетели в Нью-Йорк (накануне — роскошный ужин, 200 гостей, оркестр, хозяин дома во фраке). А вскоре в европейской прессе появились намеки на то, что Адриана — любовница Хемингуэя. Дамы испугались. Адриана за глаза стала говорить о писателе как о «человеке, который облил меня грязью». Но отношения не были разорваны. Он слал ей трогательные письма: «Некоторые будут думать все, что угодно, но только ты и я знаем правду и с ней умрем. Может, мне не нужно было тебя встречать. Может, так было бы лучше для тебя. <...>

Знай, дочка, что все было бы так же, если бы я даже не написал книгу о Венеции. Люди все равно бы заметили, что мы всегда вдвоем, что мы счастливы вдвоем и что мы никогда не говорим о серьезных вещах. Люди всегда завидуют чужому счастью. И кроме того, они все равно бы заметили, что мы работаем вместе, что работаем мы всерьез и работаем хорошо. Люди всегда завидуют тем, кто работает серьезно и хорошо. Запомни, дочка, что самым лучшим оружием против лжи является правда. Не стоит бороться против сплетен. Они как туман, подует свежий ветер и унесет его, а солнце высушит...» В Гаване остался Джанфранко Иванчич: к делу он не прибил, книгу не написал, хемингуэвская свита отчаянно к нему ревновала, обвиняя во всевозможных грехах, включая воровство еды из холодильника. Но Хемингуэй продолжал помогать юноше, на которого обратилась любовь к его сестре.

В феврале он предварительно закончил «Старика и море», показал Скрибнеру, Хотчнеру, сказал, что это часть тетралогии о море (которая, в свою очередь, является частью трилогии «о море, земле и воздухе»). В марте начал писать еще один текст — до нас он дошел как заключительная часть «Островов в океане»: художник Хадсон на яхте охотится за немецкими подлодками. Хорошая приключенческая повесть, она была бы еще лучше, если бы не вторичность — попробуйте различить, какие пассажи отсюда, а какие из «Колокола». «Но ты все-таки должен это делать, сказал он себе. Да, конечно. Но гордиться этим я не должен. Я только должен это делать хорошо. Я не нанимался получать от этого удовольствие. Ты и вообще не нанимался, сказал он себе. И тем хуже». «Но ты не должен стоять за убийства. Ты должен убивать, если это необходимо, но стоять за убийства ты не должен». Автор продолжал грешить дурновкусием — вот разговор героя с револьвером: «— И давно ты стал моей девушкой? — сказал он револьверу. — Не отвечай, — сказал он револьверу, — лежи там тихо, смиренно, а придет время, ты у меня убьешь кого-нибудь получше этого сухопутного краба», и псевдозначительными изречениями: «Жизнь человека немного стоит в сравнении с его делом. Но чтобы делать дело, нужно жить». Он все еще выздоравливал, еще не «расписался».

Хемингуэй неоднократно называл счастливейшим периодом своей жизни военную осень 1944 года, но его герой, не менее воинственный, на вопрос о самом счастливом времени дает иной ответ: «Да все время, в сущности, пока жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать и охотно есть. От велосипеда радости было больше, чем от автомобиля. С него лучше можно было все разглядеть, и он помогал держать себя в форме, и после прогулки по

Булонскому лесу хорошо было свободным ходом катить по Елисейским Полям до самого Рон-Пуана, а там, оглянувшись, увидеть два непрерывных потока машин и экипажей и серую громаду арки в наступающих сумерках. Сейчас на Елисейских Полях цветут каштаны. Деревья кажутся черными в сумерках, и на них торчат белые восковые цветы. Как тогда, когда ты спешил, бывало, у Рон-Пуана и вел свой велосипед к площади Согласия по усыпанной гравием пешеходной дорожке, чтоб спокойно полюбоваться каштанами и почувствовать их сень над собой, и, ведя велосипед по дорожке, ощущал каждый камешек сквозь тонкую подошву спортивных туфель. Эти туфли он приобрел по случаю у знакомого официанта из кафе „Селект“, бывшего олимпийского чемпиона, а деньги на покупку заработал, написав портрет хозяина кафе — так, как тому хотелось. „Немножко в манере Мане, мосье Хадсон, если вы сможете“». Это — мостик к главной книге позднего Хемингуэя, быть может, главной книге его жизни. Но тогда он еще не собирался писать ее.

Весна прошла тихо в работе. Беспokoили только биографы. Он сказал Каули, что не желает биографических книг о себе (литературоведческие — пожалуйста), и отказался беседовать с английским журналистом Аткинсом. Но биографы, настырные и проницательные существа, не отставали. В 1951 году его «взял в оборот» Чарльз Фентон из Йельского университета: он писал диссертацию о ранней журналистике Хемингуэя, обещал, что не будет касаться личной жизни. Хемингуэй назвал Фентона «гестаповцем», тот не испугался, а огрызнулся, тогда «объект» сдался и написал примирительное письмо, разъясняя, что боится биографов — «гиен и шакалов», кружащих возле него. Фентон оказался человеком с характером: отвечал, что он не гиена и никому не позволит себя обзывать. Тогда Хемингуэй предложил ему сразиться на кулаках. Бой не состоялся, но Фентон победил и в 1954-м издал прекрасную книгу «Ученичество Эрнеста Хемингуэя». В тот же период возник Карлос Бейкер, профессор литературы из ненавистного Принстона: он держался кротко, в письмах задавал деликатные вопросы; «объект» опять сдался и стал отвечать. Бейкер издал в 1956-м литературоведческую работу «Хемингуэй: писатель и художник», а после смерти героя — биографическую: «Хемингуэй: история жизни», представляющую собой бесценную кладезь фактов.

Была еще тяжба с профессором Филипом Янгом, который прочел публичную лекцию о Нике Адамсе, страдавшем от травматических неврозов, приписав аналогичные неврозы всем персонажам Хемингуэя и автору, который, по его предположению, был ранен в гениталии; Хемингуэй сам в письмах лета 1950-го выдумывал, будто получил такое

ранение, но тут пришел в ярость и запретил Янгу цитировать свои книги. Два года шла переписка через посредников (письма, подписанные Янгом, «объект» рвал не читая). Янг молил не лишать его работы, и Хемингуэй сдался вновь, телеграфировав профессору, что тот может писать «все, что ему вздумается». Книга Янга «Эрнест Хемингуэй» вышла в 1952 году и, естественно, герою не понравилась. Но ему не нравилась и деликатнейшая работа Фентона, в которой ни о каких неврозах не говорилось, зато было рассказано (хотя и очень тактично и сухо) о его семье и детстве. Всякому неприятно, когда в его жизни копаются, но у Папы была дополнительная причина не любить биографов: они могли разрушить некоторые из его выдумок.

В том же году Хемингуэй впервые серьезно занялся рекламой. Первым продуктом, который он «продвигал», стало пиво «Бэллентайн»: «Вы должны хорошо потрудиться, чтобы им насладиться. Когда что-то выводит вас из себя, „Бэллентайн“ приводит вас обратно». Делалось это, по-видимому, исключительно ради денег, ибо ему продолжало казаться, что он на грани разорения.

*

Двадцать восьмого июня 1951 года умерла Грейс Хемингуэй. Ей было 79 лет; последние годы она жила в Мемфисе с дочерью Мадлен (миссис Мейнленд) и давней подругой Рут Арнольд. За полтора года до смерти она собиралась дать интервью журналу «Маккол», сообщила об этом сыну — тот запретил ей рассказывать что-либо о его детстве, запретил интервью вообще и пригрозил лишить пенсиону, если ослушается. Мать послушалась, тогда он прислал ей другое письмо, доброжелательное. Но на похороны не поехал. Линн считает, что со смертью Грейс он, с одной стороны, освободился от «демона», а с другой — потерял смысл жизни, лишившись врага, на которого можно свалить все свои беды. Трудно судить, так ли это. Да, он в последние годы многим говорил о страстной ненависти к матери. Но его давно уже преследовало много других демонов, кроме Грейс. Бейкеру, во всяком случае, он написал, что его мать была «чудесной девушкой в молодости» и что ребенком он «был с нею счастлив».

Его отношения с родней после войны фактически прекратились. Марселина с семьей жила в Детройте, Урсула с мужем в Гонолулу, Кэрол с семьей на Лонг-Айленде, Лестер в Ки-Уэст. Попыток возобновить общение

не было ни с их стороны, ни с его. А вот Мэри была очень привязана к родителям и 5 июня в очередной раз улетела их проведать; муж писал ей ежедневно, жалуясь на одиночество и тоску. Предупредил Скрибнера: «если с ним что-то случится», он разрешает печатать тексты о художнике Хадсоне, а также «Море в жизни» под названием «Старик и море» (The Old Man and the Sea). В июле он ушел в рейс на «Пилар» с Фуэнтесом в Пуэрто-Эскондидо. Скрибнеру писал, что будет «плавать, читать, отсыпаться и лечиться», но вернулся простуженным и больным. Мэри он застал дома, но тут же пришла телеграмма: у ее отца рак. Она опять вылетела к родителям 9 августа, вернулась 20-го. Хемингуэй тестя не любил, но был подавлен: умирали все кругом, рак нашли у Эвана Шипмена, тяжело болел Скрибнер.

В ночь с 30 сентября на 1 октября позвонила из Сан-Франциско Полина и сообщила, что с Грегори очередная «неприятность» (а казалось, наконец-то все в порядке: женат, работает авиамехаником, Хаббарда бросил): он заперся в женской уборной, переодетый женщиной, и был арестован. Детали разговора между родителями неизвестны. Вирджиния утверждала, что отец «набросился» на мать, обвинял, что не смотрела за сыном. Через несколько часов после разговора Полину увезли в больницу и она умерла от феохромоцитомы, опухоли надпочечника: при таком заболевании нервное потрясение провоцирует гипертонический криз.

По утверждению Грегори, отец тотчас обвинил его в смерти матери, а Грегори в ответ написал, что ее погубили не его «проделки», а то, что отец на нее накричал. Оба не признавали своих ошибок и любили виноватить других. В феврале 1952 года Грегори приезжал с женой в Гавану, поругался с Мэри, а потом и с отцом. По утверждению обоих, больше они не общались. Однако сын Грегори Джон Хемингуэй в книге «Странное племя» приводит их дальнейшую переписку. Осенью 1952-го Грегори вдруг начал писать отцу странные письма (он тоже сильно пил), грозясь его «поколотить», тот называл угрозы «дурацкими» и требовал извиниться перед мачехой. Грегори назвал отца «плохим мужем» как для Полины, так и для Мэри, пророчил, что тот «умрет неоплаканным и никому не нужным», и охарактеризовал только что вышедшего «Старика и море» как «ведро плаксивых помоев». Эррера утверждает, что в сентябре 1954 года Грегори прислал примирительное письмо и отец был счастлив, а Джон рассказывает, что его дед до самой смерти поддерживал связь с сыном, платил за его лечение в психиатрической больнице в Майами осенью 1957-го и лично отвез его в Ки-Уэст после выписки. Лечили Грегори, как и Патрика, электрошоком, с согласия и одобрения отца — это важно помнить, когда речь пойдет о лечении самого Эрнеста Хемингуэя.

Предположительно в 1957-м Хемингуэй написал не публиковавшийся при жизни рассказ «Большие новости с материка» (Great News from the Mainland): отец по телефону беседует с проходящим лечение ЭСТ сыном и радуется, что здоровье юноши улучшилось.

Жизнь Грегори была сложной: в середине 1950-х он уехал в Африку, по его словам, убил множество слонов, принимал наркотики, после лечения сумел взять себя в руки, в 1960-м поступил в медицинский институт в Майами, успешно его окончил, до 1983-го руководил больницей в штате Монтана, считался хорошим специалистом, но потерял лицензию из-за алкоголизма, разводился, женился, произвел на свет восемь вполне благополучных детей. В 1976 году написал книгу об отце («Я чувствовал облегчение, когда тело моего отца похоронили, и я понял, что он действительно умер и я больше не могу разочаровывать его и причинять ему вред»), в 1995-м развелся с последней женой и сделал операцию по смене пола, став Глорией; в 2001-м Глория была арестована за «непристойное поведение» и умерла в женской тюрьме штата Майами от сердечно-сосудистой недостаточности. С натяжкой, но можно сказать, что у Папы все-таки была дочь.

На похоронах Полины Хемингуэй тоже не был — он вообще избегал похорон. Наступление 1952 года праздновали в усадьбе, которую купил, женившись на богатой кубинке, Джанфранко Иванчич; в конце января с Мэри отправились в рейс на «Пилар». 11 февраля 1952 года умер от сердечного приступа Чарльз Скрибнер. А 10 марта на Кубе сменилась власть: Батиста, потерпевший поражение на предыдущих выборах, опираясь на часть армии, отстранил от власти правившего с 1948-го президента Карлоса Прио Сокарраса и объявил себя «временным президентом». Американские монополии контролировали почти 70 % экономики Кубы, Батиста был настроен проамерикански. Скоро на политической арене появится Фидель Кастро. И вот-вот выйдет книга, что принесет Хемингуэю Нобелевскую премию.

Глава двадцать первая ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

«Будучи членом редколлегии журнала „Иностранная литература“ в начале 1955 года, Эренбург старался навязать редколлегии журнала свои взгляды и добиться соответственного заполнения страниц журнала. На заседаниях редколлегии Эренбург выражал безграничные восторги по поводу натуралистической и бескрылой повести Хемингуэя „Старик в море“ (по мнению Эренбурга, в ней „даже слабые места выше тех средних вещей, которые печатаются в журналах“).

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпов

Зав. сектором Отдела В. Иванов

4 января 1956 г.».

Эренбург: «Александр Борисович (Маковский. — М. Ч.) говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить — Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать „Старика и море“: „Молотов сказал, что это — глупая книга“. Недели две спустя я был у В. М. Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешения задать вопрос: „Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?“ Молотов изумился, сказал, что он в данном случае „нейтралит“, так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции: „Старик и море“ пойдет... Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя — о нем много говорят иностранцы. Наследующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать „Старик и море“. „Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели“. — „А дальше что?“ — „Дальше ничего, конец“. Вячеслав Михайлович сказал: „Но ведь это глупо!..“».

Ахматова: «В „Старике и море“ Хемингуэя подробности меня

раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т. д. И всё ни к чему. А тут каждая подробность нужна и дорога...» «Тут» — это в рассказе «Щ-854», более известном как «Один день Ивана Денисовича». Вообще советские читатели, даже из числа поклонников Хемингуэя, «Старика» (опубликованного в 1956 году издательствами «Правда» и «Детгиз» в Москве и Гослитиздатом Украины в Киеве) не очень-то любили, в отличие от американских. Попытаемся понять, почему.

*

Хемингуэй писал Бернаруду Беренсону: «Последняя написанная вещь всегда кажется нам самой хорошей, поэтому, возможно, я излишне уверен в книге о старике и море. Каждый день, по мере того как я писал ее, я поражался тем, как здорово у меня получается, и надеялся, что завтра смогу выдумывать так же правдоподобно». Однако он дал распоряжение публиковать повесть лишь в случае его смерти, если не успеет доделать трилогию. Но Уоллес Мейер, редактор «Скрибнерс», с которым он работал после смерти Перкинса, в апреле 1952-го сообщил, что редакторы «Клуба книги месяца» в восторге от «Старика» и его надо издавать, а кинорежиссер Лиланд Хейуорд посоветовал отдать повесть в журнал «Лайф». Автор согласился на то и другое. Все лето шла усиленная реклама, «Лайф» прислал фотографа Альфреда Эйзенштедта сделать серию снимков: писатель рыбачит, писатель купается, писатель пишет. Самого писателя это раздражало, он нервничал, заранее просил не искать прототипов. За 1–2 сентября 1952 года было продано 5 318 655 экземпляров «Лайфа», а 8 сентября Чарльз Скрибнер-младший, сменивший отца на посту главы издательства, выпустил книгу тиражом 50 тысяч. Автор волновался напрасно. То, на что он надеялся, публикуя «За рекой, в тени деревьев», случилось теперь: ошеломительный, баснословный успех.

Читатель, которому эта вещь набила оскомину в школе, возможно, из сюжета усвоил не больше Молотова: придется вспоминать. Сантьяго, одинокий старый рыбак, за 84 дня ничего не поймал. «Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдаётся. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении, и о том, на какую глубину они забрасывали леску, и как держится погода, и что они видели в море». С ним ходил рыбачить соседский мальчик, к которому он привязался: «Ему теперь уже больше не снились ни

бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился». Потом родители отправили мальчика к другому рыбаку, удачливому, но он вернулся к другу:

«— Что у тебя на ужин? — спросил мальчик.

— Миска желтого риса с рыбой. Хочешь?

— Нет, я поем дома. Развести тебе огонь?

— Не надо. Я сам разведу попозже. А может, буду есть рис так, холодный.

— Можно взять сеть?

— Конечно.

Никакой сети давно не было — мальчик помнил, когда они ее продали. Однако оба каждый день делали вид, будто сеть у старика есть. Не было и миски с желтым рисом и рыбой, и это мальчик знал тоже.

— Восемьдесят пять — счастливое число, — сказал старик. — А ну как я завтра поймаю рыбу в тысячу фунтов?

— Я достану сеть и схожу за сардинами. Посиди покуда на пороге, тут солнышко.

— Ладно. У меня есть вчерашняя газета. Почитаю про бейсбол.

Мальчик не знал, есть ли у старика на самом деле газета или это тоже выдумка».

Беспомощная нежность, с какой привязываются только старые да малые, ребенок и взрослый меняются ролями... Но вот герой выходит в море — один, без мальчика, — и тональность меняется. Это уже не слабый пожилой человек, это — охотник, герой-одиночка, правда, как все хемингуэевские герои, печальный. Ему удастся поймать громадную рыбу (множество исследований посвящены вопросу, марлин она или нет, но вряд ли это важно, во всяком случае, автор дает понять, что это Рыба вообще, вроде астафьевской Царь-рыбы, о которой речь впереди), он долго сражается с ней, подводит к борту, опять сражается, наконец рыба подышает и он буксирует ее домой, но добычу отнимают акулы; процесс сопровождается размышлениями. Читателя, который воспринимает «Старика» как реалистическое произведение, размышления эти раздражают: уж больно красиво.

«Ее судьба была оставаться в темной глубине океана, вдали от всяческих ловушек, приманок и людского коварства. Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один

человек». «Хоть это и несправедливо, — прибавил он мысленно, — но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести». «Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!» «Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем?» Так высокопарно мог бы рассуждать эстет-романтик или, напротив, представитель архаической культуры — индеец, чукча, масаи (во всяком случае, писатели заставляют таких персонажей выражаться напыщенно и приучили к этому читателей), но Сантьяго — обычный профессиональный рыбак, усталый, пожилой, не такой уж архаический — обожает бейсбол, читает газеты: в его устах подобные фразы кажутся фальшью.

К своим жертвам герой чувствует любовь, уважение, извиняется перед ними («Мальчику тоже стало грустно, и мы попросили у самки прощения и быстро разделали ее тушу»), называет «родней», «братьями»: в архаических культурах животные и даже растения действительно могут считаться родней, хотя, заметим, в большинстве из них родню-то как раз поедать не принято. «— Худо тебе, рыба? — спросил он. — Видит бог, мне и самому не легче». («— Худо тебе, бабуля? — спросил Раскольников. — Видит бог, мне и самому не легче».) «Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно? <...> К тому же, — подумал он, — все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь». («Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал: трус — поцелуем, тот, кто смел — кинжалом наповал...») «Может быть, грешно было убивать рыбу. Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать, да к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой». (А водопроводчик родился, чтобы быть водопроводчиком...)

Мысли и чувства, свойственные скорее автору, он дарит герою, на него не похожему. Рыбаку беспрестанно снятся львы — с какой стати, даже если он их однажды видел в юности? Почему не рыбы? Львы были бы естественны для охотника на львов... В рассказах Хемингуэя об охоте есть любование убийством — «Я нащупал сердце около передней ноги, чувствуя, как оно трепещет под шкурой, всадил туда лезвие ножа, но он оказался слишком коротким и только слегка оттолкнул сердце» — и те же ощущения он заставляет испытывать старого рыбака: «Но я все-таки убил

эту рыбу, которая мне дороже брата... Мне хочется посмотреть на нее, — подумал он, — потрогать ее, почувствовать, что же это за рыба. Ведь она — мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца, — думал он, — тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца». На войне Хемингуэй изводил военных требованиями признаться, что они воюют, дабы доказать свою мужественность, и отказывался верить, что это не так; рыбак, по его мнению, рыбачит, чтобы доказать, «на что способен человек и что он может вынести». Ощущения любителя он приписывал профессионалам.

Но литературоведы, американские и наши, считают, что требовать от «Старика» психологической убедительности нельзя: это не реалистическая повесть, а эпическая поэма в прозе, где, как в какой-нибудь «Калевале» или «Старшей Эдде», важна не психология, а символика. (Хемингуэй сказал корреспонденту «Тайм»: «Очевидно, символы есть, раз критики только и делают, что их находят».) Джозеф Джексон назвал книгу «мистерией, где Человек борется против Рока». Бернард Беренсон: «„Старик и море“ Хемингуэя — это поэма о море как таковом, не о море Байрона или Мелвилла, а о море Гомера, и передана эта поэма такой же спокойной и неотразимой прозой, как стихи Гомера. Ни один настоящий художник не занимается символами или аллегориями — а Хемингуэй настоящий художник, — но каждое настоящее произведение искусства создает символы и аллегории. Таков и этот небольшой, но замечательный шедевр». С. З. Агранович, А. П. Петрушкин. «Неизвестный Хемингуэй»: «Море — доказательство могущества человека над всем, но только не над природой. Рыба — плодородие, очищение от скверны, символ вечности, бессмертия... Сантьяго так и не сумел сохранить рыбу в сохранности, человеку не подвластно одержать победу над вечным».

То, что кажется фальшивым в устах реалистического персонажа, эпическому не только прощательно, но и должно. «Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!» Сантьяго, подобно героям древних эпосов, ощущает себя такой же частицей мира, как и рыба, все предметы и явления для него не менее одушевлены, чем он сам, и являются его «родней». «Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа». «Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка. — Они хорошие, — сказал старик. — Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба». «Отдохни хорошенько, маленькая птичка, —

сказал он. — А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба». Он даже со своей рукой беседует, как с отдельной сущностью: «Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет. <...> Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?»

Не всякую родню любишь, и Сантьяго некоторых существ терпеть не может, потому что они «плохие». Тоже характерная черта эпосов: не нужно мотивировать, чем персонаж плох, достаточно назвать его злодеем. «Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца. — Ах ты сука! — сказал старик». Акулы, напавшие на добычу старика — «вонючие убийцы». Вообще-то акулы, как и герой, убивают «для того, чтобы не умереть с голоду», и, если быть логичным, он не должен на них сердиться, ведь они, быть может, тоже говорят: «Худо тебе, старик? Видит бог, нам и самим не легче. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Мы родились, чтобы стать акулами, как рыбац родился, чтобы быть рыбаком». Но логика эпическому герою так же мало нужна, как и психология.

Разреши́в спор с совестью таким же образом, как и старик, акулы съели рыбу. Герой вернулся ни с чем. Но есть мальчик, который любит и утешает его. Эпосы прекрасны, но уж слишком высоки и далеки, над ними не заплачешь — а как только эпически-героическое уступает место страдальчески-человеческому, вновь щемит сердце:

«— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.

— Спит, — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. — Не надо его тревожить.

— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбац, который мерил рыбу.

— Не меньше, — сказал мальчик.

Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:

— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.

— Возьми что-нибудь еще.

— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.

— Ох и рыба! — сказал хозяин. — Прямо-таки небывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.

— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал».

А вот финал — он, как и зачин, сделан словно не тем Хемингуэем, который писал срединную, героико-эпическую часть, а молодым, не

любившим красивые слова: «В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя. „Что это такое?“ — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом. „Tiburón, — сказал официант. — Акулы“. — Он хотел объяснить ей все, что произошло. „Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно загнутые хвосты!“».

Черкасский, не желавший читать «Старика» как эпическую поэму, сказал об этом финале: «Казалось бы, ничего здесь нет. Ан вот он — айсберг. И то ощущение вечности, которое должно вызвать искусство, и которое столь тщетно, то приперчивая, то подсахаривая, старается исторгнуть из наших душ автор. А здесь никчемный кратенький разговор чужих людей, богатых ли, бедных ли, хороших либо дурных — неважно, главное — чужих. Не вообще кому-то, а тому старику, полуживому, истерзанному, нищему, которого мы полюбили, как ни старался этому помешать автор. И чего стоят все эти многокилометровые рыбные рассуждения старика в сравнении с этим „бесстрастным“ скелетом, который „сейчас уж просто мусор“, и его уже „скоро унесет отливом“. Вот так проникает литература в суть явлений. А не рассуждениями о том, „как хорошо, что нам не приходится убивать солнце и звезды“».

Эпический герой обязан совершить подвиг. Агранович и Петрушкин толкуют «Старика» как историю поражения: «Сантьяго так и не сумел сохранить рыбу в сохранности, человеку не подвластно одержать победу над вечным». Но это натяжка, Сантьяго не умер, не отказался от рыбалки, он снова выйдет в море, только с мальчиком, который ему поможет, так что большинство литературоведов и читателей видят в книге историю победы, сохранение «достоинства под давлением»: Сантьяго хоть и потерял рыбу, но преодолел собственную слабость. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Красиво, убедительно. А все же Ахматову — сохранившую достоинство под таким давлением, какое Хемингуэй и не снилось, — книга почему-то раздражает... И не ее одну... Только потому, что описание страданий на рыбалке выглядит кощунственным рядом с описанием страданий в концлагере? Но не виноват же Хемингуэй, что на рыбалке бывал, а в концлагере нет! Или еще что-то не так?

У Джека Лондона есть похожий рассказ «На берегах Сакраменто»: подвесная дорога соединяет части рудника, женщине, у которой на

соседней шахте завалило отца, надо переправиться, а человека, обслуживающего дорогу, нет, есть только мальчик Джерри; он немного умеет управляться с вагонетками и его уговаривают перевезти пассажиров. Ливень, ураган, что-то ломается, вагонетка с людьми застревает над пропастью, ребенок лезет на выручку — больше-то некому. «Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. <...> Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... а вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется? Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать». Такое же детальное, как в «Старике», описание: «нога затекла, вдел крюк, не вдел крюк и т. д.», — но Джерри, герой не эпический, а обыкновенный, не рассуждает о звездах или дожде, его голова занята практическими мыслями. Но главное отличие не в этом. У Лондона и у Хемингуэя герой преодолевает слабость, чтобы сделать, что должно. Но у одного он рискует и мучается, чтобы спасти, а у другого — чтобы убить.

Почему Хемингуэй не взял сюжет, например, о том, как ка-кой-нибудь рыбак попал в беду, а Сантьяго, преодолев слабость, его спас? В эпосе должно быть сражение — ну, пусть бы было по дороге, а потом спас... Ну, не человека, так хоть кошку... Дурацкий вопрос: почему да почему, не захотел и все. Ноу Хемингуэя никто никого (даже кошку) никогда не спасает — деяние может заключаться лишь в убийстве. Генри Морган убивает китайца, кубинцев, хочет убить своего напарника, гибнет сам, никому в итоге не принесся добра. Джордан убивает друга, сам гибнет, никого не спасает, оставляет любимую вдовой. Лейтенант Генри не вытаскивает раненого из-под огня, это его вытаскивают другие, а потом его неродившийся ребенок убивает свою мать. Томас Хадсон убивает врагов, его дети гибнут, жены одиноки: ни одному человеку он не дал счастья, зато — герой. Герой американский: он один с револьвером (гарпуном) против всех, и он сделал это! Да! Он убил! Герой хемингуэевский: о, как сладко убить любимого или пасть от его руки! Убить друга-быка, друга-Кашкина, друга-рыбу!

Герой Лондона не убил, а спас, но у них все же есть общее: Америка, победа. «Да! Я сделал это!» А теперь обратимся к произведению того же,

что и «Старик», поэтически-эпического жанра, но иной литературной традиции — к «Царь-рыбе». Есть масса серьезных работ, где две книги сравниваются, но процитируем не их, потому что там слишком много терминов, а сочинение школьницы^[42]: «Как далеко зашёл человек в самом рваческом, хищническом потреблении даров природы, что нагло потревожил даже донные глубины реки! И хорошо ещё, что герой Астафьева испугался своей удачи, как грехопадения, испугался своего упования на одну силу. С этого испуга — неведомого герою Хемингуэя! — и начинается у Астафьева движение сюжета совсем в иную сторону.

Никто не отнимает у Игнатъича добычи, не „обглаживает“ ее, и нужды ломать весла о головы акул, как у героя повести „Старик и море“, в рассказе Астафьева нет. Да и раздумий о прибыли, о деньгах в сознании Игнатъича, в отличие от помыслов старика, считающего, сколько фунтов отгрызла первая акула, не возникает. Есть сходство героев в одном: оба верят в свою силу, повторяют на свой лад, что „глупо терять надежду“, „забудь о страхе“, „человека можно уничтожить, но его нельзя победить“ (это у Хемингуэя) или „докажи, каков рыбак?“; „Царь-рыба попадается раз в жизни“ (это у Астафьева). На этом сходство произведений, сюжетов борьбы кончается, и в „Царь-рыбе“ вступает сила покаяния и вины, которой нет в „Старике и море“. Герой Астафьева, выбившись из сил, запутавшись в крючках из собственных самоловов, связанный одной губительной цепью с царь-рыбой, воплощением могучей, непокоренной природы, в итоге... отказывается от своей добычи! Эта добыча грешна. Он боится её как неожиданной кары, как призрака возмездия... Меч-рыба тоже долго таскает слабенькую лодку Сантьяго по теплему морю, но герою вовсе не страшно: он всегда находит огни Гаваны. В „Царь-рыбе“ простор меньше, но он страшнее. Рыба тащит героя в глубину, в него вселяется покорность, „согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет“...

Финальный аккорд всего поединка, итог безжалостного вторжения человека в природу — это моление Игнатъича: „Господи! Да разведи Ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке мне она!“ По сути дела, герой ищет... поражения, которое и будет его нравственной победой! Подобных молений в душе героя Хемингуэя не возникает, хотя он тоже молится о спасении добычи, мечтает о всеобщей радости: „Сколько людей накормлю“... Помогли ли моления Игнатъича или просто выпали — из ног ловца, из тела рыбы — зловещие крючья? Что-то их пока развело... Судить трудно, но, когда рыба ушла, когда вновь её, природу, охватило буйство, герой ощущает: „Ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула

вниз“, „душе — от какого-то, ещё не постигнутого умом, освобождения“».

Что тут добавишь? Ребенку ясно, чем отличается душа европейского персонажа от души американского... Отпустить кого-то на волю, отказаться от борьбы, сознательно проявить слабость, потерпеть поражение и почувствовать себя свободным — это не для Голливуда. «Войну и мир» тоже называют эпосом, и там есть момент, когда Пьер задумывает убить Наполеона и спасти мир, но он отказывается от этой затеи: убийство, пусть из благородных побуждений, не самый подходящий способ освободить свою душу. Герой популярнейшего европейского эпоса, Шерлок Холмс, не убивает даже преступников: он спасает жизнь несчастным людям. Европейский эпос XIX, XX, XXI веков не может не отличаться от архаического: моральные ценности меняются. Но Америка — другое дело: ее культуре, не так давно вышедшей из пеленок, близка именно архаика: «Да! Я убил!» Царь-Рыба — зло, что сидит внутри человека, и справиться со злом можно лишь отказавшись от убийства. Хемингуэвская Рыба — вообще не зло, она друг, но, чтобы стать героем, американцу надо ее убить. (Это относится не только к американской культуре, а ко всем, которые моложе европейской или коренным образом отличаются от нее; говорят, будто бы «Старик» — любимая книга покойного Саддама Хусейна.) «Нет, слава Богу, я не сделал этого...» — «Да! Я сделал это!»

Позвольте, но как же «Моби Дик», написанный американцем? Там тот же мотив, что у Астафьева, он даже жестче выражен: охота на кита, символизирующего зло внутри человека, превращает капитана Ахава в безумца. Но «американскость» или «голлиудскость» — свойство не генетическое, а интеллектуальное. Мысль, выраженная американцем Мелвиллом, — общечеловеческая, а Хемингуэем, как ни грубо это звучит, — местечковая; «Моби Дик» гениален, а «Старик» просто очень хорошо написан...

*

Америка была в восторге. Ежедневно — сотни писем от почитателей. Критики осыпали книгу комплиментами, называли «великой трагедией», «образцом высочайшего мастерства», автора сравнивали с Шекспиром, героя — с Лиром и Гамлетом. Правда, в большинстве похвал звучала нотка, которая автору не нравилась: «доброе» «Старика» противопоставляли другим его книгам, «агрессивным» и «циничным». Фолкнер: «Он открыл Бога. До сих пор его мужчины и женщины действовали сами по себе; их

победы и поражения были в руках друг у друга, и они доказывали друг другу, как они сильны и круты», а новая книга «осенена божественной любовью и жалостью». Ту же мысль выразил Кашкин: «Больше всяких аллегорий примечательно то новое для Хемингуэя, что несет в себе эта книга: пристальное внимание к богатству душевной жизни не только лирического героя, но и простого кубинского рыбака, участливое внимание к человеку...»

Гонорары в 40 тысяч долларов от «Лайф» и «Скрибнерс», как акулы рыбу, обглодали налоги: автору осталось только 16 тысяч. Но вскоре будет доход от Голливуда: 25 тысяч за право экранизации, столько же за работу консультанта при съемках. 4 мая 1953 года «Старик» принес автору Пулитцеровскую премию, а 28 октября 1954-го — Нобелевскую. Толки о ней ходили с момента публикации; автор говорил, что относится ко всяким премиям скептически, в свою победу не верит, но если вдруг получится — на премиальные 35 тысяч долларов купит самолет «Сессна» (не купил).

«Закулисная» история присуждения премии такова: в 1953 году, когда Хемингуэй попал в очередную катастрофу и пронесся слух о его гибели, Нобелевский комитет спохватился, что хороший писатель может умереть, не дождавшись награды, и обсуждал его кандидатуру, но победил Уинстон Черчилль с мемуарами — он был старше и мог умереть еще раньше. (Литературные соображения всегда играли в присуждении Нобелевских премий меньшую роль, чем политические, нравственные и т. д.) В 1954-м среди претендентов были Эзра Паунд, Поль Клодель, Альбер Камю, Халлдор Лакснесс. Соперники несерьезные: Паунд запятнал себя сотрудничеством с фашистами, Камю и Клодель молоды, Лакснесс — лауреат Сталинской премии. Еще ходили слухи о Пастернаке — тот комментировал их Ольге Фрейденберг: «...люди слышали по Би-би-си, будто (за что купил — продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят... Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем».

Хемингуэй стал пятым американцем, получившим Нобелевскую (после Синклера Льюиса, Юджина О'Нила, Перл Бак и Фолкнера). Формулировка была такая: «за повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в „Старике и море“, а также за влияние на современную прозу». Хемингуэю она не нравилась. Он тогда болел и не ездил за премией, а только написал речь: «Всякий писатель, знающий,

какие великие писатели в прошлом этой премии не получили, принимает ее с чувством смирения. Перечислять этих великих нет нужды — каждый из присутствующих здесь может составить собственный список, сообразуясь со своими знаниями и своей совестью. <...> Для настоящего писателя каждая книга должна быть началом, новой попыткой достигнуть чего-то недостижимого. Он должен всегда стремиться к тому, чего еще никто не совершил или что другие до него стремились совершить, но не сумели. Тогда, если очень повезет, он может добиться успеха.

Как просто было бы создавать литературу, если бы для этого требовалось всего лишь писать по-новому о том, о чем уже писали, и писали хорошо! Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить столь далеко, за пределы доступного ему, туда, где никто не может ему помочь».

Глава двадцать вторая ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

В начале 1953 года ни о каких премиях Хемингуэй еще не знал. Было грустно: умер муж Санни, единственной сестры, с которой еще поддерживались отношения, Мэри болела, Джанфранко Иванчич уехал в Европу. Кота Вилли сбила машина, хозяин застрелил его и плакал. Настроение улучшилось весной, когда Лиланд Хейуорд сообщил, что «Уорнер бразерс» запускает в производство «Старика и море». Экранизаций было уже много: 1932 — «Прощай, оружие!», 1943 — «Колокол», 1944 — «Иметь и не иметь» (сценарий писал Фолкнер), 1946 — «Убийцы», 1947 — «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», 1950 — «Мой старик» (фильм назывался *Under My Skin*) и снова «Иметь и не иметь» (название фильма — *The Breaking Point*), 1952 — «Снега Килиманджаро» и телевизионная постановка «Пятьдесят тысяч». Но автору они приносили разочарование, особенно «Колокол» и «Килиманджаро», к которому был приделан *happy end* (Хемингуэй сказал Аве Гарднер, игравшей Марго, что в фильме ему понравились два актера: она и гиена); исключение составляли «Убийцы» с Бертом Ланкастером и той же Гарднер. По словам Мэри, муж говорил ей, цитируя журналиста Сирилла Коноли: «Если писатель начинает разбрасываться на журналистику, радиопропаганду и киносценарии, то какими бы грандиозными ни казались ему вначале эти проекты, в будущем его ожидает только разочарование».

Однако Хемингуэй хорошо относился к Хейуорду, одобрил выбор режиссеров, Генри Кинга и Фреда Циннемана, писать сценарий поручил другу Питеру Виртелу, сам был назначен консультантом — все это должно было уберечь фильм от искажений. Хейуорд прибыл в Гавану, привез актера Спенсера Трейси — Сантьяго; приехал Виртел, Хемингуэй всех возил в поселок Кохимар, знакомил с рыбаками, был в отличном расположении духа, галантно флиртовал с «дочками» — женой Виртела и подругой Хейуорда. В апреле приезжал Джон с женой и трехлетней дочкой Джоан — первая внучка, дед был с ней ласков, хотя и не до такой степени, какой можно ожидать от человека, всю жизнь мечтавшего иметь дочь. 4 мая получил Пулитцеровскую премию, к присуждению отнесся равнодушно, а деньги отдал сыну — для внучки.

Съемки пришлось отложить на год: Трейси был занят, а Хемингуэй собрался ехать в Африку. Стоило ли совершать такое путешествие при его состоянии здоровья? Конечно нет, но так хотелось! «У каждого есть свои

таинственные страны, которые мы придумываем себе в детстве. Порой во сне мы вспоминаем о них или даже отправляемся туда в путешествие. Ночью страны эти почти столь же прекрасны, как в детстве...» Мэриненавистники полагают, что поездка была инициирована женой, которая скучала, когда муж работал, и жаждала развлечений, а также хотела затмить славой Полину, бывавшую в Африке. Свою лепту внесла и пресса: публике скучно, когда знаменитость сидит и работает, лучше б она поехала в какое-нибудь экзотическое место, кого-нибудь застрелила, с кем-нибудь подралась и дала повод ее сфотографировать в эффектной позе. Журнал «Лук» предложил 15 тысяч долларов за то, что герой возьмет с собой фотографа Эрла Тейсена, и еще 10 тысяч за подписи к фотографиям.

Хемингуэй к тому времени давно мучился безосновательным страхом голодной смерти; скорее этим, нежели жаждой популярности, объясняется то, что в 1952—1953-м он еще несколько раз рекламировал «Бэллентайн», а также ручку «Паркер-51» («Самая желанная в мире авторучка»), писал рекламные тексты для цирков «Ринглинг бразерс» и «Барнум энд Бейли», многократно снимался для обложки «Лайфа» (в 1956-м он еще будет рекламировать авиакомпанию «Пан-Америкэн»). Так что отказаться от предложения «Лук» было невозможно. Сафари запланировали на осень, а лето решили провести в Испании, так как Мэри не знала корриды (она видела ее в Мексике, но это было «не то»).

Как мог Хемингуэй поехать туда, где правил Франко? Репрессии против политических противников диктатора продолжались до его смерти; источники расходятся относительно того, сколько людей было казнено и брошено в тюрьмы — от 200 тысяч до миллиона. В 1946 году Хемингуэй писал Милтону Уолфу о Франко: «Как, черт побери, можно оставаться у власти человеку, сформировавшему дивизию для войны на Восточном фронте», — и возмущался тем, что его родина признала режим Франко легитимным. «За рекой, в тени деревьев»: «Я любил три страны и трижды их терял... Две из них (Францию и Италию. — М. Ч.) мы взяли назад. И возьмем третью, слышишь ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии... Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций». Как человек, написавший это, отважился лезть в логово врага? И разве можно ехать развлекаться туда, где враги победили и в тюрьмах гноят товарищей? Представьте, что Бунин году этак в 1937-м явился бы в СССР, потому что ему захотелось поесть икры и покататься на тройке...

В книге «Опасное лето» (The Dangerous Summer, 1960) Хемингуэй

писал: «Я не надеялся, что меня когда-нибудь пустят опять в эту страну, которую после родины я люблю больше всех стран на свете, да я бы и сам не поехал, пока хоть один из моих испанских друзей еще сидел в тюрьме. Но весной 1953 года, когда мы собрались в Африку, у меня возникла мысль заехать в Испанию по дороге; я посоветовался на Кубе с несколькими приятелями, сражавшимися в гражданскую войну в Испании *на той и на другой стороне* (курсив мой. — М. Ч.), и было решено, что я с честью могу вернуться в Испанию, если, не отрекаясь от того, что мною написано, буду помалкивать насчет политики. О визе вопрос не вставал. Американским туристам теперь виза не требуется.

В 1953 году никто из моих друзей уже не находился в тюрьме, и я строил планы, как я повезу Мэри, мою жену, на ферию в Памплону, а оттуда мы поедem в Мадрид, чтобы побывать в музее Прадо, а потом, если нас к этому времени не посадят, еще посмотрим в Валенсии бой быков, прежде чем отплыть к берегам Африки. Я знал, что Мэри ничего не угрожает, так как она раньше в Испании не бывала, а все ее знакомые принадлежат к избранному кругу. В случае чего они сразу же поспешат к ней на выручку. <...> Один из наших знакомых запасся письмом от герцога Мигеля Примо де Ривера, испанского посла в Лондоне, которое своей волшебной силой якобы могло вызволить нас из любой беды. Узнав об этом, я несколько приободрился».

«Опасное лето» редактировалось, когда Хемингуэй был уже очень плох — не то, может, заметил бы, как странно и негероически звучат эти слова. Далее он говорит о четырнадцати годах, в течение которых не был в Испании: «Для меня эти годы во многом были похожи на тюремное заключение, только не внутри тюрьмы, а снаружи». Снаружи тюрьмы можно страдать не меньше, чем внутри — так страдают матери и жены узников, — но применительно к Хемингуэю эти слова отдают кокетством. Черкасский: «И пока друзья его отдыхали там, за решеткой, он тоже отбывал свое заключение: писал, охотился, рыбачил, путешествовал, сменил трех жен, получил Пулитцеровскую и Нобелевскую премии, купил Марте Геллхорн свадебный подарок в виде виллы Финка-Вихия и т. п. Право же, трудно представить себе безумца, который бы согласился променять свою тюремную свободу на такой вот адский застенок».

Настоящая причина, по которой Папа в 1953 году решился ехать в Испанию, совсем не романтична. Правительство США долго относилось к Франко настороженно, но все изменилось, когда 20 января в должность президента вступил Эйзенхауэр.

О правлении его предшественника Трумэна Хемингуэй писал: «Теперь

нами правят подонки. Муть, вроде той, что мотается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков». Но и к новому президенту отнесся не лучше. Различия в экономических и политических программах его не интересовали, он был стихийным анархистом: есть люди, а есть «эти сволочи там наверху», которые только и думают, чтобы людям напакостить, и таковы все правительства и государства.

Эйзенхауэр решил улучшить отношения с Испанией, а диктатор сделал некоторые шаги навстречу демократическому миру, в частности резко сократив применение смертной казни. В 1953-м шли активные переговоры, увенчавшиеся заключением 26 сентября соглашения «об обороне, экономической помощи и обеспечении взаимной безопасности»; Испания соглашалась принять американские военные базы, а в уплату получала американские инвестиции и туристов, которым разрешили безвизовый въезд. Поток туристов хлынул еще в мае: вот тогда Хемингуэй и поехал, а не «когда друзей выпустили из тюрем». Никто его, как любого туриста из дружественной страны, в Испании не преследовал. Но мы-то знаем: вернувшись, он напишет, что думает о режиме диктатора. Разве может быть иначе?

Отплыли 24 июня, в Гавре встретились с Джанфранко Иванчичем, проехали Париж, без инцидентов пересекли границу. Остановились близ Памплоны в городке Лекумберри, с 4 июля — фиеста, после нее, расставшись с Джанфранко, проехали по местам, описанным в «Колоколе», затем в Мадрид, жили во «Флориде», посещали музей Прадо, ходили на бои быков. О встречах с «друзьями, выпущенными из тюрем», если они и были, ничего неизвестно. Была встреча с Хуаном Кинтаной, владельцем отеля, конфискованного Франко (но в тюрьме Кинтана не сидел), с врачом Хуаном Мадинавелита Туленго, лечившим знаменитых матадоров, — тот вообще не пострадал. Общались с литераторами, актерами, спортсменами, постоянные застолья: советы доктора Эрреры — диета и умеренное питье — были забыты. Окружающие высказывали Мэри недоумение по поводу того, что она не препятствует мужу так много пить, — та отвечала, что она «не полицейский» и «лучше оставить его в покое».

Впечатления от поездки, описанные в «Опасном лете», абсолютно те же, что до войны: еда, питье, быки, матадоры. О Франко, вообще о политике — ни слова. «Шофер Адамо мечтал со временем открыть похоронное бюро. Впоследствии он осуществил эту мечту, так что, если вам доведется умереть в Удине, вы станете его клиентом. Никто никогда не спрашивал его, на чьей стороне он сражался в гражданскую войну в Испании. Для своего душевного спокойствия я тешил себя надеждой, что и

на той и на другой». Юлиан Семенов, чтобы оправдать кумира в собственных глазах, придумал теорию: «Человек дисциплины, Старик никогда не говорил в Испании про гражданскую войну — он не боялся за себя, он боялся за того, кому он скажет о своей позиции, которая не изменилась с тридцать седьмого года, — она может измениться у тех лишь, кто любит Испанию показно, парадно, а не изнутри, как только и можно любить эту замечательную страну. Но если ему навязывали разговор, он резал, бил в лоб, как на ринге, чтобы сразу же повалить противника в нокаут: „Да, мы тогда проиграли“». При чем тут нокаут? Да, тогда мы проиграли, а теперь я в гостях у выигравших, ем, пью, развлекаюсь, ведь с корридой ничего не случилось, вино не потеряло вкуса и таможенники так же любезны. «Писатель вне политики...»

Познакомились с матадором Антонио Ордоньесом, сыном Каэтано Ордоньеса («Педро Ромеро»), несколько дней ездили за ним, сдружились — эта часть «Опасного лета» написана с юмором: «Испанская пресса проявляла живейший интерес к нашим деловым проектам, которые всегда отличались большим размахом и смелостью. Кто-нибудь вдруг присылал мне вырезанные из газеты интервью с Антонио, из которого я с восторгом узнавал, что мы строим ряд гостиниц для автомобилистов на каком-то побережье, где я никогда в жизни не бывал. Однажды один репортер спросил нас, какие проекты мы намерены осуществить в ближайшее время в Америке. Я сказал, что мы желали бы купить долину Сан-Вэлли в штате Айдахо, но никак не сойдемся в цене с компанией „Юнион пасифик“.

— Я думаю, Папа, у нас есть только один выход, — сказал Антонио. — Придется купить „Юнион пасифик“».

Две недели провели на ферме матадора Луиса Мигеля Домингина — Ордоньес был обручен с его сестрой Кармен. 1 августа выехали в Париж, затем в Марсель, откуда 6-го отплыли в Африку в компании фотографа Тейсена и Марио Менокаля.

1 сентября в Момбасе их встретил Филип Персиваль, отвез на свою ферму. С лицензиями на охоту были проблемы — британцы, чьей колонией тогда была Кения, спохватились, что туристы уничтожили фауну, охота на крупных животных была запрещена. Но заповедникам требовались деньги, которые приносили туристы, которых привлекало присутствие знаменитостей, которым надо угождать. Так что вопрос быстро решился: Хемингуэя назначили «почетным егерем».

В составе группы были также егерь Имали-Лайтокитокского района Кении, молодой англичанин Денис Зафиро, новая «отцовско-сыновья» привязанность, плюс несколько слуг, оруженосцы (один из них, Нгуи,

оказался сыном М'Кола, бывшего оруженосцем Хемингуэя на прошлом сафари) и повар. Сафари начали в Южном заказнике в районе Каджиадо в сорока милях к югу от Найроби, в конце сентября перебрались в лагерь у северной оконечности озера Натрон, оттуда совершали вылазки в другие места. Хемингуэй слетал в Танзанию, где Патрик, получивший постоянную лицензию охотника, купил ферму (от Полины сыновья получили большое наследство), провел с ним несколько дней, потом писал Грегори (это доказывает, что разрыва с младшим сыном не было): «Я хотел научить его охоте на крупного зверя, но у нас не хватало времени. Теперь у него есть старый Муму, прекрасный оруженосец, который раньше в обход закона промышлял слоновой костью, и поскольку Мышонок (одно из прозвищ Патрика. — М. Ч.) хорошо освоил суахили, Муму может научить его гораздо лучше, чем я». Пригласил сына в свой лагерь, вместе охотились в течение двух недель. В конце октября Патрик уехал, а гости переместились в лагерь на пустоши Ибонара в районе Усангу, затем возвратились в Южный заказник. Убили льва и леопарда, фотографии с трупами вышли великолепные. Но на травоядных в этот раз почти не охотились — только для еды.

Мэри хотела побывать в Конго; 21 января 1954 года супруги вылетели из Найроби на «Сессне» с пилотом Роем Маршем, с высоты полета осмотрели кратер Нгоронгоро, остановились в городке Энтеббе на северо-западном берегу озера Виктория, оттуда делали вылеты и фотографировали окрестности. На третий день, когда осматривали водопады, самолет столкнулся с птичьей стаей. Марш спикировал под стаю, самолет потерял управление, кое-как приземлились посреди кустов. Хемингуэй, удивительное дело, не пострадал, зато жена сломала два ребра. Ночевали у костра на берегу озера, потом их подобрал катер с туристами, среди которых оказался известный хирург Макэдам, оказавший Мэри помощь. Привезли раненую в деревню Бутиаба на восточном берегу озера Альберта, там встретили летчика Картрайта, который их разыскивал уже сутки — как оказалось, другой летчик увидел останки «Сессны», и все информационные агентства мира сообщили о гибели Эрнеста Хемингуэя.

Сели в самолет Картрайта, не успели взлететь, как загорелись мотор и бензобак, еле выскочили, теперь и муж получил положенные травмы: очередная черепно-мозговая, повреждение большого колена, многочисленные ожоги, и это лишь то, что можно выявить без врачебного осмотра. Сам пострадавший в письме журналисту Харви Брейту назвал это происшествие «встряской похуже, чем весть о присуждении Нобелевской премии Фолкнеру», и написал о нем очерк для «Лук», со свойственным ему

черным юмором назвал текст «Рождественский подарок» (The Christmas Gift, опубликован в апреле — мае 1954 года). «Многие люди и несколько сотрудников газет спрашивали меня: о чем думает человек в час своей смерти? Что чувствует человек, когда читает некролог о самом себе?.. Я могу честно заявить, что в те мгновения, когда самолет разбивается и горит, мысли ваши заняты чисто практическими вопросами. Вся ваша жизнь вовсе не пролетает перед вашими глазами, как на киноленте, ваши мысли носят чисто техническую окраску. Возможно, что есть люди, у которых жизнь пролетает перед глазами, но в моей личной практике я пока что ничего такого не испытывал».

Раненых доставили в город Масинди, оказали медицинскую помощь (не слишком квалифицированную), потом отвезли обратно в Энтеббе, где их встретили проводящие расследование обеих катастроф представители авиакомпании. Опрос был мучителен, Хемингуэй плохо видел, едва держался на ногах. Прилетел Патрик, привез деньги: «Это был первый случай, когда кто-либо из моих сыновей приезжал к нам с деньгами в кармане или без просьбы, скажем, помочь ему вернуться в армию либо выволить его из тюрьмы». Тем временем Марш получил исправный самолет и доставил Хемингуэя в Найроби (Мэри и Патрик задержались в Энтеббе), где его наконец осмотрели квалифицированные врачи. Картина ужасная: повреждены кишечник, печень, почки, позвоночник, потеря зрения и слуха с левой стороны, растяжение связок правой руки и плеча, такое же растяжение левой ноги, ожоги лица, головы, рук. Он бодрился: «Доктора говорят, что повреждение головы не затронуло той части мозга, которой я обычно пользуюсь, когда пишу». Вслух читал собственные некрологи, бодрился, написал Адриане, что перед гибелью сожалел только о разлуке с ней, сравнивал ее и себя с Лаурой и Петраркой. Но был очень плох и в течение февраля, по воспоминаниям посетителей, каждый день плакал от слабости.

Его упорство поражает воображение: в конце февраля, еще будучи «лежачим», выписался, но домой ехать и не подумал, а предложил Мэри разбить рыбацкий лагерь на морском берегу Кении, в Шимони. Прибыли Патрик с женой, Персиваль с женой, Денис Зафиро. Все уходило на лов рыбы, Хемингуэй оставался со слугами в лагере — он едва мог встать с постели. Через несколько дней, когда рыболовы были в море, в лагере вспыхнул пожар, больной вскочил, помогал слугам тушить огонь, упал, получил сильные ожоги. Опять больница, многочисленные переливания крови, он потерял 20 фунтов, ослаб страшно, почти ослеп. Теперь-то наконец домой?! Нет — в Италию, к любимой.

В Венецию прибыли в конце марта, остановились в «Гритти». Больной все время лежал, несколько раз его возили в больницу на рентген и переливания крови. Несмотря на категорические запреты, пил с утра до вечера, чтобы заглушить боль. При посетителях бодрился, рассказывал, что раны получил в схватке со львом и т. д. Два или три раза заходила Адриана. Но то ли вид искалеченного старика ее отталкивал, то ли они с матерью уже оставили идею о браке: держалась холодно, о романтических отношениях не было и речи. По ее утверждению, «Папа» и сам о любви не говорил, а лишь вспоминал о «чудесных» месяцах в Гаване и желал девушке удачно выйти замуж. Правда это или нет, но все было кончено. Позднее Адриана заявляла о намерении сжечь письма Хемингуэя, но вместо этого продала их за 17 тысяч долларов. В 1963-м она вышла замуж, родила двоих сыновей, а в 1983-м, страдая от депрессии, повесилась; это соблазняет исследователей говорить, что общение с Хемингуэем ни для кого не проходило бесследно.

Несмотря на гибель любви, он вновь отказался ехать домой — раз уж оказались в Европе, дождемся фиесты. В конце апреля Мэри уехала в Лондон (неясно, почему она сочла возможным оставить мужа в таком состоянии одного), зато 2 мая прибыл Хотчнер. Вид Папы его ужаснул: «Он поразительно постарел... Его волосы (большая часть сгорела) совершенно поседели. Седой была и борода. Казалось, он что-то потерял. Я говорю не о физической потере, но в нем не чувствовалось прежней незыблемости». Присутствие «Хотча» подействовало благотворно, больному стало лучше и уже 6-го они отправились на автомобиле в Испанию. Задержались в Милане, обедали с Ингрид Бергман, 12 мая соединились с Мэри в Мадриде, ходили на бои быков, встречались с матадорами, потом поселились на ферме Домингина. Опять никакой политики, никаких «друзей, выпущенных из тюрем», — только ужины со светскими людьми и литераторами. Хотчнеру Хемингуэй объяснял нежелание возвращаться домой тем, что на Кубе его преследуют репортеры — но в Европе они преследовали его не меньше. Знакомые испытывали шок при первом взгляде на него, таким изможденным и старым он выглядел, но держался бодро. Познакомился с Джорджем Плимптоном — актером, литератором, спортсменом, человеком, знавшим всех и вся (Плимптон дружил с Джоном Кеннеди и играл в теннис с Бушем-старшим; он написал пьесу о Хемингуэе и Фицджеральде, где «Скотта» сыграл сам, а «Эрнеста» — Норман Мейлер).

Плимптон был главным редактором журнала «Пари ревью», где публиковалась серия его интервью с писателями. Хемингуэй пригласил

интервьюера в Гавану, а Плимптон устроил в честь Хемингуэя обед. Одна из посетительниц этого обеда, автор развлекательных книжек Элейн Данди, оставила любопытные воспоминания: «Я боязливо устроилась за большим столом подальше от великого человека, но, когда стали подавать кофе и коньяк, подошел Джордж, сказал, что хочет пересадить меня поближе к нему, и быстро прошептал при этом, что, если Хемингуэй назовет меня „дочкой“, это означает, что я ему понравилась, но в ответ я обязана назвать его „папой“. Желание воспротивиться, которое я мгновенно почувствовала — „ну что это за глупость!“ — мгновенно угасло, когда я оказалась рядом с Хемом и взглянула в его водянистые, какие-то беззащитные глаза. Немедленно я попала под его обаяние и, когда он назвал меня дочкой, откликнулась восхищенным: „Да, папа“. Интересно, что его голос очень не подходил к его личности. Тихий, довольно высокий, я бы сказала даже „изнеженный“: голос человека, защищенного от невзгод теплой одеждой, горячей едой и заботливыми няньками — не такого голоса ожидаешь от столь монументальной фигуры: скорее уж громовых раскатов, как у Орсона Уэллса».

Если верить Элейн, она была одной из немногих женщин, которая не поддавалась на отношения «папы — дочка»: «Дабы охранять свой талант, Хемингуэй требовал подобострастия от людей, которые его окружали — нуждался в лестях, жаждал ее, наслаждался ею. Рядом с Хемингуэем следовало добровольно погрузиться в ролевую игру. На поверхности этот гамбит „папа — дочка“ был чистой забавой: мудрый, заботливый отец и любящая дочка. Но это были и отношения, подразумевавшие, что дочери всегда будут обожать и подчиняться, с неиссякающим любопытством слушать в очередной раз его рассказы о войне и в конце восклицать: „Ох, папа, какой ты чудесный“, вместо того, чтобы — как мог сказать бы сын: „Эй, отец, это уж чересчур“».

Трудно судить, насколько верно рассказывала Элейн — у нее получается, что Хемингуэй летом 1954-го был здоров, тискал девиц в такси и чуть ли не бегал, а ведь он был очень болен. 55 лет, до старости далеко, но он превратился в развалину. В Мадриде его осмотрел Хуан Мадинавелита: давление 210 на 105, холестерин 380, воспаление печени. Доктор прописал физический покой, строгую диету, абсолютную трезвость (и отправил письмо с рекомендациями Эррере): по какой-то причине Хемингуэй внял словам этого врача, хотя игнорировал аналогичные советы других, сел на диету, не пил, избегал нагрузок. 6 июня отплыли из Генуи домой. Эррера: «Мы все не узнали его — он превратился в старика»; боксер Мустельер вспоминал, что «при виде его отшатнулся». (Менокаль,

правда, говорил, что превращение в «старика» произошло еще до отъезда в Африку.) Эррера считал, что пациент уже не сможет восстановиться — как из-за физических причин, так и из-за душевных страданий, вызванных Адрианой. Но доктор ошибся. Как инстинкт подсказывает больному зверю, что надо съесть для выздоровления, так основной инстинкт писателя — писать — спасает ему жизнь: Хемингуэю страстно захотелось работать, и он смог взять себя в руки, и к лету, следуя рекомендациям Мадиनावелиты, оправился настолько, что смог работать ежедневно.

Книга о последнем путешествии в Африку имеет сложную историю. Писалась она с перерывами в течение второй половины 1954-го, в 1955-м и в начале 1956-го, достигнув объема в 200 тысяч слов, была заброшена, автор не выражал намерения ее издавать («первый вариант всегда — дерьмо», — говорил он). Но она была издана, причем в трех разных вариантах. Впервые — по распоряжению Мэри в 1971–1972 годах в журнале «Спорте иллюстрийтед», в сильно сокращенном виде, как «Африканский дневник» (African Journal): в русском переводе известен именно этот вариант под названием «Лев мисс Мэри» (так называлась одна из частей текста). Второй раз — после смерти Мэри, в 1999-м, отдельной книгой в «Скрибнерс» под редакцией Патрика Хемингуэя, озаглавившего ее «Правда на рассвете» (True at First Light). Третий, возможно, не последний, — в 2005-м в издательстве «Кент Стейт юниверсити пресс»: редакторы Роберт Льюис и Роберт Флеминг назвали ее «У подножия Килиманджаро» (Under Kilimanjaro). Два последних варианта различаются незначительно, и судить, какой из них ближе к авторскому замыслу, может только узкий специалист.

Действие начинается, когда охотник (Персиваль) уезжает по делам и оставляет героя отвечать за лагерь: его нужно охранять от львов, слонов и повстанцев. С 1948-го в Кении началось движение мау-мау, борьба местных племен против британцев, осуществлявшаяся с особой жестокостью — каннибализм и тому подобное (движение было подавлено к 1956 году, а в 1964-м Кения получила независимость). Тема «вкусная», но Хемингуэй ее не развил, ограничившись мимолетными упоминаниями; главное содержание книги, как и «Зеленых холмов Африки», — охота. Самому герою, правда, это уже не интересно: «Время, когда я стрелял животных ради трофеев, давным-давно прошло. Я по-прежнему любил охотиться, но теперь я убивал, чтобы добыть мясо или подстраховать мисс Мэри, я стрелял в зверей, которые оказывались „вне закона“, и я убивал их ради общего блага, или, как это принято называть, в целях борьбы с животными-мародерами, хищниками и вредителями».

Майкл Рейнольдс на основании этих слов доказывает, что Хемингуэй-охотник изменился: раньше он убивал как индивидуалист, а теперь соблюдает правила, заботится об экологии, продолжая традицию кумира своего детства Теодора Рузвельта. Наверное, так и было: Хемингуэй писал, что начал жалеть природу, интересоваться птицами; в письме Харви Брейту рассказывал, как «присматривал» за стадами буйволов и антилоп и даже за львицей с детенышами. «Теперь, узнав этих животных поближе, я ни за что не убил бы гепарда, но в то время мы были если не глупее, то, во всяком случае, невежественнее. Я тоже стрелял гепардов ради шкурок для шубы моей жены, а она умела одеваться...<...>Мне не хотелось беспокоить ни этого гепарда, ни стадо животных, которые кормили его самого и двух его братьев. Мне доставляло большое удовольствие смотреть, как они охотятся, на их невероятный последний рывок и видеть эти шкуры на их собственных спинах, а не на плечах какой-либо женщины».

Герой не хочет больше убивать, но его жене для самоутверждения необходимо убить льва — это «главное дело ее жизни» (раз уж дочь родить не получилось...). Муж ее поощряет, как обычно отождествляя охоту с корридой и называя жену «матадором». Ошибались Уилсон и феминистки: Хемингуэю не была нужна «скво», скорее ему требовался маленький солдатик, красивый и храбрый, и сорокалетняя «малышка» Мэри этому требованию соответствовала: жалела, что не убивала «фрицев», по вечерам читала Макиавелли и беспрестанно разглагольствовала об убийствах: «— Я хотела бы убить импалу. Но стрелять мне уже сегодня не хочется. Не стоит портить этот выстрел. Я уже попадаю как раз туда, куда целюсь».

— И куда же ты целилась, малышка? — спросил я, пересилив себя. Мне очень не хотелось задавать этот вопрос, и, спрашивая, я сделал глоток, чтобы он прозвучал как можно безразличнее.

— Прямо в центр лопатки. Точно в центр. Ты же видел отверстие».

«— Ты ведь не ненавидишь его, правда?»

— Нет. Я люблю его. Он прекрасен и очень сообразителен, и мне не нужно объяснять тебе, почему я должна его убить».

Тем не менее эта дама очень добра: «Она была слишком хрупкой для настоящей охоты на львов и имела слишком доброе сердце, чтобы убивать, и вот почему, решил я, стреляя в животное, она либо вздрагивала, либо излишне поспешно спускала курок. Я находил это очаровательным и никогда не злился. Зато злилась она, потому что умом понимала, почему мы должны были убивать, и позднее даже вошла во вкус, решив, что никогда не поднимет руки на таких прекрасных животных, как импалу, а будет убивать лишь отвратительных и опасных зверей. За шесть месяцев

непрерывной охоты она научилась любить этот спорт, постыдный по своей сути, но достойный, если заниматься им честно, и все же ее сердце помимо воли заставляло Мэри стрелять мимо цели. Я любил ее за это, и это так же верно, как и то, что я никогда не полюбил бы женщину, которая могла работать на бойне, умерщвлять заболевших кошек и собак или убивать лошадей, которые сломали ногу на скачках».

Хемингуэй писал Грегори, что «малышка» стреляет скверно («Все ее очень любили, все постоянно вокруг нее так и бегали, а она промазала бы даже в нашего Спасителя»), хотя из воспоминаний Менокаля следует, что Мэри стреляла лучше мужа и из-за этого были ссоры. А если охотится жена, муж не может отставать: «Я знал — Старик (охотник Персиваль. — М. Ч.) никогда не позволил бы мисс Мэри охотиться здесь и не потерпел бы никакого сумасбродства. Но я также помнил, как женщины почти всегда влюблялись в своих белых охотников, и надеялся, что произойдет чудо, я стану героем в глазах своей подопечной и из бесплатного и действующего на нервы телохранителя превращусь в охотника-возлюбленного собственной жены...» Встречают льва — это не «мародер», крадущий скот, стрелять запрещено, охотники не дают мягкосердечной малышке его убить, она в бешенстве. Наконец она ранила предполагаемого «мародера», а муж добил. Бедняжка в отчаянии от того, что убила не она, тогда мужчины говорят, что ее выстрел был смертельным, и она утешается. Далее сам герой охотится на леопарда, который задрал 17 коз — его убить нужно. «Мне так хотелось, чтобы не было ни этих семнадцати коз, ни моего обязательства убить леопарда и сфотографироваться с ним для какого-либо из центральных журналов». Но леопард убит — на сей раз, к счастью, без объяснений в любви.

Описания охоты повторяют «Зеленые холмы», ничего нового. Зато много интересных фрагментов на другие темы. Когда-то Хемингуэй обругал фицджеральдовское «Крушение», но слова друга-врага о темных глубинах души, где «время всегда останавливается в три часа утра, и так изо дня в день», запали ему в сердце, и он продолжал полемизировать: «Человек никогда не бывает по-настоящему одинок; даже когда в предполагаемых темных глубинах души время останавливается в три часа утра, это лучшие часы человека, если только он не алкоголик и не страшится ночи и того, что принесет грядущий день. В свое время я боялся ничуть не меньше, чем любой человек, а может быть, даже больше. Но с годами страх стал казаться мне своего рода глупостью, такой, как, например, превышение банковского кредита, получение венерического заболевания или пристрастие к наркотикам. Страх — порок молодости, и,

хотя мне нравилось ощущать его приближение, что, впрочем, касалось всякого порочного чувства, все же испытывать его было недостойно взрослого мужчины, и единственное, чего следовало бояться, так это соприкосновения с настоящей и неминуемой опасностью, да и то ты не должен терять контроль над собой и делать глупости».

Сам он ночей не страшился, хотя бессонницей страдал. «Проснувшись посреди африканской ночи и сидя в кровати, я думал о том, что ничегошеньки не знаю о душе. О ней много говорят и пишут, но кто знает, что это такое? Я не знаю никого, кто слышал что-либо о душе, хотя бы существует ли она вообще.<...> Когда-то я думал, что в детстве меня лишили души, но потом она снова вернулась. В ту пору я был очень эгоистичен, и много слышал и читал о душе, и возомнил, что она имеется и у меня. И тут я подумал: а если кто-нибудь из нас, мисс Мэри или С. Д., Нгуи, Чаро или я, был бы убит львом, вознеслись бы наши души куда-либо? Я не мог в это поверить и решил, что мы просто были бы мертвы, возможно, даже мертвее льва, а ведь никто не беспокоился о его душе. <...> Пожалуй, лучше держаться подальше от смерти, и хорошо, что нет больше необходимости изо дня в день играть с нею».

«Африканский дневник» завершается сценами охоты. Но в следующих изданиях развита и другая сюжетная линия. У героя есть возлюбленная, юная африканка Дебба, живущая на ферме по соседству (в «Африканском дневнике» о ней упоминается: «Дебба, моя так называемая невеста»): стены ее комнатки оклеены снимками Папы из рекламных журналов, она обожает ездить с ним на автомобиле и трогать его ружье, он женится на ней (и заодно на ее сестре) по местному обряду и она беременеет. Когда вышла «Правда на рассвете», изыскатели начали дискуссии: было или нет? Родился ли у Папы черный ребенок? Смешно всерьез обсуждать подобные вещи применительно к беллетристике, да еще когда речь идет о Хемингуэе: разумеется, он эту девицу придумал...

Однако дневник Мэри свидетельствует, что девушка существовала, Хемингуэй возил ее в Найроби и покупал платья, а когда за покупками уехала жена, Дебба и ее подружки учинили разгром в супружеской хижине; Мэри якобы не возражала против черной наложницы, только при условии, что та обучится гигиене. 15 декабря Хемингуэй отправил письмо актрисе Слим Хейуорд, жене Лиланда Хейуорда, с которой немного флиртовал: кроме описания охоты, там есть слова о Деббе. «Я купил здесь двух хороших жен. Одна грубовата, но великолепна. Другая любит меня... Я сказал, что отправлю ребенка в школу, в самую лучшую школу, а если будет девочка — куплю ей приданое. <...> Мисс Мэри не возражает, потому что

она старшая жена и повинуется и уважает меня». Харви Брейту, 3 января: «Нгуи и я влюблены в двух девушек из ближайшей деревни вакамба. <...> Обрил голову, так моей „невесте“ больше нравится. Ей нравится трогать все шрамы и рубцы у меня на голове. <...> Харви, африканские девушки, по крайней мере вакамба и масаи, действительно восхитительны, и вся эта чепуха о том, что они лишены чувства любви, — сплошное вранье. <...> Возможно, он [Нгуи] женится на моей девушке, потому что он и я — братья, так что это — хорошо. Но моя девушка хочет в Нью-Йорк, чтобы увидеть, как я убиваю доисторических птеродактилей, мамонтов и бронтозавров, которых она видела на картинках в „Лайф“». А Хотчнер рассказывает, что в Италии Хемингуэй сказал ему, будто «женился» на Деббе и ее 17-летней сестре, а в сентябре ожидает от какой-то из них ребенка. Так, значит, это правда?

Майкл Рейнольдс сказал, что применительно к Хемингуэю нельзя ставить вопрос — документ или выдумка; есть лишь разные степени выдумки. А сам Хемингуэй в той же «Правде на рассвете» писал: «В Африке вещи могут выглядеть правдой в первых рассветных лучах и ложью днем, и не стоит придавать им больше значения, чем прекрасному озеру, что мерещилось вам, когда встающее солнце освещало соляные равнины. Вы проходили в том месте утром и знаете, что никакого озера там нет. Но сейчас, в лучах рассветного солнца, оно существует, прекрасное и правдоподобное». И — еще прямее: «Ведь что такое на самом деле писатель, если не прирожденный лжец, который все выдумывает, исходя из собственных или чужих знаний? <...> Человек, который пишет роман или рассказ, — выдумщик *ipso facto*^[43]. Он создает правду, и это его единственное оправдание, поскольку вымысел его кажется правдоподобнее, чем все, что произошло на самом деле. Именно так можно отличить хорошего писателя от плохого. Однако если он пишет от первого лица и объявляет это художественным произведением, то критики попытаются доказать, что ничего подобного с ним не происходило. Это так же глупо, как утверждать, что Дефо никогда не был Робинзоном Крузо, а следовательно, и книга никуда не годится».

На 55-й день рождения правительство Кубы наградило Хемингуэя орденом Мануэля де Сеспедеса, высшим отличием для гражданских лиц: Батисту он уже тогда, по его словам, ненавидел, но фрондерство выразилось лишь в том, что он отказался явиться за наградой в президентский дворец и получил ее в яхт-клубе. Постепенно советы Мадинавелиты стали забываться, а Эррера не был требовательным: начались нарушения режима и, как следствие, проблемы с печенью,

желудком, головные боли, бессонница. 1 сентября прилетел погостить Домингин, за ним явилась его подруга Ава Гарднер — застолья, веселье, работа оставлена. 28 октября от шведского посла по телефону узнал о Нобелевской премии. В усадьбу приехало телевидение, слетелись тучи корреспондентов. Заметка Марио Парахона из газеты «Эльмундо»: «Застенчивый, робкий, огромный Хемингуэй похож на большого ребенка. Широкая спина, румяные щеки и густая белая борода — он больше напоминает состарившегося моряка, чем великого художника. <...> Смущенная улыбка и лукавый блеск в глазах не мешают беседе. Происходит это благодаря умению Хемингуэя устранить дистанцию между журналистами и „великими людьми“».

Пресс-конференция была недолгой — хозяин быстро устал. «Начиная с завтрашнего дня я не смогу никого больше принимать, — сказал он. — Я должен вернуться к работе. Я не надеюсь, что проживу более пяти лет, и я должен торопиться». Папоров видел сюжет, показанный по гаванскому ТВ — виновник торжества говорил на ломаном испанском, очень смущался, — и убедился, что Хемингуэй был «человек робкий, большей частью, за исключением моментов нервного возбуждения, застенчивый, неуверенный в себе и во всем, более страдающий, чем получающий наслаждение от жизни».

Харви Брейт попросил Хемингуэя прокомментировать присуждение премии — тот сказал, что ему жаль, что премию не получили Марк Твен, Генри Джеймс и множество великих писателей, что есть и среди живых более достойные, чем он, — Бернанд Беренсон или Карл Сэндберг, написавший биографию Линкольна, — но тем не менее он польщен, тронут и т. д. Вообще наградой он был и горд, и раздражен. По воспоминаниям Эрреры, «было что-то противоречивое, вызывающее сомнение в настойчивом возвращении Папы к разговорам о том, что всякие премии — это лишь бесплодная выдумка тех, кто их не имеет, что премии только приносят вред, и тем больший, чем они значительнее. „Премии только мешают. Ни один сукин сын, получивший Нобеля, не написал после этого ничего путного, что стоило бы читать“, — неустанно твердил нам Папа в те дни». Скрибнеру-младшему Хемингуэй жаловался, что «эта чертова штука» нарушает его распорядок, Роберту Мэннингу из «Тайм» сказал: «Мне не нужна премия, если из-за нее я не смогу писать свою книгу», Дорман-Смиту: «Деньги неплохие, пригодятся для уплаты налогов, а так это только дает всем сомнительное право бесцеремонно вмешиваться в твою личную жизнь», Хотчнеру рассказывал, что репортеры насильно вламываются в его дом. Из-за болезни он не поехал на вручение награды.

11 декабря в Стокгольме американский посол Джон Кэбот прочел написанную лауреатом речь и принял от его лица нобелевскую медаль, а тот передал ее в дар иконе Святой Девы Каридад в кубинском соборе Эль-Кобре.

Вместо поездки в Швецию супруги попытались выйти в море, но Хемингуэй не мог плавать: боли в спине, сыпь на лице и теле, повышенное давление. Вильяреаль, делавший ему ежедневный массаж, вспоминает валявшиеся повсюду груды таблеток секонала и других лекарств, упаковки витамина В, который его хозяин считал панацеей. «Он тогда много читал. А пил совсем мало. Он пил бы больше, но он был тогда еще очень дисциплинирован». Все первое полугодие 1955 года Хемингуэя мучили боли, бессонница, частичная слепота и глухота. Продолжалось нашествие репортеров, филологов и зевак — он чувствовал себя «как слон в зоопарке». Однако держался с визитерами дипломатично, учтиво, не раздражался — возможно, потому, что вел тогда практически трезвую жизнь и работал (над «Африканским дневником»). Литературовед Фрейзер Дрю вспоминал свой визит: говорили исключительно о литературе, в высшей степени интеллигентно, зашла речь о религии — хозяин сказал очень мягко, что «в какой-то степени остается католиком» и ходит к мессе, хотя «молиться уже не способен».

В конце апреля предприняли с женой еще одну вылазку в море — чувствовал себя значительно лучше, чем осенью. Работал до 1 июня, когда появились Хейуорд и Виртел. Повез сценариста в Кохимар, вышли в море на рыбацкой лодке. Виртел, однако, испытывал затруднения со сценарием: «волшебство книги заключалось не в действии, а в языке». В августе прибыла съемочная группа: Хемингуэй должен был помочь в ловле марлина и сняться в эпизоде. Актер Трейси, понравившийся при первом знакомстве, теперь раздражал: лишний вес. Хемингуэй вызвал Брауна, тренера по боксу, чтобы тот «привел Трейси в форму». Съемками в море был доволен, писал Персивалю: «Вчера семь часов подряд простоял у штурвала на мостике, а предыдущие дни стоял и по десять часов» (преувеличил всего лишь раз в 5—10). Поймали марлина в 14 футов. Но режиссеру нужен был 18-футовый. Такого не попало. Отложили съемки до весны, но рабочий режим уже был нарушен.

Семнадцатого сентября Хемингуэй составил завещание, которое засвидетельствовали Браун, Вильяреаль и служанка Лола Ричардс: слугам полагались подарки, а имущество и авторские права отходили Мэри. (Сыновья твердо стояли на ногах: Джон работал брокером, Патрик и Грегори, получившие наследство матери, жили в Африке в свое

удовольствие, но то, что отец лишил их наследства, их потом неприятно удивило.) 17 ноября кубинское правительство присудило Хемингуэю еще одну награду, орден Сан-Кристоваль, и звание почетного жителя Гаваны. Церемония проходила в гаванском Дворце спорта. Два часа сидел под софитами на жаре, потом в «Флоридите» выпил ледяной дайкири, дома принял ледяной душ и слег: воспалились обе почки, нога чудовищно распухла. Эррера диагностировал острые приступы нефрита и гепатита. Больной лежал в постели до 9 января, как всегда бодрился, писал жизнерадостные письма Брауну, обещая привлечь его к съемкам. Пристрастился смотреть по телевизору бейсбол, по словам Норберто Фуэнтеса, болел за местный клуб «Гавана». Очередное требование доктора — пить поменьше, то есть максимум две порции виски в день и столовое вино, и сесть на диету — не соблюдалось. Местный скульптор Боэда еще до болезни начал лепить его бюст — позировал лежа, при этом пил виски; Боэда вспоминает, как застал скандал между Хемингуэем и Эррерой — доктор кричал, пациент сжимался от страха. (Бюст впервые был показан на выставке Боэды осенью 1957-го, а в апреле 1958-го установлен в «Флоридите».)

Зимой 1955/56 года Папа преимущественно лежал в постели, не работал и, казалось, умирал. Приезжали Ордоньес и Домингин, совершавшие турне по Центральной и Южной Америке, он загорелся идеей их сопровождать, но не смог даже подняться. Тогда начал соблюдать режим — сразу полегчало, и к началу марта, когда вновь прибыли киношники, был в неплохой форме. Но тут начались проблемы. Режиссеры ратовали за реализм и точное следование тексту, продюсер хотел делать боевик. Трейси капризничал, не желал «приходить в форму», пил; актер, игравший мальчика, тоже не нравился автору. Съемки начались в Гаване — там сняли эпизод с Хемингуэем (он изображал местного жителя) и Мэри (в роли американской туристки). Но рыба не ловилась.

Кид Фаррингтон, спортсмен-рыболов, советовал ловить марлина в перуанском заливе Кабо Бланко, сам прибыл туда, взялся помочь с организацией съемок. 16 апреля Хемингуэй с Мэри и Фуэнтесом прилетел в город Талара в 30 километрах от залива. Чувствовал себя на удивление хорошо, даже спина почти не болела. Дал интервью перуанской газете «Эль комерсио» и ряду американских. В тот же день съемочная группа вышла в океан. Но Фаррингтон просчитался. Погода была плохая, рыба не шла, первого марлина поймали только 26 апреля, но он оказался мал, других не было. Старику Сантьяго хватило терпения на 80 дней, но киношники сдались уже через 34 и решили продолжать съемки в павильоне, против

чего Хемингуэй безуспешно пытался возражать. Остальную часть фильма снимали возле дачного поселка Бока-де-Харуко рядом с Кохимаром, отдельные эпизоды — на Гавайях, Багамах, в Колумбии, Эквадоре, Панаме. Снятый материал пролежал чуть не год, Хейуорд, разругавшись с Циннеманом и Кингом, нанял другого режиссера, Джона Старджеса. Фильм вышел в октябре 1958 года, участвовал в нескольких номинациях на «Оскар», но выиграл только одну, за лучшую музыку. Хемингуэй смотрел его в частном кинозале, был крайне недоволен. И критики фильм ругали. Как и предупреждал Виртел, вещь оказалась малоподходящей для экрана.

Еще до «Старика», в 1957-м, вышли две другие экранизации: новый вариант «Прощай, оружие!» режиссера Чарльза Видора и «Фиеста» Генри Кинга. А одновременно со «Стариком» студент ВГИКа Андрей Тарковский снял свою первую учебную работу — 19-минутный фильм по «Убийцам». Его Хемингуэй, естественно, не видел, а в голливудских постановках окончательно разочаровался и в июле опубликовал в «Лук» статью, где говорилось, что кино — «выброшенное время», и он решил, «что больше никогда, до самой смерти, не прерву работы, которую научился делать и ради которой родился и живу».

Тем не менее работу над «Африканским дневником» он прервал. Вместо этого летом 1956-го начал серию рассказов о Второй мировой, которые мы уже упоминали: «Комната окнами в сад», «Ограниченная цель», «Монумент», «Черномазый на распутье» и «Дутая репутация», показал Лэнхему — тому не понравилось. Скрибнеру сообщил 14 августа, что эти рассказы «шокируют» и их можно издать после его смерти. Но наследники их не издали — не потому, что в них было нечто шокирующее, а потому что они представляли собой отредактированные наброски. (В 1987-м опубликован лишь один из них, «Черномазый на распутье» — о боях в Аахене в сентябре 1944-го.)

Написал также рассказ «Нужна собака-поводырь» (Get a Seeing-Eyed Dog) о слепом писателе: «Когда я слышу дождь, я вижу, как он шлепает по камням, и по каналу, и по лагуне, и я знаю, как деревья сгибаются при любом ветре и как выглядит церковь и башня при любом освещении. <...> У нас хороший приемник и прекрасный магнитофон, и я буду писать еще лучше, чем прежде. Если не торопиться, с магнитофоном можно найти настоящие слова. С ним можно работать медленно. Я вижу слова, когда произношу их. Я слышу фальшь в фальшивом слове, и смогу заменять слова, и улаживать их как следует. Да, во многих отношениях лучшего и желать нельзя. <...> Тьма это тьма и только. Это не настоящая тьма. Я прекрасно вижу то, что внутри, и теперь голове моей все лучше, и я все

вспоминаю и могу даже придумывать». Годом позднее появился рассказ «Человек мира» (Man of the World), где герой ослеп в драке; оба вышли в ноябрьском номере «Атлантик Мансли» за 1957 год под заголовком «Два рассказа о тьме» (Two Tales of Darkness). Это были последние рассказы, опубликованные Хемингуэем при жизни.

Он не ослеп, и придумывать было что: «Африканский дневник», трилогия о море, масса набросков, нужно все приводить в порядок, но сил не находилось. Жаловался на визитеров — они всюду, куда ни приедешь, а дома хуже всего. Хотчнер, навещавший его тем летом, пишет, что всякий раз заставлял Папу пьющим: «Днем он сидел в течение многих часов в одной позе, потягивая напитки и ведя беседу, сначала связную, потом, по мере того как алкоголь завладевал им, его речь становилась отрывистой, нечленораздельной и бессмысленной». Наконец решил снова отправиться во Францию и Испанию, а оттуда в Африку. Жена не пыталась его отговаривать.

Две последние недели августа 1956-го они провели в Нью-Йорке, 1 сентября отплыли в Европу. Среди попутчиков был писатель Ирвинг Стоун — по его воспоминаниям, Хемингуэй был «чересчур агрессивен» и много пил, Мэри на упреки окружающих отвечала, что «ничего не может сделать». Несколько дней провели в Париже, затем — Испания, в Логроньо встретились с Ордоньесом, проехали с ним в Мадрид, далее в Памплону, там прихватили Хуана Кинтану, вновь в Логроньо и обратно в Мадрид. Супруги были разбиты: у жены гастрит, у мужа больная печень, давление скачет, а теперь еще и желудок не в порядке. Тем не менее собирались на сафари. Мадинавелита категорически воспретил путешествие, но пациент отвечал, что поедет куда ему вздумается — пусть умрет, но «одурачит докторов напоследок». Но тут египетский президент Насер закрыл Суэцкий канал; чтобы попасть в Африку, пришлось бы огигать мыс Доброй Надежды. Лишь тогда Хемингуэй отказался от поездки и 17 ноября в унынии вернулся в Париж. Там, в отеле «Ритц», случилось событие, которое вновь пробудило в нем основной инстинкт.

Хотчнер: «В 1956-м Эрнест и я завтракали в „Ритце“ с Чарльзом Ритцем, владельцем отеля, когда Чарли спросил, знает ли Эрнест, что в подвальном помещении с 1930 года хранится чемодан с его вещами. Эрнест припомнил, что в 1930-м Луи Вюиттон делал по его заказу чемодан, и спросил, что случилось с ним. После завтрака чемодан доставили в офис Чарли, и Эрнест открыл его. Он был заполнен разной одеждой, квитанциями, меню, записками, охотничьими, рыбацкими, лыжными принадлежностями, рекламными проспектами, письмами и еще кое-чем,

что вызвало особую радость Эрнеста: „Записные книжки! Так вот где они были! Наконец-то!“ Там было две стопки тетрадей, какими пользовались парижские школьники в 1920-х годах. Эрнест заполнил их аккуратным почерком, сидя в любимом кафе. В них были описаны места, люди, события тех времен, когда он был беден». Мэри Хемингуэй: «Швейцары открыли заржавевшие замки, и Эрнест увидел пачки машинописных страниц, исписанные тетради в синих и желтых переплетах, старые вырезки из газет, никудашные акварели, нарисованные друзьями, несколько пожелтевших книг, истлевший джемпер и поношенные сандалии. Эрнест не видел эти вещи с 1927 года, когда он упаковал их в баулы и оставил в отеле перед отъездом в Ки-Уэст».

Не установлено, был ли чемодан оставлен в 1927-м или в 1930-м: тогда у изготовителя не спросили, а потом было поздно. Из-за такой неопределенности появляются версии, будто это был чемодан, украденный у Хедли в 1922 году (а вор зачем-то принес его в «Ритц»), Папоров пересказывает слова Эрреры — якобы Хемингуэй ему сказал: «Я считал эти рукописи утраченными и вдруг... — такой клад! ХЕДЛИ ПОТЕРЯЛА ИХ ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ПЕРЕЕЗДА В ИТАЛИЮ...» — и утверждает, что в чемодане была практически готовая рукопись «Праздника»; историю же о том, что это был другой чемодан и в нем были лишь заметки, придумала Мэри, дабы создать видимость, будто книга была написана в последние годы жизни Хемингуэя под ее, Мэри, чутким руководством, а эпизод из «Праздника», где описана кража чемодана на вокзале, Мэри сама сочинила. Выдумка забавная, но не более того: в хемингуэевских заметках содержались истории, происходившие с ним и его знакомыми значительно позже 1922 года, и ни один серьезный изыскатель не считает, что там был «готовый» текст «Праздника». Материалы — были. Но между материалами и книгой большая разница.

От волнения Хемингуэй плохо себя почувствовал, вызвали врача Луи Шварца — тот вспоминал, что застал пациента лежащим в постели, но очень оживленным, радующимся находке, и что тот вел себя «как примерный ребенок», рассчитывая тотчас же заняться разбором заметок. Шварц прописал строгую диету и абсолютную трезвость — согласился и слушался, даже на Рождество не выпил ни капли, был в прекрасном настроении, добр и учтив со всеми. В конце января супруги отплыли в Нью-Йорк, на пароходе больного осматривал еще один врач, Жан Монье, делал инъекции витаминов, капельницы, давление наконец упало до приемлемого. Из Нью-Йорка Мэри поехала к родителям, Хемингуэй в отличном расположении духа помчался в Гавану. Но там его ждал

страшный удар.

В его отсутствие почти одновременно умерли кот Бойз и собака Блэк Дог. Умерли в одиночестве. «Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не кажется смешным». Он основал в Гаване кладбище для животных, где похоронил прах своих друзей. Февраль и март 1957 года прошли в депрессии, болела печень, трезвость соблюдал, но жаловался, что «не пить очень скучно». Даже к находке своей охладел. Но Хуанита, секретарь, его тормошила, и основной инстинкт вел его: постепенно он втянулся в работу по разбору и редактированию парижских заметок. «Атлантик мансли» попросил дать что-нибудь для юбилейного номера — начал собирать фрагмент о Фицджеральде, в мае завершил его, но журналу не отдал: по словам Хотчнера, он тогда уже решил, что будет делать «Парижскую книгу».

Как договаривались, приехал Плимптон брать интервью: оно было опубликовано в «Пари ревью» весной 1958 года. В нем описаны жилище писателя и его привычки: Хемингуэй в спальне либо печатает на машинке, либо пишет «крупным детским почерком почти без запятых», для исправлений ему служат семь карандашей; во время работы он «возбужденный, как ребенок, беспокойный, страдающий, когда вдохновение исчезает», «раб самодисциплины, которая длится до полудня, когда он берет трость и идет в бассейн, чтобы проплыть свою ежедневную полумиллю». Интервьюер предупреждает: писатель говорил ему, что «в творческое ремесло нельзя много вмешиваться с исследованиями», ибо в нем «есть прочная часть, которая выдержит любые разговоры и анализ», и есть «невесомая, хрупкая», которой расспросы могут повредить. Хемингуэй не желает говорить о символах и смыслах своих работ — писатели пишут, чтобы их читали без разъяснений. За этим исключением он готов ответить на любые вопросы.

«— Кого бы вы назвали среди ваших литературных предшественников, у кого вы больше всего почерпнули?»

— Марк Твен, Флобер, Стендаль, Бах, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Эндрю Марвелл, Джон Донн, Мопассан, лучшее из Киплинга, Торо, Фредерик Марриет, Шекспир, Моцарт, Кеведо, Данте, Вергилий, Тинторетто, Босх, Брейгель, Патинье, Гойя, Джотто, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сан Хуан де ла Крус, Гонгора... чтобы перечислить всех, мне потребуется целый день, и тогда покажется, будто я хвастаюсь эрудицией, которой на самом деле не обладаю, вместо того, чтобы вспомнить людей, повлиявших на мою жизнь и мое творчество. <...> Я включил в список

некоторых художников, потому что у них я учился не меньше, чем у писателей. Вы, наверное, спросите, как это возможно. Объяснения заняли бы еще целый день. Хотя, с другой стороны, мне представляется очевидным, что писатель учится у композиторов гармонии и контрапункту...»

Плимpton попросил описать технику работы. «Я начинаю писать на рассвете, так рано, как только могу. В это время меня никто не отвлекает, довольно свежо или даже холодно, а мне бывает жарко, когда я пишу. Я перечитываю написанное накануне и, как всегда, останавливаюсь, когда уже знаю, что будет дальше. Потом я начинаю с этого места. Я обычно пишу до того момента, когда у меня еще есть силы, но я уже знаю, что произойдет потом. Я останавливаюсь и терплю до следующего утра, и тогда уже снова принимаюсь за работу. Скажем, я начинаю в шесть утра и могу работать до полудня или же заканчиваю чуть раньше. Когда автор прекращает писать, он чувствует такую опустошенность (и в то же время такую наполненность), словно занимался любовью с дорогим человеком. Ничто не может нанести ему вред, ничего плохого не может с ним произойти, ничто уже не имеет для него значения до следующего дня, когда он вернется к работе. Самое трудное — это дождаться следующего дня.

— Когда вы перечитываете написанное накануне, вы что-нибудь исправляете? Или вносите правку потом, когда текст полностью завершен?

— Я исправляю каждый день то, что написал накануне. Когда произведение закончено, я, естественно, снова все перечитываю. И еще есть возможность вносить изменения, когда текст перепечатывают на машинке. Если он перепечатан, то это уже чистовик. Последний шанс что-либо исправить — это черновик.

— Вам много приходится исправлять?

— Это зависит от обстоятельств. Я переписывал финал романа „Прощай, оружие!“ 39 раз, прежде чем остался доволен».

Хемингуэй не сказал ничего экстравагантного, не раскрыл никаких «секретов», за исключением «принципа айсберга». Его высказывания непривычно мягки, никакой ругани в адрес коллег. Хорошо отозвался о Паунде и даже о Стайн. Никогда он не хотел «биться» с другими авторами, а просто старался писать как мог. Он восхищается профессорами, учеными, писателями, которые ведут академическую жизнь, преподают в университетах, сам, к сожалению, на это не способен. Полезно ли ему общество коллег? В парижские годы — было, но теперь он предпочитает одиночество, ибо на общение тратится драгоценное время. Описывает ли он реальных людей или вымыслы — «бывает и так и эдак»; знает ли,

начиная писать, как разовьется сюжет — опять «бывает по-всякому». Лучше ли писателю работается, когда он «влюблен, богат и здоров»? Да, разумеется, болезни и бедность никому не помогают, ибо приносят беспокойство, а писать лучше в спокойном и счастливом состоянии. Плимpton упомянул книгу Юнга, где говорилось, что ранение, полученное в Первую мировую, подтолкнуло Хемингуэя к творчеству — нет, с этим не согласен, увечья никому не полезны.

«— Какое интеллектуальное упражнение вы могли бы порекомендовать начинающему писателю?

— Допустим, первое, что ему следует сделать, — это пойти и повеситься, потому что он понял, что писать хорошо невозможно. Затем, он должен безжалостно перерезать веревку и заставить себя писать так хорошо, как только в его силах, всю оставшуюся жизнь. По крайней мере, для начала у него будет история о виселице».

«— И, наконец, главный вопрос: в чем вы, как автор художественных произведений, видите задачи своего искусства?

— Из всего того, что произошло и происходит, из всего, что известно и никогда не будет познано, писатель создает не отражение, а некую новую реальность, более подлинную, чем настоящий момент и окружающая действительность. Он придает ей жизнь, и если он делает это достаточно неплохо, то и бессмертие. Ради этого я и пишу...»

Тем же летом в Гаване была сделана знаменитая фотография писателя в свитере, украшавшая многие советские гостиницы. Ее автор, Юсуф Карш, выбрал одежду для модели из кучи вещей, предложенной Мэри, и та была счастлива, что фотограф остановился именно на этом свитере ручной вязки, от Диора, чрезвычайно дорогим — ее подарке мужу на день рождения. Карш рассказал, что сделал много снимков, на которых у Хемингуэя «была чудесная улыбка — живая, любезная, полная понимания», но он все же выбрал снимок без улыбки — «истинный портрет, лицо гиганта, безжалостно битого жизнью, но неукротимого». «В свете самоубийства Хемингуэя, когда мне говорят, что сделанный мною портрет был провидческим, я должен заметить, что наша беседа, сопровождавшаяся хорошим кьянти, была вполне жизнерадостной. Хотя Хемингуэй, безусловно, страдал от болей после катастрофы в Африке, его психологическое состояние тем утром было позитивное, доброе, и он был полностью поглощен нашей совместной работой».

Осенью в Гавану приехал Джон — работать финансовым консультантом на бирже. Патрик оставался в Африке, а Грегори оттуда вернулся и, посоветовавшись с отцом, лег в психиатрическую больницу.

Мэри постоянно ездила к больной матери (та умерла 31 декабря). Продолжали уходить из жизни друзья: в июне умер от рака Эван Шипмен. В психиатрической лечебнице принудительно содержался Эзра Паунд: с 1945 года он находился в лагере военнопленных в Пизе, в 1948-м был отправлен в Вашингтон и отдан под суд за пропаганду фашизма, но признан недееспособным. Американские литераторы его жалели, составляли петиции, в 1952-м просили Хемингуэя подписать, тот отказался: Эзра должен отвечать за свои поступки. Но в 1957-м сделал денежное пожертвование, обещал дать еще денег на обустройство Эзры и его дочери в Италии, а через несколько месяцев согласился подписать петицию: «Паунд сумасшедший, но все поэты таковы и должны быть такими». В 1958-м Паунд был освобожден и вернулся в Италию. (Он умер в Венеции через два дня после своего 87-летия.)

Причин для депрессии полно, но на сей раз Хемингуэй «собачьей тоске» не поддавался, соблюдал диету, пил только вино за обедом, работал как заведенный, отказался от посещения баров и скачек, даже в море не выходил, ограничивая физическую активность плаванием в бассейне. Съездил в сентябре в Нью-Йорк, ходил на бокс и футбол, обедал с Марлен Дитрих — вот и все развлечения. Писал Джанфранко Иванчичу, что даже на переписку с друзьями у него, к сожалению, нет времени — так поглощен работой. Мэри утверждала, что к 1 января 1958 года он закончил три очерка, что составят «Праздник», а к 31 июля — остальные. (Это не совсем так: он работал над парижскими очерками весь 1958-й, 1959-й и часть 1960 года.) А в конце сентября прислуге в «Ла Вихии» было объявлено, что хозяева уезжают в Кетчум на неопределенное время. Обстановка на острове давно была беспокойной, а теперь совсем раскалилась; Хемингуэй писал Беренсону, что Куба «уже не та».

После совершенного Батистой переворота у него появилась многочисленная оппозиция, как мирная, так и вооруженная. 26 июля 1953 года группа революционеров во главе с Фиделем Кастро пыталась атаковать казармы Монкада; в 1954-м Батиста прошел формальную выборную процедуру и стал легитимным президентом; в 1955-м под руководством Косме де ла Торриенте, ветерана борьбы за независимость Кубы, прошла серия переговоров между оппозицией и Батистой, но ни к чему не привела; в том же году Кастро и его соратники были освобождены из тюрьмы и эмигрировали. Батиста, в свое прежнее правление бывший вполне вменяемым политиком, теперь умудрился восстановить против себя все общество, включая и правящий класс, — почему-то подобная трансформация происходит со всеми правителями авторитарного склада,

возвращающимися на новый срок после перерыва. Он жестоко подавлял студенческие выступления, закрыл оппозиционные газеты, наводнил Кубу полицейскими агентами, отменил конституцию, введенную им же самим в 1940 году. При этом он не сумел, да не очень-то и пытался, улучшить благосостояние населения. Коррупция цвела как никогда, воровство и безнаказанность чиновников и полиции были ужасающими. Получилась ситуация, когда у людей нет ни свободы, ни колбасы, ни того, ради чего их отсутствие терпят — порядка, если под ним понимать нормальную жизнь граждан, а не только полицейских.

В апреле 1956-го генерал Рамон Баркин, бывший военный атташе Кубы в США, пытался свергнуть Батисту, после чего репрессии начались в кубинской армии, и диктатор потерял поддержку военных; в ноябре 1956-го по его распоряжению был закрыт один из очагов оппозиции — Гаванский университет; в декабре 1956-го на Кубе высадились революционеры во главе с Фиделем Кастро и Че Геварой; 13 марта 1957 года была отбита попытка нападения на президентский дворец. В 1957–1958 годах вооруженные отряды были преобразованы в Повстанческую армию, главнокомандующим которой стал Фидель Кастро. С лета 1958 года стратегическая инициатива перешла на сторону революционеров: к осени под их контролем практически находились провинции Оренте и Лас-Вильяс. Батисту не поддерживали ни население, ни «олигархи», ни армия, вдобавок он испортил отношения с США. Править ему осталось всего ничего.

В августе, когда полиция везде искала бунтовщиков, был совершен налет и на «Ла Вихию». Рассказ Вильяреаль: «Люди Батисты постоянно рыскали всюду в поисках революционеров. Но постепенно стало ясно, что на самом деле они искали деньги; они могли прийти, выпить весь ром и уйти». Хозяин был дома, при виде его полицейские ретировались, но, уходя, убили прикладом собаку, которая то ли укусила их, то ли облаяла. Обычно пишут, что это был Блэк Дог, любимец Хемингуэя, потому что Хемингуэй сам так сказал Хотчнеру (не сразу, а спустя год), но Блэк Дог давно покоился на кладбище, а убит был Мачакос, щенок-подросток. Труп обнаружили только утром. Вильяреаль: «Папа сказал: „О, это подонки. Подонки. Если они вернуться, я их пристрелю“. Но Папа не мог никому на них пожаловаться, потому что они были людьми Батисты, и была такая коррупция, что вы ничего не могли сделать». Вскоре умерла еще одна любимая собака, Негрита. К кошкам хозяин не охладел, но после Бойза не мог никого полюбить по-настоящему. Ничто его дома не держало.

Хемингуэй списались с Ллойдом Арнольдом (в отеле жить не хотели,

попросили снять в Кетчуме дом) и в начале октября отправились в автомобильное путешествие. На место прибыли 15-го, жизнь потекла как обычно: с утра — работа, ежедневные вылазки на охоту, пикники, мало спиртного. В Сан-Вэлли жил врач, Джордж Сэвирс, который стал наблюдать Хемингуэя; состояние пациента он нашел более-менее удовлетворительным, предписал простые физические упражнения, пытался сократить ужасающее количество лекарств, которые Хемингуэй принимал как по рекомендациям Эрреры, так и по собственному усмотрению. Хотчнер, появившийся в Сан-Вэлли в ноябре по приглашению Хемингуэя (тогда же приехал Гари Купер), был приятно удивлен: Папа показался ему подтянутым, здоровым, спокойным. Но у Тилли Арнольд, наблюдавшей Хемингуэя в Кетчуме регулярно, сложилось иное впечатление: «Когда он вернулся в 1958-м, мы увидели, что это больной человек. <...> Папа был счастлив вернуться. Но мы видели маленькие сигналы, что это был уже не тот человек, который приезжал сюда раньше».

Тем не менее Хемингуэй чувствовал себя неплохо и работал продуктивно. Занимался он не только «Праздником»: в течение весны — осени 1958 года переписывал роман «Эдем». Не установлено, когда он был начат, зато известно, когда работа над ним прекратилась, так как сохранились датированные папки.

Основная его часть была переписана в мае 1958-го, потом еще раз в ноябре, отдельные главы — зимой 1959-го. Законченным автор его не считал. Говорил, что с парижскими очерками, вероятно, управится раньше, а потом вернется к роману. Но не вернулся. Вдова передала рукопись Скрибнеру через пять лет после смерти мужа, но опубликован «Эдем» (The Garden of Eden) был лишь в 1986 году. На русский язык он переведен В. Погостиным под названием «Райский сад».

В оригинале объем романа составлял около 200 тысяч слов, редактор «Скрибнерс» Том Дженкс сократил его до 70 тысяч; литературоведы спорят, правильно ли он поступил, поскольку изменился даже сюжет. У Хемингуэя было несколько персонажей — писатель, художник, их жены, между которыми существовали запутанные отношения. Дженкс оставил лишь одну пару, мотивируя тем, что остальные линии «были грубым черновиком» и «не привязаны к основному действию»; в некоторых случаях реплики одного персонажа он передавал другому и при этом говорил, что «ничего не менял». Изменился и дух книги: Хемингуэй в последние годы жизни все больше увлекался Прустом и «Эдем» писал в прустовском духе, как бесконечно развертывающийся свиток человеческой памяти; его текст, вдохновленный, как он сам замечает, одноименным

полотном Босха, со сложной структурой, вставными новеллами, возвращениями и повторами, отчасти напоминает «Смерть после полудня». Рано или поздно он будет опубликован. Но даже в сокращенном виде «Эдем» — самая обсуждаемая и ругаемая хемингуэевская книга, так что поговорим о ней, а поскольку это любовная история, то и о «любви по Хемингуэю».

Глава двадцать третья ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ

«— ...Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь, и я буду делать все, что ты пожелаешь, и ты никогда не захочешь других женщин, правда? — Она посмотрела на меня радостно. — Я буду делать то, что тебе хочется, и говорить то, что тебе хочется, и тогда все будет чудесно, правда?»

«— Ты будешь меня любить?»

— Да. Я и теперь тебя люблю.

— И я буду твоя жена?

— Когда занимаешься таким делом, нельзя иметь жену. Но сейчас ты моя жена.

— Раз сейчас, значит, и всегда так будет. Сейчас я твоя жена?»

«— Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен.

— Ты умница.

— Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты.

— Милая.

— Ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?

— Нет.

— Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь».

«— Мне очень нравится целоваться, — сказала она. — Но я еще не умею.

— Тебе это и не нужно.

— Нет, нужно. Раз я твоя жена, я хочу нравиться тебе во всем».

«— Ты на мне женишься, и мы родим пятерых сыновей?»

— Да! Да!

— Но ты этого хочешь?

— Конечно, хочу.

— Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сделали мне больно».

«— Никакой „меня“ нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельной „меня“.

— Я думал, девушки всегда хотят замуж.

— Так оно и есть. Но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена?

— Ты чудесная жена».

Читатель, даже если он неплохо помнит Хемингуэя, может не

заметить, что этот любовный диалог составлен из фрагментов трех разных книг. Одним хемингуэевские описания любви кажутся чувственными и правдивыми, другим — слащавыми и безвкусными, но несомненно одно: любовь у него всегда одинаковая, ясная и простая. Он ценил у Толстого батальные сцены, но любовные ничему его не научили: у него Китти с Левиным не могли бы в медовый месяц ежедневно скандалить, а Анна, отдавшись Вронскому, немедленно заявила бы, что «теперь она его жена». У него нет подозрений, ссор, бытовых конфликтов и недоразумений, нет любви неразделенной или хотя бы такой, когда один любит больше, а другой меньше — страсть всегда взаимна; любовное чувство у него, за редким исключением, не рождается, не «кристаллизуется», не развивается и не угасает — оно всегда горит ровным пламенем. Едва улегшись в постель, его влюбленные уже называют себя «мужем» и «женой» и обсуждают рождение детей; его любовь — абсолют, которому не мешают, как бывает в жизни, сами любящие, а только внешние обстоятельства: война, увечье, старость.

«Теперь они любили друг друга, ели и пили, а потом снова любили друг друга» — подобную фразу мы обнаруживаем практически в каждой истории любви по Хемингуэю. Женщина в этих историях всегда юна, стройна, прекрасна, покорна, хочет быть «твоей женой» и «делать все, что ты захочешь», она ничему не училась, нигде не бывала, ничего не читала, не имеет профессии (можно быть медсестрой, но только во время войны), ничего не знает и просит ее «всему научить» («Я спрошу Пилар, как надо заботиться о мужчине, и буду делать все, что она велит, — сказала Мария. — А потом я и сама научусь видеть, что нужно, а чего не увижу, ты мне можешь сказать»), а мужчина обещает заботиться о ней и покупать ей платья (писательские фантазии обычно не имеют отношения к действительности: все жены Хемингуэя к моменту знакомства были взрослыми образованными женщинами, а три из них имели профессию) — неудивительно, что Уилсон назвал этих идеальных женщин «скво», а феминистки возненавидели Папу. Но у любви по Хемингуэю есть и другая, весьма необычная сторона.

«— Никакой „меня“ нет. Я — это ты».

«— Потом мы будем как лесной зверек, один зверек, и мы будем так близко друг к другу, что не разобрать, где ты и где я. Ты чувствуешь? Мое сердце — это твое сердце.

— Да. Не различишь.

— Ну вот. Я — это ты, и ты — это я, и каждый из нас — мы оба. И я люблю тебя, ох, как я люблю тебя. Ведь правда, что мы с тобой одно? Ты

чувствуешь это?

— Да, — сказал он. — Правда.

— А теперь чувствуешь? У тебя нет своего сердца — это мое.

— И своих ног нет, и рук нет, и тела нет.

— Но мы все-таки разные, — сказала она. — А я хочу, чтобы мы были совсем одинаковые».

«Пожалуйста, обними меня крепко-крепко, так, чтобы нас хоть минутку нельзя было оторвать друг от друга.

— Попробуем, — сказал полковник.

— И я смогу быть тобой?

— Это очень трудно. Но мы постараемся.

— Вот теперь я — это ты, — сказала она».

«— Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я».

«Когда все уже было так, как должно быть, она сказала:

— Ты хочешь, чтобы я была тобой или ты мной?

— Тебе право выбора.

— Я буду тобой.

— Я тобой быть не сумею. Но попробовать можно».

«Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я».

«— Правда, теперь не поймешь, кто из нас кто? — спросила она.

— Да.

— Ты становишься другим, — сказала она. — Да, да. Ты — совсем другой, ты — моя Кэтрин. Пожалуйста, стань моей Кэтрин, а я буду любить тебя».

Это тоже фрагменты нескольких романов: везде женщина хочет не «раствориться» в любимом, а превратиться в него. Даже инструмент такого превращения всегда один и тот же: парикмахерские ножницы. У Хемингуэя средоточие женской привлекательности — не ноги, губы или грудь, а волосы, описываемые в деталях, роскошные, напоминающие звериный мех (в мужчине шевелюра тоже важна, и даже на войне много говорят о прическах).

«— Милый, что, если б ты отпустил волосы?

— То есть как?

— Ну, немножко подлиннее. <...>

— Может быть. Мне нравится, как сейчас.

— Может быть, с короткими лучше. И мы были бы оба одинаковые».

«— Но в Мадриде мы можем пойти с тобой к парикмахеру, и тебе подстригут их на висках и на затылке, как у меня, для города это будет лучше выглядеть, пока они не отросли.

— Я буду похожа на тебя, — сказала она и прижала его к себе. — И мне никогда не захочется изменить прическу».

«— Пожалуйста, постригите его так же, как меня, — сказала Кэтрин.

— Но короче, — сказал Дэвид.

— Нет. Пожалуйста, точно как меня».

Женщина с длинными волосами — хорошая (Ева), с короткими — нет (Лилит). Если по несчастливой случайности у хорошей женщины короткие волосы, она обещает, что отрастит длинные; плохая женщина отращивать волосы отказывается.

«— Его, должно быть, ругали за меня в кафе. Он хотел, чтобы я отпустила волосы. Представляешь себе меня с длинными волосами? На кого бы я была похожа!

— Вот чудак.

— Он говорил, что это придаст мне женственность. Я была бы просто уродом».

Но в хемингуэевской женщине, даже самой хорошей, борются два желания: 1) отрастить волосы и тем угодить мужчине и 2) заставить мужчину отрастить волосы или же остричь свои, чтобы сравняться с ним и самой играть в мужчину («— Тебе нравится, что я — женщина, — сказала она очень серьезно, а потом улыбнулась. — Да. — Вот и хорошо, — сказала она. — Прекрасно, что хоть кому-то это нравится. Ведь это дьявольски скучно»); у Хемингуэя Далила, чтобы взять верх над Самсоном, остригла бы не его, а себя. Мужчина всегда сопротивляется второму желанию («— Пожалуйста, постригите его так же, как меня, — сказала Кэтрин. — Но короче, — сказал Дэвид»), но нерешительно, и в конце концов сдается («Да, — сказала она. — Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я. — Давай, — сказал полковник»).

«Волосыная» тема, переходя без изменений из романа в роман, в «Эдеме» приобрела столь выраженный эротический характер, что даже в XXI веке критики называют книгу «шокирующей». На море приехали молодожены: Дэвид (писатель) и Кэтрин. «На них были полосатые рыбацкие блузы и шорты, купленные в магазине рыболовных принадлежностей, они сильно загорели, а пряди волос посветлели от солнца и морской воды. Окружающие принимали их за брата и сестру, пока они сами не сказали всем, что женаты. Им часто не верили, и женщине это

навислось». Кэтрин не очень хорошая женщина и потому сразу берет быка за рога:

«— Ты любишь меня такой, какая я есть? Ты уверен?

— Да, — сказал он. — Даже очень.

— А я хочу стать другой.

— Нет, — сказал он. — Нет. Другой не надо.

— А я хочу, — сказала она. — Это нужно тебе. По правде говоря, мне тоже. Но тебе наверняка. Я в этом уверена, но пока ничего не скажу».

«Другой» Кэтрин становится просто: велит парикмахеру сделать ей такую же стрижку, как у мужа: «Она коротко, „под мальчика“, подстригла волосы. Их безжалостно срезали. Они были густые, как и прежде, но гладко зачесаны назад и по бокам совсем короткие, так что стали видны уши. Старательно приглаженные рыжевато-коричневые волосы точно повторяли контур головы. Она повернулась к нему, выпрямилась и сказала:

— Поцелуй меня, пожалуйста.

Он поцеловал ее, посмотрел в лицо, на волосы и поцеловал еще раз.

— Тебе нравится? Попробуй, как гладко. Вот здесь, на затылке.

Он провел рукой по затылку.

— Попробуй у виска, около уха. Проведи пальцами по вискам. Вот, — сказала она. — Это и есть сюрприз. Я — девочка.

Но теперь я как мальчишка и могу делать все, что мне вздумается, все, все, все!»

Муж не в восторге, но игру принимает: «— Сядь ко мне, — сказал он. — Что будешь пить, братишка?

— Что ж, спасибо, — сказала она. — Я выпью то же, что и ты. Теперь понял, чем грозит тебе мой сюрприз?»

Но испытания мужчины только начинаются: женщина требует, чтобы «другим» сделался и муж: «— Ты становишься другим, — сказала она. — Да, да. Ты — совсем другой, ты — моя Кэтрин. Пожалуйста, стань моей Кэтрин, а я буду любить тебя.

— Кэтрин — это ты.

— Нет. Я — Питер. А ты — моя Кэтрин. Ты — моя прекрасная, любимая Кэтрин. Так хорошо, что ты стал другим. Спасибо тебе, Кэтрин».

Муж опять слабо протестует, но не сопротивляется: «Светила луна, и жена снова была во власти черной магии превращения, и, когда она заговорила с ним, он не сказал „нет“, и на этот раз болезненное ощущение пронизало его тело, а когда все закончилось, они лежали в изнеможении, и только жена, содрогаясь всем телом, прошептала:

— Вот теперь мы согрешили. Теперь мы по-настоящему согрешили».

Кэтрин стрижется еще раз — теперь ее волосы даже короче мужниных и она забрала еще больше дьявольской власти над ним, теперь она приказывает и насмехается: «Ну же. Теперь твоя очередь меняться. Не заставляй меня делать это за тебя. Ну? Хорошо, я сама. Вот теперь ты другой, да? Ты сам этого хотел. Да? Ты сам. Ты тоже хотел. Да? Я заставила, но ведь и ты... Да, да, ты сам. Ты моя сладкая нежная Кэтрин. Ты моя девочка, моя любимая, единственная девочка».

Мужчина отрицает, что игра ему понравилась («Но в ее причудах я ей не помощник. Хватит того, что я ничего ей не запрещаю»), но потом... отправляется в парикмахерскую и красит свои волосы. «Они растреплются со временем, но цвет и стрижка все равно будут такие, как у Кэтрин. Он подошел к двери и посмотрел на спящую женщину. Потом он вошел в комнату и взял ее большое ручное зеркало.

„Вот, значит, как, — сказал он сам себе. — Ты выкрасил волосы и постригся так же, как твоя женщина, и что же ты чувствуешь? — спросил он зеркало. — Что же ты чувствуешь? Отвечай. — И сам себе ответил: — Тебе это нравится“.

Из зеркала на него смотрело чужое лицо, но постепенно проявлялись знакомые черты.

„Ну что ж, тебе это нравится, — сказал он. — Тогда подчинись до конца, что бы она ни выдумывала, и не скули, что тебя соблазнили или надули“».

Коготок увяз — всей птичке пропасть: признавшись, что ему нравится быть женщиной, герой вступает на путь порока. Он забрасывает работу (женщины не работают), а его жена в роли мужчины «подцепляет» девушку Мариту, которая становится любовницей обоих супругов. Дэвид постепенно начинает отдавать предпочтение Марите, Кэтрин ревнует мужа к работе и уничтожает его рукописи, они ссорятся, она уезжает навсегда, оставив мужа с Маритой, которая не стрижется, не заставляет мужа быть женщиной и поощряет его писать, и он усаживается за книгу. Хемингуэй терпеть не мог, когда у него искали символику, но в «Эдеме» от нее никуда не денешься: рай — это когда мужчина мужествен и женщина женственна, а попытка последней вышагнуть из своей роли превращает жизнь в ад, хотя адские наслаждения на время могут стать слаще райских. В любой женщине сидит дьявольское начало — ведь даже кротчайшая Мария из «Колокола» хочет, чтобы она и ее мужчина стали одинаковыми! — и где гарантия, что Марита завтра не заставит мужа надеть ее чулки? Райская чистота утеряна безвозвратно, и лишь одно может уберечь мужчину от ада, дав ему возможность твердо стоять на земле, — его работа.

Разумеется, если беллетрист пишет о мужчине, играющем в женщину, или об инопланетянине, или об убийце, это вовсе не значит, что он имеет в виду себя или своих знакомых. Но когда он пишет об одном и том же постоянно, изыскатели не могут не любопытствовать: о ком думал автор, когда сочинял эту историю? О Грегори — пытался понять сына? Или сам Хемингуэй, тосковавший по временам, когда мать заставляла его играть роль девочки, под конец жизни признался в собственных чудачествах? Он почти всех женщин, включая жен, в письмах называл «парнями» и «братишками», к супружеским парам имел обыкновение обращаться «привет, мужики» — это неспроста? И кто такая Кэтрин — намек на Полину, которая в 1920-х годах остриглась и попрекала мужа своим богатством («— Я за них заплатила, — сказала Кэтрин. — Благодаря моим деньгам ты мог писать»)? А женственный образ Мариты навеян Мэри? Но Мэри вспоминала, что в 1953 году муж в шутовском интервью назвал ее «мальчиком» и сделал запись в ее дневнике: «Мэри всегда хотела быть парнем и думать как парень, не теряя при этом женственности... Она любит, чтоб я был ее девушкой, и мне это нравится». Две жены Хемингуэя сдружились, он ревновал — отсюда странный любовный треугольник? Даже если бы авторский текст не был искажен при публикации, на подобные вопросы все равно не существовало бы ответа. Но тому, кто лелеет образ «простого» и «прямого» «бати Хема», лучше все-таки «Эдем» не читать.

Наброском к «Эдему» обычно называют опубликованный в 1987-м фрагмент «Странная страна» (The Strange Country): сорокалетний Роберт путешествует с молодой Хеленой и они играют в эротические игры; потом начинается гражданская война в Испании и герой должен уехать. Но, на наш взгляд, это ошибка (датировка большинства поздних текстов Хемингуэя лишь предположительна, так что судить, какие отрывки к чему относятся, очень трудно): странные игры «Странной страны» совпадают с играми не «Эдема», а «За рекой»: герой возбуждается, воображая себя отцом своей любовницы. Кроме этих двух видов эротической игры, некоторые изыскатели находят у Хемингуэя и третью: брат-сестра, тема, звучащая в начатой в середине 1950-х «Последней хорошей стране». Что ж, если хотите, можно списать все это на дурное влияние Пруста...

В «Эдеме» есть вставная новелла, иногда публикующаяся как отдельный рассказ. Герой пишет книгу о своем детстве: он жил в Африке (в 1905 году во время восстания маджи-маджи в Танганьике), его отец, «настоящий мужчина», убивал слонов, а маленький Дэвид чувствовал, что в охоте есть что-то низкое: «У отца нет нужды убивать слонов, чтобы

заработать на жизнь». «Еще они хотели бы убить слона там же, где убили его друга. Это было бы забавно. Они были бы очень довольны. Проклятые убийцы друзей». Дэвид по недомыслию рассказал отцу и охотнику Джуме, где находится слон, и чувствует себя предателем и убийцей. «Он тосковал без Кибо и, думая о том, как Джума убил друга его — слона, невзлюбил Джуму, а слон стал ему братом». Из прежних книг Хемингуэя следует, что такого «брата» особенно сладко убивать, но у Дэвида другое мнение.

«— К черту охоту на слонов, — очень тихо сказал Дэвид.

— Что? — спросил отец.

— К черту охоту на слонов, — повторил Дэвид.

— Смотри, не испорти все дело, — сказал отец и пристально посмотрел на него.

„Ну и пусть, — подумал Дэвид. — Его не проведешь. Теперь он все понял и не будет мне доверять. И не надо. А я никогда больше ничего не скажу ни ему, ни кому другому. Никогда, никогда, никогда“».

Отец ранит слона и хочет, чтобы сын его добил, но тот отказывается. «Теперь слон стал его героем, каким долгое время был отец. „Трудно поверить, — думал Дэвид, — что, несмотря на старость и усталость, слон оказался способен на такое. Он бы точно убил Джуму. Но когда он смотрел на меня, в его взгляде не было ненависти. Там была только грусть, такая же, какую чувствовал я сам“». Если слон для маленького Дэвида — герой, брат и друг, то отец — жестокий убийца: снова нельзя не задаться вопросом, о ком думал Хемингуэй — о Кларенсе, которого уже называл жестоким, или о своих сыновьях, которым жестоким мог казаться он сам? — и снова ответа не будет.

«Завтра он вернется в свою далекую страну, ту, к которой Кэтрин его ревновала, а Марита любила и понимала. Он был счастлив в той, оставшейся в рассказе, стране, но знал, что счастье это не может быть долгим, и ему приходилось отрываться от всего, что он любил, и возвращаться к удушающей пустоте сумасшествия, которое теперь приняло форму неумного желания практической деятельности». Книгу уничтожила стриженная дьяволица, но это ничего: оставшись с длинноволосой помощницей, герой начинает писать заново. «Он попробовал работать дальше и впервые перестал сомневаться, что все утраченное возвратится к нему полностью». А вот это уже, без сомнения, о себе. После «Килиманджаро» Хемингуэй не создал ничего по-настоящему сильного (для писателя его уровня, конечно); после войны, когда он начал писать то, что станет «Эдемом» и «Островами», задача показалась непосильной (отвык), и все вылилось в посредственный роман «За рекой»; но, больной,

полуживой, он пытался снова, и у него начало получаться почти как раньше (с технической стороны уже «Старик» был совершенством, многое удалось в «Эдеме» и «Островах»), и на исходе жизни, прежде чем вернуться «к удушающей пустоте сумасшествия», он еще создаст один абсолютный шедевр.

*

Незадолго до Рождества Хемингуэй решили обзавестись собственным жильем в Кетчуме. Торговали съемный дом, в котором жили, потом остановились на другом и купили его у владельца, Генри Топпинга, за 50 тысяч долларов (сделка была оформлена в феврале 1959-го). Это двухэтажное бетонное шале в стиле «модерн», расположенное на северной окраине Кетчума: на первом этаже комната, подходящая для кабинета, прекрасный вид на горы Соутуз с северной и южной стороны, на реку Вуд-ривер с восточной, участок в семнадцать акров. Почему вдруг такое решение, ведь раньше они ездили в Кетчум постоянно, но ничего не покупали? Было ли оно связано с кубинскими событиями?

По словам Эрреры (сказанным уже после прихода Кастро к власти), Хемингуэй с восторгом ожидал революции, ловил любое упоминание о Фиделе и беспрестанно его хвалил. Однако в ноябре 1958-го, за шесть недель до революции, он писал Патрику: «На Кубе все очень плохо, Мышонок... Я живу в стране, где нет правых — жестокость с обеих сторон... наглядевшись на злоупотребления нынешних, знаешь, что обман и убийство будут продолжаться, кто бы ни пришел. Это строго между нами. Нужно выбираться отсюда. Будущее представляется очень мрачным...»

Хемингуэй, как и большинство жителей Кубы, Батисту терпеть не мог (хотя и принял от его правительства награды). Лично он от действий Батисты пострадал лишь однажды, в случае с убийством бедного Мачакоса, хотя Сирулес и Папоров пишут, что подобное происходило несколько раз. Теперь о его отношении к Кастро. Они виделись один раз, на соревновании по рыбной ловле в 1960 году и сфотографировались вместе: на этом основании их называют «друзьями». Нет никаких свидетельств, что они встречались до революции; даже Эррера, рассказывавший, как Хемингуэй якобы участвовал в подготовке свержения Трухильо, не говорил, что они были знакомы лично. Эррера также утверждает, что Хемингуэй регулярно жертвовал на нужды компартии Кубы. Сохранилось письмо ему от Хосе Мануэля Родригеса, секретаря партийного комитета Гуанабакоа, от марта

1947-го с просьбой пожертвовать 200 песо; были ли деньги получены, неизвестно. Кеннет Киннамон, профессор Арканзасского университета, делая доклад к 100-летию Хемингуэя, объявил, что тот был коммунистом и «финансировал революцию, направляя деньги через кубинского друга» (то есть Эрреру).

Но дело в том, что коммунисты и революция тогда были врагами. Компартия Кубы с 1930-х годов всегда была на стороне Батисты. Коммунисты шли с ним единым блоком на выборах 1940-го; их лидер Хуан Маринельо вошел в правительство Батисты. В 1944-м Батиста и компартия вновь шли единым блоком и проиграли. Кастро, враг Батисты, осуждался компартией как «авантюрист». Когда он летом 1952 года основал революционное «Движение 26 июля», то исключил из него всех коммунистов, кроме брата Рауля. Коммунисты осудили штурм казарм Монкада и мирно сосуществовали с Батистой вплоть до осени 1958-го, когда, увидев, что диктатору приходит конец, благоразумно перешли на сторону победителя: Маринельо занял место в правительстве Кастро, как занимал в правительстве Батисты; доктор Эррера получил должность советника в Санитарном управлении армии. Кастро, в свою очередь, аж до 1961 года называл себя антикоммунистом и обвинял Батисту в коммунизме. Кстати, коммунист Эррера признает, что Хемингуэй, будучи хорошего мнения о Кастро и говоря, что «эта молодежь способна на многое», расходился во взглядах с ним, Эррерой. Так что вряд ли Хемингуэй одновременно приветствовал антикоммуниста Кастро и поддерживал коммунистов — друзей Батисты. Скорее уж что-то одно и скорее уж Кастро: это принцип «меньшего зла», как в «Колоколе».

Исследователи, стремящиеся доказать, что Хемингуэй был, напротив, врагом Кастро, ссылаются на рассказ «Выстрел» (The Shot), опубликованный в апреле 1951 года. Это история об охоте на антилоп, но в нее включен фрагмент о другой охоте — на людей. В Гаване к рассказчику подходит человек, назвавшийся другом его друга и ложно (по его словам) обвиненный в убийстве этого друга. Человеку нужно эмигрировать, он просит 500 долларов. Из рассказа ясно, о каком убийстве идет речь: «Тот друг, которого застрелили, был прекрасным защитником местной университетской [футбольной] команды. Он был министром спорта республики, когда его убили. Никто не был наказан за его убийство. Его подозревали в небольших грабежах; но я никогда не слышал, чтобы он убивал не тех, кого надо. Во всяком случае, когда он был убит, в его карманах нашли всего тридцать пять центов, он не имел счетов в банках и был безоружен». Убийство министра спорта Маноло Кастро произошло 22

февраля 1948 года; полиция обвинила в нем Фиделя Кастро и тот был вынужден бежать с острова. Сторонники Кастро, разумеется, считают, что его обвинили ложно, а противники — что он таки убил тезку, возглавлявшего на тот момент федерацию студентов, ибо метил на его место. Но даже если Хемингуэй придерживался второй версии, не факт, что в «Выстреле» он писал именно о Фиделе; кроме того, рассказчик не опровергает утверждение собеседника, что его обвинили зря, а говорит: «Надеюсь, он не будет ложно обвинен в чем-либо и благополучно эмигрирует».

В начале 1957 года, когда Кастро скрывался в горах, к нему приехал журналист Герберт Мэттьюз, знакомый Хемингуэя по Второй мировой, взял ряд интервью и опубликовал их в «Тайм». Он рассыпался в похвалах молодому революционеру (но не его брату Раулю, которого назвал садистом) и утверждал, что тот стоит во главе большой армии (в отряде Кастро было два десятка людей). Мэттьюза называют «человеком, который открыл Кастро» — ведь до той поры за пределами Кубы о нем толком никто не слыхал и даже в его существование не верили, так как Батиста распускал слухи, будто его враг мертв. Мэттьюз, по словам Эрреры, заходил в «Ла Вихию» несколько раз (факт не подтвержден другими источниками) и беседовал с Хемингуэем, расхваливая Фиделя; хозяин слушал с интересом, но Мэттьюза почему-то назвал дураком.

Первого января 1959 года, поняв, что все кончено, Батиста бежал на самолете в Испанию. 2 января политические противники диктатора сформировали временное правительство. Временным президентом стал Мануэль Уррутиа, премьер-министром — Миро Кардона. 6 января в столице появился Фидель Кастро; назначенный военным министром, он сразу выказал притязания на руководящую роль. В первые несколько дней были перестрелки, грабежи, уличные беспорядки. Хемингуэй звонил Вильяреалу, беспокоясь за усадьбу (по словам Эрреры, он, напротив, велел отдать повстанцам оружие, автомобили и дом), но управляющий доложил, что «Ла Вихия» цела (потом выяснилось, что побиты окна и разрушена часть крыши). Эррера тоже звонил, говорил, что все хорошо: Кастро его друг, а в состав временного правительства вошел знакомый Хемингуэя Хайме Бофиль. Хемингуэй был рад и лишь сожалел, что не видел, как «вышвырнули» Батисту.

Рады были все: победившая коалиция была на первых порах очень широкой, революция напоминала нашу Февральскую: лозунги демократии, свободы, требования восстановления конституции и свободных выборов. Правительство Уррутиа, моментально признанное крупными

государствами, начало восстанавливать демократические институты; бизнесмены поддержали новый режим и даже согласились выплатить налоги вперед, чтобы поддержать экономику. Эйзенхауэр заявил, что «питает искреннюю надежду на то, что люди в этой дружественной стране, столь близкой нам географически и духовно, смогут через свободу обрести мир, стабильность и прогресс». Единственные, кто не одобрил кубинскую революцию — СССР и другие соцстраны. (Генрих Боровик рассказывал, будто Анастас Микоян сказал ему: «Ну что такое — 12 человек пошли в горы, собрали всю страну, свергли этого паршивого диктатора, сукиного сына Батисту. Это не соответствует учению Маркса и Ленина о пролетарской революции».) Социализмом на Кубе пока не пахло, Батисту никто не жалел, весь мир был в восторге. «Революция, — подумал мистер Фрэнгер, — не опиум, революция — катарсис, экстаз...»

Осенью в Кетчуме Хемингуэй познакомился с журналистом Эмметом Уотсоном из газеты «Сиэтлские расследования»; говорили, по воспоминаниям Уотсона, «о боксе, о лыжах, о спортивных обозревателях, но только не о Кубе». После революции Уотсон попросил об интервью. Хемингуэй согласился — это было его первое публичное высказывание о кубинских событиях. (Уотсон: «Я часто спрашивал себя, почему Хемингуэй, знакомый с виднейшими журналистами, выбрал меня, никому не известного, чтобы высказаться. Этого я не понимаю. Но он был вежливый, веселый, остроумный и не проявлял никакой покровительственности...») Хемингуэй сказал: «Восстание против Батисты — это первая революция на Кубе, которую действительно следует считать революцией. Движение Кастро вызывает большие надежды. Я верю в дело кубинского народа. На Кубе уже бывали смены правительства, но то были лишь смены караула. Первой заботой вновь пришедших было обкрадывать народ. <...> Я высказываюсь за революцию, ибо она пользуется поддержкой народа». Далее, по словам Уотсона, шла фраза «Я только сомневаюсь, что Кастро сможет все это сделать» — ее опубликовать журналист не стал (неясно, по своей инициативе или по просьбе интервьюируемого), ибо это было «подобно взрыву динамита в Гаване».

Интервью перепечатали североамериканские и латиноамериканские газеты; несколько дней спустя Хемингуэй то же самое сказал корреспонденту «Нью-Йорк таймс». В словах о поддержке кубинской революции не было ничего крамольного или оригинального — вся Америка ее приветствовала. Но был один аспект, вызывавший недовольство в США: расстрелы без суда. Об этом Хемингуэй сказал Уотсону: «Некоторые среди приближенных Батисты были стоящими и

честными людьми. Но большинство из них были ворами, садистами и палачами. Они пытали детей. Иногда с такой жестокостью, что им не оставалось ничего другого, как прикончить свои жертвы. Суды и казни, предпринятые Кастро, необходимы. Если правительство не расстреляет этих людей, они все равно будут убиты мстителями. Результатом окажется эпидемия вендетт в городах и деревнях. Что произошло бы с этими людьми, если бы их помиловали? Народ узнает злодеев и рано или поздно заставит их расплатиться. Движение Кастро обязано своим успехом тому, что оно обещало покарать виновных в злодеяниях. Новое правительство должно выполнять свои обещания».

Во время испанской войны Хемингуэй придерживался мнения, что цели коммунистов оправдывают средства; взглядов он не переменил. Однако то же самое сказал о бессудных казнях на Кубе и другой известный человек: «Когда у вас революция, вы убиваете ваших врагов. Были многочисленные случаи жестокости и угнетения со стороны кубинской армии, и у народа „зуб“ на этих людей. Теперь, вероятно, будет осуществляться правосудие. Возможно, они заходят далеко, но они должны пройти через это». Этот человек — директор ЦРУ Аллен Даллес...

Но другие американские политики и журналисты все же критиковали Кастро за расстрелы — так началось охлаждение отношений со Штатами. На митинге 21 января Кастро призвал кубинцев «дать отпор критиканам» и призвал поднять руки всех, кто одобряет казни, — его приветствовали бурей аплодисментов. 24 января Хемингуэй из Кетчума писал старшему сыну: с грустью рассказывал о смерти собаки, поручал купить акции компании АТ&Т (Джон был брокером), о революции упомянул лишь вскользь. 13 февраля Кардона ушел в отставку, и Кастро возглавил правительство. Летом он отменит (как Батиста) запланированные выборы, приостановит (как Батиста) действие конституции и начнет руководить страной исключительно декретами («революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании. Опиум нужен до и после...»), но в начале года было еще неясно, куда двинется Куба под его началом. США не были намерены вмешиваться и отправили в Гавану посла, которому поручалось «улучшать отношения с революционным правительством».

Покупая дом в Кетчуме, Хемингуэй не собирался бросать Кубу. Лэнхему он писал: «Я планирую жить здесь в охотничьи сезоны, когда на Кубе ураганы и плохая погода. Для здоровья моего и Мэри нужно часть года проводить не в субтропическом климате» — но, возможно, готовил запасной плацдарм: он ведь был человек практичный. Здоровье его за зиму

сильно улучшилось, печень, давление — близко к норме. Но домой он не торопился. Выехал лишь 16 марта с Мэри и Хотчнером — на автомобиле до Нового Орлеана, оттуда в Ки-Уэст, где встретился со старым другом Уолдо Пирсом. 29 марта прилетели в Гавану. В аэропорту его приветствовала делегация с кубинским флагом: он (свидетельство Эрреры и Вильяреала) поцеловал флаг, фотографы не успели это снять и попросили повторить, но он отказался. Вильяреаль: «Он сказал: „Это будет не от сердца. Я — не актер“».

Роберто Эррера утверждает, что Хемингуэй мечтал о встрече с Кастро, чтобы «дать ему советы», Хосе Луис Эррера — что сам пытался организовать такую встречу, но не сумел, вместо этого привел к Хемингуэю главного редактора газеты «Революсьон» Васкеса Канделу. Кандела действительно приезжал в «Ла Вихию», хотя, по его воспоминаниям, без посредничества Эрреры, побеседовали очень приятно, Хемингуэй говорил, как, по его мнению, Кастро следует вести себя в Штатах (тот собирался ехать во главе кубинской делегации на заседание Генеральной ассамблеи ООН). Существует и противоположная легенда — якобы Хемингуэй сидел в баре, когда вошел Кастро в окружении охраны и велел помощнику пригласить писателя за свой стол, тот не пошел, потом объяснял свой отказ: «Я специалист по революциям. За шесть месяцев, может быть, через год, он уйдет, а я все еще буду здесь. Я не хочу вмешиваться». Эти слова подходят Папе, но трудно поверить, чтобы он сознательно упустил возможность пообщаться с таким занятым человеком, как Фидель.

16 февраля в Гавану прибыл новый американский посол Филип Бонсалл — он подружился с Хемингуэем, нашли массу общих интересов, включая корриду, обедали вместе каждую неделю. Толпами приезжали европейские и американские литераторы, желавшие встретиться с Кастро или просто поглазеть на революцию: в марте появился Плимpton, приехал и познакомился с Хемингуэем английский критик Кеннет Тайнэн, в апреле прибыл Теннесси Уильямс и состоялась встреча двух писателей. Плимpton утверждает, что это он организовал свидание и был третьим за столом, а Тайнэн — что он, но рассказывают оба примерно одинаково: Теннесси держался боязливо, зная о неприязни Хемингуэя к гомосексуалистам, но обошлось мирно, говорили о болезнях, делились медицинскими советами, обсуждали знакомых матадоров. К сожалению, неизвестно главное: что говорилось о положении на Кубе. По словам Тайнэна, Хемингуэй дал Уильямсу рекомендательное письмо к Кастро. Странно: если его самого Кастро не принимал, как он мог давать к нему рекомендательные письма?

Плимpton незадолго до смерти поведал еще одну историю: якобы в

апреле 1959 года Хемингуэй повез его и еще каких-то друзей на автомобиле в некое место за городом, потом туда прибыл грузовик с заключенными, которых стали расстреливать на глазах у пирующих. Тайнэн же обедал с Германом Марксом, американским авантюристом, руководившим казнями, потом рассказал об этом Хемингуэю и тот якобы нашел рассказ «забавным». Эти утверждения кочуют по журналам, однако и Плимптон, и Тайнэн любили приврать не меньше, чем сам Хемингуэй. Достоверно лишь одно: в Гаване он не провел и месяца. 22 апреля они с Мэри выехали в Нью-Йорк, а 26-го отплыли в Испанию. Он заключил с «Лайф» контракт на книгу о корриде, продолжение «Смерти после полудня». Это было важней любых революций.

Глава двадцать четвертая ВСПОМНИТЬ ВСЕ

В Испанию прибыли в первых числах мая, поселились у американцев Билла и Энн Дэвис (люди типа супругов Мерфи, но более скромные, познакомились с Хемингуэем в Мексике в 1941 году) на их вилле «Консула» под Малагой. «Ели там вкусно, пили вволю. Каждый мог делать, что хотел, и, когда я, проснувшись утром, выходил на открытую галерею, опоясывавшую второй этаж дома, и смотрел на верхушки сосен в парке, за которыми видны были горы и море, и слушал, как шумит в сосновых ветвях ветер, мне казалось, что лучшего места я никогда не видел. В таком месте чудесно работается, и я сел за работу с первого же дня». Сын Дэвисов Теодор, которому тогда было 10 лет, вспоминал, что его родители полностью стушевались перед гостем: тот был центром всей жизни в доме. По утрам гость работал: написал эссе, о котором его давно просил Скрибнер — «Искусство рассказа» (The Art of the Short Story), где развивал «принцип айсберга», рассказывал о людях и событиях, вдохновивших его на некоторые рассказы, и критиковал коллег. (Скрибнер текст отклонил и при жизни автора он не публиковался.) Две недели прошли тихо. Но к середине мая работу пришлось отложить: были более важные дела. «Как показало время, я бы никогда не простил себе, если бы пропустил то, что произошло весной, летом и осенью этого года. Страшно было бы это пропустить, хотя страшно было и присутствовать при этом. Но пропустить такое нельзя».

О чем это — уж не переворот ли против Франко? Нет, Ордоньес и Домингин проведут серию боев. Ордоньес был друг, почти сын, Домингин, человек более расчетливый, интеллектуальный — тоже друг, но с оговорками. Соревнование обострялось тем, что матадоров связывала родством Кармен Ордоньес. «Бой быков без соперничества ничего не стоит. Но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между двумя великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой пытается сравняться с ним или даже превзойти его, — тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью».

В «Консулу» стали съезжаться знакомые — Хуан Кинтана, летчик Руперт Белвилл, любитель корриды, с которым подружились в прошлый

приезд. 13 мая выехали на нескольких автомобилях в Севилью (там Мэри простудилась и вернулась в Малагу), оттуда в Мадрид, где публика проявляла к Хемингуэю повышенный интерес — одни как к нобелевскому лауреату, иные как к другу великого Ордоньеса. Среди репортеров была 19-летняя ирландка Валери Денби-Смит, путешествовавшая в качестве внештатного корреспондента разных агентств; Бельгийская служба новостей поручила девушке взять интервью у писателя, о котором она едва слыхала. «Я понятия не имела о его славе. Мне кажется, он нашел это очаровательным». После первой же беседы Хемингуэй пригласил Валери сопровождать его, и она обещала приехать к фиесте.

Далее — Аранхуэс, где еще до боя запахло кровью: «Когда мы шли посыпанной гравием дорожкой к мощеному двору отеля, забитому машинами, я вдруг услышал грохот и, обернувшись, увидел лежащий на боку мотороллер. Люди сбегались к водителю, который, видимо, сильно расшибся. Но девушку, сидевшую позади водителя, выбросило на середину мостовой. Я подбежал к девушке, поднял ее и держал на руках все время, пока мы ловили машину, чтобы отвезти ее в больницу. Но все машины, видимо, были заняты другими делами. Я боялся, что у нее повреждено основание черепа. Крови было немного, и я нес девушку очень бережно, стараясь не повредить ей и в то же время не запачкать кровью свой костюм. Мне не жаль было костюма, но несчастье, случившееся с девушкой, само по себе служило достаточно дурным предзнаменованием, недоставало еще, чтобы я в таком виде сидел в первом ряду перед ареной боя быков. Наконец мы достали машину, передали девушку в надежные руки, и ее повезли в больницу. Потом мы сошлись с нашими гостями в ресторане на набережной. Меня очень огорчало, что несчастье с девушкой случилось в день открытия фиесты, и тягостно было вспоминать ее посеревшее, запыленное полудетское лицо. Я беспокоился, не повреждена ли черепная коробка, и мне было стыдно, что все время, пока я нес девушку на руках, я думал не только о ней, но и о том, как бы не выпачкаться в крови».

«Опасное лето» переполнено рассуждениями о смерти: «Любой человек может иной раз без страха встретиться со смертью, но умышленно приближать ее к себе, показывая классические приемы, и повторять это снова и снова, а потом самому наносить смертельный удар животному, которое весит полтонны и которое к тому же любишь, — это посложнее, чем просто встретиться со смертью. Это значит — быть на арене художником, сознающим необходимость ежедневно превращать смерть в высокое искусство». Дурные предчувствия сбылись — Ордоньес был ранен, но скоро поправился (что случилось с девушкой, неизвестно, да и факт

ее существования не подтвержден) и приехал в «Консулу», куда к тому времени возвратились Хемингуэй и Дэвис. Пока Ордоньес лечился, Хемингуэй съездил в Альхесирас посмотреть на его соперника, которого признавал «великим художником», но только в прошлом — рога его быков были подпилены, и от него, как от бедного Кашкина из «Колокола», пахло смертью.

Ордоньес выздоровел в конце июня. Шурин ждал его в Сарагосе, где должно было состояться очное состязание. Свита Хемингуэя полнилась: приехали Хотчнер, доктор Сэвирс, Джанфранко Иванчич, последние — с женами. Образовалась так называемая «куадрилья» (группа поддержки, сопровождающая матадора): кроме вышеназванных лиц, Дэвисов и Валери Денби-Смит, в нее входили Кинтана, Белвилл, фотографы Питер Бакли и Хулио Убинья, актрисы Полли Пибоди, Лорен Бэколл и Беверли Бентли, периодически присоединялись разные репортеры, актеры и светские бездельники; за редким исключением все эти люди были намного моложе Папы. Один из временных спутников, испанский журналист Хосе Луис Кастильо-Пуче, написал книгу, где преувеличил свою роль в окружении Хемингуэя и оплевал других: Хотчнера обозвал «эксплуататором» и «прилипалой», добрейшего Дэвиса — «сторожевым псом», Валери — «подлой стервой» и т. д. (Хотчнер подаст иск за клевету и выиграт процесс.) Но не он один был ревнив: многие члены «куадрильи» говорили друг о друге гадости, а Хотчнера недолго любили все, ибо он был ближе других к «матадору»: литературные и деловые вопросы Хемингуэй обсуждал только с ним. Кто платил за всех? Кто побогаче, жили за свой счет; за «бедных», по утверждению Мэри, платила она, и не из средств мужа, а из собственных: она была фотокорреспондентом «Спорте иллюстрейтед».

Валери присоединилась к группе в Памплоне. Хемингуэй предложил ей должность секретаря; она станет его последней «дочкой». В книге «Бег с быками: годы с Хемингуэями» и многочисленных интервью она рассказала о том лете: «Мне казалось, что это был непрерывный праздник, где ночь смешивалась с днем. Спали три или четыре часа. В два-три часа утра танцевали на улице и веселились, потом ложились спать, и все начиналось снова, в 10–11 утра сходились на площади в кафе, там была обязательная выпивка и обсуждение корриды. Мы все учились, и это было наслаждением и для Эрнеста и для молодежи, окружавшей его. Он рассказывал, показывал и учил». «Стол всегда был достаточно велик, и любой мог подойти и сесть к нам, и немногие различали, кто был членом группы, а кто нет». «Да, он напивался, да, все мы напивались время от времени, все мы

действовали друг другу на нервы, и были скандалы. Но это — жизнь».

О Хемингуэе: «Он всегда руководил другими людьми. Мы никогда не воспринимали его как нуждавшегося в опеке. Он всегда и всюду был главным. Он украшал людей. Он делал их более интересными, чем они были в действительности. Я не знаю, как он описал бы меня, но он заставил меня чувствовать себя намного более значительным человеком, чем я себе казалась. Это был настоящий подарок». Какого рода чувства они питали друг к другу, неясно: Хемингуэй галантно ухаживал и флиртовал, как со всеми молоденькими девушками, Валери держалась как подобало «дочке». В книге она приводит его письма: «Я не могу обойтись без тебя. Я знал это и раньше. Но теперь я знаю, как это захватило меня. <...> Я люблю тебя всегда — утром, когда просыпаюсь, и ночью. Когда ложусь спать — я вижу тебя ясно и светлой ночью, и темной...» Но он всегда был галантен, владел искусством романтического флирта и писал такие письма многим женщинам. Во всяком случае, в семейные отношения Валери не вмешивалась, и Мэри к ней относилась чуть менее настороженно, чем к Адриане.

Фиеста завершилась плохо, Ордоньес снова был ранен, Хемингуэй ссорился с женой. Та сломала палец — она в этом отношении была весьма похожа на мужа, — он заявил, что она притворяется, чем вызвал возмущение Сэвирса. Валери о Мэри: «Она была независима; я не думаю, что она когда-либо говорила ему, что он не так одет. Она принимала его таким, каким он был. Он тоже не хотел, чтобы женщина постоянно крутилась возле него. Мэри обладала очень сильным характером. Он часто был угнетен и не мог писать. Когда вы живете с таким человеком, нужно жертвовать собой, вы не можете быть счастливым; для Мэри это было слишком трудно». «Мэри любила светскую жизнь. Эрнест не заботился о светскости, он не был снобом. А Мэри любила быть около знаменитостей. Они были абсолютно разные». Джон Хемингуэй тоже говорил, что снобизм Мэри и ее жадность к светским развлечениям сделали последние годы его отца тяжелыми. Но самой Мэри ситуация виделась иначе: «опасное лето» 1959 года она назвала «беспрерывным цирком», с горечью добавив, что ей в этом цирке роли не отводилось: она стала «неслышимой и невидимой».

Во время очередной передышки в «Консуле» к группе присоединился генерал Лэнхем. Корриду он не любил, а толпа бездельников, осыпавших Хемингуэя лестью и дравшихся за его внимание, по мнению генерала, не шла на пользу его фронтовому другу. Ему не понравился и сам Хемингуэй: он «пытался молодиться», «назойливо сквернословил», публично оскорблял жену, жаловался, что она «прокутила его деньги», постоянно

был «на взводе» и затевал ссоры по пустякам. Лэнхем и Сэвирс описывают случай в ресторане 20 июля: танцевали, Лэнхем, проходя мимо Хемингуэя, казавшегося одиноким, положил ему руку на плечо и задел голову — тот «дернулся как от удара и закричал, что никто не смеет к нему прикасаться». Лэнхем пошел прочь, Хемингуэй догнал его, плакал, сказал, что стесняется редущих волос, пойдет в парикмахерскую и наголо обрется, генерал «чувствовал ужасную жалость, но простить не смог».

Юбилей Хемингуэя — 60 лет (а заодно и день рождения Кармен Ордоньес) — отмечали в «Консуле». Мэри организовала праздник: танцоры фламенко, тир, оркестр, шампанское из Парижа, 34 гостя, среди которых затесался индийский раджа; из старых знакомых приехал разведчик Дэвид Брюс с женой. Вечер прошел весело, но муж вновь упрекал жену за то, что она «тратит его деньги на бесполезные развлечения». Его физическое состояние ухудшилось, диету он забросил, в алкоголе себя не ограничивал, печень и почки отказывали, Сэвирс пытался лечить его, но он отказывался выполнять предписания. Снова бои быков: в Валенсии ранены Домингин и Ордоньес, в Малаге — первый, в Бильбао — второй. В «Опасном лете» увечья описаны в мельчайших подробностях: всякий раз они были ужасны, но почему-то через пять — семь дней матадоры оказывались на ногах и продолжали выступления. В конце концов победителем вышел Ордоньес. Никто, кроме быков, не умер, лето было опасным только для Хемингуэя, который провел его, не сообразуясь с состоянием здоровья и почти не работая. Впрочем, то было его право.

А как же «толстозадый» Франко? 1 апреля 1959 года неподалеку от Мадрида диктатор открыл мемориал, где были захоронены сражавшиеся по обе стороны и написано, что они погибли «за Бога и Испанию». Видимо, Хемингуэй с этим согласился. Вот единственные упоминания о гражданской войне во второй части «Опасного лета»: «В этой части Испании люди, понимавшие, что такое настоящие быки и настоящий бой быков, были истреблены в гражданскую войну — и на той, и на другой стороне». «Красные не ходят на бой быков, это противоречит их учению». Колокол свое отзвонил... Косвенно связан с политикой был забавный эпизод: в сентябре состоялся визит Хрущева в США, предполагалось, что Эйзенхауэр вскоре нанесет ответный визит в Москву. Пошли слухи о том, что Хемингуэй может его сопровождать, как Шолохов — Хрущева. 10 сентября корреспондент «Нью-Йорк таймс» писал, что на вопрос, поедет ли Папа в СССР, тот ответил: «Зачем мне ехать в Россию, если коррида в Испании? Вот если они пригласят Ордоньеса — тогда я могу поехать». По словам Генриха Боровика, Хемингуэй потом очень извинялся перед

русскими и объяснял, что это была шутка. Понятно, что шутка; а все-таки в Россию, несмотря на регулярные уверения в любви, он так за всю жизнь и не собрался.

Осенью, когда бои закончились, гости Дэвисов стали разъезжаться. 16 октября, после очередной ссоры, Мэри улетела домой, чтобы привести в порядок «Ла Вихию» и дом в Кетчуме для приема Ордоньесов, которых пригласил ее муж. Завершив работы, она написала мужу, назвав его поведение «бездумным», придирки к ней «оскорбительными», и сообщила, что поселится в Нью-Йорке одна и «наконец-то отдохнет». Муж телеграфировал из Парижа накануне отъезда: «Прости, не могу согласиться ни с одним пунктом письма. Но уважаю твое мнение, хотя абсолютно с ним не согласен. Рад хорошим вестям с Кубы, прости, что доставил много забот и хлопот. Люблю по-прежнему...»

Хемингуэй в сопровождении Ордоньесов прибыл в Нью-Йорк парходом 1 ноября (в Париже простудился, не выходил из каюты, жаловался, что «голова отказывается работать»); встречал его Хотчнер, который уехал еще раньше Мэри и нанял для нее квартиру по адресу 62-я Ист-стрит, 1, с видом на Центральный парк. Отвез туда Хемингуэя — тот назвал квартиру «безопасной», Хотчнер и Мэри были в ужасе, увидев в этом признак мании преследования. Но в остальном Папа рассуждал ясно. 3 ноября отдал Скрибнеру для ознакомления рукописи «Праздника». Опять семейный конфликт: он хотел показать Ордоньесам Гавану и Ки-Уэст, потом ехать в Кетчум, жена требовала, чтобы ее оставили спокойно жить в Нью-Йорке. В конце концов супруги вместе с Ордоньесами, не заезжая на Кубу, прибыли в Кетчум, но сразу после приезда гости, к облегчению Мэри, исчезли (возникли проблемы у сестры Антонио) и она осталась с мужем наедине, если не считать тотчас примчавшегося Роберто Эрреры. Был еще доктор Сэвирс, но его присутствие действовало на Хемингуэя благотворно: ел и пил меньше, следовал режиму, вскоре смог нормально гулять и охотиться. Однако душевное состояние улучшилось незначительно: остались страхи, раздражительность. 27 ноября Мэри упала и раздробила о ружье локоть, раненую отвезли в больницу, лишь во второй половине декабря она вернулась в новый дом; по ее воспоминаниям, муж за нею ухаживал, но был раздражен, словно она покалечилась нарочно. Сам он к декабрю опять стал совсем плох: повысилось давление, возобновились приступы бессонницы.

В середине января 1960 года супруги вернулись в Гавану. Вскоре Валери Денби-Смит получила письмо, где Хемингуэй говорил, что не может без нее обходиться, угрожал самоубийством; Мэри никто не

спрашивал, Валери приехала и, сменив Хуаниту, стала секретарем. «Был реальный контраст между Испанией и Кубой, совсем другой образ жизни. Эрнест писал каждый день... он пытался писать и в Испании, но там все было очень беспокойно. А тут очень мирно. Тут он не напивался, не буйствовал, не было вспышек. <...> На Кубе всё было очень регламентировано. Каждый вечер ужинали гости, но все они были ожидаемы. Ворота были заперты, и посторонних не пускали. Поэтому мы жили очень спокойно». Валери назвала немногочисленных гостей, посещавших усадьбу: братья Эррера, доктор Карлос Коли, посол Бонсалл и Ли Сэмюэлс, американский библиограф Хемингуэя. Пили, по ее словам, мало, в барах хозяин почти не бывал, ежедневно плавал в бассейне, по средам и субботам на несколько часов выходил на яхте с Фуэнтесом, по воскресеньям посещал петушинные бои и был очень доволен жизнью.

У тех, кто знал Хемингуэя дольше и видел его здоровым, сложилось другое впечатление. Вильяреаль: «Папа был очень болен и слаб... Мисс Мэри сказала: „Папа хочет жить как молодой человек. Но что на самом деле нужно Папе, так это долгая, долгая жизнь в Финке с нами“». Роберто Эррера: «Папа никогда раньше так не страдал... Хотел плакать, но не мог... Папа вспоминал Гомера, Эсхила, Гёте, Гюго, Толстого... Все требовал ответить ему на вопрос, как они ухитрились от молодости безболезненно перейти к старости?» Возможно, Эррера что-то напутал: никто не может безболезненно перейти к старости напрямую от молодости, для того, чтобы сделать переход терпимым, необходимо миновать зрелость, и вряд ли Хемингуэй этого не понимал: он назвал Фицджеральда человеком, который «из молодости перепрыгнул в старость, минуя зрелость», и это был отнюдь не комплимент. Но, кажется, у него самого зрелости — не в творческом, а в житейском отношении — тоже не было.

*

Следуя правилу мистера Фрэзера, Кастро от «катарсиса и экстаза» перешел куда следует: установил однопартийное правительство, ликвидировал оппозиционные издания, провел конфискацию земель и начал экспроприировать американскую собственность, толкнув Кубу в объятия СССР. «Ну что такое — 12 человек пошли в горы... Это не соответствует учению Маркса и Ленина». Но если эти 12 человек поссорятся с Америкой, то можно, закрыв глаза на Ленина, получить сахар, а заодно и влияние в регионе — так что с самого начала 1960 года Москва

начала делать шаги к сближению. В январе, к первому юбилею революции, в Гавану прибыла делегация Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД): композитор Арам Хачатурян с женой Ниной Макаровой и Владимир Александрович Кузьмищев из латиноамериканского отдела Союза.

Сын Кузьмищева со слов отца рассказывает, будто встреча с Хемингуэем произошла случайно, в магазине, они разговорились и были приглашены. «Однако отец еще в Москве запасся именно на случай такой встречи первым двухтомником произведений „Папы“, вышедшим в Союзе с предисловием советского литературоведа Ивана Кашкина». Серго Микоян со слов Хемингуэя: «Несколько дней назад я узнал, что в Гаване находится композитор Арам Хачатурян. Мы пригласили его к себе». Так или иначе, «советские» получили приглашение и пришли. Хачатурян, очень скромный человек, с искренним изумлением обнаружил, что хозяин «Ла Вихии» обожает его музыку; за обедом говорили, по рассказу Кузьмищева, «о литературе и музыке, о Кубе, России и об Испании, извечной любви „Папы“». Не прошло и месяца, как появились другие советские гости: правительственная делегация во главе с Анастасом Микояном. Посещение «Ла Вихии» было запланировано заранее. Микояна сопровождали 12 журналистов, толпы фотокорреспондентов и кинохроникеров. Хемингуэй попросил привести только одного, в итоге Микояна сопровождали два человека: его сын и личный помощник Серго и Генрих Боровик. Гости подарили тот же двухтомник, «Старика», напечатанного шрифтом Брайля, модель спутника (вызвавшую у хозяина восторг) и были удивлены, когда хозяева выставили на стол армянский коньяк и русскую водку, подаренные Хачатурянами.

Серго Микоян: «Отец представляет ему меня: „Вот мой сын может переводить, он знает английский язык“. Хемингуэй спрашивает: „Вы знаете английский?“ Я отвечаю: „Немного“. Хемингуэй: „Как мы все...“ Он сказал это совершенно серьезно, даже как-то задумчиво... То есть он считал, что сказать: „знаю английский язык“ — это очень много значит!» Боровик: «И вот мы у Хемингуэя. Естественно, я хотел задать ему несколько вопросов. Но как это сделать, как найти контакт? Когда писатель показывал свою библиотеку, я заметил на полке книгу Симонова „Дни и ночи“ на английском языке и воскликнул: „Симонов — мой сосед по даче!“ Хозяин дома внимательно посмотрел на меня. Рядом стояла книга Романа Кармена. Я сказал, что Роман мой близкий друг. Здесь уже не сдержался Хемингуэй: „Он мой друг тоже: мы вместе поползали на брюхе по испанской земле...“ Окончательный контакт установился после того, как Микоян преподнес

писателю ларец с тремя бутылками нашей водки. Была там и „Украенська горілка“. Хемингуэй стал искать штопор — тогда водку закрывали обычными пробками, — такового рядом не оказалось. Я взял из его рук бутылку, ударил по дну — и пробка вылетела. На писателя это произвело неизгладимое впечатление. Чтобы не остаться в долгу, он тут же опрокинул в рот треть содержимого поллитровки и начал полоскать горло...» О политике за столом не говорилось.

Через день Хемингуэй сообщил, что собирается выйти на яхте в море и может взять с собой кого-нибудь; приглашением воспользовался один Боровик: «Хемингуэй оказался очень заботливым хозяином: выдал мне баночку с мазью, чтобы я не обгорел на солнце. Когда порыв ветра вырвал из моего блокнота листок и швырнул в воду, немедленно заглушил мотор: „Что-то важное? Попытаемся достать?“ Пришлось убеждать его, что ничего существенного на том листке не было, и только тогда писатель запустил двигатель. Что до самой рыбалки, в этом мне хронически не везет. Не помог и Гольфстрим, где рыба по идее сама должна была выскакивать из воды. А вот Хемингуэй вытянул тунца килограмма на четыре. При этом очень огорчился и поинтересовался, как клюет в СССР. Обещал непременно приехать». Визит Микояна всколыхнул надежды на публикацию «Колокола» в СССР, но ничего не вышло. Подружиться с Фиделем Кастро, которого не любили коммунисты, оказалось проще, чем напечатать книжку, которую они не одобряли. Но ведь книжка — не сахар...

Следующее знаменательное событие произошло в мае: рыболовный конкурс на приз Хемингуэя, 163 ловца на 55 лодках представляли 8 местных и 6 иностранных спортклубов. Пресса, телевидение, ажиотаж: среди участников были Фидель Кастро и Че Гевара на яхте «Кристалл». Кастро никогда в жизни рыбы не ловил, но удивительным образом выиграл три приза, включая главный. Хемингуэй, выходящий на «Пилар» с Фуэнтесом, не поймал ничего. Зато вручил победителю кубок. Весь мир обошла фотография, где сняты Фидель и Папа, «две самые знаменитые бороды того времени», как назвала их племянница Хемингуэя Хилари. Поговорили они очень недолго, о чем — никто не знает. На банкет Хемингуэй не остался, сославшись на нездоровье, и больше с Кастро не встречался никогда.

Все это время он писал «Опасное лето», называя его «главной работой своей жизни». Джозеф Фрушионе выдвигает версию, что эта книга, как и «Смерть после полудня», о литературе: борьба «хорошего» Ордоньеса и «плохого» Домингина — это противостояние Хемингуэя и Фолкнера.

«Оскорбление», полученное в 1947 году, Хемингуэй вроде бы простил, но в 1952-м произошел новый инцидент: Фолкнер, отвечая на вопросы «Нью-Йорк таймс» о «Старике и море», сказал, что писатели — «волки, когда собираются вместе, и собаки поодиночке», а Хемингуэй — «волк-одиночка»: он, вероятно, хотел сказать, что Хемингуэй не нуждается в стае, но тот понял коллегу с точностью до наоборот и решил, что его обозвали собакой. После этого он в письмах к знакомым называл Фолкнера алкоголиком, плохим писателем, пустышкой и т. д. В 1954 году, говоря, что ни один писатель после Нобелевской не написал ничего стоящего, приводил в пример новый фолкнеровский роман «Притча», в «Искусстве рассказа» также посвятил критике Фолкнера несколько абзацев. Из письма Харви Брейту: «Я знаю, что могу писать лучше и сильнее, чем он с его рассуждениями и риторическими ухищрениями. <...> Когда вы читаете его, вас не покидает ощущение, что вас надули». В «Опасном лете» Домингин, который «имел богатый репертуар пассов и грациозных телодвижений», тоже «надувает», «дурачит», в противоположность Ордоньесу, который «не прибегал ни к каким уловкам».

Возможно, замысел Хемингуэя действительно был направлен против Фолкнера, но сам он этого не признавал. Он был поглощен работой и не мог остановиться: по договору с «Лайф» должен был дать 10 тысяч слов, а у него уже в январе 1960-го было написано около 110 тысяч. С февраля он начал слепнуть. Хотчнеру говорил, что единственная книга, которую он может читать — напечатанный крупным шрифтом «Том Сойер», жаловался на усталость, на то, что «голова не в порядке», но писать не прекращал. Хотчнер к тому времени вел дела Хемингуэя, особенно связанные с кино и телевидением: он адаптировал и договорился о телепостановке «Прощай, оружие!» и «Непобежденного» в 1955-м, «Иметь и не иметь» в 1957-м, «Мира Ника Адамса» (по ранним рассказам) и «Пятидесяти тысяч» в 1958-м, «Колокола» в 1959-м, «Пятой колонны» и «Дайте рецепт, доктор» в 1960-м. Теперь он вел переговоры с киностудией «XX век-Фокс» о съемках полноэкранного фильма о юности Ника Адамса (киностудия предлагала 100 тысяч долларов, автор потребовал 900 тысяч — так и не сошлись). Он же помогал в редактировании; в июне Хемингуэй попросил его приехать, чтобы сократить «Опасное лето». Хотчнер прибыл 21 июня и обнаружил Папу в ужасном состоянии: тот едва мог читать. «Я вижу слова на странице только первые десять — двенадцать минут, пока не устают глаза».

Гость сделал предложения по сокращению текста, хозяин отклонил их, причем в письменной форме, хотя они сидели в одной комнате — эту манеру он перенял у Фицджеральда. Написал, что «дюжину раз

просматривал каждую страницу» и не нашел ни одного слова, которое можно было бы сократить, что он пишет «вещь в духе Пруста», где эффект достигается полнотой деталей, и «устранение любой мелочи убьет книгу». Но наплевать на договор и писать как хочется тоже не мог: боялся финансовых потерь (гонорар от «Лайфа» составлял 90 тысяч долларов плюс 10 тысяч за право публикации на испанском). На четвертый день уступил. Хотчнер сократил рукопись до 70 тысяч слов, Хемингуэй одобрил, отдали в «Лайф», где ее сократили еще на пять тысяч и, разбив на три части, опубликовали в сентябре 1960 года; то была последняя прижизненная публикация Хемингуэя. В 1985 году «Опасное лето» вышло книгой в «Скрибнерс»: редактор Майкл Питш урезал его до 45 тысяч слов и разбил на 13 глав. Как и Хотчнер, он клялся, что не выбросил ничего важного, а лишь убирал бесконечные нудные повторы. Критики и читатели были единодушны: самоплагиат, работа вторичная по отношению к «Смерти» и посему интересная лишь любителям корриды. Джеймс Миченер, автор предисловия к книжному изданию, назвал «Опасное лето» «историей умирания» — писателя и человека. «Он приехал вновь обрести молодость, а нашел безумие и смерть».

*

Перед отъездом из Гаваны Хотчнер прочел также рукопись под рабочим названием «Книга о море» и пришел в восторг; автор попросил Валери прочесть книгу вслух, мялся, сказал Хотчнеру: «Тут еще надо кое-что сделать. Может быть, после книги о Париже, если я еще смогу видеть настолько, чтобы писать». Но он больше не вернется к ней. «Острова в океане» (*Islands in the Stream*) — пожалуй, самая «сырая» из посмертно опубликованных крупных работ Хемингуэя. Ее текст был отредактирован вдовой и Скрибнером; в предисловии Мэри сказала, что они не добавили ни слова, но «кое-что сократили». Она вышла в «Скрибнерс» в 1970 году (отрывки печатались в том же году в «Эсквайре» и «Космополитен»). На русский она переведена с минимальными цензурными правками: например, в оригинале герой, разговаривая с проституткой, предлагает ей выпить за Батисту, Рузвельта, Черчилля, Сталина и Гитлера, ставя их всех на одну доску.

Текст сырой прежде всего композиционно: части не пригнаны друг к другу, персонажи бесследно теряются. Часть первая, «Бимини», завершающаяся получением известия о гибели сыновей: у художника

Томаса Хадсона гостит писатель Роджер Дэвис (оба похожи на автора). Дэвис избивает богатого яхтсмена, который сказал ему, что он плохой писатель, рассказывает другу, как избил еще массу людей. «Борьба со злом не делает человека поборником добра. Сегодня я боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне, как прилив». Отдельные фрагменты из этой части в измененном виде вошли в «Праздник» — например, воспоминания Хадсона о парижских знакомых («мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают жуткие слюни, да еще, того и гляди, укусят», — говорит его сын). Но основное ее содержание — рассуждения о работе.

«— Томми, почему хорошо писать картины — удовольствие, а хорошо писать книги — сплошная мука? Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие.

— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Может быть, в живописи яснее традиция и направление и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой.

— А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди, — сказал Роджер. — Будь я стоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель».

Хадсон-Хемингуэй размышляете Дэвисе-Хемингуэе: «Все, что ни создает художник или писатель, — часть его ученичества и подготовки к тому главному, что еще предстоит сделать. Роджер извел, истощил, разменял на мелочи свой талант. Но, может быть, в нем еще хватит животных сил и свободы ума, чтобы начать, все снова? Всякий честный писатель, наделенный талантом, может написать хотя бы один хороший роман, думал Томас Хадсон. Но в те годы, что должны были быть годами ученичества, Роджер нещадно эксплуатировал свой талант, и кто знает, не растратил ли он его до конца. Не наивно ли думать, что можно не ценить и не совершенствовать мастерства, пренебрегать им, пусть даже это пренебрежение — только поза, и в то же время рассчитывать, что, когда придет время, твой мозг и твои руки будут по-прежнему мозгом и руками мастера». Роджер «в действии был настолько же хорош и разумен, насколько нехорош и неразумен он был в своей жизни и своей работе...», он «всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе — лучшее, что в нем было, наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула — и себе и другим, и он это знал, и

злил из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все что мог».

Но и Хадсон тоже губил «лучшее, что в нем было» и эксплуатировал свой талант: «Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок в свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной».

Часть вторая, «Куба» — самая «растрепанная»: тут и нежнейшее эссе о кошках, и длинный разговор с проституткой, приезд матери Тома, которой Хадсон не сообщает о гибели сына, так как хочет сначала лечь с ней в постель, потом рассказывает, и они вновь предаются любви.

«— Может быть, нам, правда, поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?»

— Бутылку вина, — сказала она. — Он был такой красивый мальчик, Том. И такой забавный, и такой добрый». (Со смерти сына прошло не десять лет, а всего несколько дней...)

Часть третья, «В море» — охота на яхте за немецкими подлодками, гибель героя и здесь же ответ на вопрос «Когда же тебе жилось лучше всего?» — не тогда, когда играл в моряка, стрелка или рыбака, а тогда, когда был молод, трезв и здоров и жил с Хедли, «единственной, которую по-настоящему любил», когда «жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать» — и теперь, летом 1960-го, он попытался завершить книгу об этих прекрасных временах.

*

При жизни автора книга о Париже не вышла. Мэри писала: «После смерти Эрнеста я нашла рукопись „Праздника“ в синей коробке в его комнате в нашем доме в Кетчуме, вместе с проектом предисловия и списка названий — это была заключительная работа, которую Эрнест сделал для

книги». С помощью Хотчнера и редактора «Скрибнерс» Гарри Брэга наследница выпустила ее в свет в 1964 году. Названия не было, Скрибнер предложил «Парижские очерки», но Хотчнер и Мэри остановились на том, которое все знают: *A Moveable Feast*. (Хотчнер утверждал, что Хемингуэй в разговоре с ним употребил это выражение применительно к Парижу.) Его прекрасно перевели на русский — «Праздник, который всегда с тобой», хотя в подлиннике оно более многозначно: *Moveable Feast* означает «переходящий» религиозный праздник, наподобие Пасхи, а также «волнующий праздник» и т. д. (Цензурных вырезок в русском переводе было мало и они не носили идеологического характера: например, сократили диалог Хемингуэя с Гертрудой Стайн о гомосексуальности, подвергли значительной правке очерк «Проблема измерения» (*A Matter of Measurements*), назвав его «Проблема телосложения»: в подлиннике Фицджеральд беспокоится не о своем сложении, а о своем пенисе.) Книга в этой редакции — яркая, прелестная, создающая ощущение свежести, молодости, ясного утра, доставляющая наслаждение почти физическое — читаешь, и хочется в Париж, и жить хочется, — влюбила в себя миллионы читателей. Однако есть люди, усомнившиеся в том, что Хемингуэй написал именно ее.

Валери Денби-Смит и Хотчнер свидетельствуют, что Хемингуэй редактировал «Праздник» параллельно с «Опасным летом»: немного в Испании, затем в Кетчуме и Гаване. Валери перепечатывала черновики, читала, он правил. По словам Хотчнера, когда он уезжал из Гаваны 1 июля, то увез не только «Опасное лето», но и «Праздник»: автор сам велел отдать его Скрибнеру для публикации. Однако существует черновик письма Хемингуэя Скрибнеру от 18 апреля 1961 года, в котором он говорит, что считает книгу требующей правки (хотя все изменения, которые он пытался вносить в текст, отданный Хотчнеру, только ухудшают ее), что она несправедлива к его женам и к Фицджеральду и что у нее «отсутствует финал»; он предлагает печатать ее без последней главы, которую обязуется переделать. Письмо написано в период, когда Хемингуэй был уже совсем болен, но многие изыскатели считают, что ему нужно доверять в большей степени, чем словам Хотчнера (на самом деле источники не противоречат друг другу: Хемингуэй летом 1960 года мог считать книгу готовой, а потом изменить мнение). Дополнительную путаницу вносят заявления Мэри, которая то говорила, что муж завершил «Праздник» еще в 1959-м, то — что не видела окончательного варианта до смерти мужа.

В 1979 году, когда значительная часть архива Хемингуэя была открыта для доступа в Библиотеке имени Кеннеди, профессор Гарри Бреннер из

университета Монтана обрушился с критикой на издание «Праздника» 1964 года. По его мнению, вдова самовольно поменяла местами главы (американцы справедливо предпочитают называть их очерками, но для нас «глава» звучит привычнее), напрасно вставила плохой фрагмент «Рождение новой школы» и уничтожила фрагменты заключительной главы, в которых говорилось о Хедли. Мэри и Хотчнер, естественно, эти обвинения опровергали. Книга в их редакции заканчивается именно признанием в любви к Хедли — если уж Мэри хотела уничтожить память о ней, так выкинула бы всю главу. Но сомнения остаются.

После смерти Мэри, в 2009 году, в том же издательстве (теперь оно влилось в «Саймон энд Шустер»), появился новый вариант «Праздника», так называемая «восстановленная редакция», опубликованный по инициативе и под редакцией Шона Хемингуэя, сына Грегори и ставшей его женой Валери Денби-Смит (они познакомились на похоронах Папы). Он оставил заглавие, но пояснил, что название, придуманное его дедом, было «Париж в ранние дни». Шон повторил замечания Бреннера, сказал, что текст не предназначался для печати и Мэри, публикуя его, бессовестно нарушила волю автора (а сам он не нарушил!), но пошел дальше, утверждая, что Мэри «сама сделала» (не написала, конечно, но слепила) заключительную главу и выставила в дурном свете Полину, желая оскорбить память соперницы (а Хедли почему-то оставила).

Вот отличия «восстановленной» редакции от прежней (вооружитесь русским текстом и будьте внимательны): предисловие удалено, так как Мэри «слепила» его из разных высказываний мужа; две первые главы — «Славное кафе на площади Сен-Мишель» и «Мисс Стайн поучает», — без изменений; третья, «Потерянное поколение», — стала седьмой, четвертая, «Шекспир и компания», — третьей, «Люди Сены» — четвертой, «Обманная весна» — пятой, «Конец одного увлечения» — шестой; восьмая и девятая — «На выучке у голода» и «Форд Мэддокс Форд и ученик дьявола» оставлены на своих местах. Глава десятая, «Рождение новой школы», исключена и перемещена в «Приложения». Это юмористический рассказ о беседе с молодым человеком, который мешает писателю работать.

«Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить, и он согласился.

— Хем! — сказал он, и я понял, что теперь со мной говорит критик, так как в разговоре они ставят имя собеседника в начале предложения, а не в конце. — Должен сказать, я нахожу твои рассказы немного суховатыми.

— Очень жаль.

— Хем, они слишком хudosочны, слишком оципаны.

— Это нехорошо.

— Хем, они слишком сухи, худосочны, слишком ощипаны, слишком жилисты.

Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку.

— Я постараюсь подкормить их немного.

— Но только смотри, чтобы они не разжирели.

— Хэл, — сказал я, пробуя говорить, как критики. — Я постараюсь не допустить этого».

Десятой стала бывшая 11-я глава «В кафе „Купол“ с Паскеном», 11-й — «Эзра Паунд и его „Бель Эспри“» под новым названием «Эзра Паунд и гусеница-листомерка»: фрагмент о «Бель Эспри», обществе, учрежденном Эзрой, чтобы помогать писателям выбираться из нужды, прелестный смешной рассказ, отправлен в «Приложения» — Шон старался выкинуть из книги деда все юмористическое, 12-й в версии Шона идет глава «Довольно странный конец», 13-й — «Человек, отмеченный печатью смерти», 14-й — «Эван Шипмен в кафе „Лиля“», 15-й — «Носитель порока». После них, 16-м, вставлен фрагмент из бывшей заключительной главы — до момента появления в жизни героя и Хедли злых богачей Мерфи, — озаглавленный «Зима в Шрунсе». Далее идут, как и в прежней редакции, «Скотт Фицджеральд» и «Ястребы не делятся добычей», а завершается новая редакция анекдотической «Проблемой измерения». Ранее венчавший книгу «Париж, который никогда не кончается» разобран на винтики и распихан по разным местам.

Остальное дано в «Приложениях»: «Рождение новой школы», «Эзра Паунд и его „Бель Эспри“», а также ряд фрагментов, отсутствовавших в первой редакции. «Повествование от первого лица» — ответ критикам, прежде всего Янгу и Уилсону, которые пытались объяснять хемингуэевское творчество обстоятельствами его жизни; да, многие молодые авторы пишут о своем опыте, но он, Хемингуэй, крайне редко поступал так и преимущественно писал о том, что слышал от других. «Тайные удовольствия» — все те же игры с волосами: герой «Праздника» отпускает длинные локоны, его жена стрижется по-мужски. «Странный боксерский клуб» — история о человеке, который обучался боксу в дансинге; «Резкий запах лжи» — рассказ о Форде, еще более недоброжелательный и грубый, чем в первой редакции: свою неприязнь к коллеге Хемингуэй объясняет тем, что тот постоянно лгал (говорят, что больше всего мы ненавидим в других собственные пороки). «Образование мистера Бамби» — история, в которой малолетний сын Хемингуэя учит Фицджеральда пить, и тут же воспоминания об Андре Массоне. Фрагмент «Скотт и его парижский

шофер» о пьянстве Фицджеральда вообще не имеет отношения к Парижу: его действие происходит в США в 1928 году.

Далее следует то, ради чего Шон и затеял все мероприятие: фрагмент «Рыба-лоцман и богачи» — часть бывшего заключительного очерка, где рассказывается о Мерфи и о том, как Полина увела мужа у подруги. Внук Полины внес в этот текст принципиальные изменения. Теперь его дедушка меньше винит бабушку, а больше — себя. «Для девушки обманывать свою подругу было ужасно, но то, что это не оттолкнуло меня, было моей виной и моей слепотой». «Поскольку я позволил втянуть себя в это и влюбился, значит, я был во всем виноват и жил, мучась угрызениями совести». «Восстановленный» Хемингуэй говорит, что собирался написать книгу жизни с Полиной, которая «была прекрасна, хотя началась трагически». «Это могла бы быть хорошая книга, потому что в ней рассказывалось бы о многом, чего никто не знает и не может знать, и в ней были бы любовь, раскаяние, невероятное счастье и горе».

Завершает «Приложения» маленький фрагмент «Ничто и только ничто» (Nada y Pues Nada, выражение заимствовано из рассказа «Там, где чисто, светло»), написанный Хемингуэем 1—3 апреля 1961 года: больной в отчаянии жалуется, что его память разрушена и его сердце умерло, но пытается убедить себя, что еще может работать: «Я не забуду, как писать, это то, для чего я родился, и я делал это и буду делать снова». Заключительная фраза — «но есть укромные места и тайники, где вы можете оставить на хранение сундучок или рюкзак с памятными для вас вещами... Эта книга хранит вещи из тайников моей памяти и моего сердца. Даже если первая все забыла, а второго больше нет», — словно написана Прустом...

Шон Хемингуэй говорил в интервью, что его редакция «ближе к истинному замыслу» деда и что он «вернул на свои места то, что Мэри испортила». (Его мать, непосредственно участвовавшая в работе Хемингуэя над «Праздником», не высказала определенного мнения по этому вопросу.) Хотчнер ответил открытым письмом, исполненным возмущения: летом 1960-го автор отдал ему книгу, а вовсе не «фрагменты», как утверждает внучек; ни Хотчнер, ни Мэри заключительной главы не «слепили», она была точно такой, как в редакции 1964 года. Возмущены были многие — литературовед Томас Липскомб назвал Шона «вандалом», который «изрубил топором произведение искусства»: очерк «Париж никогда не кончается», который «вандал», искромсав, запихнул в «Приложения» — «никакое не приложение, а ключевая часть художественной кульминации книги». А Хотчнер ставит принципиальный вопрос: выходит, потомок

любого писателя может переделывать книги как ему взбредет в голову, чтобы не обидеть бабушку, дядюшку и т. п.? До какой степени наследники авторского права могут распоряжаться художественным произведением?

На наш взгляд, Шон действительно поступил как вандал, лишенный художественного вкуса. Книга утратила цельность, стала более серьезной и унылой. Ужасен выбор заключительных фрагментов: в основной части — совершенно необязательная история о пенисе Фицджеральда (хороша кульминация!), в «Приложениях» — мрачные строки, характеризующие душевное состояние автора в 1961 году в больнице и не имеющие никакого отношения к Парижу 1920-х годов. Хочется верить, что победит та книга, к которой мы все привыкли, книга — весенняя льдинка, книга о молодых, веселых, нежных. «Когда мы вернулись в Париж, стояли ясные, холодные чудесные дни. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни, у которых можно было погреться. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы клали на пылающие поленья boulets — яйцевидные брикеты спрессованной угольной пыли, на улицах было по-зимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтанов вспыхивали на солнце». «Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы». Читаешь, и хочется в Париж, и жить хочется...

*

Двадцать пятого июля 1960 года Хемингуэй навсегда оставил Кубу, бросив в доме книги, картины, ценности, несколько десятков кошек и девять собак. Почему? Есть противоположные версии, кубинская и американская; начнем с американской, так как она появилась раньше: Хемингуэй боялся конфискации усадьбы и не одобрял режим Кастро. Бояться, конечно, было чего — к июлю Кастро экспроприировал американской собственности на 800 миллионов долларов (на что Эйзенхауэр ответил введением торгового эмбарго) — но бросить дом и

было вернейшим способом потерять его, а если б хозяин остался, мог уговорить не трогать его собственность, ведь он публично поддержал новый режим. Далее, Хемингуэй никогда прямо не говорил (во всяком случае, об этом не известно), что осуждает Кастро. Косвенным подтверждением того, что ему новый режим не нравился, служит телефонный разговор с Хотчнером, который тот привел в «Папе Хемингуэе»:

«Э. Х. Дома все в порядке. Я держусь жизнерадостно, как обычно, но это неправда...

А. Х. Почему? Ведь ты сказал, все в порядке...

Э. Х. Это дома. Но атмосфера Кастро — это другое. Это не хорошо. Совсем не хорошо. Не знаю, что будет, когда я вернусь к работе. Единственное, чего мне хочется, это работать. Я молю Бога, чтобы Штаты не сократили закупки сахара. Это значило бы отдать Кубу русским. Тебя удивят перемены, хорошие и плохие. Очень много хороших. После Батисты любая перемена к лучшему. Но антиамериканизм растет. Повсюду. Уж ты поверь. Если они захотят, я уверен, что они и меня выведут из игры. <...> Мне останется только получить медаль: „Списан в утиль“ и повесить на шею табличку: „После двадцати пяти лет жизни распродается все“».

Далее Хотчнер рассказывает, как они со встретившим его Хемингуэем ехали 21 июня из аэропорта: «Пока мы ехали по улицам Гаваны, я замечал всюду антиамериканские лозунги, написанные на стенах. Плакаты „Куба — да! Янки — нет!“ висели на всех улицах. На 4 июля была назначена большая антиамериканская демонстрация, и Кастро должен был произносить речь на митинге в центре города. <...> Эрнест сказал: „Это похоже на кошмар Кафки. Я стараюсь бодриться как всегда, но мне тяжело. Я страшно устал и разбит душевно“».

А. Х. Что тебя больше всего беспокоит — Кастро?

Э. Х. Это только часть. Лично меня он не трогает. Для них я хорошая реклама, может, поэтому они меня не трогают и позволяют мне остаться жить здесь, но я прежде всего американец и не могу оставаться здесь, когда всех американцев изгнали и мою страну поносят. Думаю, я знал, что все кончено для меня, еще той ночью, когда они убили Блэк Дога. Люди Батисты вломились сюда ночью, и бедный Блэк Дог, старый и полуслепой, пытался защитить дом, а солдат забил его до смерти. Я тоскую по нему так же сильно, как тосковал по каждому другу, которого терял. А теперь я теряю дом — нет смысла врать себе — я знаю, что мне придется оставить все и уехать. А все мое имущество — здесь. Мои книги, мои картины, мое рабочее место и мои воспоминания». Примечательно, что Хемингуэй

называет кубинские власти «они», не различая Батисту и Кастро. Но Хотчнер, бывало, привирал — это не доказывает, что он приврал хоть слово здесь, но дает основания сомневаться. Кроме того, у Хемингуэя в голове явно все путалось: он спутал престарелого Блэк Дога с подростком Мачакосом...

Кубинская версия, заключающаяся в том, что американцы принудили писателя оставить Остров свободы, основана также на одном источнике — мемуарах Валери Хемингуэй. Она рассказывает, как Филип Бонсалл летом 1960 года просил Хемингуэя покинуть Кубу, дав понять, что не одобряет Кастро. «Эрнест протестовал: кубинцы были его друзьями, Финка была его домом, ему нужно было писать, изменение политической ситуации ничего не значило. Он видел, как вожди приходят и уходят, на протяжении всей своей жизни на острове. Но это его не касалось. Его дело было — писать. На протяжении всей жизни он демонстрировал свою безусловную верность Соединенным Штатам, хотя и не жил в своей стране. Его верность никогда не подвергалась сомнению. <...>

Филип, добрый, чувствительный, понимающий человек, соглашался с Эрнестом. Он сказал, что ничего не может возразить, что все сказанное Эрнестом совершенно справедливо. Но он говорил, что в Вашингтоне смотрят на вещи иначе. Они видят ситуацию не так, как ее видит Эрнест. Его жизнь на Кубе создает неудобство для его родины. Он мог бы использовать свое положение в благих целях. Если же писатель не готов использовать свою позицию общественного деятеля в защиту родины, то могут наступить плохие последствия. Слово „предатель“ не прозвучало, но подразумевалось.<...> Истинный дипломат, Филип сразу перевел разговор на другую тему и они беседовали как ни в чем не бывало. Присутствовали только Эрнест и Мэри. Эрнест, видимо, не принял угрозу всерьез, но постепенно я заметила, что она все больше занимает его мысли. Во время следующего визита Фил сказал нам, что его отзывают в Вашингтон. Когда он уходил, я увидела печаль, светившуюся в глазах Эрнеста». (Посол был отозван 28 октября, а 3 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой, «отдав ее русским», как и предсказывал Хемингуэй.)

В показаниях Валери тоже есть неувязка: если при беседе присутствовали «только Эрнест и Мэри», откуда же она узнала о ней в подробностях? Подслушивала под дверь? Когда Папоров разговаривал с братьями Эррера, те, естественно, сказали, что Хемингуэй крыл последними словами Эйзенхауэра и эмбарго и не хотел уезжать с Кубы, но ни словом не упомянули, что посол его принуждал.

Валери никогда не говорила, что Хемингуэй поддерживал Кастро —

он лишь хотел «работать и быть вне политики», — но Сирулес, использовавший ее рассказ в своей книге, приукрасил его: Хемингуэя на острове преследовало ФБР, Бонсалл приказал ему публично поносить Кастро, а тот гордо отказался и проч. На самом деле показания Хотчнера и Валери, если разобраться, не противоречат друг другу. Там и там Хемингуэй говорит, что не хочет уезжать, что политика ему мешает, что единственное, чего он хотел бы — жить в своем доме. Вполне вероятно, что и антиамериканизм Кастро его угнетал, и посол подталкивал к отъезду: давили с обеих сторон. А скорее всего, и с третьей: ведь Мэри неоднократно заявляла, что хочет жить в Нью-Йорке, а муж становился все более зависим от нее.

Уезжали в сопровождении Валери. (Дома остался Вильяреалу — он много лет будет смотрителем основанного в усадьбе музея, потом Мэри поможет ему бежать в США.) Два дня пробыли в Ки-Уэст, в бывшем доме Хемингуэя: там жил в тот период лишь шофер Отто Брюс. По его воспоминаниям, Хемингуэй был очень подавлен, тревожился за рукописи (их вывезли с Кубы лишь частично), переживал, что Валери не позволят жить в США. Брюс повез рукописи и другой багаж в Кетчум, а семейство провело неделю в Нью-Йорке. Хемингуэй был слаб, угнетен, жаловался на слепоту, отказывался выходить, боясь слезки, — Скрибнер для переговоров приходил к нему на квартиру. Обсудили издательские планы, решили, что сперва пойдет «Опасное лето», а книга о Париже — потом. Но через несколько дней Хемингуэй заявил, что «Опасное лето» не готово, он зря обидел Домингина, ему необходимо еще раз побывать на корриде. Мэри ехать отказалась и отправила совершенно беспомощного мужа за океан в сопровождении постороннего человека — Луиса Катнера, адвоката, с которым Хемингуэй познакомился, когда обсуждалось дело Эзры Паунда. Летели самолетом в Париж 4 августа. Катнер вспоминал, что ожидал увидеть «буйнопомешанного», но встретил «тихого, вежливого, печального человека».

Из Парижа Хемингуэй поехал один в Малагу к Дэвисам, которые были поражены его состоянием. Гости мучили ночные кошмары, он постоянно озирался, утверждал, что за ним следят. Сказал, что боится «полного физического и нервного краха в результате смертельной усталости», что ему надоел бой быков — «нечестное и недостойное развлечение». Писал Мэри покаянные письма, называл «бедным котеночком», молил не бросать его, одновременно потребовал прислать к нему Валери. 15 августа секретарша приехала — сказал ей, что ему «еще никогда не было так худо», то надеялся вернуться к работе, то впал в отчаяние. Пытался

переписывать «Опасное лето», ничего не получалось; когда книга с 5 сентября начала выходить в «Лайф», назвал ее ужасной, говорил, что «раскаивается и стыдится». 3 сентября написал жене, что «пережил нервный срыв» и очень боится. Мэри так и не прилетела, но прислала Хотчнера, который прибыл в середине сентября и обнаружил друга в ужасном состоянии: тот уверял, что Билл Дэвис подстроил несчастный случай (они попали в небольшую автомобильную аварию, где Хемингуэй в виде исключения не пострадал), а теперь пытается его отравить, что он не может доверять даже Валери, что Домингин «затеял заговор» против Ордоньеса и в этом виноват он, Хемингуэй, столкнув их в книге. Был слаб, почти ничего не видел, страдал от почечной недостаточности, но не желал показаться врачам, так как они, вступившие в заговор, могут его убить. Потом убежал из «Консулы», переехал в другой отель и четверо суток просидел в номере, отказываясь открывать даже горничным. Хотчнер и Валери разыскали его без особого труда, но их уговоры вернуться домой успеха не имели: он боялся ехать, хотя оставаться в Испании боялся тоже. Не слушая возражений, друзья взяли билет на самолет, и 8 октября 1960 года больного удалось отправить в Нью-Йорк. Жена встречала его в аэропорту. Красивого прощания с Европой, как у полковника Кантуэлла, не вышло.

Глава двадцать пятая ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ

«Специально для „Нью-Йорк таймс“. Кетчум, Айдахо, 2 июля — сегодня Эрнест Хемингуэй обнаружен в своем доме мертвым вследствие огнестрельного ранения в голову из охотничьего ружья. Фрэнк Хьюит, шериф графства, заявил, что смерть „похожа на несчастный случай“. Он сказал: „нет никакого свидетельства нечестной игры“.

Тело писателя, одетого в пижаму и халат, было найдено его женой в холле их современного дома. Двуствольный дробовик 12-го калибра, в котором отсутствовал один патрон, лежал возле него. Миссис Хемингуэй, четвертая жена писателя, на которой он женился в 1946 году, заявила: „Мистер Хемингуэй случайно убил себя при чистке оружия в 7:30 утра“. Дата похорон пока неизвестна. Они не будут публичными. М-с Хемингуэй дали успокоительное. Коронер Рей Макголдрик сказал сегодня вечером, что завтра, после разговора с м-с Хемингуэй, он решит, проводить ли следствие.

Писатель вышел из клиники Майо в Рочестере, Миннесота, в прошлый понедельник после двух месяцев лечения от гипертонии и того, что представитель клиники назвал „застарелым гепатитом“. Его лечили там же в прошлом году, он был выписан 23 января после 56 дней в клинике. Приблизительно месяц назад врач м-ра Хемингуэя в клинике охарактеризовал его здоровье как „превосходное“. Писателя беспокоил его вес — 200 фунтов. Его рост был шесть футов.

М-р Хемингуэй и его жена прибыли в пятницу вечером в эту деревню близ Сан-Вэлли. Чак Аткинсон, владелец гостиницы в Кетчуме, который дружил с м-ром Хемингуэем двадцать лет, был с ним вчера. Он сказал: „Он, казалось, был в хорошем настроении. Мы не говорили ни о чем особенном. Я думаю, что он провел прошлую ночь дома“. Однако помощник шерифа Лес Дженкоу, еще один друг и первый представитель власти, оказавшийся на месте трагедии, сказал, что свидетели говорили ему, что м-р Хемингуэй „казался похудевшим и угнетенным“.

В момент выстрела м-с Хемингуэй, кроме которой в доме никого не было, находилась в спальне наверху. Выстрел разбудил ее, и она спустилась по лестнице, чтобы обнаружить тело ее мужа около стойки с оружием в холле. М-с Хемингуэй сказала друзьям, что она не нашла никакой записки.

М-р Хемингуэй был страстным охотником и экспертом по

огнестрельному оружию. Его отец, доктор Кларенс Э. Хемингуэй, также был охотником. Он застрелился в своем доме в Оук-Парке в 1928 году в возрасте 57 лет, страдая диабетом. Орудием самоубийства был пистолет, принадлежавший отцу доктора. Тема самоубийства отца часто возникала в рассказах Хемингуэя и в романе „По ком звонит колокол“. М-р Хемингуэй получил свой первый дробовик в 10 лет. Став взрослым, он искал опасностей. Он был ранен минометным выстрелом в Италии во время Первой мировой войны и едва избежал смерти во время гражданской войны в Испании, когда три снаряда попали в его гостиничный номер. Во время Второй мировой он пострадал в автомобильной аварии. Он едва не умер от заражения крови на африканском сафари; он и его жена чудом спаслись при крушении самолета на другом сафари.

М-р Хемингуэй владел недвижимостью на Кубе и в Ки-Уэст, Флорида. В Кетчум он впервые приехал 20 лет назад. Он купил дом у Роберта Топпинга три года назад. <...> „Заупокойная служба и похороны пройдут в Кетчуме, — сказал м-р Макголдрик. — Это был дом Хемингуэя, который он любил“.

Согласно новому закону штата Айдахо, который вступил в силу вчера, старший офицер полиции должен провести расследование в случае неестественной смерти и определить ее причину. Он может организовать следствие, если хочет, но это необязательно. В конце дня м-р Макголдрик сказал: „Пока я могу только сказать, что покойный сам нанес себе рану. Ранение было в голову. Я не могу утверждать, что это случайность, и не могу утверждать, что это самоубийство. Свидетелей нет. Если что-нибудь указывает на грязную игру, шериф может провести следствие. Я не думаю, что будет следствие, но если появятся новые свидетельства, оно может быть начато в любое время“. „Мэри считает это несчастным случаем, и я надеюсь, что так и будут считать, — сказал м-р Аткинсон. — Но, возможно, мы должны будем изменить нашу позицию и провести следствие. Я знаю, что Папу (прозвище м-ра Хемингуэя) не волновало бы то, что будет написано в бумагах“. М-р Аткинсон попытался связаться с родственниками м-ра Хемингуэя. Он телефонировал госпоже Джаспер Джепсон, сестре писателя, которая сказала, что вылетает в Кетчум немедленно. 28-летний сын писателя Грегори, студент медицинского факультета университета Майами, прилетит завтра. Другой сын, Патрик, по словам м-ра Аткинсона, находится на сафари в Африке, а третий, Джон, занимается рыбной ловлей в штате Орегон».

Агентство ЮПИ, 2 июля: «Президент Кеннеди оплакивал сегодня смерть Эрнеста Хемингуэя, которого он назвал одним из величайших

писателей Америки и „одним из великих граждан мира“».

*

Первое официальное сообщение о смерти сделали Макголдрик и Хьюит; в 7.40 утра врач Скотт Эрл удостоверил факт смерти. Утверждение жены о несчастном случае сразу было поставлено под сомнение: как сообщало ЮПИ, «должностные лица не нашли в комнате никаких приспособлений для чистки оружия». Журналисты накинулись на Макголдрика, тот отвечал: «Я там не был и ничего не знаю. Возможно, правда никогда не выяснится. Никто ничего не видел. Семья хочет, чтобы было так, и я с этим согласен». Следствия так и не провели, вскрытия — тоже, зато постарались все прибрать, так что нет даже единого мнения о том, из какого оружия и в какую часть лица был произведен выстрел.

Похороны прошли 5 июля на кладбище в Кетчуме. Закрытый гроб был украшен красными розами. Журналистов не допустили (вдове, скрываясь от них, пришлось изменить номер телефона, добровольцы несколько дней охраняли подходы к дому). Присутствовало около пятидесяти человек: среди местных — Сэвирс, Дональд Андерсон, Парди, Аткинсон, супруги Арнольд, из приезжих — Хотчнер, Скрибнер, Лэнхем, Валери Денби-Смит, Антонио Ордоньес, Отто Брюс, Джордж Браун, Дэвид Брюс, Ли Сэмюэлс, Каролс Коли, Менокаль, Роберто Эррера. Патрик так и не успел к похоронам, а Грегори успел — и женился на Валери. Заупокойную службу провел преподобный Уолдеман, католический священник церкви Богородицы Снегов в Кетчуме. Накануне он сказал журналистам, что мессы не будет, но вопрос о несчастном случае или самоубийстве не имеет значения: «Мы не судили об этом и не задавали вопросов». Место захоронения выбрали по соседству со старым другом покойного Тейлором Уильямсом и на памятнике, что был установлен пять лет спустя на дороге Трейл-Крик-роуд, милей севернее Сан-Вэлли, высекли надпись, сделанную самим Хемингуэем больше двадцати лет назад: «Но больше всего он любил осень... осень в рыжеватых и серых тонах, желтые листья на тополях, листья, плывущие в потоках форели, и над вершинами холмов высокое синее безветренное небо... Теперь он будет частью их всегда».

Вскоре после похорон Мэри в сопровождении Валери отправилась на Кубу, где подарила (американцы, впрочем, сомневаются в добровольности дара) кубинскому народу свою усадьбу, а Фиделю Кастро — одно из мужниных ружей (Кастро оставил подарок в доме, ставшем музеем),

взамен выторговав разрешение вывезти большую часть архива и некоторые вещи. (В 2002 году кубинское правительство открыло доступ к части архива, оставшейся в «Ла Вихии».) Потом Скрибнер, Хотчнер, Мэри и Валери несколько лет занимались разбором рукописей. Другие родственники в этом участия не принимали. В 1979 году Мэри основала Фонд Хемингуэя с первоначальным взносом в 200 тысяч долларов, из средств которого ежегодно выплачивается премия (присуждаемая совместно с ПЕН-клубом) за лучшую книгу на английском языке. Она умерла в возрасте 78 лет, 26 ноября 1986 года, и была похоронена рядом с мужем.

Первым журналистом, заявившим о самоубийстве писателя, был Эммет Уотсон — тот самый, что получил эксклюзивное интервью о кубинской революции. Мэри признала его правоту: «Я не лгала сознательно, когда заявила прессе, что это был несчастный случай. Прошло несколько месяцев, прежде чем у меня хватило сил осознать правду». Хотчнер считал, что вдова «не могла принять правду» — самоубийство бросило бы тень на образ великого человека. Валери подтверждала это: «Она пыталась скрыть факты не столько от мира, сколько от себя самой. Жестокая, невыносимая правда только добавила бы боли к ее трагической потере».

Никто из близких не удивился. Лестер написал, что брат «даровал» себе смерть, как «дарил» ее животным; Грегори назвал поступок отца «полудобровольным актом», к которому привело его состояние «вызова по отношению к жизни». По мнению Хотчнера, Папа застрелился, когда осознал, что больше не способен вести активную жизнь и работать. Валери назвала три причины: потеря здоровья, невозможность работать и отъезд с Кубы. Франц Штетмайер: «Беда его главная — он боролся не с идеями, чуждыми ему взглядами, а сражался с самим собой! На это он и израсходовал свои силы... Он был человеком, не рожденным для жизни в старости...» Милтон Уолф: «Когда я услышал, что он покончил с собой, я ничуть не удивился. Он сделал и написал все что мог. Его последние работы были такие дрянные, что даже он это понимал. Он потерял все еще до того, как умереть. Тратил себя на львиную охоту с Гари Купером и всякое такое. <...> Высшей точкой его жизни была Испания». Агнес фон Куровски: «Это с самого начала было в нем заложено». Генрих Боровик: «Эрнест Хемингуэй не мог быть немощным. Он сказал мне однажды: „Настоящий мужчина не может умереть в постели. Он должен либо погибнуть в бою, либо пуля в лоб“. Так сказал и так поступил». Тилли Арнольд: «Я знала, что он сделает это. <...> Он думал, что неизлечимо

болен и ничего нельзя сделать. Он сказал еще в 1939 году, что есть три причины для самоубийства. Первая — если вы безнадежно больны. Или если вас подвергают пыткам в плену. И третья — если вы оказались в море, не умея плавать, и предпочитаете утонуть сразу». Бад Парди: «Он был такой отличный мужик. Я думаю, если он не мог писать, то решил, что и жить не стоит».

Хотя факт самоубийства никогда не был установлен официально (строго говоря, нет даже доказательств, что не Мэри застрелила мужа — у нее были возможность и мотив (наследство) и именно она не допустила следствия) — ни один серьезный изыскатель, даже из тех, кто утверждает, что Хемингуэя «погубило ФБР» или «погубила жена», не сомневается в том, что он нажал на курок сам. Сделал ли он это «в здравом уме и твердой памяти» и почему сделал — другой вопрос. Мы лишь можем проследить цепь событий, приведших к этому.

*

Вернувшись осенью 1960 года из Испании, он, по рассказу Мэри, несколько дней пролежал пластом в нью-йоркской квартире, плакал, тосковал по Валери, требовал Хотчнера. 22 октября жена привезла его в Кетчум. Но лучше ему не стало. Его мучили разные страхи — во-первых, денежные. Ему казалось, что он и Мэри нарушили налоговое законодательство и вот-вот сядут в тюрьму. Его переписка с поверенными, Спейсером и Райсом, доказывает, что он вникал в финансовые вопросы и неплохо разбирался в налогах. В первых числах 1961 года он купил книгу о налоговых преступлениях и, по свидетельству окружающих, постоянно перечитывал ее. Прочтя описание одной из махинаций — хозяева не платили социальный налог на зарплату горничной и им грозил штраф в 10 тысяч долларов или пять лет тюрьмы, — очень переживал и устроил Мэри сцену, утверждая, что она не заплатила налог за их служанку Мэри Уильямс, что привело к трехдневной ссоре. Он также думал, что не может уплатить подоходный налог за прошедший год, так как на счете, открытом им для хранения средств, предназначенных для налогов, денег недостаточно. Наконец, он обвинял Мэри в том, что она не задекларировала в 1959 году 50 тысяч долларов, на которые были куплены акции.

Все опасения не имели почвы — ни Мэри, ни он ничего не нарушали, как доказал в специальном исследовании Энтони Реболло: хотя Хемингуэй

и бранился беспрестанно, что государство бессовестно его обворовывает, трудно было найти в Америке столь примерного налогоплательщика. Бюро налоговых проверок проводило в конце 1940-х аудиторскую проверку его счетов — ни малейших нарушений не было выявлено. В 1948 году, когда Райс без его ведома затребовал возврат налогового вычета за 1944 год, Хемингуэй написал ему: «Я не хочу, чтобы вы когда-либо предпринимали действия по возвращению налогов, не проконсультировавшись со мной, чтобы я мог решить, будет ли это благородным и этичным, не просто с юридической точки зрения, но по моим личным моральным правилам. Я материально пострадал из-за налогов, но я горжусь тем, что помог моему правительству. Я не желаю вопить о своих материальных потерях, как и о физических. Я отчаянно нуждаюсь в деньгах, но не настолько, чтобы совершать какие-либо постыдные поступки».

Он вовсе не нуждался в деньгах «отчаянно», в действиях Райса не было ничего постыдного, а фраза о помощи правительству, вероятно, была ироничной, но это доказывает, как болезненно щепетилен он был даже в полном рассудке; неудивительно, что под конец жизни эта черта в нем развилась. 4 декабря 1960 года он написал странный документ, известный как «Меморандум для тех, кого это касается», где говорилось: «Моя жена Мэри никогда не знала и не предполагала, что я совершал какие-либо незаконные действия. Она не была в курсе моих финансовых дел, как и отношений с кем-либо... Она не знала ничего о моих преступлениях или незаконных действиях, имела лишь самое общее представление о состоянии моих финансов, и только помогала мне составлять налоговые декларации на основании данных, которые я ей предоставлял». «Те, кого это касается» — очевидно, Бюро налоговых проверок, чьи агенты чудились ему повсюду: однажды, увидев, что в здании кетчумского банка вечером горит свет, он решил, что это агенты проверяют его счета.

Он оставил вдове почти полтора миллиона долларов; после всех выплат ей досталось около миллиона. У него имелся внушительный и разумно составленный портфель акций 36 успешных компаний, включая «Кодак», «Дженерал моторс», «Бетлехем стил», Американскую телефонную и телеграфную компанию. При этом он утверждал, что разорен и его семье негде жить. Тилли Арнольд, однако, свидетельствует, что, несмотря на эти, высказываемые каждому встречному, жалобы, он незадолго до смерти предлагал ей денежную помощь.

Боялся он и другого государственного органа — ФБР: говорил, что находится «под колпаком» за «старые грехи» и агенты следуют за ним по пятам. Впервые эти страхи проявились летом 1948-го, когда он писал

Виртелу, что их переписку перлюстрируют, и говорил окружающим, что распознает агентов ФБР в толпе; поскольку к тому же периоду относится возникновение «финансовых страхов» и рассказы о «26 убитых фрицах», можно предположить, что душевное заболевание началось именно тогда. Потом страхи утихли и до 1959 года не возобновлялись в такой форме, чтобы это вызвало беспокойство окружающих, хотя Хотчнеру он всегда говорил, что его телефонные разговоры прослушиваются. Знакомые вспоминают, что с конца 1950-х он в ресторанах садился спиной к стене, с испугом вглядываясь в каждого входящего. Достоверно известно по меньшей мере о двух эпизодах 1960–1961 годов, когда он «разоблачил агентов ФБР»: в ресторане схватил официанта за руку и закричал, что тот следит за ним, в другой раз заподозрил пару коммивояжеров в баре. Когда жена везла его в Кетчум, он, по ее словам, оглядывался, утверждая, что за ними следует автомобиль с агентами. Есть изыскатели, полагающие, что ФБР действительно за ним следило, например, Сирулес и беллетрист Симмонс. Для таких утверждений были причины — но о них чуть позже.

Еще один повод для страхов — Валери. После Гаваны она жила в Нью-Йорке, училась в Академии драматического искусства (платил Хемингуэй), работала в журнале «Ньюсуик», получила вид на жительство, но Хемингуэй считал ее «нелегалкой» и говорил, что из-за нее его преследует еще один страшный государственный орган — Бюро по иммиграции. (В Кетчум Валери не приехала. В книге она писала: «Эрнест понял, что больше не нуждается во мне», — но в поздних интервью говорила иное: Мэри «отдалила» ее от мужа и она не приезжала в Кетчум потому, что ее «исключили из круга» и «подвергли остракизму». А Хотчнеру Папа говорил, что Валери, возможно, тоже служит в ФБР...)

Осень 1960 года была очень тяжелой — Хотчнер, прибывший по просьбе Хемингуэя (Мэри, ревновавшая ко всем, неохотно дала на это разрешение), обнаружил его истерзанным страхами. Давление поднялось до критического, речь затруднена. Не зная о болезни, приехали профессора из университета Монтана, Сеймур Бетски и Лесли Фидлер, чтобы просить писателя прочесть лекцию, и были шокированы его видом: по словам Бетски, лицо его было красным и опухшим, руки и ноги, напротив, истощены, он едва ходил, с трудом складывал фразы, выглядел «дряхлым библейским старцем», но был трезв и вел себя «со старосветской учтивостью».

Было ясно, что ему нужно в больницу, но какую? Его психическое состояние пугало Сэвирса, Мэри и Хотчнера больше, чем физическое, и они решили поместить больного в такую клинику, где наряду с

терапевтическим лечением провели бы психиатрическое. Убедить в этом самого больного удалось — по словам Мэри и Хотчнера, во всяком случае, — без особого труда. Рассматривались две больницы: братьев Маннингер и братьев Майо. Первая была более известной, но Мэри предпочла вторую. Многие биографы считают это ее главной ошибкой, если не преступлением, а врачей из Майо называют шарлатанами. Вообще-то Майо представляет собой всемирно известную сеть медицинских учреждений, а клиника больницы Майо входит в перечень топ-клиник США. Но по психиатрии она никогда не занимала первых мест. Причину, по которой Мэри ее выбрала, назвал Хотчнер (Мэри его не опровергала) — стремление избежать огласки. Клиника Маннингеров была в Нью-Йорке, у всех на виду. А клиника Майо находилась в отдаленном городке Рочестер, штат Миннесота.

Тридцатого ноября 1960 года Сэвирс на самолете отвез больного в Рочестер (Мэри для конспирации приехала отдельно). По словам Сэвирса, Хемингуэй во время полета был в хорошем настроении, надеялся вылечиться, в клинике вел себя кротко и тихо. Его зарегистрировали под именем Сэвирса (тоже для секретности) и официально приняли для лечения гипертонии, о психическом заболевании не упоминалось. Вели его два врача: терапевт Хью Батт и психиатр Ховард Роум. Давление было 220 на 150, была также диагностирована почечная недостаточность, не говоря уж о больной спине, конечностях и последствиях черепно-мозговых травм и ожогов. Одной из самых серьезных проблем было подозрение на диабет. Доктор Эррера давно предполагал наличие «бронзового диабета», или гемохроматозиса, при котором избыточное накопление железа в организме нарушает деятельность поджелудочной железы, мозговую деятельность и приводит к депрессии. Это заболевание наследственное; им, как считается, страдал Кларенс Хемингуэй. Его сын о подозрениях Эрреры знал. Чтобы проверить наличие гемохроматозиса, делают биопсию печени. Этот метод тогда уже использовался в клинической практике, но к Хемингуэю его не сочли нужным применить.

Больной, по рассказам персонала, был учтив, любезен, подружился с медсестрами, но настроение его было подавленным. Первоначально его психическое состояние сочли следствием алкоголизма и бесконтрольного приема лекарств — более двадцати лет он в больших количествах употреблял секонал, резерпин, тестостерон, риталин и выпивал, по словам Патрика, «квартиру виски в день». Некоторые современные медики полагают, что прием резерпина, прописанного Эррерой для снижения давления, и был главной причиной депрессии — из-за этого побочного эффекта резерпин

давно ушел из клинической практики. Опасные гипотензивные лекарства заменили другими, алкоголь исключили напрочь, давление удалось снизить, физическое состояние улучшилось, но подавленность не проходила. Тогда доктор Роум поставил диагноз: биполярное психическое расстройство (тогда его называли маниакально-депрессивным психозом — МДП).

Бывает монополярное расстройство, или классическая депрессия — когда человеку все время тоскливо. А при биполярном периоды депрессии (подавленность, тоска, попытки спрятаться от людей, чувство безнадежности, беспомощности, вины, приступы плача, раздражительность, невозможность сконцентрировать внимание, утомляемость, постоянные мысли о самоубийстве) чередуются с периодами гипервозбуждения или мании, для которой характерны эйфория, чрезмерная общительность и физическая активность, театральность в поведении, «наполеоновские планы», немотивированная ярость, иногда булимия или анорексия. Считается, что биполярное расстройство особенно часто встречается у людей творческих: в маниакальных стадиях они запоем едят (книги, картины, музыку), а потом у них наступают периоды бесплодия.

По сей день большинство специалистов убеждены, что диагноз Роума был верен, и психиатр Рональд Фив назвал Хемингуэя «самым известным примером писателя с МДП», хотя это не бесспорно, так как смена циклов была выражена нечетко. Депрессия-то у него точно была он с молодых лет жаловался на «собачью тоску», а в письме Дос Пассосу однажды определил это состояние как «гигантскую проклятую пустоту, которой никто не может противиться — она-то и есть смерть», — но о периодах мании можно говорить с некоторой натяжкой. Питер Хейс написал исследование о смене маниакальных и депрессивных периодов у Хемингуэя с молодости, приводя в качестве доказательства то, что ему иногда писалось, а иногда не писалось, и то, что он то худел, то стремительно набирал вес. Но других признаков маниакальной стадии он не привел и не доказал явно выраженного чередования циклов. Когда Хемингуэю не работалось, он не переставал быть гиперактивным, просто активность выражалась в другом; не было у него в такие периоды ни утомляемости, ни слабости, зато приступы немотивированного гнева, к примеру, бывали постоянно. Ирвин и Мэрилин Ялом полагают, что у Хемингуэя почти всегда было маниакальное состояние: он считал себя сверхчеловеком, хвастался, что у него невероятно прочный череп, невероятно сильное тело, невероятная потенция, что он может спать по

полчаса в сутки и т. д., а когда «его идеализированное представление о себе наталкивалось на какое-либо препятствие», начиналась депрессия. И тем не менее четкая смена циклов видна лишь в последние годы жизни: так, за лихорадочным весельем «опасного лета» 1959 года последовала сильнейшая депрессия. Что же касается параноидальных симптомов, проявлявшихся с конца 1940-х, они характерны для МДП, но бывают и при классической депрессии.

И монополярное, и биполярное расстройство может быть наследственным: близкие родственники больных заболевают в 10–20 раз чаще, чем другие люди. Исследования, проведенные в США, доказывают, что виной тому соответствующий ген, и в семье Хемингуэев он, похоже, имелся. В 1966 году Урсула Хемингуэй, страдая от рака и депрессии, совершила самоубийство; в 1982-м застрелился Лестер Хемингуэй (диабет и депрессия); внучка Марго покончила с собой (булимия, алкоголизм, депрессия) в 1996 году, ровно через 35 лет после деда. Патрик и Грегори себя не убивали, но страдали серьезными психическими расстройствами. В обратную сторону — застрелился Кларенс (диабет, депрессия), а еще раньше это пытался сделать его тесть Холл. Ни у Кларенса, ни у Холла явных признаков биполярного расстройства не было — Кларенс, похоже, страдал классической депрессией, а Холл вообще был уравновешенным человеком (признаки МДП скорее уж были у Грейс, но она-то не пыталась покончить с собой), так что если существует «ген Хемингуэев», то в нем скорее заложена склонность к классической депрессии, чем к МДП. Но это непринципиально: родственники больных одним видом депрессии могут заболеть другим.

Есть факторы, усугубляющие предрасположенность к МДП и классической депрессии. Все они наличествовали у Хемингуэя. Черепно-мозговые травмы — он их получил множество и никогда толком не лечился. Неконтролируемый прием лекарств — он их глотал пачками. И разумеется, алкоголь. Эррера называл его «транквилизатором», но доктор Маннингер, к которому Хемингуэй так и не попал, говорил, что спиртное — «убийственная попытка самолечения». И Эррера, и Мэри не пытались запретить больному пить совсем, считая, что достаточно пить «поменьше», и рассматривая столовое вино как безобидный напиток — но для такого больного человека, к тому же злоупотребляющего лекарствами, и вино не было безобидным. («Мэриненавистники» полагают, что жена не мешала мужу пить потому, что сама любила выпить, а также потому, что ей было проще предоставить мужу свободу, чем препираться с ним. Но спросите женщину, у которой пьющий муж, — можно ли запретить пить

дееспособному взрослому мужчине?)

Психиатрия — не точная наука: за редким исключением невозможно установить грань, за которой поведенческие странности переходят в состояние, требующее помощи психиатра. За Хемингуэем «странности» водились уже лет в двадцать — первым «звоночком» была необъяснимая ужасная ссора с семейством Смитов. Но о психической неадекватности, наверное, можно говорить только с лета 1948 года. Затем последовал ряд ударов — смерть Полины, ссоры с сыновьями, катастрофа в Африке. И при этом он в течение двадцати четырех лет получал лечение от доброго доктора Эрреры...

Сейчас депрессии лечат, как правило, медикаментозно. Тогда тоже так делали, но существовал, казалось, и более эффективный метод. Именно его выбрал Роум (получил докторскую степень в университете Темпл, практиковал в Майо с 1937 года), которого называют убийцей Хемингуэя. Его письмо к Мэри от 1 ноября 1961 года (после самоубийства пациента): «Было очевидно, что у него проявлялись классические признаки ажитированной депрессии: потеря чувства собственного достоинства, идеи относительно бесполезности, жгучее чувство вины за то, что не сделал добра для Вас, для семьи, для друзей, для бесчисленных людей, которые положились на него. Это побудило меня назначить лечение электрошоком...»

Электросудорожная терапия заключается в том, что через головной мозг пропускается электричество напряжением до 460 вольт. Автор методики — итальянский психиатр Черлетти. Она была очень популярна в 1940—1970-е годы (ЭСТ подвергались до 175 тысяч человек в год по всему миру), использовалась при лечении всевозможных расстройств и давала потрясающие результаты — человек мгновенно «приходил в себя». Такой результат Хемингуэй наблюдал, когда ЭСТ с его согласия применили к Патрику. Однако уже в первые десятилетия применения ЭСТ выявилось, что она нередко вызывает нарушения памяти. Эксперименты на животных показали возникновение ретроградной амнезии, сужение кровеносных сосудов в мозговых оболочках, метаболические нарушения в мозгу, повышение проницаемости кровеносного барьера и другие повреждения головного мозга. Но считалось, что это происходило лишь при превышении силы тока, которое могло случиться из-за ошибки врача или особенностей организма больного. Теперь же полагают, что побочные действия ЭСТ неразрывно связаны с ее терапевтическим эффектом. Кроме того, ЭСТ дает эффект не при всех видах психических расстройств. Проведенное в 2001 году Колумбийским университетом исследование показало, что методика

неэффективна при депрессиях: подавляющее большинство пациентов, подвергнутых ЭСТ, вновь впали в депрессию уже через полгода после лечения (яркий пример — американская поэтесса Сильвия Платт, которую вроде бы вылечили, но депрессия к ней вернулась и она покончила с собой), и в 2003 году в США прекратилась поддержка ЭСТ по линии государственной программы страхования «Медикэр».

Фильм Формана «Пролетая над гнездом кукушки» навеки заклеил ЭСТ как бесчеловечную, пыточную методику. Однако в 2008 году Эдвард Шотер из университета Торонто и Дэвид Хили из университета Кардиффа опубликовали исследование, в котором утверждается, что лекарственные и психотерапевтические методы не всегда способны помочь при тяжелой депрессии: многие больные к ним нечувствительны и для них оптимальным является использование ЭСТ. Электрошок стал возвращаться в клиническую практику, но только в самых «отчаянных» случаях, когда другие средства не работают. Как считает Шотер, правильно использовать ЭСТ лишь в самом начале лечения, до всяких лекарств (так поступили с Патриком — и он в конце концов поправился и потерей памяти не страдал). В 1960-х в клинике Майо этих тонкостей не знали. Не знали также, сколько сеансов ЭСТ нужно проводить. Хемингуэй был подвергнут этой процедуре 13 раз за два месяца. Штетмайер, сам предложивший ЭСТ для Патрика, сказал, что такое количество недопустимо, и уже в те годы специалисты должны были это понимать. Но дело даже не в количестве. Существуют абсолютные противопоказания для ЭСТ, и почти все они были у Хемингуэя: а) гипертония, б) признаки диабета, в) плохо сросшиеся переломы, г) медикаментозное лечение и алкоголь. Этого Роум не учел, хотя медицинские публикации о противопоказаниях уже существовали.

Мейерс считает, что Хемингуэй фактически был убит: «Клиника Майо непоправимо испортила лечение Хемингуэя, когда у него диагностировали депрессию и подвергли двум разрушительным циклам электрошоковой терапии». Марта Геллхорн сказала: «В Майо допустили ужасную ошибку по отношению к Хемингуэю. Больному человеку нужно было держаться подальше от этого места». Эдмунд Уилсон в письме к Морли Каллагану согласился с этим: «Специалист, с которым я говорил, сказал мне, что психиатрическое отделение клиники Майо является худшим в стране, и если они применили к Хемингуэю электрошок, то не нужно искать других причин для его гибели». Следует, однако, учесть, что Хемингуэй согласился на эту методику, поскольку верил в нее и ранее давал согласие на применение ЭСТ не только к Патрику, но и к Грегори, которого рассчитывал таким образом излечить от трансвестизма и который получил

гораздо больше сеансов, чем его отец...

Некоторые изыскатели возлагают на Роума еще одну вину. Мейерс упоминает факт, ставший известным при рассекречивании материалов ФБР: 13 января 1961 года из отделения Бюро в Миннеаполисе в главный офис было отослано сообщение о том, что Хемингуэй, как стало известно от Роума (тот сотрудничал с ФБР и, в частности, делал посмертную психиатрическую экспертизу Ли Харви Освальда), находится в клинике Майо под чужим именем. «Роум усилил его [Хемингуэя] тревогу, обсуждая его случай с агентом ФБР». Факт дает богатую почву для подозрений: Сирулес пишет, что Роум «обсуждал с агентом ФБР способы лечения» и что Гувер принял решение убить своего врага электрошоком, Мэтт Уилсон, автор статьи «Грязная политика», на которую многие ссылаются как на документ, утверждает, что решение о применении ЭСТ «было принято по личному приказу Гувера» и что это была «беззаконная, подлая попытка превратить упрямого нонконформиста в послушного и пассивного подпевалу ФБР», а Дэн Симмонс в своем квази-документальном романе пишет, что из рассекреченных файлов явствует следующее: «ФБР допрашивало доктора Ховарда П. Роума, старшего консультанта психиатрического отделения, который руководил „психотерапевтической программой“ лечения Хемингуэя. По свидетельству этих же документов, сотрудники ФБР обсуждали с Роумом целесообразность электрошоковых мероприятий в случае Хемингуэя еще до того, как их предложили писателю и его жене». В доказательство злых намерений Роума приводится факт, что, когда Уинстон Гест, старый друг, хотел проведать больного, Роум не пустил его, то есть Хемингуэй был насильно изолирован.

Выглядит все это ужасно, но вот в чем загвоздка: во-первых, донесение ФБР было отослано 13 января, то есть не до того, как Хемингуэю и его жене предложили ЭСТ, а после, когда сеансы уже давно проводились. Во-вторых, Роум не обсуждает с агентом ФБР медицинские вопросы. Он лишь испрашивает разрешение «сообщить Хемингуэю, что его пребывание в клинике под чужим именем и без документов не создаст ему проблем с ФБР». 24 января пришел ответ из главного офиса: проблем нет, пусть Роум передаст это пациенту. Хемингуэй, панически боявшийся, что совершил какие-либо, как он написал (еще до применения ЭСТ) в своем меморандуме, «правонарушения и преступления», мучился тем, что живет под именем Сэвирса, то есть, как ему казалось, незаконно. Сообщение Роума о том, что его «простили», не могло, как утверждает Мейерс, «усилить его тревогу»: он мог, конечно, счесть ответ из Бюро притворством, но если бы Роум не сообщил ответа вовсе или отказался

передать агенту его просьбу, то уж конечно он тревожился бы не меньше, а еще больше. Вот и все — но, как говорится, было бы к чему прибавить... Уилсон, полностью игнорируя факты, утверждает, что Хемингуэй был здоров как бык и никогда в жизни не заикался о самоубийстве, а значит, агенты ФБР действительно его преследовали и убили. Поклонникам «теории заговоров» легче жить — у них на все есть простые объяснения. Сложная и путаная душа человека для них не существует.

Но разве не могло быть так: у Хемингуэя было психическое расстройство, и в частности симптомы паранойи, то есть ему казалось, что за ним следят, — но при этом за ним и вправду следили и приказали Роуму его уничтожить или, по крайней мере, разрушить его психику? Все, конечно, может быть, коли не доказано обратного. Мы даже можем подкинуть Уилсону информацию, которой он не располагал: по утверждению Боровика, Хемингуэй собирался в СССР, об этом писали советские газеты, Гувер узнал и решил не допустить поездки: вдруг бы Папа запросил политического убежища? Но все это спекуляции. Фактов только два: 1) врач, не учтя противопоказаний, лечил больного неправильно и 2) никто не знает, можно ли было его вылечить как-то по-другому...

Сеансы ЭСТ проводились в конце декабря — начале января. Врачам и пациенту казалось, что все в порядке. Были побочные симптомы — легкая головная боль, частичная потеря памяти, но это никого тогда не насторожило. Больной вел себя спокойно, был дружелюбен, настроение у него поднялось. Если до начала сеансов к нему не пускали посетителей и не передавали писем (может, конечно, и потому, что ФБР так распорядилось, но более очевидна другая причина: официально никакого Хемингуэя в клинике не было), то теперь врачи решили, что можно: письма хлынули потоком. С доктором Баттом он завел приятельские отношения, бывал у него в гостях, там же с Мэри встретил Рождество, с сыном доктора, подростком, стрелял голубей.

Третьего января Эйзенхауэр объявил о разрыве отношений с Кубой. Это был его последний шаг: 18 ноября 1960 года Америка выбрала Джона Кеннеди, единственного после Теодора Рузвельта президента, о котором Хемингуэй хорошо отзывался и, по словам очевидцев, возлагал на него громадные надежды. 12 января он получил приглашение на инаугурацию (19–20 января), был очень растроган, продиктовал ответное письмо: не сможет присутствовать из-за болезни, но желает чете Кеннеди успехов во всех начинаниях. В середине января прилетел Хотчнер: они гуляли, Хемингуэй казался оживленным, вел активную переписку (диктовал медсестре), ни о каких преследованиях и страхах не говорил, собирался,

вернувшись домой, начать работать. И тут — удар: он узнал, что у Гари Купера рак. Хотчнер: «Он посмотрел на меня так, словно его предали».

Тем не менее все сочли, что лечение прошло успешно (с гипертонией тоже справились), выписка должна была состояться 15–16 января, но пришлось отложить из-за простуды. Приехала Мэри — с ней смотрели инаугурацию. 20 января послал Кеннеди второе письмо: «Наблюдая инаугурацию по телевизору здесь, в Рочестере, мы были очень счастливы, полны надежд и горды. Я уверен, что наш президент выстоит перед любыми трудностями, как выстоял в этот холодный день. Каждый день с тех пор, как я поверил в него и попытался понять все практические сложности управления государством, с которыми он может столкнуться, я восхищаюсь смелостью, с которой он преодолевает их. Это очень хорошо — иметь нашим президентом смелого человека в такие жесткие времена для нашей страны и для всего мира». (Он так и не встретится с Кеннеди; с Жаклин познакомится его вдова.)

Двадцать второго января его выписали, и они с Мэри улетели в Кетчум. На следующий день он с Сэвирсом охотился на уток, казался здоровым, Хотчнеру сказал по телефону, что уже начал работать: перечитывает «Праздник» и пытается редактировать. Вставал в семь, в половине девятого работал у конторки, прекращал около часу, после обеда — прогулки, охота, вечером — гости. Но уже через неделю стало ясно, что его состояние вновь ухудшается. Отказывался выходить, не хотел никого видеть, кроме Сэвирса, работать не мог. 3 февраля его попросили надписать книгу в подарок Кеннеди: с восторгом засел за эту работу и... провел над нею весь день, не написав ни слова. Мэри: «От бесплодности этих попыток им овладело чувство отчаяния». Когда вечером пришел Сэвирс, больной сидел на кушетке в гостиной и, жалобно плача, сказал, что больше не может писать.

Через неделю, однако, он сумел сделать надпись на книге (она хранится в Белом доме). Во второй половине февраля и начале марта соблюдал режим, выполнял врачебные предписания, был тих, молчалив, грустен, но вроде бы адекватен. Возобновил работу над «Праздником», звонил Хедли, чтобы та помогла вспомнить фамилии и даты. Она рассказывала, что он путал слова, голос его был ужасно слаб. Потом вернулись страхи. 21 марта произошла ссора с женой из-за налога за горничную, в апреле — из-за подоходного налога. Горевал о Купере, думал, что сам болен раком, написал фрагмент Nada у Pues Nada, посвященный болезни Купера и его собственной. После этого депрессия резко усилилась, работа прекратилась, Мэри постоянно заставляла его безвольно сидящим с

залитым слезами лицом. 18 апреля он написал Скрибнеру, что не может закончить редактирование «Праздника» и зря обидел людей. (Письмо по неясным причинам не отослано.) 21 апреля Кеннеди признал участие США в попытке свергнуть Кастро — так называемом инциденте в заливе Свиней: 17 апреля там высадились около 1500 эмигрантов, а американские ВВС нанесли удары по кубинским аэродромам; правительство Кубы откуда-то узнало о вторжении и оно было с легкостью отражено, а кубинское население, вопреки надеждам американцев, не выступило в поддержку эмигрантов. В тот самый день Хемингуэй совершил первую явную попытку самоубийства.

Мэри, по ее словам, застала мужа, когда он вставлял в ружье два патрона, и начала разговаривать с ним, «напоминая о мужестве, которое сопровождало его всю жизнь». Потом пришел Сэвирс и помог отнять у больного ружье. Его увезли в больницу в Сан-Вэлли, сделали укол транквилизатора. Многие биографы отказываются понимать, почему в доме открыто хранилось громадное количество оружия и боеприпасов и почему Мэри хотя бы после попытки суицида не вывезла оружие или не спрятала ключи от оружейной. Сама она объяснила это тем, что «никто не имеет права прятать от человека его вещи». Мейерс утверждает, что она «поставила мужа перед выбором: убить себя или оставаться сумасшедшим. Выстрелив себе в голову, он отомстил и наказал Мэри за ужасный выбор, что она ему предложила. Не желая признавать свое пассивное содействие в самоубийстве, Мэри объявила, что смерть была несчастным случаем». Он также пишет, что «вина за самоубийство мужа превратила потом Мэри в алкоголичку». Но это упрощение — сваливать вину на одного человека. Тилли Арнольд рассказывала, что еще до выписки Хемингуэя посоветовала Мэри спрятать оружие, а та ответила: «Это первое, что Папа кинется искать, вернувшись из Рочестера». Он действительно кинулся и стрелял уток на следующий день. А спрячь жена оружие — был бы ужасный скандал с непредсказуемыми последствиями. И неужто взрослый дееспособный мужчина, у которого куча друзей-охотников, не достал бы другого ружья? А есть еще бритвы, веревки, лекарства, поездка... От человека, решившегося на самоубийство, можно прятать что угодно — только его самого от себя не спрячешь.

Мэри — опять же по ее словам — «убедила» мужа снова лечь в Майо. Занимались его отправкой Дон Андерсон и медсестра из больницы в Сан-Вэлли. Завезли его домой за вещами. Андерсон вспоминает, что Хемингуэй «с хитрой улыбкой» предложил им не выходить из машины, сказав, что сам возьмет багаж, но Андерсон все же пошел следом. Хемингуэй бросился в

оружейную, Андерсон за ним, успел схватить за руку и отнять ружье. Прибежали Мэри и Сэвирс, стали успокаивать, отвезли (неясно, убеждением или насильно) обратно в больницу. Транквилизаторы действовали плохо, больной был в смятении, требовал не пускать к нему жену. Через день, 25 апреля, Сэвирс и Андерсон повезли его в Рочестер. По рассказу Андерсона, он пытался выброситься из самолета, искал под сиденьями оружие, когда сделали остановку в Рапид-Сити, убежал и хотел встать под пропеллер другого самолета, кое-как оттащили. В клинике был, казалось, уже в приличном настроении, радостно приветствовал Батта, но упрасивал Андерсона не оставлять его. (Тот посоветовался с врачами — решили, что оставаться нет нужды.)

Роум назначил новую серию ЭСТ. Мейерс справедливо называет это «роковой ошибкой»: ведь если даже допустить, что ЭСТ — хорошая методика, было очевидно, что конкретному больному она не помогла, а наоборот, к его страданиям добавились потеря памяти и полная утрата работоспособности. Жена консультировалась с известным психиатром Джеймсом Кателлом — тот предложил перевести мужа в клинику Маннингера или институт в Хартфорде. Неясно, почему Мэри не последовала этому совету. Мужа она не навещала — он наотрез отказывался ее видеть. Потом, после ЭСТ, из клиники сообщили, что он «пришел в себя» и зовет ее. Она приехала, но, по ее воспоминаниям, муж вел себя «двулично»: с персоналом проявлял доброжелательность и здравомыслие, с нею был вспыльчив и затевал ссоры.

С приехавшим Хотчнером, по его рассказам, больной не ссорился, только был грустен и жаловался на лечение: «Эти шоковые доктора ничего не знают о писателях и о таких вещах, как угрызения совести и раскаяние. Надо бы для них устраивать курсы, чтобы они научились понимать такие вещи. Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг, стирать мою память, которая представляет собой мой главный капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни? Это было блестящее лечение, только вот пациента потеряли». Об угрызениях совести он говорил постоянно, но, когда его спрашивали, в чем конкретно он раскаивается, ответы были расплывчаты: принес зло жене, семье, друзьям, «соблазнял малых сих», совершал преступления и правонарушения и т. д. Хотчнер: «Он весь был каким-то опустошенным. Он вышел ко мне и присел на выступ стены. Я почувствовал, что надо говорить прямо, и спокойно спросил: „Папа, почему ты так хочешь уйти из жизни?“ Он мгновение помедлил, а потом ответил в своей обычной манере, четко и ясно: „Что, по-твоему, происходит с человеком, когда ему 62 года и он понимает, что уже больше никогда не

напишет книгу?“ В ответ я спросил: „А почему бы тебе на некоторое время не прекратить работу? Ты ведь осуществил все свои замыслы. Почему бы на этом и не остановиться?“ Он ответил: „А потому, видишь ли, что неважно, сколько не писать — день, год, десять лет, если в глубине души знаешь, что однажды ты сможешь это сделать. Но если этого знания у тебя нет, то неопределенность становится невыносимой, как бесконечное ожидание“».

Состояние больного то и дело менялось. 13 мая умер Гари Купер — обострение депрессии; к концу месяца — улучшение, во всяком случае так казалось: физически чувствовал себя бодрым и рассуждал здраво. 10 июня отправил письмо Скрибнеру, благодаря за подаренный путеводитель по Йеллоустону, просил послать такой же Джону, радовался известию о том, что его книги хорошо продаются. «Спасибо, что ты сказал мне об этом. Я почувствовал себя лучше. Надеюсь выйти отсюда здоровым». Узнав, что тяжело заболел (сердце) девятилетний сынишка Сэвирса, расстроился, но письмо мальчику, как полагается, написал бодрое:

«Милый Фриц,

Я ужасно огорчился, узнав сегодня утром из письма твоего отца, что ты еще несколько дней пробудешь в больнице в Денвере, и спешу написать тебе, чтобы ты знал, как мне хочется видеть тебя выздоровевшим.

В Рочестере было очень жарко и душно, но последние два дня стало прохладно и хорошо, и ночи просто созданы для сна. Места здесь прекрасные, и мне удалось повидать некоторые красивые места на Миссисипи, где в старые времена сплавляли лес и где сохранились тропы, по которым первые поселенцы пришли на север. На реке видел, как прыгают великолепные окуни. Раньше я ничего не знал о верховьях Миссисипи, а места тут и правда хороши и осенью здесь полно фазанов и уток. Но все же меньше, чем в Айдахо, и я надеюсь мы оба скоро туда вернемся и будем вместе посмеиваться над нашими болячками.

Прими, старина, наилучшие пожелания от своего верного друга, который очень скучает по тебе. Мистер Папа.

Всего самого хорошего твоим родителям. Я чувствую себя превосходно и вообще настроен очень оптимистично и надеюсь всех вас скоро увидеть».

Этот текст, датированный 15 июня 1961 года, считают последним письмом Хемингуэя. Вильяреаль, правда, говорил, что получил письмо от хозяина, отправленное в это же время или позднее, но оно не сохранилось, и он приблизительно вспоминал его содержание: «Рене, мой дорогой, Папа сошел с дистанции... За последние два месяца я написал мало писем —

одно Скрибнеру, другое Патрику в Африку... Позаботься о котах и собаках... Я теряю в весе, на строгой диете я из тяжеловеса превратился в средневеса».

Докторам и Хотчнеру он говорил, что чувствует себя вполне сносно и хочет домой. 26 июня его выписали, несмотря на протесты жены, которая считала, что он обманул докторов, а на самом деле «оставался во власти тех же страхов и галлюцинаций, с какими был госпитализирован». Мейерс, винивший Мэри во всех грехах, тут берет ее сторону: «Роум игнорировал факт, что пациенты часто кажутся выздоровевшими, когда они уже приняли твердое решение совершить самоубийство». Из письма Роума к Мэри от 1 ноября: «Я был полностью убежден, что суицидальный риск был минимальным. По моему мнению, он достаточно оправился от депрессии, чтобы позволить ему оставить клинику. Я ошибался относительно риска». Мейерс, ссылаясь на слова Грегори, которому Роум будто бы сказал, что его отец «так или иначе убил бы себя», обвиняет врача в том, что тот махнул на пациента рукой. Но Линн оправдывает Роума: Хемингуэй заявил о желании выписаться и никто не мог держать его силой. А Райс, поверенный, сказал, что «Мэри не знала и не хотела знать, что делали с ее мужем в Майо». В общем, все делят вину между Роумом и женой, забывая об Эррере, который 24 года лечил пациента черт знает как. Но есть ли теперь смысл искать виновных?

Чтобы отвезти мужа в Кетчум, Мэри вызвала из Нью-Йорка Брауна. Больной выглядел страшно изможденным — при росте в 183 сантиметра весил всего 77 килограммов против прежних 100. Ехали пять дней на автомобиле, ночевали в отелях. Уже 27-го, по воспоминаниям Мэри, у больного начался бред: боялся ареста, прятался от людей. Домой прибыли поздно вечером в пятницу 30 июня. Браун остался ночевать в доме. Суббота прошла вроде бы спокойно. Хемингуэй с Брауном навестили Сэвирса, тот был угнетен — маленькому Фрицу не стало лучше — и развлечь друга не мог. Сходили к Андерсону, не застали, повидались с Аткинсоном. 1 июля Хемингуэй, Аткинсон, Браун и гостившая в Сан-Вэлли Клара Шпигель пошли ужинать в ресторан «Кристиана». Всем запомнилось, что больной в тревоге озирался и говорил о слежке.

Дома, по словам Мэри (опровергнуть их никто не может, но верится плохо), Хемингуэй был спокоен, жизнерадостен, напевал, называл ее котеночком и заверил в своей любви, прежде чем лечь спать. Она не услышала, как он рано утром встал и спустился в оружейную. Тут биографы и сыновья опять предъявляют претензии: почему не уследила, не надела наручники? Да, Мэри Хемингуэй — человек малосимпатичный, но

некоторые упреки в ее адрес представляются необоснованными, особенно когда их высказывают дети. Мэри «упрятала мужа в психушку», выбрала из клиник самую плохую — а они-то где были, почему не ударили палец о палец, не приехали, не навестили, не дали совета? Потом Мэри забрала мужа из психушки — опять виновата, надо было оставить... Не прятала ключей от оружейной — а во что бы превратилась жизнь в доме, если б от хозяина что-то посмели прятать? И наконец, главная претензия детей заключается в том, что при попустительстве или даже содействии жены Хемингуэй убил себя. А они предпочли бы, чтобы их отец медленно умирал (рядом с той же Мэри, они-то не изъявляли намерения о нем заботиться) лет эдак десять, полуоглохший, почти слепой, не могущий ни писать, ни читать, тоскующий, плачущий каждый день?!

Почему он себя убил? При таком количестве весомых причин не обязательно быть психически больным, чтобы сделать это. Писатель не может писать; человек тяжело и, похоже, неизлечимо болен; жена постыла и другой не будет; молодость и активная жизнь потеряны навсегда; кошек и собак — нет, Кубы — нет, ничего нет, Nada у Pues Nada, ничто и только ничто во веки веков... Он зарядил ружье, вышел в прихожую и там (чтобы досадить жене или чтобы ей не пришлось долго искать его тело) упер приклад в пол и выстрелил. Нельзя сказать, что он обманул болезнь — она почти успела сожрать его, — но все-таки в последний момент он от нее ускользнул.

«И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комтон рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, — попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немислимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь».

*

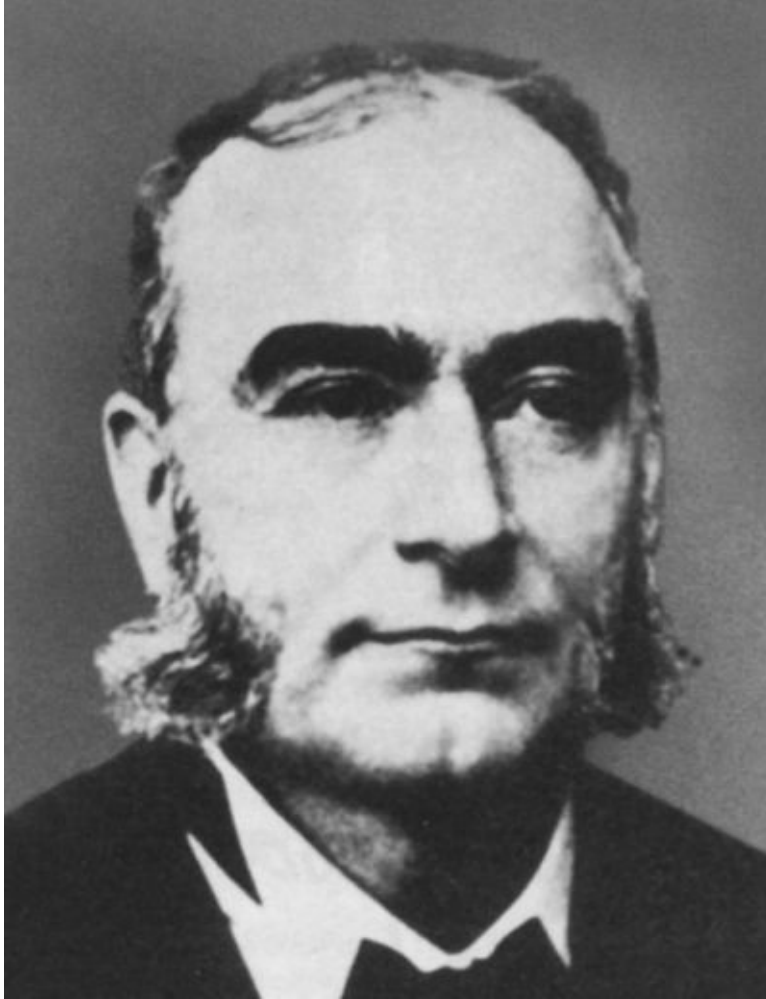
Вот и все, конец... Конец? Как бы не так: ведь мы больше ставили

вопросы, чем отвечали на них. Загадок по-прежнему полным-полно. Был ли Хемингуэй советским агентом? Следило за ним ФБР или нет? Любил он свою последнюю жену или ненавидел? А мать? Командовал ли он партизанами? Убивал «фрицев» или нет? Сколько чемоданов с рукописями потерял? Был ли, наконец, он великим писателем или же обязан славой саморекламе и публичному образу жизни? Новые исследования появляются еженедельно, любой читатель может их разыскать. А может, перечтя книги Хемингуэя, найти в них ключи к тайнам и посрамить всех биографов — ведь интереснее этого ничего нет. Итак, начинаем все сначала: 21 июля 1899 года у доктора и его жены родился сын Эрнест... Это, кажется, единственный факт из жизни Хемингуэя, который пока никто не пытался оспаривать.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Дом в Оук-Парк, штат Иллинойс, где родился будущий писатель



Эрнест Холл — дед Хемингуэя по материнской линии



Семья Хемингуэев в 1903 году. Слева направо: Урсула, Кларенс, Эрнест, Грейс, Марселина



Эрнесту пять месяцев



На рыбалке 1904 г.



Долгое время мать наряжала Эрнеста в девчачьи платья, в чем биографы видят истоки многих его комплексов



Любовь к животным странным образом сочеталась у Хемингуэя с пылкой страстью к охоте



Грейс с детьми в 1916 году. Эрнест — самый высокий



*Футбольная команда школы, где Эрнест (третий справа в первом ряду)
был нападающим*



За сочинением первых рассказов



Выпускник школы и начинающий журналист. 1916 г.



На пароходе, пересекающем озеро Мичиган



Семья провожает Эрнеста на фронт



Рядовой санитарной службы Хемингуэй в Италии



Эрнест в госпитале с первой любовью — медсестрой Агнес фон Куровски



Прогулка по улицам Милана



Свадьба Хемингуэя и Хедли Ричардсон. 1921 г.



С женой в Швейцарских Альпах



Корреспондент газеты «Бруклин дейли игл» Гай Хикок — один из первых литературных друзей Хемингуэя



Писатель в Париже. 1924 г.



Гертруда Стайн



Джон Дос Пассос



Эзра Паунд



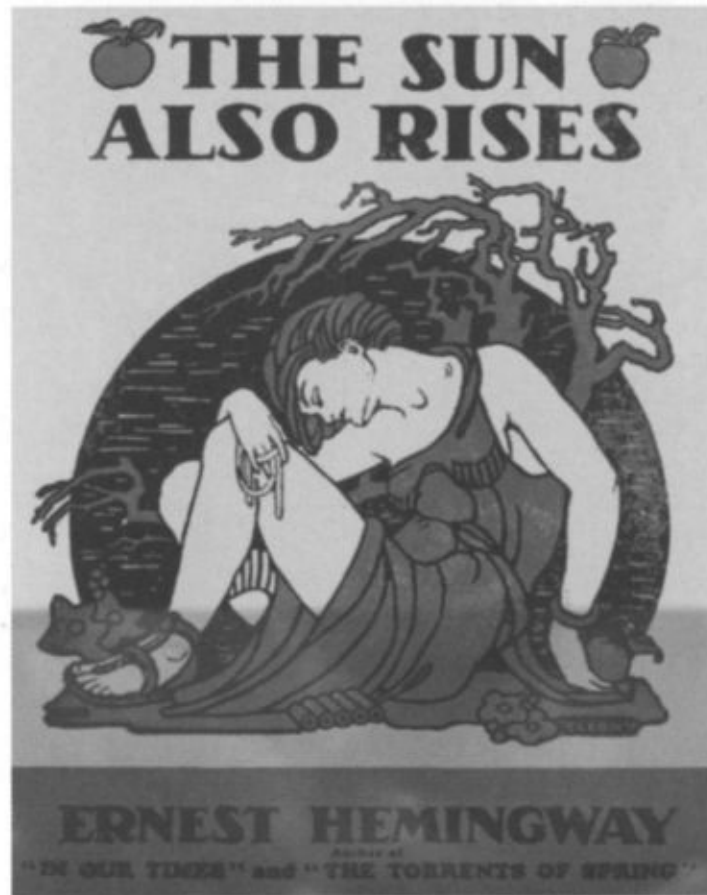
Фрэнсис Скотт Фицджеральд



Одна из первых встреч Хемингуэя с корридой. На фото он дерзко размахивает тряпкой перед мордой разъяренного быка



С женой и Хилари Дафф в кафе. Памплона, 1925 г.



Обложка первого романа Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солнце»)



С Хедли и Бамби на австрийском курорте Шрунс



*Хемингуэй и его вторая жена Полина Пфейфер вскоре после свадьбы.
1927 г.*



В Африке с убитым львом. 1934 г.



Писатель с семьей на фоне рыболовных трофеев. 1935 г.



Знаменитое фото Хемингуэя в свитере сделал в 1957 году в Гаване фотограф Юсуф Карш



Капитан яхты «Пилар»



Помощник капитана Карлос Гутьеррес и подруга Хемингуэя Джейн Мейсон



Хемингуэй в Испании. Рядом с ним — советский писатель Илья Эренбург и комиссар интербригады Густав Реглер



Беседа с генералом республиканцев Энрике Листером



Андрес Нин



Михаил Кольцов



Хемингуэй с третьей женой Мартой Джеллхорн. Гонолулу, 1940 г



Работа над романом «По ком звонит колокол». 1939 г.



Знакомство с китайской кухней во время поездки в Гонконг. 1941 г.



Усадьба «Ла-Вихия»



Хемингуэй накануне освобождения Парижа. 1944 г.



С полковником Чарлзом Лэнхемом



Писатель с сыновьями Патриком и Грегори. 1946 г.



Хемингуэй и его четвертая жена Мэри Уэли в Сан-Вэлли



Адриана Иванчич



Вручение писателю «Бронзовой звезды» за военные заслуги. 1947 г.



Беседа с журналисткой Джин Пэтчетт. 1950 г.



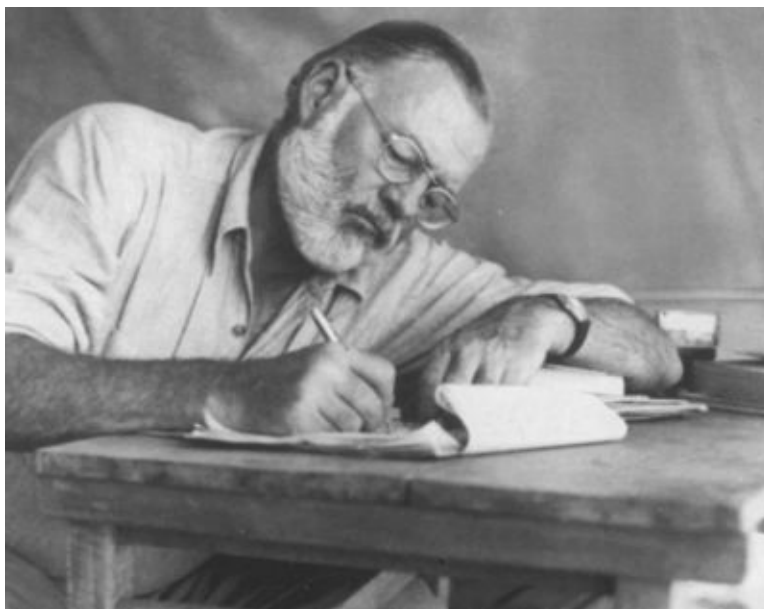
Хемингуэй получает Нобелевскую премию. 1954 г.



С сыном Грегори на Кубе



Хемингуэй и его любимый кот Бойз



Работа над «Африканским дневником»



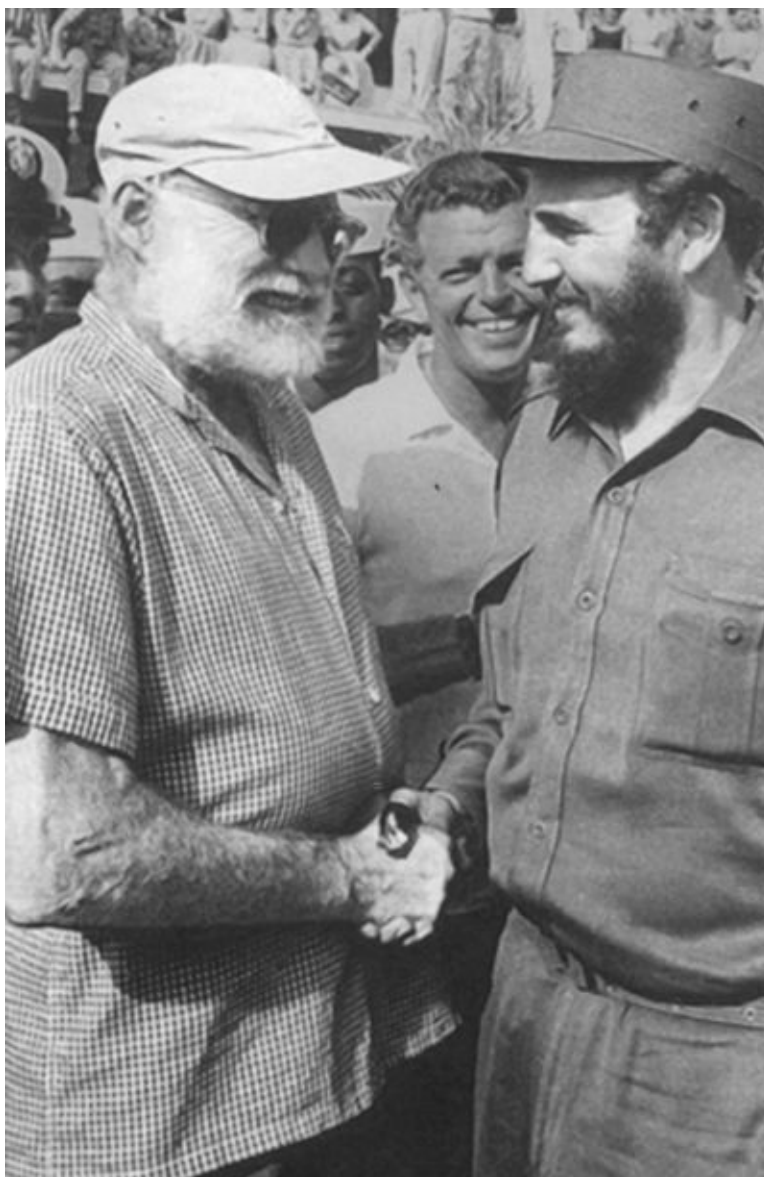
С женой во время кенийского сафари. 1953 г.



В Испании Хемингуэя встречали как национального героя. 1959 г.



Беседа со старейшим испанским писателем Пио Бархой



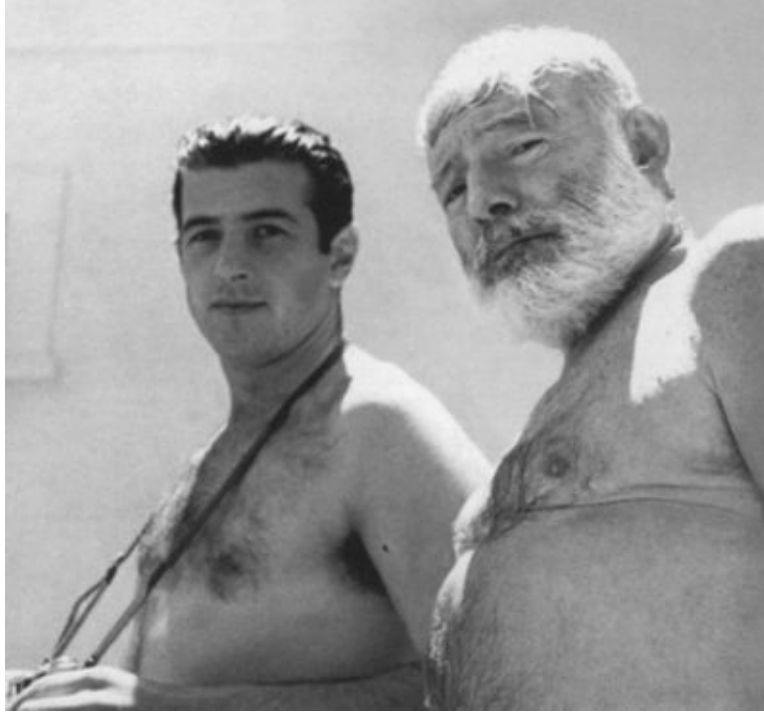
Встреча с Фиделем Кастро. 1960 г.



Празднование 60-летия писателя на вилле «Консула» под Малагой



На охоте в Айдахо



С тореро Антонио Ордоньесом. 1959 г.



Могила Эрнеста и Мэри Хемингуэй



Одно из последних фото писателя, сделанное в Кетчуме весной 1961 года

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

1899, 21 июля — в Оук-Парке, пригороде Чикаго, у врача Кларенса Хемингуэя и его жены Грейс родился сын Эрнест.

1916, январь — первая статья Эрнеста опубликована в школьной газете.

Февраль — первый рассказ «Суд Маниту» опубликован в школьном журнале.

1917, октябрь — Хемингуэй, окончив школу, уехал в Канзас-Сити и поступил репортером в газету «Канзас-Сити стар».

16 декабря — опубликован первый профессиональный очерк «Керенский».

1918, июнь — Хемингуэй, зачисленный в транспортный корпус американского Красного Креста, прибыл в Италию.

8 июля — тяжелое ранение.

Август — знакомство и роман с Агнес фон Куровски.

1919, январь — вернулся в Оук-Парк.

1920, январь — переехал в Торонто, работал в газетах «Торонто дейли стар» и «Торонто стар уикли».

Сентябрь — переехал в Чикаго, работал в журнале «Содружество кооператоров».

1921, сентябрь — женитьба на Хедли Ричардсон.

Декабрь — уехал с женой в Париж в качестве корреспондента «Торонто дейли стар».

1922, март — работал на Генуэзской международной конференции.

Сентябрь — в Греции освещал греко-турецкую войну.

Ноябрь — декабрь — работал на Лозаннской международной конференции.

1923, январь — в журнале «Поэтри» опубликованы стихи.

Март — в журнале «Литтл ревью» опубликованы шесть прозаических миниатюр.

Июль — в издательстве Р. Макэлмона вышла первая книга — «Три рассказа и десять стихотворений».

Сентябрь — возвращение в Торонто, работа в «Торонто дейли стар».
10 октября — родился сын Джон (Бамби).

Декабрь — возвращение в Париж.

1924, январь — в издательстве У. Берда вышел сборник миниатюр «В наше время»; работа в журнале «Трансатлантик ревью».

1925, весна — знакомство с Ф. С. Фицджеральдом и Полиной Пфейфер.

Июль — первая поездка в Испанию на корриду. Начало работы над романом «Фиеста» («И восходит солнце»).

Октябрь — в Нью-Йорке в издательстве «Бони и Ливерайт» вышел сборник рассказов «В наше время».

1926, май — в издательстве «Скрибнерс» опубликована пародия на Ш. Андерсона «Вешние воды» (далее Хемингуэй сотрудничает только с этим издательством).

Октябрь — публикация «Фиесты».

1927, весна — развод с женой, переход в католичество и женитьба на Полине Пфейфер.

Октябрь — вышел сборник рассказов «Мужчины без женщин».

1928, март — переезд в Ки-Уэст (Флорида); начало работы над романом «Прощай, оружие!».

28 июня — родился сын Патрик.

Декабрь — самоубийство Кларенса Хемингуэя.

1929, апрель — возвращение в Париж.

Сентябрь — публикация романа «Прощай, оружие!».

1930, январь — переезд в Ки-Уэст.

Осень — охота в штате Вайоминг; автомобильная катастрофа.

1931, январь — покупка дома в Ки-Уэсте.

Лето — поездка во Францию и Испанию.

12 ноября — родился сын Грегори.

1932 — Ки-Уэст, Куба, работа над книгой «Смерть после полудня».

Сентябрь — опубликована «Смерть после полудня».

1933 — начало сотрудничества с журналом «Эсквайр».

Октябрь — сборник рассказов «Победитель не получает ничего».

Ноябрь — поездка в Африку на сафари.

1934, апрель — возвращение в Ки-Уэст, покупка яхты «Пилар»; начало работы над книгой «Зеленые холмы Африки».

Октябрь — публикация «Зеленых холмов Африки».

1935 — работа над рассказами в Ки-Уэсте и на Багамских островах.

1936, август — опубликован рассказ «Снега Килиманджаро».

Сентябрь — опубликован рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»; начало работы над романом «Иметь и не иметь». Декабрь — знакомство с Мартой Геллхорн.

1937, март — поездка с Геллхорн в Испанию, где идет гражданская война, в качестве корреспондента агентства НАНА.

Март — май — участие в съемках фильма «Испанская земля». Июнь — США, выступление на II конгрессе американских писателей.

Август — Испания, работа над пьесой «Пятая колонна».

Октябрь — публикация романа «Иметь и не иметь».

1938, март — третья поездка в Испанию.

Октябрь — четвертая поездка в Испанию; вышел сборник «„Пятая колонна“ и первые 49 рассказов».

1939 — Куба, работа над романом «По ком звонит колокол».

Сентябрь — первая поездка в Кетчум (штат Айдахо).

1940 — развод с женой, покупка усадьбы «Ла Вихия» близ Гаваны.

Октябрь — опубликован роман «По ком звонит колокол».

20 ноября — женитьба на Марте Геллхорн.

1941, январь — поездка с женой в Китай.

8 декабря — США объявили войну Германии.

1942, апрель — с согласия посольства США в Гаване и ФБР Хемингуэй организовал любительскую контрразведывательную сеть.

Май — с согласия военно-морского ведомства США и ФБР организовал морские дежурства на своей яхте.

1943 — по распоряжению ФБР разведывательная деятельность Хемингуэя прекращена.

1944, май — поездка в Лондон в качестве корреспондента журнала «Кольерс». Знакомство с Мэри Уэлш.

Июнь — декабрь — поездки на фронт на территории Франции.

1945, март — возвращение на Кубу.

1946, январь — развод с женой.

14 марта — женитьба на Мэри Уэлш; работа над романами, не публиковавшимися при жизни, — «Острова в океане» и «Эдем».

1948, лето — первые проявления психического заболевания.

Сентябрь — поездка с женой в Италию. Знакомство с Адрианой Иванчич.

1949 — Куба, работа над романом «За рекой, в тени деревьев».

1950, февраль — начало публикации романа «За рекой, в тени деревьев».

1951, весна — поездка в Италию.

28 июня — смерть матери.

1 октября — смерть Полины Хемингуэй.

Осень — Куба, работа над повестью «Старик и море».

1952, сентябрь — опубликована повесть «Старик и море».

1953, 4 мая — Пулитцеровская премия.

Июнь — поездка в Испанию.

Сентябрь — поездка в Африку на сафари.

1954, январь — авиакатастрофа в Африке, серьезное ухудшение здоровья.

28 октября — Нобелевская премия.

Осень — работа над книгой «Африканский дневник».

1955 — участие в съемках фильма «Старик и море» на Кубе.

1956, сентябрь — во время поездки в Париж найдены материалы к будущей книге «Праздник, который всегда с тобой».

1958, август — отъезд с Кубы в Кетчум, покупка дома.

Осень — работа над книгами «Эдем» и «Праздник, который всегда с тобой».

1959, март — возвращение на Кубу после революции.

Апрель — поездка в Испанию.

Осень — Кетчум, работа над книгой «Опасное лето».

1960, январь — возвращение на Кубу.

Июль — переезд в Кетчум.

Сентябрь — последняя поездка в Испанию, дальнейшее ухудшение физического и психического состояния.

Ноябрь — клиника Майо в Рочестере, сеансы электросудорожной терапии.

1961, январь — выписка из клиники.

Апрель — вторичное помещение в клинику.

26 июня — повторная выписка.

2 июля — самоубийство в своем доме в Кетчуме.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Книги Э. Хемингуэя.

- Хемингуэй Э. Собр. соч. Т. 1–4. М., 1982.
- Хемингуэй Э. Рассказы; Прощай, оружие!; Пятая колонна; Старик и море. М., 1972.
- Хемингуэй Э. За рекой в тени деревьев; Иметь и не иметь; Райский сад; Романы. М., 2000.
- Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. М., 2005.
- Хемингуэй Э. Лев мисс Мэри. М., 2009.
- Хемингуэй Э. Оставаться самим собой. Избранные письма (1918–1961). М., 1983.
- Хемингуэй Э. Репортажи. М., 1969.
- Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... М., 1983.
- The Complete Short Stories of Ernest Hemingway: The Finca Vigia Edition. N.Y., 1987.
- Hemingway E. For Whom the Bell Tolls. N.Y., 1940.
- Hemingway E. Across the River and Into the Trees. N.Y., 1950.
- Hemingway E. A Moveable Feast. N.Y., 1964.
- Hemingway E. Islands in the Stream. N.Y., 1970.
- Hemingway E. The Nick Adams Stories. N.Y., 1972.
- Hemingway E. The Dangerous Summer. N.Y., 1985.
- Hemingway E. The Garden of Eden. N.Y., 1986.
- Hemingway E. True At First Light. N.Y., 1999.
- Hemingway E. Under Kilimanjaro. Ohio, 2005.
- Hemingway E. A Moveable Feast: The Restored Edition. N.Y., 2009.
- Hemingway Selected Letters, 1917–1961. Ed. C. Baker. N.Y., 1981.

2. Книги о Э. Хемингуэе и его творчестве.

- Грибанов Б. Хемингуэй. М., 1970.
- Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. М., 1966.
- Орлова Р. Хемингуэй в России. Ann Arbor, Michigan, 1985.
- Папоров Ю. Хемингуэй на Кубе. М., 1979.

Петрушкин А., Агранович С. Неизвестный Хемингуэй: Фольклорно-мифологическая и культурная основа творчества. Самара, 1997.

Фуэнтес Н. Хемингуэй на Кубе. М., 1988.

Черкасский М. Сила и слабость Хемингуэя. М., 1969.

Baker C. Hemingway, The man and his work. N.Y., 1950.

Baker C. Hemingway. The writer as artist. N. Y., 1952.

Baker C. Hemingway: A Life Story. N.Y., 1969.

Braden S. Diplomats and Demagogues. N.Y., 1971.

Brasch J. Hemingway's Doctor: Jose Luis Herrera Sotolongo Remembers Ernest Hemingway//Journal of Modern Literature. \bl. 13. No. 2. 1986. Brennen C. Hemingway's Cats. Sarasota, 2006.

Brian D. The True Gen: An Intimate Portrait of Hemingway by Those Who Knew Him. N. Y., 1987.

Brucoli, M. Scott and Ernest: The Authority of Failure and the Authority of Success. N.Y., 1978.

Brucoli, M. Fitzgerald and Hemingway: A Dangerous Friendship. N.Y., 1994. Burgess A. Ernest Hemingway and His World. N.Y., 1978.

Burrill W Hemingway: The Toronto Years. Toronto, 1994.

Burwell R. M. Hemingway: The Postwar Years and the Posthumous Novels. N. Y.,1996.

By-Line: Ernest Hemingway, ed. by White W. N.Y., 1967.

Callaghan M. That Summer in Paris. N. Y., 1963.

Cirules E. Hemingway en Cuba. Madrid, 1999.

Cowley M. A Portrait of Mister Papa //Life Magazine. 1948.

Dear Papa, Dear Hotch: The Correspondence of Ernest Hemingway and A. E. Hotchner, ed. by DeFazio A. N.Y., 2005.

Delbanco N. The Lost Suitcase. N.Y., 2001.

Donaldson S. Hemingway vs. Fitzgerald. The Rise and Fall of a Literary Friendship. N.Y., 1999.

Donaldson S. By Force of Will: The Life and Art of Ernest Hemingway. N.Y., 1977.

Ernest Hemingway: Cub Reporter, ed. by M. Brucoli. Pittsburgh, 1970.

Ernest Hemingway, Dateline: Toronto, ed. by W. White. N.Y., 1985.

Fenton C. The Apprenticeship of Ernest Hemingway, The Early Years. N.Y., 1954.

Gellhom M. Travels With Myself and Another. London, 1978.

Griffin P. Along With Youth: Hemingway, the Early Years. N.Y., 1985.

Haynes E., Klehr H., Vassitiev A. Spies. The Rise and Fall of the KGB in America. Yale, 2009.

- The Hemingway Reader, ed. by C. Poore. N.Y. 1953.
- Hemingway G. Papa: A Personal Memoir. Boston, 1976.
- Hemingway J. Misadventures of a Fly Fisherman: My Life With and Without Papa. Dallas, 1986.
- Hemingway L. My brother, Ernest Hemingway. London, 1962.
- Hemingway M. Ernie: Hemingway's Sister «Sunny» Remembers. N.Y., 1975.
- Hemingway M. How It Was. N.Y., 1976.
- Hemingway V. Running With the Bulls: My Years With the Hemingways. N.Y., 2005.
- Hotchner A. Papa Hemingway: A Personal Memoir. N.Y., 1966.
- Hotchner A. Hemingway and His World. N.Y., 1989.
- Ivanchich A. The White Tower. Milan, 1980.
- Kert B. The Hemingway Women: Those Who Loved Him — the Wives and Others. N.Y., 1983.
- Koch S. The Breaking Point: Hemingway, Dos Passos, and the Murder of Jose Robles. London, 2006.
- Lanham C. T. Papers, 1916–1978. <http://arks.Drinceton.edu/ark:/88435/c247ds!2v>
- The Letters of F. Scott Fitzgerald, ed. by Turnbull A. N.Y., 1963.
- Loeb H. The Way it Was: A Memoir. N.Y., 1959.
- Lynn K. Hemingway. N.Y., 1987.
- Mellow J. Hemingway: A Life Without Consequences. N.Y., 1992.
- Meyers J. Hemingway: A Biography. N.Y., 1985.
- Moreira P. Hemingway on the China Front: His WWII Spy Mission with Martha Gellhom. Washington, 2006.
- Oliver C. Ernest Hemingway A to Z. N.Y., 1999.
- Oliver C. Critical companion to Ernest Hemingway: a literary reference to his life and work. N.Y., 1999.
- Plimpton G. Ernest Hemingway: The Art of Fiction XXI // Paris Review. 1958.
- Prieto I. Intrigas de los rusos en Espaca y convulsiones de Espaca. Paris, 1939.
- Raeburn J. Fame Became of Him: Hemingway as Public Writer. Bloomington, 1984.
- Reynolds M. The Young Hemingway. Oxford, 1986.
- Reynolds M. Hemingway, The Paris Years. Oxford, 1989.
- Reynolds M. Hemingway, The 1930's. N.Y., 1997.
- Reynolds M. Hemingway, The Final Years. N.Y., 1999.

- Ross L. Portrait of Hemingway, N. Y., 1961.
Sanford M. At the Hemingways. London, 1962.
Villard H., Nagel J. Hemingway In Love and War: The Lost Diary of Agnes von Kurowsky. Boston, 1989.
Wagner-Martin L. A Historical Guide to Ernest Hemingway, N.Y., 2000.
Whiting C. Papa Goes to War: Ernest Hemingway in Europe, 1944—45. Ramsbury, 1990.
Villarreal R. Hemingway's Cuban Son. Ohio, 2009.
Wilson E. The Wound and the Bow. Ohio, 1997.
Wilson E. The Twenties: From Notebooks and Diaries of the Period. N.Y., 1975.
Young P. Ernest Hemingway, N.Y., 1952.
-
-

notes

Примечания

1

Русскому «папа» скорее соответствует английское dad, daddy, а papa имеет более почтительный оттенок.

Биографов у Хемингуэя сотни, но «главных» шестеро: Чарльз Фентон (1954), Карлос Бейкер (1969), Джеффри Мейерс (1985), Кеннет Линн (1987), Джеймс Меллоу (1992) и Майкл Рейнольдс (1986, 1999). Подробнее см. дальнейший текст и библиографию.

Художественные произведения Хемингуэя, опубликованные на русском языке, здесь и далее цитируются по изданиям, указанным в библиографии, за исключением случаев, когда это указано особо.

4

Грейс писала книгу по истории Нантукета, но так и не закончила ее.

Письма Хемингуэя, переведившиеся на русский, цитируются по изданию: «...Остаться самим собой...». Избр. письма (1918–1961)/Публ., пер. с англ. и коммент. В. Погостина. М.: Правда, 1983.

Публицистика Хемингуэя, переводившаяся на русский, цитируется по: Хемингуэй Э. Репортажи / Пер. Т. С. Тихменевой; предисл. Я. Н. Засурского. М., 1969.

7

Опьянение (фр.).

У нас известна только одна редакция книги «Праздник, который всегда с тобой» (опубликованная в 1964 году). Существует и другая, более поздняя — о ней подробно в главе двадцать четвертой. До этой главы, упоминая «Праздник», мы будем иметь в виду только первый вариант, переведенный М. Бруком, Л. Петровой и Ф. Розенталем.

Паунд Э. Сокращенное изложение беседы с г-ном Т.Е.Х. / Пер. Р. Пищалова.

Пер. М. Свириденкова.

11

Единственно верное слово (фр.).

В цитатах из Г. Стайн здесь и далее пунктуация авторская (пер. В. Михайлина).

Формально он считался заместителем отсутствующего председателя — Ленина.

Старина (фр.).

Слово *corrida* образовано от глагола *correr*, означающего «бежать», а также — в разных словосочетаниях — «претерпеть», «подвергаться» и др.; *corrida de toros* можно перевести как «пробег быков», а можно как «то, что делают с быками». Испанцы в обиходе называют корриду просто *toros*, то есть «быки».

Матадор (что означает «убийца») — главный участник корриды. У него есть команда помощников, обозначаемых общим словом «тореро». Термин «тореадор» существует только в опере.

Служанка (фр.).

Блюдо дня (фр.).

Тушеная кислая капуста по-эльзасски.

Полусветлое (фр.).

Кофе со сливками (фр.).

Добродушие (фр.).

Кондотьер, наемник (фр.).

Болельщики (исп.).

«Долой Вильгельма!» (фр.). Гийом — французский эквивалент того же имени.

Алистер Кроули — известный английский оккультист, поэт и писатель.
Гарольд Стернс — американский критик и эссеист, знакомый Хемингуэя и Фицджеральда.

Без страха и упрёка (фр.).

Имеется в виду широко известный в англоязычных странах плутовской роман Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденяша» (1749).

У нас известен под первым названием. Борис Пармонов пишет, что советские переводчики самовольно переименовали рассказ, но на самом деле они следовали первоначальному авторскому заголовку.

Пресвятая Дева (исп.).

Роман «По ком звонит колокол» здесь и далее цитируется по всем известному переводу 1968 года (цензурированному), расхождения с подлинником указываются лишь в отдельных случаях. Подробно о цензурных купюрах и о полном переводе романа см. в главе шестнадцатой.

Ярмарках... праздниках (исп.).

Военачальники республиканской армии.

«Страстная» (а не «пламенная», как переводили советские пропагандисты) — прозвище Долорес Ибаррури, одного из лидеров испанских коммунистов.

В подлиннике: «Ненависть и отвращение вызывают у нас двурушничество и подлость кровавой банды бухаринских гиен и таких отбросов человечества, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники».

Мой полковник (исп.).

Муниципальное здание (исп.).

Союз детей шлюхи — искаженное название молодежной организации «Союз детей народа».

В 1959 году таким же тиражом вышел перевод «1984» Оруэлла.

Английский писатель, «марксист-христианин», много лет бывший настоятелем Кентерберийского собора.

Омар Брэдли с 1944 года командовал 1-й армией и 12-й группой армий в Европе. Лоутон Коллинз командовал 7-м корпусом, сыгравшим ведущую роль в операции «Кобра».

Средняя общеобразовательная школа № 1 пос. Пограничный Приморского края, реферат «Исследование нравственной силы добра в произведениях Виктора Астафьева» ученицы 11 «А» класса Юлии Агаповой.

По определению (лат.).